



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

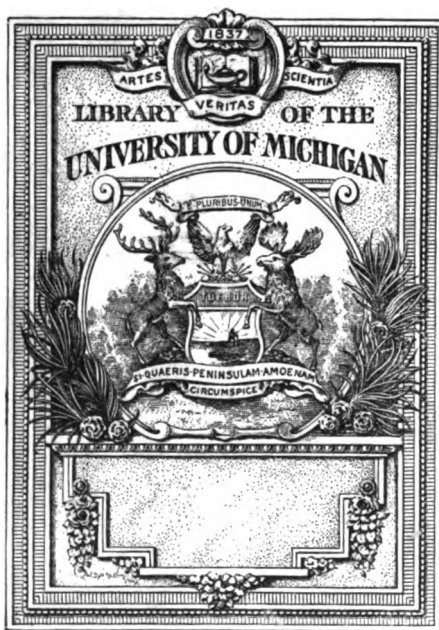
- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

B

862,051



891.78
V58e

Алексѣй Веселовскій

ЭТЮДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джордано Бруно, Легенда о Донъ-Жуанѣ, Мольеръ, Вольтеръ, Дидро, Бомарше, Свифтъ, Гюго, Фонвизинъ, Гоголь, Грибоѣдовъ и др.

МОСКВА.

Типо-литографія Высочайше утвержденнаго Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°. Пименовская улица, собственный домъ.

1894.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стран.</i>
Джордано Бруно	1
Послѣдній рыцарь	13
Легенда о Донъ-Жуанѣ	47
Мольеръ	85
× Альцестъ и Чапкій	144
Дени Дидро	170
У Вольтера	272
Бомарше	283
Джонатанъ Свифтъ	368
Поэтъ гуманности (на смерть Гюго)	432
Наканунъ новаго столѣтія	442
Титаны и пигмеи (альпійская фантазія)	470
× Памяти Фонвизина	485
× Грибоѣдовъ	495
× Три путешествія	533
По поводу юбилея одной статьи	543
× На могилѣ Гоголя	550
× Мертвыя души	557
Изъ воспоминаній о старомъ другѣ	610
Деревенскія размышленія	640

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Изъ работъ своихъ за много лѣтъ авторъ сдѣлалъ выборъ и позволяетъ себѣ предложить сводъ нѣсколькихъ статей читателямъ. Это журнальные этюды, публичные лекціи, біографическія вступленія къ изданіямъ писателей, отрывки изъ воспоминаній, наконецъ небольшіе очерки и наброски, написанные подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ минуты и явившіеся на столбцахъ ежедневной прессы. Все это кореннымъ образомъ переработано, бібліографически пополнено до послѣднихъ мѣсяцевъ 1893 года, частью написано вновь. Развитіе литературныхъ типовъ, судьбы вопросовъ, волновавшихъ человѣчество, жизнь сильныхъ духомъ людей и великихъ художниковъ съ 16-го вѣка до нашихъ дней, итоги и надежды,—вотъ содержаніе этого цикла статей. Оно взято и изъ русской, и изъ иностранной словесности; желаніе хотъ чѣмъ-нибудь содѣйствовать сліянію живыхъ особенностей національнаго творчества съ общечеловѣческимъ развитіемъ руководило авторомъ. Его героями являются чаще всего избран-

ныя натуры, вожди людской массы, но не «культъ героевъ», а другое завѣтное желаніе—раскрыть связь между этой массой и ея избранниками, сочетать личное съ общимъ, привлекало его къ разработкѣ подобныхъ темъ. На рубежѣ двухъ вѣковъ такія задачи ставятся самою жизнью, налагая на всякаго работника въ области мысли обязанность служить имъ вѣрой и правдой.

ДЖОРДАНО БРУНО *).

„Дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой...“ Но не романтическое сказаніе, не граціозную легенду хотимъ мы вызвать сегодня въ вашей памяти изъ дальняго прошлаго,—мы передадимъ печальную судьбу сильнаго мыслителя, не признаннаго современниками, погибшаго за независимость своихъ убѣжденій. Неудачникъ при жизни, онъ и передъ судомъ потомства долго не находилъ справедливости; другія имена затмили его; толпа и теперь знаетъ о Савонаролѣ, хотя по широтѣ взглядовъ и научному значенію Бруно далеко его превосходитъ; знаетъ она о Галилеѣ и его процессъ, помнитъ его знаменитыя слова,—но имя Бруно для громаднаго большинства стало безсодержательнымъ звукомъ. Новѣйшая и преимущественно нѣмецкая **) наука съ конца прошлаго столѣтія усиленно старается исправить эту застарѣлую несправедливость. Чествуя сегодня память великаго несчастливца, и мы попытаемся собрать характеристическія черты его своеобразной личности и ученія.

И такъ *кто* же былъ Бруно?

Это было крохотное существо, вѣчно взволнованное и безпокойное, съ необыкновенно подвижными чертами лица,

*) Рѣчь, произнесенная въ соединенномъ засѣданіи Общ. Люб. Рос. Словесности и Психологич. Общества въ честь Д. Бруно 10 февр. 1885 г.

**) Brunnhofer. Giordano Bruno's Weltanschauung und Verhängniss. Leipz. 1882.—Domenico Berti. Giordano Bruno da Nola, sua vita e sua dottrina (новое изд. съ значит. добав. 1889 г.).

темно-каштановыми волосами и окладистою бородой, облеченное то въ рясу доминиканца, то въ нарядъ свѣтскаго *кавалера*, съ шпагой и плащомъ. Въ глазахъ его горитъ неугасимый огонь; Бруно то предается унынію, и тогда, по его словамъ, какъ будто созерцаетъ адскія муки, то грусть смѣняется у него неудержимымъ смѣхомъ. Но смѣхъ этотъ не радуетъ: въ эпиграфъ къ своей единственной комедіи Бруно приписываетъ себѣ способность быть веселымъ среди печали, печальнымъ среди веселья (*in tristitia hilaris, in hilaritate tristis*). Казалось бы, чего ему унывать и тревожиться? Онъ родился (1548) въ благословенномъ краю, у подножія Везувія, у самыхъ воротъ Неаполя, въ старой Нолѣ, одномъ изъ древнихъ поселковъ Великой Греціи; чудные ландшафты разстилались передъ нимъ, море и горы ласкали взоръ своими красотами, дружное, работающее и всегда веселое населеніе городка отнюдь не наводило на печальныя мысли, а окрестные холмы давали въ изобиліи превосходное вино. Никогда не забудетъ Бруно своей милой Ноле, своего земного рая, всѣ красоты Европы будетъ сопоставлять съ нею, не разстанется съ прозвищемъ „Ноланца“ (*Bruno Nolano*), и не разъ вспомнить о своихъ прежнихъ сосѣдяхъ, ихъ дѣтяхъ и семьяхъ! Но онъ не въ силахъ оставаться навѣки въ такомъ затишьѣ: точно непреодолимая власть влечетъ его въ даль. Бывало, говорить онъ, въ дѣтскіе годы ему казалось, что за Везувіемъ все кончается, что тамъ край свѣта,—потому ему пришлось лично извѣдать, какія безграничныя области разстилаются за предѣлами ближайшаго горизонта. Не онъ первый покидалъ родину, чтобъ искать свѣта науки; сложное вліяніе греко-латинской культуры прививало ноланцамъ живые научные интересы; ему рассказывали въ дѣтствѣ о нѣсколькихъ выходцахъ изъ Ноле, заплатившихъ страданіями и казнями за свои стремленія. Это не устало его, и, усвоивъ все, что могла дать ему школа въ Неаполѣ, онъ дополнилъ свое образованіе постояннымъ чтеніемъ, пытаясь овладѣть и явными, и тайными знаніями. Какъ у Фауста, порывы его необъятны; онъ часто благодаритъ Бога за то,

что Онъ надѣлилъ его этимъ свойствомъ; какъ счастливъ былъ бы онъ, еслибы, принимая различные образы, могъ возноситься въ небесныя сферы и проникать въ глубь земли!

Съ такими широкими замыслами было бы тяжкою ошибкой сознательно обречь себя на застой, слѣпое послушаніе и неподвижность. Но Бруно сдѣлалъ такую ошибку: отрокомъ, чуть не ребенкомъ, всего 15-ти лѣтъ, онъ вступаетъ въ монастырь, и всю первую молодость (тринадцать долгихъ лѣтъ) проводить въ такой обстановкѣ. Рано или поздно его самостоятельность должна была пойти въ разрѣзъ съ узкимъ формализмомъ монашескаго быта. За чтеніе вольнодумныхъ книгъ уже на него косятся, за разговорами его слѣдятъ, едва не отдають его подъ судъ за ироническіе отзывы о мистицизмѣ; когда же, бесѣдуя съ однимъ изъ товарищей-монаховъ, онъ неосторожно отозвался сочувственно объ аріанствѣ и дѣло огласилось, назначено было строгое слѣдствіе. Поспѣшно скрывается онъ въ Римъ, но и тамъ скоро нападаютъ на его слѣдъ; онъ принужденъ скитаться по сѣверной Италіи, на время останавливаясь въ Туринѣ, Венеціи, Падуѣ. Рано же взялъ онъ посохъ изгнанника! Но уже въ эту пору его томятъ сомнѣнія, жажда истины, презрѣніе къ суевѣрію, и онъ набросалъ первую свою книгу, *L'arca di Noe*, изобразивъ въ ней человѣческое общество подъ видомъ разныхъ животныхъ въ ковчегѣ, предводимыхъ осломъ; то были его первыя наблюденія надъ „блаженною глупостью“, *Santa Asinita*... Нигдѣ онъ не встрѣчаетъ ласковаго привѣта, нигдѣ не находитъ возможности основаться. Только въ генуэзскомъ городкѣ Ноли (*Noli*) ему дали право свободнаго преподаванія, и онъ уже безконечно счастливъ; нѣсколько мѣсяцевъ подъ рядъ собираетъ толпы разнообразныхъ слушателей, краснорѣчиво и убѣдительно излагаетъ добытыя имъ научныя истины. Официально называлъ онъ читаемый имъ предметъ „Сферой“, т.-е. астрономіей, но подъ ея покровомъ охватывалъ широкій кругъ знаній. Онъ одинъ изъ ревностныхъ поклонниковъ теоріи Коперника, котораго называетъ вторымъ Колумбомъ, смѣло пробившимъ себѣ путь къ небу сквозь преграды старой планетной сис-

темы, вездѣ проповѣдуетъ и защищаетъ ее, торжествуя крушеніе схоластическихъ представленій о міровомъ устройствѣ, освященныхъ авторитетомъ Аристотеля и Птолемея. Одного этого заступничества за опасную теорію, отнимавшую у земли ея первостепенное, центральное значеніе, и разстроившую гармонію цѣлой сѣти набожныхъ легендъ, достаточно было бы, чтобъ обличить въ Бруно еретика. Не за то же ли пострадалъ вскорѣ Галилей? Но молодой философъ не ограничился сочувственнымъ изложеніемъ чужого открытія; оно послужило для него основой для дальнѣйшихъ построеній. Фантазія его заработала. „Довѣрившись надежнымъ крыльямъ, онъ бросился въ безконечныя пространства, разсѣкая воздухъ и проникая въ другіе міры“; онъ горячо доказывалъ существованіе множества этихъ обитаемыхъ міровъ; ему грезились жизнь и проблески сознанія вездѣ; душевныя движенія отгадывалъ онъ на самыхъ низшихъ ступеняхъ царства природы; эти представленія сливались въ грандіозный пантеистическій догматъ о „міровой душѣ“, о сліяніи и тождествѣ божества и природы, и передъ этой свободной общечеловѣческой религіей блѣднѣли и казались ничтожными всѣ положительныя, церковныя религіи. Его философія принимала часто поэтическій характеръ,—иначе и быть не могло: онъ убѣжденъ былъ, что истинный философъ не можетъ не быть поэтомъ.

Но на-ряду съ этими ученіями его по-временамъ привлекала и таинственная мудрость, приподнимавшая завѣсу надъ многими загадками бытія. Всегда осмѣивавшій алхімію, онъ не могъ противостоять искушенію, которому поддавали многіе сильные умы его времени, втайнѣ не перестававшіе интересоваться магіей. Только вспомнивъ это, мы поймемъ, какъ онъ могъ серьезно увлекаться устарѣлыми твореніями Раймунда Люллія, который не только научалъ искусству развивать память, но механически, переводя основныя идеи въ алгебраическія знаки и нанося ихъ на вращающіеся круги, брался научить, какъ вырабатывать новыя идеи и догадки,—пространно толковалъ о символикѣ человѣческихъ именъ и соотвѣтствующихъ имъ цифръ и т. д., основываясь главнымъ

образомъ на еврейской и арабской мудрости. Быть-можетъ, Бруно привлекла своей неустойчивой и безбоязненной энергией сама личность Люллія, до глубокой старости не перестававшаго проповѣдывать и умершаго мученикомъ. Быть-можетъ, его поразили въ твореніяхъ предшественника про- блески пантеизма. Мы имѣемъ любопытное доказательство живого интереса Бруно къ люлліевой наукѣ: Московскій Ру- мянцевскій музей хранить въ числѣ своихъ рѣдкостей руко- писную книгу неизданныхъ еще трактатовъ нашего ученаго (случайно пріобрѣтенную Норовымъ), съ нѣсколькими листка- ми собственноручной черновой работы Бруно; глядя въ осо- бенности на эти листки, чувствуешь какъ бы присутствіе его, видишь его въ минуту размышленія, заносащимъ на бумагу бѣглыми фразами свои мысли, которыя иногда усту- паютъ мѣсто написанному на поляхъ возгласу или неболь- шому итальянскому стихотворенію. И чтоже?—Главное со- держаніе тетради составляютъ разсужденія о магіи, о ду- хахъ-покровителяхъ, о „люлліевой медицинѣ“.

Но не на этомъ зиждется великое значеніе Бруно, какъ мыслителя. Это—невольная дань увлеченіямъ его времени, и съ годами, овладѣвая истинною наукой (особенно въ Анг- ліи), онъ охладѣлъ къ этимъ вкусамъ своей молодости. Стрем- леніе найти убѣжище, гдѣ онъ могъ бы свободно проповѣ- дывать свое ученіе, увлекло его по ту сторону Альпъ. Послѣ недолгой остановки въ Женевѣ, мы видимъ его во Фран- ции. Въ Тулузѣ, чей университетъ считался вторымъ въ странѣ и собиралъ до 10.000 студентовъ, открываетъ онъ свой курсъ философіи природы, устраиваетъ диспуты съ защитниками старыхъ воззрѣній и побѣдоносно разбиваетъ ихъ. Въ немъ вырабатываются способности оратора и ис- куснаго спорщика; ему нужна людная аудиторія; въ немъ воплотился столь отличающій пору Возрожденія типъ „сво- боднаго профессора“ (*Libre professeur*), не принадлежащаго ни къ какой корпораціи, переѣзжающаго изъ одного ум- ственнаго центра въ другой, разнося свои ученія по всему свѣту. Для Бруно настала пора постоянного скитанія. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній онъ сравниваетъ такихъ

искателей и распространителей истины съ смѣлымъ пловцомъ, который пускается въ открытое море на утлой лодкѣ, не страшась опасностей: волны могутъ поглотить ее, вѣтеръ разорветъ парусъ на части; а сколько опасностей на сушѣ! Непроходимыя горы, дремучіе лѣса, въ долинахъ людская злоба и неправда. Но все это не устрашаетъ путника; ему не жаль потерянной молодости, утраты богатства, бессонныхъ ночей. Его поддерживаетъ священный огонь героическаго энтузіазма, который Бруно прославилъ въ одномъ изъ лучшихъ своихъ произведеній „*Egoiçi fugogì*“, являясь самъ въ жизни нагляднымъ примѣромъ такихъ служителей идеи.

Слѣдующею послѣ Тулузы остановкой Бруно былъ Парижъ. Сорбонна, этотъ оплотъ схоластики, стояла на стражѣ, готовая искоренить малѣйшее проявленіе свободы мысли, но ея представителей, наряду съ шарлатанами и алхимиками, онъ тогда же осмѣялъ въ своей единственной комедіи *Il Candelaio*, вспышкѣ юмора, необыкновенно оригинальной у глубоко серьезнаго мыслителя, и пустоголовый педантъ *Manfugio* вошелъ въ кругъ замѣчательнѣйшихъ комическихъ типовъ. Опасность не помѣшала Бруно смѣло высказывать свои мнѣнія, сблизиться съ передовыми мыслителями, заручиться даже поддержкой Генриха III. Но истинный просторъ и отдыхъ нашелъ онъ только въ Англіи, куда послѣдовалъ за другомъ своимъ, французскимъ посломъ Мишелемъ де Кастельно. Здѣсь подъ влияніемъ большой жизненной свободы онъ впервые созналъ себя полноправнымъ, рѣчь его стала мужественнѣе, чѣмъ когда либо. „Онъ сталъ называть обманъ обманомъ, притворство притворствомъ, сталъ считать философовъ философами, педантовъ педантами, шарлатановъ, скомороховъ, акробатовъ тѣмъ, что они представляютъ собой на дѣлѣ“. Волновавшія его *Tutti ides* (какъ называлъ онъ одну изъ своихъ книгъ, *De umbris idearum*) воплощались, научныя занятія стали глубже; здѣсь созрѣли и были изданы лучшія его произведенія, философскія и сатирическія. Въ „Изгнаніи торжествующаго звѣря“ (*Spaccio della bestia trionfante*), въ этой, по выраженію Берти, поэмѣ въ аріостовскомъ вкусѣ, раньше Лессингова *На-*

тана и широко развивая мысль Боккачевой притчи о кольцахъ, онъ отъ критическаго разбора существующихъ исповѣданій восходитъ къ царству истины, — въ *Кабалъ Пеаса* громить торжествующее невѣжество и педантизмъ, въ *Egoiſi fugogî* возвеличиваетъ подвигъ свободнаго мыслителя, а въ книгѣ *De l'infinito universo et mondi* излагаетъ пространнѣе чѣмъ когда-либо свое учение. Въ Оксфордѣ онъ собиралъ массы студентовъ, объясняя свою теорію о превращеніяхъ видовъ въ природѣ. Въ развитыхъ кружкахъ, группировавшихся около двора Елизаветы, онъ встрѣтилъ искреннихъ цѣнителей и друзей, вродѣ ученаго итальянца Флоріо, переводившаго „Опыты“ Монтаня, или Филиппа Сиднея *). Наконецъ въ семьѣ своего гостепріимнаго хозяина онъ отдыхалъ душой: Капельно былъ рѣдкимъ супругомъ, а въ женѣ его и особенно въ маленькой дочкѣ Бруно готовъ былъ видѣть неземныя созданія. Когда дѣвочка пѣла и играла на музыкальномъ инструментѣ, онъ спрашивалъ себя: не ангелъ ли сошелъ къ нему съ неба? Потребность въ привязанности и семейномъ счастьѣ сказывалась въ такія минуты. Много любившій и страстно увлекавшійся въ молодости, Бруно давно подавилъ въ себѣ эти влеченія; предметомъ его культа отнынѣ стала *Софія*, мудрость, и этой возлюбленной онъ служилъ нелицемѣрно. Одно изъ стихотвореній въ московской рукописи обнаруживаетъ въ немъ этотъ постоянный разладъ страсти и высшихъ стремленій: „я ношу высоко знамя любви,—говоритъ онъ,—но я оледенилъ въ себѣ надежды и желанія. Когда въ сердцѣ моемъ сверкаютъ искры, на глазахъ навертываются слезы; я тревожусь и замираю, рвусь впередъ, сіяя радостью, и оглашаю небесный сводъ отчаянными возгласами“.

Но двухлѣтнее лондонское затишье оборвалось внезапно. Капельно былъ отозванъ, съ нимъ покинулъ Англію и Бру-

*) Слѣды вліянія Бруно на англійскую литературу его времени долго были замѣтны. Ихъ находили у Шекспира, особенно въ „Гамлетѣ“ (заимствованія изъ діалоговъ Бруно *La ceneri de le ceneri*). Изъ выдающихся писателей новѣйшаго времени вліяніе идей Бруно прослѣжено у Гете (*Giord. Bruno's Einfluss auf Göthe*, статья Бруннгофера въ VII т. *Göthe-Jahrbuch*, 1886).

но; онъ возобновилъ было въ Парижѣ свои чтенія, но, вынужденный наставшими междоусобіями оставить французскую столицу, направилъ на этотъ разъ свой путь въ другую сторону. Германія привлекала его своей оживленной умственной жизнью; онъ перебивалъ во всѣхъ главныхъ университетскихъ центрахъ: Марбургѣ, Виттенбергѣ, Гельмштетѣ, наконецъ Прагѣ, также причислявшейся тогда къ нѣмецкимъ культурнымъ пунктамъ. Счастье и теперь не всегда улыбалось ему. Только въ Виттенбергѣ, не утратившемъ еще со времени Лютера важнаго значенія въ наукѣ и церкви, его встрѣтили съ полнымъ радушіемъ, и отзывчивый Бруно отвѣтилъ на этотъ пріемъ горячими похвалами. Но и тутъ судьба не могла долго щадить его: послѣ двухлѣтней дѣятельности, доставившей ему большую популярность, наступаютъ невзгоды; въ гостепріимномъ университетѣ беретъ верхъ противоположная партія, и Джордано принужденъ опять взять свой посохъ. Наконецъ мы видимъ его, усталого и больного, во Франкфуртѣ, корректоромъ въ одной изъ лучшихъ типографій. На знаменитыя нѣкогда франкфуртскія ярмарки съѣзжалась со всей Европы разнообразная публика, въ томъ числѣ много итальянцевъ, въ особенности книгопродавцевъ. Бруно и тутъ ищетъ повода къ преніямъ и научнымъ бесѣдамъ, приготовляетъ къ печати новыя произведенія. По словамъ очевидцевъ, онъ вѣчно или за книгами, или ходитъ одиноко и строить химеры.—Среди этихъ занятій его неожиданно и пріятно поразили призывъ пови-
датель еще разъ родину: молодой представитель стариннаго венеціанскаго рода Мочениго, выставившаго изъ своихъ рядовъ семерыхъ дождей, поручилъ ѣхавшему во Франкфуртъ книгопродавцу передать Бруно о своемъ поклоненіи его мудрости, о желаніи видѣть его лично въ Венеціи и пользоваться его уроками.

Можетъ показаться слишкомъ поспѣшною готовность философа отозваться на предложеніе неизвѣстнаго ему магната, но какъ понятно радостное волненіе въ человѣкѣ, такъ любившемъ родину, утомленномъ десятилѣтнимъ изгнаніемъ и вѣчными скитаніями, и теперь внезапно увидѣв-

шемъ возможность хоть не на долго побывать въ своей землѣ! Къ тому же опасенія гоненій и суда устранялись увѣренностью, что могущественная семья Мочениго съумѣетъ отстоять его неприкосновенность. Это роковое совпаденіе обстоятельствъ ускорило развязку несчастной жизни Бруно. Прибывъ въ Венецію, онъ вскорѣ созналъ свою ошибку.

Въ Мочениго онъ увидалъ скучающаго, недалекаго и трусливаго патриція, который увлекался лишь слухами объ искусствѣ, съ которымъ Бруно преподаетъ „Люллиеву науку“, главнымъ образомъ способы развитія памяти. Широта взглядовъ учителя, довѣрчиво высказывавшаго ихъ, поразила и испугала молодого человѣка; завязанныя имъ связи съ венеціанскими вольнодумцами, вродѣ Морозини или Сарпи, были ему непріятны; критика современной догматики и восторженные мечтанія о просвѣтленной, „естественной“ религіи показались ему вредною ересью. Между учителемъ и ученикомъ начались частыя размолвки; Бруно уже собирался назадъ, во Франкфуртъ, гдѣ ему такъ хорошо жилось, но Мочениго, на этотъ разъ поддавшись настойчивому вмѣшательству своего духовника, рѣшилъ выдать Бруно въ руки венеціанской инквизиціи. Ночью, опираясь на помощь шести гондольеровъ съ ближайшей стоянки, онъ захватилъ его въ постели, продержалъ сначала подъ домашнимъ арестомъ, а потомъ, составивъ доносъ, полный нелѣпыхъ обвиненій, прямо противорѣчившихъ всѣмъ убѣжденіямъ Бруно, передалъ его тайному судилищу инквизиціи, въ которомъ немалую роль играли такъ называемые *savii all'eresia*, специально наблюдавшіе надъ искорененіемъ ересей.

Начался „венеціанскій процессъ“, всѣ акты котораго дошли до насъ. Бруно спокойно излагалъ передъ судьями свои убѣжденія, какъ будто теперь передъ нимъ была парижская или оксфордская аудиторія, а не отцы инквизиторы; вызванные свидѣтели—типографщики, знавшіе его изъ Франкфурта и нѣсколько образованныхъ венеціанцевъ, съ которыми онъ успѣлъ сойтись, дали самыя сочувственныя пока-

занія; можно было надѣяться на благопріятный исходъ,—и Бруно, подавшись крайнему душевному утомленію, дошелъ даже ненадолго до роли просителя: если оставить ему жизнь, онъ обѣщалъ измѣниться и исправить многое въ своихъ сочиненіяхъ. Но это была мимолетная слабость, внушенная, какъ и у Галилея, чувствомъ самосохраненія. Да и она была бесполезна: о задержаніи Бруно провѣдали въ Римѣ, обрадовались захвату такого „ересиарха“ и потребовали его присылки въ папскую столицу. Слабыя возраженія Венеціи, ссылавшейся на свои державныя права, не помогли: изъ Рима отвѣчали, что преступленія такого неслыханнаго врага религіи подсудны лишь верховному вождю церкви. Съ той минуты, когда Бруно вступилъ на барку, отвозившую его въ Анкону, его участь была рѣшена. Судьи римскіе превзошли изувѣрствомъ болѣе благодушныхъ венеціанскихъ инквизиторовъ, и во главѣ ихъ стоялъ кардиналъ Сантасеврина, могуществомъ превышавшій самого папу Климента, мрачный фанатикъ, считавшій Вареоломеевскую ночь свѣтлымъ праздникомъ церкви,—что ему значило послѣ этого сжить со свѣту какого-нибудь презрѣннаго еретика!

Новый процессъ затянулся на семь мучительныхъ лѣтъ (1593—1600); судьи какъ будто наслаждались возможностью медленно истерзать свою жертву. Къ сожалѣнію, мы мало знаемъ подробностей объ этомъ времени жизни Бруно; только послѣднія засѣданія суда стали нѣсколько болѣе извѣстны благодаря открытію документовъ тюбингенскимъ профессоромъ Зигвартомъ. Бруно замкнулся окончательно въ себѣ; его твердые отвѣты, полные достоинства, раздражали судей; чѣмъ больше его держали въ темницѣ, тѣмъ крѣпче закалялась его стойкость; „я не обязанъ и не хочу брать чего-либо назадъ, и нѣтъ у меня повода къ тому“, гордо отвѣчалъ онъ судьямъ за годъ до казни, и написалъ папѣ смѣлое защитительное посланіе. Послѣ перерыва снова возобновлялись допросы, быть-можетъ и пытки; всю душу истерзали они у несчастнаго. Онъ давно свыкся съ мыслью о казни: „тотъ, кто страшится за свое тѣло,—говорилъ онъ

еще въ Лондонѣ,—не можетъ чувствовать единенія съ Богомъ; вполне счастливъ лишь тотъ мудрый и добродѣтельный человѣкъ, который способенъ даже не почувствовать боли“. Закончивъ процессъ, дали подсудимому сорокъ дней, чтобъ онъ могъ „обдуматься и отречься“; но послѣ этого срока онъ гордо заявилъ, что не знаетъ за собой никакой вины и ни отъ чего отречься не хочетъ. Отъ него не скрыли, что его ждетъ именно смерть на кострѣ; въ протоколѣ записанъ его отвѣтъ: „умираю мученикомъ добровольно, но душа моя вмѣстѣ съ дымомъ костра вознесется въ рай“. На эту сатанинскую гордость отвѣтили чтеніемъ приговора; когда дочитали его до конца, Бруно произнесъ послѣднія дошедшія до насъ слова: „вы проявляете больше страха, произнося свой приговоръ, чѣмъ я, выслушивая его“. 17 февраля 1600 г. на площади Флоры, противъ развалинъ театра, нѣкогда сооруженнаго Помпеемъ, устроенъ былъ большой костеръ; войско и массы народа окружали его; по словамъ очевидцевъ, костеръ мгновенно запылалъ, и, связанный по рукамъ и ногамъ, въ сильныхъ страданіяхъ погибъ славный мученикъ. Свой характеръ онъ выдержалъ до конца. Очевидцы вспоминали, какъ другіе еретики, Гусъ, Серветъ, не могли воздержаться отъ криковъ боли или стонувъ,—Бруно ни однимъ вздохомъ не выдалъ себя.

Дальность времени, чуждая національность и различіе въ цѣляхъ и задачахъ культуры двухъ вѣковъ, во многомъ столь противоположныхъ, не можетъ заслонить отъ насъ значенія такого мыслителя и удивительно стойкаго человѣка, какъ Бруно. На примѣрѣ его, какъ на судьбѣ Галилея, Кампанеллы, Ванини и другихъ представителей необычайнаго, богатырскаго поколѣнія прежнихъ „мучениковъ науки“, отдаленнѣйшее потомство будетъ воспитывать въ себѣ идеальную преданность освобождающему знанію. Бруно мечталъ о такомъ долгомъ, загробномъ вліяніи, когда человѣкъ, „погибшій въ одномъ вѣкѣ, живетъ во множествѣ столѣтій“ (*la morte di un secolo fa vivo in tutti gli altri*). Своею, подчасъ изумительною отгадкой, дѣлающей его предшественникомъ великихъ философовъ XVIII и XIX вѣковъ,

ставящей его на одной высотѣ со Спинозой, Бруно стоитъ на рубежѣ умирающаго Возрожденія и восходящей зари новаго времени.

Послѣ казни Бруно палачи собрали пепелъ и развѣяли его во всѣ стороны, чтобъ ничего не осталось отъ такого грѣшника. Но, на зло этой безцѣльной жестокости, неуловимыя частицы праха „мученика за науку“ разнесли во всѣ концы свѣта зародыши новыхъ благородныхъ подвиговъ человѣческой мысли.

ПОСЛѢДНІЙ РЫЦАРЬ.

Эпизодъ изъ литературной и общественной исторіи Франціи
XVI—XVII вѣковъ *).

Мм. гг! Безъ малаго тридцать лѣтъ тому назадъ на такомъ же чтеніи, какъ настоящее наше собраніе, И. С. Тургеневъ представилъ своимъ слушателямъ блестящую характеристику Донъ-Кихота, и художественный образъ запоздалаго поклонника рыцарскихъ идеаловъ выступилъ въ новомъ, гуманномъ освѣщеніи. Подъ покровомъ Тургенева я рѣшаюсь занять сегодня ваше вниманіе попыткой такого же возрожденія одного изъ выдающихся дѣятелей предсмертной поры рыцарства. Не созданное поэтомъ лицо вѣчнаго неудачника Донъ-Кихота, борящагося съ воображаемыми врагами, не сильно идеализованный въ юношеской трагедіи Гёте рыцарь Гэтцъ Берлихингенскій, превращенный изъ непокорнаго авантюриста въ апостола народной вольности, будетъ моимъ героемъ. Вполнѣ реальная, могучая личность, отважно спорившая съ вѣкомъ, полная огня и страсти,—и все-таки погребенная подъ обломками стараго міра, явится здѣсь послѣднимъ воплощеніемъ рыцарской старины. Кто знаетъ, можетъ-быть, въ наше нервное время, способное иногда гордиться своимъ философскимъ уныніемъ и слабостью воли, полезно переноситься мыслью

*) Публичная лекція, прочтенная въ Петербургѣ, въ пользу Литературнаго фонда, 29 января 1889 года.

въ царство духовной силы и физическаго богатырства, отъ котораго вѣетъ эпическимъ величіемъ.

Едва миновала первая половина XVI вѣка; Франція уже вступила въ тотъ великій и тревожный періодъ, когда выставлены и смѣло поддержаны были насущные вопросы всего послѣдующаго человѣчества. Благороднѣйшіе идеалы Возрожденія встрѣчались въ освободительной проповѣди съ лучшими сторонами реформаціоннаго движенія; вѣротерпимость, свобода личности и общества, независимость научнаго изслѣдованія, борьба съ тиранніею и исканіе разумныхъ соціальныхъ формъ соединяли лучшихъ людей обоихъ передовыхъ лагерей, и только фанатическіе вопли крайнихъ кальвинистовъ вносили дисгармонію въ это рѣдкое единство, выходившее за предѣлы страны и становившееся международнымъ. Но въ разгаравшейся борьбѣ за существованіе силы противниковъ были слишкомъ неравны. Съ одной стороны стоялъ еще достаточно крѣпкій, сплотившійся въ виду опасности, государственный и церковный строй, съ другой—горсть безстрашныхъ людей, полныхъ вѣры въ будущее, но не заручившихся поддержкою народныхъ массъ. Самосохраненіе внушало защитникамъ стараго порядка жестокія средства отмести; жизнь человѣческая ставилась ни во что. То и дѣло вспыхивали костры, истреблявшіе еретиковъ всякаго рода; спасшихся отъ гибели ждало изгнаніе. И въ этой-то злобѣщей обстановкѣ слышался смѣхъ Рабле, бойкіе стихи Клемана Маро, философскіе діалоги Де-Перье, и въ тиши ученой келіи восемнадцатилѣтній Ла-Бюэси писалъ свой страстный памфлетъ противъ „Добровольнаго рабства людей“ *), тогда уже предвѣщая завѣтныя идеи XVIII вѣка! Ничто не въ силахъ было сломить мужества этихъ людей, и число ихъ все возрастало.

Еще ожесточеннѣе, быть-можетъ, шло искорененіе ре-

*) „De la servitude volontaire ou le contr'Un“; въ первый разъ напечатанъ послѣ смерти автора, въ 1576 году. Всѣ сочиненія этого даровитаго юноши, друга Монтаня, изданы Фэжеромъ (Oeuvres complètes de Etienne De La Boétie, 1846).

лигіознаго разномыслія. Обращенная не противъ отдѣльныхъ только лицъ, но преслѣдовавшая успѣхи протестантизма во всемъ народѣ, реакція превращалась въ гражданскую войну, озлобленную и опустошительную. На-встрѣчу поднимались негодующія и оскорбленныя массы, не знавшія за собою никакого грѣха ни передъ Божьимъ, ни передъ свѣтскимъ правосудіемъ, и желавшія для себя свободы совѣсти. Борьба изъ-за догмата превращалась въ вооруженное столкновение, вызывавшее чудеса храбрости и геройства у тѣхъ, кто наканунѣ еще могъ считаться самымъ вѣрнымъ подданнымъ. Соединенный натискъ королевской и духовной власти возбуждалъ, кромѣ того, и въ этомъ станѣ отпоръ политическому деспотизму; не вымершій еще съ рыцарскихъ временъ духъ независимаго дворянства, готового отстаивать свои вольности противъ усилившагося роялизма, встрѣчаясь въ этомъ отношеніи съ требованіями горожанъ, которые еще въ XV столѣтіи умѣли иногда вліять на дѣла, точно будущій *Tiers-Etat* *), придавалъ борьбѣ значеніе политическое. Если въ ту пору Возрожденіе и реформація не разъ сливались въ одно освобождающее движеніе, и такие люди, какъ Анри Этьень, Маро или Де-Перье оставили по себѣ славную память въ лѣтописяхъ обѣихъ школъ, то и тѣ бойцы за права гонимаго протестантизма, которые защищали его на полѣ битвы, въ то же время являлись провозвѣстниками политическаго пробужденія массъ.

Въ самый разгаръ этой тревожной поры, когда воздухъ былъ насыщенъ элементами борьбы и враждебности, въ одномъ изъ дальнихъ дворянскихъ замковъ Сентонжа, въ семьѣ захудавшей и гонимой за вѣрность протестантизму, родился (въ 1552 г.) Теодоръ Д'Обинье **); горе встрѣтило

*) Особенно во время борьбы Карла VII съ англичанами.

**) Главнѣйшіе источники для его біографіи: „Ma vie à mes enfans“ и „Histoire universelle“ самого Д'Обинье; Eugène Réaume, *Etude historique et littéraire sur Agrippa D'Aubigné*. 1883.—A. Sayous. *Etudes littéraires sur les écrivains français de la réformation*. 1841, 2-й томъ.—Haag. *La France protestante*, 1846.—Lavallée. *La famille d'Aubigné*.—Heyer. *D'Aubigné à Genève*. 1870.—Характеристики у Сентъ-Бѣва, *Causeries du lundi*, томъ X; въ предис-

его съ минуты рожденія, — мать умерла отъ мучительныхъ родовъ, и ему въ постоянное напоминаніе о томъ дали второе имя Агриппы, отъ *aegre partus*. На серьезнаго, вѣчно сдержаннаго отца его двойственный духъ вѣка наложилъ свою печать: онъ былъ поклонникомъ учености и ревностнымъ протестантомъ, книжникомъ и храбрымъ воиномъ. Онъ и сына своего повелъ такимъ же путемъ. Шестилѣтній Агриппа свободно читалъ на четырехъ языкахъ, черезъ годъ переводилъ Платона, а въ то же время постепенно готовился къ рыцарскимъ упражненіямъ, закалявшимъ физическую ловкость и неустрашимость. Тогда еще въ воспитаніе дворянства входили эти отголоски средневѣковой поры; молодежь состязалась на турнирахъ во славу дамъ *), и переносилась мыслью въ блаженное время рыцарей Круглаго Стола. Но бѣдствія религіозной войны внезапно разстроили домашнее воспитаніе Д'Обинье, такъ напоминавшее обстановку дѣтства барона старыхъ временъ. На склонѣ лѣтъ ему все еще живо представлялась страшная минута изъ этой ранней поры, сразу открывшая ему глаза. Они бѣдутъ съ отцомъ черезъ Амбуазъ; на площади толпится народъ вокругъ лобнаго мѣста, на которомъ еще виднѣются отсѣченные головы казненныхъ заговорщиковъ-протестантовъ. Забывъ, что онъ среди враговъ, что его окружаетъ нѣсколько тысячъ фанатизованныхъ католиковъ, отецъ внѣ себя отъ горести воскликнулъ во всеуслышаніе: „Они обезглавили Францію, эти палачи!“ Толпа зашевелилась, зароптала; старикъ прищпорилъ коня; сынъ, изумленный неожиданною переменой въ отцѣ и страннымъ выраженіемъ его лица, едва поспѣвалъ за нимъ; двадцать всадниковъ свиты неслось позади. Отъѣхавъ нѣсколько, старикъ Д'Обинье остановился, положилъ руку на голову сына и торжественно взявъ съ него клятву не жалѣть ни себя, ни его, и во что бы то ни стало отмстить за этихъ доблестныхъ му-

словія Charles Read къ его изданію „Les Tragiques“, 1872.—Raoul Frary, *Mes tiroirs*, 1886.—Henke, статья о Д'Обинье въ *Historisch. Taschenbuch*. 1873.

*) *Les sentiments moraux au XVI siècle* par Albert Desjardins. 1887, p. 425.

жей. „Если ты сробѣешь или станешь беречь себя,—привавиль онъ,—отцовское проклятіе постигнетъ тебя“. Дрожа отъ волненія, мальчикъ далъ эту клятву—и сдержалъ ее потомъ. Теперь онъ зналъ, что такое жизнь.

Школьные его годы также переиѣшаны съ военными дѣйствіями, осадами, нападеніями, даже плѣномъ мальчика. То онъ въ Парижѣ, то въ Орлеанѣ: отцу некогда съ нимъ заниматься, и педагогъ-гуманистъ заступаетъ его мѣсто; иногда покажется старикъ, посмотреть на сына, найдеть, что его слишкомъ нѣжать, пришлетъ ему грубую одежду и приказъ ходить по мастерскимъ и учиться труду,—а потомъ снова исчезнетъ въ пороховомъ дымѣ. Наконецъ, его опасно ранили и, какъ только перемиріе было заключено, онъ захотѣлъ отдохнуть,—простился съ сыномъ, „завѣщаль ему стоять за вѣру, любить науку, быть вѣрнымъ другомъ, *противъ обыкновенія* поцѣловалъ его и удалился“; черезъ нѣсколько времени его не стало. Агриппа осиротѣлъ, остался на попеченіи опекуна, возобновилъ занятія въ Женевѣ, тревожно переходилъ отъ филологіи къ математикѣ, даже къ магіи, тосковалъ, рвался на волю. Междоусобія возобновились; юношѣ не сидѣлось дома; опекунъ боялся возможности его побѣга и приказывалъ на ночь уносить его платье. Но Д'Обинье успѣлъ тайно сговориться съ товарищами, отправлявшимися на войну. Ночью ему подали сигналъ; въ одной рубашкѣ спустился онъ по полотну изъ окна и добѣжалъ до проѣзжавшаго мимо отряда. Его подсадили на сѣдло, закутали въ солдатскій плащъ, дали кое-какое оружіе. Въ первой же стычкѣ онъ добылъ себѣ писталь, потомъ самъ позаботился объ одеждѣ. Къ нему скоро привыкли; отчаянная его храбрость располагала въ его пользу, и ему стали довѣрять даже партизанскіе набѣги. Такъ рано началась для него жизнь воина, и пятьдесятъ четыре года сряду онъ не разставался съ нею.

Но въ первое время горячность вовлекала его въ крайности; онъ способенъ былъ забыть, за какую идею борется, и поддаться опьяняющему чувству отместки, даже жестокости. Отстаивая гонимыхъ, онъ самъ становился гони-

телемъ; онъ былъ слишкомъ молодъ для роли военачальника; его люди грабили побѣжденныхъ противниковъ и мирное католическое населеніе. Мозгъ не выдержалъ водоворота трагическихъ, раздирательныхъ впечатлѣній; горячка довела Д'Обинье до края могилы; въ бреду переживалъ онъ всѣ ужасы войны, взводилъ на себя страшныя преступленія; „волосы вставали дыбомъ у присутствующихъ“. Когда онъ наконецъ очнулся, натура его какъ будто переродилась. Все лучшее въ ней взяло верхъ, и никогда не вернулся онъ болѣе къ безумному увлеченію кровавою стороною войны. Отнынѣ онъ какъ-то сердечнѣе полюбилъ ее, какъ могъ бы ее полюбить убѣжденный рыцарь старыхъ временъ; она стала для него благороднымъ занятіемъ, служеніемъ родинѣ и вѣрѣ. Съ видимымъ удовольствіемъ вспоминалъ онъ, напримѣръ, потомъ, что тотъ или другой годъ проведенъ былъ „въ изрядныхъ военныхъ упражненіяхъ“ (*en gentils exercices de guerre*), а когда хотѣлъ выставить чьи-либо рѣдкія качества, заявлялъ, что этотъ человѣкъ „достоинъ быть участникомъ въ междоусобіяхъ“ (*un homme digne des guerres civiles*). Но онъ и борьбу ведетъ теперешнимъ способомъ: безстрашный и могучій, онъ въ состояніи умѣрять свой пылъ во имя кроткой дамы его сердца. Онъ въ первый разъ искренно полюбилъ, и поклоняется своей Діанѣ, какъ вѣрный паладинъ; на правой рукѣ его показался браслетъ, свитый изъ ея волосъ. Однажды въ единоборствѣ на полѣ сраженія Д'Обинье внезапно останавливается, передаетъ шпагу въ лѣвую руку, чтобы потушить другою драгоцѣнный браслетъ, загорѣвшійся отъ выстрѣла. Понявъ это движеніе и его противникъ, опустилъ свою шпагу и сталъ ею чертить по песку... Та же любовь сдѣлала молодого воина поэтомъ. Въ честь дамы послышались безконечныя его сонеты, оды, эпиграммы, составившіе три сборника; первый изъ нихъ характеристически названъ „гекатомбой въ честь Діаны“, а все это пѣсенное богатство—„Весной Д'Обинье“ (*Le printemps du sieur D'Aubigné*) *). Но это

*) Наиболѣе полное собраніе сочиненій Д'Обинье издано Эж. Реомонъ и

именно весна воинствующаго поэта; по его же словамъ, отъ его стиховъ часто пахнетъ сѣрой и порохоми; свою богиню онъ занимаетъ разсказами о бояхъ; „его страстные вздохи, дерзкія желанія, безсильныя жалобы, мучительныя рыданія,—увѣряетъ онъ,—превратили его разсудокъ въ междоусобную войну“ (*font de ma raison une guerre civile*); недавно онъ видѣлъ смертельно раненаго солдата, умолявшаго товарищей заколотъ его, чтобы прекратить его терзанія,—такъ и онъ томится отъ глубокой сердечной раны, которую нанесла ему ея несравненная красота.

Стихи не всегда удачны, написаны въ духѣ Ронсара, котораго Д'Обинье считалъ тогда образцомъ, но въ нихъ уже встрѣчаются мѣткія, образныя выраженія, такъ отличавшія позднѣйшій его слогъ, и они согрѣты тою „рьяною горячностью“ (*fureur*), которая тѣшила подъ старость самого автора, когда онъ пересматривалъ стихотворныя грѣхи своей молодости. Въ одномъ изъ сонетовъ „Весны“ онъ шутилъ о приближеніи „среброкудрой зимы“ (*l'Hiver à la tette grisonne*), заставляя ее тщетно состязаться бѣлизною снѣга съ его милой,—подъ конецъ зима дѣйствительно пришла къ нему, и его поэтическое творчество замыкается грустнымъ стихотвореніемъ, которое онъ называлъ „своей Зимой“. Старѣвшій Д'Обинье почувствовалъ, какъ покидаютъ его страстныя влеченія, какъ холодъ охватываетъ все его существо; „улетайте, ласточки,—говоритъ онъ имъ,—вы почувяли, что тепло уходитъ, и стужа приближается; ищите себѣ другаго гнѣзда, а меня оставьте дремать въ сумракѣ моей зимы“.

Но не все въ его весеннюю пору могло бы выдержать потомъ суровый судъ искушеннаго жизнью старца. Блестящій и храбрый Д'Обинье заплатилъ дань суетности; Генрихъ Наваррскій въ память заслугъ его отца приблизилъ его къ себѣ, и вмѣстѣ они появились въ Парижѣ, при дворѣ. Нужно было пройти и черезъ это испытаніе и вблизи увидѣть

Де-Коссаломъ; четыре тома появились въ 1873 году (*Oeuvres complètes de Théodore Agrippa D'Aubigné publiées pour la première fois d'après les manuscrits originaux*); дополнительные пятый и шестой въ 1892.

виновниковъ несчастій родины, Екатерину Медичи („флорентинку“, какъ онъ называлъ ее впослѣдствіи), Гизовъ, Невера, чтобы лучше понять свой гражданскій долгъ. Но и Наваррскій властитель не походилъ еще на Генриха IV, и Д'Обинье былъ слишкомъ молодъ. Оба они показывались на блестящихъ празднествахъ, которыя давала во вкусъ итальянскаго Возрожденія королева; оба готовы были дѣлать уступки, слишкомъ положившись на лживое замиреніе и не чуя близкой опасности. Втайнѣ готовилась Вареолмеевская ночь. Д'Обинье случайно уцѣлѣлъ, выѣхавъ за нѣсколько дней до рѣзни изъ Парижа послѣ уличной стычки съ полиціей. Вернувшись съ трудомъ въ столицу, онъ засталъ тяжкую паннику; по временамъ убійства возобновлялись; двѣ тысячи убитыхъ въ Парижѣ, двадцать тысячъ во всей Франціи раскрыли чудовищную силу фанатизма. Самихъ мучителей охватила нервная тревога и галлюцинаціи; по ночамъ Карлъ IX не могъ сомкнуть глазъ; постоянно ему слышались стоны и дикій шумъ толпы; онъ посылалъ за Генрихомъ, и тотъ столь же явственно слышалъ плачь, крики и проклятія *). Между тѣмъ въ городѣ все было спокойно. Стоны точно застыли въ воздухѣ.

Оставаться въ вертепѣ убійцъ нельзя было. Первый очнулся Д'Обинье; пользуясь меланхолическимъ настроеніемъ своего покровителя, котораго засталъ однажды въ пароксизмѣ лихорадки, повторяющимъ про себя слова псалма объ одиночествѣ и измѣнѣ друзей, онъ пристыдилъ его рабской зависимостью: „вѣдь онъ самъ могъ бы повелѣвать, а добровольно сталъ слугой“. Былъ рѣшенъ тайный отъѣздъ, и черезъ нѣсколько дней, очутившись на волѣ, „Бэарнецъ“ былъ уже во главѣ самостоятельнаго отряда. Всѣ связи были порваны, отступленіе отрѣзано. На много лѣтъ пошла трудовая жизнь обоихъ друзей, безъ усталости проведенная въ бояхъ. Всѣ опасности они дѣлили вмѣстѣ; Д'Обинье не разъ спасалъ жизнь королю; приходилось голодать и си-

*) Ranke. Französische Geschichte vornehmlich im 16 und 17 Jahrh., 1868, I, 238—39.

дѣть безъ денегъ. Только подѣ конецъ этой напряженной боевой дѣятельности Д'Обинье удалось сформировать себѣ отрядъ изъ тысячи человѣкъ и вести съ помощью его партизанскую войну, отдѣльно отъ королевскихъ войскъ. Съ своими удалцами онъ взялъ тогда замокъ Мальезэ, въ Вандеѣ, давно манившій его неприступнымъ положеніемъ на островѣ; онъ водворился тамъ, усилилъ укрѣпленія, устроилъ подъемные мосты и рвы, и часто запирался тутъ въ дни превратностей. До сихъ поръ еще видны остатки башенъ, валовъ и высокихъ стѣнъ. За шестьдесятъ лѣтъ передъ тѣмъ внутри ихъ сходилосъ совсѣмъ иное общество; юный епископъ, покровитель науки, собиралъ здѣсь своихъ друзей-гуманистовъ; Рабле былъ украшеніемъ этихъ сборищъ, на которыхъ царила свобода. Онъ вспомнилъ о нихъ потомъ въ своемъ романѣ. Крѣпость Д'Обинье была сначала аббатствомъ, и быть-можетъ оно дало нѣсколько чертъ для изображенія идеальнаго монастыря, Телэмы, на вратахъ котораго красовалась надпись, закрывавшая входъ въ него притворщикамъ и негодьямъ и призывавшая всѣхъ честныхъ людей,—той обители, въ которой существовало только одно правило: *Fais se que voudras* *).

Среди приверженцевъ Генриха за Д'Обинье закрѣпилась репутація слишкомъ прямодушнаго человѣка, не примиряющагося ни съ какими слабостями или сдѣлками, неудобнаго въ житейскихъ сношеніяхъ. Прежняя склонность къ цвѣтистой риторикѣ уступила у него мѣсто сжатоу, мѣткому, желѣзному слогу; онъ гордился теперь умѣньемъ говорить и писать такъ, какъ это дѣлали предки, называя вещи ихъ именами; отъ его рѣчи „вѣяло стариннымъ, но свободнымъ французскимъ языкомъ“ (*le vieux, mais le libre français*),—и съ этою свободой онъ говорилъ правду въ лицо и королю, и его приближеннымъ. Ему непріятны были любовныя похождения Генриха, ради которыхъ онъ иногда портилъ ус-

*) *La vie de Gargantua et de Pantagruel*, livre I, chap. LIV—LVII. Характеристикѣ Телэмы посвятилъ недавно блестящій этюдъ (*La Badia di Thélème di Rabelais*) Zumbini въ новой своей книгѣ „*Stndi di letteratura straniera*“, 1893.

пѣхъ военныхъ дѣйствій, внезапно скрываясь; ему чудились въ королѣ и зависть къ чужимъ заслугамъ, и привычки автократа, и нѣсколько презрительное недовѣріе къ заурядному люду, но онъ цѣнилъ его достоинства, многое прощалъ ему и опять готовъ былъ грудью защищать его. А въ Парижѣ творилось неслыханное и невиданное: развѣрывалось во всемъ своемъ цинизмѣ правленіе Генриха III съ дружиной его фаворитовъ, которые осмѣливались топтать и преслѣдовать честныхъ и никому не сдѣлавшихъ зла гугенотовъ. Страна опустошалась безконечными внутренними войнами; образованность, вѣра, наука были поруганы; лучшіе люди принуждены хронически вести жизнь инсургентовъ. Тяжело становилось порою на душѣ, и мрачныя, негодующія мысли рвались наружу. Тяжело раненый въ сраженіи при Кабель-Жалу, Д'Обинь въ лихорадочномъ возбужденіи продиктовалъ у себя въ палаткѣ мѣстному мировому судѣ первую пѣснь важнѣйшаго своего произведенія, поэмы „Les Tragiques“; вся горечь переживаемой минуты, все негодованіе на совершающіяся беззаконія создали его новый стихъ, едва похожій на прежнія его пѣснопѣнія; онъ раздался впервые на полѣ битвы и навсегда сохранилъ слѣды своего происхожденія. Такъ въ пѣснѣ о Роландѣ все еще дышетъ тяжкимъ богатырскимъ боемъ.

Дальнѣйшія части поэмы, этой безпощадной лѣтописи несчастій Франціи, писались урывками, превращаясь иногда какъ бы въ дневникъ; окончить ее автору удалось лишь въ старости,—но тѣмъ своеобразнѣе значеніе ея, какъ спутницы его жизни, тѣмъ яснѣе соединеніе въ немъ война, поэта и защитника вѣры. Но среди вѣчныхъ военныхъ тревогъ не замерла и его личная жизнь. Истинный сынъ своего вѣка, онъ какъ-то успѣвалъ слѣдить за всѣмъ, что было важнаго въ литературѣ и наукѣ Франціи и другихъ странъ. Въ его печатныхъ произведеніяхъ и письмахъ замѣтно знакомство съ итальянскою литературой, Петраркой, Бембо, Боккачю, Кастильоне; онъ читалъ и *Umanità* Моруса; оппозиціонная, политическая школа въ родной словесности встрѣчала въ немъ полное сочувствіе и солидарность. Рабле онъ назы-

ваетъ не иначе, какъ *maître François, auteur excellent*, гордится близостью съ Монтанемъ и приводитъ его подлинныя рѣчи; онъ читалъ и трактатъ Ла-Бюэси, и „Оборону противъ тиранновъ“ Юнія Брута галльскаго *), и *Franco-Gallia* Отмана, романтически разукрасившую отдаленную старину, какъ время свободы и равенства **). Съ послѣднимъ произведеніемъ его сближало собственное увлеченіе стариной, столь противоположной измелъчавшему поколѣнію, которое его окружало. Но томленіе по богатырскимъ временамъ не приводило его къ ропоту на все новое; напротивъ, его удовлетворило бы только соединеніе лучшихъ заветовъ старины съ завоеваніями прогресса.

Не было у него въ эту пору недостатка и въ культѣ дамы. Но время было слишкомъ занятое, чтобы долго предаваться сентиментальному, платоническому обожанію. Д'Обинье въ минуту недовольства и унынія согласился было поѣхать въ Германію съ важными бумагами отъ короля, но, проходя отъ него къ себѣ, увидѣлъ въ окнѣ одного дома прелестную молодую дѣвушку, Сюзанну Лезз, рѣшилъ, что „его Германія рядомъ съ нимъ“, отказался отъ поѣздки и вскорѣ былъ счастливымъ мужемъ. Но его семья была настоящею семьею воина; онъ укрывался въ нее лишь по временамъ, когда частыя перемирія пріостанавливали борьбу; любимый сынъ, сидя на его колѣняхъ, игралъ его тяжелыми доспѣхами. Глубоко привязался Агриппа къ своей женѣ и, когда ея не стало, цѣлыхъ три года „не проводилъ ни одной ночи безъ горькихъ слезъ о ней“. Опытъ жизни научилъ его вы-

*) *Vindiciae contra tyrannos, sive de principis in populum, populi in principem, legitima potestate*, 1581. Подъ псевдонимомъ «галльскаго Брута», какъ долго полагали, скрывался даровитѣйшій изъ публицистовъ того времени Hubert Languet. Максъ Лоссеъ (въ *Sitzungsberichte Мюнхенск. академіи* 1887) приписалъ эту книгу Дюплесси-Морнэ. Новѣйшія изслѣдованія подтвердили эту догадку.

**) О своеобразной этой работѣ швейцарскаго ученаго см. статью Армстронга «The political theory of the huguenots» въ *English historical review*, 1889, january, также статьи Дареста «François Hotman d'après sa correspondance», *Revue historique*, 1876.

соко цѣнить тѣхъ немногихъ людей, которые вполнѣ были единомысленны съ нимъ; съ преданностью женѣ соединялась его дружба съ лучшими изъ гугенотскихъ вождей. Дюплесси-Морнэ, Ла-Тремойль удивляли современниковъ безстрашнымъ характеромъ и желѣзною выдержкой; они были изъ того же богатырскаго кряжа, что и Д'Обинье; враговъ брало смущеніе при мысли, что у гугенотовъ, быть можетъ, много такихъ людей. Ихъ поднимала и воодушевляла идея; на противоположной сторонѣ двигательною силой являлись политическій расчетъ, изувѣрство, жажда власти. Эти же „христіанскіе рыцари“ препоясывали мечъ „для защиты всѣхъ оскорбленныхъ, бѣдныхъ, вдовъ и сиротъ, для обороны добродѣтели, поруганной негодяями, для борьбы съ несправедливостію тирановъ“ *). Ихъ поддерживала увѣренность въ конечномъ торжествѣ ихъ дѣла; если дождутся они воцаренія своего повелителя надъ всею Франціею, прекратятся беззаконія, возродится гонимая вѣра и настанетъ благодатный миръ; не будетъ тогда различія между католиками и протестантами, сыновьями одной и той же родины,—будутъ только равноправные братья—французы. Такъ мечталъ и Д'Обинье, видя, какъ лига запутывается въ своихъ проискахъ, какъ падаетъ ея вліяніе и растетъ эпическая популярность короля Наваррскаго. Тѣмъ временемъ Генрихъ III какъ будто одумался, отбросилъ свою лѣнь и развратныя привычки, мужественно взялся за правленіе, сблизился съ гугенотскимъ королемъ, готовилъ реформы—и палъ, сраженный кинжаломъ фанатика. Давно желанная минута настала.

Еще нѣсколько послѣднихъ усилій лигѣровъ отстоять свою позицію, безумная затѣя призвать на престолъ испанскаго принца, неудачный съѣздъ генеральныхъ штатовъ, собранныхъ съ этою цѣлью, злой смѣхъ безымянной „Satyre Menippée“, обличившей интригу и ея позорныхъ дѣятелей,—и поле передъ Генрихомъ IV было расчищено.

*) Oeuvres complètes de Th. A. D'Aubigné, 2 vol., «Traité sur les guerres civiles», p. 29.

Всѣ взоры были обращены на него. Но первыя же его дѣйствія непріятно поразили Д'Обинье; они были слишкомъ уступчивы по отношенію къ врагамъ и уклончивы въ дѣлѣ протестантизма. Генрихъ позналъ на опытѣ силу такъ называемыхъ высшихъ государственныхъ соображеній; самосохраненіе также внушило ему мысль подчиниться господствующей церкви. У трупа своего предшественника онъ далъ клятву перейти въ ея лоно и этимъ успокоить умы; стоявшіе вокругъ придворные и высшая католическая знать такъ злобно отнеслись къ нему, такъ громко грозили ему, что онъ понялъ необходимость уступки, предоставляя себѣ обезпечить и права своихъ единовѣрцевъ. Но для Д'Обинье не существовало такихъ сдѣлокъ съ совѣстью; онъ не хотѣлъ знать государственныхъ соображеній; ему былъ ясенъ долгъ каждаго, кто выстрадалъ вмѣстѣ съ несчастною массой реформатовъ муки и гоненія. Въ податливости короля онъ почуялъ измѣну и сказалъ ему это. Охлажденіе возростало между ними. Генрихъ избѣгалъ его, а когда внезапно приближалъ къ себѣ, говоря ему, какъ прежде, при всѣхъ: „сегодня мнѣ нужно ваше суровое прямодушіе“ (*votre rude franchise*), это не радовало уже его, какъ прежде. Король позволялъ себѣ самонадѣянно взвѣшивать шансы своего успѣха, увѣряя, наприм., что берется за 500 червонцевъ купить любого изъ членовъ высшей знати, и Д'Обинье возмущалъ этотъ легкомысленный цинизмъ. Вліяніе старѣвшаго, но неисправимаго рыцаря стало ничтожнымъ; онъ надѣялся одно время на содѣйствіе Габріэлы д'Эстре, въ которой отгадывалъ даровитую и честную натуру. Но ничто не остановило Генриха, и въ шутиломъ тонѣ онъ извѣстилъ однажды свою любимицу, что въ слѣдующее воскресенье сдѣлаетъ „опасный прыжокъ“ (*le saut périlleux*). 25 іюня 1593 года въ Сенъ-Дени онъ отрекся отъ своихъ заблужденій и возвратился къ религіи своихъ предковъ. Д'Обинье едва пережилъ этотъ день; ему казалось, что небесные громы обрушатся на клятвопреступника. Слѣдомъ за королевскимъ примѣромъ пошли десятки [случаевъ такого же отступничества; становилось выгодно торговать своею совѣстью, а

искусные проповѣдники такого возсоединенія, вродѣ епископа эврѣскаго Дюперрона, котораго тогда же прозвали „le grand Convertisseur“, усиленно подбирали всѣхъ ненадежныхъ и равнодушныхъ протестантовъ, маня ихъ выгодами, карьерой. Д'Обинье мастерски осмѣялъ эту возню прозелитовъ, всюду засуетившихся и выказывавшихъ необыкновенное рвеніе къ новой вѣрѣ, въ сатирическомъ очеркѣ „La confession catholique du sieur de Sancy“. Авторъ мнимой исповѣди, лицо вполне реальное, раскрываетъ здѣсь свою мелкую душонку, готовъ пристать къ какой угодно религіи или сектѣ, которая дороже ему заплатить, видитъ всѣ низости людей его совратившихъ, потѣшно рассказываетъ о нихъ, но при всѣхъ притворяется, что ничего не замѣчаетъ; если же спросятъ его, зачѣмъ онъ сталъ католикомъ, онъ ссылается на свою бѣдность, которая постоянно возрастала, пока онъ былъ съ гугенотами, а затѣмъ и на примѣръ короля. Коли онъ не счелъ этого зазорнымъ, о чемъ же заботиться мелкимъ людямъ! Итакъ, смѣлѣе впередъ, на защиту католичества! Нечего смущаться вѣчными жалобами реформатовъ на притѣсненія и казни. „Нужно брать примѣръ съ Испаніи и Португаліи, гдѣ поступаютъ гораздо благоразумнѣе. Тамъ не проходитъ года, чтобы не погибло съ сотню еретиковъ, но свидѣтелями ихъ твердости являются одни лишь тюремщики и палачи, которые не станутъ обнаруживать ихъ тайнъ, подобно Ивиковымъ журавлямъ“.

Но Генриху все еще хотѣлось оправдаться передъ старымъ другомъ. Когда у нихъ зашелъ однажды обычный разговоръ, состоявшій изъ упрековъ и возраженій, король указалъ Д'Обинье на свои губы, незадолго передъ тѣмъ разсѣченные во время неудачнаго покушенія Шателя; это, по его мнѣнію, достаточное доказательство печальной доли, которую онъ на себя навлекъ. Д'Обинье вспыхнулъ; точно пророческое вдохновеніе овладѣло имъ, и онъ отвѣчалъ: „Теперь вы отреклись отъ Бога одними губами, и Онъ пронзилъ вамъ ихъ; когда же вы отречетесь отъ Него всѣмъ сердцемъ, Онъ пронзитъ это сердце“,—и противъ

его воли слова эти глубоко запали въ его память. Съ тѣхъ поръ и до конца царствованія Генриха онъ держится поодаль; гугенотская оппозиція видитъ въ немъ своего верховнаго вождя; на частыхъ сѣздахъ дворянства и на протестантскихъ синодахъ слышится его прямодушная рѣчь, которая прежде брала верхъ надъ королемъ и его совѣтниками, а теперь поддерживаетъ огонь недовольства въ его недавнихъ единовѣрцахъ. Забѣгаютъ къ Д'Обинье агенты отъ заговорщиковъ, обѣщая великія выгоды протестантамъ, лишь бы они помогли свергнуть короля,—но онъ съ негодованіемъ отвергаетъ эти предложенія. Его не успокоилъ Нантскій эдиктъ, не примирили умныя экономическія мѣры Сюлли. Прямолинейный и строго послѣдовательный, онъ ни за что въ мірѣ не могъ простить измѣны и не переставалъ вѣрить въ кару Немезиды. Вдругъ ему пришли сказать, что король злодѣйски убитъ. Сначала слухъ прошелъ, что ударъ былъ нанесенъ въ горло. „Не можетъ быть, непременно въ сердце!“ воскликнулъ Д'Обинье, вспомнивъ свое пророчество, и, когда обнаружилось, что онъ былъ правъ, долго не могъ преодолѣть волненія при мысли, что судьба избрала его истолкователемъ ея вѣдній.

Горько пришлось ему вскорѣ пожалѣть о погибшемъ другѣ. Слова Генриха, сказанныя приближеннымъ за нѣсколько времени до смерти: „вы не умѣете меня цѣнить,—будете горевать обо мнѣ, когда меня не станетъ“,—эти слова вполне оправдались относительно Д'Обинье. Прежніе личные счеты и столкновенія, въ которыхъ и онъ бывалъ неправъ, отдаваясь своему горячему темпераменту, отодвигались все дальше, а противоположность величавости и боевого мужества съ тѣмъ царствомъ посредственности, которое ихъ смѣнило, съ недостойными интригами, ставшими основой политики, болѣзненно дѣйствовала на него. Во время своего регентства Марія Медичи желала привлечь къ себѣ Д'Обинье, но ему достаточно было побывать въ Парижѣ и посмотреть на новый дворъ, чтобъ увидать, что съ этими людьми у него нѣтъ ничего общаго. Заволновалось было дворянство, снова попытавшееся отвоевать себѣ самостоятель-

ность; Конде сталъ набирать войска, и, казалось, старыя междоусобія готовы были возгорѣться. Понадѣялся на это Д'Обинье, примкнувъ къ движенію—и вскорѣ увидалъ, какъ тотъ же Конде перешелъ на сторону правительства; начались раздоры между королевой-матерью и юнымъ Людовикомъ XIII, Марія сама очутилась въ роли инсургентки, но все побѣдила и уладила новая сила, смѣнившая собой боевые порывы и слишкомъ безпорядочныя страсти,—сила дипломатіи. Вѣкъ Д'Обинье прошелъ, насталъ вѣкъ Ришелье.

Все вокругъ потускнѣло и сжалось. Одинъ за другимъ крушились прежніе оплоты гугенотской оппозиціи. Едва держалась Ла-Рошель; умерли или ушли въ изгнаніе лучшіе люди прежней поры. Д'Обинье пробовалъ держаться одинъ со своимъ партизанскимъ отрядомъ, но и это оказалось неисполнимымъ. Тогда онъ, точно гетевскій Гэтцъ, заперся въ своемъ замкѣ, поднялъ мосты, вооружилъ крѣпостныя валы—и сталъ писать свою „Всеобщую Исторію“, собственно исторію своего времени и всѣхъ событій, которыхъ ему пришлось быть очевидцемъ или участникомъ; онъ взывалъ къ суду потомства и обнажалъ передъ нимъ всѣ свои дѣла и помышленія, давъ себѣ слово ни о чемъ, даже о Варео-ломеевской ночи, не высказывать своего сужденія, не навязывать его читателю, а предоставить фактамъ говорить за себя. Ла-рошельцы присылали ему совѣты отказаться отъ непосильной борьбы; показывались королевскіе отряды, тщетно пытавшіеся блокировать замокъ; дѣлались подходы, съ цѣлью купить въ казну у упрямаго старика его помѣстье, но онъ все стоялъ на своемъ. Наконецъ онъ понялъ несбыточность борьбы одного человѣка противъ цѣлаго общества, утомленнаго долгими внутренними неустройствами и пассивно подчинявшагося центральной власти, которая обѣщала ему по крайней мѣрѣ покой. Онъ продалъ свой замокъ въ частныя руки, удалился въ городокъ Сень-Жанъ д'Анжели, докончилъ и выпустилъ тамъ въ свѣтъ свою „Исторію“. Ожесточеніе прежняго возстала противъ него всѣ, кого больно уколола его суровая лѣтопись. Его положеніе становилось опаснѣе съ каждымъ днемъ; онъ

зналъ, что за нимъ слѣдять, желая во что бы то ни стало завладѣть имъ. Внезапно собрался онъ въ путь; небольшая кучка изъ двѣнадцати верховыхъ помчалась въ сторону швейцарской границы. Д'Обинье зналъ всѣ дороги и искусно обходилъ по ночамъ королевскіе отряды; передъ Буржемъ его едва не взяли въ плѣнъ, но крестьянинъ помогъ ему спастись, указавъ бродъ черезъ рѣку; иногда приходилось ѣхать по-двое, чтобъ не обращать на себя вниманія соглядатаевъ. Наконецъ въ сентябрѣ 1620 г. Д'Обинье прибылъ въ Женеву и, тронутый радушною встрѣчей городскихъ властей, чествовавшихъ въ немъ единовѣрца и заступника, онъ впервые послѣ многолѣтнихъ тревогъ нашелъ спокойствіе и безопасность. Женева крѣпко полюбилась ему; онъ называлъ ее своею спасительною гаванью (*Navre de grâce*).

До той поры Д'Обинье былъ по-своему сторонникомъ единоличной власти,—правда, съ большими ограниченіями. Онъ напоминалъ въ этомъ отношеніи патріарха всего гугенотскаго движенія, Колинъи, который, ополчаясь противъ существующаго порядка, вполне убѣжденъ былъ, что остается вѣрнымъ подданнымъ. Повидимому Агриппа предпочиталъ избирательную монархію, подобную польской *). Только поселившись въ Женевѣ, онъ научился цѣнить республиканскія учрежденія. За гостепріимство онъ заплатилъ важными услугами краю, взявъ на себя переустройство мѣстной арміи, вновь укрѣпилъ Женеву. О разрывѣ его съ родиной узнали всюду. Венеція слала ему лестныя предложенія стать главнокомандующимъ ея войскъ, изъ Голландіи и Англіи являлись агенты съ важными порученіями, самъ англійскій король звалъ его въ Лондонъ, а нѣмецкіе протестанты съ вѣдома Д'Обинье пытались устроить грандіозный походъ въ защиту своей вѣры отъ австрійскихъ и французскихъ притѣсненій; Мансфельдъ былъ въ постоянныхъ сношеніяхъ съ нашимъ изгнанникомъ. Но онъ уже

*) Такъ высказывается онъ въ предисловіи къ поэмѣ „*Les Tragiques*“, приводя слова, сказанныя имъ однажды Генриху Четвертому. Въ той же поэмѣ (въ пѣснѣ *Les Princes*) онъ требуетъ строгаго выбора короля и обращается къ польскимъ посламъ, звавшимъ на царство Генриха III, съ ѣдкими укоризнами.

чувствовалъ, что его боевая пора прошла; въ головѣ по-прежнему бродили широкіе и смѣлые замыслы, только выполнять ихъ самому было не подъ силу. Оставалось руководить событіями издали, какъ полтора вѣка спустя это дѣлалъ Вольтеръ изъ того же уголка Швейцаріи. Но всего охотнѣе Д'Обинье возвратился бы во Францію; не могъ онъ спокойно слышать о томъ, что тамъ дѣлалось безъ него. Дважды писалъ онъ Людовику XIII съ старой солдатской прямою, оправдывая ее долгою опытностью и вѣрною службой его отцу. Онъ старался открыть ему глаза на истинное положеніе дѣлъ, хотя высказывалъ опасеніе, что письма его, „прежде чѣмъ попасть въ руки короля, будутъ прочтены другими людьми, какъ это заведено его честными тюремщиками въ незамѣтной для него самого тюрьмѣ“ *). Такъ оно и случилось. Настоятельныя обращенія Д'Обинье были оставлены безъ отвѣта.

Старческіе его годы скрасилъ трудъ, на которомъ онъ отводилъ душу, вспоминая пережитое, вызывая изъ него тѣни, уже начинавшія блѣднѣть, отступая отъ безстрастнаго тона своей „Исторіи“, творя судъ надъ людьми и событіями и познавая прелесть свободного слова. То былъ трудъ, начатый еще во время первыхъ походовъ,—его „Трагическія пѣсни“ **). Онъ лелѣялъ ихъ, какъ любимое дитя, и, разставаясь съ книжкой, которую выпускалъ въ свѣтъ, прощался съ нею, какъ умирающій отецъ съ милымъ ребенкомъ, оставляемымъ на произволъ судьбы:

Va, livre, tu n'es que trop beau
Pour estre né dans le tombeau
Duquel mon exil te delivre;
Seul pour nous deux je veux périr:
Commence, mon enfant, à vivre
Quand ton père s'en va mourir.

*) Oeuvres, I, Lettres diverses, „au roy Louis XIII“, p. 501.

**) „Les Tragiques“ нѣсколько разъ издавались въ новѣйшее время отдѣльно съ комментаріями. Лучшія изданія Людовика Лаланна, 1857 (Biblioth. elzevirienne), и Шарля Реада, 1872.

Слогъ этихъ пѣсень неровень; иногда онъ тяжель, риѣмы натянуты и неблагозвучны; порою онъ отягченъ аллегорическими образами*) или принимаетъ тонъ библейскаго сказанія, особенно книги Іова. Но среди этой массы стиховъ есть удивительные самородки, есть ослѣпительно яркія картины, могучія обличенія. Въ гугенотскомъ вождѣ несомнѣнно скрывался поэтъ почти дантовской силы, которому жизнь не дала выработаться. Оттого-то новѣйшее время такъ спѣшитъ исправить напраслину прежняго формализма, свысока относившагося къ творчеству Д'Обинье, и включаетъ его имя въ кругъ избранныхъ дѣятелей французской поэзіи**). Уже ученые рѣшаются признать, что наряду съ „Менипповой сатирой“ „Les Tragiques“ являются важнѣйшею поэтическою лѣтописью XVI вѣка; уже слышится мнѣніе, что отъ Д'Обинье прямой переходъ въ Корнелю съ его мятежнымъ „Сидомъ“, этимъ возвеличеніемъ стараго рыцарскаго богатырства, — а заимствованія, сдѣланныя новыми поэтами изъ „Пѣсень“ Д'Обинье (Викторомъ Гюго, и особенно Барбье въ его извѣстныхъ *Ямбахъ*), показали, что и для современной поэзіи муза его все еще можетъ являться вдохновительницей.

Поэтъ не хочетъ знать сладостной лирики, нѣжащей слухъ. Вѣдь нашъ вѣкъ, говоритъ онъ, по-истинѣ трагическая повѣсть. „Среброструйные ручьи, о которыхъ пѣли греки, нѣжась и купаясь въ ихъ волнахъ, не текутъ болѣе въ его поэмѣ; свѣтлыя волны окрасились кровью мертвецовъ“. Онъ зоветъ къ себѣ на помощь бурную Мельпомену и начнетъ свой разсказъ съ печальныхъ картинъ. То будетъ пѣсня о „Бѣдствіяхъ“ (*Misères*); читатель видитъ несчастную, удрученную Францію и ея дѣтей, истребляющихъ другъ друга; всюду разореніе и голодъ, деревни пустѣютъ, бѣглецы крестьяне скрываются въ лѣсахъ, хищные звѣри бродятъ по покинутымъ селамъ. На дорогѣ встрѣтишь развѣ

*) Впрочемъ, не въ ущербъ силѣ впечатлѣнія, хотя это утверждали иногда. См. Bulletin du bibliophile, 1854, I, статью о Д'Обинье виконта Гальона.

**) Почивъ въ этомъ отношеніи принадлежалъ Сентъ-Бёву (Tableau historique et critique de la poésie fr. au 16 s., 1828).

полуживого поселенина, котораго обобрали, изранили и бросили рейтары: жену его убили, 'дѣтей связали, и онъ просить прохожихъ изъ жалости приколоть его. Въ городахъ все подавлено и уныло; всѣ другъ друга боятся. Приближеніе короля наводитъ на людей только страхъ; въ незапамятные годы государя встрѣтили бы сердечно, изобрѣтая всякіе способы привѣтствія; „тиранъ же вступаетъ въ помертвѣвшій, безотвѣтный городъ; онъ смотритъ на него такъ, какъ нѣкогда Неронъ на пылавшій Римъ“. Встарину не знали укрѣпленій, бились въ открытомъ полѣ; теперь всюду форты, бастіоны, валы и мины; все вооружено, все жаждетъ крови. Мрачныя силы соединились, чтобы погубить людей; нигдѣ нѣтъ просвѣта; война свирѣпствуетъ всюду—въ Россіи (еп *Mosco*), въ Швеціи, Польшѣ; испанцы поработили полміра, а бѣдный французскій народъ гибнетъ отъ стаи внутреннихъ враговъ. Прибѣжише только въ Божьемъ судѣ,—и несчастные возсылаютъ къ Богу грустную молитву. Неужели долготерпѣливъ будетъ Онъ взирать на беззаконія и торжество враговъ? „Пусть тѣ, кто закрывалъ глаза на наши бѣдствія, кто глухъ былъ къ нашимъ мольбамъ, чье сердце рвалось не на помощь намъ, а на наши терзанія, чьи руки стремились не давать, а отнимать,—пусть эти люди видятъ Твои глаза закрытыми на ихъ несчастія, слухъ—безжалостнымъ къ ихъ мольбамъ, сердце недоступнымъ состраданію и прощенію“, взываетъ къ божеству Д'Обинье.

Отъ общей картины онъ переходитъ къ обличенію главныхъ виновниковъ бѣдствій. Вторая пѣснь озаглавлена *Правители*; съ негодованіемъ наноситъ имъ тяжкіе удары старый воинъ—поэтъ; желѣзными эпиграммами звучатъ сжатые характеристики Екатерины Медичи, Карла IX, женоподобнаго Генриха III съ его „миньонами“ и всѣхъ ихъ сподвижниковъ. Пусть читатель вооружится терпѣніемъ и не прерываетъ разсказа крикомъ: „довольно, довольно!“—поэтъ не отступить ни передъ чѣмъ и раскроетъ тайны властителей. Онъ человѣкъ старой школы; „наши дѣды, любя откровенныя сужденія, давали порокамъ непріятныя имена,—они звали разбойникомъ того, кого мы считаемъ мастеромъ по части

наживы, звали плутомъ чловѣка „домовитаго и разсчитливаго“, трусомъ хитреца, взвѣшивающаго свои выгоды, считали измѣной то, что мы зовемъ ловкимъ маневромъ“. И съ тою же прямою онъ развѣнчиваетъ мнимыхъ героевъ, вводитъ насъ въ ихъ интимную жизнь, показываетъ ихъ за дѣломъ угнетенія и эксплуатаціи народа. Но за ними выступаетъ другое губительное полчище. Вокругъ богатаго дворца толпится оно, заманивая къ себѣ несчастныхъ жертвъ. То пресловутая *Золотая Палата*, оплотъ старофранцузскаго крючкотворства. Пѣснь, посвященная ей, можетъ стать наравнѣ съ превосходными очерками судейскаго быта у Рабле, страной *des Chicaneux*, живущихъ кляузами, и государствомъ *des Chats fourrés*, страшныхъ хищныхъ кошекъ (т. - е. судей въ горностаевыхъ мантияхъ). Какъ глава ихъ, Grippe-Minaud безстыдно хвастался умѣньемъ заставлять людей признаваться въ томъ, чего они никогда и не видали, какъ онъ „общипывалъ гуся такъ ловко, что ему и крикнуть не удавалось“, гордился законами, которые подобно паутинѣ ловятъ только мелкихъ мошекъ, и прорываются зловредными крупными наскоками, и широко развилъ торговлю правосудіемъ, — такъ „Золотая Палата“ населена „алчными волками“, съ дикимъ наслажденіемъ мучащими людей, высасывая ихъ кровь. Верховное судилище обставлено олицетвореніями во вкусь средневѣковыхъ правоучительныхъ сказаній или *moralités*; главой его является Несправедливость, участниками — Жадность, Честолюбіе, приторно любезное Лицепріятіе, блѣдное и лживое Лицемеріе, молчаливая и холодная Измѣна. Но всѣхъ ихъ заслоняетъ „святоша, посредница въ наживѣ, лукавая и глупая Формальность“. Передъ нею склоняются всѣ головы, тогда какъ бѣдное Правосудіе, гонимое, въ рубищѣ, робко крадется вонъ изъ воздвигнутой для него палаты. Не добро и чловѣчность, а жестокость царить въ судѣ, — и рядомъ съ его свѣтлымъ дворцомъ виднѣется зловѣщій замокъ съ башнями и рѣшотками — Бастилія. Д'Обинье задолго до 1789 г. не щадитъ мрачныхъ красокъ, чтобы достойно изобразить этотъ „оплотъ инквизиціи, этотъ вертепъ смерти“.

Но въ тотъ вѣкъ былъ другой, еще болѣе любимый видъ

казни: огонь свободно гулялъ по всей Франціи, вспыхивая въ кострахъ, гдѣ жгли еретиковъ, или разгораясь въ пожары, истреблявшіе массами и людей и имущества. Поэтъ становится лѣтописцемъ этихъ опустошеній, и глава его поэмы *les Feux* превращается въ длинный /международный синодикъ загубленныхъ на кострѣ; безконечный этотъ списокъ начинается съ Гуса и Иеронима Пражскаго и охватываетъ всѣхъ раздѣлившихъ съ ними ту же участь въ Англіи, Италіи, Франціи. Краткія строфы, посвященныя каждому изъ нихъ, или же группамъ вѣстѣ замученныхъ, звучатъ (быть-можетъ умышленно) безстрастно, точно періодически повторяющіяся имена въ *поминаніяхъ*, монотонно произносимыя, но скрывающія за собой столько же на вѣки прерванныхъ существованій, стремленій и помысловъ. Оттого-то въ концѣ поэмы авторъ влагаетъ въ уста олицетворенію Огня тяжкія укоризны людямъ за то, что они превратили его живительную силу въ орудіе опустошенія и мести. Эти призывы такъ же тщетны, какъ и воззванія къ справедливости, и въ пѣснѣ *Оковы* (*les Fers*) идетъ новое перечисленіе „страждущихъ и плѣненныхъ“.

Старыя мистеріи часто оканчивались величаво задуманнымъ зрѣлищемъ Страшнаго Суда, этой расплаты за все зло, содѣянное на землѣ. Д'Обиньѣ слишкомъ старомодный человѣкъ, чтобы пренебречь такимъ благодарнымъ приемомъ, но и возмущенная его гуманность и постоянное созерцаніе торжества порока побуждаютъ его, хотя-бы въ мечтахъ, представить себѣ наступленіе роковой минуты, когда всѣ попиравшіе добродѣтель будутъ призваны къ отвѣту. Таково содержаніе двухъ послѣднихъ пѣсень, *Vengeances* и *Jugement*. Съ высоты небеснаго престола слышится грозная божественная рѣчь; къ верховному судѣ „идутъ тираны, низверженные, блѣдные, уличенные въ своихъ преступленіяхъ, готовясь промѣнять лживыя свои почести на вѣчныя муки“, — идутъ всѣ, отъ которыхъ страдалъ народъ, кто жилъ жестокостью и неправдой. Противъ нихъ свидѣлствуютъ жертвы ихъ; ополчаются сами стихіи. Какъ въ извѣстномъ духовномъ стихѣ „о Плачѣ Земли“ мать сыра земля гнѣвно

возстаетъ противъ беззаконій и пороковъ, которыми ее оскверняютъ люди, и не хочетъ болѣе сносить своей позорной доли, такъ передъ Страшнымъ Судилищемъ Земля жалуется на тѣхъ, кто зарываетъ въ ея нѣдра живыхъ людей и дѣлаетъ ее страшною темницей, негодуетъ Воздухъ, зараженный миазмами отъ разлагающихся труповъ, Вода, заалѣвшая отъ крови, кудрявыя деревья, превращенныя въ висѣлицы. Уже челюсти ада раскрылись, чтобы принять осужденныхъ, и по глаголу Судьи идутъ они на вѣчныя муки, тогда какъ онъ зоветъ къ себѣ всѣхъ, „кто выносилъ ради Него страданія и несправедливости, кто готовъ былъ утолить Его голодъ и жажду, укрыть Его въ дни лютой стужи“. Полная мрака и ужасовъ поэма оканчивается торжественными гимнами спасенныхъ и ликованіемъ самого поэта, сладостно ослѣпляемаго возсіявшимъ наконецъ божественнымъ блескомъ.

То была лишь поэтическая греза. Кругомъ ничто не предвѣщало такой побѣды. Но чѣмъ безотраднѣе дѣйствительность, тѣмъ сильнѣе иногда потребность въ такомъ фиктивномъ возмездіи. Такъ слѣпой, гонимый Мильтонъ написалъ свой „Возвращенный Рай“ и „Самсона“.

„Трагическія пѣсни“ навсегда останутся лучшимъ выраженіемъ убѣжденій и надеждъ Д'Обинье; въ нихъ сполна отражается сложный его характеръ, въ которомъ могли сходиться воинскія доблести и вѣра въ мирный прогрессъ, энергическая ненависть и высокая гуманность, личные счеты щекотливаго самолюбія и способность съ высоты орлинаго полета созерцать міровыя судьбы, въ которой съ нимъ состязаться могъ бы одинъ лишь Гюго въ его *Pitié suprême*, или *Légende des siècles*. Но переживание минувшихъ несчастій какъ будто утомило поэта, и въ своемъ затишьѣ онъ надумалъ и выполнилъ работу совершенно другого рода, показавшую въ его талантѣ новую и оригинальную черту. Какъ ни строгъ былъ тогда тонъ протестантской литературы (Ранке предлагалъ даже обособить въ современной ей словесности „гугенотскій стиль“), слишкомъ озабоченной нуждами самосохраненія, чтобы отдаваться веселому смѣху, въ самыя тревожныя

минуты и изъ реформатскихъ рядовъ слышались комическія пѣсни, бойко обличавшія противниковъ *). Французская національная стихія брала свое. И Д'Обинье, полвѣка проведя въ военномъ быту, унесъ съ собою, конечно, немало воспоминаній объ остроумныхъ выходкахъ, забавныхъ приключеніяхъ, лицахъ и характерахъ. Его умъ, „удрученный серьезными и трагическими повѣствованіями, захотѣлъ развлечь себя описаніемъ нравовъ текущаго вѣка, подбирая изъ жизни нѣсколько подлинныхъ нелѣпицъ“. Такъ объясняетъ онъ въ предисловіи къ новому произведенію замыселъ свой. Въ глубокой старости, когда улегаются страсти и все становится равнодушнымъ, Д'Обинье сдѣлался нравоописательнымъ романистомъ, и его смѣхъ, здоровый и заразительный, совсѣмъ лишенъ разбитыхъ, дребезжащихъ звуковъ. Правда, онъ и не потрудился изобрѣтать сюжетъ; его вовсе не занимаетъ распутываніе романической завязки; его романъ весь въ діалогахъ, со множествомъ эпизодическихъ вставокъ,—и снова его произведеніе даетъ картину всего общества, только освѣщенную другимъ свѣтомъ, чѣмъ въ „Трагическихъ пѣсняхъ“.

Вкусъ вѣка сближалъ даже трезвыхъ реалистовъ съ классическою стариною; масса дѣйствующихъ лицъ у Рабле носитъ искусно офранцузенныя греческія имена; въ фабулѣ его романа не меньше вычитаннаго изъ древнихъ авторовъ. Неудивительно послѣ этого, что Д'Обинье, назвавъ свой романъ „*Les aventures du baron de Faeneste*“ и сдѣлавъ главными дѣйствующими лицами двухъ собесѣдниковъ, стараго протестантскаго барона Эне и его гостя Фенэста, въ самыхъ ихъ именахъ, производныхъ отъ двухъ греческихъ глаголовъ, уже указалъ на контрастъ между желаніями людей *быть* и *казаться*. Мы узнаемъ и здѣсь честную натуру Д'Обинье. Конечно, онъ самъ скрывается подъ именемъ Эне, много видѣвшаго и удалившагося отъ свѣта въ деревенскую глушь, простого въ образѣ жизни, обхожденіи, одеждѣ, любимаго сосѣдями и рабочими. И онъ тоже чело-

*) Пѣсни того времени собраны и изданы въ „*Chansonnier huguenot du 16 siècle*“, publ. par H. Bordier, 1871.

вѣкъ старой школы, и съ постоянной усмѣшкой глядитъ на суетню новаго поколѣнія, которое безнадежно „больно желаніемъ казаться“. Но ни онъ, ни его гость—не условныя олицетворенія, вродѣ аллегорическихъ существъ въ *les Tragiques*: и у положительнаго героя, и у представителя уродливаго, лживаго вкуса—живыя, реальныя черты. И Эне любитъ посмѣяться, читывалъ Боккачіо и знаетъ толкъ въ его манерѣ, кстати умѣетъ разсказать анекдотъ или вспомнить комическую пѣсенку, а Фенэстъ до-нельзя забавень съ своей полунаивною пошlostью, вѣчною похвалой, хлестаковскимъ лганьемъ и безстыдствомъ.

Эне, просто одѣтый, обходилъ свои владѣнія, когда увидалъ передъ собой незнакомца, очевидно заблудившагося и высматривающаго себѣ дорогу. Онъ заговариваетъ съ нимъ и слышитъ въ отвѣтъ хвастливый разсказъ о пышномъ поѣздѣ, скороходахъ и т. д., которыхъ Фенэстъ оставилъ будто бы въ городкѣ, а теперь не можетъ туда вернуться. Эне радушно предлагаетъ ему отдохнуть въ его домѣ, неподалеку, и ведетъ его туда своимъ садомъ. Гость изумленъ, видя передъ собою самого землевладѣльца, и удивляется простотѣ его тона; „садъ?—переспрашиваетъ онъ,—да я четверть часа брожу вокругъ его ограды, а вы не называете его паркомъ!—Зачѣмъ же? — Да вѣдь ничего не стоить придавать предметамъ болѣе благозвучныя имена...“ Его удивляетъ также, что Эне безоруженъ; правда, если онъ со всѣми въ ладу, оружіе бесполезно, но и у самого Фенэста, и у его слуги цѣлый арсеналь шпагъ и кинжаловъ. „Къ чему же это?—Чтобъ *казаться* (pour paraître)“. Это открываетъ Эне глаза на того, кого онъ видитъ передъ собою, и онъ рѣшаетъ поближе изучить забавную залетную птицу; къ тому же Фенэстъ препотѣшно болтаетъ на гасконскомъ нарѣчій, передѣлывая въ его вкусѣ общефранцузскія формы, ставя *b* вмѣсто *v*, такъ что у него *valet* превращается въ *baillet* и т. д.

Эне иотъ самого Фенэста и потомъ отъ его слугъ узнаетъ любопытныя данныя для біографіи пріѣзжаго барона. Это еще молодой искатель приключеній, весьма неразборчивый на средства, лишь бы пробиться въ люди; деревенскій свя-

шенникъ увѣрилъ его, что не разъ встрѣчалъ въ Библии упоминаніе о Фенэстахъ,—очевидный признакъ глубокой древности ихъ рода; во всякомъ случаѣ самъ Фенэстъ—такой же *gentilhomme*, какъ и король. Но, повидимому, если есть у него какой-нибудь замокъ, то развѣ воздушный; предисловіе недаромъ называетъ его „*un baron en l'air*“. Кое-какъ добрался онъ когда-то изъ своего гасконскаго захолустья до Парижа; по дорогѣ его обманывали, обыгрывали въ карты, и онъ чуть не пѣшкомъ вступилъ въ столицу. Тутъ онъ поспѣшилъ пристроиться къ свитѣ какого-нибудь вельможи; онъ бывалъ у Гиза, гдѣ у него иногда спрашивали, не возьмется ли онъ убить кого-нибудь; вообще же онъ усвоилъ всѣ приемы придворнаго и искалъ случая попасть на глаза королю. вмѣстѣ съ толпой другихъ такихъ же авантюристовъ тѣснится онъ въ дворцовыхъ прихожихъ. На вопросъ Эне, какъ же его пускаютъ туда, онъ отвѣчаетъ сценкой съ натуры: „Смѣло подходишь къ кому-нибудь изъ королевской стражи и говоришь ему: «Ахъ, какой ты сегодня молодецъ! Ты цвѣтешь, точно розань. Должно-быть, царица твоей души стала наконецъ благосклоннѣе. Жестокая! Какъ могла она устоять противъ этихъ чудесныхъ усовъ, этого благороднаго чела!...» Такъ проникаешь въ переднюю. Тамъ говорить о разныхъ назидательныхъ предметахъ, о дуэляхъ, успѣхахъ у дамъ, о повышеніяхъ, о томъ, когда можно будетъ видѣть короля, о томъ, сколько проигралъ Креки или Сень-Люкъ. Если не хочешь говорить о такой высокой матеріи, заведешь рѣчь о модномъ цвѣтѣ чулковъ, которые будутъ носить при дворѣ. Есть цвѣтъ селадона, есть *fleur de péché*, цвѣтъ умирающей обезьяны, больного испанца (*singe mourant, espagnol malade*)... Потомъ доберешься до большой залы и втираешься въ кружокъ около какого-нибудь знатнаго человѣка, а затѣмъ медленно спускаешься полѣстницъ, со ступеньки на ступеньку, дѣлая видъ, что только-что видѣлъ самого короля, и рассказывая новости. Подъ рукой же высматриваешь, не идетъ ли кто-нибудь къ себѣ обѣдать. Иногда никого не найдешь,—и начинаешь дѣйствовать зубочисткой, чтобы показать, что только-что отобѣдалъ“.

Въ придворныхъ кругахъ его скоро признали и наперерывъ стали его дурачить. То, замѣтивъ, что онъ вѣрить въ чудесное, колдуютъ надъ нимъ, увѣряютъ, что онъ сталъ невидимкой, превратился во льва, наконецъ въ скамейку для дамскихъ ножекъ, и тогда при немъ позволяютъ себѣ всевозможныя вольности; то, вывѣдавъ его сердечныя тайны, научаютъ его совершенно бессмысленному слогу любовныхъ посланій и перепутываютъ его изліянія. Самъ король хочетъ потѣшиться надъ нимъ. Ничего не подозрѣвая и радуясь своему счастью, Фенэстъ удостоивается чести „служить королю“, въ то время какъ онъ въ небольшомъ кружкѣ сидитъ за картами. Ему дали въ руки два подсвѣчника, и онъ долженъ, высоко держа ихъ надъ собой, свѣтить играющимъ. Онъ считаетъ это священнодѣйствіемъ, но на бѣду его поставили спиною къ пылающему камину. Перемѣнить мѣсто онъ не можетъ, а сзади нестерпимо палитъ огонь; уже шелковые чулки его затлѣлись; онъ морщится, а король, смѣясь, только приговариваетъ: „éclairez bien!“. Придворные покатываются со смѣху, повторяя вслухъ: „бѣдный! онъ сгораетъ честолюбіемъ“ (il brule d'ambition). Но Фенэстъ, какъ ни больно ему, доволенъ уже тѣмъ, что могъ развеселить такое знатное общество.

Сгруппировавъ свои очерки столичнаго быта вокругъ похожденій недалекаго малаго, Д'Обинье избѣжалъ излишней назидательности разсказа. Какъ будто онъ и не думаетъ никого обличать, а между тѣмъ въ хвастливыхъ разсказахъ Фенэста незамѣтно проходятъ подлинныя черты общества, церкви, литературы. Встрѣчаются наприм. сцены изъ школьной жизни, пародіи на современныя проповѣди, шуточный разсказъ о томъ, какъ духовныя власти перессорились изъ-за эксплуатаціи мошей; съ другой стороны идутъ разсказы о королевскихъ любовныхъ „шалостяхъ“, гдѣ опять простаки вродѣ Фенэста принуждены брать на себя самыя неудобныя порученія, лѣзть по веревочнымъ лѣстницамъ въ окна, принимать побои, лишь бы отвлечь вниманіе отъ нѣжнаго объясненія короля. Чуть кто выкажетъ нерѣшительность, король пристыдитъ его возгласомъ: *où est l'honneur?*—и по-

неволя идешь на самое рискованное дѣло. Но придворная карьера не кормить Фенэста, и онъ добываетъ себѣ кусокъ хлѣба другимъ путемъ. Подъ его начальствомъ состоитъ ва-тага проходимцевъ,—тѣ мнимые слуги и скороходы, о которыхъ онъ говорилъ Эне (двое изъ нихъ потомъ самолично являются). Съ ними онъ бродитъ около Лувра и высматриваетъ подходящихъ людей; они заманиваютъ ихъ въ игорные дома, и при помощи мѣченыхъ костей и крапленыхъ картъ обыгрываютъ ихъ; „каждый работаетъ за себя, а Богъ стоитъ за всѣхъ“; потомъ добыча дѣлится, и Фенэсту достается „адмиральская часть“. То же повторяется въ еще большихъ размѣрахъ, когда они переѣзжаютъ въ провинцію; „когда мы среди полей,—говоритъ слуга,—и если къ тому же время военное, мы общипываемъ курицу безо всякаго шума и сжигаемъ деревню, дѣлая видъ, что мы фуражиры; въ мирное же время, если остановимся въ гостинницѣ или въ барскомъ имѣнии, послѣ насъ непременно что-нибудь пропадаетъ. Да и не одни мы такъ живемъ: въ Лимузэнѣ бѣдные дворяне не скрываютъ такихъ продѣлокъ. Я знаю одного молодца, который четыре раза продавалъ одного и того же осла, два раза отрѣзавъ ему уши, разъ хвостъ и однажды разрѣзавъ ноздри“. Но Фенэста никогда не покидаетъ желаніе *казаться*. Онъ способенъ всѣ заработанныя деньги употребить на кружевную фрезу, а подъ нею у него совсѣмъ сгнившая рубашка. Онъ особенно хорошъ, когда говоритъ съ дамами; онъ рассказываетъ имъ, какъ попалъ однажды въ плѣнъ къ туркамъ, миль за сто позади Алеппо; вмѣсто тюрьмы они запрятали его въ огромный чубукъ и оставили на обрывѣ скалы; надъ нимъ остановился волкъ. Фенэстъ просунулъ руку и заботливо отрошеннымъ длиннымъ ногтемъ сдѣлалъ узелъ изъ волчьяго хвоста и своего лѣваго уса. Волкъ почувствовалъ, что попался, соскочилъ со скалы; чубукъ раскололся, Фенэстъ упалъ на волка и убилъ его.

Вѣчно притворяясь то храбрецомъ, то свѣтскимъ чело-вѣкомъ, то богачомъ, Фенэстъ однако вытерпѣлъ немало неудачъ: ни въ дружбѣ, ни въ любви, ни въ карьерѣ ему не повезло, — и съ холоднымъ безстыдствомъ онъ готовъ

взяться за любое дѣло, которое его будетъ кормить. Подумываетъ онъ и о томъ, чтобы пристроиться къ какимъ-то сомнительнымъ личностямъ, какъ говорятъ, бывшимъ пиратамъ, которые подали фантастическій проектъ улучшения государственныхъ финансовъ, а въ сущности хотятъ ихъ разграбить; приходитъ ему на умъ предложить свои услуги и тайному наблюдательному комитету, открывшему свои дѣйствія въ Ниорѣ и величающему себя „Conseil du roi“ или „Conseil des avis“; у него тамъ служить братъ; три мѣсяца назадъ это былъ совсѣмъ нищій, теперь онъ лучше всѣхъ умѣетъ пускать пыль въ глаза, а вскорѣ ожидаютъ новыхъ конфискацій... „Эти люди напрашиваются, наприм., обѣдать къ какому-нибудь землевладѣльцу, наводятъ рѣчь на плохое правительство, узнаютъ, на сколько онъ потерялъ дохода за послѣднее время, ропшутъ на то, какъ безумно тратятся казенныя деньги, вспоминаютъ, что при Сюли все шло гораздо лучше. Если они ошибутся въ расчетѣ, и собесѣдникъ отвѣтитъ имъ, какъ патриотъ и вѣрный слуга короля, они довольствуются тѣмъ, что пошлютъ докладъ въ такомъ родѣ: «я видѣлъ такого-то, пощупалъ у него пульсъ, и нашелъ нѣкоторую неровность или измѣненіе въ ущербъ королевской службѣ, но я привелъ его опять въ такое состояніе, что съ этой стороны нечего бояться». Но до подобнаго занятія Фенэстъ пока не доходитъ, за то въ послѣдней книгѣ романа онъ возвращается послѣ нѣкотораго промежутка съ *войны*, вѣрнѣе съ поисковъ и набѣговъ, гдѣ предполагалось разгромить протестантовъ. Правда, онъ всего болѣе выказалъ ловкость въ бѣгствѣ, трусливо прятался, бралъ лишь то, что плохо лежало, и очень полюбилъ Пуату за то, что въ этой странѣ много изгородей, за которыми можно скрываться.

Съ улыбкой выслушиваетъ рассказы своего ничтожнаго собесѣдника честный Эне, но въ его отвѣтахъ то и дѣло промелькнетъ грустное сознаніе, что въ данную минуту подобные же люди, хоть иногда и привлекательнѣе Фенэста, всѣмъ владѣютъ. Въ своемъ уголкѣ Эне хочетъ остаться стражемъ старыхъ добрыхъ порядковъ. Онъ живетъ одною

жизнью съ народомъ, самъ вѣчно въ работѣ, по воскресеньямъ собираетъ у себя всѣхъ слугъ; они поютъ, пляшутъ, на посидѣлкахъ рассказываютъ сказки. На него многіе смотрятъ какъ на чудака. Да и не чудакъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ съ своей вѣрой въ отжившіе идеалы честности и рыцарства, не второй ли Донъ - Кихоть?.. Онъ общается Фенэсту къ слѣдующему его пріѣзду сочинить свой собственный романъ, подъ заглавіемъ, ну, хоть „Баронъ Калопсъ“ (съ греческаго: „благообразный“); это будетъ достойный сверстникъ ламанчскаго героя, только не странствующее рыцарство станетъ онъ воскрешать, а выйдетъ въ свой походъ, чтобы поднять честь въ дворянствѣ, обезпечить разорившуюся мелкую дворянскую братію. Пусть это будетъ человекъ образованный, смолodu много воевавшій, теперь удалившійся на покой, но не нашедшій его, такъ какъ его мучить вопросъ, отчего въ государствѣ все идетъ къ худшему, и что нужно сдѣлать для его спасенія. Онъ соберетъ, положимъ, у себя друзей и задастъ имъ этотъ вопросъ. Възбѣшенный ихъ неспособностью что-либо придумать, онъ рѣшаетъ одинъ объѣздить страну и попытаться отвѣта. Уже готовы подбитыя пунцовымъ сукномъ носилки; Калопсъ съ двумя провожатыми пускается въ путь и съ первой же остановки не въ силахъ сдержать своего горячаго нрава при видѣ того, что дѣлается.

Никогда не написалъ этого второго романа Д'Обинье, столь очевидно предназначавшій себя въ его герои. Добродушный смѣхъ надъ самимъ собою и надъ устарѣвшими, никому не нужными своими увлеченіями, замиралъ на его устахъ. Оттого-то и „Фенэстъ“ не оконченъ, или, вѣрнѣе, неожиданно обрывается нѣсколькими сценами совсѣмъ въ духѣ „Трагическихъ пѣсень“. Передъ нами проходятъ длиннымъ церемоніаломъ процессіи. Чествуется торжество трусости, лизоблудства, невѣжества. Сторонятся, отходятъ честные люди, а въ пышныхъ колесницахъ слѣдуютъ одни за другими единственные руководители общества. „Пророчество“ общается и впредь предателямъ, глупцамъ, трусамъ, проходившимъ почести, блага и власть, въ то время, какъ мудрые,

храбрые и великіе обречены погибнуть за свою честность“. — „Къ какой сторонѣ хотите вы пристать?“ спрашиваетъ Эне. — „Ахъ, я хотѣлъ бы всегда *казаться* торжествующимъ и счастливымъ“, вздыхаетъ Фенэсть. — „А я, отвѣчаетъ старикъ, — хотѣлъ бы *быть* всѣмъ этимъ“.

Такъ короталъ свой старческій досугъ тотъ, котораго потомъ называли гугенотскимъ Альцестомъ, — вѣдь и онъ, подобно мольеровскому герою, съ негодованіемъ на пороки, и съ затаенною любовью къ людямъ отрясъ прахъ родины съ ногъ своихъ и ушелъ на чужбину, чтобъ отыскать себѣ уголокъ, гдѣ еще можно быть честнымъ человѣкомъ. Тѣснѣе прежняго сплотилась около него семья; въ сынѣ онъ готовилъ себѣ преемника въ служеніи родинѣ и вѣрѣ и уже давалъ ему важныя порученія; воспитаніе дочерей онъ близко принималъ къ сердцу, и дошедшее до насъ письмо его къ нимъ показываетъ въ немъ поклонника высшаго женскаго образованія, тревожимаго лишь мыслью, какъ бы широкое развитіе, которое могли бы получить дочери, утончивъ ихъ умъ, не внушило имъ недовольства своею бѣдною долей*). Самъ онъ нашелъ себѣ вѣрную подругу во второй

*) Это письмо (Oeuvres, I, 445—50) представляетъ интересную характеристику тѣхъ выдающихся женщинъ, которыя тогда были украшеніемъ поэзій, науки, искусства. Онъ начинается ихъ рядъ съ извѣстной сестры Франсиска I, прозванной «la Marguerite des Marguerites»; выступаетъ тутъ и Луиза Лабэ, «Сафо своего времени», и итальянскія поэтессы маркиза Пескьера, Изабелла Андреи; Елизавету англійскую Д'Обинье считаетъ великимъ свѣточемъ, память о которомъ никогда не изгладится; малѣйшее изъ ея дѣйствій можетъ показать, до какого развитія доходилъ ея умъ. Нѣтъ недостатка и въ образованныхъ свѣтскихъ женщинахъ: Анна де-Роанъ, написавшая потомъ сочувственную эпитафію Д'Обинье, встрѣчается тутъ съ madame de Gournay, пріятельницей Монтаня, вдохновлявшей его и издавшей его сочиненія, и съ сильно нравившейся Д'Обинье еще въ молодости Луизой Сарразэнъ, «изъ любви къ которой онъ научился по-гречески», такъ какъ она, превосходно зная языки, «способна была бы публично преподавать ихъ, еслибъ ея полъ позволилъ ей это». Наконецъ мать самого Агриппы свободно читала по гречески и комментировала Василия Великаго. Послѣ этого блестящаго списка ученыхъ женщинъ, о знакомствѣ съ которыми авторъ письма вспоминаетъ съ особою симпатіей, нѣсколько странны его разъясненія, что такое развитіе болѣе пристало женщинамъ высшаго круга и неудобно для среднихъ слоевъ обще-

женѣ, вдовѣ итальянскаго эмигранта. Онѣ не скрылъ отъ нея, что зоветъ ее не на безпечное житѣе, что будущее сулитъ имъ не мало испытаній,—и когда она съ самоотверженіемъ заявила, что готова съ нимъ дѣлить все до гробовой доски, онѣ не могъ нарадоваться на свой выборъ.

Но понемногу нашли опять тучи. Изданіе „Фенэста“ возбудило недовольство въ чопорныхъ женевцахъ; сенатъ вызвалъ къ себѣ Д'Обинье и поставилъ ему на видъ неприличіе подобныхъ легкомысленныхъ книгъ; типографщикъ былъ подвергнутъ карѣ, а книга конфискована. Какъ въ „Трагическихъ пѣсняхъ“, такъ и въ романѣ узнали себя многія вліятельныя лица во Франціи и грозили мщеніемъ. Оживленныя сношенія Д'Обинье съ протестантской Европой также возбуждали ропотъ католическихъ правительствъ и дипломатическое давленіе на Женеву. Но и сами по себѣ они не радовали болѣе. Широко задуманныя комбинаціи не удавались. Настойчивая послѣдовательность Ришелье сдвинула всю оппозицію; въ центральной Европѣ загорѣлась тридцатилѣтняя война, и молва передавала слухи о баснословной удачѣ Валленштейна. О возвратѣ на родину нельзя было думать, живая дѣятельность на чужбинѣ становилась для Д'Обинье немислимою; ему оставалось умереть въ изгнаніи и знать, что скоро настанетъ и для него полное забвеніе. Въ эту тяжелую пору обрушилось на него великое несчастье, способное сломить и не такую натуру. Сынъ, на котораго онѣ возлагалъ столько надеждъ, для котораго жилъ, поддавался искушеніямъ свѣта; суровая доля эмигранта не манила его вовсе, веселая компанія, пиры и карты влекли его въ другую сторону, придворный блескъ сулилъ успѣхи и вліяніе,—и онѣ предалъ отца, измѣнилъ дѣлу вѣры. Посланный старикомъ въ Англію для переговоровъ, онѣ, проѣзжая обратно черезъ Парижъ, продалъ правительству тайну и, чтобъ устранить послѣднее препятствіе на своемъ пути, перешелъ въ католичество. Измѣна закралась въ собственную семью

ства. Очевидно, въ современной жизни не было еще мѣста для нормальнаго женскаго образованія, являющагося не роскошью, а правомъ каждаго мыслящаго существа.

старого рыцаря; самый ненавистный для него порокъ запятналъ его любимаго сына,—и слова проклятiя и презрѣнiя были отвѣтомъ на просьбы о прощенiи.

Безъ малаго восемьдесятъ лѣтъ уже было Д'Обинье. Совершенно чуждый ему мiръ окружалъ его; онъ долженъ былъ казаться живымъ анахронизмомъ. Новыя государственныя формы окрѣпли, повидимому, навсегда; возврата къ доблестной старинѣ никто болѣе не желалъ; сила одолевала право, политическая необходимость становилась выше идеаловъ благородства и честности. Д'Обинье до послѣдняго дня не переставалъ вѣрить, что добро восторжествуетъ, но зналъ уже, что ему не дожить до этой блаженной поры. Онъ все собирался что-то организовать, къ чему-то готовился, и женѣ приходилось уже умолять его выпустить перо изъ рукъ, умѣрить хоть нѣсколько смѣлость своей рѣчи, совсѣмъ неудобную по новому времени; „навѣрно,—говорила она потомъ,—онъ навлекъ бы на себя снова непрiятнѣйшiя столкновенiя“; но смерть прервала это послѣднее напряженiе изумительной энергiи. Онъ встрѣтилъ ее въ полномъ сознанiи, какъ встрѣчалъ сотни разъ на полѣ битвы; бесѣдовалъ съ друзьями, обнялъ жену, оживленно произнесъ французское двустишiе, привѣтствуя „счастливыи день“, воздавая хвалу Богу,—и заснулъ на вѣки. Смежились проницательныя очи; тонкiя губы, на которыхъ такъ часто играла саркастическая улыбка, сомкнулись навсегда; неподвижно застылъ его орлиный профиль, въ которомъ каждая линiя, бывало, говорила о страстно возбужденной мысли.

Старого, послѣдняго рыцаря не стало. Немало нашлось людей, которые порадовались его смерти. Женевскiя власти поспѣшили въ его домъ, пересмотрѣли его бумаги, устраняя изъ нихъ все, что могло быть неудобно въ политическомъ отношенiи. Сынъ покойнаго, огорчившiй его своею измѣной, пережилъ отца и завѣщалъ другiя традиции своей семьѣ. Его дочь прославилась впослѣдствiи, но не на пути великаго дѣла. Это—знаменитая г-жа Ментенонъ.

Много времени утекло съ тѣхъ поръ, какъ жилъ и дѣйствовалъ Д'Обинье, и его пора иной разъ кажется намъ

слишкомъ архаическою. Но ничто не пропадаетъ и не должно пропасть въ давно минувшей борьбѣ за насущные и не умирающіе идеалы человѣчества. Воспѣвая погибавшихъ на кострахъ, нашъ поэтъ говорилъ гонителямъ, что „пепель мучениковъ—превосходнѣйшій посѣвъ, который послѣ мрачной зимы взойдетъ весною миллионами цвѣтовъ“. Его посмертная судьба оправдала это мужественное заявленіе. Если человѣчество пережило кризисъ, наступленіе котораго такъ тревожило Д'Обинье, то только потому, что не переводились люди, подобно ему хранившіе завѣты духовной силы и независимости, и освѣжавшіе ими новыя поколѣнія,—и потомки все сочувственнѣе, сердечнѣе вспоминаютъ о близкомъ имъ по духу, хоть и выставленномъ другою средой предшественникѣ.

Да и такъ ли велико разстояніе, отдѣляющее наши нравственныя требованія отъ высшихъ помысловъ и стремленій рыцарства, столь обязательныхъ для Д'Обинье? Измѣнились внѣшнія формы, но о полномъ осуществленіи идей мы такъ же тоскуемъ, какъ и наши предки; быть-можетъ, и для насъ не лишнимъ было бы усвоить себѣ хоть что-нибудь изъ того духовнаго достоянія, которое нѣкогда развивало энергію и бодрость въ лучшихъ людяхъ старой Европы.

Недавно такое же мнѣніе было высказано однимъ изъ основательныхъ знатоковъ рыцарской поры, Леономъ Готье *); заключительными словами предисловія къ его ученой книгѣ я позволю себѣ кончить и мою рѣчь. „Я задался,—говоритъ Готье,—быть-можетъ, слишкомъ смѣлою мыслью. Мнѣ хотѣлось вызвать подъемъ душевный, хотѣлось оторвать наше поколѣніе отъ меркантилизма, который его унижаетъ, и отъ мертвящаго себялюбія, вдохнуть въ души благородный энтузіазмъ къ Красотѣ, отовсюду тѣснямой, и къ Правдѣ, которую одолѣваютъ враги. Немало оттѣнковъ рыцарства; нечего искать его только въ искусныхъ ударахъ копьемъ. Вмѣсто меча у насъ есть перо, есть живое слово и честная личная жизнь“.

*) Leon Gautier. La chevalerie. P., 1884, p. XV.

ЛЕГЕНДА О ДОНЪ-ЖУАНЪ *).

У человѣчества бываютъ странные любимцы, которымъ все прощается, пороки, вѣтреность, обожаніе своей личности, безграничная отвага; такъ взоры чадолубивой матери минуютъ иногда честныя лица трудящихся и преданныхъ дѣтей, чтобы съ тайною симпатіей остановиться на непокорномъ, бурливомъ и увлекательно страстномъ красавцѣ-сынѣ, героѣ безконечныхъ походовъ и грозѣ порядочныхъ семей. Изъ вѣка въ вѣкъ передается память о великихъ дѣятеляхъ мысли, друзьяхъ народа; но рядомъ съ нею живутъ столь же несокрушимыя преданія о людяхъ, которымъ мѣста не найдется ни въ одной изъ системъ образцовой нравственности. Чело однихъ окружаетъ свѣтлый ореолъ, но для массы, быть - можетъ, еще милѣ тотъ фантастическій блуждающій огонекъ, который своими вспышками озаряетъ безпечальныя черты какого-нибудь гениальнаго гуляки. И творчество идетъ по тѣмъ же слѣдамъ, не рѣшаясь иногда замолвить слово за страдальцевъ и подвижниковъ, но окружая всѣми чарами музыки, живописи, сцены, память о великихъ счастливицахъ.

Донъ-Жуанъ именно всесвѣтный любимецъ; такимъ онъ былъ уже нѣсколько столѣтій, такимъ онъ, вѣроятно, всегда останется. Почти три вѣка тому назадъ его имя прозвучало впервые въ благочестивой пьесѣ испанскаго поэта—монаха, и съ тѣхъ поръ оно магически дѣйствуетъ на умы,

*) Вступительная глава изъ приготовляемаго къ печати третьяго тома „Этюдъ о Мольерѣ“.

давно стало нарицательнымъ, прилагалось къ безчисленнымъ потомкамъ героя легенды, законнымъ и самозваннымъ, и стало одною изъ желанныхъ прикрасть, которыми любятъ драпироваться люди, стремящіеся не походить на толпу. Понемногу обносился „Гарольдовъ плащъ“, почтенною древностью въѣтъ и отъ вертеровскаго наряда, когда-то обязательнаго для всѣхъ отцвѣтшихъ душою, но типическія черты Донъ-Жуана кажутся такими же заманчивыми, какъ въ былые дни. Недавно одинъ критикъ *) высказалъ мысль, что нашъ вѣкъ, вѣкъ малокровія и болѣзней воли, почти не въ состояніи выставить настоящаго Жуана; вѣдь онъ лишь тогда непобѣдимъ, когда во всеоружіи энергіи и здоровья, полонъ вѣры въ себя, — „нервный Жуанъ скоро сошелъ бы со сцены“. Но, быть-можетъ, именно поэтому безсильное и нерѣшительное поколѣніе готово идеализировать сочетаніе тѣхъ свойствъ, которыхъ ему уже не дано. До самой близкой къ намъ поры литература и искусство не могли разстаться съ этимъ образомъ. Драма и романъ девятнадцатаго столѣтія выдвинули длинный рядъ Донъ-Жуановъ, разочарованныхъ, кающихся, просвѣтленныхъ, мало того — „сыновей Донъ-Жуана“, „дочерей его“ и т. д.; народныя сцены Италіи и Германіи и теперь съ необыкновеннымъ усердіемъ разрабатываютъ этотъ сюжетъ **). Поль Гейзе въ пятиактной трагедіи „Don Juan's Ende“ ***)) заставилъ героя избѣгнуть холодныхъ объятій Каменнаго Гостя, дожить до старости, но за то кончить жизнь все-таки эксцентрично, бросившись въ кратеръ Везувія; авторъ

*) Armand Hayem. Le Don Juanisme. Paris, 1886. Въ параллель съ этимъ этюдомъ укажемъ на книги В. Феррари „Don Giovanni nella letteratura e nella vita, Milano, 1892, и Magnabal, Don Juan et la critique espagnole, 1893.

**) См. о ней статью драматурга Линднера въ журналѣ „Akademische Blätter“, 1884, I.

***)) Нѣмецкія народныя пьесы о Д. Жуанѣ изданы въ новѣйшее время въ значительномъ количествѣ (Deutsche Puppencomödien, herausg. v. Carl Engel, 1875, III вып. — Deut. Puppenspiele, herausg. v. Kralik u. Werner, Wien, 1885, 81—118, вѣнская пьеса. — Theatergeschichtliche Forschungen, hera. изд. V. E. Liezmann, III, Der Laufner Don Juan, 1891. — Ежегодно въ августѣ на Vogelwiese въ Дрезденѣ исполняется народная (не маріонетная) пьеса о Д. Ж. Engel, l. cit. 20.

названного выше этюда напечаталъ драму „Don Juan d'Armana“, а въ парижскомъ салонѣ (впослѣдствіи на французской выставкѣ въ Москвѣ) красовалась картина художника Rixens „La barque de Don Juan“, гдѣ герой представленъ плывущимъ въ царствѣ тѣней на утломъ челнѣ, съ безстрастнымъ командоромъ позади, умоляющею Эльвирой у ногъ, и встающими отовсюду призраками погубленныхъ имъ женщинъ *).

Такая необыкновенная популярность, такое безсмертіе типа не дается даромъ. Нельзя повѣрить, чтобъ оно могло выпасть на долю вульгарнаго сластолюбца и эгоиста; должно найтись болѣе глубокое оправданіе этой всесвѣтной симпатіи. Психологи - дилеттанты, какъ видимъ, пытаются уже изучать не столько личный характеръ Жуана, какъ онъ завѣшанъ намъ легендой, сколько *донъ - жуанизмъ*, т.-е. совокупность физиологическихъ особенностей, свойственныхъ обширной группѣ однородныхъ характеровъ, не вымирающей никогда. Замѣченное уже болѣе полувѣка видоизмѣненіе изучаемой нами личности въ творествѣ сообразно національностямъ, религіознымъ воззрѣніямъ, эпохамъ, давно навело на мысль о любопытной этнологіи этого типа. Очевидно, мы имѣемъ дѣло не съ случайною удачей крѣпко полюбившагося людямъ поэтического образа, но съ настоящимъ и послѣдовательнымъ рядомъ попытокъ осмыслить одну изъ загадочныхъ сторонъ человѣческой природы. Лишь только перенесемъ вопросъ на эту почву, вокругъ Донъ-Жуана быстро соберется гурьба всевозможныхъ его двойниковъ, которыхъ запомнила и поэзія, и точная исторія,—демонически ненасытные сластолюбцы—рыцари средневѣковыхъ легендъ, Ловласы, Альмавивы, герцоги Гамильтоны, Бруммели и т. д. Они его братья по крови, но „севильскій соблазнитель“ всѣмъ имъ старшина и покрываетъ ихъ своею репутаціей. Людская мораль тяготитъ ихъ; они хотятъ стать выше будничной,

*) Въ послѣдніе годы литературное потомство Донъ-Жуана все растетъ и множится. Явились: „Смерть Д. Ж.“ (La morte di Don Giovanni), поэма Mario Faccio, Vercelli, 1889, дарующая ему мирную и покойную кончину; Don Juan 89 par Jean Aicard, 1889; Proelss, Don Juan's Erlösung (Gedichte, 1886); D. Juans Tod, кн. Шенайхъ—Каролата, 1891; Севильскій Обольститель, г. А. Бѣжецкаго.

сонливой прозы и завоевать себѣ полное, безконечно разнообразное личное счастье; ихъ манитъ все невѣданное; они идутъ впередъ съ отвагой завоевателей, достойною лучшаго дѣла (*j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui veulent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits*, говорить Донъ-Жуанъ у Мольера, актъ I, сц. 2),—но въ то время, когда низшіе изъ этихъ „всесвѣтныхъ жениховъ“ (*épouseurs du genre humain*, какъ называется тамъ же Сганарель своего господина) едва способны подняться выше вульгарной чувственности, Донъ-Жуанъ, начавъ тоже съ нея, изъ вѣка въ вѣкъ вырабатываетъ себѣ болѣе сознательный образъ дѣйствій, надъ многими задумывается, становится чуть не идеалистомъ, поэтому женщины, и въ наши дни (какъ наприм. въ пьесѣ Ленау *) способны отдаться безысходному отчаянію, сознавъ, что всю жизнь бесплодно искалъ идеала.

Смутное стремленіе къ безконечному, порывы мятежнаго чувства противъ участи людей, обреченныхъ знать лишь умѣренныя ощущенія, гибнуть отъ крайняго напряженія силъ, фантазій, воли, и вяло доживать до жалкаго конца, сближаютъ его въ извѣстной степени съ другимъ такимъ же мятежникомъ противъ судьбы, Фаустомъ, какъ ни различна у нихъ, повидимому, точка отправления. Порою черты ихъ неожиданно сливаются; когда извѣрившійся въ мертвую науку мудрый докторъ спѣшитъ воспользоваться своею новою мощью не для того, чтобъ проникнуть законы мірозданія, но чтобъ извѣдать любовь въ объятіяхъ Гретхенъ или Елены; когда онъ соблазняетъ свою первую жертву, шепча ей страстныя признанія, и потомъ покидаетъ ее, — минути мы не знаемъ, не Донъ-Жуанъ ли говорить его устами **). Со стороны послѣдняго это было бы даже искрен-

*) Don Juan. Ein dramatisches Gedicht von Nicolaus Lenau. W. 1851.

**) Нельзя не отмѣтить, что нѣмецкія народныя книги о Фаустѣ (наприм. Шписъ) постоянно выставляютъ на видъ ненасытную чувственность его и сообщаютъ небольшой списокъ его любовницъ, различая ихъ по національностямямъ. Въ своемъ родѣ тутъ аналогія съ знаменитымъ спискомъ жертвъ Д.-Жуана.

нѣе; по крайней мѣрѣ оно не было бы прикрыто широкими научными и философскими стремленіями. Его ли дѣло они? Далеко ниже своего сверстника стоитъ онъ по полету мысли, и титаническіе порывы почти не волнуютъ его. Они доступны ему лишь въ одномъ направленіи,—въ немъ бьетъ ключомъ жизнь, онъ тѣшится иллюзіей ея вѣчной свѣжести и, точно герой старой общечеловѣческой легенды, онъ готовъ вызвать на бой самую Смерть, надѣясь побороть и ее, какъ одолѣвалъ онъ всѣхъ противниковъ. Заманчивое обѣщаніе, которымъ Мефистофель улавливаетъ человѣческія сердца: „Eritis sicut Deus“—не лишено прелести и для Жуана; еслибы онъ могъ извѣдать безграничныхъ наслажденій и въ этомъ уподобиться богамъ, онъ не остановился бы передъ гибелью души. И смутная догадка рано шевельнулась въ умахъ толпы. Дерзкая самонадѣянность его и баснословная удача вызывали иногда такое же суевѣрное представленіе о его связи съ адскими силами, какое неразлучно съ преданіемъ о Фаустѣ,—или же запуганная масса, видя, что справедливости не найдетъ на землѣ, искала возмездія сладкорѣчивому хищнику въ той же призрачной средѣ. Видѣніе, демонъ, статуя должны явиться въ послѣднюю минуту, когда долготерпѣніе неба истощено и кара стала неизбѣжною,—такъ раннія пьесы о Фаустѣ рисуютъ заключительную сцену, когда бьетъ зловѣщій часъ, срокъ договора съ адомъ истекъ и демоны слетаются, чтобы терзать Фауста, точно невольные исполнители божественныхъ вѣлній.

Въ началѣ нынѣшняго вѣка мысль о внутреннемъ родствѣ характеровъ Донъ-Жуана и Фауста была одновременно высказана и въ научныхъ трактатахъ, и въ поэтическихъ произведеніяхъ. Она промелькнула въ книжкѣ Франца Горна о развитіи нѣмецкой поэзіи съ Лютера *), но особенно замѣчена была въ этюдѣ молодого эстетика Карла Розенкранца (въ послѣдствіи прекраснаго біографа Дидро и издателя Канта) о пьесѣ Кальдерона „Чудотворный магъ“ **). Изучая въ ней

*) Franz Horn. Die Poesie und Beredsamkeit der Deutschen v. Luthers Zeit bis zur Gegenwart. 1823.

**) Ueber Kalderon's Tragödie vom wunderthätigen Magus. 1829, втор. изд.

одинъ изъ первообразовъ гетевского *Фауста* и слѣдя за сочетаніемъ порывовъ пытливаго знанія и страстной любви у кальдероновскаго Кипріана и его позднѣйшихъ преемниковъ, онъ невольно пришелъ къ параллели съ характеромъ Донъ-Жуана. „Рядомъ съ Фаустомъ, оторваннымъ отъ жизни и вѣры своими стремленіями къ познанію и высшему наслажденію, — говорилъ онъ, — стоитъ полумиѳическій образъ Жуана, примиреннаго съ жизнью, но лишеннаго вѣры, способнаго довести легкомысленное исканіе житейскихъ утѣхъ до преступныхъ размѣровъ“ и т. д. Въ конечномъ выводѣ сравненія, носящаго отпечатокъ стараго эстетическаго пошиба, критикъ приходилъ къ тому, что „Донъ-Жуанъ олицетворяетъ собой одну изъ основныхъ сторонъ духа романскихъ народностей, тогда какъ въ Фаустѣ отразилась надломленность нѣмецкаго народнаго духа“. Толчокъ, данный этою параллелью, оказался возбуждающимъ; въ специально научныхъ работахъ о предшественникахъ Фауста *) съ тѣхъ поръ всегда отводилось мѣсто легендамъ и пьесамъ о Каменномъ Гостѣ и его дерзкомъ оскорбителѣ. Не было недостатка и въ обобщеніяхъ эстетическихъ и психологическихъ. Иные видѣли въ Фаустѣ „трагедію духа“, въ его сверстникѣ „трагедію чувственности“, другіе противоположность идеализма и реализма; были и такіе судьи **), которые, становясь на точку зрѣнія „грѣховности“ обоихъ сравниваемыхъ, находили, что отличающія ихъ отвага мысли и

дополн. 1832. Связь этой любопытной во многихъ отношеніяхъ пьесы съ литературой о Фаустѣ прослѣжена была еще полнѣе недавно въ книгѣ, вызванной юбилеемъ Кальдерона: „Memoria acerca de El Magico prodigioso de Calderon“, p. D. Sanchez Moguel. Madrid, 1881.

*) Въ Kloster Шейбле, 1846, III часть; въ книгѣ Ринне *Die Faustsage nach ihrer Entstehung etc.* 1859; въ важномъ библиографическомъ сборникѣ *Bibliotheca Faustiana*, Энгеля 1874, изданномъ вновь въ 1885 г. съ большими дополненіями (*Zusammenstellung der Faustschriften etc.*). Тѣмъ же лицемъ изданъ былъ въ 1887 году, ко дню юбилея оперы Моцарта справочный сборникъ „*Die Don-Juan Sage auf der Bühne*“. По-русски есть небезполезный, хотя давно составленный указатель литературы о Д. Жуанѣ, „Библиографія Донъ-Жуана“ К. Званцова, Театральный и Музык. Вѣстникъ 1859 г. №№ 6—9.

**) Калеръ въ статьѣ, помѣщенной въ журналѣ *Der Freihafen*, 1841.

заносчивость плоти, какъ двѣ крайности грѣха, соответствуютъ различію воззрѣній на него въ протестантской и католической религіи. Фаустъ грѣшникъ—протестантъ, Жуанъ и въ грѣхѣ католикъ. Наконецъ доказывалось, что въ обѣихъ легендахъ таинственно раскрыты высшія задачи искусства: въ Фаустѣ—величайшій изъ трагическихъ сюжетовъ, въ испанскомъ сказаніи—совершеннѣйшій изъ мотивовъ, которымъ можетъ овладѣть музыка.

На помощь подобнымъ объясненіямъ рано выступило въ Германіи поэтическое творчество, но трудъ оказался ему не по силамъ. Починъ сдѣлалъ забытый теперь прирейнскій археологъ Николай Фогтъ; усердно занимаясь исторіей своего края и собираніемъ преданій, онъ довелъ мѣстный патріотизмъ до того, что захотѣлъ сосредоточить вокругъ Рейна важнѣйшія изъ общеевропейскихъ легендъ. Въ курьезной пьесѣ, озаглавленной „Der Färberhof“, или печатня въ Майнцѣ, онъ смѣшалъ въ своемъ героѣ черты Фуста, одного изъ первыхъ распространителей типографскаго искусства, съ Фаустомъ и Донъ-Жуаномъ, очевидно вполнѣ вѣря въ тождественность этихъ трехъ лицъ. Черезъ двадцать лѣтъ послѣ первой попытки, доведшей усердіе до сліянія обоихъ главныхъ характеровъ, основная мысль параллели снова была заявлена въ драмѣ. Сверстникамъ возвращено было право существовать порознь, но они поставлены въ непосредственные и притомъ враждебныя отношенія другъ къ другу. Таковъ замыселъ трагедіи Граббе „Don-Juan und Faust“ *); она довольно одиноко стоитъ среди аррьергарда романтической школы и кружка молодой Германіи, но почему-то полюбилась потомству **), много разъ издавалась, и въ наше время (съ 1877 года) въ новой передѣлкѣ, приспособленной къ сценѣ, исполнялась въ Берлинѣ и другихъ большихъ городахъ. Авторъ лучшаго изъ обзоровъ исторіи нѣмецкой литерату-

*) Появилась въ 1829 г.; по-русски переведена г. Холодковскимъ въ журналѣ „Вѣкъ“ 1882 г., № 1.

**) Въ изслѣдованіи Е. Г. Брауна „Литературная исторія типа Д. Жуана“, 1889 приведены любопытныя доказательства вліянія этой слабой пьесы даже на „Каменнаго Гостя“ Пушкина.

ры, появившихся за послѣднее время, Вильгельмъ Шереръ, къ ужасу поклонниковъ Граббе, отказался говорить о немъ и о его пьесахъ, находя ихъ просто „смѣшными“ (быть-можетъ, я лишень органа, необходимаго для пониманія такихъ красотъ, иронически прибавлялъ онъ). Приговоръ этотъ почти вѣренъ; въ пьесѣ есть удачныя мѣста, вѣрныя наблюденія, но въ цѣломъ она безсвязна, полна чудовищныхъ эффектовъ, не увлекаетъ фантастичностью, смѣшить иногда въ патетическія минуты. Донъ-Жуанъ и Фаустъ встрѣчаются въ Римѣ; Донна Анна, дочь испанскаго посла Донъ-Гусмана, привлекаетъ сердца ихъ обоихъ; но въ то время, какъ она не въ силахъ побѣдить грѣшной страсти къ убійцѣ ея жениха и отца, она ненавидитъ Фауста, который пытается принудить ее сдаться и полюбить его. Магическою силой онъ переноситъ ее на Монбланъ, въ замокъ, построенный по его приказанію въ нѣсколько мгновеній духами; тамъ держитъ онъ ее взаперти, точно Черноморъ Людмилу, стараясь смягчить ее всякими утѣхами. Въ альпійскую заповѣдную глушь проникаютъ и Донъ-Жуанъ съ Лепорелло, надѣясь похитить Анну; они настигнуты, узнаны, и Фаустъ на крыльяхъ вихря перебрасываетъ ихъ снова въ Римъ. Но тщетно молить онъ свою плѣнницу о любви; безсильны его угрозы; въ ярости онъ желаетъ ей смерти, и она на мѣстѣ падаетъ за смертью. Тогда имъ овладѣваетъ отчаяніе; онъ хочетъ подѣлиться горемъ съ Донъ-Жуаномъ, который „тоже любилъ ее“, но соперникъ ищетъ мщенія за смерть любимой женщины и вызываетъ его на поединокъ. Фаусту, однако, не суждено умереть отъ руки Жуана; полный ненависти къ нему, мрачный его спутникъ („рыцарь“, какъ его зовутъ тутъ) мгновенно душитъ его. Каменный Гость тоже не за горами, и гибель второго героя осуществляется вслѣдъ затѣмъ. Жуанъ оскорбляетъ статую, пробуетъ на ней силу своего меча и кинжала, но она зоветъ на помощь стоящихъ поодаль демоновъ, и „рыцарь“, завладѣвая Донъ-Жуаномъ и издѣваясь надъ его безсиліемъ, приглашаетъ его тѣснѣе прижаться къ тѣлу Фауста: „вѣдь оба вы стремились къ одной цѣли!“ — поясняетъ онъ ему въ видѣ напутствія.

Неудачная попытка довести близость обоих легендарных героев до совместных житейских волнений и совместной смерти вдоволь насыщена декламацией, въ которой отличается даже Лепорелло и которую смѣняетъ грубая брань демона; то и дѣло видны слѣды передѣлокъ чужихъ эффектовъ на свой ладъ, особенно изъ гетевской трагедіи. Въ свитѣ автора *Фауста* всегда было нѣсколько завистливыхъ подражателей; къ числу такихъ „*Affen Goethe's*“, какъ называлъ ихъ Карль-Августъ, принадлежалъ нѣкогда несчастный Ленцъ; Граббе былъ не далекъ отъ такого же мелкаго соперничества. Сбирался же онъ, говорятъ, непременно написать своего собственнаго *Фауста*, который долженъ былъ совсѣмъ затмить гетевского!

Но зачѣмъ во что бы то ни стало сводить въ одной эпохѣ людей, не вѣдавшихъ другъ друга, на зло исторіи и преданію, которыя разобщаютъ ихъ на цѣлыхъ два столѣтія? Оставаясь каждый въ своей сферѣ, въ прямой связи съ народнымъ характеромъ, религіознымъ и общественнымъ уровнемъ своего времени, они не утратятъ близости между собою. Бертольдъ Ауэрбахъ доказывалъ *), что „обѣ легенды дополняютъ другъ друга, что это германская и романская вѣтви одного и того же дерева, разсаженныя въ различныхъ климатахъ и потому разросшіяся совершенно своеобразно; дерево-же, отъ котораго онѣ взяты, знаменуетъ собою челоуѣка въ совокупности всѣхъ его свойствъ“. Онъ привѣтствовалъ поэтому замысль Ленау, послѣдовательно изучившаго въ двухъ трагедіяхъ судьбу Фауста и Донъ-Жуана, и понявшаго, что Гете, остановившись на образѣ мыслителя, выполнилъ только часть задачи.

Обоимъ легендарнымъ героямъ выпала на долю рѣдкая участь, свойственная немногимъ избранникамъ. Несложны ранніе рассказы объ испанскомъ гидальго и нѣмецкомъ чернокнижникѣ, но въ конечномъ своемъ развитіи они способны воспринимать важнѣйшія идеи, волнующія челоуѣчество, или могущественно возбуждать художественное творчество. Отъ

*) „Der Weltschmerz, mit besonderer Beziehung auf Nic. Lenau (Deutsche Abende, 1867).

народныхъ повѣстей и кукольныхъ пьесъ 16—17 вѣка до *Фауста* Гете, отъ монастырской драмы и итальянскихъ арлекинадъ о Донъ-Жуанѣ до комедіи Мольера, оперы Моцарта, поэмы Байрона (имѣющей въ основѣ своей гораздо болѣе общаго съ прямымъ наслѣдіемъ испанскаго преданія, чѣмъ это обыкновенно думаютъ), или грустной исповѣди Ленау, развитіе обѣихъ легендъ отразило на себѣ бездну измѣненій, совершавшихся въ народномъ сознаніи. Но Донъ-Жуанъ даже тутъ счастливѣе своего сотоварища; таинственныя чары *Фауста*, его стремленіе подчинить себѣ стихіи, завоевать божественную силу, внушаютъ сами по себѣ уваженіе и трепетъ; въ эту рамку легко ввести разнообразные элементы высшей духовной борьбы. Труднѣе было дожидаться просвѣтлѣнія и идеализаціи совѣмъ земному и грѣшному Жуану, — но онъ достигъ и этой цѣли. Сначала онъ является предметомъ обличенія и бичеванія съ благочестивой или нравственной точки зрѣнія; по мѣрѣ изученія его характера, составныя его части становятся яснѣе, сила ума и діалектики, рыцарскіе инстинкты, непокорность аскетическимъ воззрѣніямъ незамѣтно выдѣляются изъ образа жреца чувственности. Потомъ выступили въ немъ мотивы религіознаго, политическаго, соціальнаго протеста; по-своему онъ уже кажется вольнодумцемъ, мечтателемъ о лучшемъ строѣ, и гибнетъ нераскаянный. Но все это еще покоится на основѣ личнаго самоуслажденія; только минутами блеснетъ у него гуманное чувство, что-то похожее на любовь. Еще нѣсколько шаговъ дальше—и тайна раскрывается: для него возможно искупленіе, и не его вина, если онъ такъ долго не встрѣчалъ существа, способнаго заронить въ него истинное чувство; онъ разставался съ любимыми женщинами, испытывая всегда глухую душевную боль, и вѣчно неудовлетворенный; когда счастье выпадаетъ ему наконецъ на долю, уже слишкомъ поздно: жизнь изломала и отравила его душу, и онъ гибнетъ въ виду обѣтованной земли или уходитъ въ безконечныя одинокія думы. Въ зрительѣ пробуждается чувство жалости и участія, безмѣрно далекое отъ возмущеннаго цѣломудрія первыхъ впечатлѣній.

Новое время видимо искало подобной примиряющей развязки легенды. Съ тѣхъ поръ, какъ Гофманъ ввелъ ее въ одинъ изъ удачнѣйшихъ своихъ фантастическихъ разсказовъ *), по-своему объяснивъ идею, будто-бы скрытую въ моцартовскомъ „Донъ-Жуанъ“, его точка зрѣнія быстро усвоена была большинствомъ позднѣйшихъ передѣлывателей легенды. О „Донъ-Жуанъ“ идеалистъ мечталъ Альфредъ де-Мюссе, тонкій силуэтъ его набросала Жоржъ-Зандъ (въ Chateau de Désertes), даже А. Дюма-отецъ отважился примкнуть къ этому толкованію; у пушкинскаго героя въ минуту гибели вырывается одно лишь дорогое имя: „о, донна Анна!“ — наконецъ Алексѣй Толстой, вполнѣ слѣдуя въ своей пьесѣ объясненіямъ Гофмана, ввелъ даже чудесное возрожденіе грѣшника, заставилъ его преклониться передъ задушевнымъ призывомъ умирающей Анны, покаяться и пойти въ монастырь.

Одновременно съ выясненіемъ образа Донъ-Жуана шла децентрализація и кочеванія его легенды по лицу Европы, постепенно усвоившія ее всѣмъ національностямъ и литературамъ. Затѣйливыми изгибами совершалось это распространение: сначала отъ одного изъ крайнихъ выступовъ романскаго міра передалось оно другому, изъ Испаніи перешло въ Италію; потомъ поднялось сѣвернѣе, пустило глубокіе корни во Франціи, оттуда проникло въ Англію и Германію, наконецъ зашло на дальній сѣверо-востокъ, въ русскую, даже шведскую и датскую поэзію **). Личность героя долго носила отличительный отпечатокъ испанской народности. Мольеръ рѣшилъ нарушить эту традицію и ввести въ свою пьесу подъ легкимъ покровомъ чуждой среды (дѣйствіе происходитъ у него даже не въ Испаніи, а въ Сициліи) французскую дѣйствительность его времени. Съ той поры наха-

*) Phantasiestücke in Callots Manier. Bamberg, 1813 (Don Juan, eine fabelhafte Begebenheit, die sich mit einem reisenden Enthusiasten zugetragen).

**) Драма Альмквиста „Кающійся Донъ-Жуанъ“; датская пьеса Іоан. Карстена Гауха. См. любопытную статью В. Болина „Don Juan Studier“ въ журналѣ „Finsk Tidskrift för Vitterhet, Uetenskap, Konst och Politik“, 1885, томъ 19.

рактерь Жуана всюду налагался, сознательно или невольно, оттънокъ національности, въ среду которой завела его судьба, или темперамента поэта, въ чьемъ произведеніи онъ возрождался для новой жизни; онъ становился желчнымъ скептикомъ, унылымъ пессимистомъ, нѣжнымъ романтикомъ. Превращенія почти неизбежныя и съ которыми приходится считаться по поводу каждаго особенно популярнаго типа. Въ данномъ случаѣ они не нарушаютъ цѣльности образа, если мы расширимъ предѣлы донъ-жуанизма и дадимъ въ него доступъ всѣмъ развѣтвленіямъ. Но, если остановиться на центральной вѣтви, на развитіи сказанія о Донъ-Жуанѣ Теноріо, придется признать, что оно дѣйствительно всего тѣснѣ связано съ романскимъ міромъ, и, въ частности съ Испанією, что его настоящая родина подъ южнымъ небомъ и горячимъ солнцемъ, что „жаръ крови“ и сильныя страсти одни только и могли сложить въ такой цѣльности подобный характеръ и что туманы сѣвера вредно дѣйствуютъ на него. Исключений мало. Въ оперѣ Моцарта много свѣта и страсти, и его Жуанъ если не испанецъ, то все же безпечный житель юга,—но Моцартъ и родился въ пѣвучей и международной Австріи, и Зальцбургъ съ его Альпами чуть не у порога итальянскаго міра,—а въ *Каменномъ Гостѣ* высоко даровитаго Даргомыжскаго съ начала до конца вьется, не замолкая даже въ веселыхъ напѣвахъ, сѣверная меланхолическая нотка, совершенно въ разрѣзъ съ основнымъ складомъ сюжета. Умѣнье переноситься въ чуждую и никогда не виданную имъ жизнь и подмѣтить ея яркія черты давно ставилось, по поводу его *Донъ-Жуана*, въ особенную заслугу Пушкину, какъ поэту-отгадчику.

На распутіи, среди всѣхъ этихъ многочисленныхъ національныхъ, личныхъ, философскихъ и политическихъ истолкованій нашей легенды стоитъ Мольеровскій *Festin de Pierre*. Ему какъ будто суждено занять центральное, объединяющее мѣсто между ними. Не пьесъ Тирсо де Молины, не итальянскимъ ея передѣлкамъ, не обѣимъ французскимъ пьесамъ—предшественницамъ комедіи Мольера, но именно ей европейская литература обязана введеніемъ въ нее этой богатой фабулы. Съ мольеровскою обработкой тѣсно связаны

оп замыслу лучше изъ послѣдующихъ вариантовъ, позволяющіе себѣ отступленія отъ нея развѣ для того, чтобы воспользоваться мотивами общаго испанскаго источника. По пониманію центральной личности она еще близка къ романскому ея отѣнку, но уже стремится сочетать съ нимъ новыя черты, подготовляющія широкое объясненіе Жуана другими литературами. Она впервые отеклась и отъ клерикальнаго освѣщенія судьбы его, какъ развратника, и отъ легкаго комическаго жанра, которымъ старались смягчить картину итальянцы, и замѣнила обѣ крайности соціальною сатирой высшаго порядка, поставивъ безнаказанное самоуправство героя въ связь съ исключительнымъ положеніемъ Французскаго барства. Она опередила свой вѣкъ, раскрывая въ то же время примиряющія стороны въ героѣ, отказываясь рисовать его чудовищемъ, какъ бы сочувствуя инымъ изъ его смѣлыхъ словъ, подчеркивая воинствующую роль этого „Прометея въ бѣлокурѣмъ парикѣ“, какъ называлъ его недавно одинъ изъ лучшихъ издателей Мольера *), и прямо идя на-встрѣчу гоненіямъ, которые не замедлили обрушиться на пьесу. Но и въ другихъ отношеніяхъ она пробила дорогу новымъ воззрѣніямъ и новому вкусу, и стала особнякомъ въ литературѣ своего времени. Среди разгара ложнаго классицизма она оперлась на народное преданіе, отвела у себя просторъ элементу чудеснаго, внесла на сцену живыя черты крестьянскаго быта и деревенскую рѣчь на-ряду съ свѣтскимъ жаргономъ; на зло обычаю писать театральныя пьесы стихами, она вся написана прозой; наперекоръ тремъ единствамъ въ ней непрерывно мѣняются и мѣсто, и дѣйствіе, и время. Все въ ней живетъ и движется; страсть, согрѣвающая старое испанское преданіе, передалась и ей, и если теоретикъ найдетъ иногда возраженія противъ плана и расpredѣленія сюжета или отыщетъ другія неровности, то непосвященнаго, но чуткаго зрителя сразу подкупитъ именно эта лихорадочная и житейски-правдивая неправильность.

*) Поль Менаръ, въ предисловіи къ „Донъ-Жуану“ въ изд. „Grands écrivains de la France“, V томъ.

Подобная пьеса, послужившая во многихъ отношеніяхъ поворотнымъ пунктомъ въ развитіи новой европейской комедии и долго пробывшая подъ опалой *), думается намъ, стоитъ того, чтобъ изъ нея сдѣлать главную опору въ обзоръ литературной исторіи Донъ-Жуана. Въ видѣ пролога и долгаго послѣсловія примкнутъ къ ней старыя, почти забытыя, и новѣйшія воспроизведенія легенды. Не всѣ они, разумѣется, стоятъ въ той зависимости отъ нея, какая соединяется обыкновенно съ представленіемъ о *школь*, созданной комедіею, а изъ предшествовавшихъ ей пьесъ не всѣ были ея источниками. Но въ исторіи типа, понимаемой въ болѣе широкомъ смыслѣ, должны найти мѣсто не однѣ только прямая нисходящія линіи; любая генеалогія знакомитъ насъ съ побочными вѣтвями семьи и порою превращается въ кудрявое родословное древо. Любопытно видѣть, какъ бродить въ сознаніи народномъ сдѣланное разъ наблюденіе и ждетъ своего воплощенія въ поэтической формѣ, какъ встрѣчаетъ оно на пути другіе легендарные зародыши, какъ сближаются и складываются составныя части будущаго сказанія. **). Наконецъ оно сложилось, получило опредѣленные очертанія, — съ этой поры для него начинается новая жизнь, оно становится достояніемъ творчества всѣхъ странъ.

Обставленная подобной рамкой, задача, съ виду относящаяся къ спеціальной области „мольеризма“, получаетъ общее значеніе; она можетъ помочь сравнительно-историческому изученію литературы и дать вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько наблюденій, интересныхъ и для психолога. Научные изслѣдователи „физиологіи удовольствія“ (напримѣръ Мантегацца), изучая наслажденія воли, чувственности, воображенія и другіе обособляемые ими отдѣлы родового понятія, часто обращаются за справками къ произведеніямъ литературы. Исторія донъ-жуанизма можетъ доставить ихъ въволю.

*) Въ полномъ видѣ она была дана на сценѣ Théâtre français только въ 1847 г.

**) Штейнталь сдѣлалъ нѣсколько любопытныхъ наблюденій надъ періодичностью появленія легендъ; Zeitschrift f. Völkerpsychologie, 1890, XX, 3. Въ исторіи донъ-жуанизма до нашихъ дней нетрудно будетъ найти подтвержденіе этого наблюденія.

Въ глубинѣ среднихъ вѣковъ встрѣчаются намъ первые рассказы о сластолюбцѣ-рыцарѣ, безпечно и безнаказанно отдающемъ всю жизнь культу любви. Горячіе заступники за рыцарство, вродѣ Леона Готье *), настаивали на томъ, что это явление стало возможнымъ лишь на его склонѣ, когда забыты были первоначальные высокіе идеалы. Съ нѣкото-рою робостью отмѣчаютъ этотъ характеръ народныя пѣс-ни, фавль, духовныя драмы и фарсы, и становятся къ нему въ роль обличителей, — единственная отместка пле-бея, ничѣмъ не защищеннаго отъ самоуправства сласто-любцевъ. Первый проѣзжіи рыцарь смѣетъ хитростью, лю-бовными увѣреніями или насиліемъ завладѣть любою посе-лянкой и бросить ее потомъ **). Это почти безсмѣнный сю-жетъ многихъ „пасторалей“. Уже въ XII вѣкѣ изъ числа такихъ искателей удовольствія выдѣляется разудалый раз-вратникъ „Обри Бургундецъ“, чьи дѣянія удостоились пе-ресказа въ цѣлой поэмѣ ***). Со стороны стихотворцевъ-дворянъ слышатся тенденціозно задуманныя любовныя пѣсни, въ которыхъ поклоненіе рыцаря представляется желаннымъ предметомъ грезъ мѣщанскихъ и сельскихъ красавицъ ****). Народная пѣсня, наоборотъ, любитъ изображать торжество дѣвичьей или супружеской вѣрности надъ всѣми соблазнами дерзкаго поклонника, который, какъ Донъ-Жуанъ Мольера или Моцарта и Да Понте, направляетъ свои взоры именно туда, гдѣ постоянная любовь готова завершиться веселою свадьбой. Такова основа любимыхъ въ старой Франціи пѣ-сенъ о Робенѣ и его милой Маріонъ, которою захотѣлъ за-владѣть рыцарь, принужденный подъ конецъ удалиться передъ натискомъ разсерженной толпы крестьянъ. Въ тринадцатомъ столѣтіи эти пѣсни сложились подъ перомъ даровитаго тру-вера Адама de la Halle въ граціозную оперетку, разыгры-вающуюся подъ открытымъ небомъ, среди полей, и полную

*) La chevalerie, p. Léon Gautier. P. 1884, p. 89—97.

**) Chansons du XV siècle, publ. p. G. Paris 1875, p. 24; пѣсня очевидно болѣе ранняя.

***) Aubert li Bourgoing, изд. Тоблеромъ и П. Тарбе.

****) Gröber. Altfranzösische Romanzen und Pastourelles. Zürich, 1872.

пѣнія и веселья (Li gieus de Robin et de Marion qu'Adans fist *); разлучникомъ пытается явиться рыцарь (li chevaliers), который нашептываетъ дѣвушкѣ признанія, сулитъ богатство; онъ ее совѣмъ не любитъ, но, случайно увидавъ ее, хотѣлъ бы „пріятно отдохнуть послѣ турнира“. Онъ благо-разумно исчезаетъ, завидѣвъ Робена, но снова появляется, когда находитъ Маріонъ одинокою. Какъ будто есть намекъ, что онъ ей начинаетъ нравиться; она съ нимъ сначала обходится сурово, а во второй разъ проситъ уйти изъ боязни, что ее застанетъ съ нимъ женихъ и откажется отъ нея. Но Робень не смѣшной мольеровскій Пьерро и не Мазетто; хотя не безъ мѣшковатыхъ ухватокъ; онъ скликаетъ товарищей-пастуховъ, грозно наступаетъ на противника и для начала убиваетъ его сокола. Нашъ Донъ - Жуанъ въ гнѣвѣ даетъ ему ударъ палашомъ, отъ котораго тотъ ошеломленъ. Дѣвушка проситъ за него прошенія. „Я прошу, если ты пойдешь со мной“ (volentiers s'aveuc moi venés), безцеремонно отвѣчаетъ рыцарь при людяхъ, и уже уводитъ ее, но на дорогѣ внезапно ее покидаетъ, будто разсердившись на ея холодность, а на дѣлѣ очевидно изъ боязни, что оправившіеся отъ испуга крестьяне подавятъ его численностью. Примиреніе жениха съ невѣстой и безконечныя пѣсни и пляски, заканчивающія пьесу, спѣшаютъ разсѣять драматическое впечатлѣніе, производимое ея началомъ.

Запуганное средневѣковое воображеніе склонно было видѣть въ подобныхъ соблазнителяхъ клевретовъ темной силы, дѣйствующей черезъ нихъ. Если главнѣйшія изъ пороковъ представлялись даже проповѣдникамъ „дочерьми дьявола“, сочетававшимися съ родоначальниками различныхъ сословій (при чемъ Гордость вышла замужъ за прелатовъ и свѣтскую знать, а Распутство, Лухиге, не захотѣло одного мужа, а предпочло соединяться со всѣми людьми**), то легко могло

*) Издано съ нотами напѣвовъ Куссемакеромъ въ Oeuvres complètes du trouvère Adam de la Halle. Paris, 1872, pp. 348—412. Новѣйшая работа объ Адамѣ de la H.—De Mallortie, Le théâtre franç. au moyen âge. Adam de la Halle (Mémoires de l'académie d'Arras, 1893).

**) Les filles du diable, статья В. Hauréau. Journal des savants, 1884, avril.

возникнуть сказаніе о томъ, что именно отъ подобнаго брака рождаются эти коварные развратники. Такъ сложилось преданіе о Робертѣ-Дьяволѣ, приуроченное къ историческому дѣятелю XI вѣка, Роберту I, герцогу нормандскому; наряду съ безчеловѣчными жестокостями оно переполнено несчетными любовными побѣдами; и тѣ, и другія черты его необузданнаго нрава предопредѣлены его несчастнымъ рожденіемъ и тяготѣющимъ надъ его судьбой закліетіемъ. Мать, долго не имѣя дѣтей, поклялась отдать демону ребенка, лишь бы только онъ родился,—и когда сынъ ея, на зло родителей и въ посмѣяніе церкви и добрыхъ нравовъ, предается своему бурному характеру и ничего не щадитъ на свѣтѣ, въ немъ очевидно говорить демоническое начало, котораго онъ въ себѣ не подозрѣвалъ.

Привычная эпическая развязка подобныхъ сказаній о богатыряхъ, которыми смолоду „было много бито, граблено“,—покаяніе и богомольное путешествіе къ святымъ мѣстамъ замыкаетъ легенду, которая въ этомъ идетъ въ уровень съ историческими показаніями о такомъ же концѣ жизни нормандскаго герцога, умершаго на возвратномъ пути изъ Іерусалима. Первая часть сказанія, до этой примиряющей развязки, во многомъ сходится съ главными чертами будущей легенды о Донъ-Жуанѣ. Рано получившее литературную форму *) въ стихотворномъ романѣ XIII вѣка, въ прозаической повѣсти XV столѣтія, которая, много разъ передѣланная, до сихъ поръ служить любимымъ чтеніемъ французскаго народа, и въ мистеріи XIV вѣка, оно не мало содѣйствовало укрѣпленію въ памяти массы устрашающаго образа получеловѣка, полудемона. Въ 1530 году оно уже было переведено по-испански и нѣсколько разъ издавалось въ Испаніи и Португаліи до появленія пьесы Тирсо де Молины.

Мистерія о Робертѣ въ особенности часто предвѣщаетъ

*) Обзоръ развитія легенды о Робертѣ сдѣланъ при изданіи англійской версіи „Sir Gowther“ Карломъ Бэйлемъ, Oppeln, 1886 (неудачное мифологич. объясненіе. См. Статью Karl Borinski, „Zur Legende v. Robert dem Teufel“, Zeitschrift für Völkerpsychologie, 1889, I.

жуановскую легенду *). Она открывается увѣщаніями старика-отца сыну одуматься и исправиться. Это совсѣмъ тѣ же рѣчи, съ которыми Донъ Діэго у Молины и Донъ-Луись у Мольера обращаются къ неисправимому грѣшнику: онъ проникнутъ набожностью, старческою добротой и довѣрчивостью, надъ которою смѣется сынъ; только доведенный до крайности, герцогъ рѣшается на суровыя мѣры. Робертъ собираетъ на нашихъ глазахъ свою привычную дружину и ведетъ ее на грабежъ и веселье; они обыщутъ всю Нормандію, разроютъ всѣ монастыри; „какую бы красавицу ни встрѣтилъ онъ на своемъ пути, замужнюю или дѣвушку, онъ сумѣетъ добромъ или насильно добиться ея любви“. Онъ видимо шеголяетъ удалю и грубымъ юморомъ, въ которомъ съ нимъ соперничаютъ товарищи. И въ слѣдующей сценѣ нормандскіе бароны спѣшатъ къ герцогу съ жалобами на его сына: „Съ одного конца страны до другого,—говорятъ они, нѣтъ монастыря, который не былъ бы имъ ограбленъ; онъ тѣшится, совершая насилія надъ монахинями; у насъ нѣтъ дочери, племянницы, жены, которую бы онъ пошадилъ“. Въ послѣдній разъ отецъ ищетъ соглашенія и посылаетъ ему гонцовъ. Такъ незадолго до катастрофы Донъ Луись пытается образумить ослушника. Но мольеровскій Жуанъ хитритъ съ отцомъ и притворяется раскаявшимся. Робертъ еще въ когтяхъ демона, и въ гнѣвѣ велитъ вырвать по глазу у каждаго изъ пословъ. Его лишаютъ наслѣдства, изгоняютъ изъ страны; какъ одичалый звѣрь, бродитъ онъ вокругъ жилья и видитъ передъ собой скитъ, гдѣ спасаются нѣсколько пустынниковъ. Какъ герою Мольера, ему непонятна блажная мысль жить лишеніями и умерщвлять плоть. „Мы живемъ здѣсь, чтобъ молиться Богу и служить ему денно и ношно, мы бѣдные пустынники,—говоритъ ему одинъ изъ нихъ въ отвѣтъ на его презрительный вопросъ,—зачѣмъ ихъ скопилась тутъ такая куча“ (*Quelle est ton occupation parmi ces arbres?—Je prie le ciel pour la prospérité des gens de bien qui*

*) Она была переиздана Эд. Фурнье „Le mystère de Robert le Diable“, Р. 1877.

me donnent quelque chose, отвѣчаетъ нишій у Мольера). Робертъ велитъ всѣхъ презрѣнныхъ монаховъ переколотъ; мольеровскій Донъ-Жуанъ, посмѣявшись надъ бессмысленностью подвижничества, даетъ нищему милостыню „изъ человѣчности“. Три столѣтія не прошли даромъ для смягченія нравственныхъ понятій.

Мольеру врядъ ли извѣстна была именно эта мистерія, быть-можетъ, тогда уже забытая народной публикой и въ глухихъ провинціяхъ (хотя есть свидѣтельства, что кое-гдѣ даже въ дни первой имперіи игрались еще старинныя пьесы этого рода, извлеченныя, подобно драмѣ о Робертѣ, изъ любимыхъ романовъ: Фіерабраса, Сыновей Аймона и т. д., а у басковъ пьеса о Робертѣ Дьяволѣ игралась даже въ 1849 г.) *). Вѣроятнѣе его знакомство съ народною повѣстью на тотъ же сюжетъ; но совпаденіе частныхъ его комедій съ нормандскимъ сказаніемъ и не приводитъ къ раскрытію заимствованія;—оно указываетъ только одно изъ забытыхъ звеньевъ развитія занимающей насъ легенды.

Принимавшій уже осязательныя очертанія, образъ героя ея могъ отнынѣ приурочиваться въ каждой странѣ къ тому изъ ославленных своею безнравственностью искателей приключеній, которые всего ближе подходили къ этому типу. Слишкомъ рѣзкія черты преданія, наприм. жестокость, кровожадность, страсть къ грабежу и т. д., должны были отпасть и оставить на первомъ мѣстѣ чувственность, заманчивость приемовъ, красоту. Это превращеніе, конечно, могло произойти не въ суровой приморской Нормандіи, изстари развившей у себя народную демонологию, но на крайнемъ югѣ. Стройный обликъ преданіе получило лишь на Пиренейскомъ полуостровѣ; здѣсь же выдвинулось и несмѣняемое съ той поры имя героя. Почти нѣтъ спору о томъ, откуда явилось оно. Лишь немногіе относятъ его къ поучительной повѣсти, составленной будто бы португальскими іезуитами: „Vita et mors sceleratissimi principis Joannis“,—и передавшей въ назиданіе потомству судьбу развратнаго короля Альфонса VI,

*) Vinson. Le folk-lore du pays Basque. 1883, p. XXVIII.

чьи пороки возмутили высшее духовенство, которое овладѣло имъ, заточило и распустило потомъ слухъ, что демоны унесли его тѣло. Ссылка на это повидимому фиктивное, или же извѣстное только по титулу произведение давно уступила мѣсто болѣе достовѣрному указанію на судьбу Донъ-Жуана Теноріо *), представителя стараго аристократическаго рода, и до сихъ поръ еще не вымершаго въ Испаніи; вмѣстѣ съ своимъ близкимъ другомъ, королемъ Донъ-Педро, онъ приводилъ, говорятъ, въ ужасъ жителей Севильи своими продѣлками, похищеніями и интригами, которыя оставались безнаказанными уже потому, что самъ король принималъ въ нихъ участіе. Молодой Теноріо сошелъ со сцены вдругъ, загадочно, и это исчезновеніе дало, конечно, пищу разнымъ толкамъ и слухамъ, которые ходили въ народѣ съ XIV вѣка и постепенно разрослись. Послѣднимъ его безумнымъ поступкомъ было убійство командора Донъ Гонзало де Уллоа, у котораго онъ похитилъ дочь. Въ фантастической развязкѣ, придуманной для объясненія смерти Жуана,—во мщеніи статуи убитаго отца, которая внезапно ожилилась и наказала преступника, тогда же заподозрѣли басню, нарочно сложенную монахами; обѣщавъ семьѣ Уллоа свою помощь въ отмщеніи, они заманили Жуана въ монастырь св. Франциска, гдѣ находился мавзолей командора, и убили безбожника.

Могло ли быть только досужимъ монашескимъ вымысломъ это новое и важное по своимъ художественнымъ послѣдствіямъ разрѣшеніе страстной драмы Жуана? Не встрѣтилась ли тутъ назрѣвшая уже легенда съ другою, еще болѣе древнею, и не слилась ли съ нею? Догадка эта возникаетъ сама собою, побуждая къ провѣркѣ. Вмѣшательство въ людскія дѣла оживленнаго изваянія, въ которое воплощается духъ умершаго, или незримая божественная личность, можетъ быть прослѣжено въ общечеловѣческихъ сказаніяхъ еще въ

*) Легенда о Донъ-Жуанѣ де-Марага, нашедшая въ нашъ вѣкъ нѣсколько передѣлывателей (Проспера Мериме, А. Дюма), возникла въ Испаніи значительно позже подъ вліяніемъ поучительной тенденціи.

глубокой древности, въ Египтѣ, Римѣ. Плутархъ не разъ передаетъ подобные рассказы: въ жизнеописаніи Камилла узнаемъ, что статуя Юноны отвѣчала наклоненіемъ головы и ясно произнесеннымъ *да* на мольбу героя перенести свое покровительство на Римъ; въ біографіи Коріолана,—что статуя Фортуны дважды говорила слова одобренія римскимъ женщинамъ. Классическія преданія встрѣтились съ восточными легендами о говорящихъ статуяхъ, вродѣ тѣхъ, что, по арабскимъ сказаніямъ, занесеннымъ въ Испанію, хранили съ обѣихъ сторонъ Гибралтарскій проливъ. Автоматическія статуи, которыя, по „Повѣсти о семи мудрецахъ“, воздвигнуты были Виргиліемъ (въ его средневѣковой роли искуснаго волшебника) для охраны спокойствія Рима и сами звонили въ колоколъ въ случаѣ опасности,—статуи, бросавшія другъ другу мячи при началѣ каждой недѣли, знаменитыя „уста Правды“, которыя сами сжимались и не выпускали руки, если вставившій ее ложно присягалъ, —все это предвѣщало особенно сильное развитіе этого мотива въ средніе вѣка. Но не одни только несложныя дѣянія или отрывочныя слова приписываются этимъ чудеснымъ существамъ. Очень рано въ нихъ начинаютъ отгадывать человѣческія страсти и силу воли; по тонкому замѣчанію Гастона Пари *), этотъ взглядъ сталъ складываться въ ту пору, когда христіанство еще боролось съ политеизмомъ и когда новообращенные боялись мщенія боговъ, которымъ измѣнили. Еще въ двѣнадцатомъ столѣтіи (1135 г.) передавалось, какъ одинъ молодой чело-вѣкъ, проходя мимо изображенія Венеры, шаловливо надѣлъ ей на палецъ кольцо, въ знакъ того, что онъ обручился съ богиней; но, когда онъ захотѣлъ кончить шутку, бронзовый палецъ съ кольцомъ былъ уже согнутъ; Венера серьезно поняла актъ обрученія и отстаивала свои права на юношу даже передъ своимъ супругомъ. На дальнемъ Западѣ, наоборотъ, ходила легенда о подобномъ же союзѣ неосторожной женщины съ изваяніемъ какого-то античнаго божества. Покинутая своимъ мужемъ, она шла разъ молиться къ заут-

*) La légende de Rome au moyen âge. Journ. des savants, 1884, octobre.

рени, принявъ яркій свѣтъ луны за солнечный восходъ; на площади, среди спавшаго города, она увидѣла статую въ сладострастной позѣ; вспомнивъ о своемъ далекомъ мужѣ, она всходитъ по камнямъ, чтобы поцѣловать ее, но уже не можетъ высвободиться изъ объятій; такъ ее и застаютъ *).

Какъ боги рано или поздно сходили съ своихъ пьедесталовъ, такъ и статуи, о которыхъ идетъ рѣчь. Пришло время, когда передавались повѣрья о странствіяхъ ихъ между людьми. Къ этой порѣ значительно смягчились ихъ свойства. Въ приведенныхъ сказаніяхъ о Венерѣ она еще кажется злымъ демоническимъ существомъ, и необходима помощь искуснаго заклинателя, чтобы заставить ее выпустить изъ рукъ кольцо. Вскорѣ однако злоба смѣняется кротостью, любовью, и роль мраморной невѣсты переходитъ къ Мадоннѣ. Такова она въ мистеріи „De celuy qui mit l'anneau nuptial au doigt de Notre Dame“. Но, начиная съ этого превращенія, мы замѣчаемъ ослабленіе личныхъ интересовъ въ дѣйствіяхъ чудеснаго изваянія; оно посвящаетъ себя спасенію другихъ, его вмѣшательство служить уже не ко злу, а къ благу людскому. Статуя св. Николая въ мистеріи Жана Боделя помогаетъ раскрыть тайное воровство. Одна старофранцузская пьеса заставляетъ Мадонну сходить съ своего мѣста въ церкви и преграждать выходъ неразумной молодой монахинѣ, порывающейся идти на свиданіе съ богатымъ вѣтренникомъ, который, подобно Донъ-Жуану, завязываетъ съ нею интригу при помощи слуги изъ разряда Сганарелей и Лепорелло. По другому варианту, она заступаетъ мѣсто несчастной на общихъ монастырскихъ молитвахъ, чтобы не дать замѣтить ея отсутствія, и этимъ великодушіемъ возвращаетъ ее на путь истинный.

Но божественный ореолъ понемногу тускнѣетъ въ сказаніяхъ этого рода, когда отъ выдающихся произведеній античной или католической церковной скульптуры дѣйствующая роль переходитъ къ надгробнымъ статуямъ простыхъ

*) Изъ новеллъ Иерон. Мерлина. Felix Liebrecht. Zur Volkskunde, 1879. S. 138.

смертныхъ, становящихся орудіемъ Промысла для вразумленія или кары грѣшниковъ. Какъ тѣни въ поэзіи сѣверныхъ народовъ, такъ статуи на югѣ олицетворяли въ особенности переходное состояніе души, связанное съ католическимъ ученіемъ о чистилищѣ и нуждающееся въ добромъ подвигѣ для окончательнаго искупленія. Испанская народная среда оказалась особенно воспримчивою въ этомъ отношеніи, и на основѣ повѣрій античнаго, арабскаго и христіанскаго происхожденія въ ней укоренилось видимое пристрастіе къ такимъ легендамъ. Столкновеніе Жуана со статуей командора далеко не единственное въ этомъ родѣ. Мало кѣмъ замѣчено было, напримѣръ, что его развязка дана въ одной изъ менѣе извѣстныхъ, но умно проведенныхъ комедій Лопе де-Веги, который очевидно драматизировалъ преданіе, ходившее въ устахъ народа. Въ пьесѣ „Деньги даютъ человѣку положеніе“ (*Dineros son calidad*) *) выведенъ въ разгарѣ отчаянія молодой потомокъ разорившагося аристократа, который все свое состояніе отдалъ на поддержку короля, убитаго потомъ враждебною партіей. Испытавъ всѣ средства вернуть семьѣ прежній достатокъ, Октавіо подходитъ съ своимъ трусливымъ слугою къ гробницѣ короля Энрике и старается разрушить ее. Слышатся стоны и чей-то зовущій голосъ. Сами собой зажигаются факелы, и статуя выходитъ изъ-подъ обломковъ мавзолея. Октавіо смущенъ, но не выказываетъ робости; „если бы ты былъ даже демонъ, говоритъ онъ, то всѣ каменные бѣсы въ мірѣ меня не испугали бы“. Мертвецъ зоветъ своего оскорбителя внутрь склепа, требуетъ отъ него удовлетворенія, осыпаетъ его укоризнами; Октавіо обнажаетъ мечъ, но размахи его только разсѣкаютъ воздухъ. „Какъ, ты созданъ изъ воздуха?—воскликаетъ онъ въ изумленіи,—а съ виду твое тѣло мраморное!“—„Оно изъ мрамора, когда я хочу покарать тебя, но воздушное, когда ты на меня нападаешь“. Но все это было лишь испытаніемъ крѣпости воли юноши; онъ достоинъ иной участи, и привидѣніе указываетъ ему, гдѣ зарытъ кладъ, который снова обогатитъ

*) *Comedias escogidas de los mejores ingenios de España. 1653, часть VI.*

разоренную семью. Только тогда, когда совершится это воздаяніе, душа Энрике выйдетъ изъ чистилища; чтобъ убѣдить юношу, какія страданія намъ суждено выносить тамъ, статуя даетъ ему руку на прощаніе,—быть можетъ, онъ пойметъ и пожалѣетъ убитаго. Каменная длань опалаетъ Октавіо; онъ падаетъ въ обморокъ, въ то время какъ статуя исчезаетъ.

Время появленія этой пьесы въ точности неизвѣстно; въ печати она явилась почти одновременно съ первою драмой о Каменномъ Гостѣ (1630—1632), но могла быть написана нѣсколько раньше, если примемъ въ расчетъ усиливавшееся въ послѣдніе годы жизни Лопе ипохондрическое и ультра-набожное настроеніе, все рѣшительнѣе отвлекавшее его отъ работъ для театра. Во всякомъ случаѣ сюжетъ ея разработанъ съ полною независимостью отъ преданія о Жуанѣ, какъ будто не вѣдаетъ характера сластолюбца, и карающее вмѣшательство Каменнаго Гостя замѣняетъ благотѣльнымъ,—пріемъ любопытный уже потому, что, по вѣрному замѣчанію одного изъ современныхъ испанскихъ критиковъ, почти во всѣхъ пьесахъ Лопе можно встрѣтить отголоски донъ-жуанизма. Но уже раньше этого настало время для прямого соединенія двухъ прослѣженныхъ нами легендарныхъ вѣтвей; появленіе грознаго судьи съ того свѣта должно было занять мѣсто поучительной развязки въ жизни непобѣдимаго завоевателя сердецъ. Въ тиши монастыря святого Франциска, подъ вліяніемъ разсказа о безбожникѣ Теноріо, совершилось это сліяніе, не первое и не послѣднее въ мірѣ набожныхъ легендъ; въ такомъ видѣ передавалось оно изъ поколѣнія въ поколѣніе и дождалось драматической обработки,—единственной оправы, которая подходила къ подобному тревоженному сюжету. Многіе изъ изслѣдователей до сихъ поръ, со словъ Кольриджа, повторяютъ, что первою формою такой обработки была монастырская мистерія объ „атеистѣ, пораженномъ небеснымъ огнемъ“ (*Ateista fulminado*), которая будто бы долгое время исполнялась на монашескихъ сценахъ по всей Испаніи. Но пьеса эта не дошла до насъ; отрывокъ, переведенный изъ нея Кольриджъ,

жемъ въ примѣчаніяхъ къ изданію байроновской поэмы, слишкомъ скуденъ, а степень компетентности переводчика въ опредѣленіи давности рукописи далеко не внѣ сомнѣнія. Гораздо важнѣе отмѣтить, что въ XVII вѣкѣ появилось сразу двѣ испанскія пьесы на тему о Донъ-Жуанѣ, и что вторая изъ нихъ до сихъ поръ не издана и хранится въ извѣстной своимъ сокровищами библіотекѣ герцоговъ д'Оссуна. Книгохранилище это куплено теперь испанскимъ правительствомъ и станетъ доступнѣе; быть-можетъ, придетъ тогда время и для изданія этой любопытной пьесы, проходившей незамѣченной благодаря традиціонной апатіи испанскихъ литературныхъ нравовъ, любящей торныя дороги и только теперь уступающей мѣсто неподдѣльному оживленію *). Пьеса эта „La venganza en sepulcro“, принадлежащая Алонзо де Кордоба - и - Мальдонадо, воспроизводитъ легенду (по словамъ лицъ, познакомившихся съ рукописью) въ иномъ духѣ, чѣмъ драма Тирсо, хотя и съ тѣми же главными лицами, молодымъ Теноріо, командоромъ, донной Анной, маркизомъ де ла Мота и слугой, который носитъ здѣсь имя Кольхона, и долженъ исполнять роль національно-испанскаго буффона „gracioso“ **).

Когда пьеса эта будетъ издана, быть-можетъ, придется перемѣстить къ ней старшинство въ литературной обработкѣ легенды, которое доселѣ безспорно принадлежало достопамятному „Burlador de Sevilla“ ***). Но, еслибъ ему и суждено было поступиться давностью, онъ врядъ ли потер-

*) Даже въ трехъ критическихъ этюдахъ о Д. Жуанѣ, переведенныхъ Маньябалеомъ (D. J. et la critique espagnole, 1893), и принадлежащихъ Мануэлю де ла Ревилла, Пи-и-Маргалю, и донъ Фелипе Пикатосте, наряду съ немногими новыми и удачными соображеніями все еще удержанъ устарѣлый ненаучный хламъ.

**) Catalogo bibliografico y biografico del teatro antiguo español, por D. Cayetano Alb. de la Barrera y Leirado. Madr. 1860, p. 101.

***) Пикатосте хотѣлъ бы ввести въ восходящую линію и комедію Сервантеса *Rufian dichoso*, но герой этой пьесы слишкомъ мелкаго разбора, не нуждается въ обманахъ и соблазнахъ, потому что женщины сами преслѣдуютъ его своею любовью, и подъ конецъ идетъ въ монахи; время созданія пьесы повидимому не предшествовало появленію драмы Тирсо.

пѣлъ бы уронъ въ художественномъ отношеніи. Габріель Теллець, извѣстный подъ псевдонимомъ Тирсо де Молины, стоилъ бы большей симпатіи, чѣмъ та, которая выпала на долю въ потомствѣ и ему, и всему старому испанскому театру. Чуждая среда, отдаленная эпоха, придворная или монастырская обстановка, въ которой написана большая часть произведеній того времени, производятъ на позднѣйшаго читателя охлаждающее впечатлѣніе; ему кажется, что онъ прикоснулся къ чему-то давно отжившему и неспособному его заинтересовать. Между тѣмъ каждый разъ, когда что-нибудь заставитъ его преодолѣть невольное предубѣжденіе, ему приходится признать, какое глубокое пониманіе жизни и людей, сколько художественной силы и воображенія, догадокъ и мыслей, прямо сочувственныхъ нашему времени (при всемъ іерархизмѣ древнихъ испанскихъ порядковъ), скрывается въ этихъ старомодныхъ пьесахъ; не говоримъ уже о необычайной изобрѣтательности по части сюжетовъ, способной повергнуть въ трепетъ бѣдную на этотъ счетъ современную намъ драматургію, которая могла бы продовольствоваться ими долгіе годы. Между ходомъ развитія англійской драмы и испанскаго театра несомнѣнно много сходства; обѣ эти національныя стихіи, борясь противъ формализма и стремясь воплотить настоящую жизнь, давая просторъ чувству и фантазіи, заложили начало новѣйшей европейской драмы, исходящей отъ Шекспира и Марло столько же, какъ и отъ Лопе де Веги, Кальдерона и ихъ собратій *). Но предшественникамъ и современникамъ Шекспира выпала несравненно болѣе завидная участь; малѣйшаго изъ нихъ изучаютъ и комментируютъ,—рѣдко кто знаетъ даже по имени драматурговъ старой Испаніи **).

Тирсо былъ не только талантливымъ писателемъ, но и

*) Analogías de la literatura dramática de España y de Inglaterra, статья Eusebio Asquerino (Revista de España 1886, 10-го апрѣля).

**) Изданная теперь въ русскомъ переводѣ (Н. И. Стороженка) „Исторія испанской литературы“ Тикнора, М. 1886—91, будетъ прекраснымъ подспорьемъ для изученія старой драмы. Къ сожалѣнію, Тикноръ отвѣлъ слишкомъ мало мѣста разбору дѣятельности Тирсо.

прозорливымъ эстетикомъ. Характеризуя споры, возбужденные въ обществѣ одною изъ его пьесъ „El vergonzoso en palacio“, и незамѣтно высказывая при этомъ свой взглядъ на творчество, онъ энергически боролся въ этой самокритикѣ (напоминающей лучшія произведенія этого рода) противъ закона о трехъ единствахъ, требовалъ для поэзіи свободы и постоянного прогресса, и доказывалъ необходимость усиленныхъ наблюденій надъ жизнью *). Его клерикальныя отношенія такъ же мало стѣсняли его, какъ и Лопе, у котораго, какъ извѣстно, съ періодомъ его священства совпадаетъ изображеніе наиболее рельефныхъ и часто двусмысленныхъ сторонъ мірскихъ нравовъ,—такова уже была особенность старой испанской среды, приводящая иногда въ изумленіе историковъ культуры. Церковныя связи, конечно, должны были отразиться на послѣднихъ сценахъ пьесы о Каменномъ Гостѣ, но вся она такъ жизненна и рисуетъ страсти и влеченія земныя съ такою яркостью, что иной разъ не вѣрится, чтобъ это написалъ почитаемый всѣми членъ ордена de la Merced.

Одна изъ поѣздокъ, предпринятыхъ имъ по надобностямъ своего братства, привела его въ 1625 году изъ Толедо въ Севилью, и тутъ, во францисканскомъ монастырѣ, онъ изъ перваго источника узналъ преданіе о Донъ-Жуанѣ Теноріо. Часовня и статуя командора тогда еще неприкосновенно сохранялись, и разрушились только во время опустошительнаго пожара въ 18-мъ столѣтіи (это не мѣшало жителямъ Севильи до послѣдняго времени показывать пріѣзжимъ совѣмъ въ другомъ мѣстѣ обломокъ конной статуи, изображавшей, повидимому, какого-нибудь римскаго консула, и выдавать его за подлинное олицетвореніе Донъ-Гонзало). Подъ сильнымъ впечатлѣніемъ легенды, Тирсо написалъ затѣмъ свою пьесу, очевидно въ промежутокъ между его поѣздой въ Севилью и появленіемъ комедіи въ печати,—именно въ „Сборникѣ избранныхъ сочиненій Лопе де-Веги и другихъ

*) Menendez y Pelayo. Historia de las ideas esteticas en España. Madr. 1884, II, 470—74.

авторовъ“, выпущенномъ въ Барселонѣ въ 1630 году *). Много разъ изданная **) и переведенная на главные языки Европы, она пострадала отъ случайныхъ и умышленныхъ пропусковъ и искаженій ***), допущенныхъ небрежными издателями, но и въ этомъ видѣ не утратила свѣжести и силы.

Мы застаемъ Донъ-Жуана при дворѣ неаполитанскаго короля; сюда выслалъ его къ своему брату, испанскому послу, отецъ, надѣясь на его исправление. Но это только придало разнообразіе его похощеніямъ, обогатило и безъ того длинный рядъ его побѣдъ, пріобрѣтающихъ съ этихъ поръ международный характеръ. Смѣлая интрига, которую онъ попытался завязать въ самомъ дворцѣ короля, подвергаетъ его большой опасности. Король засталъ его на тайномъ свиданіи съ герцогиней Изабеллой, — Жуанъ, переодѣтый, въ темнотѣ, мѣняя голосъ, явился къ ней обманомъ вмѣсто Октавіо, и долженъ теперь погибнуть. Но онъ спасается отъ когтей правосудія и снова бѣжитъ въ Испанію. Его сопровождаетъ неразлучный спутникъ, сразу бойко очерченный у Тирсо, быть можетъ, подъ нѣкоторымъ влияніемъ популярной уже тогда характеристики Санчо Пансы въ „Донъ Кихотъ“. Ему вообще не посчастливилось на собственное имя; что ни пьеса, то у него новая кличка. Здѣсь его зовутъ Catalinon. Онъ порою трусливый, но смышленный малый, подъ часъ идущій въ разрѣзъ съ своимъ господиномъ и читающій ему мораль. Иногда остроумный и насмѣшливый, онъ чаще жалѣетъ жертвъ Жуана, готовъ выручить и образумить ихъ, но при

*) Точной даты для появленія пьесы, конечно, нужно искать въ промежуткѣ этихъ пяти лѣтъ. Тѣмъ страннѣе видѣть, что до сихъ поръ или считается невозможнымъ указать какую нибудь цифру, или же (какъ это дѣлаетъ Меваръ) сочиненіе пьесы относится къ самому началу столѣтія, до вступленія Тирсо въ монашество.

**) Въ той ея редакціи, которой придано заглавіе „*Tan largo me lo fiais?*“ (вновь издана въ *Collecion de libros españ. raros e curiosos*, М. 1878), Мануэль Ревилла предполагаетъ первообразъ пьесы, и считаетъ *Burlador* послѣдующей передѣлкой.

**) Таково въ особенности мнѣніе Гартценбуша (*Comedias escogidas de Fray Gabr. Tellez juntas en collecion e illustradas*. Mad. 1857).

первомъ же словѣ своего повелителя онъ превращается въ усерднаго его помощника. Ему еще далеко до мольеровскаго Сганареля съ его неистощимымъ юморомъ, забавными философскими разсужденіями и комическимъ стремленіемъ подражать въ мелочахъ своему господину.

Оба спутника терпятъ крушеніе у береговъ Испаніи, въ виду небольшой рыбацѣй деревни. Такъ начинается второй актъ пьесы Мольера, но перевѣсъ реализма заставилъ ея автора придать болѣе прозаическое освѣщеніе той картинѣ, которая открывается передъ спасенными пловцами. Во французской пьесѣ мы видимъ настоящую деревню 17 вѣка, и въ Пьерро съ Шарлоттой не осталось ни одной идеализованной черты. У Тирсо, наоборотъ, именно тутъ промелькнулъ наиболѣе граціозный женскій образъ,—молодая рыбацка Тизбея, предающаяся дѣвичьимъ грезамъ о счастіи, задумавшись подъ плескъ волнъ и сладкое пѣніе птицъ въ лѣсу. Она видитъ издали гибель двухъ неизвѣстныхъ ей людей, зоветъ на помощь, страдаетъ за нихъ и страстно влюбляется въ юнаго красавца, который приходитъ въ себя отъ обморока, прильнувъ головою къ ея колѣнямъ. Даже строгій Тирсо посвятилъ цѣлое длинное явленіе мечтательному монологу дѣвушки, и потомъ всюду, гдѣ она выступаетъ, обрисовалъ ея характеръ съ особой симпатіей. Этотъ образъ заслуживалъ еще болѣе тонкой обработки и дождался ея въ гармоническихъ строфахъ второй и третьей пѣсни байроновскаго „Донъ - Жуана“, гдѣ Гайдэ замѣнила собою Тизбею.

Болѣе чѣмъ кого-либо, Каталинону жаль этой дѣвушки, но и она, и другая довѣрчивая красавица-крестьянка Аминта, смѣняющая ее вскорѣ, идутъ прямо на свою гибель,—Тизбею мучительно поражаетъ разочарованіе и стыдъ, она впадаетъ въ безуміе и едва не бросается въ море. Жуанъ всѣмъ имъ клянется въ вѣчной любви, свободно призываетъ Бога въ свидѣтели своихъ клятвъ, и если еще не научился ханжеству въ духѣ Тартюфа (которое имъ вполне усвоено будетъ лишь въ комедіи Мольера), то очень недалекъ отъ этого и превосходно умѣетъ лицефривить. Но деревенской среды ему

мало; онъ перенесъ дѣятельность въ Севилью, и жаждетъ новыхъ подвиговъ; онъ знаетъ, что надъ нимъ тяготѣетъ опала, что его приключеніе въ Неаполѣ извѣстно при дворѣ, но это его вовсе не смущаетъ. Встрѣтившись съ прежнимъ товарищемъ по романическимъ походамъ, маркизомъ де-ла-Мота, онъ безопасно болтаетъ съ нимъ о былыхъ проказахъ, вспоминаетъ о разныхъ прелестницахъ изъ полу-свѣта, которыхъ знавалъ прежде въ закоулкахъ Севильи. Это одна изъ счастливыхъ догадокъ Тирсо; онъ хочетъ показать въ Донъ-Жуанѣ не исключительное явленіе, а одного изъ многихъ искателей утѣхъ, превосходящаго ихъ волею и умомъ; отъ маркиза Мота до Жуана такое же разстояніе, какъ отъ бреттера средней руки до гениальнаго стратега. Первый, разумѣется, не можетъ не уступать сопернику, не имѣя ни его прозорливости, ни самообладанія. Едва Мота успѣлъ похвастать передъ товарищемъ любовью Донны Анны и ея небесною красотой, какъ Жуанъ рѣшилъ уже отбить ее и составилъ планъ дѣйствій. Случай далъ ему въ руки письмо, которымъ она назначаетъ болтливому маркизу свиданіе; онъ идетъ туда вмѣсто него, ранить на смерть командора, и во время тревоги умѣетъ отклонить всѣ улики на Моту, котораго застали одного передъ домомъ убитаго. Жуанъ примѣнилъ здѣсь еще разъ то, что удалось ему въ Неаполѣ. Для свѣтскихъ женщинъ, на его взглядъ, не годятся тѣ приемы соблазна, которыми онъ плѣнялъ деревенскихъ простушекъ. Въ виду такого повторенія мотива, либреттистъ Моцарта, Да Понте, выказалъ большое чутье, сливъ Моту и Октавіо въ одно лицо, но, по своимъ соображеніямъ, сдѣлалъ его признаннымъ женихомъ Донны Анны.

Дѣйствіе быстро движется впередъ и *десять разъ* мѣняетъ мѣсто; масса матеріала едва вмѣщается въ три *jornada*хъ, не вполне соответствующихъ правильнымъ актамъ и во всякомъ случаѣ мятежно отступающія отъ священнаго числа пяти дѣйствій драмы. Къ началу третьей части слѣды всѣхъ преступленій Жуана начинаютъ открываться, жертвы ихъ постепенно сходятся отовсюду, и рѣшаютъ дѣйствовать совмѣстно; въ Севилью прибыла и Изабелла, и, чтобы возста-

новить ея честь, испанскій король согласенъ помиловать Жуана и соединить ее съ нимъ. Неужели и для него настаетъ наконецъ будничное семейное счастье? Онъ какъ будто допускаетъ это; онъ поневолѣ свидѣлся опять съ Изабеллой, и она поразила его своею красотой; онъ снова влюбленъ, и обрываетъ некстати шутливого слугу, когда тотъ позволилъ себѣ нескромныя намеки. Но, прежде чѣмъ идти на свадьбу, онъ зайдетъ еще въ ту церковь, гдѣ схороненъ Донъ-Гонзало; онъ далъ ему слово придти, и честь велитъ сдержать обѣтъ, который данъ даже изваянью. Наканунѣ Гонзало былъ у него за пиромъ; трепеща прислуживала ему челядь Донъ-Жуана, а Каталинонъ, послушный приказаніямъ господина, занималъ гостя сквозь слезы комическими разспросами о томъ, каково жить на томъ свѣтѣ, ровная ли это страна или гористая, есть ли тамъ корчмы, пьютъ ли мерзлое вино, любятъ ли поэзію и пѣсни,—и страшный гость на все безразлично кивалъ утвердительно головой. Позднѣйшія переложенія легенды почему-то измѣнили порядокъ этихъ двухъ свиданій съ Каменнымъ Гостемъ, и начавъ съ кладбища, кончаютъ катастрофой на дому у Донъ-Жуана. Тирсо держится иного взгляда; послѣ легкомысленнаго приглашенія командора къ себѣ на ужинъ *) (причемъ онъ дѣлаетъ это *самъ* и не замѣчаетъ *никакого* жеста статуи), Жуанъ долженъ отвѣтить посѣщеніемъ, но не на кладбищѣ, а ночью въ церкви, гдѣ покоится прахъ Гонзало. Они ощупью бродятъ по пустому храму; статуя идетъ къ нимъ на встрѣчу **). Изъ-подъ могильнаго камня поднимается покрытый черною поленой столъ; прислуживаютъ черные пажи, за сценой слышатся печальныя пѣсни, укусъ и желчь замѣнили вино, кушанья приготовлены изъ скорпионовъ. За погребальнымъ пиромъ, къ ко-

*) Ср. статью А. Certeux, De l'image à qui on offre à boire, Revue des traditions populaires, 1889, мартъ.

**) Замѣтимъ, что уже въ дни Тирсо испанская драма рѣшалась иногда переходить къ другимъ, болѣе реальнымъ олицетвореніямъ такихъ пришельцевъ изъ загробнаго міра, а Кальдеронъ вывелъ въ своемъ auto sacramental „Пиръ Валтазара“ Смерть въ образѣ юноши, вооруженнаго мечомъ и кинжаломъ, и закутаннаго по-испански въ плащъ.

тому никто не прикасается, настает расплата; Жуанъ остается храбрымъ до конца; страшное рукопожатіе доводитъ его до бѣшенства. Какъ герой пьесы Лопе, онъ обнажаетъ мечъ, чтобы бороться съ призракомъ, но поражаетъ лишь воздухъ. Только тогда въ немъ поднимаются угрызения совѣсти; онъ зоветъ духовника, чтобы исповѣдаться, клянется, что честь Анны неприкосновенна. Но рассказаніе запоздало,—гробница, командоръ и Жуанъ проваливаются.

Этимъ должна бы закончиться пьеса, какъ кончались съ тѣхъ поръ всѣ ея преемницы, но благочестіе Тирсо требовало полного удовлетворенія справедливости, и онъ добавилъ нѣсколько явленій, заставивъ собраться къ королю всѣхъ погубленныхъ и оскорбленныхъ Жуаномъ, чтобы потребовать кары, и неожиданно выслушать изъ устъ Каталинона страшный рассказъ о гибели его господина.

Бродившая такъ долго по свѣту легенда получила наконецъ въ этой оригинальной пьесѣ прочную форму. Не было болѣе возврата къ смутнымъ очертаніямъ недавняго повѣрья. Образъ Донъ-Жуана стоялъ уже передъ очами, осмысленный и цѣльный; чутье поэта разглядѣло тѣ свойства, которыя съ тѣхъ поръ стали передаваться всѣмъ его дальнѣйшимъ воплощеніямъ и побуждать къ новымъ наблюденіямъ. Блескъ и красота, смѣлость, доходящая до дерзости, чувство безнаказанности и презрѣніе къ людямъ, вѣра въ свою счастливую звѣзду, сознаніе, что „смерть еще далеко и до нея осталось много наслажденій“, злая насмѣшливость и веселость, умѣнье схватить добычу съ налету и тонкое притворство въ нѣжности и любви,—вотъ тѣ черты, которыя подмѣтилъ Тирсо. Положительныхъ душевныхъ свойствъ онъ оставилъ ему безмѣрно мало, хотя щедро надѣлилъ внѣшними преимуществами. Онъ способенъ сдержать слово, несмотря на то, что шеголяетъ вѣроломствомъ; онъ какъ будто начинаетъ понимать истинную привязанность. Иначе и быть не могло у Тирсо; возбудить хотя слабое сочувствіе къ своему герою ему не приходилось,—онъ и такъ внесъ въ

свою поучительную пьесу слишком много соблазнительных, суетных рѣчей и чувствъ!

Прошло всего двадцать лѣтъ послѣ напечатанія его пьесы, а она уже обошла не только всѣ испанскія сцены, но стала извѣстной и въ Италиі. Частыя сношенія обѣихъ странъ въ XVII вѣкѣ и особенно пріѣзды въ Мадридъ итальянскихъ театральныхъ труппъ (проникавшихъ тогда, какъ извѣстно, во всѣ концы западной Европы) *) естественно должны были ускорить передачу сюжета въ страну столь близкую по языку. Въ Италиі онъ возбудилъ тотъ *фанатизмъ* (терминъ, удержавшійся въ мѣстномъ театральномъ жаргонѣ и до сихъ поръ), которымъ только итальянская публика умѣетъ привѣтствовать полюбившіяся ей пьесы. Такою завлекательною фабулой завладѣли наперерывъ и *правильная*, литературная комедія, и народные актеры, носители импровизируемыхъ комедій, для которыхъ писались только сценаріи. На новой почвѣ она сразу выиграла въ одномъ отношеніи; сдержанность, наставительность, трагизмъ уступили мѣсто веселости, которая проникла не только въ роль слуги, но освѣтила, оживила личность самого Жуана. Холодное презрѣніе къ людямъ стало замѣняться бойкою шуткой; успѣхъ продѣлокъ привлекаетъ уже потѣшною стороною удачи; второстепенныя лица пьесы, крестьяне, пастухи, стали живѣе и забавнѣе,—и все вмѣстѣ превратилось у мастерскихъ импровизаторовъ *commedia dell'arte* въ затѣливую смѣсь комическихъ сценъ съ немногими мрачными минутами для отгѣнка. Именно эти увеселители народа были причиной того, что первое знакомство Италиі съ даннымъ сюжетомъ началось необычайно рано; по нѣкоторымъ указаніямъ, уже въ 1633 году, т.-е. всего черезъ три года послѣ изданія пьесы Тирсо, даже въ провинціаль-

*) Онѣ заходили тогда въ Испанію, Францію, Бельгію, Лондонъ. Исторія этихъ кочеваній, разносившихъ итальянскіе (а въ данномъ случаѣ и чужіе) сюжеты по свѣту, въ новѣйшее время очень разработана (Armand Baschet. Les comédiens italiens à la cour de France, 1882; Moland, „Molière et la comédie italienne“, 1867; Picot. Pierre Gringore et les comédiens italiens, 1878. Ср. также нашу статью „Eine neue Quelle des Tartuffe“ въ журналѣ Molière-Museum, 1884, VI.

номъ городкѣ Фано проѣзжіе комики играли *Каменную Гостя*. Потомъ онъ выступилъ на настоящей сценѣ въ двухъ передѣлкахъ, Онофріо Джилиберто и Джачинто Андреа Чиконьини; первая изъ нихъ, не дошедшая до насъ, упѣлѣла, какъ полагаютъ, въ современныхъ Мольеру французскихъ подражаніяхъ, вторая полюбилась до того, что и теперь, подновленная, перепечатывается въ народныхъ изданіяхъ и играется на небольшихъ сценахъ, затмивъ собою комедію XVIII вѣка на тотъ же сюжетъ, подписанную популярнымъ именемъ Гольдони.

Свободно расправляясь съ пьесой Тирсо, Чиконьини сократилъ въ ней все, что было мрачнаго и слишкомъ поучительнаго, напримѣръ увѣщанія отца героя, и выдвинулъ на первый планъ комическія подробности; ввелъ на сцену нѣсколько мѣстныхъ діалектовъ, въ расчетѣ на забавную путаницу; многое удачно присочинилъ, и въ лицѣ слуги (здѣсь его зовутъ Пассарино) выставилъ уже не чувствительнаго или недоумѣвающего, но прямо плутовскаго малаго, вертляваго, задорнаго, страшнаго обжору, готоваго продать барина. Мольеру пришлось потомъ нѣсколько снять съ него эти краски и наградить его скорѣе бойкимъ здравымъ смысломъ, но онъ не могъ не сохранить нѣкоторыхъ забавныхъ его словечекъ, вродѣ отчаяннаго восклицанія при видѣ гибели Жуана: „О, мой несчастный господинъ! О, мое жалованье! Помогите!“ Джилиберто, повидимому, былъ въ этомъ отношеніи ближе къ испанскому оригиналу; смѣшивая трагическое съ комическимъ, онъ еще отдавалъ предпочтеніе первому элементу и доводилъ порочность Жуана до замысловъ объ убійствѣ отца, лицемѣріе его до кошунства (въ одеждѣ богомольца онъ приближается къ врагу, приглашаетъ его помолиться съ нимъ и, увидавъ его безоружнымъ, закалываетъ), а слугу оставилъ на половину моралистомъ. Но нѣсколько мотивовъ и тутъ удачно схвачены; Мольеръ не прошелъ мимо сцены Жуана съ пустыннымъ, ни мимо упражненій героя въ ханжествѣ. Въ той же пьесѣ впервые заходитъ рѣчь о *каталогѣ* жертвъ Донъ-Жуана; минуя почему-то Мольера, онъ проникъ въ „Жоконда“ Лафонтена, въ двѣ, три второстепенныхъ комедіи

XVII вѣка *), и снова возродился въ одной изъ лучшихъ арій Моцартовской оперы.

Въ народно-комическихъ аранжировкахъ, разумѣется, было еще болѣе простору для всевозможныхъ выдумокъ. Въ спискѣ сценаріевъ, принадлежавшихъ лучшимъ изъ странствующихъ труппъ XVII вѣка **), на примѣръ труппы Бьянколелли, мы постоянно находимъ пьесу подъ небрежно испорченнымъ названіемъ *il Convitato di Pietra*, которое опредѣлило такую же неправильность и въ титулѣ пьесы Мольера ***), очевидно не желавшаго отступить въ этомъ отъ привычнаго уже французскому слуху названія. Здѣсь на сценѣ царитъ не Донъ-Жуанъ, а слуга его, отождествленный съ Арлекиномъ и носящій его имя; онъ вмѣшиваетъ свои шутки и гримасы всюду, строить *lazzi* по поводу наиболѣе трагическихъ событій; убиваютъ ли командора, Арлекинъ уже мечется по сценѣ, общая десять тысячъ червонцевъ тому, кто поймаетъ убійцу; въ сценѣ крушенія на морѣ, уставъ бороться съ волнами, онъ кричитъ: „не надо больше воды, ея слишкомъ много, лучше дайте вина!“ Въ послѣднемъ актѣ, пародируя отцовскіе совѣты, онъ убѣждаетъ Донъ - Жуана покаяться и рассказываетъ ему басню о двухъ ослахъ, изъ которыхъ одинъ былъ нагруженъ солью, а другой губками. Жуанъ притворяется покаявшимся, падаетъ на колѣни передъ Арлекиномъ, тоже стоящимъ на колѣняхъ, потомъ вскакиваетъ и бьетъ его. Много острить онъ по поводу *каталога*, который развертываетъ и объясняетъ. Наконецъ прибавлялась послѣдняя сцена, какъ будто изъ желанія вывести заключительную мораль пьесы. Но это не наставительная

*) Castil-Blaze, „Molière musicien“, P., 1852, I, 205—216.

**) Полный обзоръ ихъ у Адольфа Бартоли, „Scenari inediti della commedia dell'arte“. Firenze, 1880.

***) Convitato (гость) было смѣшано французскими переводчиками съ convito (пиръ); отсюда странное упоминаніе о пирѣ въ заглавіи мольеровской пьесы, передавшееся потомъ и въ нѣмецкій театръ (Das steinerne Gastmahl). Большая буква, зачѣмъ-то начинавшая у итальянцевъ слово Pietra (камень), сохранилась и у Мольера, причемъ полный титулъ *Festin de Pierre* какъ будто указываетъ на дѣйствующее лице пьесы, тогда какъ въ ней нѣтъ никакого Педро.

размышленія Каталинона, не шутовскія жалобы объ утратѣ жалованья и о недобросовѣстности господъ,—заключительныя слова проникнуты тѣмъ свободоязычіемъ, которое часто прорывалось въ импровизованной итальянской комедіи, вмѣшивало ее въ политическую борьбу и вызывало запретительныя мѣры. Увидавъ короля, Арлекинъ говорилъ ему: „Знайте, что моимъ господиномъ овладѣли дьяволы; въ ихъ власти будете рано или поздно и всѣ вы, знатные господа. Подумайте же хорошенько о томъ, что сейчасъ случилось“. Позднѣйшій издатель этого сценарія поясняетъ, что эта сцена была запрещена во Франціи.

Но, за подобными исключеніями, неизбежными при строгомъ версальскомъ дворѣ, арлекинада о Донъ - Жуанѣ, вторгнувшаяся съ 1658 года во Францію, благодаря всеобщему увлеченію итальянцами, водворила этотъ сюжетъ и во французской средѣ раньше правильной комедіи. Въ XVII вѣкѣ французы переводили у себя замѣчательнѣйшихъ итальянскихъ комиковъ, Фламиніо Скала, Изабеллу Андреини; такой геніальный фарсеръ, какъ Тиберио Фіорилли, создавшій характеръ Скарамуша и увлекавшій своею игрою Мольера, совсѣмъ зажился во Франціи и умеръ тамъ. Парижъ становился въ извѣстной степени агентурой итальянской театральной и литературной жизни; знаніе итальянскаго языка стало почти обязательнымъ. Но благодаря пріѣзду въ Парижъ въ 1659 году испанской труппы Себастіана де Прадо, стало возможнымъ познакомиться и съ подлинной пьесой Тирсо. При такомъ усиленномъ внѣшнемъ вліяніи удивительно ли, что манія, вызванная уже въ Италіи легендой о „Каменномъ Гостѣ“, заразительно подѣйствовала на французовъ. и что одновременно на трехъ театрахъ шли въ Парижѣ пьесы на этотъ сюжетъ, постоянно переполнявшія залы?

Низкопробный драматургъ и третьестепенный актеръ сначала ліонскаго театра, потомъ труппы de Mademoiselle, Доримонъ раньше другихъ наложилъ руку на этотъ богатый сюжетъ и приспособилъ пьесу Джилиберто къ потребностямъ своей сцены, выбравъ наиболѣе интересныя явленія и связавъ ихъ по своему. Успѣхъ его пьесы вызвалъ соперничество по-

ставщика театральныхъ новостей для Hôtel de Bourgogne, Де-Вилье; онъ еще разъ прошелъ по тому же пути, и найдя, что работа его предшественника представляетъ un imparfait original, приблизился добросовѣстнѣе къ итальянскому подлиннику и, по словамъ его предисловія, внесъ въ него лишь немного своихъ добавленій („le peu d'invention que j'y au apportée“). Обѣ пьесы смотрѣлись съ интересомъ, и ихъ успѣхъ внушилъ Мольеру мысль войти въ оживленное уже состязаніе, давъ и своему театру варіацію на любимую всѣми тему. Но какъ безцвѣтны, малокровны обѣ старшія французскія „трагикомедіи“ о Д. Жуанъ! *) Слишкомъ много было чести для Доримона, когда голландскіе типографщики, не имѣя возможности добыть списокъ мольеровской пьесы, печатали сначала пьесу его предшественника, развязно выдавая ее за произведеніе Мольера **). Де-Вилье, очевидно честнѣе воспроизводя текстъ Джилиберто, довольно непринужденно владѣетъ разговорнымъ языкомъ и надѣляетъ слугу Жуана, Филиппина (у Доримона его зовутъ Бригеллой), удачными остротами, но и онъ удерживаетъ безконечныя разглагольствія тѣни командора, произносящей иногда монологи слишкомъ въ тридцать стиховъ, постоянно повторяющіеся пугливые намеки на то, что ненасытное сластолюбіе внушено Жуану дьяволомъ, и заключительный моральный выводъ изъ пьесы, порученный тому же Филиппину, который, обращаясь къ „дѣтямъ, часто прокливающимъ отца съ матерью“, предостерегаетъ ихъ отъ подражанія Донъ-Жуану, чья жизнь, „какъ въ зеркалѣ, представлена въ назиданіе имъ...“ Близорукіе и недогадливые, оба кропателя пьесъ не поняли, какой кладъ былъ въ ихъ рукахъ, да и не смогли бы достойно оправить его, если-бъ догадка и мелькнула въ ихъ умѣ. Для потомства они важны только, какъ непосредствен-

*) Въ новѣйшее время онѣ переизданы были вновь, — пьеса Доримона въ журналѣ „Molière-Museum“, 1880, II, подъ редакцію Knörich'a, трагикомедія Де-Вилье „Le Festin de Pierre ou le fils criminel“ имъ же отдѣльно, Гейльброннъ, 1880.

**) Это сдѣлано было Генрихомъ Ветштейномъ въ сборникѣ мольеровскихъ пьесъ, изд. въ Амстердамѣ въ 1684 году.

ные предтечи Мольера, а историкъ русскаго театра всегда вспомнить о Де-Вилье, зная, что благодаря его пьесѣ легенда о Д. Жуанѣ получила доступъ на нашу сцену еще въ петровское время *).

Итакъ, все было на лицо: и разностороннее переложение стараго преданія, и довольно ясно намѣченный уже характеръ героя, и комизмъ роли его спутника, и чудесное въ развязкѣ пьесы. Но не являлось еще гениальнаго человѣка, который, прикоснувшись къ завѣщанному вѣками легендарному матеріалу, сумѣлъ бы оживить его единою мыслью, на мѣсто правдоподобныхъ силуэтовъ поставить живыхъ людей и настоящую бытовую среду, и, заглянувъ въ душу Жуана, впервые разгадать его.

Этимъ реформаторомъ явился Мольеръ.

*) Въ репертуаръ театра петровскихъ временъ входила пьеса „Донъ-Янъ“, отъ которой уцѣлѣлъ только 5-й актъ, перепечатанный сначала у Пекарскаго, Наука и литература при Петрѣ, 1861, I, 468—74, затѣмъ въ Русск. драматич. произведеніяхъ 1672—1725 годовъ, изд. Н. С. Тихонравовымъ, 1874, II, 240—49. Сличеніе съ текстомъ Де-Вилье показываетъ мѣстами точное сходство, а затѣмъ большіе пропуски; вѣроятно, переводъ сдѣланъ былъ съ чьей-нибудь переработки французскаго оригинала. Полонизмъ заглавія позволяетъ предположить, что передѣлка была именно польская.

МОЛЬЕРЪ.

Было время,—и оно миновало лишь очень недавно,—когда на Мольера принято было смотрѣть, по заведенному дѣдами порядку, какъ на одного изъ тѣхъ образцово-классическихъ писателей, жрецовъ строгой формальности и мудрой рутины, поклоняться которымъ повелѣваетъ образованному человѣку высшее благоприличіе. Его почти не отдѣляли отъ остальныхъ литературныхъ свѣтилъ вѣка, зачисляя его въ кругъ ревнителей отжившихъ теперь поэтическихъ теорій. Неподдѣльный комизмъ, разлитый во всѣхъ его произведеніяхъ, пробиваясь сквозь стѣсненія формы, подчасъ долженъ былъ бы показаться рѣзкимъ противорѣчіемъ такому взгляду, но это объяснялось необыкновенно просто: Мольеръ былъ придворнымъ комикомъ, его обязанностью было увеселять своего повелителя, и онъ усердно исполнялъ этотъ долгъ, — хотя бы для того и потребовалось иногда переступить границы *правиль*. Эта придворная роль Мольера была чуть ли не единственною общеизвѣстною подробностью его біографіи и дополнялась десяткомъ анекдотовъ болѣе или менѣе сомнительнаго свойства. Однимъ словомъ, нашему писателю указывалось лишь опредѣленное мѣсто въ его вѣкѣ и отводилась нѣкоторая заслуга въ исторіи развитія національной французской комедіи. Но дѣйствительность постоянно опровергала ходячее мнѣніе близорукой критики. Въ то время, какъ для воскрешенія въ памяти современнаго намъ поколѣнія былой славы Корнеля или Расина необходимъ рѣдкій подборъ художественныхъ

сценическихъ силъ, въ то время какъ мѣткія когда-то сужденія Буало кажутся намъ избитыми общими мѣстами, а стилистическія красоты ораторовъ и проповѣдниковъ 17-го вѣка не въ состояніи взволновать насъ,—слава Мольера не перестаетъ расти, изъ національнаго украшенія давно уже сдѣлалась общечеловѣческимъ достояніемъ, и тому честному смѣху, которымъ вездѣ зритель невольно отвѣчаетъ на смѣлыя выходки комика, пошло уже третье столѣтіе.

Спорить съ временемъ, переживать вѣка можетъ только писатель, чья мысль далеко опережала умственный уровень его поры и намѣчала задачи, къ которымъ подошли позднѣйшія поколѣнія. Сознаніе этой истины побудило новѣйшую критику пристальнѣе взглянуть въ мольеровское творчество, опредѣлить нравственные и социальныя идеалы, которымъ служилъ писатель, тѣ литературныя теоріи, которыя онъ *дѣйствительно* защищалъ съ тою горячностью, съ какою люди отстаиваютъ свои завѣтныя убѣжденія, — въ результатъ получилось совершенно новое и несравненно болѣе симпатичное освѣщеніе роли Мольера въ исторіи новѣйшаго европейскаго литературнаго и социальнаго развитія.

Подобное значеніе писателя, котораго такъ долго могли смѣшивать съ представителями совершенно противоположныхъ взглядовъ, могло быть всего вѣрнѣе объяснено изученіемъ личной жизни его. Миѣическія подробности, наполнявшія бывало его біографію, все болѣе уступаютъ мѣсто точнымъ даннымъ. Быстро разросшаяся въ послѣднее время мольеровская литература *), въ рядахъ которой выдвинулись даже спеціальныя журналы, спеціально посвященные Мольеру **)

*) Поль Лакруа собралъ въ двухъ громадныхъ сборникахъ, *Bibliographie Moliéresque*, P., 1875, и *Iconographie Moliéresque*, 1876, указанія всѣхъ книгъ и статей о Мольерѣ, изданій его сочиненій, иллюстрацій къ нимъ, портретовъ. Первый изъ этихъ обзоровъ, заключающій въ себѣ много русскихъ титуловъ, насчитываетъ 1732 названія. Въ настоящемъ 1893 году сдѣланъ новый обзоръ литературы о Мольерѣ, именно въ XI томѣ собран. его соч., въ коллекціи „*Grands écrivains de la France*“; онъ составленъ Arthur Desfeuilles.

**) Въ 1879 г. сталъ выходить *Le Molière* подъ ред. Georges Berry, но существовалъ недолго, затѣмъ десять лѣтъ издавался *Moliériste* Жоржемъ Монвалемъ и шесть лѣтъ *Molière-Museum* др. Швейцеромъ въ Висбаденѣ.

выясняла многія стороны характера, убѣжденій и интимныхъ подробностей его личной судьбы. Образъ поэта существенно измѣнился, и тамъ, гдѣ передъ потомствомъ выступала непосредственная натура, съ бойкимъ, здоровымъ смѣхомъ, оно увидало тонко организованное, болѣзненно-чувствительное, увлекающееся и задумчивое существо. Еслибъ нужно было подыскать живое сравненіе, которое объяснило бы разногласіе между недавнимъ и современнымъ намъ взглядомъ на Мольера, мы взяли бы это сравненіе изъ богатой галлерей дошедшихъ до насъ портретовъ писателя. Тотъ Мольеръ, котораго до сихъ поръ знали, — это молодой человекъ, какимъ любилъ рисовать его близкій другъ, извѣстный живописецъ Миньяръ: свѣжее лицо окаймлено густыми каштановыми кудрями, большіе, красивые глаза отважно смотрятъ на свѣтъ и людскую суету, въ то время какъ губы, надъ которыми вьются едва замѣтные, шаловливо подстриженные усы, сложились въ насмѣшливую улыбку. Это—авторъ беззаботныхъ фарсовъ и легкихъ комедій, скользящихъ по поверхности жизни. Но совсѣмъ иное лицо у того писателя, котораго мы начинаемъ теперь все ближе узнавать, у автора такихъ общественныхъ сатиръ, какъ Тартюфъ, Мизантропъ или Донъ-Жуанъ. Это лицо, на отысканномъ недавно портретѣ, принадлежащемъ герцогу Омальскому, носить на себѣ слѣды разочарованія и глубокой задумчивости; грустныя, почти старческія черты, сильно прорѣзанныя то тутъ, то тамъ глубокими складками; трудно ждаты веселаго смѣха отъ этого человека. Его взоръ уже не отваженъ и не боекъ; напротивъ, въ усталыхъ глазахъ, точно въ полъ-оборота повернутыхъ къ людямъ, видна скорѣе грустная иронія, которая вызываетъ лишь тѣнь улыбки на сжатыхъ губахъ.

Между этими двумя портретами—вся жизнь нашего писателя. Описывать ее—значить пытаться объяснить тотъ процессъ, которымъ совершенно было превращеніе весельчака, буффона, въ сосредоточеннаго мыслителя и негодующаго сатирика.

Для этого превращенія нужна широкая арена дѣйствій,

жизнь разнообразная, полная скитаний, столкновений со всевозможными людьми и нравами, личные тревоги и разочарования, ранняя самостоятельность, исканіе удачи то въ той, то въ другой профессіи. Коли есть у человѣка нѣкоторый запасъ наблюдательности, онъ уже изъ житейской школы долженъ вынести правдивый взглядъ на жизнь и людей; у него скопились всѣ данныя для того, чтобъ онъ сдѣлался живописцемъ нравовъ, обличителемъ, хотя бы обстоятельства никогда и не внушили ему мысли о литературной дѣятельности и не вложили ему пера въ руки. Счастливъ тотъ писатель, которому судьба послала подобную житейскую школу, съ раннихъ поръ готовя его къ его поприщу; реализмъ у него не будетъ придуманъ заднимъ числомъ, по чужой указкѣ, но явится отпечаткомъ жизни. Крыловъ не дошелъ бы до своей свѣжей и разнообразной бытовой живописи, еслибы судьба не провела его съ раннихъ лѣтъ по всей Россіи, изъ конца въ конецъ, еслибъ она не показала ему жизнь всевозможныхъ слоевъ, отъ приказнаго быта провинціи и шаекъ ярмарочныхъ игроковъ до высшей знати и литературнаго генералитета столицъ. Гоголю, не избалованному въ этомъ отношеніи судьбой, приходилось искусственно пополнять свой арсеналъ наблюденій и въ послѣдній періодъ жизни предпринимать поѣздки по дальнимъ закоулкамъ русской земли. Мольеръ былъ, съ этой точки зрѣнія, въ числѣ писателей-баловней (если только баловствомъ судьбы можно назвать раннее знакомство съ изнанкой жизни). Съ дѣтскихъ лѣтъ и до окончательнаго упроченія его труппы въ Парижѣ, т. - е. почти въ теченіе четверти вѣка, онъ поочередно знакомился съ различными оттѣнками французскаго быта. Онъ выросъ въ средѣ зажиточнаго ремесленнаго сословія, школа свела его съ педантизмомъ въ педагогіи, съ иезуитствомъ въ религіи; сборы къ юридическому поприщу усвоили ему судебный жаргонъ и приемы; первыя театральныя попытки ввели его въ кругъ парижской богемы, а затѣмъ долгія кочеванія съ труппой по Франціи необъятно расширили кругъ его наблюденій. Въ неясныхъ очертаніяхъ мы уже предвидимъ зарожденіе будущихъ его созданій,—различные типы бур-

жуазіи, педанта Діафуаруса, іезуита Тартюфа, захолустнаго чудака Пурсоньяка. Поэтому-то ранній, подготовительный періодъ такъ важенъ въ его біографіи.

Тихо и привольно проходило дѣтство Жана-Батиста Покелена, который, по наиболѣе достовѣрнымъ даннымъ, родился 15 января 1622 года въ Парижѣ, въ улицѣ Saint-Hippolyte, въ собственномъ домѣ отца, украшенномъ замысловатою вывѣской, изображавшей нѣсколько обезьянъ, обирающихъ яблоню (это совпадало, по мнѣнію позднѣйшихъ враговъ поэта, съ его привычкой *обезьянить* людей, d'être le singe de la vie humaine). Къ ребенку относились ласково и не стѣсняли его. Отецъ былъ слишкомъ занятъ дѣлами, чтобы вмѣшиваться въ воспитаніе дѣтей, и охотно предоставилъ его женѣ и тестю, двумъ добродушнымъ и гуманнымъ натурамъ, которыя вносили свѣтъ и тепло въ дѣловую мѣщанскую семью. Въ то время какъ отецъ поэта былъ типомъ зажиточнаго столичнаго ремесленника, съ особымъ оттѣнкомъ лоска дворцовой передней, полученнымъ имъ, благодаря почетному титулу придворнаго декоратора и обойщика (а затѣмъ и королевскаго камердинера), семья жены его отличалась совсѣмъ иными вкусами. Тутъ любили читать не только духовныя книги, Библію, но и свѣтскія произведенія, тутъ цѣнили въ людяхъ образованность. Впрочемъ, и въ прямомъ родствѣ Покелена можно было встрѣтить столь же развитые вкусы; такова была группа талантливыхъ музыкантовъ, скрипачей Мазюэлей, передававшихъ въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній другъ другу свое искусство и свою репутацію. Два элемента сходились такимъ образомъ въ семьѣ будущаго писателя, на первое время довольно мирно уживаясь между собою: старикъ Покеленъ помнилъ, что жена принесла ему состояніе, почиталъ тестя и не мѣшалъ имъ устраивать въ домѣ все по своему вкусу. Такъ прошло десять первыхъ лѣтъ жизни Жана-Батиста. Его баловали, веселили; ребенкомъ онъ пересмотрѣлъ все, что могла доставить тогда парижская жизнь по части развлеченій. Онъ попадалъ, благодаря протекціи отца, и на правильныя представленія придворныхъ труппъ, гдѣ процвѣтали классическая трагедія и

подражанія итальянскимъ комедіямъ, переложенныя на французскіе нравы; ходилъ на веселыя парижскія и подгородныя ярмарки, наприм. въ Saint-Germain des Prés (гдѣ иногда торговалъ его отецъ), любуясь на пеструю толпу, на разнообразныя удовольствія, сохранявшія еще старо-французскій отпечатокъ, на народныхъ комиковъ, на балаганные фарсы, въ которыхъ процвѣтало старое галльское остроуміе, на всевозможныхъ фигляровъ, акробатовъ, шарлатановъ, пересыпавшихъ свои представленія бойкими выходками, пѣсенками, зазывами. И теперь еще подобные народные праздники имѣютъ типическій отпечатокъ; легко представить себѣ, какъ силенъ онъ былъ въ началѣ семнадцатаго вѣка!

Противники Мольера любили впослѣдствіи попрекать его раннимъ знакомствомъ съ этимъ міромъ *народнаго* юмора; одни утверждали, будто онъ тамъ только и учился сценическому искусству у балаганныхъ клоуновъ; сложена была даже легенда, будто, уже юношей, прежде чѣмъ отважиться выступить на театральныхъ подмосткахъ, онъ тайкомъ принималъ участіе въ фарсахъ, пачкая себѣ лицо мукой и продѣлывая шутовскія гримасы не хуже какого-нибудь любимца черни. Несмотря на злой умыселъ, который сквозить въ этихъ басняхъ, онѣ вѣрно подмѣчаютъ фактъ, высоко важный для дальнѣйшаго направленія дѣятельности поэта: въ ту пору, когда онъ воспринималъ первыя свои впечатлѣнія, и театръ сразу увлекъ его такъ сидно, что, какъ рассказываетъ преданіе, онъ каждый разъ въ задумчивости возвращался домой, — рядомъ съ чопорной, искусственно построенной то на античный, то на итальянскій образецъ, салонной драмой, онъ увидалъ и противоядіе противъ нея въ формѣ свободной и правдивой, хотя еще грубоватой народной комедіи (проникшей, благодаря такимъ популярнымъ комикамъ, какъ Готье-Гаргилль или Тюрлюпень, даже на постоянную сцену Hôtel de Bourgogne), въ которой сберегались зародыши національнаго французскаго комическаго стиля. Онъ не надолго останется поэтоу рабскимъ подражателемъ; его рано станетъ привлекать свобода творчества и смѣха, и когда придетъ время, онъ не разъ воспользуется своими дѣтскими воспоминаніями.

Со смертью матери (1632) свѣтлый характеръ его дѣтства омрачился. Ребенка ожидало первое столкновение съ дѣйствительною жизнью, первое разочарованіе въ людяхъ. Отецъ его поспѣшилъ жениться во второй разъ, но вмѣсто кроткой, образованной женщины, распространявшей въ домѣ вкусъ къ серьезности, изяществу, его выборъ остановился на самой ординарной личности, быстро вошедшей въ роль мачехи; мужъ очутился совершенно въ ея власти, ея дѣти стали въ семьѣ привилегированными членами; начались раздоры и непріятныя сцены, въ которыхъ слабый характеръ отецъ исполнялъ волю жены; наконецъ безцеремонно сталъ тратиться дѣтскій капиталъ, оставленный покойною матерью. Даже поверхностнаго знакомства съ мольеровскими комедіями достаточно, чтобы увидать, какъ живуче было потомъ впечатлѣніе, произведенное на поэта тяжелыми семейными сценами. Онъ никогда не пропуститъ случая, чтобы не выступить ходатаемъ за лучшее устройство семейнаго быта, за признаніе человѣческой личности въ дѣтяхъ, и часто рисуетъ или траги-комическое зрѣлище семьи, гдѣ всѣ, отъ мала до велика, принуждены обманывать отца, или изображаетъ характеръ сварливой мачехи.

При этомъ разладѣ не трудно было бы ожидать, что мальчику будетъ отказано и въ правильномъ школьномъ воспитаніи. Одинъ изъ усердныхъ лѣтописцевъ мольеровской жизни, Гримаре *), собравшій множество анекдотовъ, сохранилъ преданіе о вѣщательствѣ дѣда мальчика, который перенесъ на него любовь къ покойной дочери. Такимъ образомъ Жанъ-Батистъ былъ помѣщенъ (очевидно, не въ примѣръ прочимъ, такъ какъ объ особенныхъ стараніяхъ образовать его младшихъ братьевъ мы ничего не слышимъ) въ школу, и притомъ въ такую, куда не особенно въ нравахъ было тогда отдавать сыновей буржуазіи. Это была „Клермонская коллегія“ (Collège de Clermont), существующая и теперь подъ названіемъ Lycée Louis le Grand.

*) La vie de Mr de Molière, p. Jean Léonor le Gallois, eur de rimarest. P. 1705; въ 1877 г. переиздана Malassis. Въ послѣднее время выражено было сомнѣніе въ точности приводимаго выше преданія.

Въ стѣнахъ школы мальчика ожидало нѣсколько новыхъ и любопытныхъ наблюдений. Изъ узкой семейной обстановки онъ разомъ перешелъ въ среду молодежи, въ которой у него вскорѣ нашлось нѣсколько близкихъ товарищей; вырвавшись изъ-подъ домашняго надзора, онъ очутился въ не менѣе томительныхъ сѣтяхъ школьной дрессировки. Шесть, семь монаховъ-педагоговъ пытались обуздать шаловливость и молодые, горячіе порывы массы школьниковъ и заставить ихъ преклониться передъ святыней науки. Но сами учителя были смѣшными педантами, благоговѣя передъ допотопными авторитетами и щеголяя лишь реторической ловкостью въ диспутахъ о вопросахъ безжизненныхъ и никому не нужныхъ,—и та богиня, которой они поклонялись, многомудрая „дама Схоластика“, страдала такою же безнадежною анеміей, какъ и ея жрецы. Научиться тутъ чему-нибудь было почти невозможно, и Покеленъ вынесъ изъ школы развѣ нѣкоторое знакомство съ латинскимъ языкомъ, позволившее ему впослѣдствіи переводить прямо съ подлинника поэму Лукреція „О сущности вещей“ (отъ этого перевода уцѣлѣло лишь нѣсколько передѣланныхъ стиховъ въ *Мизантропъ*, актъ II, сц. 5). За то контрастъ между схоластикой наставниковъ и смутными влеченіями молодежи къ живому и свободному знанію далъ развившейся въ мальчикѣ наблюдательности и насмѣшливости богатую пищу; тутъ сложился, прямо съ натуры, первый комическій типъ, которымъ современемъ онъ обильно воспользовался,—типъ педанта, налутаго, рѣчистаго и завистливаго, тонко умѣющаго ладить съ людьми, соединяя и духовныя и мірскія заботы.

Но пытливость и любознательность, быть-можетъ унаслѣдованныя отъ матери, все-таки пробудились въ мальчикѣ. Онъ любилъ читать и этимъ дополнялъ школьное образованіе; вмѣстѣ съ друзьями онъ потѣшался надъ своими учителями и сообща читалъ философскія произведенія, романы, поэмы. Вмѣстѣ съ далеко не бездарнымъ Сирано де Бержеракомъ онъ повидимому набросалъ бойкій фарсъ „Осмѣянный педантъ“ (*le Pédant joué*), но за то вмѣстѣ-же они ходили на частные уроки новаго философа, только-что прибывшаго

тогда въ Парижъ съ юга и волновавшаго умы своею радикальною теоріей, именно Гассенди, приглашеннаго воспитывать одного изъ ихъ товарищей, Шапелля. Въ глазахъ всѣхъ правовѣрныхъ и благочестивыхъ людей, и въ особенности школьныхъ мудрецовъ, этотъ человѣкъ былъ худшимъ изъ безбожниковъ, опаснымъ еретикомъ; тѣмъ болѣе долженъ онъ былъ показаться привлекательнымъ для нашего юноши. Гассенди выступалъ неумолимымъ противникомъ всякой схоластики, жестоко обнажая вредъ ея въ философіи; онъ возбуждающимъ образомъ дѣйствовалъ на умы, проповѣдуя независимость мысли и выдвигая на смѣну метафизическихъ построеній важное значеніе опыта и критики. Изъ классическихъ философовъ его любимцемъ былъ не Аристотель, но Эпикуръ, чьи взгляды на жизнь и назначеніе человѣка усвоены были имъ въ высшемъ и просвѣтленномъ смыслѣ; нравственная сила, строгость къ самому себѣ и выполнение идеи долга были существенными чертами его практической мудрости. Слова этого человѣка, авторитетъ котораго еще болѣе привлекалъ молодежь благодаря гоненіямъ и подкопамъ, которыми старались его сжить со свѣта, встрѣчи у него съ его единомышленниками, въ родѣ Кампанеллы, спасшагося въ Парижъ послѣ двадцатисемилѣтняго заточенія въ Италіи *), должны были произвести сильное впечатлѣніе на умы Покелена и его товарищей, дошедшихъ уже до половины пути въ своемъ недовольствѣ и отрицаніи, — и слѣды этого вліянія навсегда остались у нашего писателя: съ годами онъ въ особенности выработалъ въ себѣ то созерцательное настроеніе, привычку къ обобщеніямъ и философскимъ думамъ, которыя побудили Буало дать Мольеру прозвище „созерцателя“ (*contemplateur*). Въ его пьесахъ не разъ можно замѣтить, съ какою любовью онъ всегда останавливался на малѣйшемъ поводѣ къ заявленію общихъ идей, всегда высказанныхъ необыкновенно ясно. Въ школѣ Гассенди онъ во-время могъ усвоить возвышенный взглядъ на дѣятельность писателя, сатирика, такъ

*) На встрѣчи Сирано съ Кампанеллой у Гассенди есть прямая указанія въ «*Histoire comique ou voyage dans la lune*», ср. издан. P. Lacroix, 1858 p. 54.

отличавшій его потомъ отъ многихъ талантливыхъ сверстниковъ, — а въ ученіи о нравственномъ подвигѣ, предстоящемъ всякому мыслящему человѣку, мы находимъ корень положительныхъ заявленій, высказываемыхъ различными „добродѣтельными личностями“ у Мольера; мало того, въ этомъ строгомъ взглядѣ на жизнь заключается исходная точка драматическаго разлада въ личной судьбѣ писателя, который омрачилъ его послѣдніе годы. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вліяніе Гассенди сказалось и на нѣсколькихъ комическихъ чертахъ въ пьесахъ Мольера; одни хотятъ видѣть его, на примѣръ, въ той сценѣ *Marriage forcé*, гдѣ бѣдный Сганарель очутился точно между двухъ огней, среди спорящихъ философовъ, изъ которыхъ одинъ готовъ божиться Аристотелемъ, а другой поклоняется Пиррону; другіе находятъ его въ Ученыхъ Женщинахъ (III, сц. 2), гдѣ затронуты и Декартъ, и платоники, и перипатетики, и въ сценѣ „Донъ-Жуана“ (акт. III, сц. 4), гдѣ осмѣяна легкомысленная, свѣтская философія героя пьесы.

Обязательный срокъ пребыванія въ школѣ пришелъ къ концу, и передъ юношей открылась дѣйствительная жизнь. Нужно было выбирать себѣ опредѣленное поприще, — но рѣшиться на что-нибудь было трудно. Отецъ, разумѣется, не прочь былъ бы передать старшему сыну свою фирму, но къ ремеслу не лежало вовсе сердце юноши, да и домашняя обстановка давно уже стала постылою. Возникла было мысль (трудно рѣшить, была ли она когда-нибудь серьезною) сдѣлать молодого человѣка адвокатомъ, и около 1640 года онъ отправился въ Орлеанъ, гдѣ нѣсколько времени изучалъ право, добылъ себѣ дипломъ *licencié* и настолько свыкся съ судейскими тонкостями, что могъ впослѣдствіи выказывать при случаѣ знаніе ихъ въ своихъ комедіяхъ („Пурсоньякъ, Школѣ женщинъ, Мнимомъ больномъ“ *). Но до профессиональнаго занятія адвокатурою

*) Свѣдѣнія его изъ области права сгруппированы у Cauvet, «*La science du droit dans les comédies de Molière*» (Caen, 1855), а заимствованія въ слогѣ изъ судебного жаргона — у Eug. Paringault, — „*La langue de droit dans le théâtre de Molière*“. P., 1861.

онъ не дошелъ, и какъ будто снова остановился на перепутьи. Такъ прошло, вѣроятно, два года, во время которыхъ онъ незамѣтно свыкался съ мыслью, бродившею у него смутно еще съ раннихъ дѣтскихъ лѣтъ, — съ мыслью вступить на сцену. Въ то время въ среднихъ слояхъ парижскаго населенія было въ ходу образовывать небольшія любительскія труппы изъ незанятой молодежи, которая такимъ образомъ, высвобождаясь отъ семейнаго гнета или сословной добропорядочной морали, коротала свои досуги; это было столичное отраженіе того оживленнаго движенія, которое въ ту пору покрыло Францію кочующими актерскими труппами*). Чѣмъ болѣе развитіе театральнаго дѣла въ столицѣ притягивалось искусственно въ монопольную зависимость отъ двора, тѣмъ сильнѣе развивалось въ обществѣ встрѣчное движеніе, отмѣченное независимостью и демократизмомъ. Вращаясь, по выходѣ изъ школы, въ кругу парижской и провинціальной молодежи, Покеленъ очень скоро встрѣтилъ на своемъ пути эти дилетантскія труппы, гдѣ такіе, какъ онъ, дѣти степенныхъ семействъ умѣли жить весело и беззаботно, бѣсить стариковъ своею непринужденностью и въ то же время служить наиболѣе заманчивому изъ всѣхъ искусствъ—сценѣ съ ея иллюзіями и блескомъ. Незанятому, недовольному собой юношѣ эта жизнь должна была вдвое приглянуться; окончательно рѣшило его судьбу романическое увлеченіе, повидимому первое въ его жизни. Въ той группѣ актерствующей молодежи, съ которой онъ все тѣснѣе сходилъ, онъ встрѣтилъ молодую, хотя уже пожившую женщину, съ недюжиннымъ умомъ, энергіей и манящею красотой. Покеленъ былъ далеко не первымъ и не послѣднимъ счастливымъ поклонникомъ Маделены Бежаръ, и вскорѣ для него самого это уже не было тайной, — но та-

*) Современный Мольеру историкъ театра, Шаппузо, насчитывалъ приблизительно до пятнадцати такихъ труппъ, не считая, конечно, случайныхъ, почти неуловимыхъ соединеній актеровъ, вызываемыхъ ярмарками, городскими празднествами и т. д.—*Le théâtre françois, par Samuel Chappuzeau. Lyon, 1674.* Авторская рукопись находится въ Москвѣ, въ Румянцевскомъ музеѣ; объ ней см. мою статью *Le manuscrit de Chappuzeau* въ журн. *Moliériste*, 1881, июнь.

кова была притягательная сила этой женщины, что юношеское увлеченіе превратилось съ теченіемъ времени въ прочную дружескую связь.

Опредѣленное и твердое заявленіе сына, что онъ не избретъ никакой другой профессіи кромѣ сценической, поразило отца, но онъ понялъ, что противиться и настаивать было бы бесполезно *).

Съ Маделеной, ея братьями и нѣсколькими посторонними молодыми людьми (всѣхъ членовъ ассоціаціи было девять чело-вѣкъ) Покеленъ составилъ, на правахъ товарищества, небольшую труппу, которая придала себѣ, во вкусѣ пышныхъ титуловъ, употреблявшихся тогда въ театральномъ мірѣ, названіе „Знаменитаго театра“ (*Illustre théâtre*); въ дѣйстви-тельности въ ея распоряженіи была болѣе чѣмъ скромная зала близъ *porte de Nesle* (на углу нынѣшнихъ *rue Mazari-ne* и *rue de Seine*); поигравъ сначала для опыта въ провин-ціи (въ Руанѣ), пока домъ перестраивался для театра, они открыли свою дѣятельность въ Парижѣ въ январѣ 1644 г. На первое время Покеленъ повидимому былъ не только дѣятель-нымъ участникомъ въ спектакляхъ, но и единственнымъ капита-листомъ труппы; онъ ручался за исправность платежей и, по жалобѣ театральныхъ поставщиковъ, принужденъ былъ вынести непродолжительное тюремное заключеніе въ Шатле. Найденная въ новѣйшее время росписка его въ полученіи отъ отца шестисотъ тридцати ливровъ, быть-можетъ, указываетъ, что ему приходилось добывать необходимыя средства, тре-буя выдѣленія хоть части денегъ, доставшихся ему послѣ матери. Впослѣдствіи ему въ свою очередь пришлось по-могать старику тайкомъ, черезъ посредниковъ, когда отцов-скія дѣла запутались. Уступая обычаю и кромѣ того не желая раздражать отца сохраненіемъ его фамиліи на сценѣ, онъ оставилъ свое прежнее семейное имя и принялъ теат-ральную фамилію Мольера. Почему именно выборъ его оста-

*) Извѣстный Вэйль въ своемъ нерасположеніи къ Мольеру доходилъ до искренняго сожалѣнія о томъ, что старикъ Покеленъ не обратился къ власти, и когда юноша покинулъ родительскій домъ, не преслѣдовалъ непокорнаго сыскнымъ порядкомъ. «*Molière et Bourdaloue*» p. Lous Veuillot, 1877.

новился на ней, рѣшить трудно: потому ли, что она уже была въ ходу въ артистическомъ мірѣ (въ серединѣ столѣтія славился при дворѣ музыкантъ Molliet, а во вторыхъ рядахъ литературы и театра выступалъ Франсуа Мольеръ д'Эссертинъ, поэтъ-актеръ, авторъ „*Semaine amoureuse*“ и трагедіи „Поликсена“) *) или потому, что во время своихъ первыхъ кочеваній онъ остановился случайно на весьма распространенномъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Франціи имени различныхъ урочищъ,—до сихъ поръ не объяснено.

Это случайно принятое имя стоитъ на рубежѣ двухъ періодовъ жизни поэта. До него идетъ темная, безвѣстная жизнь мѣщанскаго сына Покелена, впереди славная будущность общечеловѣческаго писателя.

Съ окончательнаго вступленія Мольера въ труппу знаменитаго театра (взаимный договоръ членовъ труппы подписанъ былъ 30 іюня 1643 года) цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ прошло для него въ кочеваніяхъ изъ конца въ конецъ по Франціи. Сначала счастье рѣшительно отвратилось отъ бѣдной труппы; два раза мѣняла она мѣсто въ Парижѣ (во второй разъ играла она на quai saint Paul), но не могла привлечь публики; ее изгнала изъ Парижа полнѣйшая холодность общества. Но и въ провинціи существовать было не легко. Положеніе актера въ ту пору ничѣмъ не было обезпечено отъ случайностей и произвола. Духовенство (его глазами смотрѣла, конечно, и вся благочестивая часть населенія) видѣло въ актерѣ опаснѣйшаго служителя разврата и часто лишало подобныхъ еретиковъ погребенія; мѣстные власти съ безнаказаннымъ самодурствомъ то позволяли, то внезапно запрещали представленія; въ деревняхъ и мѣстечкахъ иногда просто выгоняли комедіантовъ, точно опасныхъ бродягъ, да и наиболѣе расположенная къ нимъ масса имѣла очень поверхностное понятіе о значеніи ихъ дѣятельности. Къ довершенію всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ вліяній, первая семь лѣтъ артистической кочевки

*) François de Molière, seigneur d'Essertines, par E. Révérend du Mesnil; Charolles, 1888.

мольеровской труппы по Франціи совпали съ волненіями Фронды, и часто всѣ надежды и планы разбивались о необходимость спастись бѣгствомъ отъ междоусобія. Поэтому длинный рядъ поѣздокъ Мольера по провинціи (въ настоящее время настолько обстоятельно разслѣдованный, что явилась мысль издать подробную карту переѣздовъ труппы) отличается неправильностью и порывами то въ ту, то въ другую сторону. Онъ начинается съ Бордо, гдѣ Мольеръ примкнулъ на время къ труппѣ дю-Фрэна, называвшей себя „комедіантами герцога д'Эпернона“, потомъ подходитъ къ испанской границѣ, надолго сосредоточивается въ Провансѣ, а затѣмъ поднимается на сѣверъ. Гдѣ приходилось плыть по Ронѣ или по Сенѣ на баркахъ, гдѣ скакать верхомъ, гдѣ ютиться на высланныхъ отъ города телѣжкахъ со всѣмъ своимъ скарбомъ. Когда Скарронъ въ своемъ *Roman comique*,— правдивой картинѣ театральныхъ нравовъ прежняго времени, изображаетъ обозъ комедіантовъ на большой дорогѣ, можно было бы подумать, что это фотографическій снимокъ съ мольеровскихъ странствій *).

*) „Повозка вѣхала подѣ деревянныя аркады Ле-Манса. Она запряжена была четырьмя очень тощими волами, передъ которыми привязана была еще лошадь; жеребенокъ, точно бѣсноватый, шнырялъ все время вокругъ. Телѣжка была полна сундуковъ, чемодановъ и большихъ связокъ раскрашеннаго холста; все это образовало собой точно пирамиду, наверху которой возсѣдала барышня, одѣтая не то въ городское платье, не то по-деревенски. Молодой человѣкъ, бѣдный одеждою, но богатый выразительностью лица, шелъ рядомъ; на лицѣ его красовался большой пластырь, покрывавшій одинъ глазъ и половину щеки (—наивный способъ гримировки—); онъ несъ на плечѣ большое ружье, которымъ умертвилъ нѣсколько сорокъ и галокъ. Онъ тутъ же висѣли на немъ въ видѣ перевязи, подѣ которой болталась курица, да еще какая-то птица, очевидно, добытая въ малой войнѣ. Вмѣсто шляпы на немъ былъ ночной колпакъ, перехваченный нѣсколько разъ разноцвѣтными подвязками и образовавшій что-то вродѣ тюрбана. У пояса болталась шпага. На ногахъ были дырявыя чулки съ привязанными наколѣнниками, которые актеры надѣваютъ, изобразя античныхъ героевъ; античныя же сандалии, забрызганные грязью, служили обувью“ и т. д. *Roman comique*, перв. глава. Довольно долго считали, что романъ Скаррона, этотъ *Вильгельмъ Мейстеръ* XVII вѣка, изображаетъ именно мольеровскія странствія, а первый сюжетъ бродячей труппы, актеръ Le Destin—самого Мольера. Послѣ книги Шардона (*La troupe du Roman comique dévoilée*, 1876) это мнѣніе оставлено.

Все время Парижъ оставался притягательнымъ центромъ для кочующихъ искателей счастья; они надѣялись когда-нибудь получить возможность прочно основаться въ немъ. По временамъ Мольеръ показывался въ Парижѣ; въ ту пору въ театральномъ французскомъ быту было въ обычаѣ съѣзжаться для заключенія условій въ столицу. Но эти поѣздки были напрасны, и немногіе парижскіе друзья не могли ничѣмъ пособить Мольеру.

Приходилось довольствоваться провинціальною славой и на время избрать центромъ своихъ операцій, вмѣсто Парижа, второй по важности пунктъ общественной жизни, Ліонъ. По мѣрѣ того, какъ труппа обигрывалась, разрасталась, вырабатывала собственный репертуаръ, и финансовыя ея дѣла улучшались, Ліонъ становился для нея важнѣйшею опорой; оттуда предпринимала она свои поѣздки, туда же возвращалась на почетный отдыхъ. Покровительство, оказанное ей одно время принцемъ Конти, бывшимъ школьнымъ товарищемъ Мольера, значительно помогло ей подняться въ общемъ мнѣніи. Но вскорѣ не было уже нужды въ подобныхъ внѣшнихъ средствахъ для усиленія репутаціи мольеровскаго театра. Труппа признана была лучшею изъ всѣхъ провинціальныхъ. Долгая пора лишеній и тревогъ уступила мѣсто благосостоянію, которое сказывалось и въ привольномъ образѣ жизни членовъ труппы, и въ роскоши декорацій и костюмовъ, поражавшей современниковъ. Маделена выказывала себя замѣчательной хозяйкой и рѣдкимъ администраторомъ. Поэтъ д'Ассуси, проведеній нѣсколько времени въ мольеровскомъ кружкѣ, оставилъ радужное описаніе раздолья и пиршествъ, которыхъ онъ былъ участникомъ.

Но Маделена, не переставая пользоваться почетнымъ положеніемъ въ труппѣ (еще въ первомъ договорѣ ей одной не указано было опредѣленнаго амплуа, но предоставлено играть тѣ роли, какія она захочетъ), все болѣе должна была свыкаться съ мыслью, что высшее, духовное руководство сценой она должна уступить своему недавнему поклоннику, теперь же вѣрному товарищу,—и не только потому, что въ

немъ съ годами выработался замѣчательный талантъ комика-исполнителя, но еще болѣе потому, что онъ надѣлилъ труппу рѣдкимъ преимуществомъ, — самостоятельнымъ репертуаромъ, на которомъ отнынѣ въ особенности основывалась извѣстность его театра. Еще разъ, почти при одинаковыхъ условіяхъ, какъ будто повторилась исторія возвышенія Шекспира. Въ послѣдніе годы житія въ провинціи Мольеръ стоялъ уже во главѣ труппы, его имя покрывало ее и разносилось молвою повсюду, — хотя самъ онъ никогда не присвоивалъ себѣ деспотическаго господства и тогда же постарался придать труппѣ тотъ характеръ товарищества, который его театръ сохранилъ и впоследствии, вплоть до нашихъ дней. Изученіе внутреннихъ отношеній и порядковъ мольеровской труппы очень интересно именно съ этой стороны, представляя образецъ удачнаго развитія организациі, умѣвшей необыкновенно долго сохранить демократическій духъ равноправности, несмотря на окружавшій разливъ крайней монархической дисциплины. У Мольера, какъ директора театра, всѣ мысли заняты отставиваньемъ интересовъ его товарищей и мелкой рабочей братіи, зависѣвшей отъ его театра; таковъ онъ вначалѣ дѣятельности, такимъ же остается до конца, — и ускоряетъ свою смерть, не рѣшаясь отмѣнить спектакля, потому только, что отъ этого можетъ пострадать заработокъ массы трудового люда. Доходы дѣлились между членами артели; по установленной нормѣ отчислялась всегда доля въ пользу бѣдныхъ; одинъ изъ актеровъ велъ постоянную лѣтопись всѣхъ дѣлъ, занятій и прихода труппы, — и благодаря этому обычаю до насъ дошелъ чрезвычайно цѣнный *Регистръ* перваго такого лѣтописца, Лагранжа *), веденный уже въ Парижѣ и представляющій главное руководство въ мольеровской хронологіи.

Первенствующее положеніе, предоставленное самими об-

*) На средства Théâtre français онъ изданъ былъ въ 1876 г., in fol., Эдуардомъ Тьерри, приложившимъ большое предисловіе. За 1663—64 г. есть также записъ, веденная изо дня въ день Ла-Торильеромъ (изд. впервые въ 1890 г. въ Nouvelle collect. moliéresque).

стоятельствами Мольеру, сложилось исключительно въ силу нравственного его превосходства, перевѣса ума, творчества и таланта. Природный умъ, направленный еще въ дни знакомства съ Гассенди къ изученію жизни и ея явленій, къ серьезнымъ и независимымъ обобщеніямъ, получилъ во время блужданій труппы богатую пищу для наблюдений. Множество людей, характеровъ, оттѣнковъ нравовъ прошло передъ Мольеромъ; онъ постоянно изучалъ жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ, замѣчалъ оттѣнки нравовъ, провинціальныхъ діалектовъ, мѣстные типы и характеры; когда преданіе рассказываетъ, что въ городкѣ Пэзнѣ онъ упросилъ цирюльника Жэли уступить ему на нѣсколько часовъ его роль и воспользовался этимъ, чтобъ узнать у кліентовъ и кліентокъ уѣзднаго Фигаро ихъ личныя дѣла и тайны, это живо характеризуетъ его взглядъ на комика, какъ на точнаго изобразителя нравовъ. Но и личная жизнь открывала ему много новыхъ ощущеній и испытаній: послѣ юношеской страсти къ Маделенѣ его легко вспыхивавшее сердце увлекалось другими женщинами, и въ самой его труппѣ находило не разъ предметы обожанія; измѣнчивость и кокетство, холодность или внезапное равнодушіе оставляли каждый разъ глубокіе слѣды въ душѣ. Мольеръ все сильнѣе испытывалъ потребность въ искренней привязанности, которая освѣтила бы его жизнь, поддерживая его на трудномъ поприщѣ. Постепенно разочаровываясь въ людяхъ вообще, онъ мучительно ощущалъ непостоянство и сердечную пустоту женщинъ, и тогда уже рисовалъ себѣ идеальный образъ подруги, которая могла бы сдѣлать его счастливымъ. Лаская граціозную дѣвочку, младшую дочь Маделены, Арманду, онъ не разъ думалъ, что изъ этого милаго маленькаго существа могла бы, при счастливыхъ обстоятельствахъ, выработаться та честная и любящая натура, о которой онъ мечталъ,—и незамѣтно, быть-можетъ, для самого себя, онъ еще заботливѣе занимался воспитаніемъ и развитіемъ дѣвочки.

Наблюденія и думы мирились въ немъ однако съ вспышками искренняго веселья. У натуръ подобнаго рода смѣхъ

и слезы, раздумье и шалость тѣсно граничатъ между собой. Эти природные задатки, опредѣляя направленіе дѣятельности Мольера, поддержаны и развиты были разностороннимъ чтеніемъ. По образованію и начитанности онъ былъ цѣлою головою выше не только своихъ товарищей-актеровъ, но и огромнаго большинства современныхъ ему драматическихъ писателей. Свою родную литературу онъ узналъ современемъ въ совершенствѣ; его пьесы обличаютъ знакомство и съ важными, и съ мелкими писателями стараго и новаго періода: Рабле, Матюрень Ренье, даже мало извѣстные теперь поэты и романисты XIV—XVI вѣковъ *) ему такъ же были близки, какъ Корнель или Буароберъ. Кромѣ того,—и это еще важнѣе,—онъ, живя такъ долго въ деревенской Франціи, научился цѣнить народный элементъ; какъ въ послѣдствіи его Альцестъ, онъ за идущую отъ сердца народную пѣсенку готовъ былъ отдать правильную, но холодную и чопорную поэму, мѣткое народное выраженіе считалъ украшеніемъ своего слога. На-ряду съ французскою литературою онъ рано началъ изучать итальянскую, а подъ конецъ и испанскую; по-итальянски онъ могъ даже писать стихи. Старыя и новыя комедіи итальянцевъ, новеллы Боккачіо, пьесы испанскихъ драматурговъ, Кальдерона, Морето, Тирсо де-Молины,—становились съ каждымъ годомъ доступнѣе ему. Онъ не забылъ и латинскаго языка, и благодаря этому сохранилъ вѣрное понятіе о классической литературѣ, которую изучалъ или въ подлинникѣ, или въ хорошихъ переводахъ. Его пьесы рано наполняются отголосками Плавта, Теренція, Плутарха. Не сразу, конечно, сложилась у него та библіотека, часть которой описана была въ инвентарѣ, составленномъ послѣ его смерти **). Такъ параллельно развитію его житейской опыт-

*) Вліяніе старофранцузскихъ авторовъ на Мольера изслѣдовано провинціальнымъ нѣмецкимъ мольеристомъ др. Вильке, преподавателемъ „евангелической“ гимназіи въ силезскомъ городкѣ Лаубанѣ; „Ce que Molière doit aux anciens poètes français“, Lauban, 1880.

**) Впервые напечатанномъ, вмѣстѣ съ другими документами о домашнемъ бытѣ Мольера, Эдормъ Сулье, *Recherches sur la famille de M.* 1863.

ности выросла и его литературная начитанность; она въ особенности должна была двинуться впередъ съ тѣхъ поръ, какъ блестящее положеніе труппы позволило ей замѣнять кочеванія продолжительною осѣдлостью въ Ліонѣ.

Но ко всѣмъ этимъ преимуществамъ присоединилось превосходство Мольера, какъ актера. Тогдашній театральный Французскій міръ и въ особенности двѣ главныя столичныя труппы,—одна, игравшая въ *Hôtel de Bourgogne*, другая, называвшая себя *Théâtre du Marais*, не были лишены выдающихся талантовъ. Тѣмъ не менѣе Мольеръ и въ этомъ отношеніи занялъ первое мѣсто; онъ заблуждался сначала относительно свойства своего таланта и пробовалъ силы въ трагедіи, для которой вовсе не былъ созданъ (особенно голосъ его былъ слишкомъ слабъ для модной въ то время громогласной трагической декламации), но холодность публики рано показала ему его заблужденіе, и онъ всецѣло посвятилъ себя комедіи. Его приемы въ игрѣ были чисто-субъективные и неподражаемые. Враги утверждали, будто онъ научился имъ у знаменитаго тогда итальянскаго буффона Скарамуша (Тиберио Фіорилли); выпущена была даже гравюра, на которой Скарамушъ дѣлаетъ гримасу, а Мольеръ тутъ же перенимаетъ ее. Но это была лишь злостная выдумка; Мольеръ дѣйствительно высоко цѣнилъ талантъ итальянскаго комика *), который, по словамъ всѣхъ очевидцевъ, дѣйствительно былъ рѣдкимъ представителемъ чисто національнаго, свободно импровизирующаго, оттѣнка веселости, отличающаго и до сихъ поръ итальянскій народъ. Но комизма своего Мольеру не нужно было перенимать ни у кого,—имъ одарила его сама природа. Ставя для себя, какъ писателя, выше всего непосредственное, реальное наблюденіе фактовъ, онъ сохранилъ въ памяти массу типическихъ лицъ, приемовъ, интонацій; перенося ихъ на сцену, онъ освѣщалъ ихъ своей психологической чуткостью, отмѣчая скрытыя душевныя движенія

*) Его біографія, написанная другимъ даровитымъ итальянскимъ комикомъ, Мещетинномъ, была перепечатана (*Vie de Scaramouche, par Mezzetin*) Моляномъ, 1876.

и переходы. Конечно, въ чисто-художественной разгадкѣ характеровъ никто изъ современныхъ ему актеровъ-ремесленниковъ не могъ сравняться съ нимъ, и это было одною изъ причинъ ненависти, постепенно разгорѣвшейся противъ него. Да и сама природа надѣлила его всѣми качествами комическаго актера; необыкновенно гибкій голосъ, густыя брови, способныя принимать забавно-разнообразное положеніе, фізіономія, всѣ черты которой были до нельзя выразительны, и мускулы доведенные до крайней подвижности,— все это много содѣйствовало оригинальному отпечатку игры Мольера *).

При всѣхъ этихъ богатыхъ данныхъ неудивительно, что слава его въ провинціи быстро возрастала; подъ конецъ и парижскіе театралы, приглядѣвшись къ мѣстнымъ сценическимъ знаменитостямъ, стали особенно интересоваться тѣмъ, что имъ передавала молва о какомъ-то „*gaçon potiné Molière*“, который, какъ говорили, столько же интересенъ и какъ актеръ, и какъ писатель. Въ Парижѣ во главѣ всего стояли итальянцы, почти цѣлое столѣтіе считавшіеся руководителями вкуса; они принесли съ собою съ родины и легкій фарсъ, съ слабою тѣнью сюжета, который развивался въ минуту представленія импровизаціею самихъ актеровъ и вращался вокругъ нѣсколькихъ излюбленныхъ, стоячихъ типовъ,—и литературную, сплошь написанную и болѣе серьезную комедію. Французскіе писатели едва осмѣливались итти своею дорогою. Господствующій вкусъ массы тяготѣлъ надъ ними, и даже тамъ, гдѣ они пытались самостоятельно изображать французскіе нравы, они незамѣтно сбивались на общепринятый итальянскій ладъ. Лишь „*Лжецъ*“ Корнеля

*) Дочь актера Лю-Крузи, г-жа Пуассонъ, оставила слѣдующее любопытное описаніе внѣшности Мольера: „онъ не былъ ни слишкомъ полнымъ, ни худымъ, скорѣе высокъ ростомъ, съ благородной осанкой, стройными формами ногъ; онъ выступалъ величаво, имѣлъ очень задумчивый видъ. Крупный носъ, большой ротъ, мясистыя губы, смуглый цвѣтъ лица, черныя и густыя брови, которымъ онъ умѣлъ придавать различныя движенія, все дѣлало его фізіономію необыкновенно комическою“. *Mémoires sur la vie et les ouvrages de Molière*, p. La Serre, 1734.

производить еще на позднѣйшаго читателя, несмотря на вліяніе испанскаго оригинала, впечатлѣніе самостоятельно задуманной и бойкой пьесы; въ такихъ веселыхъ вещицахъ, какъ *Сестра Ротру* или „Прекрасная просительница“ Буарбера, иногда встрѣчаются удачныя частности, повліявшія даже на Мольера *), но въ цѣломъ это еще очень слабыя опыты въ комическомъ жанрѣ. Такимъ образомъ чувствовалась уже необходимость коренного переворота, который вывелъ бы французскую комедію изъ состоянія зависимости, научилъ бы ее пользоваться бытовыми, домашними данными и указалъ ей широкій путь развитія; чувствовалась также и близость подобнаго переворота, для котораго всѣ средства были налицо. Въ стремленіи Мольера взять на себя починъ въ этомъ дѣлѣ нельзя не видѣть нормальнаго завершенія развитія національнаго творчества.

Ни одинъ талантливѣйшій художникъ не начиналъ своей дѣятельности прямо съ самостоятельныхъ шаговъ; въ біографіи каждаго есть полоса подражательности: Рафаэль копируетъ Перуджино, Бетховенъ подражаетъ Моцарту, Байронъ Попу, Лермонтовъ — Пушкину и Байрону, — но подражательность скоро проходитъ, оставивъ позади себя нѣсколько полезныхъ уроковъ и указаній, какъ нужно итти своимъ путемъ. Такова и участь Мольера. У итальянцевъ было чему поучиться, но отдаваться совсѣмъ въ ихъ подданство было неразумно. Не сразу однако понялъ это Мольеръ и заплатилъ дань общей маніи. Въ первые же годы житія въ провинціи онъ старался составлять репертуаръ своего театра изъ набросанныхъ наскоро передѣлокъ итальянскихъ пьесъ на французскіе нравы **). Онъ смотрѣлъ на

*) Въ *Сестрѣ* уже выведено переодѣваніе турками, пригодившееся въ *Bourgeois gentilhomme*; въ „Belle Plaideuse“ сынъ занимаетъ деньги у ростовщика-отца, какъ въ *Скупомъ*.

**) Поль Мэнаръ (біографія Мольера въ X томѣ собр. его сочин., Grands écriv. de la France., 1889, 118) находятъ первое указаніе на сочиненіе Мольеромъ подобныхъ пьесокъ для текущаго репертуара въ найденномъ въ Тулузѣ счетѣ городскихъ издержекъ за 1649 годъ, гдѣ труппѣ выдано 70 ливровъ за „составленіе и исполненіе комедій“ (pour avoir joué et fait une comédie).

нихъ, какъ на мимолетныя бездѣлки, вызванныя потребностью минуты, и потому недолговѣчныя; серьезное направленіе его послѣдующихъ лѣтъ побудило его пренебречь слабыми первыми опытами и не сберегать своихъ рукописей. Поэтому отъ одиннадцати *приписываемыхъ ему* раннихъ пьесъ, отъ которыхъ большею частью остались только одни заглавія, до насъ дошли вполнѣ лишь двѣ: *La jalousie du Barbouillé* и „*Le médecin volant*“, да и тѣ сдѣлались извѣстны только въ началѣ нынѣшняго столѣтія и иногда возбуждали сомнѣніе въ ихъ подлинности. Во всякомъ случаѣ онѣ являются любопытнымъ образцомъ безхитростной и наивно-веселой манеры, которая процвѣтала во французскомъ комическомъ театрѣ въ первые годы дѣятельности Мольера. По времени появленія болѣе раннею изъ этихъ пьесъ считается „*La jalousie du Barbouillé*“ *); въ „Летающемъ докторѣ“ новѣйшіе біографы (Маренгольцъ) находятъ больше стройности въ распредѣленіи сценъ и болѣе искусства въ характеристикѣ; комизмъ гораздо осмысленнѣе и краски не такъ сгущены, какъ въ первой пьесѣ. Въ нѣкоторыхъ подробностяхъ уже являются первообразы позднѣйшихъ комедій или сценъ. Въ „*La jalousie*“ предчувствуется развязка „Жоржа Дандена“, въ „Летающемъ докторѣ“ отдѣльныя черты „Лекаря поневолѣ“ и „Мнимаго больного“. То же можно сказать и объ утраченныхъ пьесахъ, изъ которыхъ повидимому въ „*le Fagoteux*“ была впервые обработана взятая изъ фавло тема *Médecin malgré lui*, а въ „*Gorgibus dans le sac*“ выведена сцена прятанья въ мѣшкѣ, въ послѣдствіи введенная въ „Продѣлки Скапена“.

*) Сюжетъ этой пьесы взятъ изъ новеллы Боккачіо (Декамеронъ, VII д., нов. III) которая вмѣстѣ съ немногими другими стала въ переводѣ извѣстною русскому читателю 17 вѣка. Это не единственное соприкосновеніе мольеровскаго творчества съ міромъ русской повѣсти. Фабула *Лекаря по неволѣ*, основанная на странствующемъ сказаніи, была ходячимъ разсказомъ въ Москвѣ, гдѣ ее передавали какъ происшествіе, будто бы случившееся при Борисѣ Годуновѣ. Разсказъ этотъ былъ записанъ и сообщенъ однимъ нѣмецкимъ пасторомъ Олеарию.

Если между двумя первыми мольеровскими пьесами уже замѣтны признаки нѣкотораго прогресса въ литературныхъ приѣмахъ, то въ двухъ комедіяхъ, слѣдующихъ за ними, прогрессъ становится все разительнѣе. „Взбалмошный“ (*l'Etourdi*) на первый взглядъ недалеко отошелъ отъ раннихъ фарсовъ; онъ представляетъ собою близкую передѣлку итальянской пьесы Барбьери *l'Inavvertito* и сохраняетъ отличительныя черты южныхъ буффонадъ: неправдоподобность интриги, часто излишнюю погоню за смѣхотворными положеніями, употребленіе готовыхъ комическихкихъ типовъ и т. д. Но при сравненіи передѣлки съ оригиналомъ видна искусная рука, сумѣвшая воспользоваться матеріаломъ, видно вмѣшательство челоуѣка тоньше организованнаго и глубже чувствующаго. Въ женскихъ характерахъ грубость сердечныхъ движеній замѣнена тою граціозностью, которою такъ часто любилъ потомъ Мольеръ надѣлять женскія личности въ своихъ комедіяхъ; введено и въ другихъ частностяхъ немало мелкихъ черточекъ, которыя мотивируютъ и осмысливаютъ многое въ пьесѣ. Если прибавимъ къ этому, что она была разыграна съ рѣдкимъ ансамблемъ (1655, въ Ліонѣ), и что въ особенности самому автору удалось при этомъ выказать во всей силѣ дарованія замѣчательнаго комическаго актера, то мы поймемъ, что появленіе этой пьесы должно было произвести особенно сильное впечатлѣніе на современниковъ. Обаятельность игры Мольера подтверждаютъ даже враги его: „какъ только зрители увидали его съ алебардой въ рукахъ,—говоритъ одинъ изъ нихъ,—какъ только услышали его смѣшную болтовню, увидали его нарядъ, токъ и фрезу, всѣмъ стало вдругъ хорошо, на лицахъ разгладились морщины, и отъ партера къ сценѣ, отъ сцены къ партеру точно сотни эхо возгласили его хвалу“ *).

Черезъ годъ съ небольшимъ успѣхъ „Взбалмошнаго“ былъ затемненъ еще болѣе полнымъ торжествомъ слѣдующей

*) *Elomire hypochondre*, комедія Шалюссэ, 4 актъ, III явл. (перепечатка Шарля Ливе, 1878, стр. 92).

пьесы, „Любовная досада“ (*le Dépit amoureux*), исполненной въ первый разъ въ городкѣ Безье (*Béziers*). Здѣсь сдѣланъ былъ шагъ впередъ отъ фарса къ литературной комедіи, и новый, все усиливавшійся у Мольера, элементъ выдвигался на первый планъ. Съ этой минуты можно наблюдать въ его творчествѣ процессъ „дифференцированія“ его комизма, который вскорѣ приведетъ къ тому, что дѣятельность его распадется на отдѣльныя группы: серьезные пьесы, проникнутыя часто глубокою идеею и тщательно обработанныя въ художественномъ отношеніи, — и легкія, веселыя бездѣлки. „Любовная досада“ стоитъ на рубежѣ этого раздвоенія; два характера прямо комическіе, потѣшные, но, отстранивъ ихъ, мы видимъ тонкое изображеніе любви, тревогъ, волненій и ревности, которыя она съ собою приноситъ; и само это чувство, и затронутыя имъ личности изображены уже съ большимъ знаніемъ человѣческаго сердца. Оно настолько поразительно у начинающаго писателя, что, быть-можетъ, не совсѣмъ лишены основанія догадки тѣхъ біографовъ, которые видятъ въ этой пьесѣ отраженіе личныхъ испытаній автора и сближаютъ время появленія комедіи съ конфликтомъ двухъ привязанностей его къ красавицамъ—актрисамъ его труппы, Дю-Паркъ и Де-Бри. Сцены любовныхъ ссоръ и огорченій съ этой поры сдѣлались одними изъ любимѣйшихъ въ его произведеніяхъ, и соотвѣтствующія явленія въ „Школѣ женщинъ, Тартюффѣ, Мизантропѣ“ ведутъ свое начало отъ ранней пьесы Мольера. Его личный вкладъ въ нее несравненно существеннѣе, чѣмъ въ „Взбалмошномъ“; несмотря на то, что и *Dépit amoureux* возникъ на готовой итальянской основѣ, именно на фабулѣ пьесы Секки „*l'Interesse*“, и украшенъ былъ кромѣ того мелкими заимствованіями изъ разныхъ французскихъ и даже латинскихъ пьесъ (Плавта и Теренція), его можно почти считать первую самостоятельную пьесой Мольера.

Такъ по собственному почину Мольеръ все рѣшительнѣе переходилъ отъ подражанія чужеземнымъ образцамъ къ попыткамъ независимаго творчества, и взглядъ его на от-

крывавшееся передъ нимъ поприще становился все возвышеннѣе. Тѣмъ понятнѣе недовольство, съ которымъ онъ начиналъ наблюдать болѣзненное общественное и литературное явленіе, замѣнявшее грубость и одичалость поры междоусобій изысканностью полированного тона, переходившаго въ жеманство. Уже въ провинцію проникла изъ столицы мода на салонныя собранія утонченно изящныхъ дамъ и любезныхъ стихотворцевъ, возносившихся отъ грубой прозы дня въ высшія сферы прекраснаго, — мода уродливая, хотя внушенная благонамѣренно - культурными побужденіями. Такого знатока жизни и ея нуждъ, какъ Мольеръ, понимавшаго, что совсѣмъ иными средствами можетъ быть достигнуто общественное возрожденіе, должно было возмущать жеманство, проникавшее и въ литературу съ ея безконечными любовными и чувствительными романами, и въ общество, гдѣ свѣтскія дамы скрывали свои мѣщански звучащія имена подъ благозвучными псевдонимами и называли другъ друга въ глаза та ргѣсиеве, ни чуть не остроумнѣе свахи у Островскаго, у которой съ языка не сходятъ такія величанія, какъ „моя брилліантовая, моя золотая“.

Тѣмъ временемъ парижскимъ друзьямъ удалось наконецъ добиться вызова мольеровской труппы въ столицу. Въ концѣ 1658 года мы видимъ ее въ Парижѣ, гдѣ для ея представленій отведена была одна изъ залъ стараго Лувра. 24 октября данъ былъ первый спектакль, въ которомъ умышленно соединены были различные образцы умѣнья актеровъ: онъ начался съ трагедіи Корнеля *Nicomède* и завершился однимъ изъ раннихъ мольеровскихъ фарсовъ въ итальянскомъ вкусѣ (теперь онъ утраченъ, но Буало еще зналъ его и очень жалѣлъ о его потерѣ), — *le Docteur amoureux*. Игра понравилась придворной публикѣ, въ особенности во второй пьесѣ, но большого восторга все-таки не было, — по крайней мѣрѣ первый біографъ Мольера, Лагранжъ, отзываясь объ этомъ впечатлѣніи довольно холодно (*ils ne déplurent point*). За этимъ спектаклемъ были однако вскорѣ даны новѣйшія и болѣе художественныя пьесы Мольера;

сдержанность публики, привыкшей къ академически-правильной игрѣ столичныхъ знаменитостей, была побѣждена: въ семьѣ короля нашелся покровитель труппы, братъ его; нѣкоторое расположеніе выказалъ къ ней даже и всесильный правитель, Мазарень, и мало-помалу пріѣзжіе провинціалы стали сживаться съ новой обстановкой, обзавелись собственной театральной залой (*salle du Petit-Bourbon*), научились бороться противъ завистливыхъ притязаній своихъ соперниковъ — актеровъ старыхъ труппъ, особенно театра *Hotel de Bourgogne*. Борьба эта не прекратилась во всю дальнѣйшую жизнь Мольера; они не хотѣли простить ему его превосходства, подобно тому какъ почти всѣ наличные представители литературы, затемненные его появленіемъ, даже не имѣя иногда личныхъ счетовъ съ нимъ, не затронутые имъ ни въ одномъ произведеніи, затаили съ этого же времени къ нему ненависть, и оба лагеря враговъ, часто соединявшіеся для дружнаго нападенія, начали вредить Мольеру всякими способами, доносами и ябедами, памфлетами и пасквилями. У Мольера не было надежной опоры; Людовикъ XIV былъ еще слишкомъ молодъ, Мазарень вскорѣ умеръ, братъ короля (*Monsieur*) почти ни въ чемъ не выразилъ своего покровительства и никогда не выплатилъ той субсидіи, которую на первыхъ порахъ щедро обѣщалъ.

Многіе, очутившись, на мѣстѣ Мольера, въ такомъ ложномъ и затруднительномъ положеніи, поспѣшили бы чѣмъ-нибудь выдающимся снискать любезность и расположеніе господствующаго класса, перетянуть этимъ вѣсы на свою сторону и добиться почета. Независимость взглядовъ нашего писателя проявилась въ томъ, что первое же произведение, которое онъ поставилъ въ Парижѣ, было направлено *противъ* вліятельныхъ сферъ, было сатирой на ихъ вкусы и могло только раздражить противъ автора. Этою пьесой были именно *Жеманницы*. Провинціальныя наблюденія были пополнены изученіемъ парижской жизни, — и вся опасность для общества и для литературы отъ направленія, отрывавшаго ихъ отъ дѣйствительности, унося въ ис-

куственную атмосферу утонченного благоприличія, живо представилась умному наблюдателю. Онъ могъ бояться, что это уродливое направленіе пуститъ глубокіе корни; уже за поколѣніе передъ этимъ въ Парижѣ можно было встрѣтить нѣчто похожее на позднѣйшій патологическій типъ *Précieuse*; въ данную минуту тѣмъ же недугомъ охвачена была масса свѣтскихъ женщинъ, поэтовъ, придворныхъ, аббатовъ; въ рядахъ ихъ можно было встрѣтить далеко не глупыхъ писателей и остроумцевъ, вродѣ Менажа, и блестящихъ по уму и граціи женщинъ, вродѣ маркизы Рамбулье. Въ знаменитомъ голубомъ салонѣ ея отеля собирались представители новаго вкуса, проводя время въ состязаніи остротами, пріятныхъ спорахъ и декламированіи томныхъ стихотвореній. Уже аббатъ de Pure выступилъ съ пародіей противъ этого направленія вкуса; итальянцы сыграли небольшую его пьесу *), а свѣтская публика прочла его многотомный романъ, — но эти первыя попытки мало повредили предмету насмѣшки. Быть-можетъ, Мольеръ явился въ Парижъ уже съ готовою пьесой противъ моднаго жеманства, которое онъ могъ наблюдать въ провинціи (такое предположеніе защищаетъ теперь Мэнаръ), но послѣ плохихъ подражательницъ пришлось ему увидеть вблизи и прославленные оригиналы, и пьеса получила еще болѣе отношеній къ дѣйствительности. Оговорка въ предисловіи къ „*Précieuses ridicules*“, увѣряющая, будто сатира направлена лишь противъ неловкихъ и забавныхъ провинціальныхъ *précieuses*, скорѣе всего придумана для того, чтобы нѣсколько ослабить впечатлѣніе слишкомъ ясныхъ намековъ. Но оговорка не достигла цѣли: столичныя жеманницы и свита ихъ поклонниковъ поспѣшили узнать себя и возбудить недовольные толки; заскрипѣли перья и возгорѣлась долго не замолкавшая мстительная война противъ Мольера изъ-за этой комедіи; отвѣтомъ на нее послужили двѣ пьесы Сомеэа, *les Veritables précieuses* и *le Procès des pré-*

*) Ср. статью Jules Couet въ журн. *Moliériste*, 1880 „La Précieuse de l'abbé de Pure“.

cieuses, комедия Жильбера „la Vraie et la fausse précieuse“ и т. д., тогда какъ за Мольера выступали молодые писатели вродѣ Шаппюзо и Лафаржа. Но этотъ споръ не въ силахъ былъ въ чемъ-нибудь измѣнить совершившагося факта; на-правленіе, осмѣянное Мольеромъ, было разбито на голову и уже не въ силахъ было подняться. Съ большимъ тактомъ маркиза Рамбулье дѣлала видъ, что не узнаетъ портрета, и ходила на представленія пьесы, но блестящая пора ея са-лона прекратилась, и когда, много лѣтъ спустя, Мольеръ снова коснулся довольно сходной темы въ своихъ „Ученыхъ Женщинахъ“, то черты осмѣяннаго имъ женскаго педан-тизма уже имѣли мало соприкосновенія съ умершимъ и по-гребеннымъ міромъ „жеманства“.

Успѣхъ пьесы былъ колоссальный. По современнымъ по-казаніямъ, на двадцать лѣтъ кругомъ Парижа не осталось ни одного сколько-нибудь грамотнаго человѣка, который не захотѣлъ бы видѣть на сценѣ эту комедію. Въ виду такого успѣха, шумныхъ толковъ и пересудовъ, которые повели даже къ временной пріостановкѣ представлений, Мольеру пришлось кое-что измѣнить и ослабить въ своемъ произве-деніи, особенно когда оно должно было выйти отдѣльнымъ изданіемъ. Между первымъ и вторымъ представленіями про-шло двѣ недѣли, и есть основаніе предполагать, что на правительство (король былъ въ отсутствіи) было сдѣлано сильное давленіе съ цѣлью запретить пьесу. Дошедшій до насъ подробный рассказъ объ одномъ изъ спектаклей, гдѣ оно давалось, обнаруживаетъ существенную разницу съ извѣстною намъ редакціей пьесы. То былъ первый примѣръ тѣхъ, къ несчастью, нерѣдкихъ измѣненій, которыя Мольеръ принужденъ былъ въ послѣдствіи производить надъ своими пьесами изъ-за такъ называемыхъ цензурныхъ соображеній.

Накоплявшаяся въ свѣтскихъ кругахъ противъ него враж-дебность, кажется, нашла себѣ вскорѣ практическое и крайне чувствительное для него примѣненіе. Вслѣдствіе чьихъ-то тайныхъ интригъ его неожиданно вытѣснили изъ занятаго его труппой помѣщенія, лишили сцены и даже подъ пустымъ предлогомъ *истребили* всѣ декорации и машины.

Съ трудомъ удалось получить пріютъ въ Пале-Роялѣ, гдѣ мольеровскій театръ окончательно упрочился. Въ заботахъ и дрязгахъ подобнаго рода мысль о необходимости чѣмъ-нибудь привлечь къ себѣ публику и поддержать въ ней интересъ, возбужденный *Жеманницами*, должна была, конечно, тревожить Мольера, но вмѣстѣ съ тѣмъ столь же естественно, что ея исполненіе, при подобномъ настроеніи, не могло быть удачно. Къ этой переходной порѣ дѣйствительно относятся два произведенія: „Сганарель или мнимый рогоносецъ“, и *Don Garcie de Navarre*, которыя, сравнительно съ *Précieuses ridicules*, представляютъ шагъ назадъ. Первая изъ этихъ пьесъ, несмотря на отличающую ее веселость, слишкомъ отзывается вліяніемъ только-что покинутаго авторомъ стиля итальянской арлекинады, лишь нѣсколько болѣе осмысленной и уравниженной. Вторая же прямо передѣлана изъ итальянской трагикомедіи Чиконьини *) и настолько же ударяется въ многорѣчивую разработку темы о любви и ревности, не лишенную празднои декламации, насколько *Сганарель* вдается по временамъ въ фарсъ. Цѣль, поставленная себѣ авторомъ, не была достигнута; *Сганарель* еще привлекалъ публику, а *Don Garcie* потерпѣлъ полное пораженіе, болѣе не возобновлялся и былъ напечатанъ лишь послѣ смерти Мольера. Тѣмъ не менѣе онъ имѣетъ свое значеніе въ исторіи развитія нашего писателя. Онъ былъ послѣднею его попыткою основать пьесу исключительно на патетическомъ элементѣ; съ этихъ поръ онъ навсегда отрекся отъ длинныхъ монологовъ на тему о любви, отъ романтическихъ героевъ въ южномъ вкусѣ, изящно драпированныхъ плащами. И любовь, и ревность не разъ изображались имъ впослѣдствіи, но въ чисто реальной обстановкѣ, среди житейскаго водоворота. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ перечестъ нѣсколько сценъ, перенесенныхъ впослѣдствіи Мольеромъ изъ „*Don Garcie de*

*) Одного изъ первыхъ писателей западно-европейскихъ, съ которыми познакомилась русская театральная публика при Петрѣ („Честный измѣнникъ“ — переложеніе пьесы „Il tradimento per l'onore“).

Navarre“ въ *Мизантропа*, въ связи съ тѣми предшествующими и послѣдующими сценами въ этомъ позднѣйшемъ произведеніи, которыя ихъ объясняютъ и мотивируютъ, захватывая зрителя за живое, а потомъ перенестись вполнѣ въ раннюю пьесу, гдѣ тѣ же явленія очутятся въ иной обстановкѣ. Тамъ, гдѣ объясненія Альцеста съ Селименой ярко рисуютъ столкновение двухъ рѣзко опредѣленныхъ характеровъ, Донъ Гарчія расплывается въ безцвѣтныхъ жалобахъ на злую судьбу и вѣроломство женщинъ.

Послѣ краткаго перерыва, занятаго двумя болѣе слабыми произведеніями, талантъ Мольера снова вернулся къ силѣ и зрѣлости, которая выказана была имъ въ *Жеманницахъ*, — скажемъ даже болѣе, слѣдующее произведение, *Школа мужей* (24 іюня 1661), отмѣтило собою очевидный прогрессъ въ его творчествѣ. Этотъ фактъ, особенно поразительный послѣ недавняго ослабленія энергіи, естественно могъ быть объясненъ новыми благоприятными вліяніями, счастливымъ поворотомъ въ жизни Мольера, снова наполнившимъ его мужествомъ и любовью къ дѣлу. Дѣйствительно, въ эту пору готовилась крупная перемѣна въ жизни его, и „Школа мужей“ открываетъ собою рядъ любопытнѣйшихъ субъективныхъ произведеній, отражающихъ въ себѣ шагъ за шагомъ развитіе этого переворота.

Немало образцовъ подыскано теперь для этой пьесы. Во главѣ ихъ стоитъ наиболѣе близкій къ ней—комедія Теренція „*Adelphi*“, пьеса Лопе-де-Веги „*La discreta enamorada*“, французская пьеса Лариве и т. д.; исторію сюжета пьесы можно бы начать еще раньше и найти первыя попытки обработать его для театра въ лѣтописяхъ старой греческой комедіи. Сопоставленіе противоположностей въ характерѣ двухъ братьевъ, столкновение двухъ нравственныхъ воззрѣній, контрастъ молодыхъ стремленій и старческаго консерватизма представляли слишкомъ благодарный матеріалъ для драматурговъ всѣхъ временъ. Мольеръ вступилъ, стало-быть, въ этомъ случаѣ въ длинный рядъ передѣльвателей одной и той же темы, и самостоятельность, которую онъ выказалъ при этомъ, обнаружила, до какой зрѣлости

дошелъ уже его талантъ. Онъ одинъ сумѣлъ глубже вникнуть въ смыслъ взаимныхъ отношеній дѣйствующихъ лицъ, завѣщанныхъ ему традиціей, и тамъ, гдѣ Теренцій нашелъ лишь нѣсколько смѣшныхъ картинъ, онъ поставилъ на первомъ планѣ рядъ основныхъ социальныхъ вопросовъ. Старой семейной морали онъ противопоставилъ гуманную терпимость, строгому надзору и вѣчной подозрительности по отношенію къ женщинѣ предпочелъ полное довѣріе къ ея прямотѣ и честности, и явился заступникомъ за свободу женской личности; не говоримъ уже о мелкихъ сатирическихъ чертахъ, разсѣянныхъ въ пьесѣ, заключающей въ себѣ одни изъ наиболѣе раннихъ заявленій поэта въ пользу демократической простоты. Глашатаемъ своихъ положительныхъ теорій онъ сдѣлалъ особое лицо, надѣливъ его благородной горячностью, которая дѣйствуетъ симпатично даже на позднѣйшихъ читателей, отвыкшихъ уже отъ стариннаго резонерства. Аристъ—родоначальникъ всѣхъ честныхъ людей въ мольеровскихъ комедіяхъ и выказываетъ уже тотъ непримиримый духъ, то, какъ еще говорили тогда, Катонское настроеніе, которое современемъ ярко разгорится у лучшаго изъ его потомковъ, Альцеста. Это—духъ, все болѣе оживлявшій самого автора, и его „добродѣтельные люди“ потому и не производятъ впечатлѣнія блѣдныхъ тѣней или благонамѣренныхъ автоматовъ, что въ ихъ рѣчахъ чувствуется искренность и воодушевленіе живого человѣка. Воззрѣнія, высказанныя Аристомъ, должны были казаться необыкновенною новостью во французской комедіи, еще не привыкшей останавливаться на смыслѣ изображаемыхъ явленій и предпочитавшей смѣяться, чѣмъ обобщать и негодовать.

Но въ тѣхъ же рѣчахъ чувствуется примѣсъ новаго элемента, который возвышаетъ въ особенности автобіографическое значеніе пьесы. Слишкомъ проглядываетъ связь между вымысломъ и дѣйствительностью; когда вопросъ о бракѣ подвергается разностороннему обсужденію, когда притязанія старика Сганареля приковать къ себѣ молодую дѣвушку силой предаются позору, и наиболѣе симпатій при-

дано тому порядочному человѣку, который не боится до-
вѣриться прямоѣ и откровенности своей жены, — невольно
отгадываешь въ этомъ анализѣ брачнаго вопроса отголоски
раздумья и тревоги самого поэта наканунѣ столь же рѣши-
тельного шага. И мы врядъ ли ошибемся, предположивъ тутъ
живую внутреннюю связь, хотя бы и не нашлось въ под-
твержденіе достаточныхъ фактическихъ доказательствъ. Въ
эту пору Арманда Бежаръ быстро превращалась изъ мило-
видной дѣвочки, m-lle Menon, какъ ее прозвали въ труппѣ,
въ граціозную и (судя по многимъ отзывамъ) необыкновенно
плѣнительную дѣвушку. Въ настоящее время найдено и из-
дано (Арсеномъ Гуссе *) и другими) немало ея портретовъ
изъ разныхъ возрастовъ, и, всматриваясь въ нихъ, легко
повѣрить, что она должна была производить неотра-
зимое впечатлѣніе. Хотя красавицей ее нельзя было назвать,
но граціозность и изящная кокетливость заставляли забы-
вать и недостаточную правильность чертъ, и неглубокій
умъ, и легкомысліе. Даже въ зрѣлыхъ лѣтахъ (выйдя во второй
разъ замужъ за посредственнаго актера Guérin) она продол-
жала нравиться,—легко представить себѣ, какою она была
въ переходную пору отъ дѣтства къ юности, когда порывы
кокетства были еще смягчены наивной дѣвической просто-
той. Мольеръ поддался этому впечатлѣнію и, глядя на
разцвѣтавшее передъ нимъ существо, мечталъ о счастіи
соединить когда-нибудь ея судьбу съ своею. Онъ уже
утомился сердечными разочарованіями, и семейный очагъ
манилъ его къ себѣ. Но разность лѣтъ (40 и 19) меж-
ду нимъ, уже пожившимъ и усталымъ, и Армандой, только
вступавшей въ жизнь, должна была часто мучить его,—и
въ *Школѣ мужей*, гдѣ онъ попытался разобраться въ этомъ
тревожномъ вопросѣ, онъ выработалъ себѣ, словами Ариста,
примирительный исходъ въ гуманной формѣ брака, основан-
наго на довѣріи (*Je veux m'abandonner à la foi de ma fem-*

*) Монументальное изданіе „Molière, sa femme et sa fille“, in fol., 1880,
слабое по тексту, но важное по множеству портретовъ и снимковъ; Арманда
изображена здѣсь въ нѣсколькихъ роляхъ.

me, et prétends vivre ainsi que j'ai vécu, говоритъ Аристъ). Послѣ одного изъ представлений этой пьесы онъ изъ театра направился въ церковь, сопровождаемый своими товарищами, и 20 Февраля 1662 г. была отпразднована его свадьба.

Искреннее увлеченіе заставило его сдѣлать роковую ошибку. Трудно было бы найти болѣе несоотвѣтствія между двумя натурами, осужденными жить вмѣстѣ. Арманда совершенно не была подготовлена къ роли тихой подруги, которую ей предназначалъ Мольеръ. Она слишкомъ долго ждала возможности высвободиться изъ-подъ власти матери, которая еще хотѣла нравиться и потому расположена была оттѣснить дочь, держать ее взаперти; ей хотѣлось замужства, какъ средства жить открыто, блистать въ свѣтѣ, быть окруженной поклонниками. Возлѣ матери, въ актерскихъ, а потомъ и въ придворныхъ кругахъ она наглядѣлась примѣровъ весьма сомнительной морали, гдѣ постоянство и вѣрность поднимались на смѣхъ, и гдѣ свѣтскія женщины соперничали въ искусствѣ интриги. Ожиданія тихаго семейнаго счастья, высказанныя ей мужемъ, должны были показаться ей чѣмъ-то страннымъ, невыразимо скучнымъ. Да и онъ самъ не всегда оставался тѣмъ веселымъ собесѣдникомъ, какимъ она прежде помнила его; часто онъ поддавался грусти, задумчивости, ждалъ отъ нея утѣшенія, и домъ все болѣе долженъ былъ казаться ей тюрьмой. Она захотѣла жить иначе; онъ, вѣрный своимъ взглядамъ, не помѣшалъ ей, продолжалъ вѣрить въ нее; но она не сумѣла остановиться, водоворотъ охватилъ и закружилъ ее, разладъ между супругами годъ отъ году увеличивался и никогда не изгладился *). Исторія этого несчастнаго брака—самая печальная страница въ жизни Мольера; его послѣдствія тяжело налегли на всѣ его начинанія, горе подорвало его здоровье, свело его въ могилу, и отнынѣ будетъ сквозить во всѣхъ его произведеніяхъ, преслѣдовать его и раздражать, неразлучное съ нимъ, почти какъ старое наше Горе-злосчастье.

*) Сложный вопросъ о супружеской жизни М. всего полнѣе изслѣдованъ у Jules Loiseleur, Les points obscurs de la vie de Molière, 1877.

Въ слѣдующей большой пьесѣ, *Школы женщинъ*, мы уже найдемъ отраженіе начинающагося разлада. Онъ еще не принялъ остраго характера, ограничился немногими разочарованіями; въ промежуткѣ Мольеръ еще могъ написать такую бездѣлку, какъ „*Les Fâcheux*“ для исторически-знаменитаго праздника, которымъ разбогатѣвшій интендантъ (министръ финансовъ) Фуке сбирался поразить короля въ своемъ замкѣ *Vaux*. Въ двѣ недѣли пьеска была написана и поставлена на сцену, очень понравилась королю злою насмѣшкой надъ пустоголовыми придворными кавалерами, выведенными тутъ въ качествѣ настоящихъ буфоновъ, и впервые сблизила поэта съ королемъ, который назначилъ субсидію его труппѣ. Самъ Мольеръ не придавалъ особаго значенія этой комедіи, которая основана на такомъ незатѣйливомъ сюжетѣ, какъ досадныя препятствія любовному свиданію, и къ тому-же впервые была перемѣшана съ танцами и пѣніемъ, какъ это давно дѣлали итальянцы. Это была просто случайная писательская забава, и въ то время какъ Мольеръ дописывалъ эти веселыя сцены, у него зрѣлъ планъ новой серьезной работы, *Школы женщинъ*, которая была исполнена впервые 26 декабря 1662 года.

Школа женщинъ имѣетъ тѣсную внутреннюю связь съ Школой мужей, представляя еще болѣе полное развитіе той же темы; любовь и ревность, трагическій характеръ неравныхъ браковъ, торжество молодости надъ всѣми запретами и тиранніе стараго поколѣнія, крайности мужского эгоизма, который можетъ сдѣлать отталкивающимъ даже умнаго и бывалаго человѣка, когда ему захочется, вопреки всему, обезпечить себѣ постоянное наслажденіе, — таковы опять главные черты пьесы, и герой ея, Арнольдъ, умышленно надѣленный свойствами „комического старика“, достойно одураченъ. Всякій найдетъ страннымъ это скорое возвращеніе поэта къ обработанному уже разъ сюжету и, видя, какъ слабо на этотъ разъ влияніе постороннихъ источниковъ (новеллы Страпаролы, *Précaution inutile* Скаррона), естественно предположить внутреннюю потребность, руководившую Мольеромъ. Но недалёковидные на-

блюдатели (въ ихъ числѣ мы съ удивленіемъ находимъ талантливаго Коклена) *) затрудняются найти близость этой комедіи съ фактами жизни ея автора; Арнольфъ, говорятъ они, не можетъ быть портретомъ Мольера. Онъ отталкиваетъ своимъ брюжжаньемъ, чувственной алчностью и злобой, Мольеръ-же былъ всегда сторонникомъ человѣчности; къ тому-же въ пору созданія Школы женщинъ семейнаго разлада между нимъ и женою еще не было... Какъ будто для того, чтобъ облегчить душу, высказавъ волнующія его мысли въ произведеніи, огражденномъ отъ подозрѣній своимъ характеромъ вымысла, автору нужно непременно буквальное соотвѣтствіе малѣйшей черты его характера съ дѣйствующимъ лицомъ, и кромѣ того, какъ будто именно желаніе скрыть сходство не должно внушить мысль усилить, сгустить краски! Пусть Арнольфъ будетъ ворчуномъ, пусть возводитъ въ идеаль систему шпіонства и составляетъ житейскія правила для замужней женщины, отъ которыхъ первый отшатнулся бы Мольеръ, — за то это открываетъ возможность ввести подъ этой оболочкой душевную исповѣдь поэта, внезапно понявшаго, что онъ совершилъ тяжкую ошибку и долженъ ждать всѣхъ ея послѣдствій. Арнольфъ одураченъ дѣйствительно, но онъ самъ шелъ на это, и такую развязку пьесы нельзя не назвать самобичеваніемъ. Разладъ еще не наступилъ, но тѣмъ печальнѣе его предзнаменованія; удивленіе Арнольфа, пораженнаго перемѣной въ невинной дѣвочкѣ, и досадное сознаніе, что онъ все-таки ее любитъ, и не можетъ высвободиться изъ этого колдовства, — все это черты, выстраданныя, подлинныя, но неясныя лишь для тѣхъ, кто не хочетъ ихъ видѣть.

Превосходно разыгранная, поражающая непринужденностью слога, насмѣшекъ, комическихъ положеній, явно выбившаяся на свободу изъ-подъ гнета драматической теории, пьеса эта произвела необыкновенно сильное впечатлѣніе, всегда оставалась любимымъ украшеніемъ репертуара и при

*) L'Arnolphe de Molière, par C. Coquelin, 1882.

жизни Мольера выдержала четыре изданія; мало того, она отмѣтила собою оживленную полосу въ современной литературной полемикѣ, и получила значеніе блестящей побѣды новыхъ художественныхъ началъ надъ рутиной. Весь запасъ злобы и досады, возбужденной успѣхами Мольера въ прежнихъ властителяхъ литературы и театра, и недружелюбіе, которое съ каждой новой комедіей чувствовали къ нему придворные, выразилось въ ожесточенныхъ нападкахъ на Школу женщинъ. Въ ней нашли неслыханное поруганіе вѣры и церковныхъ уставовъ (десять правилъ Арнольфа будто бы были пародією на десять заповѣдей и т. п.), оскорбленіе чувства цѣломудрія, нарушеніе всякихъ литературныхъ правилъ. О неприличіи пьесы толковали въ салонахъ; борзописцы принялись за пародіи и обличенія; одни вопіяли противъ кошунства, другіе дѣлали Мольера политически-опаснымъ человѣкомъ, третьи — невѣждой и безграмотнымъ писакой. Оставаться безмолвнымъ въ виду этихъ ожесточенныхъ нападокъ было выше силъ, и Мольеръ отвѣчалъ на нихъ въ своеобразной пьескѣ, по непринужденности равной лишь аристофановскимъ приемамъ, — въ „Критикѣ на Школу женщинъ“; когда же натискъ и послѣ того не ослабѣлъ, и нѣсколько комедій и памфлетовъ *) извергли на Мольера всякаго рода хулы, онъ выставилъ за нею вслѣдъ еще болѣе крохотную бездѣлку, „Версальскій экспромптъ“. Въ обоихъ этихъ полемическихъ произведеніяхъ онъ впервые высказываетъ свою писательскую *profession de foi*. Тутъ его дѣйствительно можно бы назвать романтикомъ; презрѣніе къ стѣснительной теоріи поэзіи **) въ немъ столь же сильно,

*) Le Portrait du Peintre, Бурко; Zélinde, Де-Виве; La vengeance des marquis, его же; L'impromptu de l'hôtel de Condé, Монфлери; Nouvelles nouvelles où conversation comique sur les oeuvres de Mr de Molière, Робинь. За Мольера вступился лишь неизвѣстный авторъ Gueyre comique ou Défense de l'Ecole des femmes.

**) „Какъ смѣшны вы съ вашими правилами, которыми вы только затрудняете невѣждъ и оглушаете насъ! Послушавъ васъ, подумаешь, что эти правила — величайшія міровыя тайны, а между тѣмъ это просто непринужденныя наблюденія, сдѣланныя здравымъ смысломъ, надъ тѣмъ, что можетъ умалить наше удовольствіе при чтеніи повѣй въ этомъ родѣ. Тотъ-же здравый смыслъ

какъ и негодованіе на ханжество, притворную добродѣтель и религіозность его противниковъ. Если и до тѣхъ поръ ему уже приходилось вести походъ противъ старыхъ взглядовъ на семью, бракъ, женщину, воспитаніе, онъ прибавилъ теперь многое къ числу застарѣлыхъ язвъ общественныхъ, — а какъ комическій писатель, возбудилъ возстаніе противъ рутины, радуясь за свободу творчества и близость къ дѣйствительности. Въѣстъ съ предисловіями и объяснительными письмами къ *Тартюффу* и *Мизантропу*, заявленія, сдѣланныя Мольеромъ во время спора изъ-за Школы женщинъ, даютъ возможность составить полное представление о независимыхъ литературныхъ убѣжденіяхъ нашего поэта. Смѣлость его доставила ему скоро приверженцевъ; Буало и Лафонтенъ раньше другихъ подошли къ нему; послѣдній былъ въ полномъ восторгѣ; j'en suis ravi, car c'est mon homme, говорилъ онъ и совѣтовалъ отнынѣ не сходить съ пути вѣрнаго изображенія природы (maintenant il ne faut pas quitter la nature d'un pas).

Долго не могла уняться взволнованная шайка противниковъ, которая въ то-же время старалась вредить Мольеру и доносами, обвинявшими его въ томъ, будто онъ женатъ на своей незаконной дочери. Но отнынѣ король былъ на его сторонѣ, и многія изъ этихъ усилій оставались безуспѣшными. Между поэтомъ, въ такой степени любившимъ независимость, и надменнымъ автократомъ устанавливалась близость, составляющая одинъ изъ любопытнѣйшихъ примѣровъ человѣческихъ отношеній. Она не удивитъ насъ, если мы посмотримъ на нее, какъ на бракъ по разсудку. Людовикъ XIV никогда не понималъ великаго значенія Мольера и, говорятъ, былъ удивленъ, услышавъ однажды отъ Буало, что Мольеръ первый писатель вѣка, но онъ видѣлъ въ немъ прежде всего талантливую натуру, изобрѣтательную и веселую; ему можно было поручить устройство праздника, сочиненіе небольшой пьесы, по-

можетъ и теперь производить свои наблюденія, не справляясь съ Горациемъ и Аристотелемъ“ (сцена 7).

становку спектакля; и въ короткое время все поспѣвало точно чудомъ; среди подобострастія двора королю нравилась типическая личность поэта и, видя, какъ дворъ и столичное общество идутъ противъ него, онъ могъ принять его именно потому подъ свою защиту; наконецъ, стремясь къ непомѣрному увеличенію своей власти и враждебно смотря на остатокъ прерогативъ дворянства, онъ могъ находить особое удовольствіе въ томъ, что Мольеръ, изъ совершенно иныхъ видовъ, все рѣшительнѣе избиралъ это сословіе предметомъ своей сатиры. Самъ-же поэтъ, видя себя съ каждой новой пьесой окруженнымъ врагами, свыкался съ мыслью, что поддержка короля можетъ имѣть для него важное значеніе; онъ не поступался своими убѣжденіями, и если иногда благодарственные заявленія его звучали нѣсколько торжественно, то въ этомъ случаѣ онъ просто слѣдовалъ принятому придворному жаргону. Въ отплату за поддержку онъ дѣйствительно готовъ былъ при случаѣ помочь, чѣмъ могъ, ставя экспромптомъ спектакль, импровизируя легкую пьеску или представленіе съ балетомъ и аріями. Такъ возникли многія его вещицы, въ родѣ „*l'Amour médecin, Psyché, Melicerte, Les Amans magnifiques*“ и т. д., на которыя онъ самъ никогда не смотрѣлъ серьезно.

Съ каждымъ годомъ положеніе Мольера, и какъ писателя, и какъ человѣка, становилось тяжелѣе. Вражда къ нему не ослабѣвала, но разгоралась; испытавъ всѣ обыкновенные, житейскіе способы мщенія, она съ особымъ стараніемъ культивировала всегда опасную систему религіозныхъ извѣтовъ; изъ-за нѣсколькихъ неосторожныхъ словъ въ Школѣ женщинъ, и, опираясь на слухи о свободныхъ воззрѣніяхъ Мольера на предметы вѣры, его выставляли безбожникомъ и вольнодумцемъ. И тѣ свѣтскіе люди, которымъ подобные вопросы были совершенно чужды, вторили нетерпимости явныхъ клерикаловъ. Среди придворной распушенности скоплялись первые признаки того искуснаго притворства, которое впослѣдствіи умѣло мирить тайный развратъ съ подвижническою внѣшностью. Для людей этого рода должны были казаться вдвое опасными защитники развитія и нрав-

ственности, будутъ ли они глубоко вѣрующими, подобно Паскалю, скептиками въ родѣ Ларошфуко, или заступниками за здравый смыслъ и честность, какъ Мольеръ. Кучка этихъ новыхъ людей одиноко стояла въ виду надвигавшейся реакціи, предводимой іезуитами. Опасность была уже близка, хотя полное торжество ханжества еще не наступило,—но именно поэтому слѣдуетъ зачесть въ особую заслугу Мольеру, что онъ одинъ изъ первыхъ замѣтилъ признаки опасности, забилъ тревогу и бросился на врага. Какъ кажется, онъ задумалъ своего „Тартюфа“ не безъ вѣдома короля,—и это легко допустить: Людовикъ еще былъ слишкомъ молодъ, слишкомъ хотѣлъ жить, едва вышелъ изъ опеки матери и Мазарена, и тяготился нравоученіями своихъ клерикальных совѣтниковъ. Возможно, что онъ сообщалъ Мольеру анекдоты изъ интимной жизни епископовъ, которые могли найти мѣсто въ его будущей комедіи, — и что Людовикъ, зная ея содержаніе лишь въ общихъ чертахъ, могъ даже съ нѣкоторымъ злорадствомъ ожидать примѣрнаго урока ханжамъ. Но, конечно, онъ не въ состояніи былъ вполне представить себѣ, во что превратится извѣстная ему фабула въ рукахъ Мольера, и рассчитывалъ, что пышныя версальскія празднества (*Les plaisirs de l'île enchantée*) 1664 года будутъ особенно удачны, благодаря неожиданно для всѣхъ траги-комическому эпизоду.

Съ необыкновенною предусмотрительностью готовился Мольеръ къ своему рѣшительному шагу. Кромѣ „Тартюфа“, какъ будто для отвлеченія вниманія, написалъ онъ въ подражаніе комедіи, испанца Морето чувствительную пьеску „*La princesse d'Elide*“, и только подъ ея прикрытіемъ выпустилъ первые три акта главной пьесы; кромѣ того, въ видѣ громоотвода, онъ набросалъ нѣсколько привѣтственныхъ стиховъ въ честь королевы-матери, чье святошество могло навлечь серьезныя опасности на комедію; наконецъ, для перваго представленія онъ избралъ не Парижъ, гдѣ группировались руководители враждебной ему клики, предводимой архіепископомъ Перефиксомъ, но версальскій дворъ. Очевидно, ему особенно дорого было провести свою пьесу ме-

жду всѣми подводными камнями, и создание ея болѣе, чѣмъ когда-либо, было подчинено строго обдуманному во всѣхъ мелочахъ плану. Выпущенная потомъ, во время гоненій на пьесу безыменная брошюра „Lettre sur la comédie de l'Imposteur“, принадлежащая, по нашему мнѣнію, въ значительной степени перу самого Мольера, подтверждаетъ это вполне, краснорѣчиво выставляя идеаль общества служенія литературы и возвышенную теорію смѣха.

Глубокій интересъ автора къ создаваемой пьесѣ отразился и на прогрессѣ художественныхъ приѣмовъ. Для главнаго дѣйствующаго лица Мольеръ взялъ нѣсколько подлинныхъ чертъ у современниковъ, извѣстныхъ своимъ ханжествомъ (напр., аббата Рокетта, Ламуаньона, отца Лашеза), воспользовался слышанными имъ анекдотами о продѣлкахъ и плутняхъ различныхъ крупныхъ и мелкихъ Тартюффовъ (такой анекдотъ лежитъ, наприм., въ основѣ введеннаго въ комедію эпизода о шкатулкѣ съ компрометирующими бумагами; это продѣлка нѣкоего père Ithier съ принцемъ Конти), ввелъ также нѣсколько подробностей, заимствованныхъ изъ литературныхъ источниковъ (конецъ третьяго акта построенъ на мотивѣ изъ одной повѣсти Скаррона: есть заимствованія у Рабле, Ренье, Аретина (изъ ком. „l'Proscrito“); въ послѣднее время указано близкое сходство съ итальянской импровизованной комедіей Фламинія Скалы, 1611 г.) *). Но всѣ эти черты превратились въ цѣльный психологически-вѣрный *типъ*, совмѣщающій въ себѣ всѣ отличительныя свойства ханжи. Это не портретъ какой-нибудь отдѣльной личности, а между тѣмъ онъ можетъ быть приложенъ ко многимъ; онъ изображаетъ ипокрита, какимъ его создали общественныя условія во Франціи 17 вѣка, и въ то же время этотъ характеръ остается вѣрнымъ всегда, обладая чертами общечеловѣческими. Передъ нами не только тайный иезуитъ, искусно вѣдряющійся въ семьѣ, алчный

*) Къ этимъ источникамъ, чье вліяніе подробно рассмотрѣно въ моей книгѣ „Тартюффъ; исторія типа и пьесы“, 1879, прибавилось недавно важное указаніе на романъ Шарля Сореля „Polyandre“ (статья Монваля въ „Moliériste“, 1888, и Эдуарда Тьерри, въ Revue d'art dramatique, 1893, августъ).

на добычу и имѣющій всѣ особенности монашескаго сластолюбія, — въ немъ заклеяны основныя черты, свойственныя всѣмъ оттѣнкамъ притворства, какую бы форму оно ни принимало. Оттого-то имя Тартюффа стало навсегда нарицательнымъ и примѣнялось въ литературныхъ произведеніяхъ, касавшихся той-же темы, и въ обиходномъ разговорномъ языкѣ, ко множеству разновидностей притворства въ области политики, нравственности, народничанья и т. д. За то, если у „Тартюффа“ немало предшественниковъ (начиная съ среднихъ вѣковъ) въ изображеніи ипокрита, то въ свою очередь онъ является родоначальникомъ цѣлой галлерей однородныхъ характеровъ.

Указавъ такимъ образомъ на общественную опасность отъ распространенія ханжества, Мольеръ постарался выяснить, какими значительными силами располагаетъ оно въ государствѣ. Въ его комедіи намѣчено уже нѣсколько лицъ, которыя всегда будутъ поддерживать всѣхъ Тартюффовъ; это суевѣрная мать Оргона, слѣпо вѣрующая въ „святого человѣка“, самъ Оргонъ, на время совершенно подпадающій его вліянію, двѣ свѣтскихъ женщины, портреты которыхъ набрасываетъ Клеантъ, приставъ Лояль, являющійся съ официальной поддержкой плутней Тартюффа, — наконецъ, что еще важнѣе, мы узнаемъ, что у этого проныры масса тайныхъ сообщниковъ во всѣхъ слояхъ, что они составляютъ сѣть, совершенно опутавшую его и обнаруживающую свою силу при каждомъ поводѣ. Тартюффъ оттого такъ смѣлъ и безнаказанъ, что у него есть рука и въ судѣ, и въ полиціи, и при дворѣ, и у архіепископа. Онъ искусно пользуется услугами этой организациі, и, какъ только это ему нужно, выдвигаетъ впередъ доносъ о политической неблагонадежности Оргона, зная, что на другой день послѣ междоусобій это—самый вѣрный способъ отдѣлаться отъ врага. Его доносъ имѣетъ успѣхъ и доходитъ до короля; беззаконіе готово совершиться, и только неожиданное вмѣшательство Людовика спасаетъ Оргона. Эта развязка пьесы часто порицалась, и, конечно, съ художественной стороны, не безъ основанія, —

но помимо того, что она несомненно прибавлена была изъ цензурныхъ соображеній, нельзя не видѣть и въ ней злой сатиры на такой порядокъ вещей, гдѣ полнѣйшее беззаконіе требуетъ немыслимаго вмѣшательства высшей власти въ каждый одиночный фактъ насилія или несправедливости. За исключеніемъ этого невольнаго промаха, „Тартюфъ“ въ художественномъ отношеніи первенствуетъ въ ряду всѣхъ мольеровскихъ пьесъ: экспозиція, т. е. вступительное разъясненіе сюжета, считается въ немъ образцовою, втягивая зрителей съ первыхъ-же сценъ въ самый водоворотъ интриги; замедленное появленіе героя, показывающагося на сценѣ лишь въ третьемъ актѣ, усиливаетъ въ насъ ожиданіе, тѣмъ болѣе, что изъ чужихъ рѣчей мы узнаемъ массу подробностей о характерѣ и положеніи Тартюффа въ домѣ; единство дѣйствія, центромъ котораго постоянно остается Тартюфъ, выдержано вполне, и мастерская характеристика главнаго дѣйствующаго лица обставлена живыми личностями Оргона, Пернеллы, Эльмиры и даже Клеанта, устами котораго энергичнѣе, чѣмъ когда-либо, заговорили оскорбленный здравый смыслъ и прямотушіе.

Такая отважная сатира не могла подойти подѣ веселый складъ версальскаго празднества; тѣмъ не менѣе въ Версалѣ первое впечатлѣніе было, повидимому, довольно благопріятное. Но какъ только молва о новой пьесѣ достигла Парижа, враждебный лагерь востепенулся. Подѣйствовали на архіепископа, возбудили гнѣвъ суевѣрной королевы - матери, чей характеръ довольно близко напоминаетъ Пернеллу, наконецъ, осыпали короля жалобами и извѣтами, требуя запрещенія пьесы, будто-бы осмѣивающей все священное въ человѣческой жизни. Наконецъ архіепископъ подѣ страхомъ отлученія отъ церкви запретилъ читать, слушать и смотрѣть, публично или въ частномъ кругу, такую безнравственную пьесу. Король не устоялъ въ виду общаго натиска, и, какъ кажется, противъ воли согласился на запрещеніе *публичнаго исполненія* пьесы, при чемъ, однако, не захотѣлъ предать осужденію намѣреніе автора, но сослался лишь на то, что не всѣ будутъ въ со-

стояніи понять, что комедія имѣть въ виду ложную набожность. Но Мольеръ, возмущенный кабалой, далъ себѣ обѣщаніе во что бы то ни стало отстоять свое право, еслибъ даже пришлось пожертвовать нѣкоторыми частностями пьесы. Онъ принялся за ея передѣлку, или за вторую ея редакцію, которая, какъ и первая, до насъ не дошла. Онъ принудилъ себя исключить нѣсколько мѣстъ, которыя могли считаться пародіею на слова молитвъ или указаніями на церковные обряды; онъ снялъ съ Тартюффа, названнаго теперь Панкюльфомъ, полу-монашеское платье, слишкомъ ясно обличавшее происхожденіе героя, и одѣлъ его свѣтскимъ человѣкомъ, съ претензіями на изящество, со шпагой, кружевными маншетами и т. д., давъ понять, что онъ — тайный агентъ іезуитства, не брезгающій мірскими привычками, лишь бы вѣрнѣе достигнуть цѣли. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Мольеръ докончилъ пьесу, и хотя въ двухъ послѣднихъ актахъ ея и повторилъ нѣкоторыя изъ положеній, уже выведенныхъ раньше и теперь усиленныхъ, за то сдѣлалъ Тартюффа ябедникомъ и доносчикомъ, и поднялъ въ зрителѣ еще болѣе желчи противъ него. Тогда-же, вѣроятно, ввелъ онъ и извѣстную намъ развязку. Пьеса, задуманная первоначально, быть можетъ, въ болѣе веселомъ духѣ и намѣревавшаяся потѣшиться надъ судьбою влюбленнаго ханжи, принимала сумрачный характеръ. Ея нападки на враговъ свободной мысли и на служителей суевѣрія и тьмы сближались съ такою-же энергической борьбой, которую велъ въ религіозной области Паскаль, — и недаромъ, потому что во многихъ обличеніяхъ безстыдныхъ „сдѣлокъ съ небомъ“, которая выставляетъ Мольеръ, чувствуется влияніе чтенія знаменитыхъ „Писемъ къ провинціалу“, опиравшихся на непосредственное изученіе современной казуистической литературы. Но самая эта близость комедіи съ страстнымъ религіозно-полемическимъ произведеніемъ не показываетъ ли, какой громадный прогрессъ сдѣлала въ серьезности и соціальномъ значеніи французская и вообще новоевропейская комедія, благодаря Мольеру!

Въ измѣненномъ видѣ Мольеръ пытался поставить пьесу свою сначала на частныхъ сценахъ, въ загородныхъ замкахъ, у немногихъ свободомыслящихъ членовъ королевской семьи, даже у папскаго нунція,—но и это не приблизило времени избавленія. Напротивъ того, одинъ фанатическій парижскій священникъ въ брошюрѣ, посвященной королю *), потребовалъ для Мольера смерти на кострѣ... Пришлось на время отложить мысль о постановкѣ „Тартюффа“, и это терзаніе изъ-за любимой пьесы стало для Мольера вѣчно ноющей раной. Оно совпало и съ семейнымъ разладомъ, все болѣе обострившимся. Арманда входила во вкусъ свѣтской жизни; со времени послѣднихъ версальскихъ празднествъ, гдѣ она явилась обворожительной, въ легчайшемъ, почти незамѣтномъ костюмѣ, она была на виду у всего двора и окружена толпой обожателей. Мольеру приходилось иногда уѣзжать изъ дому отъ окружавшаго его сумбура; въ задумчивости бродилъ онъ тогда по любимому имъ Отэйльскому лѣсу, гдѣ потомъ выстроилъ себѣ дачу; въ Парижѣ онъ вскорѣ отдѣлилъ себѣ нижній этажъ, предоставивъ шумной компаніи своей жены предаваться удовольствіямъ въ верхнемъ этажѣ квартиры. Его попытки сойтись съ Армандой были тщетны; по временамъ возстановлялся миръ, а потомъ все снова шло въ разладъ. Къ стыду своему, Мольеръ сознавалъ, что не перестаетъ любить Арманду **), при первомъ поводѣ забывалъ все и начиналъ снова идеализировать ее. Въ минуты ревности онъ не могъ не негодовать на то, что ему предпочитаютъ свѣтскихъ вертопра-

*) Le roy glorieux au monde, соч. свящ. церкви Saint-Barthélemy, Пьера Рулле.

**) Разговоръ Клеонта съ Ковьяелломъ, „Мѣщанинъ въ дворянствѣ“, III, сц. IX, несомнѣнно выражаетъ это душевное состояніе автора. Клеонтъ, раздраженный мнимымъ охлажденіемъ Люсилы, проситъ своего наперсника говорить о ней какъ можно больше дурного, перечислять ея недостатки, но при каждомъ нападкѣ прерываетъ его. „У нея большой ротъ...—Но какая очаровательная улыбка!—Она мала ростомъ.—Но за то какая она воздушная, стройная!..—Глаза у нея маленькіе.—Конечно, они не велики. Но за то сколько въ этихъ глазахъ огня! Такихъ блестящихъ, жгучихъ, нѣжныхъ глазокъ не найдешь въ цѣломъ мірѣ“, и т. д.

ховъ, безмѣрно ниже его по уму и чувству. Когда же, во время тревоги изъ-за „Тартюффа“, онъ увидалъ въ противномъ лагерѣ и этихъ господчиковъ, которые входили во вкусъ утонченнаго притворства и распинались за религію, хотя въ душѣ ставили ее ни во что,—онъ не могъ долѣе удержаться и далъ волю своей мести въ *Донъ-Жуанъ* (1665), написанномъ сгоряча, въ возбужденномъ состояніи и тѣсно связанномъ по мысли съ многострадальнымъ „Тартюфомъ“.

Уже не въ первый разъ приходилось Мольеру выводить типъ дворянина, придворнаго, въ качествѣ комической личности; въ „Версальскомъ Экспромптѣ“ онъ заявилъ, что *маркизу* пора сдѣлаться присяжнымъ шутомъ, потѣшнымъ лицомъ (*le plaisant*) комедіи; таково его значеніе въ „*Les Fâcheux*“. Но остановиться на такомъ поверхностномъ приѣмѣ было невозможно для Мольера,—слишкомъ хорошо пришлось ему узнать нравственную испорченность и вредное общественное вліяніе этого класса людей,—и подобно тому, какъ отдѣльныя нападки на ханжество, разсѣянные въ его раннихъ комедіяхъ, сливаются въ отталкивающій образъ Тартюффа и приобрѣтаютъ социальное значеніе, такъ и *Донъ-Жуанъ* является центральнымъ типомъ для обширной группы предшествующихъ и послѣдующихъ комедій Мольера, въ которыхъ сосредоточена борьба его противъ могущества аристократіи. Эта борьба, равносильная по энергіи наиболѣе тяжкому пораженію, которое Мольеръ нанесъ клерикализму, составляетъ социальную заслугу всего его творчества. Ничто не было въ состояніи остановить его натиска; то разбиваетъ онъ врага въ частностяхъ, то наноситъ ему ошеломляющій ударъ. Его симпатіи или на сторонѣ народа, или же онъ съ тою здоровою частью буржуазіи, которой вскорѣ суждено было образовать „среднее сословіе“. Онъ старается разрушить въ его глазахъ обаяніе знати. „Мѣщанинъ въ дворянствѣ“ жестоко осмѣиваетъ поэтому нелѣпую попытку тянуться во что бы то ни стало за барствомъ, которое прививаетъ лишь пошлость и позоръ; представители этого сословія являются въ комедіи

чуть ли не самыми безстыдными изъ всѣхъ грабителей, обирающихъ довѣрчиваго Журдена. Въ „Жоржъ Данденъ“ опять варіація на ту-же тему, усложненная новымъ мотивомъ,—неравнымъ бракомъ „мѣшанина“ съ дворянкой; опять на сторонѣ аристократіи самая плачевная роль, и несчастному Жоржу Дандену приходится биться въ сѣтяхъ интриги и обмана, устроенныхъ на слишкомъ искусный для него свѣтскій манеръ. Въ „Амфитріонъ“ Мольеръ перенесъ свою картину въ самый очагъ придворной жизни и въ яркомъ свѣтѣ выставилъ раболовіе и ничтожество, которыя скрываются отъ взоровъ низшихъ существъ подъ личиною гордости и родовой чести. Но всѣ отдѣльныя черты слились въ собирательномъ образѣ Донъ-Жуана, который поэтому является самымъ тяжкимъ ударомъ, нанесеннымъ французской аристократіи въ семнадцатомъ вѣкѣ; — и если въ слѣдующее столѣтіе будутъ указывать на „Свадьбу Фигаро“, какъ на одинъ изъ могущественныхъ поводовъ къ борьбѣ съ старымъ порядкомъ, то справедливость требовала бы признать, что феодальный ореолъ стараго барства былъ уже почти въ конецъ уничтоженъ мольеровскимъ „Донъ-Жуаномъ“.

Умѣнье понять общественное значеніе личности, завѣщанной поэту традиціею, ставить его переработку легенды о Донъ-Жуанѣ безмѣрно выше всѣхъ другихъ. Тема, которая могла быть извѣстна Мольеру изъ пьесы Тирсо де Молины и изъ ея французскихъ передѣлокъ, должна была показаться ему особенно благодарной во время тревогъ, которыя онъ терпѣлъ отъ коалиціи духовенства и знати изъ-за „Тартюффа“. Уже у предшественниковъ Мольера Жуану приданы были нѣкоторыя черты, позволяющія счесть его атеистомъ. Мольеръ превосходно воспользовался этимъ, но не въ цѣляхъ вульгарнаго обличенія и назиданія. Ему нужно было сдѣлать Донъ-Жуана также и притворщикомъ, аристократическимъ Тартюфомъ; ему недостаточно было легкихъ очертаній характера сластолюбиваго вѣтреника; онъ хотѣлъ настоять на томъ, что подобныя личности создаются и выдвигаются именно дворянской средой, что

ея привилегіи, безнаказанность и роскошничанье, вскормленные трудомъ народныхъ массъ, доставляютъ человѣку вродѣ Донъ-Жуана возможность беззаботно скользить по жизни, позоря для своего развлечения честь, любовь, доброе имя и завѣтныя убѣжденія другихъ. Для такого оттѣнка характеристики героя богатый матеріалъ давала Мольеру окружавшая его жизнь; очень вѣроятно, что для нѣкоторыхъ чертъ Жуана, какъ волокиты, онъ имѣлъ въ виду двухъ свѣтскихъ людей, въ которыхъ его ревность угадывала счастливыхъ поклонниковъ его жены; притворство религиозное, которымъ онъ надѣлилъ героя, онъ могъ изучать на живомъ примѣрѣ своего школьнаго товарища, принца Конти, превратившагося послѣ распушенной, почти цинической молодости, въ святошу, заклятаго врага всѣхъ удовольствій и особенно театра *). Но если немногія заимствования изъ литературныхъ источниковъ не могутъ затемнить въ этой пьесѣ преимущества самостоятельности и глубины взгляда **), то и это отношеніе комедіи къ опредѣленнымъ личностямъ не придаетъ ей вовсе характера *личной* мести (впослѣдствіи Мольеръ счелъ долгомъ въ нарочно сочиненномъ прологѣ къ Учен. Женщинамъ заявить со сцены во всеуслышаніе, что онъ въ своихъ комедіяхъ не мѣтилъ на личности). Она дышетъ негодованіемъ противъ порока, грозящаго всему обществу, противъ безправія, которое отдастъ его въ рабскую зависимость знатнымъ Донъ-Жуанамъ. Какъ въ отношеніи клерикализма, такъ и здѣсь, онъ выказалъ еще разъ замѣчательную прозорливость; зло, имъ обличенное, все усиливалось, — и въ концѣ столѣтія не сдѣлался ли самъ Людовикъ XIV коронованнымъ *мольеровскимъ* Донъ-Жуаномъ, съ христіанской скромностью, даже изувѣрствомъ на устахъ и сластолюбіемъ на умѣ?

*) Ему принадлежитъ любопытный во многихъ отношеніяхъ „*Traité de la comédie et des spectacles*“, 1666; вновь изданъ Карломъ Фольмеллеромъ въ Гейльброннѣ, 1881.

**) Тонкія соображенія объ этой сторонѣ значенія пьесы высказаны въ статьѣ А. Гаспари „*Molière's Don Juan*“, помѣщенной въ сборникѣ „*Miscellanea di filologia e linguistica*“ (in memoria di Napoleone Caix e Ugo Canello), Firenze, 1886, p. 57—71.

Въ новомъ поворотѣ, приданномъ старой легендѣ, заключается объясненіе того съ виду страннаго факта, что пьеса Мольера вызвала снова сильнѣйшую оппозицію, тогда какъ другія переработки той-же темы могли безпрепятственно держаться на сценѣ. То были невинные фарсы, арлекинады, или слишкомъ поучительныя назиданія, — здѣсь-же (несмотря на фантастичность обстановки, настолько искусной, что полеты, провалы и видѣнія очаровывали публику) комедія спускалась до глубины народной жизни, поднимала вопросы о положеніи народа, о неравенствѣ сословій, клеймила безнравственность и безчестность лицъ сильныхъ и родовитыхъ. Снова поднялась на ноги вся клика, уже успѣвшая погубить „Тартюфа“. Придраться было къ чему; опять мнимое кощунство, опять рѣзкости героя, приписанныя самому автору, оскорбленіе, нанесенное будто бы (въ сценѣ съ нищимъ) церкви и христіанской нравственности, которой предпочтена какая-то атеистическая *чуждость* (Humanité). Всѣ эти нападки (и много другихъ) собраны были въ полемической брошюрѣ „Observations sur une Comédie de Molière intitulée le Festin de Pierre“, грубо и злобно написанной адвокатомъ Барбье д'Окуромъ, скрывшимся подъ псевдонимомъ Рошмона, и Мольеру снова пришлось съ чьею-то анонимной помощью отвѣчать вступочной брошюрой*). Тѣмъ не менѣе подкопъ удался, хоть и не такъ скоро; послѣ пятнадцати представленій пьеса была снята со сцены, несмотря на то, что въ ней были сдѣланы значительныя измѣненія и исключена вся сцена съ нищимъ. Комедія оставалась и послѣ этого зловредною; въ ней отыскивали новыя поруганія вѣры, на этотъ разъ въ словахъ Сганареля, который, излагая *свое* толкованіе религіи, опять не могъ удовлетворить святошъ, находившихъ тутъ явно еретическія мысли, культъ особаго божества, не имѣющаго ничего общаго съ христіанскимъ Богомъ.

*) Lettre sur les Observations d'une comédie du sieur Molière intitulée Le Festin de Pierre, 1665. Начиная съ того мѣста, которое открывается словами: „L'on est, en vérité, bien embarrassé lorsqu'on veut répondre à des gens qui se mêlent de parler de choses qu'ils ne connaissent point“ слышится какъ-будто голосъ самого Мольера.

Долго пришлось и этой пьесѣ находиться подъ запретомъ; печатные ея экземпляры были истреблены, несмотря на то, что въ нихъ сцена съ нищимъ была заклеена; въ довершение всего Томасу Корнелю поручено было (по смерти Мольера) „исправить“ ее, и она довольно долго исполнялась въ этомъ обезображенномъ видѣ...

Настойчивость, съ которою коалиція враговъ Мольера, состоявшая изъ вліятельныхъ людей въ высшемъ свѣтѣ, въ магистратурѣ и духовной іеархіи, выхватывала у центральной власти одну за другою карательныя мѣры противъ поэта, представляетъ любопытную страницу въ исторіи царствованія Людовика XIV. Въ этомъ случаѣ деспотъ, предъ которымъ, казалось, все сгибалось, принужденъ былъ дѣлать уступки группѣ людей, не имѣвшихъ въ глазахъ его никакой законной организаціи и права возвышать свой голосъ. Единственного объясненія этой уступчивости нужно искать въ томъ, что противники Мольера искусно выбирали главное свое полемическое оружіе и переводили вопросъ на церковную почву, гдѣ король не смѣлъ еще показывать себя самоуправнымъ повелителемъ; къ тому же и строгая мать его, находившаяся подъ сильнымъ вліяніемъ епископовъ, еще была жива, и многое приходилось дѣлать, чтобъ не раздражить ее. Людовикъ, желая показать, что вовсе не раздѣляетъ взглядовъ кабалы, демонстративно принявъ, въ самый разгаръ борьбы изъ-за „Донъ - Жуана“, мольеровскую труппу въ свою службу и назначивъ ей большую субсидію; онъ пошелъ даже дальше и *на словахъ* обѣщалъ Мольеру позволить постановку „Тартюффа“ въ измѣненномъ видѣ,—но, когда въ Парижѣ дѣло дошло до перваго спектакля, онъ не въ силахъ былъ помѣшать вторичному запрещенію пьесы, хотя милостиво принявъ новое прошеніе (*placet*) Мольера, гдѣ краснорѣчиво и съ убѣжденіемъ авторъ отстаивалъ право свободы анализа и обличенія. Когда назначено было первое представленіе, король былъ съ войсками на сѣверѣ Франціи, и первый президентъ парламента, Ламуаньонъ, человекъ честный, но недалекій и возстановленный клерикальными друзьями противъ пьесы, запретилъ ее

своею властью, ссылаясь на то, что не имѣеть письменнаго приказа отъ короля. Снова битва была проиграна,—и когда, въ отчаяніи, Мольеръ отправилъ двухъ своихъ товарищей-актеровъ въ лагерь къ королю, они могли добиться отъ него лишь уклончиваго обѣщанія, что онъ, по возвращеніи, снова поручить кому-нибудь пересмотрѣть пьесу, и тогда, можетъ быть, разрѣшить ее для сцены. Всѣ эти терзанія, продолжавшіяся непрерывно уже нѣсколько лѣтъ, въ связи съ семейными невзгодами, глубоко потрясли организмъ Мольера. Болѣзни часто стали посѣщать его: тогда уже начался изнурительный кашель, который долженъ былъ свести его въ могилу, нервы его разстроились и, пораженный разъ страшною галлюцинаціей, онъ упалъ у воротъ своего дома, куда преграждалъ ему входъ громадный призракъ. Тяжкая болѣзнь, вынесенная Мольеромъ въ 1667 году, оставила глубокіе слѣды на его характеръ и настроеніи. Чаше прежняго сталъ онъ уединяться, предаваться меланхолическимъ мыслямъ; жизнь и люди, окружавшіе его, становились все постылѣе, слишкомъ много разочарованій скопилось въ его душѣ. Въ такомъ настроеніи легко впасть въ крайнюю, непримиримую и неразборчивую злобу на все человѣчество, легко сдѣлаться угрюмымъ нелюдимомъ и человѣконенавистникомъ въ родѣ классическаго Тимона аѳинскаго, этого родоначальника всего поколѣнія мизантроповъ. Но натура Мольера была иная: при всемъ негодovanіи на существующій порядокъ вещей и общественную деморализацію, онъ никогда не утрачивалъ идеальной вѣры въ возможность обновленія, продолжалъ вѣрить, что еще есть и всегда будутъ честные и прямодушные люди, для которыхъ стоитъ трудиться. Вокругъ него ихъ было еще слишкомъ мало, и кружокъ, къ которому можно было-бы приложить названіе свободныхъ мыслителей, былъ весь на перечесть. Но хотѣлось думать, что вездѣ, въ народной массѣ, въ глуши, таятся безвѣстныя личности, которыя тѣмъ-же возмущаются, къ тому-же стремятся, какъ и самъ поэтъ. Къ подобному настроенію не слѣдовало бы вовсе прикладывать ходячаго прозвища мизантропіи.

Такой человекъ можетъ презирать господствующее направление мысли въ современномъ поколѣнїи, но онъ не презираетъ всего человѣчества и, увидавъ хоть слабый признакъ поворота къ лучшему, онъ съ радостью пошелъ бы ему на встрѣчу. Еслибъ нужно было сравнить подобный оттѣнокъ мизантропіи, то развѣ только съ тѣмъ привлекательнымъ при всей своей строгости типомъ *правдолюбивъ*, которыхъ мы встрѣчаемъ изрѣдка въ исторїи каждаго народа, — горячихъ и неводержныхъ на языкъ, смѣло громящихъ пороки, съ виду неумолимыхъ и безпощадныхъ, чья горячность однако имѣетъ всегда опредѣленную цѣль, чья дѣятельность выполняетъ сознательную программу и посвящена защитѣ гонимыхъ и угнетенныхъ.

Таковъ Альцестъ, главный герой пьесы, въ которой сполна отразилось это душевное состояніе Мольера. Лишь отсутствіе въ современной ему фразеологїи болѣе подходящаго термина заставило его назвать Альцеста *мизантропомъ*. Въ немъ именно мы видимъ необыкновенно живо схваченное прямо съ натуры соединеніе энергии и слабости, ненависти и любви, разрыва съ людьми и потребности въ искренней привязанности. Альцестъ отнюдь не прямолинейная натура, и потому-то въ немъ столько человѣчески-правдиваго. Онъ дѣлаетъ исключенія изъ своего суроваго приговора надъ людьми; до послѣдней возможности онъ вѣритъ въ порядочность Филэнта и поддерживаетъ съ нимъ дружескія отношенія; въ кроткой Эліантѣ онъ отгадываетъ самоотверженную и честную натуру, сочувствующую его прямоутѣ; наконецъ онъ способенъ идеализировать Селимену, несмотря на все ея легкомысліе. Онъ ее искренно любитъ, готовъ ей многое прощать, мирится съ нею послѣ размолвокъ; эта привязанность всего болѣе примиряетъ его съ жизнью, и онъ будетъ глубоко несчастенъ въ ту минуту, когда и въ любимой женщинѣ увидитъ тѣ-же черты предательства и измѣны, которыя его возмущали въ остальныхъ людяхъ. Но онъ ждетъ отъ жизни не одного только отзыва на симпатїи дружбы или любви, и не на этомъ строить свое

недовольство; мы видимъ этого очевидно зажиточнаго чело-
вѣка,—чья судьба могла бы пройти торнымъ путемъ свѣт-
ской карьеры,—смѣло протестующимъ противъ разврата и
раболѣпія двора, противъ ханжества, заступающаго мѣсто
религіи, противъ беззаконія и произвола суда, противъ шпи-
онства и доносовъ, которые не разъ затрогивали и его са-
мого; наконецъ и въ частномъ вопросѣ о направленіи
литературы онъ требуетъ коренного поворота отъ ма-
нерности и салонной замкнутости къ естественности и
сближенію съ народомъ. Вездѣ слышатся бодрья, мужествен-
ныя ноты, чувствуется свѣжесть мысли, сказываются поры-
вы неудавшагося общественнаго дѣятеля, которому недоста-
етъ лишь широкой и достойной его арены дѣйствій. Но вмѣстѣ
съ тѣмъ Альцестъ все-таки главный герой *комедіи*; это должно
было въ свое время сильно поражать тѣхъ, кто по заведенно-
му обычаю ждалъ отъ комическаго произведенія лишь забав-
ныхъ картинъ; да и теперь еще, къ удивленію, не замолкли
толки о томъ, входило-ли въ виды Мольера изобразить Альце-
ста лицомъ комическимъ, подсмѣяться надъ нимъ. Мольеръ не
скрылъ отъ себя, что перевѣсъ горячности, темпераментъ
легко вспыхивающій не лишенъ подчасъ забавныхъ сторонъ;
съ тою-же правдивостью, съ которою онъ могъ сдѣлать
своего мизантропа влюбленнымъ, онъ не пощадилъ въ немъ
и случайныхъ вспышекъ нетерпимости, способныхъ вы-
звать у насъ улыбку. Но несомнѣнно, что все сочувствіе
его на сторонѣ Альцеста, и что изъ двухъ умышленно
сопоставленныхъ въ этой пьесѣ нравственныхъ воззрѣній,
перевѣсъ симпатій его будетъ не въ пользу будничной
мудрости, сглаживающей всѣ житейскія шероховатости
удобными, и вовсе не безчестными компромиссами, — сло-
вомъ, не въ пользу мудрости Филэнта, хотя съ нею и
легче жить.

Не могъ онъ выставить въ безусловно комическомъ видѣ
своего героя и потому, что вложилъ въ него лучшія сто-
роны своего характера. „Мизантропъ“ безспорно наиболѣе
субъективная изъ всѣхъ пьесъ Мольера; хотя и можно про-
слѣдить немного чертъ, подмѣченныхъ авторомъ у нѣсколь-

кихъ личностей съ складомъ характера, напоминавшимъ мизантропа (наприм., герцога Монтозье, Буало и др.), и еще меньше литературныхъ заимствованій *), главная сущность пьесы воспроизводитъ душевное состояніе самого Мольера; и мысли, и чувства героя принадлежать поэту. Для всякаго внимательнаго читателя становится ясно, что за отношеніями Альцеста къ Селиментъ скрывается одинъ одинъ изъ наиболѣе тяжелыхъ эпизодовъ брачной жизни Мольера. Конечно, эту близость не нужно доводить до мелочей, останавливаясь каждый разъ въ недоумѣніи, когда онъ не сходятся въ буквальномъ тождествѣ. Между Мольеромъ и Армандой въ дѣйствительности не было, наприм., такого окончательнаго разрыва, какой происходитъ въ комедии между Альцестомъ и Селименой, но частныхъ, временныхъ разрывовъ было нѣсколько, и каждый разъ они *казались вѣчными*, но потомъ Мольеръ, точно Альцестъ въ первыхъ актахъ, протягивалъ руку, снова все забывалъ и сближался съ женой. Такой эпизодъ внесенъ имъ на сцену и, ради художественныхъ цѣлей, доведенъ до крайняго результата. Но если многія мысли, даже, какъ можно догадываться, многія подробности діалога, отдѣльныя слова, перенесены были Мольеромъ изъ его жизни прямо на сцену, то и въ характерѣ Селимены основа взята у Арманды, и при всемъ легкомысліи и кокетствѣ, которымъ ее надѣлилъ авторъ, все-таки мы какъ будто замѣчаемъ желаніе найти ей нѣкоторое оправданіе, — новый проблескъ всепрощающей любви. Селимена слишкомъ еще молода, окружена развратнымъ обществомъ, которое сбиваетъ ее съ истиннаго пути, слаба характеромъ; у нея есть порядочные инстинкты, и изъ толпы поклонниковъ она все-таки отличила умнаго, хоть и крутого, рѣзкаго Альцеста,—но ей хочется еще жить, воспользоваться молодостью, а онъ, чудакъ, зоветъ ее бросить свѣтъ и людей и скрыться съ нимъ *въ пустынь*. Она готова на уступки, но *такая* уступка была бы для нея са-

*) Подробности во второмъ томѣ моихъ Этюдовъ о Мольерѣ (Мизантропъ, опытъ новаго анализа пьесы и обзоръ созданной ею школы, М., 1881.)

моубійствомъ, и она въ рѣшительную минуту отвѣчаетъ отказомъ. Она врядъ ли очень виновна,—они просто не сошлись характерами; онъ жестоко ошибся и долженъ нести всѣ послѣдствія своей ошибки; это—живое отраженіе судьбы самого Мольера.

Необыкновенная близость пьесы къ личной жизни автора дѣлаетъ ее однимъ изъ благодарнѣйшихъ матеріаловъ для его біографіи; присоединяясь къ соціальному значенію высказаннаго въ ней протеста и широтѣ изображенія нравовъ, охватывающаго на этотъ разъ не одинъ лишь уголокъ общества,—клерикальные нравы или дворянскій бытъ,—но всю общественную и государственную жизнь своего времени, она выдѣляетъ сама по себѣ „Мизантропа“, ставя его высоко среди произведеній автора. Но и въ чисто-художественномъ отношеніи эта комедія представляла собою нѣчто вполнѣ небывалое. Впервые выступало въ ней вѣрное жизни соединеніе трагическаго съ комическимъ, вскорѣ довольно неудачно отмѣченное названіемъ *высокой комедіи*; впервые слышался на театральныхъ подмосткахъ такой рѣзкій вызовъ личности къ обществу; зритель охваченъ и сочувствіемъ къ сердечнымъ страданіямъ Альцеста, и симпатіей къ его протесту, и смѣхомъ надъ потѣшными лицами комедіи, маркизами, Оронтомъ; передъ нимъ стоятъ живые люди, съ плотью и кровью, далеко ушедшіе отъ условныхъ типовъ итальянской комедіи; пьеса тревожитъ его, пробуждаетъ въ немъ массу сомнѣній и вопросовъ, и, при всемъ этомъ, она не подходитъ ни подъ какую теорію, ея экспозиція и дальнѣйшее развитіе стоятъ ниже „Тартюффа“, а все-таки впечатлѣніе живо и сильно. Авторъ еще разъ, въ сценѣ сонета, объявилъ войну теоріи,—не въ этомъ ли тайна обаянія пьесы?

Дѣйствительно, Гёте былъ правъ, признавая за „Мизантропомъ“ обособленное мѣсто во всемірной литературѣ *). Онъ безспорно выше другихъ произведеній на ту

*) Обзоръ мнѣній нѣмецкой критики о Мольерѣ сдѣланъ былъ Клаасомъ Гумбертомъ (Deutschlands Urtheil über Molière, 1883), а еще полнѣе въ дис-

же тему, не исключая Шекспирова *Тимона*,—онъ опережаетъ свой вѣкъ и производитъ истинную революцію въ литературномъ вкусѣ. Если Мольера называть романтикомъ, въ смыслѣ литературнаго революціонера, то во главѣ его разрушительныхъ дѣяній нужно поставить „Мизантропа“.

Опережать свой вѣкъ—значить не быть вполне оцѣненнымъ современниками. И „Мизантропъ“ не избѣжалъ этой участи; изучать и сколько-нибудь вѣрно понимать его стали лишь въ восемнадцатомъ вѣкѣ; французская же публика мольеровскихъ временъ была скорѣе поражена, озадачена, чѣмъ приведена въ восхищеніе. Видно, что многіе не могли разобратъ въ вынесенныхъ впечатлѣніяхъ, то принимая Альцеста лишь за благонамѣреннаго проповѣдника, то любясь сонетомъ Оронта и потомъ смущаясь при видѣ того, что онъ подвергается посмѣянію. Послѣ перваго представленія, 4-го іюня 1666 года, пьеса давалась двадцать разъ, но публики становилось все меньше, и для привлеченія ея Мольеръ наскоро поставилъ откровенно-веселую и болѣе понятную для средняго зрителя пьеску, „Лекаря по неволѣ“, основанную на легендѣ, обошедшей когда-то всю Европу. Нѣсколько времени обѣ пьесы давались вмѣстѣ, и, только приучивъ наконецъ публику къ серьезности своей главной пьесы, Мольеръ могъ предоставить ее собственнымъ ея силамъ, давая ее безъ помощи фарса.

Но и за работою надъ „Мизантропомъ“ онъ не забылъ позорнаго запрета, все еще тяготѣвшаго надъ „Тартюфомъ“. Мольеръ не переставалъ агитировать у короля въ защиту комедіи, и наконецъ, воспользовавшись благодушнымъ, примирительнымъ настроеніемъ, установившимся послѣ окончанія войны, и, какъ думаютъ теперь, благодаря вмѣшательству папскаго нунція, онъ вырвалъ у короля желаемое разрѣшеніе; правда, опять потребовались измѣненія, и такимъ образомъ сложилась третья и послѣдняя редакція

септациі Auguste Ehrhard „Les comédies de M. en Allemagne. Le théâtre et la critique“, 1888. Англійскіе критическіе взгляды—въ книгѣ Гумберта „Englands Urtheil üb. M.“, 1878.

пьесы, но за то 5-го февраля 1669 года состоялось наконецъ первое представленіе „Тартюффа“, который вскорѣ послѣ того былъ напечатанъ съ предисловіемъ автора, рассказавшаго обо всѣхъ своихъ испытаніяхъ... Побѣда была на сторонѣ Мольера.

Съ той минуты высшая степень развитія, до которой суждено было дойти его таланту, была достигнута. Тѣсно связанные по исторіи своего возникновенія, по сущности своихъ задачъ и предметамъ сатиры, три важнѣйшія пьесы: „Тартюффъ“, „Донъ - Жуанъ“, „Мизантропъ“ — образуютъ какъ бы одно цѣлое, подобно древне-греческимъ трилогіямъ. И эта единственная въ своемъ родѣ мольеровская трилогія увѣнчала творчество поэта. Еще нѣсколько лѣтъ оставалось ему жить и дѣйствовать, и въ это время изъ-подъ пера его будутъ выходить произведенія прекрасныя, подчасъ удивительныя по запасу веселости, который онѣ вдругъ обнаруживаютъ въ этомъ грустно-настроенномъ человѣкѣ, но никогда онѣ не въ состояніи будутъ сравняться по достоинству съ трилогіею. Еще разъ вернется онѣ въ „Ученыхъ женщинахъ“ къ темѣ, затронутой имъ въ молодости, и однимъ ударомъ уничтожить репутацію новѣйшаго салоннаго кумира, аббата Котэна: оживить въ своемъ „Скупомъ“ старую фабулу Плавта, вводя ее въ тяжелую обстановку французской буржуазной семьи; вспомнить въ „Продѣлкахъ Скапена“ прежнюю свою любовь къ итальянской комедіи приключеній, а въ „Пурсоньякѣ“ и „Графинѣ д'Эскарбанья“ — различныя комическія черты своей старой знакомки - провинціи, и нѣсколько разъ вернется къ насмѣшкамъ надъ докторами и медициной, безсиліе и шарлатанство которой ему приходилось все ближе узнавать, по мѣрѣ того, какъ неотвязчивая болѣзнь захватывала его въ свою власть.

Лишь одинъ разъ послышится намъ въ произведеніяхъ послѣдняго періода отголосокъ мужественныхъ нотъ, звучавшихъ въ трилогіи. То было именно въ „*Amfitrionъ*“. Взятый, подобно „Школѣ мужей“ и „Скупому“, изъ міра классической комедіи, сюжетъ этой пьесы превратился у Мольера въ рѣзкую политическую сатиру на современность и, какъ

иные думаютъ, на самаго короля. Правда, приѣмъ, употребленный при этомъ, былъ необыкновенно искусенъ, и недалековидный зритель могъ повѣрить, что имѣетъ дѣло съ тонкимъ комплиментомъ повелителю Франціи (такъ смотрятъ на эту пьесу и теперь нѣкоторые критики.) Но Мольеръ былъ слишкомъ честною натурой, чтобы простираť свое разсудочное сочувствіе до крайнихъ предѣловъ и спокойно присутствовать при возраставшемъ самоуправствѣ Людовика. Если выдвигаются возраженія противъ догадки, что въ фабулѣ *Амфитріона* воспроизведена именно исторія г-жи Монтеспанъ, отнятой Людовикомъ у мужа, то въ скандальной придворной хроникѣ не было недостатка въ другихъ подобныхъ же сластолюбивыхъ затѣяхъ, передъ которыми подданному оставалось лишь преклониться, какъ Сосіи передъ счастливымъ Юпитеромъ. Въ „Амфитріонѣ“ сквозь заоблачный ореолъ, которымъ окруженъ громовержецъ, не трудно разглядѣть черты „Короля-Солнца“.

Между королемъ и Мольеромъ не было болѣе прежняго согласія и близости; у Людовика явились другіе фавориты, — Расинъ, выдвинутый Мольеромъ и измѣнившій ему, музыкантъ-авантюристъ Люлли, поднятый имъ изъ ничтожества и интриговавшій потомъ противъ него. Враги смѣлѣе стали дѣйствовать и печатали въ Голландіи, Кельнѣ, можетъ быть даже въ Парижѣ, цѣлыми книгами, позорнѣйшіе пасквили, — комедію „*Elomire huresondre*“ съ грязными вымыслами о его женѣ, картину адскихъ терзаній Мольера (*l'Enfer burlesque*) и т. д. Съ этимъ совпало нѣсколько утратъ близкихъ людей, — двухъ дѣтей Мольера, самой Маделены. Эти огорченія должны были способствовать развитію предсмертной болѣзни поэта. Съ нѣкотораго времени онъ вводитъ въ своихъ комедіяхъ насмѣшливыя выходки надъ кашлемъ, который его постоянно мучить. Шуткой или критическимъ отношеніемъ къ своей мнительности онъ старается ободрить и излечить себя. Невѣжество современныхъ ему медиковъ слишкомъ хорошо было ему знакомо, и потому, послѣ отдѣльныхъ выходокъ противъ нихъ, которыя онъ позволялъ себѣ и прежде, въ „Пурсоньякѣ“, *Amour*

médecin“ (первоначальный титулъ ея былъ *Les médecins*), „Лекарѣ по неволѣ“, онъ нападаетъ на мысль размыкать свое горе и думы о близкомъ концѣ веселою шуткой заразы и надъ больными, и надъ ихъ врачами; онъ и въ послѣдней своей пьесѣ, „Мнимомъ больномъ“, избираетъ скрытымъ предметомъ насмѣшки себя и свои немощи. Для того, чтобы насмѣшка вышла сильнѣе, онъ какъ будто усиливаетъ веселость, которая льется у него черезъ край и становится безумно-неудержимой въ шутовской церемоніи посвященія Аргана въ доктора, написанной на невообразимой макаронической, т.-е. смѣшанной съ французскими словами, латыни.

Но болѣзнь, отъ которой страдалъ Мольеръ, не была мнимой, и отъ нея невозможно было отдѣлаться шуткою. Во время четвертаго представленія „Мнимаго больного“, 17-го февраля 1673 года, Мольеръ, исполнявшій главную роль, почувствовалъ себя до такой степени дурно, что едва могъ говорить; тѣ судорожныя движенія, которыя вызвала въ немъ болѣзнь, были какъ нельзя болѣе кстати въ подобной роли; зрители были въ восторгѣ, находя, что никогда онъ такъ прекрасно не игралъ. Но, когда въ церемоніи посвященія въ доктора Мольеру пришлось произносить слова присяги, то во второй разъ онъ, едва выговоривъ слово *Juro*, испыталъ мучительныя судороги; съ трудомъ скрылъ онъ страданіе подъ чѣмъ-то вродѣ улыбки, но, добравшись до уборной своего любимаго ученика Барона, въ такомъ безсиліи опустился на стулъ, что его поспѣшно отнесли домой, въ *rue Richelieu*, и уложили въ постель; во внутренняго лекарства онъ давно не вѣрилъ,—помочь ему было трудно. Внезапно кровь хлынула изъ горла, и полчася спустя Мольера не стало. Священники, за которыми посылали нѣсколько разъ, отказались притти, и только двѣ странствующія монахини, случайно находившіяся въ домѣ, молились около его постели.

Эта случайная обстановка его смерти дала возможность врагамъ отмстить ему еще разъ оскорбительнымъ образомъ. Ссылаясь на то, что онъ умеръ безъ покаянія, архі-

епископъ отказалъ наотрѣзъ въ разрѣшеніи церковныхъ похоронъ и не давалъ мѣста ни на какомъ кладбищѣ. Эта злопамятность возмутила даже вдову, въ которой проснулись въ эту минуту жалость, стыдъ, можетъ-быть даже прежняя любовь. Она все подняла на ноги; король не захотѣлъ ей помочь и только далъ понять архіепископу, что „скандалъ ему непріятенъ“. Если вдова не успѣла вполнѣ сломить противодѣйствія, то все-таки домолилась для праха великаго человѣка скромнаго уголка земли, какъ выразился тогда же Буало: „un peu de terre obtenu par prière“. На похороны стеклась большая толпа; говорить, все это были бѣдные, простые люди.

Такъ кончилась взволнованная, полная борьбы и страданій и увѣнчанная славой жизнь человѣка, котораго творческая сила и свобода мысли вывели изъ скромной доли и сдѣлали однимъ изъ наставниковъ человѣчества. Его именемъ отмѣченъ крупный переворотъ въ литературѣ новой Европы; этотъ трезвый реалистъ—настоящій родоначальникъ новаго театра, который, благодаря ему, въ служеніи важнѣйшимъ общечеловѣческимъ интересамъ видитъ свое главное призваніе.

АЛЬЦЕСТЬ И ЧАЦКІИ.

Въ литературномъ потомствѣ, вызванномъ къ жизни *Мизантропомъ*, ярко звѣздою блистаетъ грибоѣдовское *Гореть ума*. Далеко позади него остаются слабыя подражанія Уичерли, Фабръ-д'Эглантина, Гольдони *), скромно слѣдующія за указкой великаго комика. Только одному русскому сатирику Мольеръ какъ бы завѣщалъ творческую тайну, положенную въ основаніе его пьесы, и научилъ его тому рѣзкому протесту, который, отлившись въ желѣзномъ стихѣ, будетъ воспитывать грядущія русскія поколѣнія, какъ онъ воспитывалъ и ободрялъ насъ и отцовъ нашихъ. Опредѣлить степень вліянія ранняго и чужого образца на произведеніе, которое всѣ мы, по праву, признаемъ чисто-національнымъ, является поэтому благодарною задачей, тѣмъ болѣе, что до послѣдняго времени на это вліяніе указывалось обыкновенно лишь вскользь, какъ будто изъ боязни, что, останавливаясь дольше на его разсмотрѣніи, критикъ этимъ самымъ выкажетъ недовѣріе къ оригинальности грибоѣдовскаго творчества. Была, дѣйствительно, пора въ исторіи этой многострадальной комедіи, когда касаться такого вопроса не приходилось людямъ, сочувствовавшимъ ей: то былъ самый ранній періодъ ея существованія, когда вмѣстѣ съ дворянскими и нравственно-полицейскими подкопами подъ нее велись во враждебныхъ журналахъ, да и въ обществѣ, нападки на маскированную будто бы несамостоя-

*) The Plain-Dealer, 1674; Le Philinte de Molière, 1790; Il Burbero benefico.

тельность пьесы, которую называли сколкомъ то съ *Абдеритовъ* Виланда*), то съ *Мизантропа*. Тогда признать какое-либо вліяніе иностраннаго образца было бы, можетъ-быть, ошибкой со стороны молодой литературной партіи. Но теперь и время то уже далеко отъ насъ, и неуверенность въ оцѣнкѣ *Горя отъ ума* миновала, и мы можемъ вполне объективно отдаться нашему разслѣдованію.

Нельзя не назвать счастливою случайностью, что русскій театръ, какъ только, благодаря Волкову, онъ получилъ наконецъ навсегда право гражданства въ общественной жизни, испыталъ съ первыхъ же дней своего существованія сильное вліяніе Мольера. Стоитъ бѣгло обозрѣть хронологическія данныя, добытыя до сихъ поръ**), чтобы тотчасъ же бросилось въ глаза необыкновенное обиліе переводовъ мольеровскихъ комедій. Въ 1757 году (слѣдующемъ послѣ официального открытія театра) поставлено было *шесть* различныхъ произведеній Мольера: первымъ изъ нихъ являются *Скапиновы обманы*, а послѣднимъ, даннымъ на сценѣ 22-го декабря названнаго года, былъ *Мизантропъ*, въ переводѣ Елагина. Пьеса, насколько мы можемъ судить, понравилась публикѣ (по выраженію Драматическаго Словаря, она не выходитъ изъ вкуса, т.-е. не перестаетъ нравиться), и знаменитый Дмитревскій сдѣлалъ роль Альцеста однимъ изъ украшеній своего репертуара***). Но настоящаго пониманія пьесы образованною частью зрителей мы, конечно, не станемъ и ожидать въ эту пору. Небольшой еще кружокъ развитыхъ или, вѣрнѣе, литературно-начитанныхъ людей относился и къ этой горячо написанной соціальной комедіи,

*) Gescichte der Abderiten появилась въ Германіи въ 1781 году, по-русски перевел. профессоромъ Гавриловымъ, М. 1793—95.

**) См. „Драматич. Словарь“ Новикова, 1787, недавно вновь перепечатанный, или брошюру Лонгинова: „Русскій театръ въ Петербургѣ и Москвѣ“ (1749—1774).

***) Въ прошломъ столѣтіи «Мизантропъ» былъ поставленъ на русской сценѣ еще въ одномъ переводѣ («Нелюдимъ», ком. въ 5 д. Мольера, переводъ съ франц. П. Е. Исполнена 22 ноября 1789 г. въ Деревянномъ театрѣ). Рукопись хранится въ центральной бібліотекѣ Дирекціи Имп. театровъ (Архивъ Дир., I, 1892 г.).

какъ къ другимъ французскимъ пьесамъ, признаннымъ классическими, скорѣе съ чувствомъ обязательнаго благоговѣнія, любуясь хорошимъ стихомъ, сильными мѣстами, благородною дикціей актера. Нужно было сильно проникнуться духомъ освобождающаго западнаго развитія, усвоить себѣ строгія требованія отъ жизни и затѣмъ почувствовать глубокой разладъ между ними и русскою дѣйствительностью, чтобы находить въ словахъ Альцеста отзвукъ того, что бушевало у себя на сердцѣ. Для елизаветинскаго поколѣнія, чье дѣтство и ранняя молодость совпали съ бироновщиной, было много поводовъ смотрѣть безотрадно на жизнь, но это чувство не выходило изъ неяснаго, стихійнаго состоянія; личность еще не выработалась и не смѣла предъявлять своихъ правъ на самоопредѣленіе и критику общественныхъ отношеній. Тѣ, кто къ сердцу принималъ отрицательныя явленія жизни, часто, какъ бы слѣдуя примѣру старика Кантемира, исполняя свой гражданскій долгъ обличенія, искали вмѣстѣ съ тѣмъ душевнаго покоя въ философскомъ удаленіи отъ нечестиваго и безнравственнаго общества, воздѣлывали свой внутренній міръ въ духѣ мудрой умѣренности. Дѣятельность обличителя нравовъ, отважнаго, запальчиваго, врашающагося въ томъ самомъ обществѣ, которое онъ обличаетъ, становится возможною лишь въ слѣдующій періодъ, когда идеи просвѣтительнаго вѣка коснулись, наконецъ, и русской молодежи. И, говоря это, мы гораздо менѣе имѣемъ въ виду ту ея часть, которая довольствовалась извѣстнымъ, вообще довольно скромнымъ, обиходомъ научныхъ и философскихъ данныхъ, получавшихъ свободное обращеніе въ русскомъ обществѣ,—но именно тѣхъ, правда, немногочисленныхъ новыхъ людей, которые шли къ самому источнику знаній, на Западъ, и возвращались съ богатымъ, сознательно усвоеннымъ запасомъ знаній и жизненныхъ цѣлей. Для Радищева и его друзей этотъ возвратъ въ Россію, столкновение съ только-что разгоравшеюся реакціей, разрушавшей ихъ свѣтлыя надежды, долженъ былъ равняться сильнѣйшему душевному потрясенію, — не подавленностью, не уныніемъ разрѣшалось оно, а, на-

противъ, непреодолимымъ задоромъ къ борьбѣ. Даже впоследствии, въ Сибири, вступая въ чьи предѣлы, онъ повторялъ себѣ стихъ Данта: „Lasciate ogni speranza voi ch'intrate“ *), онъ не поддался вполне этой безнадежности, а нашелъ столько силъ и наблюдательности, чтобъ и въ сибирскую обстановку занести свой реформаторскій духъ. Въ молодые же годы, когда жизнь его впереди, силы не тронуты,—его горячность безпредѣльна, презрѣніе къ общей порочности велико, и пропаганда любимыхъ идей принимаетъ страстный, вызывающій характеръ.

Для такого человѣка, многосторонне начитаннаго, не можетъ не быть симпатичною личность Альцеста; презрѣніе къ людямъ у обоихъ имѣетъ одинаковую основу. Это не глухая ненависть шекспировскаго Тимона и не пересмѣшничанье Апеманта; здѣсь чувствуется опредѣленный складъ убѣжденій, за которыя борется человѣкъ; онъ громитъ современный порядокъ вещей и подчасъ можетъ показаться нетерпимымъ мизантропомъ; но еслибъ его проповѣдь имѣла хотя малѣйшій успѣхъ, и еслибъ общественная нравственность стала хоть нѣсколько стыдливѣе, мы увидали бы въ такомъ мизантропѣ искренняго друга человѣчества. „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“ прямо признаетъ такихъ людей высоко полезными въ государствѣ, несмотря на ихъ нетерпимость и раздраженіе; истина, изгоняемая обыкновенно изъ царскаго дворца, является къ царю въ сновидѣніи и, убѣждая его не бояться ея гласа, говоритъ ему: „есть-ли изъ среды народныхъ возникнетъ мужъ, порицающій дѣла твои, *вѣдай, что той есть другъ твой искренній*, чуждый надежды мзды, чуждый рабскаго трепета; онъ твердымъ голосомъ возвѣститъ тебѣ обо мнѣ. Блудись и не дерзай его казнить, яко общаго возмутителя. Призови, угости его, яко странника; ибо всякъ, порицающій царя въ самовластіи, есть странникъ земли, гдѣ все предъ нимъ трепещетъ... Но таковыя твердыя сердца рѣдки;

*) Письмо Радишева къ Воронцову изъ Тобольска, 8-го мая 1791. Архивъ князя Воронцова, книга V.

едва одинъ въ цѣломъ столѣтіи явится на свѣтскомъ ристалищѣ“ *).

Это выписанное нами мѣсто пріобрѣтаетъ особое значеніе, если сопоставить его съ цѣлою статьей о мизантропіи и различныхъ ея видахъ, которую мы находимъ за годъ до изданія радищевского путешествія въ извѣстномъ крыловскомъ журналѣ *Почта духовъ* **). Въ свое время шла весьма оживленная полемика ***) о томъ, въ какой степени слѣдовало бы приписать честь изданія этого журнала Радищеву, въ ту пору близкому съ будущимъ баснописцемъ, и, по мнѣнію противной партіи, вопросъ остался и теперь открытымъ. Отъ насъ, конечно, далека мысль входить здѣсь еще разъ въ разсмотрѣніе этого вопроса, но нельзя не признаться, что изученіе названной выше статьи, прямо относящейся къ предмету нашего изслѣдованія, приводитъ къ рѣшительному указанію на авторство Радищева. Не говоря уже о томъ, что во всемъ этомъ этюдѣ о мизантропахъ сказываются въ каждой строкѣ развитіе и начитанность, въ ту пору немислимыя у полуобразованнаго Крылова,—сама основа статьи, представляющей широкое развитіе только-что выписанной нами общей мысли изъ *Путешествія*, и тождественность нѣкоторыхъ мѣстъ въ обоихъ произведеніяхъ вполне убѣждаютъ насъ въ этомъ.

Это горячо написанное похвальное слово мизантропіи заслуживаетъ быть, наконецъ, извлеченнымъ изъ несправедливаго забвенія; въ русской литературѣ прошлаго вѣка это—одна изъ оригинальнѣйшихъ страницъ. Авторъ письма „не только извиняетъ, но даже прямо хвалитъ поступки и образъ мыслей тѣхъ людей, которымъ даютъ названіе мизантроповъ“; онъ считаетъ, что иначе не могутъ ни мыслить, ни поступать люди съ честными убѣжденіями. Зрѣлище по-

*) „Путешествіе изъ Петерб. въ Москву“, Лейпцигск. изданіе, 1876. стр. 45—46.

**) Почта духовъ, 1789, письмо четвертое, отъ Сильфа Дальновида къ волшебнику Маликульмульку, стран. 29—42.

***) Поводомъ къ ней послужила статья А. Н. Пыпина: „Крыловъ и Радищевъ“, Вѣстникъ Европы, 1868, кн. 5.

роковъ „учинить ихъ суровыми, унылыми и задумчивыми“, рѣчь ихъ поневолѣ станетъ рѣзка и груба; но эта рѣзкость—не преступленіе, а добродѣтель. „Пусть осуждаютъ, сколько хотятъ, грубость и странные поступки мизантроповъ,—я буду всегда утверждать, что почти невозможно быть совершенно честнымъ человѣкомъ, не бывъ нѣсколько имъ подобнымъ“. Заступаясь, такимъ образомъ, за право этихъ людей говорить истину, авторъ совершенно опредѣленно оговаривается, что не желалъ бы, чтобы столь любимыхъ имъ мизантроповъ *) смѣшивали съ тѣми „бѣшенными и несноснѣйшими врагами самимъ себѣ и всему роду человѣческому“, образецъ которыхъ онъ видитъ въ Плутарховомъ (замѣтимъ мимоходомъ, что не шекспировскомъ) Тимонѣ; для подобныхъ людей у него нѣтъ пощады, и онъ желалъ бы строгихъ мѣръ для обузданія, даже искорененія ихъ.

Но, въ противоположность тому, онъ ставитъ столь симпатичныхъ ему мыслителей подъ эгиду мольеровскаго творчества. Какъ мы предрѣшили по аналогіи ихъ общественной роли, Альцестъ ему ближе всѣхъ подобныхъ людей. „Мизантропъ Мольера, — говоритъ онъ (стр. 33), — болѣе сдѣлалъ добра Франціи, нежели проповѣди Бурдаловы и прочихъ ему подобныхъ проповѣдниковъ. Итакъ, когда простой списокъ произвелъ столь много пользы, то что должно ожидать отъ подлинника?“ Для блага общества онъ желалъ бы, чтобы въ немъ было возможно болѣе такихъ *подлинниковъ*, не книжныхъ, а жизненныхъ героевъ, открыто высказывающихъ мысли свои; онъ ихъ считаетъ наставниками и учителями рода человѣческаго; порою, глядя на нихъ, онъ представляетъ ихъ себѣ врачами, окруженными множествомъ больныхъ, которые не хотятъ излечиваться обыкновенными врачебными средствами и потому должны принять хоть и горькія, но радикальныя лекарства. Чѣмъ больше такихъ благодѣтелей общества, тѣмъ оно счастливѣе; пра-

*) Слово это онъ переводитъ въ подстрочномъ примѣчаніи: нелюдимъ или челоѣконенавидецъ.

вители же должны въ особенности высоко цѣнить ихъ,—эту мысль авторъ выражаетъ почти слово въ слово съ извѣстнымъ уже намъ мѣстомъ изъ радищевского „Путешествія“: „еслибы при дворахъ государей, — говоритъ онъ, — было нѣсколько мизантроповъ, то какое счастье послѣдовало бы тогда для всего народа! Каждый государь, внимая гласу ихъ, познавалъ бы тотчасъ истину“.

Въ этой защитительной рѣчи намъ такъ живо слышится субъективная нота, она такъ очевидно произнесена *pro domo sua*, что мы не можемъ отрѣшиться отъ мысли, что передъ нами искреннее автобіографическое признаніе человѣка съ радищевскимъ многостороннимъ развитіемъ и серьезнымъ направленіемъ къ дѣятельности общественной. Кто же, дѣйствительно, не увидитъ въ обязанностяхъ, которыя онъ налагаетъ на мизантропа-правдолюба, черты настоящаго служенія своему народу? Протестующія его рѣчи получаютъ какъ бы характеръ публицистическій, и въ странѣ, гдѣ нѣтъ свободной печати, они являются однимъ изъ немногихъ прибѣжищъ независимой мысли. Таково было положеніе дѣлъ и при Людовикѣ XIV, и въ концѣ екатерининскаго царствованія,—и оно еще разъ повторилось у насъ въ глухую пору начала двадцатыхъ годовъ нынѣшняго вѣка, когда устная проповѣдь Чацкихъ могла, дѣйствительно, получить значеніе призывнаго колокола. И если позволительно думать, что изученный нами бѣглый листокъ изъ автобіографическихъ признаній, затерявшійся въ старомъ, забытомъ журналѣ, принадлежитъ Радищеву, то мы вправѣ будемъ утверждать, что на постепенное возмужаніе его для общественной дѣятельности и на рѣшимость предъявить въ своемъ первостепенномъ произведеніи рѣзкій протестъ, возымѣлъ хоть скромное, можетъ-быть, вліяніе примѣръ мольерова Альцеста, оцѣненного имъ по заслугамъ. Въ комедіи Мольера онъ видѣлъ, по его собственнымъ словамъ, вѣрный списокъ съ натуры,—самъ же былъ однимъ изъ рѣдкихъ вездѣ и всегда *подлинниковъ*.

Отголоски вліянія Альцеста мы могли бы найти въ бѣглыхъ чертахъ нѣкоторыхъ другихъ произведеній конца

прошлаго вѣка. Такъ, въ одной пьесѣ Клушина, какъ извѣстно, также принадлежавшаго сначала къ крыловскому кружку, именно въ комедіи „Смѣхъ и горе“, сдѣлана попытка вывести на сцену человѣка съ мизантропическими убѣжденіями*). Но авторъ, съ которымъ потомъ разошелся Крыловъ, вслѣдствіе шаткости его взглядовъ и незамѣтно пробившагося въ немъ низкопоклонства, не въ силахъ былъ бы совладать съ избраннымъ имъ типомъ, и поэтому онъ не только сузилъ его, сдѣлавъ его скорѣе представителемъ ноющаго, плаксиваго настроенія, составляющаго контрастъ съ смѣющимся и веселымъ, не только придавъ двумъ такимъ олицетвореніямъ, доморощенному Демокриту и Гераклиту, какъ ихъ назвалъ еще Крыловъ**), имена Хохоталкина и Плаксина, но, въ довершеніе всего, сдѣлалъ своего мизантропа притворщикомъ, который имѣетъ лишь въ виду завладѣть имѣніемъ богатой вдовы-кокетки***). Не безъ косвеннаго вліянія мольеровской пьесы дѣло обошлось и въ „Ябедъ“ Капниста, питавшаго большое уваженіе къ французскому комику, что не мѣшало ему, однако, грубовато перекладывать его пьесы на русскіе нравы****). Въ харак-

*) Въ 1794 г. была поставлена также комедія А. Копьева „Лебедянская ярмарка или обращенный мизантропъ“ („Архивъ дирекціи Импер. театровъ“, 1892, I, 3, стр. 159).

**) „С.-Петербургскій Меркурій“, 1793, II.

***) Пьеса эта появилась въ 1793 году; замѣтимъ, что оба лица названы тутъ ложными философами. Плаксинъ въ своихъ унылыхъ рѣчахъ возстаётъ противъ женщинъ, противъ науки, театра, считаетъ всѣхъ людей предопределенными къ грѣху:

Бѣги отъ женщинъ прочь; одинъ ихъ нѣжный взглядъ
Преображаетъ нашъ покой въ смертельный ядъ;
Театра берегись и берегись познаній,
Не исполняй своихъ ни мало ты желаній.

****) Такимъ способомъ онъ переложилъ комедію „Le sosu imaginaire“, при чемъ Сганарель превратился въ „Сганарева, богатаго мѣшанина“, Горжибюсъ—въ купца Торговина и т. д.—Отмѣтимъ кстати, въ числѣ старыхъ русскихъ подражаній Мольеру Княжнинскаго „Сбитеньщика“, главное дѣйствіе котораго какъ думаетъ еще критика старыхъ временъ, взято изъ *Ecole de maris*.

терѣ главнаго героя „Ябеды“, Прямикова, есть нѣкоторыя черты непримиримой любви къ правдѣ, отличающей Альцеста. И тотъ, и другой ведутъ процессъ съ законнѣлымъ ябедникомъ; наперекоръ всему, правое дѣло умышленно чернится, стачка судей и истца торжествуетъ, но Прямиковъ, какъ и Альцестъ, не хочетъ никакихъ сдѣлокъ или уступокъ; они оба не унижутся до взятокъ, и всю силу свою видятъ въ правотѣ своего дѣла. „Нѣтъ, права моего ничто не помрачить. Я не боюсь: законъ подпора мнѣ и щитъ“, отвѣчаетъ Прямиковъ понытчику Доброву, уговаривавшему его „давать тѣмъ, которые берутъ“. „Mais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite?“ спрашиваетъ Филэнтъ Альцеста (актъ I, сц. I). „Qui je veux? отвѣчаетъ Альцестъ:— la raison, mon bon droit, l'équité!“ Съ этимъ характеромъ непреклонной стойкости Прямиковъ не разстается въ теченіе всей пьесы, хотя въ остальныхъ отношеніяхъ, какъ, на примѣръ, въ качествѣ влюбленнаго героя, онъ совершенно безцвѣтенъ; да и само назначеніе пьесы, которая изъ всѣхъ разнообразныхъ причинъ недовольства общественнымъ строемъ выдѣляетъ лишь специальную область суда, не благопріятствовало широкой обработкѣ даннаго типа. Для этого не было задатковъ и въ характерѣ самого автора: умный и даровитый отъ природы, но выросшій въ деревенской нѣгѣ старой Украйны, онъ только разъ былъ потрясенъ наглымъ извращеніемъ истины въ важномъ для него процессѣ, излилъ накипѣвшую тогда желчь въ своей комедіи, а потомъ снова удалился въ свое благодатное затишье, которое нерѣдко воспѣвалъ въ недурныхъ стихахъ; это добровольное уединеніе не было для него *пустыней*, куда бѣжить отъ ненавистныхъ людей Альцестъ, но уютнымъ пристанищемъ, гдѣ можно отдаваться умѣренному философствованію, лѣни и дружбѣ.

Но тѣмъ временемъ жизнь ставила уже серьезныя задачи; короткій промежутокъ нѣсколькихъ лѣтъ былъ пережить порывистѣе и полнѣе, чѣмъ жилось, бывало, въ цѣлыя десятилѣтія. Удушливый конецъ прошлаго вѣка смѣнился радужной либеральной эрой; пробудившіеся общественные

инстинкты опирались на дѣятельность отдѣльных, развитыхъ личностей, выдѣлявшихся смѣло изъ массы; въ столѣнныхъ салонахъ кипѣла живая рѣчь этихъ новыхъ дѣтелей. Надежда мечтательнаго радищевскаго Сильфа исполнялась,—немало уже было пророковъ „истины“, съ широкими цѣлями впереди. Но поперекъ этимъ стремленіямъ становится воинственная горячка наполеоновскихъ войнъ, и затѣмъ настаетъ тяжкое отрезвленіе. Жизнь спѣшитъ снова вернуться въ старое, совсѣмъ высохшее, русло, для нея не нужны пророки и обличители, она „гонитъ и клянеть“ ихъ. Какая богатая почва для развитія *міровой скорби*, отчаянія, мизантропіи! Казалось бы, драма не можетъ не отразить въ себѣ этого мотива безвыходной борьбы. Но у нея еще нѣтъ своихъ словъ. Она, пожалуй, отвѣтила по своему на этотъ запросъ, но и отвѣтъ ея звучитъ чѣмъ-то уже отжившимъ, архаическимъ.

Тотчасъ по окончаніи войны, 13-го декабря 1815 года, вліятельная въ тогдашнемъ литературномъ и театральномъ мірѣ личность, Фед. Фед. Кокошкинъ, ставитъ сначала на московской, а затѣмъ на петербургской сценѣ свою передѣлку мольеровскаго *Мизантропа* на русскіе нравы. Онъ придаетъ этому дѣянію своему большое значеніе, обставляетъ исполненіе пьесы самыми лучшими силами (такъ главную роль въ ней исполнялъ сначала старикъ Мочаловъ, потомъ знаменитый сынъ его), но всѣ эти старанія и долгая сценическая жизнь этой передѣлки не въ состояніи прикрасить ея полнѣйшую несостоятельность. Видно, что Кокошкинъ смутно понималъ необходимость перенести характеръ героя въ русскую общественную среду, но принялся за это неуклюжимъ образомъ. Альцестъ у него превратился въ *Крутона*—въ силу своего крутого характера (какъ будто только и была въ немъ эта типическая черта!), Селимена стала госпожей Прелестиной, Арсиноя — Смирениной, а одинъ изъ обожателей Селимены получилъ даже наименованіе „барона Вѣтрапа“. Слогъ приобрѣлъ необыкновенную высокопарность, дѣйствующія лица объяснялись на какомъ-

то принужденномъ, дѣланномъ языкѣ, пьесѣ приданъ быть въ крайней степени ложно-классическій пошибъ, отсутствующій въ оригиналѣ; на русской сценѣ она явилась художочнымъ тепличнымъ растеніемъ. Актеры добраго стараго времени раскатисто произносили свои громкіе стихи, ходульная декламация приводила въ восторгъ и публику, и самого Кокошкина, который смотрѣлъ на себя, какъ на послѣдняго знатока настоящаго театральнаго искусства и руководителя эстетическаго вкуса.

Ничто, на нашъ взглядъ, такъ живо не характеризуетъ все это безжизненное направление, какъ глухая вражда, которую и Кокошкинъ, и московскіе друзья его проявляли по отношенію къ „Горю отъ ума“ съ первыхъ же дней появленія этой комедіи. Казалось бы, для людей, съ такими стараніями пытавшихся незадолго передъ тѣмъ акклиматизировать мольеровскую сатиру въ русской обстановкѣ, должна быть симпатична еще болѣе радикальная попытка въ томъ же родѣ. Но, видно, сатира эта имѣла цѣну въ ихъ глазахъ лишь тогда, когда, лишенная всякой національной и временной опредѣленности, она была болѣе или менѣе безобидною, относясь какъ бы къ *общечеловѣческимъ* порокамъ. Когда же она оживилась богатымъ новымъ содержаніемъ, когда въ ней выступили ясныя черты русской и въ особенности московской жизни, когда, выражаясь словами Грибоѣдова, *нашихъ задѣли*,—тогда поклонники Альцеста съ ненавистью набросились на его законнаго преемника. Правда, они вели противъ него интригу скорѣе изподтишка и въ глаза льстили Грибоѣдову, особенно, когда его слава была уже упрочена,—но онъ превосходно зналъ цѣну этой лести, и оттого-то у него вырывались порою такія рѣзкія, презрительныя сужденія обо всей старомодной московской литературной кликѣ.

Итакъ, нашелся, наконецъ, человѣкъ, который могъ не только вѣрно понять (какъ это сдѣлалъ еще Радищевъ) главную мысль мольеровской пьесы, но и возсоздать ее въ самостоятельномъ произведеніи. Разнообразіемъ развитія онъ превосходилъ своихъ ближайшихъ предшествен-

никовъ и потому не могъ не выработать въ себѣ большую чуткость въ эстетическомъ отношеніи. вмѣстѣ съ тѣмъ, ему не нужно было создавать себѣ искусственный, книжный интересъ къ изученію *Мизантропа*; его собственный характеръ, рѣзкая и правдивая рѣчь, необузданность честнаго негодованія и такое же душевное одиночество среди враждебнаго общества—все это побуждало его сродниться съ мольеровскимъ героемъ. Въ раннемъ знакомствѣ его съ произведеніями французскаго комика сомнѣваться невозможно; оно въ тѣ времена обязательно входило въ кругъ первоначальнаго воспитанія барскихъ дѣтей; Пушкинъ въ самомъ раннемъ дѣтствѣ наслушался мастерскаго чтенія отцомъ его различныхъ произведеній Мольера и на девятомъ году уже подражалъ ему *). Въ университетѣ же Грибоѣдовъ, изучая, подъ вліяніемъ Буле, любимый предметъ изслѣдованій этого профессора, основы драматической поэзіи,—могъ усвоить себѣ симпатію Буле къ „драмѣ сатирической“, или высокой комедіи, однимъ изъ лучшихъ образцовъ которой явился со временемъ въ его глазахъ *Мизантропъ*. Но профессоръ останавливался на половинѣ пути и не могъ отрѣшиться отъ пристрастія къ классическому театру, тогда какъ ученикъ шелъ гораздо дальше, не суживалъ добровольно своего горизонта, и лучшія созданія новѣйшаго европейскаго театра ставилъ на одинаковой степени съ прославленными античными образцами. Прислушиваясь къ его теоріямъ о свободѣ и самоопредѣленіи драматическаго писателя, вполне своеобразнымъ, чуть не еретическимъ въ то время, иной разъ можно бы предположить извѣстное вліяніе мольеровскихъ протестовъ противъ господства старыхъ правилъ. Въ своемъ умномъ письмѣ къ Катенину **), написанномъ въ защиту *Горя отъ ума* отъ придирчивыхъ нападокъ этого блюстителя ложно - классическихъ теорій, Грибоѣдовъ въ оригинальной, непринужденной формѣ повторяетъ

*) Въ пьесѣ *l'Escamoteur*, которую, по признанію ребенка-автора, il escamote de Molière.

**) Оно первоначально было напечатано въ журналѣ «Всесірный Трудъ», 1868, кн. 2, а потомъ въ «Русской Библіотекѣ», томъ пятый.

то, что говорилъ, бывало, Мольеръ въ своей „Critique de l'Ecole des femmes“, и заканчиваетъ смѣлымъ заявленіемъ: „я какъ живу, такъ и пишу свободно“. И когда Пушкинъ высказывалъ въ своей оцѣнкѣ грибоѣдовской пьесы *) мысль, особенно мѣткую въ данномъ случаѣ, что „драматическаго писателя нужно судить по законамъ, имъ самимъ надъ собою поставленнымъ“, онъ, быть-можетъ, повторялъ въ этихъ словахъ теорію, нѣкогда слышанную имъ изъ устъ самого Грибоѣдова.

Интересъ къ мольеровскому творчеству очевиденъ у Грибоѣдова по многимъ признакамъ. Мы встрѣчаемъ у него и сочувственныя общія оцѣнки, и невольныя воспроизведенія отдѣльных мѣстъ изъ комедій,—явленіе неизбежное, невольное, коль скоро для человѣка извѣстное чтеніе стало издавна привычнымъ, любимымъ. Въ примѣръ критическихъ оцѣнокъ мы укажемъ заключеніе только-что упомянутаго письма къ Катенину; отстаивая отъ строгаго Аристарха свою пьесу и въ особенности отстраняя укоры въ портретности дѣйствующихъ лицъ, Грибоѣдовъ набрасываетъ свою собственную теорію о законности *портретовъ* въ комедіи, и въ подтвержденіе ея ссылается на авторитетъ Мольера, находя, что у него главнѣйшія дѣйствующія лица, за нѣкоторыми лишь исключеніями—„портреты, и превосходные“. Переходя же къ невольнымъ, какъ мы сказали, отголоскамъ отдѣльных стиховъ Мольера въ „Горѣ отъ ума“, мы найдемъ ихъ, быть-можетъ, въ большемъ количествѣ, чѣмъ это обыкновенно думаютъ, и притомъ стихи эти взяты не изъ одного только „Мизантропа“, но и изъ другихъ комедій, что опять подтверждаетъ наше предположеніе о близкомъ знакомствѣ автора со всѣмъ мольеровскимъ творчествомъ. Такъ, когда въ послѣднемъ актѣ (явленіе XII) Молчалинъ развиваетъ передъ Лизой свою житейскую философію, объясняя, что, по совѣту отца, онъ угождаетъ всѣмъ безъ изыятія, начальнику, слугѣ, швейца-

*) Въ письмѣ, написанномъ вскорѣ послѣ появленія ея въ рукописи. Сочин. Пушкина, изд. Анненкова, I, 128

ру, дворнику, „собакѣ дворника — чтобъ ласкова была“, — это прямой переводъ стиха изъ *Femmes savantes* (сцена третья):.... „jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire“. Но, заимствуя этотъ стихъ, Грибоѣдовъ совершенно измѣнилъ его примѣненіе и придавъ ему необыкновенную мѣткость. Въ подлинникѣ его произноситъ женщина (Генріэтта), полу-иронически объясняя, до какой степени простирается угодливость любовника, когда онъ захочетъ во что бы то ни стало достигъ своей цѣли и свидѣться съ любимой женщиной, — у Грибоѣдова же эта черта выразила всю мѣру лакейскаго низкопоклонства, на которое способенъ человѣкъ вродѣ Молчалина. Извѣстная выходка Чацкаго противъ европейскаго костюма, которому онъ противопоставляетъ умный и практичный дѣдовскій нарядъ, имѣетъ много общаго съ тѣмъ разговоромъ между Сганарелемъ и Аристомъ, которыми открывается *Школа мужей*: тѣ же насмѣшки надъ безцѣльными нововведеніями моды, та же твердая рѣшимость предпочитать старый нарядъ, „ainsi qu'en ont usé sagement nos aïeux (*Ecole des maris*, I, I, стихъ 73). — „Охъ, нѣтъ, братецъ! У насъ ругаютъ вездѣ, а всюду принимаютъ“, говоритъ Чацкому Платонъ Михайловичъ, характеризуя отношеніе свѣтскаго общества къ Загорѣцкимъ. Альцестъ говоритъ то же Филэнту (актъ I, сц. I, стихи 125—140) о порочной снисходительности свѣта къ отъявленнымъ плутамъ и набрасываетъ портретъ лица, вполне подходящаго къ Загорѣцкому. Мы находимъ тутъ, между прочимъ, такой отзывъ:

Nommez le fourbe, infâme et scélérat maudit,
Tout le monde en convient, et nul n'y contredit.
Cependant sa grimace est partout bienvenue,
On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue.

Напомнимъ, наконецъ, минуя другіе болѣе мелкіе и, быть-можетъ, совершенно случайные отголоски различныхъ мольеровскихъ стиховъ *), наиболѣе выдающійся и, кажется, об-

*) Наприм., совпаденіе признанія Софьи Чацкому въ своей виновности, актъ IV, явл. XIII, съ такимъ же, но болѣе развитымъ, признаніемъ Сели-

щеизвѣстный, — именно чрезвычайную близость негодующихъ восклицаній, съ которыми сходятъ со сцены и Альцестъ, и Чацкій (*chercher sur la terre un endroit écarté, où être homme d'honneur on ait la liberté*, —искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ).

Приведенные примѣры, надѣмся, доказали въ общихъ чертахъ живой интересъ нашего автора къ мольеровскому творчеству. Но этотъ интересъ не остановился на запоминаніи отдѣльныхъ мѣткихъ стиховъ или на наблюденіяхъ надъ искусною характеристикой дѣйствующихъ лицъ. Мы должны увидать отраженіе его на дѣлѣ и выяснить непосредственное его вліяніе на выполненіе завѣтнаго плана Грибоѣдовской комедіи.

Автобіографическое значеніе характера Чацкаго не подвергается болѣе сомнѣнію, — и это обязываетъ насъ вглядѣться пристальнѣе въ тѣ свойства характера самого писателя, которыя предрасполагали его къ избранію героемъ пьесы именно такой надломленной личности. Одинъ изъ типичнѣйшихъ „меланхолическихъ весельчаковъ“, Грибоѣдовъ зналъ за собой свойственные всѣмъ имъ рѣзкіе переходы отъ взрывовъ веселости къ мрачному унынію. Оно проявляется въ немъ рано, когда еще жизнь его впереди (наприм.,

мены Альцесту, актъ V, сц. VII.—Замѣтимъ, кстати, любопытное въ своемъ ролѣ, но, конечно, совершенно случайное совпаденіе разговора между Софьей и Лизой, въ первомъ актѣ, съ подобной же сценой въ одной итальянской пьесѣ прошлаго столѣтія, написанной *на ту же тему* (*Il misantropo a caso maritato o sia l'orgoglio punito*. Bologna, 1748). Тутъ то же напоминаніе субретки о прежней любви ея барышни къ Альцесту, тѣ же оправданія, то же напоминаніе „не брать излишней вольности“: *Io moglie? io moglie?* восклицаетъ Дорализа, — *che ti pensi, stolta, ora parlar con una del tuo rango?* — Элиза: *Un di l'amaste pure, e li giuraste col labro almeno eterno amore e fede?* — Дорализа: *Taci una volta; se' volgare, e pensi, come pensavan l'atave nostre. Credi di me quel che ti pare, e piace. Se pur l'amai, or lo detesto, e aborro* (Мнѣ быть его женой? Глупая, тебѣ, вѣрно, кажется, что ты говоришь съ кѣмъ-нибудь изъ своей братіи. — Но вѣдь было время, когда вы любили его, и, по крайней мѣрѣ кончиками губъ, клялись въ вѣчной любви и вѣрности. — Замолчи; у тебя низкія понятія: ты думаешь такъ, какъ думали наши предки. Если когда-нибудь я его любила, то теперь презираю и ненавижу).

въ глубоко грустномъ стихотвореніи *Прости отечество*, 1819 года), и съ годами все усиливается, доходя порою до мысли о самоубійствѣ. „Скажи мнѣ что-нибудь въ отраду, — пишетъ онъ въ 1825 году изъ Θεодосіи къ Бѣгичеву: — я съ нѣкоторыхъ поръ мраченъ до крайности. Пора умереть! Не знаю отчего это такъ долго тянется... Со мною повѣторилась та ипохондрія, которая выгнала меня изъ Грузіи, но теперь въ такой усиленной степени, какъ еще никогда не бывало... Подай совѣтъ, чѣмъ мнѣ избавить себя отъ сумашествія или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди“. Эта хандра поддерживалась не только потрясеніями въ личной жизни поэта, но и постояннымъ противорѣчіемъ между его стремленіями и уровнемъ окружающей среды. „Мученье быть пламеннымъ мечтателемъ въ краю вѣчныхъ снѣговъ, — восклицаетъ онъ въ другомъ письмѣ; — у насъ Шереметевъ затмилъ бы Омира“. Но, несмотря на болѣзненный характеръ его грустнаго настроенія, оно не выражается у него въ крайнее, нетерпимое презрѣніе къ людямъ. *Мечты* ему дороги, несмотря на ихъ мучительность; онъ остается вѣренъ имъ, высказываетъ ихъ во всеуслышанье, и въ эти минуты „кровь сердца играетъ у него въ лицѣ“, по словамъ очевидца — Александра Бестужева *). Однимъ словомъ, его мизантропія, строго говоря, не заслуживаетъ этого устарѣвшаго, слишкомъ односторонняго названія, и недовольство всѣмъ строемъ современности не затуманиваетъ у него надежды на лучшее будущее.

И Чацкій является достойнымъ его отголоскомъ. Если собрать воедино всѣ тѣ презрительные отзывы о людяхъ, порядкахъ, нравахъ, идеяхъ, которые разсыяны въ его рѣчахъ, то, конечно, составитъ такая мрачная, пессимистическая картина, которая прямо заставитъ предположить мизантропическія склонности въ человѣкѣ съ такими взглядами. А между тѣмъ этотъ же страшный обличитель, передъ которымъ ничто не находитъ пощады, все-таки вѣритъ въ возможность обновленія; не замѣчая, что

*) „Отечественныя Записки“ 1860, октябрь, „Знакомство съ Грибоѣдовымъ“.

такихъ людей, какъ онъ, въ современномъ ему обществѣ слишкомъ мало, онъ уже ссылается на духъ времени, находитъ, что „нынче свѣтъ ужъ не таковъ“, что теперь „вольнѣ всякій дышетъ“; эта довѣрчивость, представляющая такой контрастъ съ безотрадной оцѣнкой дѣйствительности, объясняетъ и его неукротимую горячность въ пропагандѣ: онъ отдается ей не потому только, что его увлекаетъ темпераментъ, что вообще онъ не можетъ молчать, но и потому, что его не покидаетъ обманчивая надежда тронуть, наконецъ, эти окаменѣвшія сердца. сбросить застоявшуюся плѣсень.

Совершенно тѣ же черты мы нашли и у самого Мольера, и у главнаго лица его пьесы, живо отразившей самое тяжелое настроеніе духа во всей жизни автора. Печальныя мысли преслѣдовали тогда Мольера вездѣ; онъ задумывается среди веселаго пира; окружающее его довольство не тѣшитъ его, и отъ людей онъ прячется въ своемъ сельскомъ уединеніи, бродитъ по лѣсу одинъ, предаваясь хандрѣ, или же изливая свои горести близкому другу. Свѣтъ и людей онъ слишкомъ хорошо узналъ; придворная жизнь его давно уже возмущаетъ; терзанія, которымъ подвергалась, со времени гоненія на *Тартюффа*, его творческая независимость, его глубоко потрясаютъ; семейный разладъ разбиваетъ послѣднія надежды на счастье,—его мизантропическое настроеніе впередъ уже оправдывается всѣмъ складомъ обстоятельствъ. А между тѣмъ онъ не поддается ему вполнѣ, не измѣняетъ дѣлу; въ жизни—онъ вѣритъ еще и въ дружбу, и въ честное призваніе поэзіи, въ раскаяніе и любовь жены, ждетъ добра отъ здоровыхъ элементовъ средняго общественнаго слоя; въ комедіи—онъ влагаетъ въ уста Альцесту, наряду съ страшными проклятіями людямъ, и слова довѣрчивости, воодушевленія, любви. Для Альцеста еще жива любовь, онъ доступенъ обаянію искренней поэзіи,—и, что важнѣе всего, онъ готовъ къ борьбѣ за право тѣхъ людей, которыхъ вообще привыкъ презирать.

Для человѣка съ убѣжденіями и настроеніемъ Грибоѣдова найти такое замѣчательно близкое сродство съ художест-

веннымъ созданіемъ мірового писателя *) было, конечно, отрадно. Первоначальный, полу-дѣтскій замыселъ его комедіи, которая должна была просто набросать нѣсколько обличительныхъ картинокъ московской барской жизни, долженъ былъ переродиться и созрѣть не только подѣ влияніемъ большаго опыта, долгаго уединенія въ Персіи и на Кавказѣ, но, думается намъ, и подѣ влияніемъ превосходнаго литературнаго образца. Въ самомъ признаніи его, что онъ имѣлъ сначала въ виду написать нѣчто вродѣ комедіи для чтенія, и что тогда „начертаніе этой сценической поэмы было *гораздо великолѣпнѣе и высшаго значенія*“, мы видимъ какъ бы прямое тому подтвержденіе. Назначеніе комедіи было такъ высоко и серьезно, что автору не приходило и мысли о возможности сценическаго ея исполненія при тогдашнихъ цензурныхъ условіяхъ; потомъ уже, „поддаваясь ребяческому удовольствію слышать стихи свои въ театрѣ“, онъ сталъ *портить* свое созданіе, приспособляя его къ театральнымъ приличіямъ. Такимъ образомъ, перевѣсъ насмѣшливости, остроумія, легкости стиха замѣнилъ собою болѣе серьезный или, какъ выражается самъ авторъ, великолѣпный складъ его пьесы, въ чемъ насъ убѣждаютъ уцѣлѣвшіе отрывки первоначальной редакціи „Горя отъ ума“, гдѣ мизантропическое настроеніе Чацкаго подчеркнуто гораздо ярче (напр., въ монологѣ его, въ послѣднемъ актѣ, явленіе 10-е: „о, праздный, жалкій, мелкій свѣтъ“ и т. д. **). При такомъ серьезномъ взглядѣ на свое произведеніе, которое должно было подойти къ идеалу „высокой комедіи“, примѣръ Мизантропа могъ быть въ особенности полезенъ.

Но не остановимся на общихъ соображеніяхъ и перей-

*) Печатаемый въ настоящее время въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» дневникъ А. О. Смирновой приводитъ взглядъ Пушкина на сходство мольтеровскаго и грибоѣдовскаго героя, вполне подтверждающій сдѣланную нами параллель. Поэтъ ошибается лишь въ томъ, что сходство было будто бы безсознательнымъ; сравненіе обоихъ текстовъ убѣждаетъ именно въ противоположномъ. Сѣв. Вѣст., 1893, августъ.

**) См. эти варианты въ статьѣ нашей, Очеркъ первоначальной исторіи «Горя отъ ума», Руск. Архивъ, 1874, № 6.

демъ къ сравнительному изученію частныхъ обѣихъ пьесъ: оно лучше всего покажетъ и точки соприкосновенія, и разногласіе ихъ между собою,—разногласіе не случайное, мелкое, но вполне сознательное и оригинальное. Начнемъ съ плана пьесы. Въ обоихъ произведеніяхъ мы видимъ въ лицѣ героя развитого и умнаго человѣка, доходящаго иногда до крайняго пессимизма, рѣзкаго въ своихъ сужденіяхъ и отношеніяхъ къ людямъ; его одиночество среди нихъ скрашиваетъ лишь привязанность къ женщинѣ, которая предпочитаетъ ему глупца; не вѣря этому вполне, онъ ее идеализируетъ, прощая ей слабости и надѣясь на ея исправленіе. Случайность (находка и чтеніе письма Селимены *), подслушанные Чацкимъ толки о немъ въ швейцарской и сцена между Софьей и Молчалинымъ) открываетъ ему глаза, послѣднія надежды рушатся, и онъ порываетъ всѣ связи съ обществомъ. Сходство плана, въ элементарныхъ его чертахъ, очевидное. Но выполненіе его тотчасъ же обнаруживаетъ крупныя различія; разносторонность обработки основного сюжета мы съ правильною послѣдовательностью находимъ во всѣхъ произведеніяхъ, сколько-нибудь вдохновенныхъ мольеровской пьесой. Характеръ протестующаго Альцеста пользовался вездѣ и всегда особыми симпатіями передовыхъ силъ творчества и критики; каждое поколѣніе, каждая литературная или критическая школа старались присвоить его себѣ и вложить въ него живое содержаніе за вѣтныхъ идей и стремленій *своего* времени,—въ разнообразныхъ этихъ нарядахъ Альцестъ являлся и энциклопедистомъ, и сентиментальнымъ филантропомъ, и революціонеромъ, и угловатымъ, правдивымъ англійскимъ матросомъ, сыномъ народа. Въ этой смѣнѣ „одеждъ и лицъ“ очередь была за русскимъ бытовымъ содержаніемъ; дѣло такого воплощенія было выполнено Грибоѣдовымъ: Альцестъ сталъ декабристомъ, и его окружила русская свѣтская толпа двадцатыхъ

*) Замѣтимъ кстати, что Просперъ Мериме, въ этюдѣ о Гоголѣ, находилъ въ этой сценѣ чтенія письма, съ колкостями противъ присутствующихъ лицъ, первообразъ предпослѣдней сцены въ гоголевскомъ «Ревизорѣ».

годовъ. Отсюда и возникает полная самостоятельность комика въ изображеніи нравовъ, обрисовкѣ очередныхъ общественныхъ вопросовъ, формулированіи мнѣній передовой молодежи.

Но различіе идетъ дальше и касается уже нравственныхъ сторонъ характера героя. Орудіемъ обличительной пропаганды у Чацкого является насмѣшка, часто легкая и бойкая, лишь по временамъ принимающая суровый оттѣнокъ и проникающая паѳосомъ. У Альцеста негодованіе строгое, улыбка рѣдко показывается на его устахъ, и тонъ его рѣчей почти вездѣ однороденъ. Современной полу-образованной пошлости оба они склонны противопоставлять старое время, незатѣйливое, но нравственно-чистое,—и сочувствіе Альцеста къ стариннымъ доблестямъ (*vertus des vieux âges*) идетъ въ уровень съ тѣми рѣчами, за которыя Чацкій можетъ прослыть старовѣромъ. Въ неумѣніи сдерживать себя, промолчать гдѣ нужно, они опять сходятся. Фамусовъ напрасно проситъ своего молодого гостя „завязать на память узелокъ“; слушая похвалы Москвѣ и прославленія придворной старины, Чацкій не выдерживаетъ и горячо вмѣшивается въ разговоръ. Точно также и Альцестъ, присутствуя (актъ II, сц. V) въ салонѣ Селимены на пріемѣ ея свѣтскихъ поклонниковъ, слушаетъ, съ трудомъ удерживая негодованіе, какъ всѣ они, слѣдомъ за хозяйкой, перебираютъ общихъ знакомыхъ, съ наслажденіемъ сплетничаютъ и клеветуютъ, — наконецъ, внѣ себя, прерываетъ ихъ восклицаніемъ: *allons, ferme, poussez, mes bons amis de cour*, etc. — и осыпаетъ ихъ рѣзкими эпитетами, обвиняя ихъ льстивость и поддакиванье необдуманному злорѣчію Селимены въ томъ, что они испортили ея характеръ.

Но въ отношеніяхъ обоихъ героевъ къ любимой женщинѣ и въ самой личности ея мы видимъ опять разнородные оттѣнки, свидѣтельствующіе о самостоятельности русскаго поэта. Чацкого связываютъ съ Софьей свѣтлыя дѣтскія воспоминанія и первые проблески молодого чувства; она въ теченіе очень еще недолгой дѣвической жизни (ей семнадцать лѣтъ) не успѣла, думается ему, узнать свѣтъ и людей. Онъ

страшится соперника въ любви, который могъ замѣнить его въ ея сердцѣ во время его отсутствія, но не можетъ допустить мысли о Молчалинѣ, хотя на него указываютъ весьма недвусмысленные признаки. Смутно что-то подозревая, онъ клеймитъ, въ глаза Софѣ, Молчалина насмѣшками, удивляясь, чѣмъ онъ могъ плѣнить ее (то же дѣлаетъ Альцестъ, въ первой сценѣ второго акта, осмѣивая внѣшность и пріемы Клитандра). Но у Мольера Селимена уже вдовушка, хотя и очень молодая (ей всего двадцать лѣтъ), но опытная въ житейскомъ отношеніи, независимо поставленная въ свѣтѣ, окруженная роемъ поклонниковъ; она постигла въ совершенствѣ тайны кокетства и тѣшится тѣмъ, что кружить голову и такимъ вертопрахамъ, какъ Акастъ или Клитандръ, и такимъ уже пожилымъ селадонамъ, какъ придворный поэтъ Оронтъ, и такому ворчуну и брюзгѣ, какъ Альцестъ. Тутъ уже бѣдному мизантропу трудно заблуждаться, какъ это дѣлаетъ Чацкій; кокетство слишкомъ явно, вѣтренность и другія слабости Селимены ему хорошо извѣстны, и любовь поддерживается въ немъ не невѣдніемъ, а обманчивой надеждой, что его честное чувство и энергическіе совѣты когда-нибудь вырвутъ эту женщину изъ прошлой среды. Такимъ образомъ, сходныя сначала, по общимъ чертамъ, характеристики обѣихъ героинь расходятся существенно, и типъ заскучавшей московской барышни съ ея закулисной, будничной интригой и лакействующимъ роемъ ея взять прямо изъ жизни.

Ни Мольеръ, ни Грибоѣдовъ не думали выставять центральное лицо въ своихъ произведеніяхъ безусловно образцовымъ во всѣхъ отношеніяхъ, какъ бы идеальнымъ и по направленію, и по образу дѣйствій. Грибоѣдовъ заставляетъ Чацкаго сдѣлать довольно умѣренную оцѣнку и себя самого, и подобныхъ ему людей (въ пятомъ явленіи 2-го дѣйствія и въ монологѣ конца третьяго акта); передъ нами не всеобъемлющій умъ, не цѣльная натура; у Чацкаго много чистыхъ стремленій къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ, къ наукѣ; у него „найдется пять, шесть мыслей здравыхъ“, и онъ смѣло и гласно объявляетъ ихъ,—

но еще вопросъ, только ли въ формѣ протеста, усвоеннаго Чацкимъ, представлялась широко образованному Грибоѣдову, другу главнѣйшихъ декабристовъ, общественная дѣятельность людей выдающихся. Точно также и Мольеръ не хочетъ закрывать глаза на извѣстныя слабости своего героя, на излишнюю его горячность и запальчивость, которая разгарается иногда отъ незначительныхъ поводовъ, на нетерпимость, отзывающуюся иногда чуть не доктринерствомъ. Въ запальчивости оба склонны къ крайнимъ выходкамъ, которыя нельзя принимать буквально, а объяснить можно лишь раздраженіемъ, выходящимъ изъ предѣловъ. Альцестъ въ состояніи сгоряча сказать Селименѣ, что „ни судьба, ни демоны, ни разгнѣванное небо не въ состояніи были создать такое злое существо, какъ она“; онъ обзываетъ общество „разбойничьей берлогой“, „лѣсомъ, гдѣ люди живутъ настоящими волками“, изъ - за малѣйшей уступки общей безнравственности онъ „готовъ съ горя повѣситься сейчасъ же“. Чацкій также не обходится безъ такихъ излишествъ; сгоряча онъ явится, пожалуй, защитникомъ китайской неподвижности, старовѣромъ, забывая въ эти минуты о своихъ научныхъ и политическихъ симпатіяхъ; онъ изъ - за Софьи готовъ сейчасъ же броситься въ огонь, и т. д. И при всей этой горячности, безпокойной, неудобной въ житейскомъ отношеніи, при всей назойливой ревности, которою оба они преслѣдуютъ любимую женщину, она, несмотря на свое кокетство, вѣтренность или же зарождающуюся пошлость, инстинктивно отгадываетъ въ нихъ большія достоинства характера и ума. Софья, даже разлюбивъ Чацкаго, не можетъ не найти, что онъ остеръ, уменъ, краснорѣчивъ; въ послѣдней сценѣ съ нимъ она доходитъ даже до того, что передъ нимъ обвиняетъ себя кругомъ. Селимена внутри себя полу - презрительно относится ко всѣмъ своимъ поклонникамъ кромѣ Альцеста; ей смутно нравится его „суровая добродѣтель“, его неукротимый духъ; придавая своему кокетству съ другими видъ забавы, она очень заботится о томъ, чтобъ не потерять въ глазахъ Альцеста; она искусно отводитъ всѣ подозрѣнія, дѣлаетъ ему уступки и подъ конецъ тоже кается

передъ нимъ; въ письмѣ, гдѣ она осмѣяла своихъ обожателей, она пощадила только его. Въ этомъ отношеніи московская барышня значительно уступаетъ ей; она способна на время возненавидѣть Чацкого, отдаться низкой мстительности и сознательно распространять про него нелѣпую сплетню; все это—опять черты правдивыя, вытекающія изъ бытовой постановки этого характера у Грибоѣдова.

Мы уже напомнили, что Альцестъ умышленно не лишенъ слабости и излишествъ. Для противовѣса поставленъ рядомъ съ нимъ представитель сдержанной умѣренности и практической житейской мудрости въ лицѣ Филэнта, который время отъ времени, какъ Санчо Панса относительно Донъ-Кихота, долженъ охлаждать непомѣрные порывы своего друга, истолковывать ему жизненные отношенія въ ихъ обыкновенномъ свѣтѣ и помогать ему въ затруднительныхъ обстоятельствахъ имъ же самимъ вызванныхъ. Продолжая нашу параллель обѣихъ пьесъ, мы, конечно, станемъ искать русскаго Филэнта, — тѣмъ болѣе, что вообще въ пьесахъ, созданныхъ подъ вліяніемъ *Мизантропа*, безъ такой личности дѣло не обходится. На первый взглядъ что-то подобное Филэнту (по крайней мѣрѣ по отношенію къ главной его сторонѣ,—умѣренности и аккуратности) намъ представится въ характерѣ Молчалина, составляющемъ умышленно рѣзкій контрастъ съ порывистымъ Чацкимъ; Молчалинъ проникнутъ такимъ же убѣжденіемъ въ необходимости вполне ладить съ дѣйствительностью, принимать господствующія мнѣнія. Но, провѣряя это общее сходство, мы снова найдемъ живые признаки самостоятельности обоихъ авторовъ. Такое лицо, какъ Молчалинъ-Филэнтъ, было имъ одинаково нужно, какъ ходячее олицетвореніе общепринятой житейской морали,—но каждый изъ нихъ придалъ своему исповѣднику умѣренности особый отпечатокъ. Отнесясь къ Филэнту безъ предвзятой мысли, найдемъ, что онъ въ сущности далеко не такъ дурень, какъ его вообще изображаютъ. Прежде всего, онъ не подначальное лицо, которое, запомнивъ на всю жизнь, каково было „коптѣть въ Твери“, изо всѣхъ силъ рвется къ обезпеченности и служебной карьерѣ

ерѣ, подавляетъ въ себѣ чуть не всѣ человѣческія стремленія и способно „любить по должности“. Филэнтъ выросъ и воспитывался вначалѣ вмѣстѣ съ Альцестомъ; онъ, по-видимому, человѣкъ состоятельный, и не изъ нужды выработалъ себѣ примирительную тактику, а послѣ зрѣлаго наблюденія надъ жизнью. Альцестъ долго не подозрѣвалъ въ немъ измѣнившихся убѣжденій (Молчалина же Чацкій давно знаетъ и относится къ нему съ презрѣніемъ) и, только замѣтивъ и въ немъ ту же позорную уступчивость, которая возмущаетъ его въ другихъ, хочетъ сразу разорвать съ нимъ *дружбу*:

Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers.
J'ai fait jusques ici profession de l'être;
Mais, après ce qu'en vous je viens de voir paraître,
Je vous déclare net que je ne le suis plus.

Къ горячности Альцеста Филэнтъ относится большею частью саркастически (n'en déplaît à votre austère honneur etc.), но вмѣстѣ съ тѣмъ въ извѣстной степени уважаетъ честность его убѣжденій, лишь находя ихъ непрактическими и подчасъ даже просто забавными. Онъ не только *считъ* свое сужденіе имѣть, но, когда его другу грозитъ опасность или даже хоть мелкая непріятность, онъ по-своему волнуется и вмѣшивается. На многое онъ смотритъ такъ же, какъ и Альцестъ, но помнитъ, что эти взгляды нужно высказывать умѣючи и кстати, что есть мѣста, гдѣ полная откровенность мнѣній показалась бы смѣшною или непозволительною (il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait; ridicule, et serait peu permise). Онъ не филантропъ, какъ его хотѣли выставить иные и какъ, пожалуй, сгоряча обозвалъ его однажды самъ Альцестъ (l'ami du genre humain), и въ то же время не безнравственный софистъ, у котораго найдется оправданіе для каждой темной продѣлки, — онъ представляетъ собою мастерское и широко задуманное лицетвореніе идеи компромисса, царящей испоконъ-вѣку надъ человѣчествомъ.

Рядомъ съ нимъ Молчалинъ является гораздо точнѣе об-

рисованнымъ извѣтвленіемъ того же родового типа. Въ комедіи, впрочемъ, онъ не одинъ служить представителемъ морали въ филантовскомъ вкусѣ; тѣ же взгляды высказываютъ, кромѣ него, при разныхъ случаяхъ и Софья, и Фамусовъ; при томъ, Чацкаго связываетъ съ Софьей такая же близость съ дѣтства, какъ двухъ друзей въ мольеровской пьесѣ, и совершившаяся въ ней перемѣна такъ же глубоко поражаетъ его. Взятый отдѣльно, характеръ Молчалина опять выкажетъ такое же своеобразное, чисто-русское объясненіе общаго типа, какое мы видѣли въ Софѣ. Это русскій *чиновникъ*, съ глубоко усвоеннымъ имъ съ дѣтства (эта черта приводитъ на память отцовскія наставленія Чичикову), совсѣмъ заматерѣвшимъ въ немъ кодексомъ лакейскихъ убѣжденій. Такую форму низкопоклонство способно было принимать въ особенности у насъ, вслѣдствіе различныхъ историческихъ вліяній. Это—своего рода *дворовой*, для котораго важно было приобрести съ „чиномъ ассессора“ дворянство, но который остался навсегда съ типическими особенностями крѣпостного слуги, съ его наружнымъ раблѣніемъ и потаеннымъ обманомъ. Впереди ему грезится обезпеченная жизнь, до которой онъ готовъ добратъ ползкомъ,—и до судьбы другихъ людей ему дѣла нѣтъ. Ему некогда философствовать и обобщать,—въ пору только изживать подначальную свою жизнь, въ ожиданіи лучшаго. Если онъ чему-нибудь удивляется въ Чацкомъ, позволяя себѣ въ этомъ отношеніи имѣть свое сужденіе, то именно отсутствію въ немъ дѣловой, чиновничьей практичности, которая доставляетъ человѣку возможность „служить, и награждать брать, и весело пожить“. Наконецъ, онъ способенъ притворяться влюбленнымъ въ Софью, увѣрять въ сильной любви и Лизу, съ которой на дѣлѣ просто хочетъ завязать мелкую интригу,—тогда какъ спокойный и разсудительный Филантъ, почувствовавъ привязанность къ кроткой и искренней Эліантѣ, откровенно проситъ ея согласія на бракъ по разсудку, безъ особой страсти, но съ взаимнымъ уваженіемъ.

За изученными нами тремя главными дѣйствующими лицами обѣихъ комедій, которыми исчерпывается существенное

сродство пьесъ (для Фамусова нѣтъ прототипа у Мольера), выступаетъ множество личностей аксессуарныхъ, особенно многочисленныхъ у Грибоѣдова. Но тутъ уже открывается широкое раздолье для бытовыхъ, нравоописательныхъ картинъ, которыя гораздо полнѣе въ сатирическомъ освѣщеніи „Горя отъ ума“, чѣмъ въ грозно-обличительномъ тонѣ *Мизантропа*. Русскій писатель, въ такой степени умѣвшій отстоять свою независимость при обрисовкѣ положеній и характеровъ, общихъ съ его стариннымъ образцомъ, здѣсь является уже полнымъ, неограниченнымъ властелиномъ, увѣковѣчивъ живыя черты русскаго общества начала текущаго вѣка, съ его мутными и здоровыми теченіями, и на этомъ преимущественно основываетъ социальное значеніе своей комедіи.

Кончая сравненіе обѣихъ пьесъ, намъ кажется, что результатъ его можно назвать отраднымъ. Въ виду несомнѣннаго сходства двухъ произведеній, пришлось провѣрить главные ихъ черты, одну за другой, — и, когда постепенно отпадали случайные, наружные признаки этой близости, обнаруживалось все яснѣе высшее, духовное сродство двухъ писателей съ одинаковыми задатками характера, одинаковымъ положеніемъ среди общества и яркою субъективностью творчества. Потомокъ прошелъ по пути, проложенному его великимъ предкомъ, но на завѣщанной ему основѣ сумѣлъ возвести самобытное зданіе; и русскій человѣкъ, сознавая это, можетъ добромъ помянуть мольеровскаго Альцеста, безъ котораго, кто знаетъ, не было бы, можетъ быть, и Чацкаго, по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ сталъ дорогъ всѣмъ намъ.

ДЕНИ ДИДРО.

1713—1784.

ОПЫТЪ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Открытое, честное лицо, лихорадочно-блестяшіе глаза, устремленные вдаль, улыбка, то и дѣло мелькающая на устахъ, отражая въ себѣ быстрые скачки мысли; оживленные жесты, льющіяся рѣкой рѣчи, внутренній огонь, проникшій это хрупкое существо и согрѣвающий все, до чего онъ ни коснется,—вотъ Дидро *). Не ищите у него академическихъ позъ, умышленности, эффекта въ словахъ и дѣйствіяхъ,—этихъ слабостей, которымъ такъ часто поддаются люди замѣчательные, но слишкомъ увѣровавшіе въ свое величіе. Это—натура безконечно откровенная, на распашку; что есть за душой, что глубоко продумала или что освѣтила неожиданнымъ блескомъ эта удивительно-прозорливая голова,—все это щедро разсыпается на жизненномъ пути, лишь бы кому-нибудь пригодилось. Если есть за собой слабости, вонъ ихъ, на показъ всѣмъ, чтобы можно было посмѣяться вмѣстѣ! Никакого различія въ отношеніяхъ къ людямъ; привѣтливое или смѣло-правдивое слово его безъ разбору обращено то къ правителямъ, то къ свѣтскимъ знакомымъ, то къ простымъ мастеровымъ; онъ вѣчно наблюдаетъ,

*) Въ Эрмитажѣ есть прекрасный бюстъ Дидро, работы ученицы Фальконе-та, mademoiselle Collot, славившейся въ свое время замѣчательнымъ умѣньемъ схватывать сходство.

всѣмъ интересуется въ повседневной жизни. Въ научной области тѣмъ шире его кругозоръ. То онъ углубляется въ изученіе научныхъ задачъ и тѣшится смѣлыми обобщеніями, — то рядомъ съ этимъ усваиваетъ себѣ до мелочей технику различныхъ ремеслъ. Философія, естествознание, социальныя нужды, — и интересы литературныя, спеническіе, художественныя, все вмѣщается въ этомъ всеобъемлющемъ умѣ. Недаромъ Вольтеръ прозвалъ его „пантофиломъ“, вселюбящимъ, недаромъ его поколѣніе иначе не называло его, какъ „философомъ“ по преимуществу, le philosophe. Пусть считаютъ это свойство неразсчетливой привычкой разбрасываться, расточать умственные сокровища, — измѣнить его было не въ силахъ Дидро. Если, по его словамъ, у него въ одинъ и тотъ же день не одна, а сто фizioномій, если и къ потомству онъ долженъ былъ перейти съ такою же многообразностью Протея, которая помѣшала ему выполнить все, на что была способна его богатая натура, — не знаешь, жалѣть ли объ этомъ: такая вѣчно кипучая, отзывчивая личность образуетъ необходимый противовѣсъ величавымъ очертаніямъ тѣхъ избранныхъ натуръ, которыя точно изваяны изъ одного куска, уравновѣшены и часто окутаны сумракомъ олимпійскаго величія. Толпа инстинктивно предпочитаетъ послѣдній оттѣнокъ, не замѣчая, что люди, подобные Дидро, вышедшіе изъ ея среды, готовые служить ей всѣми силами, безконечно ближе къ ней. Но жажда славы вовсе и не мучитъ этого неисправимаго плебея; онъ доволенъ немногимъ, примиряется съ мыслью, что его поймутъ будущія поколѣнія, и отдается своей неутомимой работѣ, жжетъ свѣчу съ обоихъ концовъ. Кругомъ его щедро раздаются титулы генія. Ужъ не геній ли и онъ? „Нѣтъ, скромно отвѣчаетъ онъ, — во мнѣ слишкомъ много чувствительности, и я всегда буду лишь на половину талантомъ“. Бѣдный Дидро!

Но гдѣ граница между этими степенями умственного превосходства, та тонкая линія, которую такъ часто проводили и столь же часто нарушали подъ обаяніемъ перваго скольконибудь сильнаго эффекта? Если вѣковѣчныя, общечеловѣче-

скія заслуги даютъ право на высшее значеніе, — въ лѣтописяхъ всеобщей культуры никогда не изгладится память о томъ освобождающемъ благовѣстіи, которое трудами этого человѣка и его сподвижниковъ прозвучало среди тьмы и унынія, въ великую, странную, порою страшную пору, когда побѣдные клики во славу гуманности и знанія смѣнялись сценами пытокъ и колесованія, или трескомъ костровъ, истреблявшихъ и книги, и людей. Далеко разносилось тогда это слово, проникало во всѣ концы образованнаго міра, точно призывный колоколь, возвѣщавшій обновленіе, и цѣлыя поколѣнія обязаны были ему хоть короткимъ промежуткомъ идеальныхъ порывовъ. Или, быть можетъ, нужно видѣть печать гениальности въ той молніеносной проницательности, легкости созиданія, непринужденной творческой способности, которая такъ бѣсила пушкинскаго Сальери въ безпечномъ Моцартѣ? Дидро именно изъ такихъ быстро творящихъ, мѣткихъ отгадчиковъ, которые точно шутя подходятъ къ истинной разгадкѣ тайны, заглядываютъ далеко впередъ, пробиваютъ новые пути. Многое онъ не докончилъ, не доразвилъ, увлеченный новою идеей, за которой устремился, но вездѣ бросилъ онъ глубокій намекъ, остроумную догадку, или установилъ точку зрѣнія, которая всецѣло подтверждается позднѣйшею наукой. Онъ знаетъ за собой эту способность увлекаться; его мысли несутся точно въ безумномъ вихрѣ; все, что его окружаетъ, — происшествіе на улицѣ, мѣсто изъ прочитанной книги, горячій споръ, бесѣда съ умной женщиной, все даетъ толчокъ его думамъ, ассоціація идей дѣлаетъ свое, и сотни плановъ статей, комедій или рассказовъ, научныхъ опытовъ пронесется въ его головѣ; онъ отдается этому опьяняющему разгулу мыслей, которыхъ часто называетъ своими вакханками. Въ спокойныя минуты онъ жалѣетъ объ этомъ, старается передѣлать себя; смѣясь, онъ выскажетъ тогда предположеніе, что въ этомъ, должно быть, сказалось вліяніе его родины, — вѣдь всѣ уроженцы Лангра, слѣдомъ за своимъ климатомъ, отличаются непостоянствомъ и измѣнчивостью флюгера! Но въ спокойныя минуты его почти и не слѣдуетъ изучать. Лафатеръ находилъ въ его

чертахъ даже слѣды робкаго и мало предприимчиваго характера; близкіе къ нему люди видѣли у него въ заурядныя, холодныя минуты странную неловкость, стѣсненность, даже аффектацію; по выраженію Мейстера *), „онъ дѣйствительно становился Дидро лишь тогда, когда мысль увлекала его за предѣлы существованія“; въ состояніи энтузіазма черты его преображались, и въ нихъ „проявлялось много благородства, энергіи и достоинства“. И такой-то человѣкъ, постоянно нуждавшійся во внѣшнемъ импульсѣ, былъ въ то же время въ состояніи, съ желѣзной послѣдовательностью ведя десятилетия изданіе Энциклопедіи, одолѣвать не только внѣшнія препятствія, но и свою натуру! Наконецъ, подъ старость, увлекшись успѣхами естествознанія, онъ же вырабатывалъ изъ себя типъ настоящаго ученаго, натуралиста, хотя для этого новаго возрожденія было слишкомъ поздно.

Подходитъ ли послѣ этого къ нему то или другое отличительное названіе изъ обычной табели о литературныхъ и научныхъ рангахъ,—пусть рѣшаютъ другіе. Эта блестящая личность все-таки останется выходящею изъ ряду вонъ, ни съ чѣмъ не соразмѣримою, даже во французскомъ народѣ, чьи особенности въ ней такъ ярко сказались. Хорошо изучившій его Гриммъ говаривалъ г-жѣ Неккеръ **), „что Дидро — человѣкъ потерянный, если только начнешь судить объ его приемахъ, опираясь на общепринятые правила“ (je vous l'ai dit: c'est un homme perdu si on veut juger son allure suivant les principes reçus). Но вѣдь не наряжать же намъ, во что бы то ни стало, великихъ людей въ классическія тоги, драпируя ихъ льющими складками! Какъ неловко было бы въ такой одеждѣ нашему безпечному, вѣчно подвижному философу, особенно когда онъ заспорилъ, горячится, трясетъ собеседника за руку или несется въ пылу страстнаго монолога! О человѣкѣ нужно судить по тѣмъ законамъ, которые онъ себѣ поставилъ, сказалъ однажды онъ самъ, и Гете, быть мо-

*) Aux mânes de Diderot, par Meister, сначала напеч. въ Correspondance liter. 1786, ноябрь.

**) D'Haussonville. Le salon de madame Necker, 1882, I. 156.

жетъ, лучше всѣхъ понявшій его характеръ, формулировалъ свой взглядъ на него въ слѣдующихъ мѣткихъ словахъ: „Дидро есть Дидро, человѣкъ единственный въ своемъ родѣ. Кто придирчиво относится къ его твореніямъ, тотъ самъ педантъ, — а такихъ людей легіоны. Въдъ человѣчество не умѣетъ ни отъ Бога, ни отъ природы, ни отъ себѣ подобныхъ принимать съ благодарностью сокровища неопцнмимыя.“ *)

I.

Биографу всегда очень кстати, когда онъ можетъ назвать своего героя сыномъ народа и показать, какъ свѣжая народная среда выставила въ немъ типическаго представителя, надѣлила его бодростью и энергіею, невѣдомою баричамъ. Это тотчасъ оживляетъ жизнеописаніе, подчасъ даетъ матеріаль для прикрасть и благонамѣренной риторики, — зрѣлище самодѣтельности всегда завлекательно. Относительно Дидро бесполезны подобныя ухищренія. Его „народность“ выступаетъ достаточно ярко и симпатично; гдѣ бы мы его ни видали, въ Эрмитажѣ ли у Екатерины, въ салонѣ Гольбаха, или въ его скромной квартиркѣ гдѣ-то подъ самой крышей стараго парижскаго дома, вездѣ онъ остается вѣренъ себѣ; въ этомъ демократически-просто одѣтомъ собесѣдникѣ, постоянно нарушавшемъ салонный этикетъ, всегда сквозилъ сынъ мастерового, выходецъ изъ глуши, закаленный въ Парижѣ нуждою и борьбой за существованіе. Не сельская обстановка выставила его, онъ не изъ крестьянъ. Иные, пожалуй, и его зачтутъ въ ряды возникавшаго тогда третьяго сословія, чье вырожденіе, нетерпимость и властолюбивыя притязанія въ наше время заставляютъ иногда забывать его несомнѣнныя старыя заслуги. Но для Дидро какъ будто не существовало сословныхъ перегородокъ, тѣмъ болѣе между мѣщанствомъ и деревенской массой; въ его мечтахъ объ общественномъ переустройствѣ народъ играетъ первую роль, труду отведено почетное мѣ-

*) Въ письмѣ къ Цецьеру. отъ 9-го марта 1831.

сто, и въ наукѣ его привлекаетъ прежде всего возможность отзываться на практическіе запросы. Иначе и быть не могло. Морлей *) остроумно указываетъ, что Дидро въ своемъ родѣ тоже могъ гордиться аристократическимъ происхожденіемъ,— въ его семьѣ цѣлыхъ двѣсти лѣтъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе, передавалось ножевыхъ дѣлъ мастерство. Извѣстный достатокъ, которымъ пользовалась семья, былъ добытъ постояннымъ и честнымъ трудомъ. Старикъ-отецъ философа—одно изъ лучшихъ украшеній той галлерей прямодушныхъ и глубоко-нравственныхъ старческихъ характеровъ, которыми такъ богатъ восемнадцатый вѣкъ, особенно въ демократическихъ слояхъ, отстаивавшихъ свою чистоту отъ общаго растлѣнія. Таковъ былъ отецъ Бэрнса, старикъ Фонвизинъ (оригиналъ Стародума). Симпатичный образъ стараго ножевщика никогда не покидалъ сына, который съ глубокой любовью вспоминалъ о немъ, цѣня и суровость его, забывая размолвки, въ которыхъ самъ же бывалъ виноватъ. Видя вокругъ себя деморализацію и негодую на скептицизмъ писателей въ родѣ Гельвеція, который все у людей сводилъ къ личной выгодѣ, Дидро, вспоминая, вѣроятно, объ отцѣ, утѣшалъ себя мыслью, что еще есть безкорыстные, честные люди, „которые живутъ и умираютъ вѣрные своимъ принципамъ, несмотря на общую безнравственность и низость, и на бесполезность добродѣтели,— хотя, нужно признаться, такіе люди очень рѣдки“ **).

Въ небольшомъ автобіографическомъ діалогѣ ***) онъ переносится мыслью въ старые дни, и вводитъ насъ въ семейную обстановку; всѣ домашніе собрались вокругъ кресла, гдѣ больной и дряхлѣющій отецъ отдыхаетъ отъ своей трудовой жизни. „Мнѣ кажется, я его и теперь вижу въ его креслѣ, съ его спокойною осанкой и яснымъ челомъ. Какъ будто слышится и его голосъ. Зимній вечеръ. Передъ заж-

*) Diderot and the encyclopedists, 1878, глава II; русск. перев. В. Н. Невѣдомскаго, 1882.

**) Réfutation de l'ouvrage de mr. Helvétius intitulé „L'Homme“.

***) Entretien d'un père avec ses enfants.

женнымъ каминомъ, вокругъ отца, сидимъ всѣ мы, мой братъ-аббатъ, сестра и я. Рѣчь у насъ идетъ о неудобствахъ знаменитости. Сынъ мой, говоритъ онъ, мы оба съ тобой надѣлали много шуму на своемъ вѣку,—разница между нами лишь та, что шумъ, который ты поднималъ съ своимъ инструментомъ, лишалъ тебя покоя, а я своимъ стукомъ отнималъ покой у другихъ,—и, послѣ этой шутки стараго кузнеца, онъ задумался, вглядываясь по временамъ пристально то въ того, то въ другого изъ насъ“. И дальше идетъ очевидно точная картинка одного изъ такихъ дружескихъ зимнихъ вечеровъ; отецъ вспомнилъ о трудныхъ минутахъ въ прошломъ, объ искушеніяхъ, которыя выносила его совѣсть; дѣти говорятъ ему свое мнѣніе, вѣчно горячій Дени заспорилъ,—но надъ всѣмъ царитъ спокойное благодушіе отца, который и пошутить, и пожурить, и обмолвится ласковымъ словомъ. Такъ нарисуетъ потомъ Бэрнсъ въ прелестномъ стихотвореніи идиллическую картину субботняго вечера въ родительскомъ домѣ, такъ Руссо будетъ вспоминать, какъ они съ отцомъ читали Плутарха.

Старика Дидро всѣ уважали; къ нему приходили даже совсѣмъ чужіе люди, избирая его посредникомъ въ своихъ несогласіяхъ, душеприкащикомъ послѣ своей смерти. Онъ былъ глубоко набоженъ и простъ въ своихъ вкусахъ; онъ не сталъ бы, въ родѣ отца Бомарше, тоже по своему очень чадолубиваго, состязаться съ сыномъ въ кропаніи мадригаловъ или выпрашивать у юноши о его любовныхъ похожденіяхъ. Но въ то же время онъ не страдалъ всепримиряющей елейностью; напротивъ, онъ рѣзалъ правду всѣмъ въ глаза,—и эта черта передалась сыну, многое испортивъ ему въ жизни. „Я точно созданъ, чтобы говорить правду моимъ друзьямъ, подчасъ и постороннимъ,—пишетъ онъ Вольтеру, —это свойство болѣе почетное, чѣмъ мудрое“ *); оглядываясь въ концѣ жизни на пройденное поприще, онъ сознавался самому себѣ, что могъ заблуждаться, но не кривилъ душой,—въ томъ порукой его строгій судья, немолчно

*) Письмо отъ 10-го февраля 1766.

бьющийся въ груди. „Всю жизнь жалѣлъ я,—пишетъ онъ въ другой разъ одному совѣтнику парламента,—что не выбралъ себѣ профессіи адвоката; быть можетъ, я не выказалъ бы въ палатѣ таланта замѣчательнаго оратора, но, конечно, я обнаружилъ бы тамъ свойство полной правдивости“ *). Этотъ культъ прямодушія, очевидно, охватилъ его съ дѣтства, и ветхозавѣтный образъ отца наряду съ любимой женщиной и немногими друзьями заставлялъ его вѣрить въ человѣчество. Суровый старикъ сначала осуждалъ поведеніе сына въ Парижѣ, слишкомъ безпорядочное, безъ опредѣленнаго занятія, и еще болѣе очерненное сплетнями, — но стоило Дидро примчаться въ Лангръ и пожелать объясненія, и вскорѣ размовки какъ не бывало; ласковыя отношенія между ними не прерывались болѣе.

Ровныя впечатлѣнія родного дома, гдѣ все манило къ тихой, искони трудовой жизни, не могли, однако, удовлетворять молодую натуру, жаждавшую новизны и оживленія, и рвавшуюся на волю. Опредѣленныхъ идеаловъ у него еще не было, профессіи онъ никакъ не могъ выбрать, готовясь быть то медикомъ, то юристомъ, то бросая іезуитскую школу, чтобъ стать за верстакомъ и помогать отцу въ работѣ. Ученіе шло успѣшно, но неровно; изъ школы онъ иногда убѣгалъ въ поля за городъ, на охоту, или сидѣлъ за веселой пирушкой съ товарищами. Сладить съ нимъ было трудно, и отецъ часто задумывается надъ его судьбою, особенно съ тѣхъ поръ, какъ его встревожило подозрѣніе, что іезуиты совсѣмъ завладѣютъ сыномъ и увезутъ его куда-нибудь вдаль, чтобъ воспитать въ своемъ духѣ на пользу ордена. Онъ отправилъ его въ Парижъ и такимъ образомъ самъ ввелъ его въ ту среду, которая должна была стать ареной его дѣятельности. Ученикъ *collège d'Harcourt* увлекался оживленіемъ большого города, и, окончивъ курсъ, не могъ уже вернуться на старую дорогу. Онъ; наконецъ, все бросилъ для Парижа, для возможности жить независимо, отдаваясь

*) Переписка, томъ 20й, 5, *Oeuvres complètes*, издан. Ассеза и Мориса Турнэ. Всѣ цитаты приведены по этому лучшему изданію.

своимъ влеченіямъ, не послушался послѣдняго напominанія отца, не побоялся угрозы лишить его скуднаго содержанія, и промѣнялъ затишье на шумъ и суету столицы.

Ходъ вещей, обычный въ большинствѣ біографій замѣчательныхъ людей: неумѣнье родителей понять настоящее призваніе молодого человѣка, семейный разладъ, рядъ ошибокъ и колебаній. Иной разъ можетъ даже показаться, что эти помѣхи разставлены умышленно судьбой, что безъ нихъ люди не доходили бы до цѣли, и что человѣкъ, котораго съ малолѣтства ведутъ систематическимъ воспитательнымъ путемъ, разравнивая все въ жизни, при нашемъ строѣ быта не добудетъ себѣ той энергіи и свѣжести взгляда, которая вырабатывается у такого „блуднаго сына“. Легко ли дается такая школа опыта,—другой вопросъ. Но не у всѣхъ пора искуса такъ продолжительна и безотраднa, какъ у Дидро. Кто не знаетъ, черезъ какія униженія и несчастія прошелъ другъ его молодости, Руссо, который самъ позаботился драматически пересказать ихъ въ своей исповѣди! Біографы Дидро не разъ жалѣли *), что онъ пренебрегъ такимъ благодарнымъ средствомъ заинтересовать массу въ свою пользу,—и еслибъ не случайныя обмолвки въ его письмахъ и литературныхъ произведеніяхъ, да три, четыре анекдота, пересказанные съ его словъ въ мемуарахъ его дочери **), мы очень мало знали бы о первой порѣ его голодной и безпріютной жизни въ Парижѣ, которую придирчивые судьи, въ родѣ Карлейля ***), тѣмъ не менѣе обзываютъ прямо „бездѣльничаньемъ“. Онъ, естественно, попалъ въ кругъ писательской и педагогической богемы, работая по заказу, давая грошовые уроки, особенно по математикѣ, къ которой

*) Розенкранцъ, Морлей, авторъ біографич. введенія къ *Oeuvres choisies de D.*, édition du centenaire, и др.

**) *Mémoires pour servir à l'histoire de la vie et des oeuvres de m-r Diderot par Madame de Vandeuil, sa fille.* Ея показанія, однако, должно принимать съ такою же осторожностью, какъ біографическія свѣдѣнія Нэжона, поклонника. Дидро и перваго тщательнаго издателя его сочиненій (1798, въ 15 томахъ).

***) *Critical and historical Essays*; русскій переводъ „Историч. и критич. опыты“, М. 1878.

пристрастился еще въ школѣ. Но правильная жизнь и тутъ для него тягостна; нѣсколько мѣсяцевъ, проведенныхъ въ зажиточной семьѣ въ качествѣ воспитателя, кажутся ему подъ конецъ пыткой; онъ боится втянуться въ мѣщанскій складъ и привычки. Съ непонятливымъ ученикомъ его не заставитъ заниматься даже мысль о кускѣ хлѣба. Живетъ онъ на чердакѣ, зато независимъ, читаетъ много, и только то, что захочетъ, о чемъ не говорилъ ему никто ни въ провинціальной глуши, ни въ парижскомъ коллежѣ. Немного нужно было ему пробыть въ столицѣ, чтобъ замѣтить, какъ скудно было его образование; живое движеніе начиналось тогда въ наукѣ, обновлявшейся подъ влияніемъ англійской философіи и опытнаго знанія. Приходилось переучиваться, и по мѣрѣ того, какъ выяснялись передъ нимъ основныя положенія новой школы. энтузіазмъ овладѣвалъ юношей; теперь ему стоило жить. Что за бѣда, что онъ часто голодаетъ, что кошелекъ его пустъ,—онъ этого не замѣчаетъ! Преданная служанка принесла-было ему присланныя тайкомъ матерью деньги, и нарочно пѣшкомъ пришла изъ Лангра, чтобъ и свои сбереженія отдать юношѣ, — вскорѣ и этихъ денегъ ужъ нѣтъ. Голодный бродилъ онъ по Парижу, въ обморокъ упалъ у двери своей квартиры, и, приведенный въ чувство сердобольной хозяйкой, которая поспѣшила накормить его, далъ себѣ патетически-торжественную клятву отнынѣ не отказывать въ помощи ни одному бѣдняку, который бы постучался къ нему.

Въ ту пору, такую же жизнью, тоже лѣпясь на чердакахъ, обѣдая чѣмъ Богъ послалъ, работая за гроши и наслаждаясь возможностью отдаваться умственной дѣятельности, жило въ Парижѣ нѣсколько такихъ же талантливыхъ бѣдняковъ. Если Дидро училъ математикѣ, а иной разъ, потѣшаясь внутренно надъ странностью предложенія, писалъ по заказу за нѣсколько су проповѣдь для безграмотнаго аббата,—Руссо до утомленія переписывалъ ноты, Кондильякъ бѣгалъ по урокамъ, а Даламберъ, сынъ знатной салонной дамы, которая подкинула его на церковную паперть, могъ существовать только благодаря материнскимъ попече-

ніямъ бѣдной прачки, которая пригрѣла его, воспитала и сильно любила, горя только о томъ, что онъ тоже выбираетъ себѣ неблагодарнѣйшую профессію „философа“. Мало-по-малу вся эта даровитая молодежь перезнакомилась между собой, сошлась, въ хорошіе дни обѣдала въ студенческихъ кабачкахъ, обмѣнивалась планами и широкими взглядами; все это было бѣдно и восторженно. Станный собесѣдникъ Дидро въ извѣстномъ его діалогѣ „Племянникъ Рамо“ напомнилъ ему это время,—очевидно, они съ нимъ давно знакомы, „Помнить ли онъ, какъ лѣтомъ приходилъ онъ, бывало, въ Люксембургскій садъ въ сѣромъ плюшевомъ кафтанѣ, проношенномъ сбоку, въ черныхъ шерстяныхъ чулкахъ, заштопанныхъ сзади бѣлыми нитками,—какъ уныло бродилъ онъ по Аллеѣ Вздоховъ, а потомъ по улицамъ,—какъ училъ математикъ, и самъ обучался во время уроковъ?“

Такъ проходилъ годъ за годомъ, и только молодость и неистошимый запасъ доброй воли и веселости помогали переживать эту сѣрую, неприглядную пору. Дружескій кружокъ разрослся; въ него вошли начитанный и искусно владѣвшій перомъ адвокатъ при парламентѣ Туссенъ, и аббатъ Де-Прадъ,—которымъ вскорѣ предстояло пострадать за свободныя убѣждения. Дидро — преданный другъ, способный усвоить себѣ всѣ интересы близкаго человѣка, вліять на него и въ свою очередь подчиняться его руководству; иной разъ онъ слишкомъ склоненъ анализировать поступокъ пріятеля и можетъ показаться требовательнымъ и докучнымъ, но въ немъ говорить въ эти минуты не тираническая замашка *), а все то же идеализованное представленіе о дружбѣ, которую онъ разорветъ, какъ только замѣтитъ измѣну убѣжденіямъ или нравственную дряблость **). Но

*) Въ этомъ смыслѣ стараются объяснять его дѣйствія пристрастные сторонники Руссо, взводящіе на одного Дидро вину ихъ размолвки. См. напр. введеніе Жюль Леваллуа къ изданію переписки Руссо (J. J. Rousseau, ses amis et ses ennemis, pub. p. Streckeisen-Moulton, P. 1865).

**) Такъ разошелся онъ съ Де-Прадомъ, который послѣ гоненій на книгу свою отсекся отъ нея. Сначала онъ былъ высокаго мнѣнія о Тома, но, когда тотъ написалъ переполненное любезностями похвальное слово дофину, онъ

одна дружба не могла удовлетворить его привязчиваго сердца; онъ еще быстрѣ увлекался женщинами, и у него уже длинный списокъ мимолетныхъ, быстро вспыхивающихъ увлеченій. Но кого встрѣчаетъ онъ, и изъ какихъ опытовъ складываются его взгляды на женщину, теорія любви и брака! Его подруги народъ незамысловатый, но съ ними весело, можно проказничать на пропалую! Дидро пока большаго и не требуетъ, и пускается въ забавнѣйшія похождения, совсѣмъ во вкусъ старыхъ фавло. Наступили, однако, минуты раздумья и усталости. Тупая случайность житья въ *hôtel garni* свела Руссо съ его Терезой; въ припадкѣ утомленія скитальческой жизнью и недолговѣчными сближеніями Дидро заглядѣлся на хорошенькое личико сосѣдки, дочери фабриканта, *m-lle Champion*; оно поманило его къ покою, къ семьѣ. Заботливость, съ которой дѣвушка ходила за нимъ во время его болѣзни, не посмотрѣвъ на людское мнѣніе, окончательно убѣдила его, и онъ, точно въ чадѣ, сгоряча женился, разсердивъ отца, — и скоро понялъ, что сдѣлалъ тяжкую ошибку.

Потребность въ глубокой привязанности къ женщинѣ умной и развитой сложилась у него не сразу, но, сходясь на время съ совершенно иными женщинами, онъ смутно предчувствовалъ что-то лучшее, и когда встрѣтилъ, наконецъ, хоть и поздно, достойную его подругу, отдался этому чувству навсегда; врядъ ли онъ по своей природѣ не былъ тоже „однолюбомъ“. Отголоски прежнихъ привычекъ, непринужденной холостой жизни и связей въ полусвѣтѣ, гдѣ онъ бывало искалъ утѣшенія отъ домашней обстановки,

назвалъ его поступокъ по имени. „Никогда еще искусство слова не было такъ обезчещено. Вы перебрали всѣхъ великихъ людей настоящаго, прошедшаго и будущаго, и унизили ихъ передъ ребенкомъ, который ничего особеннаго ни сказалъ, ни сдѣлалъ. Ужъ не считаете ли вы, что вашъ принцъ достойнѣ Траяна? Такъ знайте же, что Плиніи своимъ „Похвальнымъ словомъ Траяну“ покрылъ себя позоромъ. Вамъ слѣдовало поддержать репутацію правдивости и честности, но вы готовитесь потерять ее. Если когда-нибудь новый Тацитъ напишетъ исторію нашего времени, ваше имя будетъ тамъ отмѣчено позорнымъ пятномъ“.

сказываются у него часто и впоследствии въ чисто-боккачевскихъ эпизодахъ, вставленныхъ въ его повѣсти и діалоги, — даже въ письма къ любимой женщинѣ! Но чѣмъ позже возьмемъ мы ихъ, тѣмъ они становятся рѣже, и, наконецъ, совсѣмъ исчезаютъ. Судя по нимъ, ошибочно было бы считать Дидро послѣдовательнымъ и убѣжденнымъ циникомъ, который находитъ особое удовольствіе, уснащая свой рассказъ пряными подробностями. Эти сценки, иногда очень забавныя, какъ-то срываются у него съ языка, и строгіе отзывы о нихъ, встрѣчаемые часто и теперь (напр., даже у Морлея), слишкомъ чопорны. Тотъ же Дидро постоянно является горячимъ заступникомъ за женщину, ея права, ея образованіе, и въ письмѣ къ умной и строгой нравами г-жѣ Неккеръ, которую очень уважалъ, чрезвычайно жалѣлъ, что не встрѣтилъ ее раньше: „вы бы, конечно, внушили мнѣ, — говорилъ онъ ей, — любовь къ душевной чистотѣ и тонкости чувства, которая перешла бы изъ души моей и въ мои произведенія“.

Жена Дидро не подходила подъ такія сложныя требованія, оставаясь на уровнѣ самыхъ элементарныхъ условій семейнаго счастья; она была бережлива, молча переносила лишенія первыхъ лѣтъ, по своему даже баловала мужа, но плохо понимала значеніе и пользу его занятій; вдавываясь все болѣе въ набожность, она не могла сочувствовать свободомыслію Дидро; только съ годами научилась она не посягать на его духовный міръ, останавливаясь съ уваженіемъ у его порога, — да и то, кажется, ее всего болѣе навелъ на умъ тотъ почетъ, которымъ постепенно окружала вся мыслящая Европа ея мужа-вольнодумца. Наконецъ характеръ ея былъ неровень, капризенъ, и ея дочь въ своихъ мемуарахъ не могла не признаться, что домашняя обстановка отца иногда напоминала адъ. Неудивительно послѣ того, что вопросъ о бракѣ и разводѣ такъ часто выступалъ въ его произведеніяхъ, что въ наиболѣе откровенныхъ его письмахъ слышится горькое сожалѣніе о необдуманномъ поступкѣ, совершенномъ въ ранней молодости и тяготѣющемъ надъ нимъ всю жизнь. Въ грезахъ о возвратѣ къ первобытной

простотѣ, порожденныхъ у него чтеніемъ до - нельзя прикрашеннаго путешественникомъ описанія чистоты нравовъ на Отаити, *) ему представляются искреннія, свободныя отношенія любящихся, и онъ влагаетъ въ уста дикаря Ору недоумѣвающія возраженія при видѣ взаимнаго обмана и терзаній, которыя у бѣлыхъ испытываютъ охладѣвшіе другъ къ другу супруги, лишь бы хотъ съ виду поддержать нерасторжимость брака. Но къ отдѣльнымъ случаямъ дружныхъ брачныхъ союзовъ Дидро всегда относился съ особеннымъ сочувствіемъ; онъ и для себя пожелалъ бы того же впоследствии, еслибъ могъ соединить свою судьбу съ любимой женщиной, — но и ея семья пошла противъ этого, и домашній очагъ и долгая привычка напоминали о себѣ, и онъ остался навсегда прикованнымъ къ своей цѣпи.

Одно только существо скрашивало ему домъ,—его дочь. Ее онъ полюбилъ сильно; *je suis fou à lier de ma fille*, говаривалъ онъ; мысль о ней, о ея будущности, приданомъ, не разъ заставляла его призадумываться и вкладывала перо въ его руки. Да и вообще для поддержанія семьи нужно было работать,—и первые печатные труды Дидро вызваны были чисто экономическими соображеніями. Сначала онъ выступаетъ въ качествѣ переводчика съ англійскаго языка, который уже зналъ основательно; съ нимъ вмѣстѣ работаютъ и пріатели, особенно Туссенъ, переводятъ по заказу что попало, исторію Греціи Станьяна, медицинскій словарь только въ одной изъ этихъ книгъ, въ переводѣ „Опыта о достоинствахъ душевныхъ и добродѣтели“ Шефтсбери, слышался впервые голосъ молодого переводчика, который отважился отнестись къ своей работѣ свободно, дополняя и объясняя ее своими доводами. Можно догадываться, что на этотъ разъ и выборъ книги принадлежалъ ему, и что онъ занялся ею съ любовью. Взгляды утонченно-развитого, ос-

*) *Supplément au Voyage de Bougainville*. Это почти единственная дань, которую Дидро заплатилъ модному увлеченію своего времени первобытною нравственной чистотой племенъ некультурныхъ; то было какъ бы косвенное вліяніе пропаганды Руссо, противъ которой онъ потомъ принципиально возставалъ.

троумнаго и изяшнаго философа-джентльмена должны были привлекательно подѣйствовать на молодую и уже нѣсколько экзальтированную голову. Высокое представленіе о добродѣтели, вѣра, что одна только нравственная сила приносить человѣку счастье, что развитіе эстетическаго начала содѣйствуетъ добродѣтели, требованіе свободы всѣмъ свѣтлымъ свойствамъ человѣческой натуры, и презрѣніе къ фанатизму и варварству во всѣхъ его проявленіяхъ, къ изуверству, предразсудкамъ, — таковы главныя черты ученія, которое усвоилъ себѣ и переводчикъ, уже настолько начитанный, что могъ обставить переводимую книгу нѣкоторымъ научнымъ аппаратомъ. Его мысль, однако, быстро работаетъ, и вскорѣ далеко обгонитъ онъ своего учителя; но Шефтсбери нѣкоторыми своими сторонами будетъ привлекать его и впослѣдствіи, — онъ всегда будетъ высоко ставить вліяніе искусства на жизнь, а въ умѣнѣ осмѣять слабости противника онъ, вмѣстѣ съ Вольтеромъ, — прямой послѣдователь Шефтсбери, который видѣлъ въ смѣхѣ одно изъ могущественныхъ орудій въ борьбѣ съ врагами знанія.

„Философскія мысли“ (*Pensées philosophiques*) уже всецѣло принадлежать Дидро, составляя естественное дополненіе предшествующей книги. Очевидно, мысли, зароненныя въ его умъ англійскимъ философомъ, попали на благоприятную почву, слились съ собственнымъ наблюденіемъ и житейскимъ опытомъ. Коренной врагъ того „энтузіазма“, который порождаетъ изступленныя аскетическія выходки, переноситъ человѣка въ міръ галлюцинацій, ведетъ къ жаднѣ чудесныхъ явленій и мученичества, Шефтсбери какъ бы указывалъ своему почитателю на такія же уродства и во французскомъ обществѣ, на опасности клерикализма, на силу суевѣрій, еще царящихъ надъ умами. Въ собственной семьѣ Дидро могъ видѣть живой примѣръ изуродованія способной натуры подѣяніемъ затхлыхъ идей піэтизма; его брать, ставъ аббатомъ, вдался съ каждымъ годомъ въ крайнюю нетерпимость, считалъ Дидро погибшимъ, разсорился съ нимъ, и вражду свою не позабылъ и послѣ его смерти. Не безъ умысла поэтому переводъ „Опыта“ Шефтсбери

былъ посвященъ этому брату, не встрѣтивъ въ немъ, конечно, никакого сочувствія. Борьба противъ усиливавшихся притязаній суевѣрнаго духовенства, которое вступало въ заговоръ съ могущественною свѣтскою властью, уже разгаралась. На сценѣ снова, какъ въ дни Корнеля, подъ видомъ жрецовъ бичевались служители папы, выставляемые шайкой корыстныхъ обманщиковъ: Вольтеръ сорвалъ съ нихъ маску и въ „Эдипѣ“, заявивъ, что сила ихъ основана лишь на нашемъ легковѣріи, и въ „Генріадѣ“, гдѣ наряду съ ужасами Варооломеевской ночи выставилъ идеалъ широкой вѣротерпимости, и въ „Англійскихъ письмахъ“, гдѣ нарисовалъ въ привлекательныхъ краскахъ свободу совѣсти и слова въ сосѣдней странѣ. Дидро пошелъ по тому же пути, и въ „Философскихъ мысляхъ“ высказалъ печатно то, что уже проповѣдывалъ въ кругу друзей, что являлось, быть можетъ, даже результатомъ обмѣна мыслей между ними. Туссенъ, повидимому, тогда уже готовилъ ту книгу, которая доставила ему временную, но обширную извѣстность, почетную роль въ передовомъ кружкѣ, приглашеніе къ Фридриху. Подъ нѣсколько неопредѣленнымъ заглавіемъ „Les mœurs“ онъ пытался противопоставить условной клерикальной морали иную, проникнутую терпимостью, любовью къ людямъ, высокимъ взглядомъ на человѣческое достоинство, возставалъ противъ хитросплетеній догматики и, опять слѣдомъ за англичанами, устанавливалъ основы „естественной религіи“, въ которой въ ту пору многіе изъ сомнѣвавшихся и протестовавшихъ начинали искать себѣ прибѣжища. Успѣхъ этой книги показалъ, до какой степени она отвѣчала запросамъ минуты. Ее сожгли по распоряженію парламента (1748), но уцѣлѣвшіе экземпляры ходили вездѣ по рукамъ *). Читали ли въ „Les mœurs“ — таковъ былъ, говорятъ, первый вопросъ, который предлагали тогда другъ другу при встрѣчѣ всѣ сколько-нибудь образованные люди **).

*) Вскорѣ она явилась въ нѣмецкомъ переводѣ: Die Sitten, Frankfurt, 1754; кромѣ того, ее перевели на англійскій, итальянскій и голландскій языки.

**) Felix Rocquain, L'Esprit révolutionnaire avant la Révolution, 1878, p. 125.

Вѣроятно, съ такимъ же увлеченіемъ читались въ свое время и „Философскія мысли“, предварившія книгу Туссена на два года; точно также сожженные. онѣ тотчасъ были перепечатаны тайкомъ, и дальнѣйшія изданія, съ фиктивными указаніями мѣста выпуска, быстро шли одно за другимъ. Мало кому извѣстный до той поры авторъ становился лицомъ замѣтнымъ и опаснымъ. Смѣло и сознательно шелъ онъ на встрѣчу гоненіямъ и съ гордостью становился въ ряды еще болѣе глубокихъ скептиковъ, пострадавшихъ до него. „Я знаю,—говорилъ онъ,—что люди набожные поспѣшатъ ударить въ набатъ, и готовлюсь къ тѣмъ клеветамъ, которыя они ввели на людей гораздо достойнѣе меня. Если я прослышу только деистомъ и чудовищемъ, я дешево отдѣлаюсь. Они прокляли Декарта, Монтаня, Бэйля, Локка, и, надѣюсь, проклянутъ еще многихъ другихъ“. Написать эту книгу было, очевидно, для Дидро настоящею потребностью; пробудившаяся критическая мысль рвалась на просторъ, чтобъ гласно заявить свои сомнѣнія и недовольство. „Я заблудился ночью среди необъятнаго лѣса; одинъ только слабо мерцающій огонекъ еще указываетъ мнѣ путь. Но тутъ подходитъ ко мнѣ неизвѣстный и говоритъ: другъ мой, загаси свою свѣчу, ты лучше найдешь тогда дорогу... Этотъ неизвѣстный — богословъ“. И наперекоръ подобнымъ взглядамъ путникъ идетъ впередъ; способность допытываться, провѣрять разумомъ для него дорогá; быть можетъ, онъ не найдетъ истины, но будетъ, во что бы то ни стало, искать ее; обычныя темы богословскихъ споровъ, чудеса и знаменія, вѣчныя мученія, первородный грѣхъ, степень правовѣрія различныхъ религій подвергаются разсмотрѣнію въ его книгѣ. Въ тѣ минуты, когда она складывалась изъ летучихъ набросковъ и афоризмовъ, стоило иной разъ только взглянуть въ окно, чтобъ понять, насколько умѣстенъ былъ такой пересмотръ ходячихъ понятій. По парижскимъ улицамъ толпа фанатиковъ отправлялась въ процессіи къ могилѣ ложнаго святого, діакона Париса, еще не задолго передъ тѣмъ изумлявшаго столицу своимъ кликушествомъ и юродствомъ, — и тѣло его совершало чудеса. Отовсюду

слышались толки о новыхъ святошахъ и юродивыхъ, находившіе сочувственный отголосокъ и въ толпѣ, и въ высшихъ церковныхъ слояхъ. Въ Сорбоннѣ шли еще богословскіе диспуты, переносившіе слушателя въ средніе вѣка; духовенство занято было почти исключительно внутренними распрями изъ-за римскихъ попытокъ совсѣмъ подчинить французскую церковь; о злосчастной буллѣ Unigenitus, возбуждавшей эти раздоры, было гораздо больше рѣчи, чѣмъ о нуждахъ массы, грубѣвшей въ своихъ суевѣріяхъ. Среди этого застоя виднѣлась лишь горсть пробудившихся, образованныхъ людей, привыкшихъ жить своимъ разумомъ, освоившихся съ новой наукой и скорбѣвшихъ о духовномъ плѣненіи массы. „Философскія мысли“ были однимъ изъ первыхъ проявленій протеста новыхъ людей, — и въ этомъ ихъ главное значеніе. Ревностный послѣдователь англійской науки, только-что внесенной тогда во Францію благодаря Мопертюи и Вольтеру *), Дидро не могъ остановиться на своихъ отрывочныхъ „Мысляхъ“; при всемъ остроуміи онѣ еще отмѣчены нѣкоторымъ дилеттантизмомъ, бойкой находчивостью въ выраженіяхъ, которую можно встрѣтить у любого искуснаго діалектика. Отъ критическихъ нападокъ онъ попытался перейти къ построенію, а на изслѣдованіи частнаго факта примѣнить свою склонность къ анализу. Въ созерцательную область уходилъ онъ все съ большимъ наслажденіемъ; эти занятія служили для него поправкой жизни, которая опять отклонилась отъ цѣли, подъ вліяніемъ новаго, столь же неудачнаго увлеченія. Только минутой сердечной тоски и временной праздности можно объяснить связь Дидро съ пожившей уже кокеткой, жадной до денегъ, вѣтренной и въ то же время занятой своею

*) Какъ ни странно видѣть защитниками и пропагандистами одного и того же ученія такихъ враговъ, какъ Мопертюи и Вольтеръ, обесмѣтившій своего противника въ шутовскомъ образѣ „доктора Акакія“, несомнѣнно, что Мопертюи первоначально много потрудился надъ распространеніемъ и популяризацией англійской науки во Франціи. Самъ Дидро, ссылаясь въ своихъ работахъ на брошюры нѣкоего доктора Баумана, быть можетъ, еще не зналъ, что подъ этимъ псевдонимомъ скрывался Мопертюи.

грошовой литературною извѣстностью. Г-жа де-Пуизье подъ конецъ выказала себя въ настоящемъ свѣтѣ, и Дидро съ негодованіемъ отвернулся отъ нея,—но она уже успѣла истомить его вѣчными требованіями денегъ, эксплуатаціею, которую только онъ въ состояніи былъ не замѣчать, и ради нея онъ усиленнѣе сталъ работать, продавая свое вдохновеніе торгашамъ. Такъ изданы были „Философскія мысли“,—и рядомъ съ ними набросаны первыя повѣсти Дидро, непринужденный наборъ веселыхъ, занимательныхъ, фантастическихъ, то совсѣмъ безхитростныхъ, то глубоко задуманныхъ сценъ, съ сильнымъ оттѣнкомъ гривуазности, въ то время такъ нравившимся публикѣ, воспитанной на романахъ младшаго Кребильона.

Свойства Дидро, какъ рассказчика, обозначились уже тутъ вполне опредѣленно, хотя писалъ онъ эти бездѣлки, не слишкомъ задумываясь о выдержанности плана или вѣрности характеровъ; онъ просто призывалъ свою неистощимую фантазію на помощь, чтобъ выйти изъ труднаго житейскаго положенія. Такія натуры имѣютъ мало склонности къ обширнымъ художественнымъ созданіямъ; ихъ настоящій удѣлъ—миніатюрныя, законченныя, полныя жизни и вымысла, сцены, эскизы. И Дидро, въ которомъ, казалось, было столько задатковъ, обѣщавшихъ замѣчательнаго романиста, не оставилъ ни одной обширной повѣсти; самыя лучшія его произведенія въ этомъ родѣ—блестящая цѣпь разнообразныхъ и остроумно переданныхъ новеллъ. Такова и самая ранняя повѣствовательная его попытка, „Les bijoux indiscrets“, гдѣ авторъ, во вкусѣ фривольныхъ рассказчиковъ своего времени, проводитъ читателя сквозъ вереницу любовныхъ похожденій, которыя должны показать, до какой степени постоянство рѣдко между женщинами; женскіе характеры быстро смѣняются передъ нами,—и куда ни проникнетъ невидимкой султанъ Монгогуль съ своимъ волшебнымъ талисманомъ, вездѣ будуарныя тайны раскрываются въ самой неожиданной, капризной, часто противоестественной обстановкѣ. Современные нравы давали богатую пищу для подобныхъ наблюденій, и Дидро не приходилось брать на

себя излишній трудъ вымышлять особенно пикантныя подробности, какъ сдѣлалъ бы рассказчикъ, опытный въ изготовленіи развращающаго чтенія. Нравы вокругъ были таковы, что изобрѣтать ничего не приходилось, и вымыселъ, самый рискованный, остался бы значительно ниже дѣйствительности, какою сохранили ее намъ скандальная хроника того времени, мемуары, сатирическія пѣсни. Писано это было на скорую руку, и если инныя страницы носятъ печать сильнаго таланта, то вполнѣ случайно, какъ бы вопреки обстоятельствамъ. Пестрые волшебные узоры, обязательные въ такой полу-восточной аллегоріи, превращаются иногда въ роскошную картину съ живыми красками и нѣгой, и среди фантазмагорій, особенно когда онѣ переносятъ насъ въ міръ сновидѣній, выступаютъ завѣтныя грезы не боккачьевскаго ученика, а страстнаго поклонника научнаго прогресса и убѣжденнаго врага метафизическихъ умозрѣній.

На крыльяхъ сна уносится онъ въ таинственное странство. Тамъ, точно поддерживаемое волшебствомъ, парило странное зданіе. Онъ подошелъ къ подножію трибуны, надъ которой тонкимъ балдахиномъ висѣла паутина. Подъ нею на возвышеніи возсѣдалъ старецъ съ длинной бородой, какъ будто не сознавая опасности своего положенія. Онъ по временамъ опускалъ тростникъ въ сосудъ, наполненный неуловимо-тонкой жидкостью, и пускалъ воздушные пузыри, а толпа восхищенныхъ зрителей спѣшила возносить ихъ до небесъ. Но въ отдаленіи вдругъ появился ребенокъ, подвигавшійся медленно, увѣренной поступью. По мѣрѣ того, какъ онъ приближался, его члены уплотнялись, становились все длиннѣе; онъ принималъ множество образовъ, то направляя къ небу телескопъ, то измѣряя давленіе воздуха, разлагая лучи свѣта. Наконецъ онъ сталъ великаномъ; голова его уходила въ небесную глубину; ноги скрывались въ безднѣ; въ рукъ онъ держалъ факель. „Что это за исполинское существо идетъ на насъ? — спросилъ я Платона. — Узнай же, это *Опытъ*; бѣжимъ, бѣжимъ скорѣе; это зданіе распадется въ одинъ мигъ“.

Если даже въ нѣсколько странной рамкѣ сборника лег-

кихъ новеллъ неожиданно могла прозвучать такая хвалебная пѣснь знанію, очевидно, никакія отклоненія и ошибки не смогутъ уже болѣе остановить начавшагося прозрѣнія. Связь съ вѣтренной и нестойчивой его женщиной порвалась вскорѣ, прибавивъ еще одно разочарованіе въ любви; тѣмъ сильнѣе привязался онъ къ предмету своей новой страсти,— наукѣ. Въ „Письмѣ о слѣпыхъ, предназначенномъ для зрячихъ“, онъ съ увлеченіемъ пошелъ слѣдомъ за побѣдоноснымъ Опытомъ. Его заинтересовалъ частный вопросъ: въ какомъ видѣ рисуется слѣпорожденному окружающій его міръ и человѣческія отношенія, свободно ли зарождаются въ немъ нравственныя, эстетическія, религіозныя представленія, и какъ объяснить онъ себѣ дѣйствительность, если удачная операція излечить его отъ слѣпоты;—на этомъ примѣрѣ онъ захотѣлъ подтвердить вліяніе чувственного опыта на образованіе идей. Ему помѣшали присутствовать при снятіи катаракта у такого больного, съ перваго же мгновенія уловить вырывающіяся у него послѣ прозрѣнія впечатлѣнія и сужденія. Да онъ и самъ сознавалъ, что чрезвычайно трудно было бы подготовить пациента къ ожидающимъ его философскимъ вопросамъ. Но онъ не смутился отказомъ Реомюра, отыскалъ подходящихъ субъектовъ въ другихъ мѣстахъ, перечиталъ все, что могла дать ему скудная медицинская литература,—и на основаніи этого матеріала, идя по слѣдамъ Локка и предшествуя теоріи своего друга Кондильяка *), построилъ свои соображенія, ломая по пути общепринятія богословскія и этическія воззрѣнія, ставя на смѣну врожденныхъ идей результаты нашихъ наблюденій. Отъ частной темы его влечетъ къ широкимъ обобщеніямъ. Вопросъ о постепенномъ изощреніи органовъ нашихъ чувствъ, которое ведетъ за собой расширеніе мыслительной сферы, приводитъ его къ представленію о безконечномъ процессѣ развитія всѣхъ организмовъ, о борьбѣ за существованіе, и вымираніи особей съ слабыми жизненными задатками. Въ этомъ раннемъ произведеніи (1748) уже виденъ первый проблескъ на-

*1) *Traité des sensations* Кондильяка появился лишь въ 1754 году.

учно-философскихъ воззрѣній, которыя къ концу жизни Дидро взяли верхъ надъ всѣми остальными его симпатіями и сдѣлали его провозвѣстникомъ современной намъ науки.

„Письмо о слѣпыхъ“ заключало въ себѣ, конечно, достаточно еретическихъ мнѣній, чтобъ вызвать гоненіе на его автора. Клерикалы могли возстать противъ доказательства слабаго развитія религіозности у слѣпорожденнаго, если онъ предоставленъ себѣ; люди нравственные съ негодованіемъ читали тѣ строки, гдѣ приводились факты, свидѣтельствующіе, что такому слѣпцу неизвѣстно чувство стыдливости, которому его приходится научать; наконецъ весь духъ этой книги, проникнутой полемическимъ воодушевленіемъ и громившей различныя „предразсудки“, долженъ былъ показаться опаснымъ въ то время, столь враждебное свободѣ изслѣдованія. Но исторія гоненій, которымъ такъ часто подвергались оппозиціонные мыслители прошлаго вѣка, показываетъ, что повода къ суровымъ мѣрамъ приходится искать иногда вовсе не въ высказанныхъ ими взглядахъ, а въ мелкихъ интригахъ, зависти или злобѣ вліятельныхъ лицъ, — словомъ, въ личныхъ счетахъ, не имѣвшихъ ничего общаго съ литературой. Такъ Вольтеръ былъ брошенъ въ тюрьму, а потомъ высланъ въ Англію не за свои стихотворенія или трагедіи, но за то, что наемные негодяи, подосланные знатымъ его врагомъ, подвергли поэта тяжкому истязанію, а онъ не смолчалъ и громко требовалъ удовлетворенія. Такъ Бомарше очутился однажды въ тюрьмѣ потому, что былъ счастливымъ соперникомъ въ любви вліятельнаго и бѣшеннаго нравомъ аристократа. И Дидро пострадалъ не столько за взгляды, высказанные въ „Письмѣ о слѣпыхъ“, сколько за то, что попрекнулъ въ немъ Реомюра отказомъ допустить его на операцію, которую знаменитый докторъ показалъ же одной знатной, но совершенно невѣжественной красавицѣ. Жалоба этой дамы, близкой къ начальнику полиціи, рѣшила дѣло, и Дидро, за которымъ уже давно слѣдили, искусно вводя соглядатаевъ даже къ нему въ домъ, очутился въ Венсенской тюрьмѣ. Черта весьма обычная, характеризующая „старый порядокъ“, убѣдительная

страница изъ своеобразной „Исторіи тюремнаго заключенія философовъ и литераторовъ въ Бастиліи и Венсеннѣ“, которая нашла со временемъ своего лѣтописца *). Но какъ же мало достигали своей обуздывающей цѣли эти безцеремонныя расправы, какъ приводили онѣ къ совершенно противоположнымъ результатамъ! Вольтеръ вернулся изъ ссылки съ своими „Англійскими письмами“, составившими эпоху въ пропагандѣ свободной мысли; Бомарше вышелъ изъ тюрьмы съ готовымъ „Севильскимъ цирюльникомъ“, этимъ бичемъ барства; Дидро, сидя въ своемъ казематѣ, обдумалъ и на краяхъ страницъ случайно оставшагося у него Мильтонова Рая написалъ самодѣльными чернилами изъ вина и аспиднаго порошка, планъ изданія Энциклопедіи, и, выйдя изъ тюрьмы, началъ свой походъ противъ стараго порядка въ церкви, наукѣ и государствѣ.

II.

Въ эту пору Дидро былъ уже въ Парижѣ лицомъ замѣтнымъ; кружокъ его, сначала тѣсный и дружескій, быстро расширялся; способности остроумнаго собесѣдника, превращавшагося иногда въ пламеннаго оратора, открыли передъ нимъ двери руководящихъ парижскихъ салоновъ, свели его съ кружкомъ г-жи д'Эпинз, сдѣлали однимъ изъ украшеній оживленныхъ и всегда интеллигентныхъ сходбищъ у радушнаго Гольбаха **), этого „метрѣ-д'отеля философіи“. Завязались сношенія и съ Вольтеромъ, которому онъ послалъ „Письмо о слѣпыхъ“. Хотя издали, Вольтеръ оставался вождемъ и руководителемъ передовой партіи. Но это главенство было скорѣе почетнымъ преимуществомъ; нужна была его неугасимая энергія, чтобъ, несмотря на разстояніе, медленность и ненадежность сообщеній, под-

*) Histoire de la détention des philosophes et des gens de lettres à la Bastille et à Vincennes p. J. Delort.

**) О его связяхъ съ кружкомъ Гольбаха: Avezac-Lavigne, Diderot et la société du baron d'Holbach, 1875. Интересныя данныя объ отношеніяхъ къ г-жѣ д'Эпинз и ея друзьямъ въ сборникѣ матеріаловъ „La jeunesse de Madame d'Epinau“, Л. Морра.

держивать связи съ приверженцами, ободрять ихъ, указывать задачи и въ подходящую минуту поднимать призывный кличъ. Въ Парижѣ у него былъ зато превосходный намѣстникъ, къ которому постепенно сошлись всѣ нити движенія, безъ чьего участія и поддержки не обошлось ни одно крупное явленіе въ тогдашней умственной жизни. Этимъ живымъ центромъ былъ Дидро. У него не было ни средствъ, ни охоты собирать народъ у себя, чуть не на чердакъ, — иначе слава его *салона* затмила бы всѣ репутации этого рода. Дома онъ отдавался работѣ, углублялся по цѣлымъ днямъ въ книги. Необыкновенно искренно звучить его „Прощаніе съ старымъ халатомъ“ (*Regret sur ma vieille robe de chambre*), вызванное непрощеннымъ вмѣшательствомъ друзей, замѣнившихъ въ его отсутствіе утварь его кабинета новою и украсившихъ убранство шегольскимъ краснымъ шлафрокомъ. Зачѣмъ сдѣлали они это, зачѣмъ разлучили его съ неизмѣннымъ его нарядомъ, свидѣтелемъ и памятникомъ всѣхъ его трудовъ и тревогъ! Онъ зналъ на немъ каждое мѣстечко и щедро пользовался помощью стараго друга; проливались ли чернила, или слишкомъ пылились книги, пола халата являлась поправить бѣду, — и весь онъ покрылся длинными черными полосами. А теперь неловко, точно стыдно видѣть себя въ кардинальскомъ одѣяніи! Какъ хорошо еще, что забыли замѣнить его старый, истрепанный коврикъ! Съ нимъ ужъ онъ не разстанется; какъ бы ни стала потомъ баловать его судьба, взгляда на эту драгоценность, свидѣтельницу его нужды, достаточно будетъ, чтобъ отнять у него всякую гордость. „Такъ разбогатѣвшій крестьянинъ бережно хранитъ свои деревянные башмаки“...

Но на вышку, гдѣ, обложенный книгами, въ любимомъ халатѣ, превратившемся почти въ географическую карту, лѣпился энтузіастъ, то и дѣло увлекавшійся построеніемъ смѣлыхъ догадокъ и теорій, находили дорогу его сверстники по занятіямъ, друзья молодости, новые знакомые, и ни одинъ изъ нихъ не уходилъ съ пустыми руками. Вѣчно полная замысловъ, голова его съ удивительной эластичностью приходила на помощь всякому; быть можетъ, составилъ бы

объемистый томъ изъ тѣхъ страницъ, которыми Дидро оживлялъ и улучшалъ приносимыя ему на просмотръ работы, забывая потомъ объ этомъ и передавая свои мысли въ полную собственность другихъ лицъ. Несомнѣнно, что такую поддержку оказывалъ онъ сначала даже Руссо, который благодаря ему рѣшился отвѣчать на запросъ Дижонской академіи о вредѣ наукъ и уступилъ ему нѣсколько страницъ въ своемъ разсужденіи о причинахъ неравенства между людьми; его участіе въ книгахъ Туссена и де-Прада точно также не подлежитъ сомнѣнію; въ объемистой работѣ его позднѣйшаго знакомаго, аббата Рейналя, въ „Философской исторіи торговли въ обѣихъ Индіяхъ“ съ ея протестомъ противъ рабовладѣнія, Дидро приписывали въ свое время даже третью всего сочиненія; „Système de la nature“ Гольбаха создается подъ его вліяніемъ. Быстро вживаясь въ изложенную ему кѣмъ либо связь идей, онъ уже выводилъ послѣдствія ея, указывалъ лучшіе способы воспользоваться ими, и подъ его руками выросла невзначай страница философскаго разсужденія, романа, сцена изъ комедіи. Готовность свою и умѣнье помогать, которыя часто подвергались эксплуатаціи, онъ самъ добродушно осмѣивалъ. Въ наброскѣ пьесы: „Est-il bon, est-il méchant?“ и въ особенности въ сценахъ, озаглавленных „La pièce et le prologue“ (1771), написанныхъ, кстати сказать, въ одинъ день, онъ вывелъ себя въ лицѣ нѣкоего monsieur Nagdouin, котораго всѣ тираниятъ, ожидая, что одному онъ придумаетъ дивертиссментъ, другому комедію, третьему пособить выйти изъ непріятнаго положенія. Онъ падаетъ отъ усталости, возражаетъ, что его голова не изъ тѣхъ, которыми можно приказывать,—и все-таки принимается за дѣло, среди шума, несогласій, помѣхъ, комически вздыхая по временамъ: Et faites une pièce au milieu de tout cela! Одинъ изъ его собесѣдниковъ, грубоватый дѣлецъ, ставитъ ему въ укоръ эту вѣчную изобрѣтательность; видно, онъ самъ никогда не знаетъ впередъ, что будетъ дѣлать; навѣрно, и вся жизнь его пройдетъ безпорядочно, и смерть застигнетъ его въ какомъ-нибудь необыкновенномъ мѣстѣ, куда увлечетъ его злой гений,—зачѣмъ же вѣчно строить проекты?—„Боже мой, от-

вѣчаетъ Дидро, я столько ихъ придумываль, и они не исполнялись; быть можетъ, лучше бы и перестать, — но вѣдь строишь планы совсѣмъ такъ, какъ ворочаешься на стулѣ, когда плохо сидишь“ *).

Эта способность привлекать къ себѣ людей, расточая имъ излишекъ своей энергіи, и часто изъ ничтожныхъ съ виду данныхъ извлекать оригинальныя соображенія, сама по себѣ уже объясняетъ, почему такой человѣкъ дѣйствительно долженъ былъ сгруппировать около себя большой кружокъ, стать его вдохновителемъ и вождемъ. Столько же вліяло и личное воодушевленіе, служившее для другихъ побудительнымъ примѣромъ. Возражая Гельвецію, сводившему и научную, и творческую славу къ утилитарнымъ побужденіямъ, Дидро не скрываетъ оскорбленнаго чувства. Если это такъ, говоритъ онъ, войдите же въ рабочій кабинетъ ученаго съ пистолетомъ въ одной рукѣ и мѣшкомъ золота въ другой, и мы посмотримъ, промѣняетъ ли онъ на это золото физическую теорію, надъ которой онъ работаетъ; предложите ему постъ перваго министра, и онъ все-таки останется за своими книгами и инструментами. Довольный немногимъ, чуждый исканій выгоды и всему предпочитавшій независимость, Дидро вполне подходилъ самъ подъ такую характеристику настоящаго ученаго.

Послѣ этого понятно, почему изъ всѣхъ наличныхъ тогда передовыхъ писателей именно онъ могъ и долженъ былъ стать во главѣ Энциклопедіи, почему такой отважный въ ту пору замыселъ обязанъ ему всего болѣе своимъ осуществленіемъ. Очень рано, еще съ 1741 года, онъ уже мечталъ о такомъ обширномъ научномъ предпріятіи, которое объединило бы всѣ лучшія силы и повело ихъ на борьбу. Тогда его почти никто не зналъ, теперь же ему стоило созвать подходящихъ людей, раздать работу по рукамъ, и дѣло спорилось. Этихъ людей иногда нужно было просто создавать, — не жалкая же тогдашняя журналистка, съ ея „*Mercure de France*“ или яростно консервативнымъ *Journal*

*) *Oeuvres complètes* (Assézat-Tourneux), vol. VIII.

de Trévoux“, могла дать ему сотрудниковъ, способныхъ сказать толковое слово о разнообразныхъ техническихъ, научныхъ, художественныхъ специальностяхъ! Кто же могъ точно чудомъ отыскивать такихъ людей въ самыхъ неожиданныхъ общественныхъ закоулкахъ, какъ не вѣчный отгадчикъ Дидро? Свободомыслящіе аббаты, молодые военные, моряки, инженеры, наконецъ мелкіе чиновники, близко знакомые съ настоящимъ положеніемъ дѣлъ и съ темными сторонами законодательства, приносили свой вкладъ наравнѣ съ избранными учеными. Наконецъ, если обнаруживалось, что такихъ специалистовъ еще нѣтъ по какой-нибудь важной отрасли, кто замѣнить ихъ всѣхъ самъ, бросаясь скорѣе учиться этому дѣлу, разспрашивать, лишь бы никакого пробѣла не оставалось въ задуманной картинѣ современнаго знанія? Въ своемъ главномъ помощникѣ и соредаторѣ Дидро нашелъ великую поддержку; въ лицѣ Даламбера около него стоялъ истинный ученый, съ авторитетнымъ именемъ, прославленнымъ нѣсколькими открытіями, съ философскимъ взглядомъ на связь и систему наукъ. Но рядомъ съ ровнымъ, сдержаннымъ и мало сообщительнымъ Даламберомъ, натурой глубоко честной, но скорѣе спокойной, которая негодовала сильно, но про себя, и избѣгала лишнихъ рѣзкостей и столкновений, и за то раньше утомилась, необходимъ былъ противовѣсъ въ бурливомъ, неугомонномъ характерѣ Дидро, котораго препятствія только раздражали, вызывая на отпоръ. И если Энциклопедія эффектно открывается обширнымъ и умно написаннымъ манифестомъ новой школы, принадлежащимъ почти исключительно перу Даламбера, если первые семь, восемь томовъ отмѣчены ревностнымъ его сотрудничествомъ, то все же, взвѣсивая степень жертвъ, принесенныхъ обоими друзьями ихъ общему предпріятію, придемъ къ выводу, что дѣло Энциклопедіи въ сущности отождествляется съ заслугой Дидро, и что каждый разъ, когда идетъ рѣчь о вліяніи „энциклопедическихъ идей“, вспоминается о трудѣ человека, который когда-то изъ своей скромной конурки руководилъ европейскимъ движеніемъ.

Нерѣдко въ наши дни можно встрѣтить холодные или

снисходительные отзывы объ этомъ вліяніи *); жрецы благонамѣренности, распространяющіе нетерпимость заднимъ числомъ и на то, что въ давно отжившую пору считалось источникомъ прогресса, пренебрежительно изображаютъ энциклопедизмъ безсодержательнымъ, лживымъ и вреднымъ ученіемъ, — въ глазахъ сторонниковъ новой науки, избалованныхъ ея быстрыми успѣхами и широкими горизонтами, оно является младенческимъ лепетомъ, наивными усиліями побороть почти одними только рационалистическими приѣмами твердыню вѣковыхъ воззрѣній, которую могутъ пробить лишь положительные, научные законы, добытые опытомъ. И въ издѣвательствѣ противниковъ, и въ нѣсколько самодовольномъ взглядѣ сверху внизъ на кропотливыя старанія людей, блуждавшихъ ощупью, поражаетъ почти одинаковое отсутствіе историческаго чутія и привычка безусловно прилагать къ оцѣнкѣ минувшихъ явленій мѣрило нашего времени. Всему своя пора, и будущія поколѣнія, располагая еще болѣе развитой наукой, будутъ, пожалуй, снисходительно вспоминать о самыхъ смѣлыхъ научныхъ гипотезахъ нашей эпохи. Въ цѣли обоихъ редакторовъ Энциклопедіи вовсе и не входило представить современникамъ готовую и разработанную во всѣхъ подробностяхъ философскую систему; сознаніе недостаточности средствъ для этого часто сквозитъ въ ихъ личныхъ признаніяхъ; пробѣлы все-таки были: многое мѣшало сказать неотвязный призракъ гоненій со стороны свѣтской власти, церкви, парламента,—и Даламберу, наприм., часто приходилось, потупившись и стыдясь, отвѣчать на справедливыя нападки Вольтера, осуждавшаго излишнюю сдержанность и недоговоренность иныхъ статей и разъяснять, что они дѣлаютъ, что могутъ при постоянныхъ помѣхахъ. Наконецъ вѣрности обобщеній вредила и неразвитость отдѣльныхъ научныхъ отраслей въ ту пору; въ естественныхъ наукахъ только-что намѣченъ былъ про-

*) Изъ современныхъ Дидро нападокъ на Энциклопедію можно бы составить цѣлую литературу, во всѣхъ родахъ,—въ стихахъ и прозѣ, въ комедіяхъ и памфлетахъ.

грессъ, который опредѣлился лишь къ концу XVIII-го вѣка; въ ботаникѣ не было авторитета выше Линнея; Бюффонъ едва выступалъ на свое поприще и тотчасъ былъ привлеченъ къ участию въ Энциклопедіи; въ физиологіи не было имени знаменитѣе Галлера; геологіи еще не существовало, и Дидро пришлось предугадать ея первые шаги*); химія также располагала лишь слабыми данными и упрочилась только благодаря Лавуазье. Но близость оживленія естествознанія наполняла бодростью и энтузіазмомъ обоихъ основателей Энциклопедіи; богатырь-младенецъ Опытъ дѣйствительно наступалъ, грозно разрастаясь, — и иной разъ трудно было удержаться отъ попытокъ заглянуть вдаль и предугадать результаты этого поступательнаго движенія. Дидро не разъ поддавалъ такому соблазну. Въ гаданіяхъ и предчувствіяхъ, рядъ которыхъ открывается Письмомъ о слѣпыхъ, въ пору изданія Энциклопедіи уже выставилъ замѣчательную по методологической ясности статью „De l'Interprétation de la nature“ (1754) и замыкается усиленными физиологическими разысканіями послѣднихъ лѣтъ жизни Дидро, онъ близко подходитъ къ научной работѣ нашего времени, и, какъ увидимъ далѣе, высказываетъ уже нѣкоторыя изъ основныхъ положеній дарвинизма.

Быть можетъ, предпринятое энциклопедистами сведеніе научныхъ итоговъ было нѣсколько преждевременно, — но жизнь не ждала, потребность въ новыхъ идеалахъ томила пробуждавшееся общество, сберегшее въ своемъ быту и воззрѣніяхъ столько тяжелыхъ отголосковъ суровой и невѣжественной поры и устыдившееся своего умственного рабства. Становилось необходимою собрать все, хотя бы небольшое и не вполне удовлетворительное, что успѣла до той поры добыть наука, и этимъ освѣжить и осмыслить дальнѣйшее движеніе. Возрождавшееся въ то же время политическое самосознаніе, знакомство съ свободными учрежденіями Англіи, объясненными даже заурядному читателю въ

*) Въ своемъ Voyage à Bourbonne et à Langre онъ раньше Бюффона говорилъ уже о геологическихъ переворотахъ.

трудахъ Вольтера, Монтескье, а за ними и нѣкоторыхъ французскихъ юристовъ, научное изученіе социальныхъ вопросовъ, которое должно было отразиться на зарожденіи французской экономической науки въ трудахъ физиократовъ, требовало такого же объединенія силъ и обобщенія результатовъ и въ сложной области гражданской жизни. Задача издателей раздвоилась: точныя знанія должны были дать имъ орудіе противъ омраченія умовъ схоластикой, общественныя же науки—вооружить ихъ противъ стараго порядка въ государствѣ. Каждый новый томъ ихъ сборника наносилъ мѣткій ударъ той, то другой опорѣ этого двоевластія. На дѣлѣ обнаруживалось, какъ важно объединеніе въ подобныхъ вопросахъ. Не было недостатка въ независимыхъ мыслителяхъ и раньше этой поры; одинъ уже шестнадцатый вѣкъ во Франціи выставилъ блестящій рядъ ихъ; и въ политикѣ, и въ религіи, движеніе это никогда не прекращалось. Но всѣ эти люди дѣйствовали порознь, одинъ за другимъ падали подъ бременемъ гоненій или искали пріюта вдали отъ родины; Декартъ кочевалъ по Германіи и умеръ въ Швеціи, Бэйль нашелъ убѣжище въ Голландіи. Здѣсь же впервые выступала стройно, нога въ ногу, точно чудомъ составившаяся армія защитниковъ просвѣщенія,—и при видѣ ея невольно сторонились и смущались тѣ, кто прежде безъ труда расправился бы съ каждою отдѣльною личностью. Этому впечатлѣнію содѣйствовалъ и тонъ статей, по преимуществу трезвый и положительный, лишь по временамъ прикрашенный любимой тогда чувствительною декламацией, и уступавшій мѣсто насмѣшливой полемикѣ и комическимъ выходкамъ лишь въ статьяхъ богословскихъ и церковно-историческихъ, быть можетъ, наиболѣе слабыхъ изъ всего,—что вполне понятно въ эпоху, не вѣдавшую еще научной критики текстовъ, не мечтавшую даже о возможности „исторіи религій“, и склонную видѣть въ каждомъ культѣ прежде всего ткань мифовъ, корыстно придуманныхъ жрецами.

Въ наше время изданіе энциклопедическихъ словарей стало такимъ повседневымъ, почти рыночнымъ дѣломъ, общіе словари выдѣлили изъ себя такое множество справочныхъ

лексиконовъ по специальностямъ, что трудно себѣ представить отличительную особенность родоначальницы всѣхъ энциклопедій. Для этого можно посовѣтовать сличить ее съ одной стороны съ предшествовавшимъ ей, чрезвычайно несовершеннымъ словаремъ Эфраима Чэмберса и съ любымъ изъ популярныхъ сборниковъ нашего времени. Чэмберсъ съ методичностью начитаннаго квакера далъ для своей поры очень пригодную компиляцію техническихъ свѣдѣній, не задумываясь о какой-нибудь связи между научными открытіями. Съ другой стороны, Брокгаузы, Эрши и Груберы, издатели Британской Энциклопедіи, имѣютъ возможность привлечь къ участию въ своихъ сборникахъ лучшихъ спеціалистовъ, чьи статьи, исчерпывающія предметъ, стоятъ иногда обширныхъ изслѣдованій. Ни простоватый Чэмберсъ, ни новѣйшіе энциклопедисты, издатели-магнаты, не въ силахъ, однако, придать своему дѣлу того свойства, которое высоко ставятъ надъ нимъ многолѣтнюю работу Дидро и Даламбера. Она проникнута однимъ духомъ, въ ней чувствуется горячо бьющійся пульсъ, точно это—созданіе одного только человѣка, донесшаго на гигантскихъ плечахъ этотъ трудъ до конца; сотрудниковъ и тогда было много, но они не ограничивались добросовѣстной поставкой заказаннаго имъ матеріала, а сами увлечены были дѣломъ, порою соперничая въ этомъ между собой. Чувствуется правильное раздѣленіе труда и сильное руководство. Понятно, почему Дидро не могъ удовольствоваться предложеннымъ ему сначала планомъ просто переиздать по - французски книгу Чэмберса съ небольшими дополненіями; онъ употребилъ всю свою энергію и убѣдительность, чтобъ склонить издателя замѣнить эту книгопродавческую спекуляцію широкимъ замысломъ многотомнаго и самостоятельнаго словаря, который совмѣстилъ бы не только свѣдѣнія по техникѣ и ремесламъ, но далъ бы полную картину развитія человѣчества. Знаменитый *Discours préliminaire*, пытаясь осуществить то, что грезилось еще Бэкону, въ стройной системѣ опредѣлялъ соотношеніе отдѣльныхъ наукъ, искусствъ, литературы, философіи; эта, всегда остроумно мотивированная, клас-

сификація знаній, стремившаяся уловить естественные переходы мысли отъ одной области къ другой и признававшая въ каждой наукѣ, наравнѣ съ основнымъ ея матеріаломъ, и *исторію постепенную ея развитія*, сама по себѣ придавала начатому труду высокое значеніе для своего времени; точно призывное знамя, развѣваясь при самомъ вступленіи въ бой, она привлекла единомышленниковъ становиться въ ряды. Съ этой классификаціею можно не соглашаться, находить ее неполною (впрочемъ, улучшенная, она отчасти послужила въ нашемъ столѣтіи для классификаціи наукъ Конта), но она всегда останется оригинальнымъ усиліемъ придать развитію мысли единство и гармонію.

Но еще яснѣе становится значеніе Энциклопедіи, когда изучаешь разработку отдѣльныхъ областей знанія или сторонъ быта. Съ обычнымъ спокойствіемъ и догматической ясностью излагались тутъ подѣ соотвѣтствующими рубриками политическіе принципы, прямо противоположные всему духу тогдашней правительственной системы, проникнутые гуманностью, уваженіемъ къ личности и обществу. Въ то время, какъ неспособность, безстыдство и алчность соединялись, чтобъ довести Францію до полного истощенія, и отучали народное мнѣніе отъ всякой самостоятельности, — среди продажности, все охватившей, и судъ, и администрацію, и церковь, поднимавшейся къ самому престолу, — въ царство г-жи Помпадуръ и потомъ madame Du Barry, еще болѣе враждебной порывамъ къ свободѣ, — въ странѣ, гдѣ процвѣтали самые грубые виды барщины, а lettres de cachet давали каждому негодяю изъ чьихъ-нибудь фаворитовъ право самовольнаго нарушенія закона, — Энциклопедія рисовала передъ своимъ читателемъ картину совсѣмъ иной государственной жизни. Тамъ обезпечена свобода мысли, тамъ заботятся о развитіи всѣхъ народныхъ силъ и объ ихъ участіи въ дѣлахъ (статья Représentants), уважается законъ. Ставился вопросъ о томъ, что такое власть (Autorité), какъ она зародилась и чѣмъ держится; въ статьѣ о гоненіяхъ (Persécution) подробно объяснялись всѣ оттѣнки, которые можетъ принимать нетерпимость. Каждый разъ, когда со-

ставитель статьи, какъ бы впадая въ наставительный тонъ справочной книги, которая обязана истолковывать даже общеизвѣстныя вещи, объяснялъ, что такое привилегія, барщина, налогъ на соль, около его объясненія незамѣтно выростала яркая бытовая картина. Читатель видѣлъ, какое множество уродливыхъ привилегій удерживало дворянство; инженеръ, спеціалистъ по проведенію дорогъ, рассказывалъ чуть не въ лицахъ, какъ сгоняють для этого цѣлыя тысячи голоднаго народа, и дорожная повинность (Covvée) выступала со всѣми своими ужасами, истязаніями, повальными болѣзнями; тяжесть и неравномѣрность налоговъ сознавалась съ особой силой послѣ прочтенія такой статьи, какъ описаніе налога на соль, порождавшего столько ропота и возстаній. Земледѣльческій бытъ освѣщенъ рядомъ статей, которыя, если и окрашены нѣкоторою сентиментальностью, внушали уваженіе къ народу и его труду, рѣдкое въ то время, и любовь къ природѣ и простотѣ. Современная Дидро школа фізіократовъ, вдаваясь въ односторонность, во всякомъ случаѣ симпатичную, пыталась свести сущность государственнаго хозяйства къ труду земледѣльца,—Энциклопедія предпочитала вести читателя въ крестьянскую хижину, на поле, и показать, *какъ* живетъ этотъ земледѣлецъ и въ какой степени обезпеченъ его трудъ,—а для контраста могла служить такая статья, какъ „Insolent“, гдѣ достойнѣйшимъ носителемъ этого эпитета названъ тотъ, кто, обладая роскошной обстановкой и сотней тысячъ экю годового дохода, считаетъ, что его отдѣляетъ отъ неимущей массы безмѣрное разстояніе.

Эти демократическія сочувствія вполнѣ естественны у Дидро, вышедшаго изъ трудовой семьи; ему и принадлежать многія изъ бытовыхъ объясненій и политическихъ статей. Вездѣ на первомъ планѣ стоитъ общественное благо, улучшенія, отъ которыхъ станетъ вольнѣе всей массѣ. Склонный, какъ мы видѣли, увлекаться общими идеями, онъ въ то же время усиленно началъ изучать практическія нужды жизни; и въ Энциклопедіи, и въ позднѣйшихъ русскихъ проектахъ Дидро часто поражаетъ обстоятельность этого

изученія, выработаннаго доброй волей. Оба эти свойства, и демократическія симпатіи, и гибкость энергіи не менѣе сильно сказались въ томъ отдѣлѣ словаря, который обыкновенно мало цѣнится, но мѣтко характеризуетъ Дидро. Если происхожденіе вообще располагало его сочувствовать народной массѣ, то въ частности онъ все-таки былъ прежде всего сынъ мастероваго; ремесленный трудъ, его развитіе и успѣхи были ему еще ближе и знакомѣе, чѣмъ сельскій бытъ и его нужды. Возбуждать интересъ къ деревнѣ было, пожалуй, еще легче; горожанина и безъ того манила къ этому быту давнишняя привычка поэтовъ и живописцевъ идеализировать сельское затишье. Но кому было дѣло до душныхъ мастерскихъ, съ ихъ шумомъ и грязью, и кого изъ читателей, воспитанныхъ на идиллическихъ пастушкахъ, могли интересовать закопѣлыя лица и мозолистыя руки чернорабочихъ? Въ ту пору этотъ видъ труда считался, быть можетъ, еще презрѣннѣе землешествства, а между тѣмъ, его издѣлія уже доставляли Французской торговлѣ міровую извѣстность. Дидро рѣшилъ заступиться за эту профессію, потребовать ей уваженія общественнаго, вырвать и самыхъ мастеровыхъ изъ жалкой роли малограмотной, невѣжественной въ техническомъ отношеніи рабочей силы, чуждой прогресса и преданной на произволъ хозяевъ. И этой цѣли должна была послужить Энциклопедія; мало того, Дидро самъ взялъ на себя, вѣроятно къ удивленію для многихъ, составленіе техническаго отдѣла. Онъ собиралъ и читалъ, что можно было найти хорошаго по ремесламъ во всѣхъ литературахъ; начались постоянныя странствія его по фабрикамъ и мелкимъ мастерскимъ, гдѣ онъ самъ учился производствомъ, разспрашивалъ рабочихъ, составлялъ чертежи и записывалъ цифры. Такъ составилось нѣсколько сотъ техническихъ статей его, снабженныхъ приложеніями и рисунками; онѣ, конечно, не входятъ въ полныя собранія его сочиненій, какъ работы компилятивныя,—но кто не скажетъ, что, взятая всѣ вмѣстѣ, онѣ составляютъ такой вкладъ въ его писательскую дѣятельность, который перевѣситъ иныя изъ извѣстнѣйшихъ его произведеній!

Въ вопросахъ литературы и искусства, гдѣ главное руководство опять принадлежало Дидро, Энциклопедія ратовала за возможно большую естественность и близость къ жизни, строго расцѣнивала старыя и наличныя репутаціи и признавала, что наступившій вѣкъ неблагопріятенъ развитію художественнаго творчества, отдавая лучшія силы освобожденію умовъ; немногія почетныя имена уцѣлѣли отъ этого пересмотра, зато окружены они (напр., Вольтеръ) великимъ почетомъ. И въ этой области чувствуется переломъ; необходимы новыя формы и для поэзіи, которая не можетъ отстать отъ общаго движенія. Дидро, способный спускаться изъ заоблачныхъ размышленій, чтобы идти учиться въ мастерскія, выдерживать своего читателя на изображеніи деревенскаго быта, вскорѣ дастъ образецъ „мѣщанской драмы“ съ ея будничными страстями, отъ живописи потребуетъ бытового направленія, актеру укажетъ цѣлью его искусства правдивое воспроизведеніе жизни.

Въ „Interprétation de la nature“ онъ презрительно отзывался о свойствѣ людей науки, названномъ у него „аффектаціею великихъ наставниковъ“ или „целеною, которою они любятъ скрывать природу отъ глазъ народа“. Онъ упрекаетъ даже Ньютона въ недостаточной ясности изложенія его теорій; „поспѣшимъ сдѣлать философію популярною,—говоритъ онъ.—Если мы хотимъ, чтобы философы подвигались впередъ, приблизимъ массу къ той точкѣ, на которой теперь они стоятъ“. И въ статьяхъ Энциклопедіи по точнымъ наукамъ и философіи сказалось то же стремленіе подѣлиться съ массою своимъ знаніемъ, сгладить слѣды розни. Розенкранцъ *) считаетъ одною изъ заслугъ Энциклопедіи, что на смѣну отвлеченнаго теологическаго принципа она всюду выставила принципъ антропологическій, научая разгонять туманъ, которымъ были окутаны основы стараго быта, и давая каждой мыслящей личности право провѣрки и запроса. Всего яснѣе высказалъ это Дидро въ статьѣ „Liberté“, гдѣ отстаивалъ въ особенности свободу изслѣдованія, и

*) Diderot's Leben und Werke, 1866, I, 154.

весь кругъ его ученыхъ сотрудниковъ примѣнялъ ее на дѣлѣ, популяризируя главные результаты англійскаго эмпиризма, считавшагося тогда передовою школою. Такимъ образомъ и для политическихъ и общественныхъ интересовъ, для специальныхъ вопросовъ техники, для литературной и художественной теории и для изученія новаго научнаго движенія Энциклопедія являлась въ свое время лучшимъ источникомъ, на чью помощь могли всегда опереться приверженцы прогресса; проникая постепенно въ края, только-что примкнувшіе къ движенію, она казалась еще болѣе привлекательною; ей они почти всегда были обязаны своимъ возрожденіемъ.

Когда появились первые два тома Энциклопедіи (1751—2) и слышались эти новыя, дышавшія убѣжденіемъ рѣчи, легко представить себѣ, какое впечатлѣніе должны были онѣ произвести; никто, казалось, и не подозрѣвалъ существованія новой силы, которая все росла годъ отъ году, привлекая къ себѣ свѣжія дарованія, располагая вскорѣ избранными сотрудниками, компетентнѣе которыхъ не было въ тогдашней Франціи. Можно ли было отказать въ значеніи изданію, гдѣ однѣ статьи принадлежали Вольтеру, другія—Монтескье, гдѣ Тюрго писалъ о финансахъ, Даламберъ о математикѣ, Бюффонъ объ естественной исторіи! Первое впечатлѣніе было, правда, ненадолго омрачено неожиданно раздавшеюся фальшивой нотой,—диссертациею Руссо о вредѣ наукъ,—этимъ парадоксомъ, къ которому Дидро необдуманно подвинулъ своего друга, не предчувствуя крайности его выводовъ. И въ *Discours préliminaire* сквозить искреннее сожалѣніе объ этомъ шагѣ, безтактномъ въ данную минуту и не выдерживавшемъ строгой критики. Утратить такого единомышленника было бы слишкомъ больно, и издатель успокоивала только мысль, что Руссо все-таки сочувствуетъ Энциклопедіи, въ которой продолжаетъ дѣятельно сотрудничать. На избытокъ знаній не могла, конечно, пожаловаться тогдашняя французская жизнь; напротивъ, истинную науку, свободную отъ схоластики, еще незадолго передъ этимъ скрывали отъ массы за семью печатями, и только усиліямъ

такого гениальнаго популяризатора. какъ Вольтеръ, удавалось прививать ее на родной почвѣ. Пусть искусство и литература въ прежній періодъ слишкомъ подчинились силѣ и блеску власти, и Руссо былъ правъ, называя ихъ развитіе гирляндой цвѣтовъ, обвивающей оковы,—но развѣ нельзя было указать имъ на другіе идеалы, и развѣ не могли они, напротивъ, выводить умы и волю изъ плѣненія?.. Съ этой минуты уже обозначился разладъ между Дидро и его другомъ; Дидро навсегда останется защитникомъ просвѣтительнаго вліянія, будетъ ратовать за движеніе впередъ, и въ угрюмомъ отшельничествѣ, которое съ этой поры усвоиваетъ себѣ Руссо, ему начинается чудиться аффектація.

Недолго смущаясь отпаденіемъ одного изъ близкихъ, издатели напряженно повели свою работу, вызывая тревогу въ противномъ лагерѣ. Враги готовились къ отпору, и вскорѣ борьба закипѣла на всей линіи. Посыпались доносы, клеветы; генеральный адвокатъ Омеръ Жоли де-Флери составилъ себѣ извѣстность краснорѣчиваго оратора, бича философовъ, которыхъ онъ безнаказанно громилъ въ своихъ рѣчахъ, выдергивая изъ Энциклопедіи разнородныя мѣста и освѣщая ихъ по своему; явились увѣщательныя епископскія посланія; заскрипѣли перья пасквильнтовъ, обрызгавшихъ грязью самыя честныя имена; даже на комическую сцену проникла эта язва, и продажный до мозга костей Палиссо по заказу выводилъ на подмосткахъ главныхъ энциклопедистовъ, а кстати и Руссо, послѣдователь котораго въ его комедіи*) ползалъ по сценѣ, доказывая, что это приближаетъ человѣка къ его естественному состоянію. Начался непримѣрный въ литературныхъ лѣтописяхъ слишкомъ двадцатилѣтній мартирологъ, съ приливами и отливами строгости, съ катастрофами и нео-

*) Les philosophes. Героиня пьесы, Сидализа, выставлена жертвой шайки хищниковъ—философовъ, эксплуатирующихъ ее. Философъ Валеръ (Гельвецій) утверждаетъ, что „il n'est qu'un seul ressort, l'intérêt personnel“, что „la franchise est la vertu d'un sot, и секретарь Сидализы, слѣдуя этому буквально, лѣзетъ къ нему въ карманъ. Дидро выведенъ подъ именемъ Dortidius, заявляеть, что истинный ученый — космополитъ, говорить о мѣшанской драмѣ, медицинскихъ курсахъ и т. д.

жиданными возрожденіями. Сначала отдѣльные томы только запрещались, потомъ ихъ стали сжигать, наконецъ, довели самоуправство до того, что захватили всѣ матеріалы для будущихъ томовъ и передали для продолженія изданія— *іезуитамъ*, чтобъ потомъ, убѣдившись въ неспособности ихъ писателей сладить съ этимъ дѣломъ, опять возвратить рукописи Дидро. Противъ него было все, и князья церкви, и янсенистскій парламентъ, не умѣвшій разобраться въ своей оппозиціи королю и назначившій было комиссію для изслѣдованія вредоносныхъ идей сборника *),—и самъ Людовикъ XV, особенно, когда его стала возбуждать Дю-Барри, которая нарочно заказала портретъ Карла I англійскаго, и въ минуты нерѣзительности Людовика подводила его къ портрету, предрекая ему одинаковую участь; враждовала и та, естественно полинявшая и кипѣвшая отъ злобы шайка всякихъ прихлебателей, льстецовъ, плохихъ писателей-авантюристовъ, которые завидовали восходящему блеску философовъ или *іеніевъ*, какъ они ихъ презрительно честили, и всячески старались очернить ихъ,—та шайка, которую Дидро такъ живо вывелъ въ своемъ „Племянникъ Рамо“. За него было нѣсколько передовыхъ кружковъ, руководимыхъ салонами, два, три вліятельныхъ лица, втайнѣ сочувствовавшихъ ему, д'Агессо и особенно Мальзербъ, прятавшій у себя редакціонныя бумаги, которыя онъ, какъ директоръ печати, долженъ былъ конфисковать,—наконецъ, онъ опирался на особенно цѣнное сочувствіе возроставшей массы безвѣстныхъ читателей и подписчиковъ, число которыхъ послѣ четвертаго тома почти достигало пяти тысячъ человекъ. Къ мнѣніямъ Энциклопедіи уже начинала прислушиваться вся Европа: отовсюду приходили выраженія сочувствія, и, насколько официальные французскія сферы вдавались въ безтолково-придирчивое гоненіе,—издали манили къ себѣ, заискивали и расточали обѣщанія люди, жаждавшіе ореола свободомыслія.

*) Комиссія эта никогда не собиралась, но постановленіе парламента было отпечатано съ аллегорическимъ рисункомъ, на которомъ религія побѣждала ложную философію, покрытую звѣриной шкурой. Maurice Tournieux, „Did. et Catherine II“, Temps, 1885, 17 août.

Фридриху было бы лестно имѣть у себя, въ своихъ „прусскихъ Афинахъ“, безъ того уже сильно офранцузенныхъ, не только главную квартиру лучшей арміи, наводившей тогда ужасъ своимъ богатствомъ, но и вліятельный центръ умственной дѣятельности. Екатерина также не разъ поднимала вопросъ о перенесеніи Энциклопедіи въ Россію, гдѣ ее почему-то предполагали одно время печатать въ Ригѣ *). Правда, ни одинъ изъ этихъ замысловъ не былъ особенно серьезенъ. Екатерина, очевидно, думала не столько о полномъ воспроизведеніи труда энциклопедистовъ, сколько о переизданіи словаря специально для Россіи съ пропускомъ статей, неудобныхъ по русскимъ условіямъ. Кромѣ того, она сдала это на руки Бецкому, въ рѣшительную минуту спряталась за его непроницаемость, — какъ будто онъ могъ оставаться для Дидро сфинксомъ (le sphinx) **), еслибъ она захотѣла настоять на открытомъ образѣ дѣйствій! И щедрое обѣщаніе необходимой суммы денегъ ***) не вышло изъ области благожелательныхъ фразъ. Да и самъ Дидро, повидимому, никогда особенно не вѣрилъ въ серьезность этого предложенія и во время переговоровъ постоянно переходилъ отъ выраженія удовольствія къ разочарованіямъ.

Всѣ эти зазывы были несостоятельны въ самой сущности. Для обоихъ издателей недостаточно было бы только перевезти свои бумаги и корректуры въ другой городъ; вездѣ имъ недоставало бы той нравственной атмосферы, которую

*) „Екатерина II и Даламберъ“. Историч. Вѣстн. 1884, апрѣль—май, гдѣ напечатаны интересныя письма Даламбера по поводу его приглашенія въ Россію. Дидро предлагалъ устроить два склада изданій, одинъ въ Петербургѣ, другой—въ Амстердамѣ, и рекомендовалъ Екатеринѣ Жана Ступа (Stoupe), главнаго агента французскихъ издателей энциклопедій.

**) Quelle apparence que votre sphinx et moi, n'ayant pu nous arranger en cinq mois de temps, l'un à côté de l'autre, nous nous arrangions mieux à la distance de huit cents lieues? спрашивалъ Дидро Екатерину. „Сборн. Рус. Историч. Общ.“, XXXIII.

***) Всего издержано было на Энциклопедію $1\frac{1}{2}$ милліона ливровъ или 300 тыс. рублей; для довершенія изданія требовалось 40,000 руб. Доходъ исчислялся въ $2\frac{1}{2}$ мил. ливр. Подробности въ наброскѣ Дидро „Sur l'Encyclopédie“, напеч. въ газетѣ „Temps“, 1885, 18 авг., Мор. Турне.

давали имъ Парижъ, дружескій кружокъ, полный единомыслія, общеніе съ живою, интеллигентною частью родного общества, традиціи научной свободы и независимаго литературнаго развитія, не порывавшіяся никогда, даже въ разгаръ деспотизма Людовика XIV. Это на дѣлѣ долженъ былъ испытать Дидро въ Петербургѣ, гдѣ человѣкъ пять, шесть искренно къ нему расположенныхъ едва могли отвлечь его вниманіе отъ злобной подозрительности остального свѣтскаго общества *). Переселиться куда-нибудь цѣлымъ кружкомъ было слишкомъ неисполнимо. Такая мысль пришла однажды Вольтеру, но при совершенно исключительныхъ обстоятельствахъ, которыя одни только и могутъ объяснить ее. Незадолго передъ тѣмъ разыгрался аббевильскій процессъ шевалье Де-ла-Барра, котораго сожгли за *предполагаемое* оскорбленіе имъ святыни и у котораго нашли много вольтеровскихъ и иныхъ вольнодумныхъ сочиненій. Казнь была такъ жестока и несправедлива, выказывала такую жажду жертвъ, что Вольтеромъ овладѣла одна изъ рѣдкихъ у него минутъ панической боязни, когда онъ самъ начиналъ себя считать психически-больнымъ. Ему показалось небезопаснымъ его убѣжище въ Фернэ, и онъ сталъ убѣждать друзей выселиться разомъ въ какой-нибудь укромный уголокъ, наприм., въ городокъ Клеве, гдѣ его обѣщали укрыть, и только краснорѣчивое письмо Даламбера могло разсѣять его опасенія и доказать необходимость остаться на своемъ посту.

Но и Даламберъ не выдержалъ постоянного напряженія борьбы, несмотря на строгую послѣдовательность его характера и сильно развитое чувство собственного достоинства, которое такъ рельефно отражается, наприм., въ каждой строкѣ недавно открытыхъ его писемъ къ Екатеринѣ. Академическія отношенія, смутная потребность въ покоѣ и мирномъ воздѣлываніи науки, прерываемомъ изрѣдка произ-

*) Шведскій посланникъ въ Петербургѣ, баронъ Нолькенъ, прямо говорить о „la jalousie, la plus envenimée“. La politique de Diderot, статья М. Турнэ, Nouv. Revue, 1883, 15 sept.

несеніемъ изящно написанной похвальной рѣчи (éloge), взяли верхъ надъ воинствующимъ жаромъ. Это разочарованіе было для Дидро ударомъ несравненно мучительнѣе неожиданнаго отщепенства Руссо въ самомъ началѣ изданія. Вся судьба дѣла была поставлена на карту; завоевавъ столько, приходилось сложить оружіе. Но и тутъ не упала его энергія; напротивъ, она точно удесятирилась отъ новаго несчастья; онъ не послушалъ совѣтовъ Даламбера остановить изданіе, предложеній Вольтера помочь ему перенести печатанье въ другую страну. „Покинуть дѣло,—писалъ онъ раньше, тоже въ критическую минуту,—значило бы отступить въ виду пробитой бреши, и исполнить то, чего желаютъ негодяи, преслѣдующіе насъ“. „Я знаю, — писалъ онъ Вольтеру теперь,—я знаю, что этому хищному звѣрю нечѣмъ питаться; не имѣя подъ рукой іезуитовъ, которыхъ онъ могъ бы пожирать, онъ бросится на философовъ. Онъ обратилъ на меня свой взглядъ, и я буду истребленъ, быть можетъ, прежде другихъ“,—и все-таки онъ оставался у своего дѣла, досадуя иной разъ на себя за излишнюю вѣру въ возможность лучшихъ дней.—И черезъ семь лѣтъ одиночной издательской работы, отдавъ почти треть жизни на этотъ трудъ, онъ былъ, наконецъ, у пристани и могъ съ гордостью оглянуться на величественное многотомное изданіе,—одинъ изъ удивительныхъ памятниковъ человѣческой энергіи и воодушевленія. Многое измѣнилось съ той поры и въ социальной жизни Европы, и въ наукѣ; старые боги, какъ всегда, скрылись въ таинственный сумракъ; мало кто возьметъ теперь въ руки старомодные съ виду, запыленные томы, откуда нѣкогда разносилось повсюду свѣжее дыханіе весны. Но вдумчивый человѣкъ не отложитъ равнодушно въ сторону этой книги, гдѣ запечатлѣлись горячія стремленія давно минувшаго поколѣнія къ цѣлямъ, которыя всегда останутся дорогими для человѣчества. „Здѣсь,—какъ выразился Морлей,—передъ нами не надгробный памятникъ египетскаго царя, поражающій взоры своими уродливыми развалинами, вызывая въ насъ бесплодные воспоминанія; эти развалины скорѣе похожи на мрачныя обломки стѣнъ старой крѣпости,

которая была сооружена мощными руками людей, вѣровавшихъ въ свое дѣло, и изъ которой отрядъ бойцовъ нѣкогда выступилъ на-встрѣчу шайки варваровъ для борьбы за чело-вѣчество и за правду“.

III.

Дидро въ рабочей комнатѣ за статьей для Энциклопедіи, — и тотъ же Дидро въ простомъ черномъ нарядѣ за столомъ въ дружескомъ салонѣ, гдѣ вокругъ него нѣсколько остроумныхъ и красивыхъ женщинъ и кучка такихъ же, какъ онъ, находчивыхъ и интеллигентныхъ собесѣдниковъ, — какъ будто два различныхъ лица. Между тѣмъ, онъ вездѣ остается вѣренъ себѣ, вездѣ безъ раздумья растрчиваетъ свои умственные богатства, и на пользу науки, и для надобностей салонной, веселой перестрѣлки. На него возбуждающимъ образомъ дѣйствовали обычные члены его кружка, и творческая способность разгоралась на удивленіе всѣмъ. Современники въ одинъ голосъ называютъ его неподражаемымъ въ искусствѣ вести бесѣду, затрогивать въ ней разнообразныя темы, смѣшивая патетическое съ смѣшнымъ, философскій споръ съ остроумнымъ анекдотомъ; молва о Дидро, какъ рассказчикъ, не давала покою Екатеринѣ, и въ ея желаніи видѣть его у себя, вѣроятно, немалую роль играла надежда услышать эту удивительную импровизацію.

Можно ли было остаться хладнокровнымъ слушателемъ, когда забавнѣйшій оригиналъ, крохотный итальянскій аббатикъ Галіани изумлялъ общество фейерверкомъ неожиданныхъ выходокъ, острыхъ словъ, мѣткихъ критическихъ оцѣнокъ, являясь то прозорливымъ политикомъ, то знатокомъ искусства, — а потомъ вдругъ принимался доказывать, съ таинственнымъ видомъ, что глубоко вѣрить въ переселеніе душъ, убѣдившись, что въ его любимой обезьянкѣ скрыта душа государственнаго мужа древности! Рядомъ съ нимъ гремѣлъ противъ суевѣрій и ханжества либеральный аббатъ Мореллэ, столь же страстный любитель парадоксовъ, раскрывавшій, наприимѣръ, основы „новой кометологии“, доказывая, что „заблужденія челоувѣчества возвраща-

ются периодически, точно кометы, и что поэтому со временемъ будетъ легко вычислять эпоху ихъ возвращенія^{*)}. Изрѣдка вставлялъ свое бойкое слово Гриммъ, этотъ международный *commis-voyageur* новой философіи, человѣкъ безъ глубокихъ убѣжденій, но находчивый, быстро схватывавшій все на лету, всего знавшій понемногу, дѣловой и юркій, какъ Фигаро, и благодаря этой юркости, бойкому критическому чутью и неутомимому жужуканью завоевавшій себѣ имя—даже въ литературной исторіи того времени. А изъ-за него виднѣлась изящная голова Гельвеція, и слышалась его неторопливая, точно отточенная рѣчь; Рейнальдъ, полный воспоминаніями о тиранніи плантаторовъ, приносилъ свои декламации о народныхъ правахъ и всеобщемъ братствѣ,—а въ первые годы лились огненнымъ потокомъ рѣчи Руссо, еще не порывавшаго тогда съ кружкомъ.

Подъ этими сложными впечатлѣніями не могла замереть ни на минуту умственная энергія Дидро, и въ этомъ можно часто видѣть источникъ различныхъ его начинаній. Какъ и въ молодости, онъ искалъ дружескихъ связей съ этими людьми, но часто и горько ошибался въ своемъ выборѣ. Задуманная близость съ Руссо превратилась со временемъ въ непримиримую вражду,—быть можетъ, единственную тяжкую размолвку во всей жизни нашего философа. Кропотливые біографы входятъ въ подробное изученіе этого разногласія, открывая причины его иногда въ ничтожныхъ дрязгахъ; сторонники того или другого изъ разошедшихся друзей усиливаются сложить вину непременно на одну только сторону. Такія психологическія загадки не рѣшаются сплеча, заставляя всегда предполагать вліяніе тонкихъ и сложныхъ условій, ускользающихъ отъ потомства. Знаемъ только, что Дидро горячо привязался къ товарищу, мыкавшему выѣстъ съ нимъ первые годы нужды, и старался вліять на него, останавливая отъ ошибокъ. Потомъ прошла метеоромъ странная исторія первыхъ диссертаций Руссо, сложи-

^{*)} Morellet, Oeuvres. Essai d'une nouvelle cométologie, Mélanges, tome IV; также его Mémoires sur le 18—me siècle et la révolution, 1821, I.

лась роль его, какъ отшельника, нелюдима, судьи нравовъ; слышался учительный тонъ, самомнѣіе, болѣзненная подозрительность; несчастная мысль уединиться въ Эрмитажъ, гдѣ, по мѣткому выраженію Дидро, онъ заперся виѣстѣ съ несправедливостью, этою печальною подругой *), дала ему время передумать въ одиночествѣ по множеству разъ свои мрачныя подозрѣнія. Дидро не стерпѣлъ, высказался слишкомъ горячо, отмѣчалъ всякую непослѣдовательность друга, и размолвка усилилась. Но онъ же нѣсколько разъ протягивалъ руку, и сначала успѣшно,—онъ искренно жалѣлъ о прежнихъ дняхъ, и искалъ посредничества; но разладъ былъ непоправимъ, растравляемый ложными друзьями и преувеличенный манією Руссо вездѣ предполагать преслѣдованія и подкупы. Дидро, быть можетъ, долженъ былъ опредѣленнѣе стать на эту точку зрѣнія и скорѣе пожалѣть о несчастномъ больномъ, чѣмъ желчно порицать его. Но этотъ взглядъ на характеръ Руссо сталъ доступенъ лишь нашему поколѣнію, заручившемуся разнообразными и интимными данными для пониманія внутренней его жизни**), но какъ же трудно было увѣровать въ ненормальность его душевнаго состоянія Дидро, когда изъ-подъ того же пера, которое изливало на него такъ мало заслуженныя проклятія, выходили прекраснѣйшія произведенія, дышавшія талантомъ и которыхъ Дидро не могъ не оцѣнить! Тяжело читать нѣкоторыя страницы почти предсмертной работы его, „Опыта

*) Письмо отъ января 1757 года: „Oh! Rousseau! Vous devenez méchant, injuste, cruel, féroce, et j'en pleure de douleur... Mon ami, croyez moi, n'enfermez point avec vous l'injustice dans votre asile. C'est une fâcheuse compagne“.

**) Не только развязка его несчастной жизни, одно время ваставлявшая предполагать самоубійство, но и другіе, наиболѣе тревожные періоды ея вызываютъ теперь изслѣдованія психіатровъ, установившихъ, кажется, исторію его сложныхъ недуговъ, начиная отъ маніи величія, боязни преслѣдованій, мучительной ипохондріи, до страданій мочевого пузыря, томившихъ Руссо до самой смерти и не поддавшихся тогдашнему варварскому леченію. Ср. статью др. Ж. Руссеа: J. J. Rousseau, son état pathologique, sa mort, ses enfants, въ сборникѣ Grand—Cartéret „Rousseau jugé par les français d'aujourd'hui“, 1890. Также кн. докт. Julius Hildebrand, Rousseau vom Standpunkte der Psychiatrie, 1884.

о жизни и произведеніяхъ Сенеки“, гдѣ онъ воспользовался чисто внѣшнимъ поводомъ, чтобы нарисовать отталкивающій образъ Руссо, правда, не называя его по имени,—но многое въ этомъ раздраженіи объясняется ни на чемъ серьезномъ не основанною ненавистью къ нему Руссо, который сначала считалъ его „своимъ Аристархомъ“ и подчинялся его совѣтамъ, а потомъ приписывалъ ему низкіе замыслы, черня его даже въ наиболѣе тяжкія минуты жизни философа. „Вы не можете не знать о преслѣдованіяхъ, которымъ онъ подвергается, — писалъ ему съ негодованіемъ Сень-Ламберъ, пытавшійся ихъ примирить,—и вы хотите слить голосъ стариннаго друга съ криками завистниковъ! Не могу скрыть отъ васъ, до какой степени эта злоба меня возмущаетъ! *).“

Вмѣсто Руссо довольствоваться людьми въ родѣ Гримма, прежнюю дружбу великаго несчастливца замѣнить пріятельскою эксплуатаціей со стороны ловкаго карьериста, — злая шутка судьбы! Гриммъ неотвязно слѣдуетъ за Дидро всюду, по своему высоко цѣнитъ его, живетъ въ значительной степени его умомъ, украшаетъ его сотрудничествомъ свои литературныя предпріятія и пробирается къ цѣли, извиваясь во всѣ стороны и вырабатывая своею непринужденною и остроумною болтовней, цѣпившеюся на вѣсь золота, почти геніальныя способности вселенскаго сплетника. Довѣрчивый Дидро многого не замѣчаетъ въ дѣйствіяхъ и пріемахъ этого друга, цѣпкаго, точно чужеродное растеніе,—только иногда попрекаетъ его непомѣрною дипломатичностью и умѣньемъ тонировать. Близко сойтись они не могли, и Гриммъ скорѣе имѣлъ для него привлекательность вѣчно оживленнаго и находчиваго пріятеля на всѣ руки, способнаго отогнать невеселыя мысли и выручить изъ любого затрудненія. Съ Даламберомъ его соединяли болѣе искреннія связи, но современемъ пришлось убѣдиться, что и его единомыслию есть предѣлы. Близость съ Фальконе-томъ, въ которомъ ему нравились восторженное отношеніе

*) Письмо отъ 10 октября 1758 (Streckeisen-Moultou, Rousseau, ses amis etc.).

къ искусству и философскій складъ ума, порвалась съ отъѣздомъ художника въ Россію, а когда они свидѣлись тамъ, совсѣмъ остыла передъ непостижимой холодностью Фальконета. Вольтеръ еще сильнѣ привлекалъ Дидро, и постоянное общеніе ихъ могло бы съ великой пользою отразиться на обоюдной ихъ дѣятельности; но Вольтеръ былъ далеко, на немъ долго тяготѣло вліяніе его воспитанія, первоначальной среды и придворныхъ отношеній, сказывавшееся иногда въ поступкахъ, которыхъ не могъ одобрить демократъ Дидро *), и только когда на склонѣ лѣтъ проявилась окончательно величавая личность Вольтера съ его любовью къ людямъ, горячимъ заступничествомъ за гонимыхъ и борьбой съ невѣжествомъ, симпатіи Дидро всецѣло закрепились за нимъ.

Не побаловавъ его удачей въ дружбѣ, судьба поставила, наконецъ, на его пути любящую и развитую женщину, способную его понять. Мы мало знаемъ Софи Волянъ, не имѣемъ ни обрывка ея переписки съ Дидро, и самые проникательные искатели любовныхъ увлеченій великихъ людей не въ состояніи передать намъ, какъ завязывались эти отношенія, были ли минуты полного обладанія, или же вся эта любовь была только прекрасною мечтой утомленнаго жизнью старика, которому рѣдко приходилось бывать по долгу вмѣстѣ съ любимой дѣвушкой, и оставалось бесѣдовать съ нею въ длинныхъ и искреннихъ письмахъ, гдѣ отражались всѣ тревоги дня **). Но чувствуется, что появленіе этого умнаго существа многое освѣтило въ его жизни и поддержало интересъ къ дѣятельности. Такія женщины, какъ

*) Въ примѣчательномъ письмѣ къ Нэжону, называвшему Вольтера неблагодарнымъ, завистливымъ, безумнымъ, и ставившаго ему въ вину любезность съ Мопу, Дидро вспоминаетъ съ уваженіемъ, что сдѣлалъ онъ, конечно, несвободный отъ слабостей, для человечества; „придетъ время, когда онъ станетъ великъ, а его противники покажутся ничтожны. Что касается меня, еслибы у меня была губка, чтобы омыть его, я протянулъ бы ему руку, помогъ бы выйти изъ грязи и очистилъ его, какъ дѣлаетъ антикварій съ старинной, но потускнѣвшей бронзой“.

**) Къ такому взгляду склонялся Сентъ-Бѣвъ, которому принадлежатъ одни изъ лучшихъ этюдовъ о Дидро (въ *Portraits littéraires* и *Causeries du lundi*).

Софи Воланъ или *mademoiselle de l'Espinasse*, подруга Даламбера, игравшая такую же роль въ его жизни, и изъ скромной компаньонки въ аристократическомъ домѣ ставшая одною изъ руководительницъ общественнаго мнѣнія, — такія женщины были предвѣстницами типическихъ женскихъ характеровъ конца столѣтія, г-жи Роланъ или г-жи Сталь; подруги обоихъ философовъ не выработали еще въ себѣ способности активно принимать участіе въ политической или общественной дѣятельности, но имѣли задатки большихъ способностей, научной подготовки и тонкаго вкуса, — и Дидро безъ всякой натяжки могъ вывести подругу Даламбера дѣйствующимъ лицомъ въ двухъ своихъ діалогахъ (особенно въ „Снѣ Даламбера“), гдѣ онъ поднималъ важнѣйшіе вопросы философіи и естествознанія.

Письма къ Софи Воланъ занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ кругу произведеній Дидро, который высказываетъ въ этой непринужденной рамкѣ всѣ свои дарованія мѣткого наблюдателя, критика, образцоваго прозаика. Но тотъ, кто возьметъ въ руки эти письма въ надеждѣ найти тутъ сладкорѣчивыя изліянія старческой любви, жестоко ошибется. Видно, что Дидро, принимаясь писать, сознавалъ, что ни съ кѣмъ такъ откровенно не можетъ говорить о своихъ помыслахъ и планахъ, что никто такъ близко не приметъ ихъ къ сердцу. Раза два, три послышится въ его письмахъ голосъ чувства, но съ какою простотой! „Дорогая моя, какъ я васъ люблю, какъ я васъ уважаю! Въ десяти мѣстахъ письмо ваше наполнило меня радостью“, — вотъ все, что онъ позволить себѣ сказать. Часто принимались они мечтать, какъ соединятся, наконецъ, купятъ себѣ маленькую дачу (*un petit château*) и скромно будутъ жить въ ней. Мечты эти такъ и не осуществились никогда. Семья Софи сначала косо смотрѣла на сближеніе ея съ человѣкомъ женатымъ, отцомъ семейства, старикомъ, къ тому же ославленнымъ вольнодумцемъ, — и всѣми силами старалась разлучить ихъ. Но онъ одержалъ верхъ и надъ этимъ нерасположеніемъ, заставилъ себя полюбить родныхъ своей подруги, поддерживалъ и съ ними оживленную переписку. Порвать съ прошлымъ не

хватало силъ: больная жена, подроставшая дочка-умница и баловница отца напоминали о связяхъ съ старымъ очагомъ, — и онъ разрывался между чувствомъ долга и новою сильною привязанностью. До чего она была сильна, показываетъ настойчивость, съ которой онъ отказывался покинуть Парижъ, несмотря на всѣ приглашенія Екатерины. „Я въ состояніи видѣть мой домъ превращеннымъ въ пепель, и не встревожиться, — писалъ онъ Фальконету, — видѣть мою свободу въ опасности, мою жизнь испорченною, и всевозможныя бѣдствія надвигающимися на меня, лишь бы она была со мной“. „Я знаю, — говорилъ онъ далѣе, отвѣчая на совѣты отплатить любезностью русской государынѣ, сдѣлавшей ему столько добра, — я знаю, что у меня теперь двѣ повелительницы, но моя подруга — первая изъ нихъ и по старшинству важнѣйшая“. Онъ, наконецъ, рѣшился оторваться хоть на время отъ этихъ узъ, и десять мѣсяцевъ провелъ безъ нея. Даламберъ былъ послѣдовательнѣе, и предпочелъ разнымъ льготамъ въ Россіи свой уголъ и „общество друзей“. За то, когда Софи умерла раньше его (1783), Дидро видимо сталъ гаснуть и болѣе уже не оправился.

Постепенно приближаясь къ концу Энциклопедіи и приобрѣтая болѣе досуга, Дидро перенесъ свою энергію на осуществленіе новыхъ работъ. Онъ не понималъ холоднаго, размѣреннаго труда, и самъ разсказалъ Екатеринѣ въ недавно найденномъ наброскѣ „*Sur ma manière de travailler*“, какъ онъ обыкновенно принимался за дѣло. Сначала справлялся онъ, не выполнено ли оно кѣмъ-нибудь лучше его, затѣмъ начиналъ обдумывать вопросъ, и „думалъ о немъ вездѣ, днемъ, ночью, въ обществѣ, на улицѣ, и эти мысли преслѣдовали его“. Онъ ихъ набрасывалъ на большомъ листѣ бумаги, по мѣрѣ того какъ онѣ возникали, потомъ приводилъ въ порядокъ, почти никогда не переписывая; только тогда прочитывалъ онъ, что другіе написали о томъ же предметѣ, и иной разъ разрывалъ свою работу; возраженія и разногласія его не тревожили, — „горе тому произведенію, которое не вызываетъ раскола въ мнѣніяхъ (*malheur à*

l'ouvrage qui n'excite point de schisme)*, говорил онъ *). Отъ несправедливаго часто суда современниковъ взывалъ онъ къ болѣе прозорливому суду потомства; онъ не могъ никогда сойтись во мнѣніи съ Фальконетомъ о назначеніи творчества, не могъ удовлетвориться самоуслажденіемъ художника, довольнаго своей работой, или слишкомъ дорожить сужденіями своей поры, такъ мало склонной терпѣть свободное слово. Онъ не понимаетъ ироническихъ усмѣшекъ своего возражателя, который удивлялся, что можно заботиться о славѣ, наступающей, когда человѣка уже нѣтъ въ живыхъ**). Ему вѣрится, что его поймутъ лишь въ послѣдствіи, когда замолкнуть его страстныя рѣчи, и новое поколѣніе, свободное отъ дѣдовскихъ предразсудковъ, вспомнить о своемъ далекомъ предшественникѣ. „Что такое въ сущности созданіе поэта, оратора, философа, художника? Разскажь о нѣсколькихъ счастливыхъ минутахъ его жизни, которыя онъ ревниво пытается отстоять отъ забвенія“,—и въ этой вѣрѣ въ возможность завѣщать лучшіе свои помыслы отдаленнѣйшимъ поколѣніямъ сказалось любимое представленіе Дидро о безсмертіи человѣческой мысли, единственномъ видѣ безсмертія, которое онъ признавалъ. Оттого-то такъ много вполне законченныхъ и зрѣлыхъ его произведеній были сознательно оставлены имъ въ его бумагахъ и увидѣли свѣтъ лишь въ нашемъ столѣтіи.

Но у него не было самомнѣнія, столь обычнаго у такихъ дальнозоркихъ мыслителей; онъ не выдавалъ себя за рѣшителя всѣхъ основныхъ вопросовъ. Его „Разговоръ одного философа съ женою маршала ***“, повидимому автобиографически точно воспроизводящій бесѣду его съ умной герцогиней де-Броль, служить въ томъ порукой. Съ недовѣріемъ подходитъ его собесѣдница къ спору съ „безбожникомъ“ и постепенно смягчается, видя передъ собой не фанатика, вѣрящаго исключительно въ свою идею, но человѣка, ко-

*) Nouvelle Revue, 1883, 15 septembre.

**) Переписка Дидро съ Фальконетомъ объ этомъ предметѣ, служившая продолженіемъ ихъ постоянныхъ споровъ въ Парижѣ, предназначена была самимъ Дидро къ выпуску отдѣльной книгой, но изданіе не состоялось.

торый хочет лишь отстоять себя право пройти своимъ путемъ. Онъ признается, что „вовсе не ищетъ прозелитовъ и оставляетъ каждаго вѣрить по своему“; онъ не выставляетъ себя образцомъ нравственности, но думаетъ, что его образъ дѣйствителен и отношенія къ людямъ не хуже поведения искренно набожнаго человѣка. Быть можетъ, онъ заблуждается, но врядь ли заслуживаетъ порицанія, — и тутъ, во вкусъ того времени, вводитъ онъ опять аллегорическую картинку, рассказывая о судьбѣ молодого мексиканца, который не вѣрилъ розказнямъ стариковъ, будто за моремъ есть опять земля, гдѣ властвуетъ строгій, безпощадный правитель; морскимъ теченіемъ уноситъ юношу вдаль, въ то время, какъ онъ заснулъ крѣпкимъ сномъ на доскѣ, лежавшей на берегу. Передъ нимъ волшебная страна, „тотъ берегъ“; въ трепетѣ видитъ онъ осуществленіе того, что отвергалъ разумомъ; встрѣтивъ на берегу самого царя, сѣдовласаго, почтеннаго старца, онъ заранѣе готовится погибнуть. Но тотъ видитъ насквозь всѣ его помысленія, видитъ его искренность и не отталкиваетъ его. „Поставьте себя на мѣсто этого старика, — говоритъ нашъ философъ своей собесѣдницѣ, — что бы вы сдѣлали, еслибъ кто-нибудь изъ вашихъ прелестныхъ шести дѣтей отважился уйти изъ дому и, надѣлавъ много глупостей, съ сокрушеннымъ сердцемъ захотѣлъ бы возвратиться?—Я побѣжала бы ему на-встрѣчу, прижала бы къ груди, обливая его слезами“... И, понемногу сдаваясь на его доводы, герцогиня почти въ одно слово съ Дидро приходитъ къ убѣжденію, что жить нужно такъ, „какъ будто этотъ прозорливый и всепрощающій старецъ существовалъ“ (*le plus court est de se conduire comme si le vieillard existait*).

Не разъ слышалъ онъ даже отъ людей расположенныхъ къ нему упрёки въ недостаточной практичности его взглядовъ, способныхъ осуществиться лишь въ отдаленномъ будущемъ; таковы многіе отзывы Екатерины; его указанія реформъ и задачъ законодательства казались ей по большей части радужными химерами, и высоко ставила она надъ ними умѣнье принимать требованія минуты. Но Дидро (и это-

го почти никто не хочет замѣтить) самъ очень скромно, хотя съ полнымъ достоинствомъ, принимаетъ эту точку зрѣнія,—онъ непрактиченъ, но все-таки долженъ высказать свое мнѣніе. „Для нея,—говорить онъ объ Екатеринѣ,—должно являться чѣмъ-то въ родѣ забавы, если она примется отдѣлять разстояніе, которое отдѣляетъ философа - систематика, устраивающаго счастье общества, покоясь на своемъ изголовьѣ, отъ великой правительницы, которая съ утра до вечера встрѣчаетъ помѣхи малѣйшему задуманному ей добру“... „Понимать, каковъ *долженъ бы быть* порядокъ вещей—дѣло человѣка разсудительнаго; знать, каковъ этотъ порядокъ въ дѣйствительности —удѣлъ человѣка опытнаго; указать, какъ измѣнить его наилучшимъ образомъ — задача человѣка гениальнаго“. Исполнять ли его совѣты, онъ не знаетъ и плохо надѣется на то. „Философу,—говорить онъ въ другомъ мѣстѣ,—приходится ожидать, что развѣ одинъ изъ пятидесяти королей захочетъ воспользоваться его работами, а пока онъ долженъ разъяснять людямъ ихъ неотъемлемыя права“,—и въ своей „*Morale des rois*“ составляетъ сатирическій кодексъ правилъ, которыми обыкновенно руководится высшая политика.

Въ ряду работъ, сначала смежныхъ съ Энциклопедіей, потомъ выступившихъ на первый планъ, изученію политическихъ и социальныхъ вопросовъ предшествовала, однако, полоса чисто литературныхъ и художественныхъ работъ,—Дидро попытался и здѣсь явиться освободителемъ отъ рутины.

Въ старину, когда на дѣло критики смотрѣли иными глазами, видѣли въ ней скорѣе мелкіе, хоть и вѣрные, придирки и уколы простого здраваго смысла или притязанія педантизма, роль творчества казалась такою недосыгаемою, что безсчетное число разъ твердили, что критикомъ быть легче, чѣмъ творцомъ. Если эту избитую сентенцію измѣнить въ томъ смыслѣ, что критическая и творческая способность почти никогда съ одинаковой силой не совмѣщаются въ одномъ и томъ же лицѣ, — Дидро, какъ драматургъ и сценическій критикъ, явится убѣдительнымъ тому примѣромъ. Исторія

драмы всегда будетъ съ признательностью отмѣчать пере-воротъ, произведенный имъ въ теоретическихъ основахъ и задачахъ сценической поэзии, но пройдетъ вѣжливымъ молчаніемъ его собственныя пьесы, которыми онъ поддерживалъ свои теоріи. Такъ, Бѣлинскій высказалъ много тонкихъ замѣчаній о лучшихъ русскихъ комедіяхъ, — его же единственную комедію врядъ ли кто станетъ читать. Если гдѣ-нибудь избытокъ чувствительности губилъ Дидро, такъ именно въ его трогательныхъ драмахъ; сколько ни влагалъ онъ въ нихъ души, какъ ни старался иногда сдѣлать ихъ отраженіемъ пережитыхъ имъ самымъ минутъ *), настоящей драматической жизни въ нихъ нѣтъ. Не такъ смотрѣли, однако, на нихъ его современники; въ его репутаціи немалое мѣсто занимала слава его, какъ драматурга, пьесы его обошли всю Европу, въ Германіи поддержали реформаторскую дѣятельность Лессинга **), въ Россіи были переведены по нѣскольку разъ ***). Но, какъ только перейдемъ отъ этихъ самостоятельныхъ попытокъ къ его теоретическимъ работамъ (предисловія къ пьесамъ, Парадоксъ объ актерѣ), и обнаружимъ побужденія, увлекшія его на поприще драматурга, та же освѣжающая струя охватитъ насъ и здѣсь. Дидро и въ этой области—выразитель требованій новаго времени, заступникъ за низшіе общественные слои, выдвигаемые впередъ самою жизнью. По воспоминаніямъ молодости онъ еще любитъ старика Корнеля, звучные стихи Расина тѣшатъ его, но онъ все-таки требуетъ мѣста на сценѣ плебейскимъ страстямъ и людямъ, передъ которыми вскорѣ стала дѣйствительно отступать толпа королей и героевъ, такъ долго властвовавшая въ трагедіи. Реформа,

*) Въ *Отцѣ семейства*, актъ I, сц. 7, разсказана имъ вся исторія первой встрѣчи и сближенія съ женой.

**) Съ своей стороны Дидро цѣнилъ высоко заслуги Лессинга и предполагалъ въ послѣдніе годы жизни выпустить отдѣльнымъ сборникомъ нѣсколько переводныхъ пьесъ, подтверждающихъ его теорію, — въ томъ числѣ «Миссъ Сару Сампсонъ».

***) *Побочный сынъ* выдержалъ въ русскомъ переводѣ три изданія, 1765 — 88; *Отецъ семейства* былъ переведенъ два раза.

давно уже назрѣвавшая, проведена была имъ твердою рукою; трудами Дидро и вѣрныхъ его послѣдователей, Бомарше и Лессинга, новый родъ сценической поэзіи, *драма*, получилъ право гражданства. Театральная публика нашего времени, не понимающая болѣе драматическаго произведенія безъ вѣрнаго отраженія дѣйствительности, не сознаетъ, конечно, какъ много она обязана этимъ сближеніемъ драмы съ жизнью пропагандѣ Дидро,—точно такъ же, какъ въ нашихъ требованіяхъ правдивой, реальной игры и усиливающейся нелюбви къ ходульности одною изъ исходныхъ точекъ былъ „Парадоксъ объ актерѣ“, до сихъ поръ высоко цѣнимый въ ряду лучшихъ руководствъ къ сценической technikъ. Дидро одинаково остерегалъ актера и отъ напыщенной декламации, и отъ привычки „играть душою“ (*jouer d'âme*) или *нервами*, какъ мы говоримъ. Онъ думалъ, что насъ „никогда не могутъ совсѣмъ захватить поступки или игра человѣка съ бурными страстями, котораго мы видимъ въ возбужденномъ состояніи, и что это преимущество дано лишь тѣмъ, кто умѣетъ владѣть собой“*). На своемъ опытѣ онъ извѣдалъ необходимость одолѣть слишкомъ легко воспламеняющуюся чувствительность, и хотѣлъ подѣлиться этимъ опытомъ съ актеромъ, призваннымъ художественно воспроизводить жизнь. Но за то онъ требуетъ отъ него пристального изученія человѣческой природы и общественнаго быта со всѣми его развѣтвленіями; спокойно взвѣшивающая и организующая мысль должна потомъ примѣнять эти наблюденія къ передачѣ каждаго отдѣльнаго характера.

Дидро былъ и въ живописи такимъ же дилеттантомъ, какъ въ драматическомъ искусствѣ; онъ не умѣлъ и не желалъ щеголять знаніемъ мелкихъ техническихъ уловокъ. Но, одаренный тонкимъ вкусомъ, разгадавъ и тутъ потребность

- *) Его взглядъ на задачи актера до сихъ поръ еще раздѣляетъ специалистовъ на два лагеря, и противъ такихъ пламенныхъ защитниковъ переживанія артистомъ сполна всѣхъ волненій дѣйствующаго лица, какъ Сальвини, стоятъ такіе сторонники Дидро, какъ одинъ изъ яркихъ представителей реализма на сценѣ, Кокленъ. Дидро, впрочемъ, съ тонкимъ умысломъ указалъ на то, что высказываетъ лишь „парадоксъ“.

въ обновленіи, располагая большими свѣдѣніями по исторіи искусства и всегда вводя его явленія въ кругъ человѣческаго развитія, онъ объяснялъ въ своихъ художественныхъ отчетахъ прошлое и современное направленіе живописи, ея будущія задачи, какъ никто не умѣлъ этого дѣлать до него, — да и впослѣдствіи немногіе изъ художественныхъ критиковъ могли подняться до его уровня. Его иногда называютъ творцомъ театральнаго и художественнаго фельетона *), и съ этимъ можно, пожалуй, согласиться, если принять понятие о такомъ фельетонѣ въ самомъ лучшемъ его смыслѣ, какъ изящную, непринужденную бесѣду умнаго и знающаго человека, который хочетъ поднять вкусъ средняго читателя и въ легкой формѣ раскрываетъ передъ нимъ основы предмета. Но этого опредѣленія недостаточно. Къ умѣнью критически освѣщать явленія и теоріи у Дидро присоединялась прелесть слога, то трезваго, то насмѣшливаго, то поэтическаго и восторженнаго; неожиданно разворачивалась тутъ картина историческаго момента, характеристика художника, остроумная страничка изъ парижской жизни; выступала порою личность самого критика, его друзей, ихъ разговоры, остроты. По выраженію самого Дидро, это была иногда бесѣда, которая какъ будто ведется вокругъ камина, или же изслѣдованіе о серьезныхъ вопросахъ, захватывающихъ всего человѣка. Розенкранцъ мѣтко сравниваетъ его въ этомъ отношеніи съ Гейне, и въ „Салонахъ“ и въ произведеніяхъ всего послѣдующаго періода находитъ черты, позволяющія счесть Дидро какъ бы современнымъ намъ писателемъ. Но подумать только, какая это была безпечная затрата остроумія и вкуса! Такому „фельетонисту“ нужно было бы въ наше время стоять во главѣ большаго и вліятельнаго органа, располагая огромной арміею читателей, а Дидро приходилось писать свои отчеты о художественныхъ выставкахъ или „Салонахъ“ для пресловутой *Литературной корреспонденціи* Гримма, предназначенной лишь для восьми государей Европы и небольшого числа богачей, которые могли доставить себѣ дорогую по тому времени

*) Edmond Scherer. Diderot, étude. 1880.

роскошь прямыхъ сообщеній съ парижскимъ интеллигентнымъ центромъ; лишь позднѣйшее потомство могло вполне ознакомиться съ этими работами, писанными для привилегированной публики.

Работалъ онъ надъ своими „Салонами“ съ юношескимъ увлеченіемъ,—точно тридцати тяжелыхъ лѣтъ передъ тѣмъ и не бывало. Четырнадцать дней подъ рядъ писалъ онъ, напримѣръ, „Салонъ“ 1765 года, днемъ и ночью. Гриммъ стоялъ за нимъ, то понукая къ работѣ, то безжалостно урѣзая лучшія и слишкомъ свободныя страницы, замѣняя ихъ общими мѣстами. Но и постоянное вышательство Гримма не ослабляло увлеченія Дидро этимъ дѣломъ, и съ 1759 до 1781 года, т. е. почти до смерти, не прекращалъ онъ своихъ критическихъ этюдовъ. И здѣсь тотъ же походъ, направленный теперь противъ застарѣлой манерности живописи и скульптуры, которыя не могли высвободиться изъ-подъ гнета античныхъ героическихъ сюжетовъ и задыхались въ академическихъ позахъ и ситуаціяхъ, или же льстили придворной утонченности, покрывая стѣны раззолоченныхъ гостиныхъ вычурными произведеніями, съ подкрашенной природой и жеманными лицами. Дидро старается увлечь современныхъ художниковъ на просторъ: вмѣсто изображенія подстриженныхъ парковъ онъ требуетъ широкой разработки пейзажа, ведетъ ихъ въ деревню, въ поля, въ глушь и дичь, даже въ развалины; ложные пасторальные сюжеты должны уступить мѣсто изображенію быта и лицъ самыхъ низменныхъ, простыхъ людей; жанръ является вполне законнымъ направлениемъ. За такую картину, какъ „Деревенскій сговоръ“ (*L'accordée du village*) Греза онъ готовъ отдать всѣ розовые и небесноглубые плафоны Ватто и его школы, всѣ задрапированные на римскій ладъ портреты и статуи; Верне воспроизводитъ ему настоящій французскій ландшафтъ, не отступая передъ рѣзкими тонами и угловатыми чертами, и онъ окружаетъ его рѣдкою любовью; Лепрэнсъ выставляетъ бытовые рисунки изъ русско-й жизни, и Дидро чрезвычайно заинтересованъ изображеніемъ страны, которую вскорѣ долженъ былъ увидеть.

Не отказывая и другимъ видамъ живописи въ значеніи, онъ находить для нея наиболѣе настоящимъ въ данную минуту изученіе быта, которое проникало тогда во всѣ отрасли умственной дѣятельности. Его радовала связь ихъ усилій, и любимого своего комическаго писателя Седэна, одного изъ „реалистовъ“ прошлаго вѣка, онъ мѣтко называлъ „Грезомъ комедіи“. Но его пора не была богата сильными талантами; онъ старался поэтому ободрить малѣйшій проблескъ дарованія, объяснялъ художнику его задачу и безпошадно громилъ промахи. Его страшила возрастающая практичность вѣка, которая могла, казалось ему, убить воодушевленіе, стремленіе къ идеалу. „Салоны“ проникнуты двойственнымъ желаніемъ — научить искусство слѣдовать жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ сберечь ему идеальное содержаніе. Эта двойственность постепенно охватывала всю дѣятельность Дидро.

Но научныя работы и отклоненія въ міръ искусства бывали для него часто отравлены тягостными житейскими впечатлѣніями; по временамъ, когда усиливалась реакція, онъ видѣлъ, какъ противъ него и его друзей ополчалось въ обществѣ все, питавшееся старымъ порядкомъ и теперь встревоженное опасностью потерять свое значеніе. Въ минуту раздраженія противъ этихъ вѣчныхъ интригъ и шипѣнья клеветы задуманъ былъ „Племянникъ Рамо“, вполне оконченный, какъ полагаютъ теперь, лишь во время поѣздки Дидро въ Россію и Голландію. И на этотъ разъ авторъ не рассчитывалъ на гласность и не позаботился о напечатаніи этого діалога. Если-бъ случай не указалъ на него одному родственнику Шиллера, служившему въ Петербургѣ, гдѣ хранилась эта рукопись вмѣстѣ съ другими бумагами философа, если-бы этимъ произведеніемъ не увлеклись оба великихъ нѣмецкихъ поэта, и Гете не обнародовалъ его въ мастерскомъ нѣмецкомъ переводѣ, потомство долго не узнало бы объ одномъ изъ оригинальнѣйшихъ созданій Дидро, которое такъ живо возсоздаетъ и его личность, и среду, гдѣ прошла его дѣятельность, что въ немъ какъ будто замеръ въ неизмѣненномъ видѣ день изъ его жизни, какъ за-

стываютъ въ потокѣ лавы обломки давно минувшаго быта. Мы видимъ Дидро на обычной одинокой прогулкѣ по Парижу; онъ задумался, витаетъ Богъ въстѣ гдѣ, „гоняясь за какою-нибудь мыслью, преслѣдуя ее, какъ молодые вертопрахи преслѣдуютъ приглянувшуюся имъ уличную красотку“. Онъ садится на любимую свою скамью въ Пале-Рояль, входитъ въ Café de la Régence и смотритъ тамъ на ходы шахматныхъ игроковъ, не отдавая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаетъ. Поднявъ глаза, онъ видитъ передъ собой давно знакомую ему фигуру кочующаго искателя приключеній и незамѣтно увлекается разговоромъ съ этою жалкою личностью. Слѣдомъ за нимъ читатель все глубже въдается въ ихъ отношенія, слѣдитъ за споромъ, видитъ ихъ жесты и выраженіе лицъ, принимаетъ къ сердцу каждое колебаніе полемики. Дидро безсознательно приблизился къ высшему совершенству драматическаго творчества въ этомъ діалогѣ, написанномъ лишь для себя или для немногихъ близкихъ, тогда какъ остался далеко позади тѣхъ же требованій въ своихъ драмахъ, заботливо построенныхъ и обращенныхъ къ большой публикѣ. Его діалогъ свободенъ отъ обычнаго недостатка такихъ произведеній, — оба собеседника не тѣни, а живые люди, съ яркими особенностями характера; интересъ не сосредоточенъ на одной лишь сторонѣ; ничтожный знакомецъ философа вовсе не изъ числа автоматовъ, выводимыхъ, чтобы говорить несообразности, разбиваемыя потомъ самимъ мудрецомъ. Онъ отталкиваетъ васъ, и въ то же время, какъ замѣтилъ еще Гете, заинтересовываетъ своей нравственной низостью. Разговоръ идетъ впередъ живо, бойко, пересыпанный остротами, мѣткими возраженіями, эпизодическими рассказами; Дидро всегда высоко ставилъ искусство выразительной пантомимы, — и герой діалога выступаетъ не только во всеоружіи безстыдной діалектики, но и со всѣми изгибами мастерской мимики, которая отражаетъ въ себѣ всѣ его ощущенія и превращается подчасъ въ краснорѣчивую поэму безъ словъ.

Противники французской литературы прошлаго вѣка (напр., Тэнъ въ своихъ „Origines de la France contemporaine“)

упрекали ее иногда малочисленностью созданных ею цѣльныхъ и живучихъ типовъ. „Племянникъ Рамо“ — одно изъ блестящихъ возраженій на эти упреки. Изобразивъ въ главной личности отгѣнокъ характера, подмѣченный имъ въ современномъ обществѣ, Дидро сумѣлъ разгадать въ немъ общечеловѣческія черты, всегда и вездѣ приложимыя. Пусть частица этого характера заимствована у дѣйствительно существовавшей личности племянника извѣстнаго композитора Рамо, — который на дѣлѣ былъ скорѣе довольно добродушнымъ юродивымъ; пусть поводомъ къ созданію діалога выставляють недостойныя нападки на лучшихъ людей со стороны продажнаго Палиссо, — все это еще не опредѣляетъ настоящей заслуги Дидро. Онъ не только вжился въ антипатичную ему личность клеветника и паразита, и представилъ его себѣ въ различныхъ случайностяхъ жизни, но выдвинулъ основныя черты всѣхъ подобныхъ характеровъ. Его паразитъ — не жадный и лѣнивый приживальщикъ, какого рисовали еще римскіе комики и сатирики; изъ забавной личности онъ сталъ почти трагическимъ характеромъ, несмотря на напускную шутливость. У него есть кое-какіе задатки и стремленія, но онъ чувствуетъ, что никогда не поднимется надъ уровнемъ посредственности, изъ это сознание гложетъ его; общественный строй отвелъ ему самое жалкое мѣсто, принуждая быть лизоблюдомъ у богачей, которые гораздо глупѣе его, жить плутовскими продѣлками, морочить легковѣрныхъ, лстить, смѣшать и кривляться, въ то время какъ внутри его кипитъ зависть и злоба на всѣхъ, кому жить хорошо. По себѣ онъ измѣряетъ ощущенія и нравственное достоинство другихъ людей, не вѣрить ни въ одно порядочное чувство, подозрѣвая вездѣ эгоистическій расчетъ, стараніе выгоднѣе продать и купить, — онъ даже охотно будетъ въ этомъ посредникомъ. Сына своего, еще ребенка, воспитываетъ онъ въ поклоненіи *червонцу*, дразня разгорающуюся у того жажду денегъ плохо положеннымъ луидоромъ; жену онъ усиленно научалъ пользоваться молодостью и красотой, и если жалѣетъ, что ея нѣтъ болѣе около него, то, конечно, потому, что эти уроки не принесли всей желаемой пользы.

У него свои счеты съ обществомъ и своя борьба за существованіе, для которой онъ нашель философское оправданіе, — „въ природѣ всѣ породы животныхъ пожирають одна другую, въ обществѣ истребляютъ другъ друга всѣ сословія“. Онъ не можетъ помириться съ мыслью, что въ то время, какъ онъ голодаетъ, „въ Парижѣ накрыты десять тысячъ прекрасно сервированныхъ обѣдненныхъ столовъ, каждый на пятнадцать или двадцать человѣкъ, — и ни одного куверта не поставлено для него; что есть кошельки полные золота, льюшагося направо и налево, а ему не достается изъ нихъ ни одного червонца; что тысячи говоруновъ, бездарныхъ и ничтожныхъ, презрѣнныхъ интригановъ хорошо одѣты, а онъ долженъ ходить въ лохмотьяхъ!..“ Но въ его мечтахъ о лучшемъ порядкѣ вещей нѣтъ мѣста равенству. Подобно гоголевскому городничему, которому послѣ жизни въ черномъ тѣлѣ грезится, какъ идеаль, возможность когда-нибудь самому помыкать другими, важничать и держать людей въ трепетѣ, Рамо сладострастно рисуетъ себѣ блаженную минуту, когда онъ будетъ богатъ и станетъ по своему извлекать пользу изъ богатства. „Тогда-то я припомню все, что я отъ нихъ выносилъ, и возвращу имъ съ придачей то, что они для меня сдѣлали. Я люблю повелѣвать, и буду поведѣвать; я люблю, чтобъ меня хвалили, и меня стануть хвалить. У меня будетъ на жаловань толпа льстецовъ, шутовъ и паразитовъ. Я буду имъ говорить то же, что мнѣ говорили: „ну, негодяи, потѣшайте меня“, — и меня стануть потѣшать; „разорвите мнѣ на клочки честныхъ людей“, и ихъ разорвуть, если только найдутъ такихъ людей“. И въ превосходно переданной пантомимѣ онъ уже видитъ себя богачемъ; у него полный домъ, тонкія вина, мягкая постель, прекрасный экипажъ, хорошенькія женщины, сотня льстецовъ, которые доказываютъ ему, что онъ великій человѣкъ. Онъ жмурится отъ удовольствія, важничаетъ передъ своими клеветами, то выгоняя ихъ отъ себя, то снова милостиво принимая, потомъ опускается на мягкое ложе и засыпаетъ сладкимъ сномъ, обнаруживая своимъ безцеремоннымъ храпѣніемъ, что ему все позволительно, — и только пробужденіе изъ этихъ

грезъ показываетъ ему снова его жалкую участь; тщетно озирается онъ, ища воображаемыхъ поклонниковъ, которые какъ будто за минуту передъ тѣмъ пресмыкались у его ногъ.

Такой человѣкъ долженъ вдвойнѣ ненавидѣть тѣхъ докучныхъ моралистовъ, философовъ и публицистовъ, которые осмѣливаются напоминать обществу о другихъ идеалахъ, бросая этимъ тѣнь на происки шайки, работающей надъ общественной деморализаціей. И Рамо съ друзьями ненавидитъ *genièux*, не только какъ мыслителей, чья высокая даровитость уже раздражаетъ ихъ, но и какъ честныхъ людей, наставниковъ толпы. Стоитъ посмотрѣть, какъ потѣшается вся его компанія, когда она въ сборѣ, накормлена кѣмъ-нибудь изъ милостивцевъ и въ хищномъ расположеніи духа; для нихъ тогда нѣтъ лучше занятія, какъ ругать и чернить всѣ порядочныя репутаціи, доказывая, что судъ толпы несправедливъ, „что у Вольтера нѣтъ генія, что Бюффонъ просто болтунъ, что у Катоновъ въ миниатюрѣ въ родѣ Дидро сдержанность и скромность скрываютъ зависть и гордость“. „Мы наѣдаемся, точно волки, послѣ того, какъ земля долго пробыла подъ снѣгомъ, и какъ тигры рвемъ въ клочки все, что имѣетъ успѣхъ“—говоритъ Рамо. Оттѣсненная на время преобладаніемъ высшихъ культурныхъ интересовъ, эта нишая братія заскучала въ своемъ ничтожествѣ и точить зубы не только на сытныя обѣды, но и на вліятельную роль въ обществѣ. Вѣдь эти люди убѣждены, что зло на землѣ всегда исходило отъ гениальныхъ людей, что ребенка, который при рожденіи могъ бы чѣмъ-нибудь предвѣщать слишкомъ сильное развитіе ума, слѣдовало бы скорѣе умертвить; они издѣваются надъ фанфаронствомъ Сократа, не вѣрятъ ничьему благородству, и сами ни передъ чѣмъ не остановятся,—и Рамо, передавъ назидательный анекдотъ о ловкомъ плутѣ, сумѣвшемъ обобрать доврчиваго человѣка и во-время донести на него инквизицію, на этомъ примѣрѣ показываетъ, до чего самъ могъ бы дойти при случаѣ.

Отвращеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ жалость вызываетъ въ философа эта нахальная исповѣдь. Самъ онъ не раздражается нападками такихъ личностей. „Я считалъ бы себя оскорблен-

нымъ,—говорить онъ Рамо,—еслибъ меня стали хвалить тѣ, которые позорятъ столькихъ талантливыхъ и честныхъ людей.“ Но ему тяжело чувствовать и себя, и свое дѣло окруженнымъ такими подкопами. Этотъ разговоръ напомнилъ ему, *идѣ* назрѣвали клеветы и гоненія, отъ которыхъ онъ искалъ наконецъ отдохновения въ далекой поѣздкѣ въ Россію. Но чувствительность взяла-было и тутъ верхъ надъ гадливостью. Ему захотѣлось удержать этого неглупаго малаго отъ окончательнаго паденія. Не тяготится ли онъ такою жизнью? Ничуть не бывало; онъ „гордится тѣмъ, что и теперь все тотъ же, какимъ былъ прежде“, и молить небо, чтобъ „это несчастіе продолжалось еще лѣтъ сорокъ. *Rira bien qui rira le dernier!*“ Очевидно, онъ твердо увѣренъ, что настанетъ наконецъ и на ихъ улицѣ праздникъ, и что тогда вся свора паразитовъ возьметъ свое.

IV.

Въ числѣ оригинальныхъ противоположностей, изъ которыхъ сотканъ былъ характеръ Дидро, не послѣднее мѣсто занимаетъ контрастъ между лихорадочной подвижностью его натуры и привычками домосѣда. Этотъ человѣкъ, который вѣчно рвался впередъ, заглядывалъ вдаль, — долго не выѣзжалъ изъ предѣловъ Франціи, да и въ ней лучше всего зналъ, послѣ своей родины, Парижъ, и нѣсколько помѣстій своихъ друзей, гдѣ гостилъ иногда лѣтомъ. А между тѣмъ старая французская неподвижность, порожденная гордымъ сознаніемъ своей культуры, лучше которой нигдѣ не найдешь, уже уступала мѣсто частнымъ попыткамъ знакомства съ другими странами. Вольтеръ полжизни кочуетъ по Европѣ, Монтескье то появляется въ Италіи, то въ Вѣнѣ и Бѣлградѣ, то учится политической мудрости у англичанъ, Бомарше шутя переносится изъ Мадрида въ Лондонъ, изъ Амстердама къ австрійскому двору, и изъ вѣнской тюрьмы опять въ разгаръ парижской жизни,—о колоніяхъ французовъ въ Берлинѣ, Женевѣ, Петербургѣ и говорить нечего. Но на Дидро вліяла не на-

циональная гордость, которою онъ вовсе не страдалъ; привычка десятки лѣтъ подъ рядъ стоять за работою Энциклопедіи не давала ему досуга для путешествій, а дружескія связи убаюкивали его, приучая къ отдыху и нѣгѣ среди своихъ. Между тѣмъ широко задуманное путешествіе по новымъ странамъ, съ типическими особенностями быта и нравовъ, предпринятое въ болѣе ранніе годы, могло бы въ значительной степени расширить его кругозоръ и обогатить наблюдениями его соціологическія теоріи*). Это обнаружилось послѣ первой же сколько-нибудь серьезной его поѣздки, предпринятой уже на склонѣ лѣтъ въ Голландію. Какъ только увидалъ онъ передъ собою новыя формы быта, такъ разгорѣлась его любознательность, пошли сравненія и выводы; протестантизмъ, видѣнный вблизи, и умѣнье голландцевъ спокойно пользоваться свободными учреждениями, произвели на него сильное впечатлѣніе, заставили отбросить прежніе предразсудки, и въ „Voyage de Hollande“ сложилась живая и сочувственная картина жизни, такъ мало походившей на французскую. Съ нѣмецкой наукой онъ былъ уже знакомъ еще въ Парижѣ, удвоилъ свои свѣдѣнія послѣ поѣздки черезъ Германію въ Петербургъ, поддерживая съ тѣхъ поръ сношенія съ образованными нѣмцами; произведенія его послѣдней поры, особенно „Планъ университета для Россіи“, свидѣлствуютъ о рѣдкомъ у тогдашнихъ французовъ знакомствѣ съ состояніемъ германской науки.

Но за этими двумя странами, которыя съ теченіемъ вре-

*) Въ старые годы даже Руссо находилъ полезнымъ и для своего друга, и для успѣховъ новаго культурнаго движенія частые объѣзды различныхъ странъ; ему хотѣлось привлечь къ тому и другихъ выдающихся мыслителей, направляя ихъ поѣздки не только въ просвѣщенные государства, но и въ Турцію, Египетъ и т. д. Въ мечтахъ онъ возвращался къ тому времени, „когда народы не мѣшались въ философію, а Платоны, Оалесы и Пифагоры, охваченные страстной жаждой знанія, предпринимали обширныя путешествія съ единственною цѣлью учиться и заходили въ даль, чтобъ сбросить ярмо національныхъ предразсудковъ и лучше понимать людей, узнавъ черты ихъ сходства и различія“ (Discours sur l'origine de l'inégalité). Одно время составлялись даже планы совместной поѣздки Дидро, Руссо и Гримма въ Италію.

мени начали его интересоваться, выдвигалась новая, совершенно ему невѣдомая, которой суждено было заслонить надолго въ его глазахъ всѣ остальные, — Россія.

Съ русскими людьми онъ до той поры мало сходилъ, да и тѣ, кто попадался ему на глаза въ Парижѣ, не могли остановить его вниманія ни умомъ, ни оригинальностью. По большей части это была знатная молодежь, считавшая долгомъ сѣздить хоть разъ на поклонъ къ европейскимъ свѣтиламъ, въ Парижъ или Фернэ, выпрашивая себѣ иногда для этого какія-нибудь мелкія порученія у императрицы. Только два лица составляли исключеніе изъ этой довольно безцвѣтной кучки русскихъ выѣзжихъ галломановъ, князь Д. А. Голицынъ и княгиня Дашкова; къ нимъ сводятся первыя нити сближенія Дидро съ русскими дѣлами вообще. Роль князя Голицына въ кружкѣ французскихъ философовъ до сихъ поръ очень мало изслѣдована, и, быть можетъ, въ семейныхъ бумагахъ кого-нибудь изъ его потомковъ еще найдутся новыя данныя для характеристики времени и для біографіи отдѣльных лицъ. Недавно его тоже зачислили въ кругъ людей, которые выказывали интересъ къ новой философіи скорѣе лишь потому, что видѣли въ этомъ средство быть угодными Екатеринѣ *), — но для этого утвержденія нѣтъ достаточныхъ основаній. Голицынъ воспитанъ былъ во Франціи, наравнѣ съ лучшей частью тогдашней французской молодежи, выросъ въ поклоненіи энциклопедистамъ, жилъ въ Парижѣ частнымъ лицомъ до своего назначенія посланникомъ и тѣсно сблизился со многими изъ передовыхъ дѣятелей, въ особенности съ Дидро и Гельвеціемъ; послѣдній сдѣлалъ его своимъ литературнымъ душеприкащикомъ, и посмертная книга Гельвеція „De l'Homme“ была издана Голицынымъ. Въ его дальнѣйшей дѣятельности встрѣчаются непоследовательности, нерѣдкія у новообращенныхъ русскихъ людей того времени, — и самую крупную изъ нихъ, конечно, была нерѣшимость его въ вопросѣ объ осво-

*) Такъ смотритъ на него г. Бильбасовъ въ своей книгѣ „Дидро въ Петербургѣ“, 1884.

божденіи крестьянъ; въ ту минуту, когда слѣдовало показать примѣръ частной инициативы, въ немъ вдругъ проснулись наслѣдственные инстинкты большого барина и крупного собственника *). Но отвлеченные интересы къ умственному движенію никогда не прекращались у него, напротивъ, стали еще болѣе развиваться послѣ переѣзда въ Гагу и брака съ дочерью Фридриховскаго генерала фонъ-Шметтау, тою Fürstin Amalie von Gallitzin, которая сдѣлала изъ его дома литературный салонъ, занявшій на нѣкоторое время видное мѣсто въ исторіи новой нѣмецкой литературы, и привлекала къ себѣ разностороннимъ развитіемъ и искреннимъ отношеніемъ къ людямъ даже тогда, когда отъ безусловнаго увлеченія наукой и дружбы съ первыми учеными Голландіи и Германіи она перешла къ піэтизму, лишенному ханжества и удовлетворявшему ея внутреннимъ потребностямъ **). Наконецъ стремленіе къ знанію и безпокойная пытливость передалась его дѣтямъ, и сынъ его Дмитрій, сначала усвоившій себѣ новую науку, увлекся возможностью принести пользу въ Новомъ свѣтѣ, въ нетронутой средѣ, перешелъ въ католичество, выселился въ Америку и почти полъ-вѣка (1799—1840) провелъ въ глуши Делавара, проповѣдуя, строя школы, стирая съ себя всѣ остатки аристократизма и пытаясь вліять на паству въ духѣ первобытной простоты ***).

Такова была полу-русская, полу-иноземная семья, гдѣ съ годами Дидро привыкъ находить радушный пріемъ, гдѣ его

*) Разборъ роли Голицына въ ряду попытокъ крестьянской реформы подробно сдѣланъ въ статьѣ В. И. Семеваго: „Крестьянскій вопросъ при Екатеринѣ“, Русская Старина, 1882, августъ.

**) Гете высоко ставилъ ее, какъ женщину, находя, что въ ней соединяется искренняя религіозность, любовь къ добрымъ дѣламъ и умѣренность, съ интересами къ философіи и искусству. Ея кружокъ въ Мюнстерѣ былъ предметомъ обстоятельныхъ монографій.

***) Память о немъ хранится и до сихъ поръ. Въ нью-іоркскомъ журналѣ Harper's Monthly, 1883, августъ, можно найти рисунокъ его могилы. Онъ основалъ среди Аллеганскихъ горъ городъ Лорето съ монастыремъ и двумя школами, и неподалеку отъ него другой городокъ, названный его фамильнымъ именемъ (his name survives in the neighbour—town of Galizin).

снарядили въ путь въ далекую Россію, гдѣ онъ отдыхалъ на возвратной дорогѣ, и написалъ нѣсколько лучшихъ своихъ произведеній. Но на Голицынѣ слишкомъ ярко лежалъ отпечатокъ полу-парижанина, нѣсколько отвыкшаго отъ родной своей обстановки. Появленіе во французской столицѣ Дашковой показало Дидро образецъ умной русской женщины, усвоившей себѣ многое изъ круга новыхъ воззрѣній, казалось, смотрѣвшей на все независимо и оригинально, и въ то же время еще полной свѣжихъ впечатлѣній пробуждавшейся русской жизни. Она щеголяла тѣмъ, что ни съ кѣмъ не хочетъ сближаться въ Парижѣ, кромѣ Дидро, и завладѣла имъ совершенно, увлеченная сама его бесѣдой и безконечными разспросами. Характеръ русскаго народа, главные начинанія новаго царствованія, взгляды на воспитаніе, литературу, искусство, все обсуждалось тутъ, и конечно, Дашкова была постоянно на готовѣ, чтобъ не отстать отъ собесѣдника, не дать себя застигнуть врасплохъ и слишкомъ не разоблачить темныхъ сторонъ русскаго быта. Разговоръ долженъ былъ коснуться крѣпостного права, чье существованіе было въ глазахъ искреннихъ энциклопедистовъ, въ родѣ Дидро, необъяснимымъ противорѣчіемъ съ официальною программой автора Наказа. Дашкова сама позаботилась записать въ подробности этотъ разговоръ, въ которомъ она съ большою отвагой забросала Дидро тѣми мнимо-практическими ссылками на непомѣрные трудности осуществленія реформы и доказательствами довольства крестьянскаго населенія, которыя такъ часто пускались въ ходъ защитниками стараго порядка. Открытый недавно и напечатанный г. Бартеневымъ *) болѣе исправный и полный текстъ записокъ Дашковой несравненно характеристичнѣе прежнихъ редакцій (въ лондонскомъ и нѣмецкомъ изданіяхъ) обрисовываетъ впечатлѣніе, произведенное этими искусными доводами на Дидро. „Онъ пораженъ былъ мѣткостью моего объясненія и въ припадкѣ страстнаго увлеченія сказалъ“ и т.-д. — такъ читали мы до сихъ поръ. Совсѣмъ иная картина представ-

*) Архивъ князя Воронцова, XXI.

ляется теперь. „Онъ вскочилъ со стула, точно движимый какою-то механическою силой, послѣ сдѣланнаго мною небольшого очерка; принялся ходить большими шагами, и, плюнувъ на полъ, почти гнѣвный проговорилъ, не переводя духа: Что вы за женщина! Вы колеблете во мнѣ мысли, которыя я питалъ и лелѣялъ въ продолженіе двадцати лѣтъ!“ (Quelle femme vous êtes! Vous bouleversez des idées que j'ai chéries et nourries pendant vingt ans). Не пассивную уступчивость человѣка, тотчасъ сдавагося на опроверженіе, видимъ мы тутъ, но глубокое недовольство и досаду на аргументы, разсѣять которые онъ не можетъ, не зная близко русскихъ условій, и сожалѣніе, что сомнѣніе все-таки закралось къ нему; двадцать лѣтъ, какъ видимъ, думалъ онъ объ этомъ вопросѣ, вѣроятно, надѣясь дожить до торжества новыхъ идей и въ освобожденіи русскаго крестьянства, и теперь остановился въ недоумѣніи передъ доводами, которые приводила эта умная и сильно интересовавшая его женщина. Но онъ не сдался, и въ Петербургѣ снова попытался разспросить объ истинномъ положеніи дѣлъ. Въ богатомъ сборникѣ анекдотовъ, острыхъ словъ и любопытныхъ происшествій, составленномъ извѣстнымъ острякомъ прошлаго вѣка Шанфоромъ, намъ встрѣтился записанный очевидно изъ первыхъ рукъ разговоръ Дидро съ Екатериной о томъ же предметѣ. „Дидро, увидавъ въ Россіи особый классъ крестьянъ-рабовъ, называемыхъ мужиками, отличающихся страшною бѣдностью, изъѣденныхъ на-сѣкомыми и т. д., описывалъ императрицѣ ихъ состояніе въ ужасающей картинѣ. Она отвѣчала ему: —какъ же вы хотите, чтобъ они заботились о своихъ домахъ, когда они въ нихъ только жильцы!“ (comment voulez vous qu'ils aient soin de la maison, ils n'en sont que locataires)*). Въмѣсто указанія на настоятельность и близость реформы онъ услышалъ только уклончивыя общія мѣста; доводы Дашковой повторялись здѣсь не разъ въ улучшенной формѣ, перешли и въ перепис-

* Oeuvres choisies de Chamfort, publ. par Lescure, 1879, II, 50. Этотъ рассказъ взятъ изъ найденныхъ въ наше время бумагъ Шанфора.

ку Екатерины съ Дидро; русское крестьянство съ его до-вольствомъ и добрыми помѣщиками являлось здѣсь, какъ и въ письмахъ къ Вольтеру, безсмѣнной темой. Отмолчался и графъ Минихъ, котораго онъ попробовалъ спросить о томъ. Дидро никогда не узналъ всей истины.

Какъ бы то ни было, русскія дѣла все сильнѣе начинали интересовать его; посредничество Голицына и Дашковой облегчало сношенія, письма Екатерины звучали необыкновенно любезно, и вскорѣ Дидро, незамѣтно для себя, сталъ чѣмъ-то въ родѣ негласнаго русскаго уполномоченнаго въ Парижѣ по дѣламъ литературы, искусства, театра. Онъ указывалъ картины для Эрмитажа, специалистовъ по разнымъ отраслямъ, Фальконета для петровскаго памятника, Мерсье де-ла Ривьера (и очень неудачно) для поправленія русскихъ финансовъ, актеровъ для французской сцены въ Петербургѣ *) и т. д. Когда же, стараніями Голицына, состоялась покупка въ Россію библіотеки Дидро, оставленной притомъ въ пожизненное его пользованіе, эта щедрота наложила извѣстныя обязательства на нашего философа, онъ становился какъ бы своимъ человѣкомъ, на него уже имѣли права, и съ этой минуты неотступно повторяли приглашеніе показаться лично въ Петербургъ.

Какая нужда была въ этой выпискѣ? Хотѣли ли позаимствовать у человѣка съ такимъ всеобъемлющимъ умомъ политической мудрости, — но радикализмъ его воззрѣній былъ давно извѣстенъ по наслышкѣ, и не нужно было приглашать его, чтобъ обозвать потомъ его теоріи утопіями, сбыточными лишь въ отдаленной будущности, какъ это сдѣлала Екатерина. Да и Дидро не особенно охотно шелъ на роль законодателя, которую въ прошломъ вѣкѣ такъ охотно навязывали философамъ, спрашивая у нихъ готовыхъ рецептовъ для леченія польскихъ, русскихъ и дру-

*) Въ его перепискѣ упоминаются сношенія съ „Митрескимъ“, набравшимъ французскую труппу для Россіи. Не подлежитъ сомнѣнію, что это извѣстный Иванъ Аванасьевичъ Дмитревскій, товарищъ Волкова, „первый російскій актеръ“, не разъ ѣздившій за границу и знакомый съ Лекенемъ и Гаррикомъ, также близкимъ къ Дидро.

гихъ немощей*). Или, быть можетъ, имѣлось въ виду заручиться его совѣтами при образовательныхъ и педагогическихъ реформахъ, — но уставы воспитательныхъ домовъ, Смольнаго, кадетскихъ корпусовъ, и т. д. были уже разработаны домашними средствами, преимущественно Бецкимъ, и Дидро пришлось скорѣе пересмотрѣть, ретушировать ихъ и приготовить къ изданію въ Голландіи; соображенія относительно реформы народнаго просвѣщенія были весьма мало приняты во вниманіе, а нѣкоторые взгляды Дидро на женское образованіе показались слишкомъ крайними. Къ тому же пріѣздъ его въ Петербургъ совпалъ съ пугачевскимъ возстаніемъ, охладившимъ въ значительной степени преобразовательное рвеніе, и на слишкомъ настойчивыя напоминанія о необходимости реформъ отвѣтомъ бывала ссылка на затруднительное положеніе, переживаемое страной. Такимъ образомъ, главнымъ поводомъ вызова Дидро въ Петербургъ являлось скорѣе любопытство увидать у себя наконецъ первокласснаго европейскаго писателя (остальные какъ-то все предпочитали сноситься издали: Вольтера нельзя было соблазнить ни Петербургомъ, ни *Таанроюмъ*, чей климатъ ему непомѣрно расхваливали; Даламберъ ни сдвинулся даже послѣ долгой осады) и доставить себѣ удовольствіе умной бесѣды съ завѣдомо-геніальнымъ діалектикомъ. Дидро не подозревалъ этого, наивно вѣрилъ въ успѣхъ своей проповѣди, высказывался весь; въ минуту слабости взялъ-было на себя кстати передать порученіе французскихъ дипломатовъ, но запутался въ политическихъ тонкостяхъ, и самъ посмѣялся надъ своей неудачей, — мечталъ-было о возрожденіи Энциклопедіи, набрасывалъ проекты и записки о русскихъ дѣлахъ, — но эти старанія оказались безплодными, и пять мѣсяцевъ, проведенныхъ, по его же словамъ, въ постоянной работѣ, днемъ и ночью, были потрачены даромъ. Къ нему поприглядѣлись, особенности его краснорѣчія извѣдали; нужно было подумать объ отъѣздѣ. Тогда выражено было удивле-

*) Есть слухъ, будто прежде Руссо корсиканцы обращались къ Дидро за конституціей; *Oeuvres*, XXIX, 216.

ніе, — отчего онъ такъ торопится, къ кому рвется назадъ? Къ семьѣ? Но зачѣмъ же не выпишетъ онъ всю семью въ Россію...

Много любезностей было высказано имъ въ глаза и заочно, въ перепискѣ, Екатеринѣ и нѣкоторымъ изъ образованныхъ русскихъ, которые отнеслись къ нему радушно (особенно Нарышкинымъ, пріютившимъ его у себя и обходившимся съ нимъ *по братски*). Въ этихъ комплиментахъ, конечно, слѣдуетъ отвести значительную долю тѣмъ условнымъ, на нашъ взглядъ преувеличеннымъ, тонкостямъ обращения, которыя продержались во французскомъ обществѣ съ середины XVII вѣка до революціи; отъ нихъ не свободенъ ни одинъ изъ передовыхъ писателей, — не только Вольтеръ, постигшій всѣ тайны этого жаргона, но и Руссо, который въ ранніе годы далеко не безуспѣшно умѣлъ сочинять изысканно вѣжливыя посланія. Многое въ отзывахъ Дидро было дѣйствительно искренно; послѣ тяжелыхъ впечатлѣній бессмысленной травли на энциклопедистовъ, и отголосковъ полу-грамотнаго и безучастнаго ко всему двора Людовика XV, эффектно обрисовывалась личность покровительницы, которой можно было открывать всю душу, бесѣдуя запросто, къ великой досадѣ придворной челяди, почти вслухъ роптавшей, когда затворялись передъ нею двери кабинета для философскаго tête-à-tête. Но условныя любезности и искреннее удивленіе Дидро не помѣшаютъ намъ разглядѣть въ конечномъ результатѣ путешествія недовольство. Еще передъ отъѣздомъ онъ проситъ друзей повременить до его возвращенія съ требованіями разсказовъ о Россіи; они должны ожидать отъ него пока лишь „общихъ мѣстъ“. Проходитъ пять мѣсяцевъ, во время которыхъ онъ присматривался ко многому, и онъ признается въ письмѣ къ г-жѣ Неккеръ *), что, несмотря на это, его свѣдѣнія очень скудны, — и не по его винѣ: „Быть можетъ, вы предпочли бы, чтобъ я разсказалъ вамъ что-нибудь о Россіи, но я не

*) Caro. La fin du dix-huitième siècle, 1880, I, „Diderot inédit“, p. 332; неизданное письмо, сообщ. Оссонвиелемъ.

видалъ ея. Я пропустилъ случай побывать въ Москвѣ, и нѣсколько раскаиваюсь въ этомъ. Петербургъ—только дворъ, безсвязная смѣсь дворцовъ и избъ, большихъ баръ, окруженныхъ *мужиками* и подрядчиками“. Ему показывали только то, что хотѣли показать,—подобно тому какъ Вольтеръ узнавалъ почти всегда только положительную сторону русскихъ дѣлъ. Дидро кой о чемъ догадывался; въ томъ же письмѣ онъ намекаетъ на доходившіе очевидно до него слухи о суровомъ самоуправствѣ помѣщиковъ; противорѣчія между духомъ *Наказа* и дѣйствительностью, которую онъ засталъ въ Петербургѣ, вѣроятно, слишкомъ били въ глаза, потому что въ любопытной запискѣ, найденной Морисомъ Турнэ въ 1880 году въ Парижѣ *), онъ комментировалъ (по возвращеніи изъ Россіи) *Наказъ* и вызывалъ Екатерину категорически заявить, желаетъ ли она пойти по старому пути своихъ предшественниковъ или намѣрена оставаться вѣрной основнымъ идеямъ своей инструкции. Она не получила этой записки при жизни философа, прочла ее много лѣтъ спустя въ числѣ бумагъ купленной ею библиотеки **), и съ неудовольствіемъ отозвалась о вѣчныхъ фантазмагоріяхъ, наполнявшихъ голову празднаго мечтателя.

Но при всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, Дидро видимо заинтересовался страной, куда случайно занесла его судьба, и обстоятельство нѣкоторыхъ свѣдѣній, которыя ему удалось собрать, навела даже новѣйшихъ его издателей на мысль, не задумывалъ ли онъ написать подробный этюдъ о Россіи, ея строѣ, социальныхъ и экономическихъ нуждахъ,—въ родѣ того, который онъ посвятилъ голландскому быту. Снова проявлялась въ немъ рѣдкая дѣловитость, въ годы Энциклопедіи облегчившая ему изученіе и описаніе различ-

*) „Diderot législateur“, p. Maurice Tourneux, Nouv. Revue, 1881, сент., 33—52. Еще важнѣе найденная позже тѣмъ же лицомъ (Temps, 4 sept., 1885) записка „De la Commission“, гдѣ Д. является горячимъ сторонникомъ англійскихъ государственныхъ учреждений.

**) О рукописяхъ Дидро, хранящихся въ Петербургѣ, см. каталогъ, составл. М. Турнэ „Les manuscrits de D. conservés en Russie“, extrait des Archives des missions étrangères, 3 série, tome 12.

ныхъ отраслей труда или формъ быта. До насъ дошло нѣсколько серій запросовъ, съ которыми онъ обращался къ императрицѣ и ея приближеннымъ (напримѣръ, президенту коммерцъ-коллегіи Миниху), желая [имѣть точныя свѣдѣнія о разнообразнѣйшихъ предметахъ, о заработной платѣ и ея отношеніи къ цѣнности съѣстныхъ припасовъ, о правахъ господъ надъ крѣпостными и предѣлахъ власти землевладѣльцевъ, о положеніи разныхъ отраслей торговли и промысловъ. Сбивчивые отвѣты, старавшіеся выставить положеніе дѣлъ въ розовомъ свѣтѣ, и почти всегда недостаточно полные, помѣшали, быть можетъ, ему осуществить задуманную работу. Но этимъ дѣло не ограничилось, и отъ экономическихъ вопросовъ онъ перешелъ къ національнымъ особенностямъ, и въ своихъ *русскихъ* проектахъ замолвилъ слово за развитіе нашей науки, литературы, искусства. Недруги нашего сближенія съ западомъ, и тѣ, кажется, найдутъ только симпатичныя черты въ высказанныхъ имъ пожеланіяхъ. У *такого* выходца изъ Европы дѣйствительно можно было кой-чему научиться. Въ „Планѣ университета“, т.-е. въ общей системѣ низшаго, средняго и высшаго образованія (Université употреблено здѣсь во французскомъ смыслѣ этого слова), русскому языку и литературѣ отводится почетное мѣсто. Дидро узналъ, какъ важно для изученія живого языка знакомство съ церковно-славянскимъ, и потому дѣлаетъ его безусловно обязательнымъ; историческій курсъ долженъ точно также, по его мнѣнію, начинаться съ исторіи родной земли; нужды науки, едва укоренявшейся тогда на Руси, онъ выставляетъ на первый планъ, и какъ въ университетахъ желалъ бы видѣть русскихъ профессоровъ, совѣтуя передъ тѣмъ отправлять ихъ за границу*), такъ онъ называетъ совершенно бесполезною академію, которая состояла бы изъ иностранцевъ. Нѣкоторымъ отраслямъ науки онъ предрекалъ у насъ великую будущность; наша анатомическая

*) Онъ указываетъ и вообще на пользу отправки молодыхъ людей въ европейскіе университеты, напримѣръ въ Лейденъ, Лейпцигъ, Лондонъ, Парижъ; тамъ можно было бы поручать ихъ заботамъ d'un honnête homme, который наблюдалъ бы за ихъ успѣхами и нравственностью.

школа, по его мнѣнію, могла бы стать во главѣ европейской медицины, еслибы сумѣла воспользоваться преимуществами климата, гдѣ морозъ, сковывая трупы, дольше сберегаетъ ихъ для изслѣдованія. Молодому русскому искусству онъ указывалъ самостоятельный путь, научая его избѣгать изнѣженности и лести, и служить только возвышающимъ цѣлямъ, увѣковѣчивая дѣйствительно благородныя дѣянія русскихъ гражданъ; быть можетъ, придетъ время, говорить онъ, когда всего мрамора Каррары неостанетъ для этого возданія истиннымъ заслугамъ*). Наконецъ, онъ опѣнилъ значеніе русскихъ народныхъ пѣсень, съ которыми познакомили его Дашкова и особенно Бороздина, и совѣтовалъ разработкой этихъ мелодій оживить русскую музыку.

И его, и Вольтера увѣряли, будто въ ту пору вѣротерпимость въ Россіи была полнѣйшая. Повѣрилъ ли онъ этому? Очевидно нѣтъ, потому что, заговоривъ о богословскомъ факультетѣ и исходя отъ мысли, что слѣдуетъ „или совсѣмъ не имѣть священниковъ, или же имѣть дѣйствительно хорошихъ“, онъ высказывалъ желаніе, чтобы каждый годичный курсъ на богословскомъ факультетѣ**) завершался нѣсколькими лекціями о свободѣ совѣсти. Эта вѣра въ силу внушительнаго слова совершенно въ духѣ слишкомъ довѣрчиваго подчасъ Дидро, — она еще ярче сказывается въ другой частности университетскаго проекта, гдѣ онъ выражаетъ желаніе, чтобы четыре раза въ годъ всѣ профессора приносили присягу въ томъ, что они будутъ передавать своимъ слушателямъ только истину;—ему серьезно кажется, что эта

*) Съ великимъ сочувствіемъ слѣдилъ онъ за выполненіемъ Фальконетова памятника Петру и обдумывалъ съ художникомъ малѣйшія частности. Какъ Генрихъ IV во французской исторіи, такъ Петръ былъ всегда идеальной личностью въ глазахъ Дидро. Его сердило, что Вольтеръ остался ниже сюжета въ своей исторіи Петра.

**) Объ основаніи такого факультета въ Московскомъ университетѣ шла одно время серьезно рѣчь. (Вѣстн. Евр. 1873, XI, Проектъ богослов. факультета, въ Москвѣ; въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1893, I, „Изъ жизни русскихъ студентовъ въ Оксфордѣ при Екат. II“ приведены проф. Александренко свѣдѣнія о посланныхъ для этой цѣли въ Англію русскихъ юношахъ.

присяга не обратится въ формальность, а будетъ вѣрнымъ средствомъ предохранить преподаваніе отъ рутины. Но въ заботахъ о томъ, чтобы молодежи въ чуждой ему странѣ школа давала только здоровую умственную пищу, отразился живой интересъ къ дѣлу, далеко не похожій на безучастное выполненіе принятаго порученія. Не разъ возвращается онъ къ разъясненію необходимости завести для Россіи хорошія учебныя руководства на понятномъ русскомъ языкѣ, и для этого считаетъ недостаточнымъ поручать ихъ составленіе педагогамъ-ремесленникамъ. Слѣдуетъ пристыдить передовыхъ ученыхъ, привыкшихъ смотрѣть свысока на подобное занятіе, потребовать учебниковъ отъ лучшихъ знатоковъ, напр., для математики отъ Даламбера и т. д.; впослѣдствіи, конечно, народится и русская педагогическая литература. Эта точка зрѣнія проходитъ черезъ всѣ проекты Дидро; онъ высоко ставилъ самостоятельность русскихъ интеллигентныхъ силъ *) и направлялъ все къ ея пробужденію, западная же наука является у него всегда надежной помощницей и руководительницей въ этой работѣ.

Народное образованіе въ Россіи представлялось ему въ формѣ даровой и обязательной школы, и онъ горячо возставалъ противъ возраженій, которыя предвидѣлъ. Главный источникъ противодѣйствія отгадывалъ онъ въ крѣпостничествѣ; труднѣе будетъ помѣщикамъ удержать за собой власть, когда масса станетъ просвѣщенной. Зато онъ ищетъ опоры для народной школы въ городскомъ населеніи. Въ примѣчаніи къ „плану университета“ онъ сочувственно отзывался о новой тогда реформѣ, обеспечивавшей городамъ нѣкоторое самоуправленіе, и отъ будущихъ муниципалитетовъ ожидаетъ серьезнаго содѣйствія народному образованію. Хорошіе законы и хорошая школа казались ему вѣрнѣйшими

*) Les livres classiques bien faits et traduits en langue vulgaire, Votre majesté ne sera plus dans le cas d'appeler des maîtres étrangers. Ils se trouveront parmi ses propres sujets. Въ другомъ случаѣ эта мысль высказана еще опредѣленнѣе: Appeler des étrangers pour former une académie de savants c'est négliger la culture de sa terre et acheter des grains chez ses voisins. Cultivez vos champs et vous aurez des grains.

средствами обновить страну *); нравы онъ считалъ прямымъ результатомъ духа законодательства и политическаго строя, и потому въ своихъ соображеніяхъ о способѣ выработки и изданія законовъ онъ высказывалъ иногда взгляды, которые, конечно, были въ духѣ автора Наказа, но непріятно дѣйствовали на Екатерину, какъ правительницу, близко знавшую практическую сторону дѣла. Первымъ же условіемъ широкаго развитія всѣхъ производительныхъ силъ страны Дидро считалъ обезпеченіе мира; „необходимо, чтобы народъ былъ вездѣ просвѣщенъ, свободенъ и добродѣтеленъ“ (*il faut que partout un peuple soit instruit, libre et vertueux*),—это же достижимо только при прочномъ мирѣ. И Дидро, вѣроятно, развивавшій эти мысли въ своихъ бесѣдахъ съ императрицей, еще откровеннѣе повторяетъ ихъ въ письмѣ, написанномъ уже въ Гагѣ. „Кровь тысячи враговъ не возвратитъ вамъ потери ни одной капли русской крови. Частыя побѣды придаютъ блескъ царствованіямъ,—но дѣлаютъ ли онѣ ихъ счастливыми?.. Да позволено мнѣ будетъ замѣтить, что если хорошіе реформаторы вездѣ встрѣчаются не часто, они въ особенности рѣдки въ тѣхъ странахъ, гдѣ они всего необходимѣе“ **). Онъ возсылаетъ мольбы, чтобы отнынѣ Екатерина занялась упроченіемъ мира, болѣе чѣмъ какимъ-либо другимъ дѣломъ,—и въ этомъ опять онъ шелъ въ разрѣзъ съ дальновидными политическими комбинаціями, требовавшими постоянной смѣны войнъ, тѣшившей національную гордость и тормазившей реформы. Это было съ его стороны и послѣдовательнѣе, и достойнѣе тактики Вольтера, который находилъ возможность ободрять къ продолженію и развитію войнъ, торжествовалъ каждый успѣхъ въ турецкой кампаніи, угодливо осмѣивалъ султана Мустафу, являвшагося у него

*) Сборникъ Русск. Историч. Общества, томъ XXXIII, письмо отъ 13 сентября 1774 года.

**) Въ отрывкахъ мемуара, посланнаго Екатериной по возвращеніи во Францію, Д. высказывается за законодательную власть народа; „il n'y a de vrai souverain, il ne peut y avoir de vrai législateur que le peuple; каждая статья закона должна бы начинаться такъ: nous, peuple, et nous souverain du peuple, jurons conjointement les lois etc.“

чѣмъ-то въ родѣ героя комической оперы, не скупился на шовинистскія выходки и даже одно время носился съ своимъ изобрѣтеніемъ какихъ-то огнестрѣльныхъ колесницъ...

Но, вѣроятно, частыя напоминанія о пользѣ реформъ вызывали иногда у Екатерины нетерпѣливый и насмѣшливый вопросъ, — что бы сдѣлалъ самъ Дидро, еслибы власть была въ его рукахъ, какъ бы взялся онъ за это дѣло. Отвѣтомъ на это можетъ служить любопытный, недавно изданный набросокъ, озаглавленный „Sur le luxe“ *); на немъ и теперь лежитъ отпечатокъ вызвавшей его минуты. Екатерина поставила философу этотъ вопросъ въ присутствіи Гримма, — они только втроемъ сидѣли въ одной изъ дворцовыхъ комнатъ, — и, желая посмѣяться, предложила передать ему хоть на малѣйшій срокъ власть правителя, въ Россіи ли или въ какой-нибудь воображаемой странѣ. Дидро не затруднился этимъ и, точно герой старой общеевропейской легенды, превратившійся за ночь изъ плебея въ знатнаго барина или герцога, вообразилъ себя — королемъ.

Нужно, однако, спѣшить дѣйствовать, — волшебство долго не продержится, — „Дени первый“ рѣшаетъ на пробу заняться хоть какою-нибудь одною отраслью государственныхъ заботъ, напримѣръ, вопросомъ о роскоши. Онъ не хочетъ болѣе терпѣть въ своей странѣ того вида роскоши, который „служить личиною для народной бѣдности“; онъ набрасываетъ неприглядную картину французскаго общества, зараженнаго жаждой внѣшняго блеска, гдѣ люди держатъ нѣсколько экипажей и ни чему не учатъ своихъ дѣтей, гдѣ у знатныхъ дамъ много кружевъ и дорогихъ платьевъ, и нѣтъ рубашки на тѣлѣ, — онъ хотѣлъ бы, чтобы роскошь въ его царствѣ была „признакомъ общаго благосостоянія и развитого вкуса“. Для этого онъ издастъ декретъ, распадающійся на восемнадцать статей, и подойдетъ къ цѣли, начавъ съ различныхъ сбереженій и сокращеній. Передъ нами развивается пестрая картина этихъ суетливыхъ преоб-

*) La politique de Diderot, Nouv. Revue, 1883, 1 septembre, 10—25.

разованій „короля на часъ“: онъ продаетъ свои личныя помѣстья, которыя не приносятъ ничего и поглощаютъ массу денегъ на ихъ поддержаніе; въ его конюшняхъ не стоятъ уже пять тысячъ лошадей,—онѣ всѣ проданы, и оставлено всего 100—200; домашній штатъ сокращенъ, списки пенсій вельможамъ пересмотрѣны и доведены до скромныхъ размѣровъ; расходы на войско, флотъ, посольства, убавлены; церковь привлечена къ участию въ общихъ издержкахъ, взносы на нужды папы прекращены; откуповъ болѣе нѣтъ, налоги распредѣляются примѣнительно къ состоянію плательщика, — а въ будущемъ онъ собирается обезпечить вѣротерпимость, независимость печатнаго слова, интересы торговли, изобрѣтеній. И ему грезится уже народный приговоръ: вездѣ, гдѣ бы онъ ни показался, его встрѣчаютъ привѣтствія, шумъ, крики: „да здравствуетъ Дени!“ — онъ выходитъ изъ экипажа, его обнимаютъ; „онъ кончаетъ жизнь мирно, оплаканный всѣми,—а быть-можетъ, его побиваютъ камнями... Но что за бѣда,—надо же когда-нибудь умереть!“

Срокъ миноваль, шутка кончилась, и недавній властитель снова возвращается къ своей роли мечтателя о лучшемъ общественномъ строѣ. Пересказанный набросокъ даетъ живое понятіе о той непринужденной формѣ, въ которую облекалась его рѣчь въ бесѣдахъ съ Екатериной; за остротой, риторическою фигурой или мѣткимъ литературнымъ сравненіемъ всегда скрывалась серьезная мысль, и не грезы только, въ буквальномъ смыслѣ, развивалъ онъ передъ своей слушательницей. Быстрый ходъ событій во Франціи и обострившіяся политическія отношенія научили многому и его, и онъ начиналъ уже вглядываться въ будущее, предчувствуя тревоги и стараясь придумать средства мирнаго перерожденія. Какъ видно изъ его *русскихъ* бумагъ, онъ высоко ставилъ англійскую политическую систему, желалъ ея приложенія на родинѣ, видѣлъ и во Франціи людей стоявшихъ въ уровень съ задачей, въ особенности Тюрго, тогда еще лиможскаго интенданта, и подъ этими впечатлѣніями старался передать свои взгляды и молодой русской средѣ.

Въ его проектахъ, разумѣется, дѣло не обошлось безъ странныхъ и неприложимыхъ измышлений, всегда неразлучныхъ съ слишкомъ сильнымъ подъемомъ творческой изобрѣтательности въ общественныхъ вопросахъ. Онъ вѣрилъ, наприим., въ возможность производства опытовъ надъ улучшенной административной системой въ одномъ лишь, изолированномъ округѣ, который былъ бы порученъ опытному правителю,—въ распространение здоровыхъ нравственныхъ воззрѣній посредствомъ правительственныхъ указаній темъ трагическимъ и комическимъ поэтамъ и лирикамъ (онъ допускалъ даже, что Екатерина дастъ указанія въ этомъ родѣ „своему посредственному Сумарокову“ (*à votre médiocre Soumarokoff*), и, быть-можетъ, сдѣлаетъ его человекомъ *). Въ его университетскихъ планахъ найдутся также, конечно, подробности спорныя и устарѣвшія наряду съ мѣткими соображеніями. Но совокупность усилій, потраченныхъ имъ для разработки различныхъ домашнихъ русскихъ вопросовъ, оттѣняетъ его добросовѣстное отношеніе къ новому для него дѣлу. Ради университетской программы, обставленной подробными списками руководствъ и авторитетныхъ сочиненій, онъ долженъ былъ много перечестъ и собрать пропасть справокъ у специалистовъ. Въ области точныхъ наукъ онъ старался указать новѣйшіе результаты изслѣдованій и опытовъ и научить воспитывать молодые умы для самостоятельности; въ литературной теоріи и критикѣ подѣлился тѣми воззрѣніями, которыя обезпечивали ему роль реформатора въ словесности**). Въ политическихъ и обще-

*) Въ числѣ такихъ довольно неожиданныхъ у него соображеній одно, вѣроятно, придется по сердцу сторонникамъ переноса столицы изъ Петербурга; наряду съ необходимостью проведенія большихъ дорогъ, установленія сообщеній со всѣми частями имперіи, приученія знати жить въ своихъ помѣстьяхъ и т. д., Дидро считалъ дѣломъ мудрымъ перенесеніе столицы куда-нибудь въ центръ государства, находя пограничный городъ съ его спеціально-оборонительною ролью непригоднымъ для этого.

**) Изученіе поэзіи онъ желалъ освободить отъ схоластическихъ приѣмовъ; профессоръ въ теченіе курса долженъ представлять слушателямъ нѣсколько критическихъ разборовъ, разъясняя основы поэзіи и искусства, говоря о Истинномъ, Правдоподобномъ и Вымышленномъ, о необходи-

ственныхъ вопросахъ, насколько можно было намѣтить ихъ значеніе во время краткаго пребыванія въ Россіи, при отсутствіи серьезной помощи, онъ указалъ нѣсколько существенныхъ нуждъ и былъ защитникомъ мира и реформъ. Нельзя сказать, чтобъ это была дурная отплата за предложенное ему гостепріимство; въ выраженіи, встрѣчающемся въ его письмахъ, гдѣ онъ называетъ себя уже чуть не на половину русскимъ, можно видѣть нѣчто поискреннѣе избитаго комплимента, столь обычнаго въ устахъ французскаго туриста, желающаго выказать свою отмынную свѣтскость.

Въ Петербургѣ съ нимъ разстались любезно, удвоили цифру путевыхъ издержекъ, которую онъ самъ назначилъ (вмѣсто 1.500 руб. дали три тысячи), обнадежили относительно предстоявшаго возобновленія Энциклопедіи, усадили въ какую-то диковинную карету, специально для этого заказанную, гдѣ онъ могъ обѣдать, спать, принимать гостей, — и онъ съ радостнымъ чувствомъ понесся назадъ, къ своимъ, о которыхъ не переставалъ тосковать. Нигдѣ не хотѣлъ онъ останавливаться; когда въ Ригѣ ледъ на Двинѣ подломился подъ грузнымъ экипажемъ, даже это не особенно смутило его, и, настроивъ лиру, что съ нимъ бывало очень рѣдко, онъ воспѣлъ это траги-комическое событіе въ одѣ „sur le passage de la Douina“. Только дружескій пріемъ Голицына и корректуры екатерининскихъ уставовъ могли задержать его на время въ Гагѣ, но онъ лишь тогда почувствовалъ себя снова счастливымъ, когда увидѣлъ издали громады

мости изучать природу и подражать ей въ извѣстныхъ предѣлахъ. Отдѣльных писателей онъ группируетъ своеобразно. Первымъ слѣдуетъ изучать Гомера, которому онъ считалъ себя безконечно обязаннымъ. Простота и безыскусственность Гомера служить первую ступенью къ познанію истиннаго творчества. Въ кругу древнихъ и новыхъ писателей онъ преимущественно останавливается на тѣхъ, которые внесли существенное въ умственную сокровищницу человѣчества. Искренность и реализмъ заставляютъ его предпочесть Эеокрита Виргилію, Эсхила Эврипиду и т. д. То же мѣрило предлагаетъ онъ и къ французскимъ авторамъ, дѣлая строгій выборъ между ними и останавливаясь на правдивыхъ живописцахъ быта. Изученіе литературы замыкало у него курсъ и требовало предварительнаго всесторонняго развитія.

домовъ, куполовъ и башенъ Парижа и слышалъ немолчный шумъ и движеніе мірового города, своей настоящей стихіи. Къ нему вышли на встрѣчу близкіе люди, и когда неясныя сначала очертанія дорогихъ ему лицъ стали наконецъ опредѣленнѣе, неисправимо чувствительный Дидро бросился вонъ изъ экипажа, начались дружескія объятія, и немало слезинокъ пролито было въ честь этого свиданія.

Поѣздка въ Россію была теперь за спиной, и снова началась обычная парижская дѣятельность. Только-что пережитый эпизодъ, съ его новыми впечатлѣніями, неожиданно врѣзался въ ровную жизнь его среди родныхъ условій, привлекавшихъ несмотря на всѣ вынесенныя прежде невзгоды. Велики ли были результаты поѣздки, предпринятой такъ поздно и расшатавшей здоровье Дидро, — въ этомъ онъ могъ скорѣе отдать себѣ отчетъ. Проекты его остались на бумагѣ; лучшія, страстныя рѣчи были произнесены лишь съ тѣмъ эффектомъ, который производитъ виртуозное исполненіе художественной вещи; изъ переизданія Энциклопедіи ничего не вышло. Въ практическомъ отношеніи его жизнь также вовсе не улучшилась. Если всегда выносишь странное впечатлѣніе, видя, какъ человѣкъ, совершенно лишенный дѣлового чутія, не привыкшій цѣнить денегъ, неожиданно принимается за мнимо-тонкія соображенія и выкладки, — то одно изъ писемъ Дидро, отправленное домашнимъ подъ конецъ путешествія, можетъ служить этому новымъ примѣромъ. Обращаясь на этотъ разъ къ своей женѣ, скопидомкѣ и хозяйкѣ (а не къ матери, какъ почему-то полагаютъ нѣкоторые; матери его тогда не было въ живыхъ), онъ хочетъ посвятить ее въ финансовыя соображенія, которыя покажутъ ей, что поѣздка можетъ оказаться полезной и въ матеріальномъ отношеніи. Но все это такъ непохоже на него и выходитъ такъ наивно, что невзначай проявившаяся заботливость объ обезпеченіи на черный день не приводитъ ни къ чему, тѣмъ болѣе, что его все время глодала мысль, какъ бы не сочли его искательнымъ. Онъ шелъ на новый рискъ, собираясь опять надолго закабалить себя въ издательскую работу; прошлое достаточно

научило его, чтобы съ возобновленіемъ Энциклопедіи ему представились новыя преслѣдованія и тревоги; онъ завелъ поэтому рѣчь о томъ, поддержитъ ли его Екатерина въ случаѣ какихъ-либо „операций“ французскаго правительства. Его обнадежили на словахъ. Съ этимъ онъ вернулся въ Парижъ и опять забрался на свой пятый этажъ, въ прежнюю скромную квартирку (гдѣ прожилъ тридцать лѣтъ), изъ которой переѣхалъ, по желанію Екатерины, въ болѣе нарядное помѣщеніе лишь за нѣсколько дней до смерти.

V.

Уже въ „планѣ университета“ сказался переломъ въ господствующихъ воззрѣніяхъ Дидро, давно уже надвигавшійся. Всѣ его старанія направлены къ тому, чтобы, не разрывая связи общаго развитія юношества съ областью литературы и искусства, слѣлать въ то же время невозможнымъ одностороннее филологическое или эстетическое образование. „Въ геометріи,—говорилъ онъ,—каждая теорема заканчивается словами: *что и требовалось доказать*; всякое разсужденіе, которое мы излагаемъ либо въ устной рѣчи, либо на письмѣ, слѣдовало бы заканчивать тѣмъ же способомъ, и каждый изъ насъ долженъ умѣть отстоять то, что утверждаетъ“. Широкое примѣненіе математики къ потребностямъ программы оправдывалось у него ссылками на блестящіе примѣры, въ особенности на Даламбера, рано развившаго такимъ путемъ свои способности. За математикой слѣдуетъ естественная исторія и химія; вездѣ видна забота, чтобъ изученіе „словъ“ (т.-е. языковъ) не заслоняло изученія „фактовъ“. Человѣкъ, не только такъ думавшій, но догматически устанавливавшій основы подобныхъ воззрѣній, очевидно, разставался уже съ своими литературными привычками и переходилъ на другое поприще, къ болѣе трезвой и положительной дѣятельности. Дѣйствительно, Дидро все рѣже пробуетъ свои силы въ прежнихъ родахъ творчества; ода, драма, повѣсть почти покинуты имъ, — къ тому же онъ какъ-то отвыкъ отъ публичности. Прошли

тѣ годы, когда, понявъ его популярность, издатели и разношники-книгоносцы, промышлявшіе запретнымъ товаромъ, ловили у него на лету каждую брошюру или повѣсть; теперь они громко жаловались на его лѣнь, мѣшающую имъ заработать деньги. Сложена была даже пѣсенка, составленная изъ діалога Дидро съ такимъ разнощикомъ; послѣдній комически сѣтуетъ на то, что Энциклопедія по своему объему совсѣмъ не годится для распространенія изъ-подъ полы, а между тѣмъ и въ ней *есть* пребойкія вещи, которыя славно бы сошли съ рукъ *).

Но разрывъ съ творчествомъ осуществился не сразу. Въ двойственной натурѣ Дидро наряду съ положительными стремленіями къ научной трезвости никогда не вымирала эстетическая сторона, и когда онъ дѣйствительно не бралъ уже пера въ руки иначе, какъ для естественно-историческихъ изслѣдованій, его рѣчь, полная импровизаціи и образовъ, все еще обнаруживала неугасшее вдохновеніе. Послѣ возвращенія изъ Россіи онъ въ послѣдній разъ увлекся литературными замыслами и, по его выраженію, написалъ нѣсколько „очень забавныхъ вещицъ“. Такъ скромно называетъ онъ своего „Племянника Рамо“, окончательно отдѣланнаго въ эту пору, и начало романа „Жакъ-фаталистъ“, которое, повидимому, и задумано и написано было во время путешествія въ Голландію и Россію, да и по сюжету вращается на темѣ о странствіяхъ и дорожныхъ приключеніяхъ. Оба произведенія казались ему только забавными вещицами, и

*) Chansonnier historique du dix-huitième siècle, publ. par Emile Raunié, 1882, VII volume, chanson „l'Encyclopédie“, pp. 201—203. Разнощикъ, говоря объ Энциклопедіи, сѣтуетъ о томъ, что ея форматъ слишкомъ непокладистъ:

Si sa taille était plus petite,
J'en reprendrais incognito,
Car il a, dit-on, le mérite
De ce qu'on vend sous le manteau.
J'y voudrais pourtant une chose,
C'est qu'il eut été défendu;
Pour cela seul, sans autre cause,
Il serait alors bien vendu.

дѣйствительно полны веселости, — но сквозь остроумную оболочку первой изъ нихъ пробились черты глубокой общественной сатиры, а въ „Жакъ“ Дидро обнаружилъ разительнѣе, чѣмъ когда-либо, богатые задатки истиннаго романиста.

Кто читалъ „Салоны“, тотчасъ узнаетъ то же перо и въ этомъ романѣ; безпрестанная смѣна предметовъ, отступленія и эпизоды, появленіе автора и собесѣдованіе его съ читателемъ и выводимыми лицами, — все это повторяется здѣсь еще непринужденнѣе. Но романъ не водится безъ героя, — вы ищите его, сотни характеровъ, прошедшихъ передъ вами, тѣснятся и напрашиваются на эту роль, — а откуда-то слышится добродушный смѣхъ. Это тѣшится надъ общимъ недоумѣніемъ авторъ. Герой его романа — онъ самъ; у него были свои счеты съ собой, и теперь онъ ихъ сводитъ. Всю жизнь анализируя свой характеръ, онъ томился не разъ избыткомъ чувствительности, отражавшейся въ патетическихъ рѣчахъ, быстрыхъ восторгахъ, объятіяхъ, слезахъ; при каждомъ случаѣ старался онъ предостеречь другихъ отъ этого недуга, затуманивающего вѣрный взглядъ на жизнь, и потомъ незамѣтно самъ подпадалъ ему. Но ничто не можетъ такъ отрезвить человѣка въ состояніи разлада съ собою, какъ возможность созерцать свое подобіе, и въ его болѣзненныхъ странностяхъ, какъ въ зеркалѣ, видѣть отраженіе своихъ привычекъ. Дидро давно уже, любилъ сравнивать себя съ Донъ-Кихотомъ, вѣчно возбужденнымъ, живущимъ въ призрачномъ мірѣ. Но судьба послала ему не книжную только, а живую копію въ лицѣ Лоренса Стерна. Популярность автора *Тристрама Шанди* и *Сентиментальнаго путешествія* была, можетъ быть, еще значительнѣе въ Парижѣ, чѣмъ на его родинѣ. Онъ былъ постояннымъ посѣтителемъ салоновъ, соперничая съ другимъ баловнемъ, Давидомъ Юомъ; его выходки и остроты передавались изъ устъ въ уста; произведенія его привлекали оригинальностью.

То была необыкновенно нервная, впечатлительная натура, быстро охватываемая чувствомъ, — но чувствительность его не напоминала благонамѣренной сентиментальности Ричардъ-

сона (нѣкогда любимца Дидро), который могъ быть образцовымъ хозяиномъ типографіи, исправно работать у станка, и въ то же время сочинять трогательные романы. Стернъ весь вѣкъ точно на иголкахъ, отъ одного аффекта переходилъ къ другому: то онъ слишкомъ весель, то вдругъ на него находить мрачная меланхолія, отъ которой онъ готовъ распрощаться со свѣтомъ; такого болѣзненно-шекошливаго организма и не встрѣтишь. Онъ подвластенъ былъ сплину, и тогда погружался въ плачевныя размышленія о себѣ и о другихъ,— до перваго луча солнца, который, озаривъ все вокругъ, прояснить и душу. Тогда его воображеніе выполняло такіе сальто-мортале, неожиданные шаловливые капризы и чуть не шутовскія выходки, что недавнее уныніе разомъ превращалось въ вакханалію. Понявъ отчасти, до какой степени эта сторона характера можетъ заинтересовать читателя, и съ умысломъ разрабатывая ее въ себѣ. Стернъ въ то же время, по большей части безсознательно, отдавался влеченіямъ своей полубольной натуры и отразился въ романахъ и проповѣдяхъ со всѣми прихотями своей фантазіи, постоянно играя вниманіемъ читателя, удивляя новизной, то плача, то улыбаясь, то пуская въ ходъ ѣдкую насмѣшку, вѣчно анализируя притомъ свои ощущенія и давая заглянуть въ лабораторію его ума, гдѣ мелькаютъ, сталкиваются и сплетаются всевозможныя мысли.

При значительныхъ чертахъ сходства, Дидро, конечно, не былъ вторымъ Стерномъ. Англійскому юмористу недоставало ни глубокаго развитія, ни руководящей роли въ общественномъ движеніи; служеніе своей личности часто заслоняло отъ него заботы о благѣ массы, которыя у Дидро всегда на первомъ планѣ. Политическаго чутія у него было немного, и еслибъ пришлось зачислить его въ опредѣленную философскую школу, слѣдовало бы назвать его оптимистомъ; въ свѣтлыя минуты все кажется ему прекраснымъ, и онъ готовъ обнять весь міръ. Только въ пароксизмѣ унынія подходитъ онъ къ вѣрному пониманію вещей, и тогда у него вырываются искреннія и глубоко захватывающія слова протеста.

Таковъ былъ человѣкъ, въ чьей вѣчно-трепещущей, воз-

бужденной индивидуальности Дидро могъ узнавать себя и свои слабости. Постепенно у него сложилась мысль пройти хоть разъ Стерновскимъ путемъ, усвоивъ себѣ всѣ капризы его писательской манеры, посмѣяться надъ ея излишествами и косвенно дать добрый урокъ и себѣ. У писателей съ сильно выработаннымъ сатирическимъ элементомъ бываютъ подобные порывы самобичеванія. „Жакъ-фаталистъ“ играетъ такую роль въ творествѣ Дидро. Онъ въ то же время—и подражаніе Стерну, переходящее въ пародію.—въ построении сюжета и характерахъ дѣйствующихъ лицъ видно вліяніе Донъ-Кихота,—но вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ сбереглись любопытныя автобіографическія черты.

Трудно сказать, есть ли опредѣленное содержаніе въ романѣ; въ немъ скорѣе безчисленное множество отдѣльных сюжетовъ, которые къ тому же разработаны не подъ рядъ, въ видѣ цѣлыхъ эпизодовъ, а появляются по временамъ, снова исчезаютъ, чтобъ раздражить любопытство читателя, и возвращаются на мгновенье, подвигая дѣйствіе впередъ на микроскопическое разстояніе. Два центральныхъ лица, слуга Жакъ и его господинъ (самый романъ повидимому сначала долженъ былъ называться „*Jacque et son maître*“), странствующія безъ цѣли, куда глаза глядятъ, образуютъ слабую связующую нить вереницы приключеній и рассказовъ. Въ нихъ, конечно, отразились безсмертные образы Ламанчскаго рыцаря и его оруженосца, только приближенные къ нашему времени и перенесенные въ среду, чуждую рыцарства и по преимуществу буржуазную. Отношенія между господиномъ и слугой совершенно особенныя, почти равныя, такъ что одинъ изъ нихъ прислуживаетъ другому скорѣе по добровольному согласію, а совсѣмъ не изъ-за денегъ. У нихъ все общее, и вкусы, и привычки; оба очень вспыльчивы и упрямы; изъ столкновенья ихъ характеровъ происходятъ иногда потѣшныя сцены, когда ни одна сторона не хочетъ уступить, — „ты спустишься внизъ съ бутылкой“, кричитъ одинъ, „не спущусь“ настаиваетъ другой (*tu descendras,—je ne descendrai pas*), пока не вмѣшивается хозяйка, уговорившая наконецъ Жака сдаться; но едва до-

шелъ онъ до двери и оглянулся, какъ господинъ его бросился къ нему, заключилъ его въ свои объятія, а кстати обнялъ и смазливую хозяйку. За то, когда Жакъ боленъ, его баринъ не спитъ по ночамъ, ухаживаетъ за нимъ и подаетъ лекарство. Оба они словоохотливы и въ свою очередь любятъ, чтобъ и другіе рассказывали имъ всякія диковинныя происшествія. Оба падки на сердечныя приключенія, и, какъ пожившіе люди, не прочь припоминать при случаѣ анекдоты съ чересчуръ крѣпкимъ букетомъ. Они столько видѣли и наблюдали на своемъ вѣку, что у Жака выработался своеобразный фатализмъ, который онъ постарался передать и своему спутнику. Онъ представляетъ себѣ жизнь безбрежнымъ моремъ случайностей, по которому его безпорядочно носитъ судьба. „Такъ было рѣшено свыше“ (il était écrit là haut), вздыхаетъ онъ, когда его неожиданно метнетъ куда-нибудь въ сторону,—и по временамъ онъ нарочно принимается вычислять естественныя послѣдствія какого-нибудь происшествія, увѣренный, что и тутъ судьба подсмѣется надъ нимъ и пошлетъ совершенно противоположныя случайности.

Стоя за кулисами, авторъ пользуется этимъ, чтобы забавляться изумленіемъ и нетерпѣніемъ читателя; чувствительная сцена неожиданно обрывается самымъ прозаическимъ образомъ или уступаетъ мѣсто смѣшному приключенію. Какъ будто перебивая своего Жака, Дидро поддразниваетъ самъ читателя; онъ, конечно, увѣренъ, что теперь пойдутъ такія-то сцены, и уже придумалъ развязку,—ничуть не бывало, весь ходъ дѣйствія будетъ совершенно обратный,—и тотчасъ же новое дѣйствующее лице съ трескомъ и эффектомъ появляется на первомъ планѣ. Разказы странниковъ слѣдуютъ одинъ за другимъ въ поразительномъ обилии; источникъ ихъ неистошимъ у обоихъ. Для разнообразія введены по временамъ подробности пути, гдѣ поневоля имъ приходится сталкиваться со всевозможнымъ людомъ. Видное мѣсто въ романѣ занимаетъ описаніе долгой остановки путниковъ въ деревенской гостинницѣ подъ вывѣской „Большого Оленя“. Эта гостиница, начиная съ хозяйки,

еще красивой, бойкой и остроумной, и кончая гостями, обрисована въ духъ „Сентиментальнаго Путешествія“; какъ здѣсь, такъ и вездѣ въ романѣ выступаетъ французская жизнь середины прошлаго столѣтія въ живыхъ чертахъ. Стремленіе къ правдѣ окончательно взяло верхъ у Дидро надъ изліяніями чувствительности, которыя еще не задолго передъ тѣмъ, въ его драмахъ, нарушали естественность изложенія. И надъ этимъ онъ теперь посмѣялся. Хозяйка гостиницы, увлекаясь начатымъ его разсказомъ, входитъ въ психологическія тонкости и начинаетъ выражаться отборнымъ слогомъ. „Ты не замѣтилъ ничего, Жакъ? спрашиваетъ его господинъ, когда она вышла изъ комнаты.—Что же именно?—А вѣдь эта женщина разсказываетъ гораздо лучше, чѣмъ можно ожидать отъ хозяйки корчмы“... Когда старшему изъ путниковъ, котораго Дидро надѣлилъ чуткимъ литературнымъ вкусомъ, приходится въ разговорѣ касаться вопроса о слогѣ и изложеніи, чувствуется полный разрывъ автора со всѣмъ, что еще уцѣлѣло отъ прежней патетической манеры. Нужно, говоритъ онъ, искать опоры лишь въ правдѣ (*la vérité*), какъ это дѣлали Мольеръ, Реньяръ, Ричардсонъ, Седэнъ; въ ней всегда найдешь мѣткія краски, если только надѣленъ талантомъ. Въ назиданіе же безталаннымъ писателямъ, которые вымучиваютъ изъ себя свои творенія и создаютъ ложь и жеманство, онъ приводитъ разсказъ о молодомъ и бездарномъ стихотворцѣ, который принесъ ему на-показъ невозможныя вирши; убѣдившись, что онъ никогда не будетъ въ состояніи написать что-нибудь сносное, онъ посоветовалъ юношѣ сѣсть на корабль и отправиться въ Пондишери, запасшись небольшимъ грузомъ драгоценныхъ камней. Черезъ двѣнадцать лѣтъ путешественникъ вернулся богачомъ,—хотя втайнѣ не пересталъ кропать стихи.

Но, упрочивая реализмъ, Дидро хочетъ обезпечить себѣ вмѣстѣ съ тѣмъ свободу дѣйствій. Не разъ заставляетъ онъ читателей вмѣшиваться и при каждой недомолвкѣ спрашивать: а куда пошли теперь эти люди? Зачѣмъ они сдѣлали то или другое?—И онъ ворчливо имъ отвѣчаетъ: „вы уже второй разъ мнѣ задаете этотъ вопросъ, и я сно-

ва вамъ скажу: что вамъ за дѣло? Вѣдь какъ я примусь рассказывать вамъ подробности, проститесь съ исторіей о любовныхъ похожденияхъ Жака“. Иной разъ его, напротивъ, забавляетъ придумать, во что бы превратился его рассказъ въ рукахъ другого романиста, и онъ принимается изобрѣтать дальнѣйшія сцѣпленія происшествій, по обычаю безпечно тратя свою находчивость на планы и экспозицію романовъ, которые никогда не будутъ написаны. Но и въ этихъ фиктивныхъ планахъ онъ старается избѣгать однообразія темъ, которыя у всѣхъ поэтовъ непремѣнно сводятся къ любви. „Итакъ, читатель, вамъ нужны опять любовныя сказки? Вѣдь я уже рассказалъ, одну, двѣ, три, четыре такія сказки; нѣсколько другихъ васъ еще ожидаютъ. Это ужь очень много. Впрочемъ, съ другой стороны, если пишешь для васъ, нужно или обходиться безъ вашихъ рукоплесканій, или поставлять подходящій товаръ. Всѣ ваши повѣсти въ стихахъ и прозѣ—любовныя сказки; почти всѣ ваши поэмы, элегіи, идилліи, комедіи, трагедіи, оперы—любовныя сказки,—и чуть ли не всѣ картины и статуи. Вамъ отведена эта пища съ тѣхъ поръ, какъ вы существуете, и она вамъ все еще не надоѣла. Васъ выдерживаютъ на этой діетѣ, и долго еще будутъ держать, и мужчинъ и женщинъ, малыхъ дѣтей и взрослыхъ младенцевъ, и вы все будете терпѣть. По-истинѣ это просто непостижимо!“ Въ бытовыхъ очеркахъ онъ поэтому избираетъ краски изъ другихъ сферъ жизни. Его героями будутъ типическіе ханжи-монахи, разбогатѣвшіе и простоватые крестьяне, авантюристы вродѣ „Племянника Рамо“ (превосходный образчикъ которыхъ обрисованъ имъ съ натуры въ лицѣ неотвязчиваго и безстыднаго monsieur Gousse, хладнокровно и даже философски обирающаго ближнихъ), хвастливые дуэлисты; у него выступитъ самоуправство, невѣжество и надменность руководящихъ общественныхъ слоевъ, стоявшихъ почти наканунѣ переворота; среди общаго нравственнаго паденія онъ останавливается вдругъ съ особеннымъ вниманіемъ на изученіи трагическаго столкновенія, порожденнаго этой нездоровой атмосферой. Такова „Исто-

рія госпожи де-ла Поммерэ и маркиза Des Arcis“, пространно пересказанная хозяйкой гостиницы, — центральный эпизодъ и лучшее украшеніе „Жака-Фаталиста“; она имѣетъ во Франціи извѣстность классическаго произведенія и представляетъ законченное цѣлое *).

Простота разсказа сочеталась здѣсь съ вѣрностью наблюдений и мастерствомъ обрисовки характеровъ. Старѣющая кокетка, тягостное разставанье ея съ увядающею красотой, досада и ревность ко всему, что свѣжо и молодо, жажда мести охладѣвшему любовнику—вотъ несложный матеріалъ для этого психологическаго этюда. Лишь искусная рука могла построить изъ такихъ данныхъ глубоко художественное произведеніе. Героиня носить на себѣ отпечатокъ развращеннаго свѣтскаго общества, въ которомъ вращалась; оно ее испортило и ожесточило; настоящею фуріей становится она, когда замѣчаетъ, что пѣсня ея спѣта, и что послѣдній ея поклонникъ тяготится связью съ ней,—но она надѣваетъ непроницаемую личину, и не хуже Тартюффа ведетъ долгую интригу, чтобы вывѣдать все и насладиться местью. Она принимаетъ томный и унылый видъ кающейся грѣшницы, возводитъ на себя небывалую невѣрность, незамѣтно заставляетъ и своего друга проговориться, и восхищаетъ его своимъ предложеніемъ отнынѣ установить только товарищескія отношенія, съ полною свободой и довѣріемъ. Онъ вдается въ ловушку и крѣпче прежняго подчиняется ея власти. Тогда съ утонченною предусмотрительностью

*) Единственный списокъ „Жака-Фаталиста“ уцѣлѣлъ въ бумагахъ принца Генриха прусскаго, большого любителя и собирателя неизданныхъ произведеній французскихъ мастеровъ прошлаго вѣка; романъ Дидро явился поэтому сначала въ нѣмецкомъ переводѣ, съ котораго былъ обратно переведенъ по-французски эпизодъ о г-жѣ де-ла Поммерэ, изданный въ 1793 году въ Лондонѣ (полное изданіе текста состоялось лишь въ 1796 году). Замѣчательно, что эта часть романа была всего черезъ три года издана по-русски въ Петербургѣ подъ названіемъ „Удивительная месть одной женщины“ (1796). Вообще въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка у насъ снова начали было переводить Дидро. Такъ въ Смоленскѣ издано въ 1803 г. Жизнеописаніе Ричардсона съ похвальнымъ словомъ ему Дидро.

выискиваетъ она среди подонковъ Парижа темную и продажную личность, когда-то прїѣхавшую въ столицу ради процесса и открывшую игорный притонъ, когда судьи разорили ее въ конецъ. Эта женщина выѣстъ съ ея дочерью, выросшей въ притонѣ и испытавшей уже всѣ его прелести, должна сдѣлаться сообщницей мести г-жи де-ла Поммерэ. Она вырываетъ ихъ изъ грязи, тратитъ на нихъ деньги, обставляетъ прилично, выдаетъ ихъ за обѣднѣвшее дворянское семейство; она даетъ имъ подробное наставленіе, — онѣ не должны показываться въ публичныхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ узнаютъ, — напротивъ, онѣ облекутся въ смиренные наряды набожныхъ дамъ хорошаго тона, завяжутъ знакомство въ монастыряхъ, станутъ благотворить, громить развращенность вѣка, называть Вольтера антихристомъ и т. д. Когда роли разучены, она какъ будто случайно сводитъ своего маркиза съ „старыми своими знакомыми“, замѣчаетъ впечатлѣніе, которое произвела на него красота молодой дѣвушки, и съ этой поры систематически разжигаетъ эту любовь, то вторя похваламъ и восторгамъ, то охлаждая ихъ препятствіями; маркизь доходитъ до безумнаго увлеченія, сыплетъ подарками, молить о бракѣ, — но безпощадной женщинѣ все мало, она еще не наслаждалась мщеніемъ и запрещаетъ своимъ креатурамъ слишкомъ скоро сдаваться. Наконецъ она даетъ свое разрѣшеніе, бракъ состоялся, и на другой день съ лицомъ, обезображеннымъ злорадствомъ и негодованіемъ, она выходитъ къ своей жертвѣ съ краткимъ и желчнымъ поученіемъ: „маркизь, теперь вамъ пора меня понять. Вы обладали честной женщиной, которую не сумѣли удержать, — то была я; она отомстила, заставивъ васъ жениться на презрѣнной личности, достойной васъ. Пойдите отсюда прямо въ rue Traversière, въ Гамбургскую гостинницу, — тамъ вамъ расскажутъ, какимъ грязнымъ ремесломъ занимались десять лѣтъ и ваша жена, и ея мать“. Только страданія молодой маркизы, которая и прежде съ отвращеніемъ и поневолѣ дѣлила позорную участь матери и искренно полюбила въ своемъ мужѣ избавителя, возвращаютъ присутствие духа убитому стыдомъ

молодому человѣку; онъ поднимаетъ плачущую передъ нимъ на колѣняхъ жену, прижимаетъ ее къ сердцу и увозитъ въ свои помѣстья *).

Драматизмъ завязки и жизненность характеровъ въ этой вводной повѣсти необыкновенно нравились Шиллеру, который прочелъ ее одинъ изъ первыхъ. Лица стоятъ передъ нами какъ живыя,—мстительная и сильная духомъ женщина, шепчущая слова всепрощенія и любви, когда ее душитъ злоба, вѣтренный и увлекающійся маркизъ, падшая дѣвушка, сберегшая дѣтскія мечты о счастіи и впервые привязывающаяся отъ всего сердца,—изобразить ихъ такъ могъ только первоклассный романистъ. Какъ далеко было отъ этого произведенія до юношескихъ скоромныхъ рассказцевъ Дидро! Правда, два-три мѣста и здѣсь неожиданно напоминаютъ о прежнихъ вкусахъ, и ради этихъ мѣстъ, слишкомъ уже непринужденныхъ, иной читатель и не остановится долго надъ романомъ, полнымъ истинныхъ достоинствъ. Но эти мѣста здѣсь въ незначительномъ меньшинствѣ; авторъ считаетъ уже необходимымъ оправдывать свою вольность, становясь подъ покровительство такого предшественника, какъ Монтань, и ссылаясь на то, что рассказываетъ будто бы подлинныя происшествія, а не вымыселъ; что бы онъ ни говорилъ, однако, не это придавало его роману въ его собственныхъ глазахъ извѣстное значеніе. Много прожилъ онъ тогда на своемъ вѣку, прежняя веселая и легкомысленная шутка все рѣже посѣщала его, и среди пестраго разнообразія капризныхъ выходовъ во вкусъ Стерна, шаловливыхъ отступленій и бесѣдъ съ читателемъ, бойкихъ картинокъ съ натуры, которыми полонъ „Жакъ-фаталистъ“, чувствуется грустное настроеніе, постепенно берущее верхъ. Хозяинъ Жака какъ-то вскользь припомнилъ смерть Сократа.—„Кто это такой?“ спрашиваетъ слуга.—Сократъ былъ мудрецомъ въ Аѳинахъ,—отвѣчаетъ его господинъ.—Испоконъ вѣку роль мудреца была опасною среди глупцовъ“,—вслѣдъ затѣмъ идетъ горячо

*) Въ наше время этой фабулой воспользовался Сарду въ своей пьесѣ „Fernande“.

написанная страница, гдѣ звучитъ голосъ самого Дидро и гдѣ обрисована ненависть къ „философамъ“, или вообще передовымъ людямъ, со стороны всѣхъ слоевъ общества, начиная съ магнатовъ, которые не прощаютъ имъ ихъ независимости, и кончая приниженнымъ и отвыкшимъ разсуждать обывателемъ.

Пора для веселости проходила и подъ вліяніемъ личнаго опыта, и при видѣ общаго разложенія, деморализаціи и политическихъ ошибокъ. Дидро яснѣе, чѣмъ многіе изъ его современниковъ, предвидѣлъ будущія потрясенія, и въ одномъ письмѣ къ Дашковой, порицая мѣры, подавлявшія дѣятельность провинціальныхъ парламентовъ, указывалъ на неизбежность крушенія всего порядка, если будутъ настойчиво идти по прежнему пути. Старѣющій и, послѣ поѣздки въ Россію, часто хворавшій, онъ сталъ держаться въ сторонѣ отъ политическаго водоворота. Постепенно сходили со сцены друзья его молодости; загадочною смертю погибли и его великій недругъ Руссо, который изъ-за могилы въ своей „Исповѣди“ не могъ все-таки не признать, несмотря на всѣ мнимыя вины, въ Дидро; когда-то своемъ любимомъ „Аристархѣ“, личность, выходящую изъ ряда вонъ. Тѣснѣе замкнулся нашъ философъ въ небольшомъ уже дружескомъ кружкѣ, и постепенно покидалъ свои прежнія широкія реформаторскія стремленія для ровнаго и тихаго дѣла, совсѣмъ подходившаго къ его старческому возрасту, для изученія естественныхъ наукъ. Онъ снова засѣлъ за книги, его стали видѣть на студенческихъ скамьяхъ, въ лабораторіяхъ, — и этотъ усиленный интересъ къ познанію природы, никогда въ немъ не замиравшій, но отстраняемый другими заботами, скрасилъ и освѣтилъ его послѣдніе годы.

VI.

Въ противоположность Сентъ-Бёву, который называлъ Дидро наиболѣе „нѣмецкимъ“ изъ всѣхъ французскихъ писателей, а Гримма истиннымъ французомъ среди нѣмцевъ, извѣстный Дюбуа-Реймонъ, въ рѣчи, произнесенной въ юбилей-

номъ году въ берлинской академіи *), видитъ у Дидро лучшія національныя свойства англичанина. Неизмѣнная приверженность къ точному знанію, преобладающій духъ критики и осязательной провѣрки, энергія въ осуществленіи задуманнаго предпріятія, реалистическое направленіе, защищаемое имъ въ литературѣ и искусствѣ, — черты, скорѣе естественныя у мыслителя, выдвинутого трезвой и практической англійской средой, и только блестящая и остроумная дикція, плодovitость и разнообразіе фантазіи налагаютъ на нихъ живую печать французскаго національнаго характера. Подъ старость, когда уже уходились силы, остатокъ прежней энергіи сосредоточился у Дидро на одномъ предметѣ, и съ прежнимъ успѣхомъ. Въ сравнительно короткій промежутокъ нѣсколькихъ лѣтъ онъ не только усвоилъ фактическій составъ науки, но начиналъ уже прозрѣвать ея будущіе цѣли и результаты.

Онъ никогда не переставалъ пополнять свои скудныя сначала свѣдѣнія по естествознанію и смежнымъ съ нимъ наукамъ. Случай далъ ему возможность, въ разгаръ издательской работы, прослушать основательно курсъ анатоміи съ практическими демонстраціями. Исторія этого курса, впервые раскрытая Морисомъ Турнэ, любопытна и въ жизни Дидро, и въ быту современнаго ему общества; будетъ кстати рассказать ее здѣсь. Не разъ Дидро приходилось уже встрѣчаться съ женщинами трудящимися и научно образованными, и съ особеннымъ сочувствіемъ останавливался онъ всегда на этихъ предшественницахъ женскаго движенія; онъ видѣлъ ихъ въ борьбѣ съ общественнымъ мнѣніемъ, видѣлъ и въ семейныхъ отношеніяхъ, гдѣ женщина образованная самоотверженно кормила своимъ трудомъ слабаго характеромъ и легкомысленнаго мужа или содержала всю семью. Изъ числа этихъ новыхъ женщинъ выдѣлялась пожилая дѣвушка, *mademoiselle Bihéron*, прево-

*) Рѣчь эта, произнесенная 3 іюля, стало быть раньше французскихъ юбилейныхъ правднествъ, напечатана въ *Deutsche Rundschau* (September, 1884, «Zu Diderot's Gedächtniss»).

сходно изучившая анатомію и поражавшая совершенствомъ своихъ препаратовъ первыхъ англійскихъ и французскихъ ученыхъ. Ей удалось побѣдить нерасположеніе факультета къ женщинѣ-медику и составить себѣ почетное положеніе въ парижскомъ медицинскомъ мірѣ; ее даже выдвигали впередъ, когда хотѣли блеснуть передъ знатными пріѣзжими. Въ торжественномъ засѣданіи трехъ академій, устроенномъ въ честь шведскаго короля Густава III, г-жа Бізронъ сдѣлала одну изъ своихъ лучшихъ демонстрацій. Но она не довольствовалась пріобрѣтеніемъ знаній; она стремилась распространять его въ массѣ, вліять на воспитаніе, не дѣлая разницы между полами. Для этого она организовала первые публичные медицинскіе курсы (лекціи по математикѣ, читанныя Премонвалемъ и посѣщавшіяся также женщинами, существовали уже тогда, и Дидро вспоминаетъ о нихъ въ „Жакѣ“). Ихъ посѣщали усердно: Дидро, Даламберъ и Гриммъ были одними изъ прилежнѣйшихъ слушателей; двадцать молодыхъ дѣвушекъ и сто замужнихъ женщинъ слушали отдѣльный курсъ, и Дидро посылалъ туда свою дочь; отцы приводили съ собой сыновей на курсъ мужской. Энтузіазмъ преподавательницы и умѣнье ея передавать свои свѣдѣнія привлекли къ ней Дидро, и онъ принялъ близко къ сердцу ея судьбу. Когда ея извѣстность разрослась, такъ что „свѣдѣнія по анатоміи стали въ обществѣ довольно обычнымъ явленіемъ“, онъ подалъ ей мысль отправиться въ Англію, и неутомимая пропагандистка, не искавшая особенно значительнаго вознагражденія и никогда не выходившая изъ бѣдности, два раза совершала трудное въ то время путешествіе въ Лондонъ. Въ Британскомъ Музеѣ найдено письмо, написанное по этому поводу Дидро къ извѣстному народному дѣятелю Джону Вильксу, съ которымъ онъ близко сошелся въ Парижѣ; онъ горячо рекомендуетъ „достопочтенному Гракху“, симпатіями котораго видимо дорожилъ, свою пріятельницу и проситъ у „народнаго трибуна“ содѣйствія ея пропагандѣ. Съ тою же заботливостью онъ старался доставить ей доступъ и въ Россію.

Порученіе Екатерины пересмотрѣть уставъ и программу Смольнаго монастыря доставило ему желанный поводъ. Изъ Гаги послалъ онъ императрицѣ записку „Sur l'école des jeunes demoiselles“, гдѣ называлъ важнымъ недостаткомъ женскаго воспитанія отсутствіе правильнаго знакомства съ анатоміей. Пересказывая главнѣйшія данныя изъ дѣятельности г-жи Біэронъ и напоминая о ея успѣхахъ даже въ свѣтскихъ кругахъ Парижа, онъ настаивалъ на томъ, что здравыя понятія, приобрѣтенныя въ этомъ отношеніи дѣвушками 16—17 лѣтъ, предохраняютъ ихъ отъ жеманства, ошибокъ и невѣдѣній, которыя постоянно сопровождаютъ жизнь женщины, принося ей много вреда; только таинственное и запретное, говоритъ онъ, привлекаетъ ихъ съ молодую; оно становится безразличнымъ, когда озарится трезвымъ свѣтомъ. Въ примѣръ привелъ онъ свою дочь, которую онъ засталъ однажды съ *Кандидомъ* въ рукахъ; всѣ его опасенія были напрасны, такъ какъ циническія подробности этой повѣсти не произвели никакого впечатлѣнія на дѣвушку, и она съ неудовольствіемъ отбросила книгу. Для постановки преподаванія анатоміи онъ и тутъ указалъ на *mademoiselle Bihegon*, которая соглашалась на время пріѣхать въ Петербургъ, приготовить здѣсь нѣсколько учительницъ и оставить въ Россіи свои коллекціи, не заботясь объ ихъ судьбѣ и о вознагражденіи за пріѣздъ. Въ письмѣ къ Бецкому *) онъ съ высокими похвалами отзывался объ этой женщинѣ, которую Гриммъ изображалъ „очень некрасивой, очень ученой и крайне набожной“; по словамъ Дидро, „она отличается душевнымъ благородствомъ, кротостью, безупречною нравственностью и познаніями, рѣдкими даже среди мужчинъ“. Онъ былъ почти увѣренъ въ успѣхъ; г-жа Біэронъ готовилась отправить свои коллекціи моремъ, а сама по болѣзни и старости собиралась ѣхать въ Россію сухимъ путемъ,—но изъ всѣхъ этихъ напоминаній ничего не вышло: на эту часть воспитательныхъ проектовъ Дидро, насколько извѣстно, не было даже отвѣта, и мысль о медицинскомъ образованіи

*) Oeuvres (Assézat-Tourneux), vol. XX, pp. 62—3.

женщинъ, заявленная у насъ такъ рано, очевидно, сочтена была слишкомъ фантастическою мечтой.

Своими свѣдѣніями въ химіи Дидро былъ обязанъ другою такой же энергической и впечатлительной натурѣ, профессору при Jardin des Plantes, Руэллю, которому посвятилъ сочувственный некрологъ *). Въ немъ онъ узнавалъ многія изъ сторонъ своего характера. Руэль также вышелъ изъ низшихъ слоевъ, также добился всего самъ, рано выказывая тонкую наблюдательность, изучая природу въ поляхъ и ремесла на фабрикахъ, дѣлалъ первые свои опыты въ деревенской кузницѣ; явившись во Франціи „творцомъ химіи“, какъ его называетъ Дидро, онъ двинулъ впередъ и другія отрасли естествознанія; до него въ Парижѣ было два-три кабинета, въ годъ его смерти ихъ было двѣсти. Увлекающійся, иногда вдругъ непостижимо разсѣянный, онъ не подчинялся ни служебной рутинѣ, ни требованіямъ грамматики, дѣлая въ разговорѣ грубыя ошибки, не желалъ поддерживать необходимаго ученаго декорума, до такой степени, что, начавъ лекцію въ традиціонной мантии, онъ въ жару изложенія сбрасывалъ съ себя и ее, и парикъ, и профессорскій колпакъ, и, засучивъ рукава, принимался за опыты **). Въ рукахъ этого человѣка все спорилось, и его увлеченіе передавалось ученикамъ (лучшимъ изъ нихъ былъ Лавуазье). Дидро три года слушалъ его и значительно обновилъ свои свѣдѣнія; въ ту же пору онъ перечелъ два раза физиологію Галлера, съ карандашомъ въ рукѣ, изучалъ Линнея и Бюффона, при посредствѣ своего новаго друга Бордэ слѣдилъ за новостями медицинской литературы, собиралъ растенія и дѣлалъ надъ ними опыты. Располагая уже довольно значительнымъ запасомъ свѣдѣній, неполнота которыхъ въ иныхъ отдѣлахъ не переставала его мучить, онъ могъ пересмотрѣть и передумать свои прежнія работы и догадки по фи-

*) Oeuvres, vol. VI, Notices sur le peintre Michel Vanloo et le chimiste Rouelle.

**) Caro. Diderot inédit, p. 186.

зіологіи и філософіи природи; отъ всякаго ꙗзиченія ꙗко ꙗзичимъ предметамъ ꙗу него накопилось съ годами много отрывочныхъ замѣтокъ, ꙗкоторыя теперь пришлось собрать, провѣрить новыми опытами, убѣждаясь почти всегда, что первоначальныя предположенія были вѣрны и нуждались только въ подкрѣпленіи фактами. Дидро было шестьдесятъ-шесть лѣтъ, когда онъ ꙗпринялся за этотъ пересмотръ, и результатомъ работы были его *Eléments de physiologie*.

Въ прежніе годы его привлекала къ изученію подобныхъ вопросовъ прикладная его сторона, возможность найти новое оружіе для борьбы съ метафизикой и теологіей; полемическое воодушевленіе не давало времени взглянуть вглубь. Теперь страсти улегались, ученый арсеналь его разрослся, настала пора опредѣленно формулировать и сложить въ систему свои воззрѣнія. Ему показались крайне односторонними теоріи Гельвеція, Гольбаха, принадлежавшихъ къ одной съ нимъ школѣ; остроумными замѣчаніями разбилъ онъ посмертную книгу Гельвеція, принимавшую равенство способностей у всѣхъ людей и могущество воспитанія, которое въ состояніи довести эти дарованія до геніальности*); позднѣйшія работы Гольбаха казались ему тенденціозными и слабыми послѣ его „Системы природы“. Но онъ по-прежнему убѣжденъ былъ вмѣстѣ съ Гольбахомъ, что общественное перерожденіе обусловливается освобожденіемъ мысли, котораго можно достигнуть лишь вѣрнымъ познаніемъ природы, и сосредоточилъ свою энергію на изученіи ея. По вѣрному замѣчанію, высказанному послѣднимъ его біографомъ, — въ то самое время, когда Руссо проклиналъ науку и искусство во имя природы, Дидро съ увлеченіемъ отдался культу научнаго прогресса, чтобы приблизиться къ природѣ и овладѣть ею. Свойственная ему порывистость покидаетъ его, уступая мѣсто строгой послѣдовательности и систематической связи, которую не могли не признать и его

*) „Позвольте предложить вамъ небольшой вопросъ,—говорилъ онъ ему.— Вотъ пятьсотъ дѣтей, которыя только-что родились; ихъ отдадутъ вамъ, чтобы вы воспитали ихъ по собственному усмотрѣнію. Скажите, сколько изъ нихъ вы сдѣлаете геніальными людьми? Отчего бы не всѣхъ пятьсотъ?“

противники. Правда, его старая литературная манера по временамъ сказывается и тутъ; рядомъ съ „Элементами физиологии“ онъ избираетъ для выраженія своихъ взглядовъ любимую имъ форму діалоговъ, какъ всегда оживленныхъ и типическихъ; въ одномъ изъ нихъ, „Entretien de Diderot et de D'Alembert“, онъ выводитъ самого себя въ споръ съ своимъ другомъ и подъ конецъ этой бесѣды, поднявшей Богъ вѣсть сколько проблемъ, заставляетъ Даламбера утомиться и прилечь, — это образуетъ переходъ къ другому, еще болѣе оригинальному діалогу „Сонъ Даламбера“. Усталый Даламберъ прилежъ, но заснулъ тяжелымъ сномъ и въ бреду произноситъ отрывочныя и несообразно-странныя вещи. Его пріятельница m-lle de l'Esplanasse, вслушиваясь въ эти безсвязныя рѣчи, пододвинула наконецъ столикъ къ кровати и принялась записывать ихъ, а сама послала за общимъ другомъ обоихъ философовъ, докторомъ Бордэ. Но медикъ, къ ея удивленію, не нашелъ никакого болѣзненнаго симптома и своими объясненіями сталъ возстановлять связь между отрывочными фразами Даламбера, какъ будто слышалъ весь его лихорадочный бредъ. Діалогъ удивленной и полной здраваго смысла молодой женщины, понемногу начинающей постигать новое ученіе, съ невозмутимо спокойнымъ и дѣловитымъ докторомъ прерывается по временамъ новыми возгласами мнимаго больного, у котораго во снѣ продолжаютъ развиваться темы ихъ недавняго разговора съ Дидро, — пока наконецъ Даламберъ не пришелъ въ себя и еще слабымъ отъ волненія голосомъ не принялъ участія въ спорѣ. Фантастичность этой обстановки діалога тѣшила самого автора, — „on ne peut pas être plus profond et plus fou“, писалъ онъ г-жѣ Волянъ, — но она значительно облегчила его задачу: чего не допустить читатель, когда его введутъ въ комнату больного, и онъ не сумѣетъ сразу разобраться между серьезными научными заявленіями и грезами возбужденнаго воображенія!

Историки дарвинизма, заинтересованные изученіемъ періода, подготовившаго эту теорію, считаютъ обыкновенно ранними предшественниками Дарвина, Ламарка и Гете, не

возводя такимъ образомъ исторію своей школы раньше начала девятнадцатаго вѣка. Очень немногіе знаютъ имя Робинэ, высказавшаго нѣсколько предположеній того же характера въ своихъ многотомныхъ „Размышленіяхъ о природѣ“, печатавшихся въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго вѣка въ Голландіи, гдѣ его догадки затерялись среди ненужнаго метафизическаго хлама. Полу-сказочная, полу-научная аллегорія второстепеннаго писателя Дю-Малье „Tallamed“, написанная почти безъ книгъ и пособій, вдали отъ всего, на Востокѣ, извѣстна только по насмѣшкамъ Вольтера, — который, вѣроятно, не пощадилъ бы и Дидро, еслибы зналъ его позднѣйшіе взгляды на развитіе организмовъ. Въ кругу этихъ забытыхъ предшественниковъ современнаго естествознанія почетное мѣсто должно быть отнынѣ отведено Дидро, и не потому только, что онъ несомнѣнно повліялъ на ученыя работы Гете, вообще сильно имъ увлекавшагося, и Ламарка; споры о старшинствѣ Робинэ и Дидро по времени выпуска ихъ главныхъ сочиненій по данному вопросу выяснили также, что „Размышленія“ перваго изъ нихъ значительно предшествовали на примѣръ „Сну Даламбера“. Гораздо знаменательнѣе тотъ фактъ, что идеи, позже развитыя у Дидро обстоятельно, высказаны были имъ, какъ мы показали выше, въ первыхъ же выпущенныхъ имъ книгахъ, въ самые молодые годы. Въ „Письмѣ о слѣпыхъ“ и въ „Interprétation de la nature“ находятся уже въ зародышѣ его завѣтныя догадки.

Онѣ должны были казаться странными не только подругѣ Даламбера, но и громадному большинству тогдашнихъ ученыхъ специалистовъ. Онъ утверждалъ, что рѣзкихъ разграниченій между царствами природы не существуетъ, что міръ растений незаметно переходитъ къ животнымъ организмамъ, царство минераловъ къ растениямъ, и съ любопытствомъ останавливался на промежуточныхъ явленіяхъ. Тогда только-что обращено было вниманіе науки на настькомоядное растеніе „*Muscipula Diopoea*“, которое въ 1769 году Джонъ Эллисъ получилъ отъ друга, жившаго въ Америкѣ, и описалъ въ письмѣ къ Линнею; — Дидро воспользо-

зовался этимъ открытіемъ для подтвержденія своей теоріи, назвавъ Діонею „почти хищнымъ растеніемъ“. Переходныя эти ступени еще болѣе укрѣпляли его убѣжденіе въ существованіи безконечно развивающейся „цѣпи организмовъ“ (la chaîne des êtres). „Не нужно думать, — говорилъ онъ, — что эта цѣпь нарушается разнообразіемъ формъ; внѣшній видъ бываетъ часто лишь обманчивою маской, и звено, съ виду какъ будто недостающее, быть можетъ, находится въ какомъ-нибудь, всѣмъ извѣстномъ существѣ, для котораго успѣхи сравнительной анатоміи не могли еще опредѣлить его настоящее мѣсто. Этотъ способъ классификаціи очень труденъ и очень медленъ, и можетъ быть-лишь результатомъ послѣдовательныхъ работъ множества натуралистовъ. *Будемъ ждать и не станемъ торопиться съ выводами*“. Послѣднія слова, столь необычныя у человѣка, вѣчно спѣшившаго жить, особенно ярко обнаруживаютъ совершившуюся въ немъ перемѣну. Онъ все болѣе проникался вѣрой въ поступательное движеніе науки и сдвигалъ ей свои надежды, осуществленія которыхъ не могъ уже увидать. Постепенно входилъ онъ въ подробности; задумывался надъ развитіемъ отдѣльныхъ органовъ и ихъ атрофіей подъ влияніемъ существенной или слабѣющей потребности въ нихъ, надъ закономъ о наслѣдственности, надъ силой ассоціаціи идей (въ „Entretien de Diderot“ etc.), надъ значеніемъ жизненной энергіи и соотношеніемъ физическихъ силъ, указывалъ на естественный подборъ; прибѣгнувъ къ аллегорическому сравненію съ роємъ пчелъ, густо покрывающимъ, по вылетѣ изъ улья, первую попавшуюся вѣтку сплошнымъ слоемъ, который весь состоитъ изъ маленькихъ крылатыхъ животныхъ и въ то же время кажется какъ бы однимъ существомъ, онъ высказалъ взглядъ на животное, какъ на собирательное цѣлое, образованное изъ безчисленныхъ мелкихъ организмовъ. По тѣмъ же слѣдамъ прошла впоследствии увѣренная поступью наука, располагая тонкими микроскопическими и химическими наблюденіями; сложилась эволюціонная теорія, бросившая свое отраженіе и на смежныя науки, выработавъ законъ о сохраненіи энергіи, изученіе

наслѣдственности успѣло принять даже одностороннее направленіе; старое разграниченіе царствъ природы потеряло свое значеніе, и тамъ, гдѣ Дидро изумлялся и радовался находкѣ Діонеи, сотни родственныя ей видовъ изслѣдованы и описаны,—а имя человѣка, грезившаго объ этихъ успѣхахъ слишкомъ за полтора вѣка тому назадъ, совсѣмъ забылось.

Если Розенкранцъ правъ, говоря, что Дидро, какъ философъ, отразилъ на себѣ всѣ противорѣчія своего времени, пережилъ всѣ главнѣйшія теченія, смѣнявшія другъ друга въ области мысли, то въ послѣдній, предсмертный періодъ онъ уже переходитъ въ кругъ научныхъ воззрѣній девятнадцатаго вѣка и, быть можетъ, ближе къ нимъ, чѣмъ многіе изъ передовыхъ дѣятелей прошлаго столѣтія. Но это напряженіе старческихъ силъ, сосредоточенныхъ наконецъ на одномъ предметѣ, послѣ безпечнаго расточенія на множество нуждъ, настало слишкомъ поздно. Организмъ слабѣлъ, и только свѣтлая до послѣдней минуты голова напоминала прежняго Дидро. Такъ долго неразлучные Дидро и Даламберъ одновременно стали угасать. „Чрезвычайно поразительно (записалъ Гриммъ въ *Gazette littéraire*, сентябрь 1783), что два человѣка, которые совмѣстно придали направленіе своему столѣтію и вмѣстѣ воздвигли монументальный трудъ, обеспечивающій имъ безсмертіе, какъ будто снова соединяются, чтобы сойти въ могилу“. Даламберъ умеръ раньше, постепенно превратившись изъ оживленнаго, за всѣмъ слѣдившаго собесѣдника и дальнозоркаго ученаго въ унылаго, сиротливаго и безучастнаго старца. Дидро не сдавался такъ легко. Не разъ и прежде воспоминалъ онъ о смерти, даже систематически приучалъ себя къ мысли о ней; въ тяжелой эпохи преслѣдованій и неудачъ смерть казалась ему такимъ же желаннымъ отдыхомъ, какъ для человѣка, много потрудившагося за день, возможность прилечь наконецъ на свою постель. Когда не стало Софи Воланъ, имъ овладѣло грустное настроеніе. За нѣсколько мѣсяцевъ онъ предвидѣлъ конецъ и подготовилъ къ нему семью; болѣзнь, казалось, пошла быстро; въ постоянномъ бреду онъ произносилъ любимые стихи Горация,

грезилъ новыми работами,—и потомъ опять на нѣсколько мѣсяцевъ къ нему вернулась прежняя ясность мысли; пошли бесѣды съ друзьями о философіи, отстаиваніе своихъ убѣжденій передъ подосланнымъ аббатомъ, пытавшимся склонить его къ покаянію и отреченію отъ прежнихъ сочиненій. Дидро дорожилъ стойкостью своихъ взглядовъ, вѣрилъ, что сумѣетъ выдержать ихъ до конца, и, чувствуя приближеніе смерти, томился только мыслью, что настанетъ минута, когда онъ не будетъ болѣе владѣть собой, когда разумъ затмится, рѣчи станутъ безсвязны, и чувство страха вызоветъ на его уста слова и мысли, идущія въ разрѣзъ съ его убѣжденіями. Быть-можетъ, ему припоминались въ эту минуту преувеличенные молвою слухи о мучительной будто бы агоніи Вольтера. Но судьба была милосерднѣе къ нему; онъ тихо заснулъ, и еще за мгновеніе до конца слышался слабый голосъ, шептавшій что-то о будущности философіи.

Съ той поры (30 іюля 1784 года) прошло сто девять лѣтъ. Тогда скромная группа друзей провожала его прахъ до церкви святого Роха,—въ годъ юбилея и въ Парижѣ (въ Трокадеро) и на родинѣ философа, въ Лангрѣ, происходили шумныя торжества, слышались похвальные рѣчи, его чествовала молодежь, литературныя и политическія знаменитости, актеры первыхъ театровъ, общества ремесленниковъ, масонскія ложи; его называли „первымъ наставникомъ французскаго народа“, другомъ человѣчества и проповѣдникомъ знанія. Въ Парижѣ красуется его статуя (на boulevard Saint—Germain), а въ маленькомъ родномъ городкѣ, гдѣ прежде его старый отецъ былъ гораздо болѣе почетнымъ лицомъ, и гдѣ однажды незнакомый мастеровой сказалъ философу, встрѣтивъ его на улицѣ: „хорошій и вы человѣкъ, господинъ Дидро, но никогда ужъ вамъ не сравняться съ вашимъ отцомъ“, — красуется теперь воздвигнутая по подпискѣ, собранной во всей Европѣ, статуя этого „младшаго Дидро“, работа молодого и талантливаго скульптора Бартольди, котораго прославила уже колоссальная статуя „Свободы“, возвышающаяся при въѣздѣ въ нью-йоркскую гавань. Философъ стоитъ на пьедесталѣ, не рисуясь, въ не-

принужденной позѣ; его члены облекаетъ не классическая тога, а неразлучный его халатъ, а въ рукахъ у него книга, которую онъ какъ будто только-что снялъ съ полки; голова немного наклонена, какъ ее изображаютъ всѣ бюсты; онъ точно во что-то вглядывается. Внизу, среди лучей свѣта, красуется заглавіе Энциклопедіи, окруженное именами всѣхъ главнѣйшихъ сотрудниковъ, сплотившихся вокругъ Дидро.

Въ юбилейныхъ рѣчахъ было, конечно, много доброй воли и искренности, но не мало и благонамѣренныхъ общихъ мѣстъ, какъ это водится на подобныхъ празднествахъ; ни одного могучаго ораторскаго слова не прозвучало тутъ, которое освѣтило бы значеніе минуты. Ласково улыбаясь, выслушалъ бы эти рѣчи самъ Дидро, великій мастеръ живого и огненнаго краснорѣчія. Чествованіе могло быть полнѣе и всенароднѣе. Или, быть-можетъ, сто лѣтъ слишкомъ малый срокъ для полной и сочувственной оцѣнки, и Дидро правъ, отдавая себя со всѣми своими слабостями, увлеченіями, богатыми дарованіями и неутомимою работой мысли на судъ отдаленнѣйшимъ поколѣніямъ?..

Шереръ, кончая свой этюдъ о нашемъ философѣ, не слишкомъ симпатизирующій ему, замѣчаетъ, что при имени Дидро всегда ему вспоминается извѣстный стихъ Лафонтена:

Un torrent tombait des montagnes.

Водопадъ этотъ, говорить онъ, несетъ въ своихъ волнахъ и золото и иловатую землю, и по временамъ превращается въ широкій и бурный потокъ, въ которомъ никогда не отражается небо... Вспомнимъ и мы образъ, намѣченный Лафонтеномъ. Да, это водопадъ, шумно низвергающійся съ высоты; онъ непослушенъ, его не уложишь ни въ какое русло, но въ его брызгахъ алмазами искрятся солнечные лучи, и въ свѣтлой атмосферѣ, которую онъ распространяетъ, всегда вольно дышать.

У ВОЛЬТЕРА.

Когда по вечерам фойе Французской Комедии наполняется гуломъ, движеніемъ и суетой толпы, съ высоты своихъ пьедесталовъ неподвижно-пристальными мраморными очами взирають на этотъ водоворотъ великіе писатели старыхъ временъ. Но искусный рѣзецъ навѣки задержалъ въ одномъ изъ этихъ взглядовъ безподобно схваченное выраженіе тонкой ироніи, которая свѣтится въ насмѣшливо-прищуренныхъ глазахъ и играетъ въ улыбкѣ. Подойдя къ изваянію, изображающему согбеннаго, хилаго старика, въ почетномъ одиночествѣ красующемуся въ глубинѣ залы, встрѣтишься глазами съ этимъ взоромъ, и потомъ никогда его не забудешь. Такъ много въ немъ ума, проникательности, насквозь видящей человѣка! Словно только что промелькнула въ сознаніи какая-то мѣткая мысль,—и остроумная шутка сейчасъ сорвется съ тонкихъ губъ...

Такой мраморъ, полный жизни, возсоздаетъ всего человѣка и могъ бы объяснить его лучше многихъ комментаріевъ; онъ задержалъ его навсегда такимъ, какимъ онъ дѣйствительно былъ. Правда, это не такая уже удивительная рѣдкость. Если не сила искусства, то химическія свойства почвы позволяютъ иной разъ позднему потомку съ еще большей осязательностью увидать передъ собой дѣятеля былыхъ временъ, давно сошедшаго въ могилу. Въ склепѣ митавскаго дворца спитъ вѣчнымъ сномъ Биронъ. Щедущее тѣло ссохлось, осунулось, но устояло противъ разрушеній времени. Хищнымъ клювомъ заострился носъ; губы

стиснуты, точно въ минуту упрямаго самоуправства; изъ-подъ кружевной обшивки виднѣется рука, подписавшая столько жестокихъ приговоровъ. Вы прикасаетесь къ этой рукѣ, къ надменному челу; но тяжелый сонъ смерти сковываетъ ихъ, и странное соприкосновеніе съ прошлымъ оставляетъ шемающее впечатлѣніе.

Отъ ястребинаго профиля Бирона и пергаментной безцвѣтности обтянувшей его кожи перейдите къ Гудоновой статуѣ Вольтера, съ ея живыми глазами и гениальной усмѣшкой,—и контрастъ крайнихъ противоположностей восемнадцатаго вѣка, безсмысленнаго деспотизма и освобождающей мысли, олицетворенныхъ въ образахъ временщика и философа, отбѣнить въ то же время торжество искусства.

Судьба была безжалостна къ останкамъ Вольтера; не только удивительнаго препарата, въ родѣ того, что сберечь зачѣмъ-то тѣло фаворита Анны,—даже горсти праха не дошло до насъ. Въ глухую ли ночь 1814 года нѣсколько фанатиковъ-клерикаловъ, воспользовавшись временнымъ торжествомъ своей партіи, проникли въ Пантеонъ и опустошили гробницы своихъ заклятыхъ враговъ, Вольтера и Руссо, или во время переноса тѣла съ сельскаго кладбища, гдѣ похоронили вольнодумца изъ милости, въ храмъ славы, произошелъ подмѣнъ,—никто не разъяснить этой тайны. Изъ празднаго любопытства или изъ искренняго сочувствія цѣлыя поколѣнія людей спускались потомъ въ склепы Пантеона и останавливались въ почтительномъ молчаніи передъ усыпальницей Вольтера, не подозрѣвая истины. Но нѣтъ, не пуста эта почетная могила; въ наше время въ нее перенесли сердце философа, сохраненное однимъ изъ его наслѣдниковъ,—то „трепетное“ сердце, которое такъ умѣло сильно любить и сильно ненавидѣть, такъ способно было увлекаться до неумѣреннаго раздраженія и съ глубокой гуманностью скорбѣть о чужихъ страданіяхъ.

„Его сердце здѣсь, духъ же его разлитъ повсюду“ (*son coeur est ici, son esprit est partout*)—такъ гласила надпись въ пріемномъ салонѣ Фернэйскаго замка, придуманная приемникомъ философа. Слишкомъ черезъ сто лѣтъ она не

утратила истины. Во многих лучших стремлениях нашего вѣка все еще чувствуется живительное вліяніе почина, энергически принятаго на себя Вольтеромъ; нѣмецкіе ученые въ обширныхъ трактатахъ прославляютъ его теперь, какъ реформатора уголовного законодательства, смѣлаго противника пытокъ и смертной казни; историкъ вѣротерпимости отводитъ ему и въ этой области почетное мѣсто. Въ такихъ заслугахъ передъ человѣчествомъ Вольтеръ не перестанетъ жить, хотя бы въ его прошломъ и было не мало ошибокъ, и изъ многочисленныхъ его произведеній инныя покрылись уже забвеніемъ. Такова вторая, иногда лучшая жизнь великаго писателя.

Хоть на нѣсколько мгновеній побывать тамъ, гдѣ долгіе годы провелъ въ напряженномъ трудѣ такой человѣкъ, взглянуть на его обстановку, перенестись на мѣстѣ въ его ощущенія и думы,—сколько въ этомъ привлекательнаго!.... Со всѣхъ концовъ Европы, какъ въ бывшее время, паломники направляются туда, гдѣ въ красивомъ затишьи, на самомъ рубежѣ Франціи и женевской территоріи, прошла важнѣйшая часть жизни Вольтера, чуть не четверть столѣтія. Въ старину, въ Фернэ являлись на поклонъ къ самому поэту и потомъ гордились хоть мимолетнымъ сближеніемъ съ нимъ; теперь хотя бы взглянуть на вольтеровскія реликвіи. Шли, бывало, изъ Женевы пѣшкомъ, останавливаясь по временамъ, чтобы, оглянувшись, полюбоваться на снѣжную цѣпь горъ, вырѣзывающуюся на горизонтѣ; ѣзжали и въ допотопныхъ омнибусахъ. Теперь поѣзда женевской *voie étroite* то и дѣло выгружаютъ на главной улицѣ мѣстечка разноплеменную публику, которая съ любопытствомъ, оживленными разговорами и разспросами, радостнымъ молодымъ смѣхомъ, и степенной сдержанностью сановитыхъ туристовъ ожидаетъ минуты, когда ей придется побывать „у Вольтера“.

У „Фернэйскаго старца“ сегодня много гостей. По большой дорогѣ поднимаютъ пыль грузные рыдваны и кареты женевцевъ, щегольскіе экипажи иностранныхъ магнатовъ.

Свернувъ въ боковую аллею, недавно обсаженную деревьями, они поднимаются по ней къ дому, очертанія котораго слабо обрисовываются вдали при вечернемъ освѣщеніи. Не укрѣпленный ли это замокъ? Вокругъ рвы, подъемные мосты, башенки... Но весело играютъ огни въ окнахъ, у подъѣзда замѣтно большое оживленіе, и кучки народа снуютъ между барской резиденціею и продолговатой пристройкой, гдѣ готовится что-то новое и, должно быть, необыкновенно занимательное. Очевидно, остатокъ феодальной обстановки—просто анахронизмъ, ненужный для мирной культуры. Впрочемъ, если-бы врагамъ пришла безумная мысль завладѣть больнымъ старикомъ, который весь вѣкъ свой жалуется на мучительныя страданія и любитъ говорить, что онъ „родился убитымъ“, а между тѣмъ бросаетъ свои полемическія брошюры, точно разрывные снаряды, въ непріятельскій станъ,—онъ вспомнилъ бы о наслѣдіи старыхъ графовъ de Tournay et Ferney, поднялъ бы свои мосты, залилъ рвы и сумѣлъ бы отсидѣться отъ опасности.

Сегодня у него хорошо на душѣ. На зло пуританкѣ Женевѣ, не терпящей у себя театра, вмѣшивающейся въ увеселенія, пляску и моды своихъ гражданъ, онъ не только у самыхъ воротъ ея устроилъ у себя сцену, но на ней передъ отборнымъ обществомъ долженъ выступить его парижскій гость, краса и гордость французской сцены, Лекенъ, котораго сама природа надѣлила для воплощенія трагическихъ героевъ пламенною страстностью и западающимъ въ душу голосомъ. Идетъ *Танкредъ*, написанный тутъ же, въ Фернѣ. И неисправимый поклонникъ театра ликуетъ на старости лѣтъ не хуже юноши-энтузіаста.

Театральная зала наполняется. Тутъ есть и англійскіе лорды, и екатерининскіе гвардейцы, изящные парижане и демократически просто одѣтые женевцы, не устоявшіе передъ соблазномъ. Виднѣтся полная здоровья и духовной силы фигура знаменитаго доктора Троншена, этого ангела-хранителя Вольтера, продлившаго ему жизнь на десятки лѣтъ, и забавная костлявая фигурка эксъ-іезуита père Adam, когда-то подобраннаго Вольтеромъ въ Эльзасѣ, съ тѣхъ

поръ неразлучнаго съ нимъ и, подъ комическимъ прозвищемъ „прародителя“ (le premier homme), исполняющаго обязанности не лейбъ-духовника, а находчиваго собесѣдника и участника въ самыхъ забавныхъ затѣяхъ. Тутъ и распольнѣвшая не въ мѣру племянница хозяина дома, madame Denis, и домоправительница и трагическая актриса, внезапно превращающаяся въ Семирамиду или Заиру,—и красивая madame Cramer, въ честь которой старый поэтъ сложилъ не одинъ мадригалъ.

Но вотъ и онъ; словно не замѣчая перемѣнъ моды, онъ одѣтъ, какъ одѣвались во дни его молодости, и среди скромныхъ париковъ и фризуръ остальной публики его огромный, совсѣмъ готическій парикъ производитъ необыкновенно старомодное впечатлѣніе. Но изъ-подъ этого массивнаго оклада, облегающаго худое и морщинистое лицо, выглядываютъ глаза, то блестящіе огнемъ, который не поддается ни старости, ни разрушенію, то, въ спокойныя минуты, подернутые нѣжною, бархатною мягкостью выраженія.

Спектакль начинается; поэтъ слышитъ свои стихи со сцены переданными съ величайшимъ мастерствомъ, какое было тогда возможно. „Это не я написалъ, а онъ, все оны!“ восклицаетъ Вольтеръ въ упоении, обнимая Лекена,—и на цѣлый вечеръ онъ отдается тѣмъ восторгамъ, мыслямъ вслухъ, обращеннымъ къ зрителямъ, тѣмъ критическимъ замѣчаніямъ и колкимъ насмѣшкамъ, которыя когда то такъ нравились парижской театральной публикѣ, привыкшей все ему прощать.

Разъѣхались гости, все затихло въ домѣ, но не затихаетъ удивительная мозговая дѣятельность старика. Онъ почти не спитъ, хотя иногда по цѣлымъ днямъ нѣжится въ постели, пишетъ въ ней, читаетъ, принимаетъ просителей, а при случаѣ мастерски олицетворяетъ Мнимаго Больнаго. Ночью, когда блеснетъ у него новая важная мысль, онъ безжалостно будитъ своего секретаря, и они работаютъ среди окружающаго ихъ сна. Днемъ онъ набрасываетъ свои мысли, гдѣ придется, на игральныхъ картахъ, неразлучныхъ съ нимъ. Какъ же быть иначе! Сколько дѣла

на руках! Двигается вперед Dictionnaire philosophique, пишутся статьи для Энциклопедіи, задумано нѣсколько пьесъ, двѣ, три брошюры должны популярно изложить среднему читателю великія открытія англійскихъ натуралистовъ, нужно возмутить европейское общественное мнѣніе рассказомъ о новомъ, безчеловѣчномъ „юридическомъ убійствѣ“,—а изъ-подъ полы готовится памфлетъ противъ педантовъ вродѣ Фрерона, противъ враговъ науки вродѣ Руссо, противъ кальвинистской нетерпимости женевского „совѣта двадцати-пяти париковъ“. Жизни мало, чтобы выполнить все то, что настоятельно необходимо передать людямъ,—и въ вѣчныхъ его заботахъ о продленіи этой жизни тонко наблюдательный Галіани отгадалъ не обычное чувство самосохраненія, а боязнъ не досказать всего, что есть на душѣ. Онъ какъ будто говорилъ смерти: „подожди еще немного до такой-то страницы“...

Уже давно яркій день, когда онъ выходитъ изъ дому, и спустившись по немногимъ ступенькамъ, сходить въ паркъ. Онъ еще не расположенъ работать. Когда придетъ для того пора, онъ уйдетъ въ глубь парка, долго просидитъ подъ тѣнью старинной липы, и никто не посмѣетъ его потревожить. Теперь же онъ совершаетъ свою любимую утреннюю прогулку въ аллеѣ, проходящей на окраинѣ сада, по обрѣзу террасы, и совсѣмъ закрытой сверху зеленымъ сводомъ сплетающихся деревьевъ, обвитыхъ плющемъ. Сквозь листву пробиваются лучами чудесный видъ. Изъ-за луговъ и рощъ, въ сѣровой дымкѣ виднѣются дома и колокольни Женевы; озеро голубою лентой входитъ въ нее; громадные глыбы Салэва надвинулись на него; изъ-за нихъ, совсѣмъ въ поднебесѣ, сіяютъ бѣлые зубцы и острія снѣговой цѣпи горъ, а надъ ними Монбланъ съ его загадочными очертаніями, напоминающими профиль спяща богатыря.

Выйдетъ онъ за ограду парка,—и съ другой стороны горизонтъ тоже опоясанъ горнымъ хребтомъ, убѣленнымъ только въ зимнюю пору, теперь же разубраннымъ темными тонами лѣса и скалистыхъ вершинъ. Мелкіе отроги Юрскихъ горъ сползли въ долину и зеленѣющими волнами прошли

по ней. Хорошій уголокъ! Для такого *vieux de la Montagne*, какъ онъ, лучше не найти. Въ счастливую минуту остановилъ онъ свой выборъ на немъ, послѣ попытокъ устроиться въ другихъ мѣстахъ, и фантастическаго плана совсѣмъ уйти въ Америку, вмѣстѣ съ другими представителями гонимаго свободомыслія. Здѣсь, только здѣсь, нашель онъ независимость, отряхнулъ прахъ съ ногъ своихъ послѣ берлинской поѣздки, этой послѣдней дани суетности, и вышелъ на настоящую дорогу.

Много разъ проходитъ онъ изъ конца въ конецъ по своей любимой *charmille*. Воспоминанія слетаются на каждомъ шагу. Вотъ отсюда показался однажды Сирвень, полный тревоги и горькихъ жалобъ, съ неподдѣльнымъ драматизмомъ разсказаль обо всемъ, что перенесъ, о самоубійствѣ дочери, о страшномъ подозрѣніи, взведенномъ на него, объ изувѣрствѣ тулузскихъ католиковъ, о жестокости судей. Пришлось, какъ и для семьи Каласа, много и долго хлопотать, писать, тратиться, апеллировать ко всей Европѣ и наконецъ добиться отмены незаконнаго смертнаго приговора... Сколько разъ заставляли его во время перерыва занятій или на прогулкѣ женевскіе рабочіе и мастеровые, тѣснимые денежною аристократіей своего родного города! Онъ помогалъ имъ въ ихъ борьбѣ, звалъ переселиться къ нему въ Фернэ, завелъ у себя часовое мастерсто, завязалъ для него сношенія съ главными рынками Европы. Теперь этимъ людямъ все же не дурно живется... Изъ-за деревьевъ парка видны крыши домовъ. Какъ мало ихъ было, когда онъ впервые пріѣхалъ сюда, чтобы вступить во владѣніе старымъ помѣстьемъ, и когда кучка жителей встрѣтила его ружейными салютами и иллюминаціей! Теперь это городокъ, обстроенный на славу. Вмѣсто старой, развалившейся церкви, онъ соорудилъ фернэйцамъ новую, около самаго дома своего. Сколько было толковъ, когда на ней появилась надпись „*Deo egrxit Voltaire*“ (Богу воздвигнулъ Вольтеръ), какое непріятное дѣло возбудили противъ него попы изъ-за неосторожной сломки старой капеллы! Но и это удалось побороть; самъ папа прислалъ тогда чью-то власяницу для храма, основан-

наго философъ. Пусть же не говорятъ, что Вольтеръ въ чемъ-либо стѣсняетъ чужія вѣрованія!...

Клерикалы, изуверы,—вѣдь они всюду одни и тѣ же, и въ городѣ Кальвина и въ Римѣ,—они не могутъ ему простить его насмѣшекъ надъ суевѣрїями, надъ ихъ алчностью и неразвитостью, его посягательства на ихъ „святѣйшія права“. Еслибы дать ей волю, женевская консисторія сожгла бы его, точно „второго Сервета“!.. Вспоминается ему его заступничество за монастырскихъ крестьянъ сосѣдняго *paus de Gex*, совсѣмъ придавленныхъ крѣпостной зависимостью отъ богатой обители. Не легко было вырвать ихъ изъ хищныхъ лапъ,—но ужь за то онъ и пустилъ все въ ходъ; теперь они свободны и научились работать на себя.

Сколько нуждъ, сколько горя на свѣтѣ! Не по силамъ бываетъ стоять постоянно наготовѣ, чтобы помочь, защитить, возвратить свободу. За однимъ дѣломъ встаетъ другое. Въ 1771 году былъ голодъ; какъ страдали тогда всѣ вокругъ! Не было ни хлѣба, ни умѣнья достать его. Нельзя было не вмѣшаться. Онъ кормилъ тогда голодающихъ у себя, въ Фернэ, раздавалъ муку приходившимъ издалека, изъ Франшъ-Конте, послалъ надежнаго человѣка въ Сицилію за большою партіей хлѣба. Справились все-таки съ бѣдствіемъ...

Да, кажется, удачно вышло окончаніе *Кандида*, послѣднія, заключительныя слова повѣсти (какъ лихорадочно она писалась!—три дня напролетъ, безъ отдыха, запершись отъ всѣхъ): „нужно [старательно воздѣлывать свой садъ“ (*il faut cultiver son jardin*),—каковъ бы ни былъ тотъ клочокъ земли, на которомъ приходится работать. Именно такъ нужно было выразиться, кратко и убѣдительно. И, кажется, самъ онъ не отступалъ отъ этого правила...

Но пора за работу. [Сегодня многое еще нужно обдумать, написать. Дидро онъ пошлетъ одобреніе и сочувствіе новой вылазкѣ противъ клерикаловъ, Екатеринѣ замолвить слово за фернэйскихъ часовщиковъ, которые такъ искусны, „что сдѣлаютъ ей башенные часы въ Святую Софію,—если только она возьметъ Константинополь“; нужно пересмотрѣть „Опытъ о нравахъ“; потомъ придутъ женевскіе „*patifs*“; ихъ, бѣд-

ныхъ, снова притѣсняютъ. И ласковымъ взоромъ обводя все вокругъ, и уютный городокъ, и обновленный домъ съ любимыми уголками, библіотекой, театромъ, портретами и бюстами друзей, и паркъ, и поле, въ которомъ онъ такъ любитъ работать, и пестрѣющій всевозможными красками пѣтнникъ,—всѣ эти дѣла рукъ своихъ, онъ тихо направляется домой, за дѣло...

Тѣни прошлаго разсѣялись.... На одной изъ площадей Женевы, тамъ, гдѣ прежде вовсе не было никакого жилья, разводитъ пары локомотивъ, и черезъ нѣсколько минутъ, постукивая объ рельсы, влечетъ за собой нѣсколько переполненныхъ вагоновъ. Онъ бѣжитъ по улицамъ, обставленнымъ многоэтажными домами; на ихъ стѣнахъ разноцвѣтныя афиши возвѣщаютъ о нѣсколькихъ политическихъ собраніяхъ, о публичной лекціи натуралиста, о забастовкѣ кузнецовъ, о международной экскурсіи на пароходахъ. Въ большомъ и щеголеватомъ городѣ съ прекраснымъ театромъ, свѣтящимся фонтаномъ, вырывающимся со дна озера, съ шумомъ, движеніемъ, массою электрическихъ и газовыхъ огней по вече, рамъ, не узнать Женевы Вольтера и Руссо, патриархальной здоровой духомъ, но аскетически сдержанной и унылой. Поѣздъ бѣжитъ мимо дачныхъ поселеній горожанъ, мимо большого загороднаго музея, принесеннаго однимъ изъ нихъ въ даръ родинѣ, мимо таможенной сторожки, гдѣ мирно бесѣдуютъ стражи двухъ республикъ, и перебравшись во Францію, останавливается на площади мѣстечка, носящаго теперь названіе Fernex-Voltaire.

Памятникъ Вольтеру прежде всего представляется глазамъ. Покрывающія его надписи напоминаютъ обо всемъ добрѣ, слѣланномъ имъ для края, заботахъ во время голода, освобожденіи народа отъ тягостныхъ податей и рабства. Но съ главной улицы, напоминающей по типу французскіе городки средней руки, съ ихъ кафе, *marchands de vin* и крохотными отелями, скоро нужно свернуть влѣво. Насаженная Вольтеромъ аллея густо разрослась и совсѣмъ скрываетъ солнечные лучи; вдали бѣлѣютъ очертанія дома. Но онъ во многомъ

измѣнился; феодальная обстановка исчезла; въ архитектурѣ едва удержался стиль прошлаго вѣка; нетронуты уцѣлѣли только комнаты самого поэта. Все та же латинская надпись на миниатюрной церкви, но нѣтъ и слѣда прежняго театра. Цвѣтникъ, какъ въ дни Вольтера, кажется цѣлымъ моремъ цвѣтовъ, а надъ нимъ наклонились и шепчутся старыя липы; вотъ и старѣйшая изъ нихъ, любимица фернѣйскаго отшельника.

Два небольшихъ покоя и *salle d'attente* у воротъ стали вольтеровскимъ музеемъ. Современное поэту смѣшалось съ тѣмъ, что возникло послѣ его смерти, въ честь ему или въ осужденіе, и его любимыя вещи съ собранными отовсюду. Во всемъ этомъ мало системы, убранство комнатъ, дышавшее его вкусомъ и привычками, нарушается позднѣйшими посторонними прибавками. Но вотъ его постель съ полинявшимъ голубоватымъ балдахинѣмъ; драпировка постепенно сузилась до нельзя, благодаря нескромностямъ слишкомъ увлекающихся туристовъ. Все такъ же красуется надъ постелью большой портретъ Лекена; Екатерина и *madame du Châtelet* смотрять изъ своихъ золотыхъ рамокъ съ другой стѣны. На черномъ съ позолотою ковчегѣ все еще красуется старая надпись „о сердцѣ и духѣ Вольтера“. Лавровый вѣнокъ, которымъ увѣнчанъ былъ поэтъ въ *Comédie Française* въ знаменательный вечеръ, превратившійся въ его апоѳеозъ, говоритъ о безсмертіи; а автографъ его послѣдняго стихотворенія—о той юношески-боевой отвагѣ, съ которой онъ способенъ былъ относиться къ загробной жизни, готовясь и тамъ воевать съ предразсудками,—если только люди уносятъ ихъ съ собой въ царство тѣней:

Tandis que j'ai vécu on m'a vu hautement
Aux badauds effarés dire mon sentiment.
Je veux le dire encor dans le royaume sombre.
S'ils ont des préjugés, j'en guérirais les ombres.

Мысль невольно начинаетъ возсоздавать то, что нѣкогда было тутъ, вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ. Отворяется дверь, и худая фигура поэта показывается на порогѣ съ только-

что оконченнымъ Кандидомъ въ рукахъ; „tenez, curieuse que vous êtes, voilà pour vous“, говоритъ онъ madame Denis, боязливо встрѣтившей его. Какъ будто сейчасъ выглянуло комическое личико père Adam; онъ пришелъ посмотреть, не расположенъ ли monsieur de Voltaire сыграть обычную партію въ шахматы, — или же это съ портрета на стѣнѣ взглянули маленькіе глазки „перваго человѣка“?

Любимая аллея Вольтера все такъ же уютна, закрыта зеленымъ сводомъ и располагаетъ къ уединенной прогулкѣ. Нѣсколько пролетовъ, пробитыхъ въ сросшихся кустахъ, открываютъ шире и красивѣе нравившійся ему видъ на Женеву, озеро, Альпы и бѣлый профиль Монблана. Прохлада и тѣнь старыхъ липъ встрѣчаетъ васъ на поворотѣ крытой аллеи и манитъ къ себѣ; этимъ путемъ проходилъ, бывало, старый „отшельникъ“.

Такъ все до сихъ поръ полно имъ! И здѣсь, какъ и всюду, многое измѣнилось и исчезло, новый міръ сложился на развалинахъ прошлаго, а память о томъ блестящемъ умѣ, который нѣкогда озарялъ все человѣчество, неведима, не смотря на всѣ попытки умалить и исказить ее.

Въ импровизованномъ Фернэйскомъ музеѣ есть любопытная картинка конца прошлаго вѣка, Le phénix renaissant de ses cendres. Вокругъ большого костра, на которомъ пылаютъ груды книгъ, въ дикомъ восторгѣ, хлопая длинными ушами, пляшутъ цѣлымъ хороводомъ ослы; они уже торжествуютъ побѣду, — а изъ пепла возносится къ небесамъ фениксъ.

БОМАРШЕ.

„Умчался вѣкъ эпическихъ поэмъ“, потускнѣли старыя легенды, и творчество ихъ изсякло. Онѣ боятся бѣлаго дня, царства трезвой прозы и назойливой гласности; героямъ не суждено уже видѣть свои подвиги въ поэтической оправѣ чудеснаго; современники и потомство творятъ надъ нимъ судъ, доискиваясь точныхъ фактовъ и документовъ; воображеніе уступаетъ мѣсто правдѣ. Но среди избранниковъ все еще есть баловни судьбы, съ которыми никакъ не хочетъ разстаться легенда, сложившаяся чуть не на нашихъ глазахъ. Бомарше — изъ числа ихъ. Когда онъ былъ молодъ, только что настало господство энциклопедизма; суевѣрія и гнетущіе призраки прошлаго пугливо разлетались передъ натискомъ испытующей критики. Подъ старость онъ засталъ революционную пору, когда недовѣріе къ нему скорѣе располагало умалить, чѣмъ разукрасить его заслуги. Въ пылу борьбы тогда опять слагались легенды, но онъ уже не годился въ ихъ герои. И, несмотря на все это, на зло философскому скептицизму и смѣнившей его суровости якобинства, этотъ человѣкъ сумѣлъ заживо вызвать затѣйливую сѣть баснословныхъ сказаній. Теперь часъ пробилъ, разоблаченія идутъ одно за другимъ,—но ихъ знаютъ одни лишь спеціалисты, а для массы все еще живъ и интересенъ прежній, сказочный Бомарше.

Иначе и не могло быть. Эта вѣчно кипучая жизнь слишкомъ полна была тѣхъ привлекательныхъ чертъ, которыя сами просятся въ фантастическую поэму. Все въ ней дви-

жется, трепещетъ, порою проносится ураганомъ; этотъ плебей борется съ французскимъ обществомъ и съ могучими державами, освобождаетъ народы, руководить судьбами Европы, изъ подмастерья превращается въ крезу, изъ повелителя въ эмигранта, силою своего смѣха свергаетъ застарѣлыя злоупотребленія, сбрасываетъ съ дороги противниковъ и кончаетъ жизнь чуть не на чердакѣ. Настоящая сказка изъ „Тысячи и одной ночи“! Словно владѣя талисманомъ, быть вездѣ и нигдѣ, появляться и исчезать, подобно Монте-кристо выходить невредимымъ изъ опасностей, никогда не унывать и смѣяться даже на порогѣ смерти, могъ только или гениальный искатель приключеній, или неудавшійся великій общественный дѣятель, растрчивавшій силы не на томъ поприщѣ, куда влекло его призваніе. Бомарше постарался закрѣпить навсегда заманчивое представленіе о немъ, какъ о борцѣ и страдальцѣ. Такимъ рисуетъ его себѣ всякій, увлекаясь горячими выходками его мемуаровъ или монологами Фигаро, его энергическимъ вмѣшательствомъ въ освобожденіе Америки. Поэзія и музыка помогли увѣковѣчить и разукрасить его репутацію. Гете, Моцартъ и Россини постоянно освѣжаютъ въ нашей памяти и образъ Бомарше, и его лучшія созданія. Подъ граціозныя моцартовскія мелодіи и сверкающіе веселостью и комизмомъ, по-южному болтливые речитативы rossиніевскаго „Цирюльника“ личность того, въ чьей головѣ могло зародиться столько смѣлыхъ мыслей и забавныхъ импровизацій, озарилась самымъ симпатичнымъ свѣтомъ.

Съ такими любимыми преданіями не легко разставаться. Между тѣмъ и для легенды о Бомарше настала очередь. Наиболѣе расположенный къ нему изъ всѣхъ біографовъ, Ломени *), первый долженъ былъ нанести ударъ его репутаціи. Не зародилась бы и сама работа этого даровитаго и

*) Beaumarchais et son temps, études sur la société en France au XVIII siècle par L. de Loménie, 1856; переиздано въ 1858 и 1873. Первымъ біографомъ Б. былъ восторженный его поклонникъ, Гюдэнъ, часто впадавшій въ тонъ панегирика. Его трудъ изданъ впервые въ полномъ видѣ по рукописямъ Морисомъ Турнэ въ 1888 г.: Histoire de Beaum. par Gudin de la Brenellerie.

усерднаго изслѣдователя, еслибы наслѣдники Бомарше не дали ему доступа въ забытый съ прошлаго вѣка складъ всякаго ненужнаго хлама, оставшагося отъ хозяйства поэта, и еслибы среди пыли и мусора не нашлось множества связокъ съ бумагами, приготовленными самимъ Бомарше для своего жизнеописанія. Изученіе ихъ освѣтило темныя, отрицательныя стороны его дѣятельности или навело на сомнѣнія и догадки; сатирикъ явился посмертнымъ самообвинителемъ,— и немало нужно было усилій со стороны благодушнаго біографа, чтобы все объяснить. все примирить. Но зловѣщій пересмотръ былъ начатъ, и отовсюду, точно грозныя тѣни, стали выдвигаться важныя подозрѣнія и улики; архивы секретныхъ канцелярій и государственной полиціи всевозможныхъ странъ давали ихъ въ изобиліи; Арнетъ и Жеффуа*) нашли ихъ въ австрійскихъ архивахъ; Беттельгеймъ **) — въ подобныхъ же хранилищахъ Лондона, Парижа, Карлсруэ, Мадрида; Лэнтильякъ—въ бумагахъ Бомарше, снова пересмотрѣнныхъ имъ послѣ Ломени и давшихъ обильную жатву ***). Ореоль сталъ блѣднѣть; недовѣріе, его смѣнившее, готово перейти въ противоположную крайность. Сказочная пестрота этой эксцентрической жизни осложнилась новыми рѣзкими противорѣчіями; великое перемѣшалось съ мелочнымъ, самоотверженіе—съ эгоизмомъ, любовь къ свободѣ—съ искуснымъ выполненіемъ работы тайнаго агента. Тамъ, гдѣ такъ долго красовался эффектный образъ подвижника, осталась трудная психологическая загадка. Зналъ ли самъ Бомарше тайну ея, могъ ли бы онъ дать ключъ къ ней? Общечеловѣческая слабость выгораживать себя, бросая тѣнь на тѣхъ, кто насъ

*) Ritter von Arneth, «Beaumarchais und Sonnenfels», Wien, 1868; свѣдѣнія, добытыя Арнетомъ, популяризированы Полемъ Гюб, „Beaumarchais en Allemagne“, 1869. Любопытные матеріалы сообщены были Арнетомъ и Жеффуа въ книгѣ „Marie Antoinette“. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte Mercy-Argenteau, 1874.

¶**) Beaumarchais, eine Biographie v. Anton Bettelheim, Frankfurt. 1886.

***) Beaumarchais et ses oeuvres, p. E. Lintilhac, 1887. И послѣ изданія этой книги авторъ ея продолжаетъ находить въ бумагахъ Б. важныя новости; см. его статью „Beaumarchais inédit“, Revue des deux Mondes 1893, 1 mars.

не понялъ, кто намъ помѣшалъ, была ему свойственна въ сильной степени,—но и онъ въ старости задавалъ себѣ вопросъ: „чѣмъ же онъ былъ въ самомъ дѣлѣ“ (qu'étais je donc?). Неистощимая вѣра въ свою правоту помогла ему, сводя счеты съ жизнью, дать себѣ похвальный отзывъ...

Приходится отвѣчать за него, искать разгадки въ его дѣйствіяхъ, явныхъ и тщательно скрытыхъ, раскрывая тайну двойственного существованія. Что за бѣда, если отъ этого страдаетъ легенда! Лишь бы доискаться правды...

Кто не знаетъ, какъ люди мысли и поэты любили приписывать себѣ именно такое дробленіе на два существа, разнородныя, вѣчно анализирующія другъ друга! Всматриваемся въ портреты, сберегшія намъ черты Бомарше, — и точно два человѣка глядятъ оттуда на насъ. Въ снимкѣ, приложенномъ къ первому полному изданію его „Мемуаровъ противъ Гэтцмана“, изображенъ придворный кавалеръ, нарядно одѣтый, завитой, съ кошелькомъ изъ лентъ, кокетливо скрывающимъ косичку; не вѣрится, чтобы эта холеная внѣшность, озаренная любезной улыбкой и выдающая только смышленнымъ взоромъ бойкое себѣ-на-умѣ, принадлежала творцу „Фигаро“. Совсѣмъ иное лицо на превосходномъ портретѣ, который воспроизводится въ большинствѣ изданій Бомарше; небрежно наброшена одежда, рубашка выбилась, воротъ широко распахнутъ; смѣлъ и открытъ взоръ; длинные, выющіеся волосы, ничѣмъ не сдержанные, отпрянули назадъ съ высокаго лба, какъ будто мы застали врасплохъ этого страстного человѣка, въ минуту, когда онъ готовъ былъ броситься въ отважное предпріятіе. Это онъ, настоящій Бомарше! — вырвется у васъ; вы поймете, сколько несообразностей и великихъ дѣлъ можетъ надѣлать такая голова, и невольно захочется узнать фантастическую, блестящую, сумасбродную исторію этого человѣка.

I.

У философовъ прошлаго вѣка было въ большомъ ходу сравненіе мірозданія съ чудеснымъ часовымъ механизмомъ, ко-

торый приводится въ движеніе величайшимъ изъ механиковъ. Отъ этого одинъ только шагъ — и жизнь общества представится многосложнымъ сплѣніемъ зубчатыхъ колесъ, осужденныхъ на неподвижность, если искусная рука мастера не прикоснется къ нимъ; тогда все вдругъ оживаетъ, малѣйшее колесико двигается и работаетъ! Стоить лишь найти ключъ, овладѣть главною пружиной, и часовщику останется только лукаво посмѣиваться и потирать руки отъ удовольствія, видя, какъ трудятся, выбиваясь изъ силъ, его послушныя орудія, воображающія, можетъ-быть, что все это они дѣлаютъ по своей волѣ. Политику по профессіи, изощрившемуся въ умѣнѣ руководить людьми, легко напасть на такое сравненіе; но какъ естественно оно будетъ въ умѣ того, кто дѣйствительно перешелъ къ руководству государственными судьбами отъ основательнаго изученія часового мастерства! Такъ это было съ Бомарше: съ дѣтства онъ былъ посвященъ въ тайны высоко-почитавшагося тогда ремесла; юношей онъ дѣлаетъ въ немъ настолько замѣчательное открытіе, что о немъ заговорили академія и дворъ; въ жизнь вступаетъ онъ прежде всего съ титуломъ королевскаго часовщика и долго не рѣшается лишиться отца утѣхи продолжать мастерство, передававшееся у нихъ изъ рода въ родъ. Навсегда пріобрѣли въ его жизни рѣшающее значеніе эти раннія впечатлѣнія; видя, съ какимъ совершенствомъ онъ, стоя за кулисами, умѣлъ приводить въ движеніе всѣхъ и все, вѣришь, что актеры житейской драмы: короли, министры, епископы, дамы, испанскіе клерикалы и американскіе республиканцы — были въ его глазахъ лишь колесами и пружинами механизма, который онъ отлично умѣлъ заводить. Долгіи успѣхи избаловали его, и съ годами онъ слишкомъ увѣровалъ въ свое искусство; какъ ни скоплялись препятствія, онъ зналъ, что всегда найдетъ исходъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, росло въ немъ пренебреженіе къ людямъ и ихъ ограниченности, — не идеализировать же, въ самомъ дѣлѣ, эти безотвѣтныя орудія воли хозяина! Въ безграничной самоувѣренности — вся трагедія его жизни. Когда стараго порядка не стало, Бомарше захотѣлъ удержаться на преж-

ней высотѣ, но тайна была потеряна, завѣтный ключъ не подходилъ болѣе, все разладилось, вышло изъ повиновенія, и прежній властелинъ сталъ докучнымъ просителемъ.

Но жизнь въ такой же степени поддается сравненію съ театромъ маріонетокъ, съ ярмарочною сценою героическихъ „парадовъ“ и смѣшныхъ интермедій. Бомарше и тутъ на своемъ мѣстѣ, какъ превосходный режиссеръ, — не только потому, что артистически ставилъ на міровую сцену и свои безсмертныя комедіи, и политическіе спектакли съ пушечною пальбой, и таинственныя мелодрамы съ разбойничьими нападеніями и т. д., и долго пожиналъ рукоплесканія партера, но и потому, что еще въ дѣтствѣ дѣлившій время между отцовской мастерской и уличными увеселеніями Парижа, онъ цѣлою стороною своего характера примыкаетъ къ вкусамъ и привычкамъ истинно-національнаго и независимаго *théâtre de la foire*. Говорили даже, будто, выгнанный разъ отцомъ за безпорядочность, онъ примкнулъ къ ярмарочнымъ комикамъ и довольно долго работалъ съ ними. Его лучшія пьесы не свободны отъ веселой суетни и сплетенія интригъ, которыя царили въ любимомъ имъ нѣкогда народномъ театрѣ; въ его „мемуарахъ“ инныя страницы точно выхвачены изъ остроумнаго фарса. Казалось, жизнь вѣчно повторяла передъ нимъ любимыя темы буффонадъ, съ ихъ обманутыми простаками и торжествующимъ арлекиномъ. Приходилось выбирать одну изъ этихъ двухъ ролей, и, смѣтливый, остроумный и честолюбивый, онъ выбралъ самую благодарную, ту, за которой послѣднее слово въ пьесѣ, и игралъ эту роль всю жизнь, какъ величайшій актеръ.

Онъ съ дѣтства привыкъ полагаться на свои силы. Да и было ли у него настоящее дѣтство? Школьная пора кончилась на тринадцатомъ году (онъ родился въ 1732 г.), и все, что онъ впослѣдствіи зналъ, конечно, пріобрѣтено было не у скромнаго учителя деревенской школы подъ Парижемъ. Во время размолвки съ отцомъ и бѣгства изъ дому онъ уже живетъ самостоятельно; когда онъ возвращается подъ родной кровъ, старикъ Каронъ, въ характерѣ котораго уже

крылись, точно въ зародышѣ, черты оригинальности сына, соглашается принять его лишь послѣ заключенія формальнаго договора относительно его образа жизни и участія въ работѣ, — и юный Пьеръ-Огюсть торжественно подписываетъ клятвенное обѣщаніе слушаться и работать. Во все это время онъ кропаетъ стихи, бренчитъ на арфѣ, влюбляется какъ взрослый и строить воздушные замки. Едва вышель онъ изъ отрочества, уже онъ принужденъ энергически постоять за себя. Сдѣланное имъ усовершенствованіе часовой механики присвоено соперникомъ-мастеромъ, которому онъ неосторожно проговорился; взбѣшенный, онъ бросается въ схватку, зоветъ противника къ суду общественнаго мнѣнія, прибѣгаетъ къ журнальной гласности, побуждаетъ академію разсмотрѣть оба изобрѣтенія и отдать предпочтеніе ему. Этотъ первый дебютъ сдѣланъ имъ за-разъ на нѣсколькихъ поприщахъ; въ битвѣ жизни онъ выказалъ себя храбрымъ бойцомъ, въ умѣнѣ вести процессъ обнаружилъ свойства гениальнаго адвоката, которыя впослѣдствіи такъ пышно развились у него, — наконецъ, показалъ рѣдкое искусство—пользоваться малѣйшимъ поводомъ, чтобы продвинуться впередъ, обращая въ выгоду даже неудачи. На другого произвела бы удручающее впечатлѣніе эта преждевременная борьба съ несправедливостью, и онъ радъ былъ бы возможности опять мирно приняться за работу. Каронъ и тутъ пошелъ прямоѣзжею дорогою и взялъ счастье штурмомъ; о немъ говорили, имъ интересовались; онъ улучилъ минуту, когда сочувствіе было всего горячѣе, добылъ груду заказовъ при дворѣ, исполнилъ ихъ на славу, и вскорѣ, въ качествѣ королевскаго часовщика, вращался въ той сферѣ, куда попасть мечталъ тогда всякій искатель фортуны, зная, что тутъ корень и начало служебной карьеры, всевозможныхъ подрядовъ, откуповъ и концессій. Съ этой минуты онъ уже тяготится низменнымъ кругомъ прежней дѣятельности, рвется неудержимо впередъ и вширь. Привычки и взгляды навсегда остались у него демократическими; они оба съ отцомъ рано начитались писаній новыхъ философовъ на этотъ счетъ

Придворный кругъ, сношенія съ знатью для него только промежуточная ступень. Но безправное мѣщанство тянетъ его внизъ; безъ дворянскаго диплома онъ не получить ни малѣйшей должности, если только честолюбіе манитъ его въ эту сторону; неудачу можно бы наверстать финансовою спекуляціей, но что же начнешь безъ денегъ!

Черезъ нѣсколько лѣтъ у него все добыто: и дворянство, и деньги,—прежде всего именно онѣ. Комбинація совсѣмъ было удалась и раньше этого, да некстати порвалась. Интересный юноша до того плѣнилъ жену одного изъ своихъ заказчиковъ, что она убѣдила мужа передать ему небольшое свое мѣсто въ придворномъ штатѣ, а едва умеръ мужъ, вышла за героя своего романа. Любилъ ли онъ ее хотя сколько-нибудь, или же искалъ только опоры въ погонѣ за удачей? Напечатанные впервые Беттельгеймомъ, по рукописямъ Британскаго музея, четыре письма Карона изъ этого времени позволяютъ скорѣе рѣшить вопросъ во второмъ смыслѣ. Онъ вовсе не расположенъ былъ удовольствоваться любовнымъ воркованьемъ, и въ десять мѣсяцевъ, которые онъ провелъ съ первою женой, успѣлъ пустить въ ходъ разныя пружины, чтобы добыть денегъ. Мужъ его нѣжной подруги былъ прежде контролеромъ въ арміи и пользовался многими безгрѣшными доходами, дѣлясь съ товарищами. Смерть помѣшала правильному дѣлежу, и преемникъ стараго Франкэ захотѣлъ добыть изъ рукъ опытныхъ казнокрадовъ присвоенныя ими суммы. Дѣло это, не легкое безъ уличающихъ документовъ, было превосходно проведено. Каронъ оказался выдумщикомъ необыкновеннымъ, изобрѣлъ никогда несуществовавшаго аббата, и отъ имени его писалъ къ коллегамъ старика письма, заявляя, что ему все извѣстно; деликатныя подробности, узнавныя отъ жены, были артистически пущены въ ходъ; вѣрно схваченъ и набожный тонъ, подобающій духовному лицу. Испугались застигнутые врасплохъ негодаи; Каронъ съѣздилъ къ одному изъ нихъ въ Версаль, какъ эmissаръ отъ аббата, причемъ въ забавной импровизаціи передавалъ его рѣчи,

описывалъ внѣшность, и съ торжествомъ привезъ домой девятьсотъ ливровъ. Дѣло спорилось; завелись деньги, кое-какое мѣсто, а старое мѣщанское имя Карона облагородилось прибавкой названія помѣстья, принадлежавшаго прежде Франкэ, и молодой супругъ подписывался не безъ эффекта: *Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais*.

Но счастье улыбалось ему не долго; жена его умерла внезапно. Начался процессъ изъ-за ея наслѣдства, не оставившій Бомарше ни малѣйшей частички ея состоянія. Предусмотрительный во многомъ, онъ не загадывалъ о возможности такой развязки; она поразила его не меньше, чѣмъ родныхъ жены, которые, изъ недовѣрія къ соблазнителью ея, впервые пустили въ ходъ намекъ на отравленіе, нѣсколько разъ выдвигавшійся потомъ. „Правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравилъ!“ спрашиваетъ въ пушкинской пьесѣ Моцартъ у своего соперника, и Сальери отвѣчаетъ ему почти буквально тѣмъ, чѣмъ отозвался Вольтеръ на подобный же вопросъ: „онъ слишкомъ былъ смѣшонъ для ремесла такого.“— Моцартъ видитъ другое оправданіе: „геній и злодѣйство—двѣ вещи несовмѣстныя“... Но есть и совѣтъ прозаическій аргументъ въ пользу Бомарше,—бесполезность отравленія; ни смерть первой жены, ни мучительные роды второй, унёсшіе ее черезъ два года послѣ брака, не только не поправили положенія Бомарше, но оба раза оставили его въ стѣснительныхъ обстоятельствахъ, съ долгами и процессами. Первая оплошность не послужила урокомъ, и онъ не заручился завѣщаніемъ. Мнимая роль Синей Бороды слишкомъ тяжело давалась ему. Къ тому же по-своему онъ былъ нѣженъ съ обѣими женщинами, со временемъ сталъ даже сентименталенъ; не было поводовъ ни къ измѣнѣ, ни къ мести.

Отброшенный опять къ исходной точкѣ, онъ снова вскапывалъ свой сизифовъ камень. На этотъ разъ расчетъ былъ сдѣланъ вѣрно и тонко. Онъ рѣшилъ подойти къ королю черезъ женщинъ, именно черезъ четырехъ дочерей Людовика XV, *mesdames de France*, старыхъ дѣвъ, уныло владѣвшихъ свой вѣкъ среди небольшого придворнаго штата,

напоминавшего отдѣльный дворикъ. Некрасивыя, мало развитыя, съ оттѣнкомъ ханжества, онѣ не подходили къ общему тону свѣтской жизни, показывались рѣдко, коротали время музыкой и набожнымъ чтеніемъ. Скука царила у нихъ полнѣйшая; жить, хотя на время, ихъ жизнью представляло не малый подвигъ, но все же онѣ были дочерьми короля, у котораго порою пробуждалась къ нимъ не то нѣжность, не то состраданіе; онѣ могли при случаѣ вліять на него и добивались цѣли тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ болѣе Людовикъ старался, исполненіемъ ихъ просьбъ, вознаградить ихъ за жалкую роль и отдаленіе отъ двора. Проникнувъ въ этотъ сонный уголокъ, Бомарше оживилъ его своимъ смѣхомъ, рассказами и шутками, мастерской игрой на арфѣ; его полюбили всѣ четыре старыя дѣвы, а одна изъ нихъ, *madame Victoire*, совсѣмъ увлеклась. Невинно кокетничая съ нимъ, онѣ эксплуатировали его, постоянно требуя новыхъ развлеченій, книгъ, нотъ, инструментовъ; приходилось добывать все это, часто не имѣя денегъ и закладывая что-нибудь, чтобъ исполнить капризъ покровительницъ.

Онъ зналъ, что, рано или поздно, эта нелегкая служба приведетъ его къ цѣли, и терпѣливо ждалъ. Новое дѣйствующее лицо, надолго вошедшее въ его жизнь, ускорило желанный мигъ. То былъ представитель продвигавшейся тогда въ первые ряды финансовой аристократіи, пока еще набиравшейся изъ рядовъ разбогатѣвшихъ подрядчиковъ и откупщиковъ. За нѣсколько десятковъ лѣтъ передъ тѣмъ эта сила едва начинала складываться, и Мольеру не пришлось ввести въ свою сатирическую картину капиталиста - кулака. Будущій герой знаменательной въ этомъ отношеніи комедіи Лесажа, Тюркаръ, былъ еще тогда на заставѣ сторожемъ и понемногу богатѣлъ, собирая выдуманную имъ пошлину съ запоздавшихъ проѣзжихъ*); тутъ учился онъ той хитрой наукѣ обогащенія,

*) Такъ откровенно рассказываетъ онъ самъ въ комедіи свою раннюю біографію; угловатость и неумѣнье подладиться подъ тонъ высшаго общества, сближающія его съ мольеровскимъ Журдэномъ, необыкновенно жизненно проведены авторомъ. Вообще талантъ Лесажа и его значеніе въ развитіи

которая въ короткое время можетъ сдѣлать десятника миллионеромъ. Но этотъ лихоимецъ, работавшій долго по мелочамъ, сталъ, наконецъ, капиталистомъ, вошелъ въ стачку съ компаніей такихъ же денежныхъ тузовъ и вмѣстѣ съ ними держалъ Парижъ въ своихъ рукахъ: за нимъ ухаживали красивыя дамы и знатные кавалеры; онъ сорилъ деньгами и уже думалъ, что все можетъ купить. Такова біографія не одного только Тюркарэ (котораго можно изучать какъ реальную личность, такъ какъ Лесажъ писалъ съ натуры),— такова же была баснословно удачная судьба новаго покровителя Бомарше, подрядчика на армію, Пари Дювернэ. Когда-то половой въ деревенскомъ трактирѣ, онъ завладѣлъ въ послѣдствіи всѣмъ военнымъ хозяйствомъ Франціи, вліялъ на политическія интриги, запросто бесѣдовалъ съ самимъ Людовикомъ XIV. Осторожность спасла его отъ участи Тюркарэ; онъ устоялъ противъ всѣхъ соблазновъ, и нахальный лакей - наперсникъ, вродѣ Лесажевскаго Фронтэна, не сумѣлъ бы систематически обобрать его и, столкнувъ съ дороги, стать на его мѣсто, приговаривая тономъ хищника: „царство Тюркарэ кончилось, теперь начинается наше!...“ Пари-Дювернэ спокойно вынесъ свои миллионы сквозь лихорадку спекуляцій, и въ ту пору, когда его узналъ Бомарше, томился избыткомъ богатства, котораго не зналъ куда дѣвать,—такъ былиннаго героя пригнала къ землѣ непомѣрно-грузная его сила.

Подобно сотнямъ такихъ случайныхъ богачей, онъ любилъ играть роль мецената, жертвовалъ направо и налево, и массу денегъ затратилъ на устройство большого военного училища. Но что онъ ни начиналъ по части благотвореній и самохвальства, ему не удавалось приблизиться къ Людовику XV такъ, какъ это бывало съ старымъ королемъ. Очевидное нежеланіе монарха осчастливить своимъ посѣщеніемъ военную школу раздражало его. Эта забота превратилась у Дювернэ въ манію, и онъ готовъ былъ озолотить

реализма въ комедіи и романѣ до сихъ поръ недостаточно оцѣнены; кромѣ недавно появившейся книги Leo Claretie, „esage romancier“, 1891 г., ему не посвящено ни одного обстоятельнаго изслѣдованія.

того, кто снялъ бы ее съ его души. Бомарше, шутя, оказалъ ему незабвенную услугу. Стоило попросить принцессъ, и онѣ побывали въ училищѣ, расхвалили его королю,—и, наконецъ, насталъ великій день. Дювернэ былъ въ восхищеніи,—зато отнынѣ судьба Бомарше надолго обезпечена. Смышленный старикъ, въ полномъ смыслѣ слова „сынъ своихъ дѣлъ“, разгадалъ въ своемъ молодомъ знакомомъ восходящую звѣзду, понялъ, сколько въ немъ таилось предпримчивости и сталъ направлять его первые шаги въ финансовомъ мірѣ. Ему нужны были средства, — Дювернэ щедро ссужалъ ему большія суммы, дѣлалъ его пайщикомъ въ разныхъ операціяхъ, указывалъ на выгодныя статьи (наприм., на большой лѣсъ подъ Парижемъ, который они вмѣстѣ сводили). Не довольствуясь деньгами, Бомарше все еще добивался уравнинія своихъ правъ съ привилегированнымъ барствомъ, которое даже на Дювернэ смотрѣло свысока, какъ на выскочку, и только преклонялось передъ силой капитала. Новый покровитель помогъ ему приобрѣсти за крупную сумму титулъ королевскаго секретаря, доставившій ему, наконецъ, дворянство. Еще разъ нажалъ Бомарше ту же пружину и очутился даже вице-президентомъ одного изъ безполезныхъ и уродливыхъ учрежденій стараго порядка, отдѣльнаго суда по браконьерству и незаконной рыбной ловлѣ, важно засѣдалъ въ своемъ шитомъ нарядѣ, судилъ и рядилъ надъ своевольными аристократами, всего чаще нарушавшими законы объ охотѣ. Забавнѣ комедіи трудно было бы представить, и впоследствии онъ умѣлъ юмористически вспоминать о своемъ превращеніи изъ подмастерья въ главу знатнаго трибунала. Но въ то время это, взятое съ бою, сословное уравниненіе его очень утѣшало. Теперь онъ повелѣвалъ десяткомъ чиновниковъ-дворянъ, кичившихся своимъ происхожденіемъ. Его много разъ корили мѣщанствомъ, умышленно причиняли ему оскорбленія; завистливые придворные просили, наприм., у него публично совѣтовъ относительно своихъ часовъ (одного изъ нихъ онъ проучилъ тѣмъ, что, взявъ посмотреть часы, уронилъ и разбилъ ихъ); подчиненные отказались-было служить подъ начальствомъ плебея, но онъ зло осмѣялъ ихъ

притязанія въ бумагѣ къ своему начальнику, раскрывъ совсѣмъ уже плебейское происхожденіе и даже темное прошлое большинства просителей. Онъ совершенно трезво смотрѣлъ на дѣло, но твердо держался за свой клочокъ пергамента, и любилъ бѣсить своихъ противниковъ заявленіемъ, что онъ за наличныя деньги купилъ себѣ дворянство на законномъ основаніи.

Эта быстрая смѣна неудачъ и успѣховъ, однако, годится развѣ въ біографію искуснаго дѣльца, а никакъ не писателя. Но Бомарше и не думалъ тогда вовсе посвящать себя литературѣ; его захватила борьба за существованіе; „въ немъ кипѣла кровь, не улегшаяся (по его словамъ) даже подъ старость“; голова была полна всевозможныхъ плановъ личного счастья, чудеснаго обогащенія, политическаго вліянія. Кругомъ много говорилось и писалось о защитѣ правъ средняго сословія, о поднятіи значенія личной энергіи и труда; онъ захотѣлъ принять тяжесть этой борьбы на свои плечи, доказать на дѣлѣ, чего можетъ достигнуть неглупый мѣщанинъ, если возьмется, умѣючи, за дѣло. Съ этой стороны его неугомонная дѣятельность возбуждаетъ симпатію; личный его порывъ становится однимъ изъ признаковъ времени. Та же борьба незамѣтно подготовила и его литературную дѣятельность; столкновенія, разочарованія развили въ немъ знаніе людей. Сгоряча, задѣтый за живое, онъ сталъ писать. Не будь его погони за фортуной, въ немъ не пробудилось бы того страстнаго негодованія, которое воспламеняетъ Фигаро.

Но у медали была обратная сторона; мѣстами она очень неприглядна, и Бомарше всегда старался навести на нее лоскъ. Зачѣмъ очутился онъ въ 1764 году въ Испаніи? Самъ онъ выставялъ благородный, героическій мотивъ; масса повѣрила, и до сихъ поръ все еще повторяетъ его разсказъ, а молодой Гёте не только увѣковѣчилъ его въ своемъ „Clavigo“, но подъ сильнымъ впечатлѣніемъ Лессинговской „Эмиліи Галотти“ *) идеализировалъ образъ дѣйствій

*) Вліяніе Лессинговой пьесы на „Clavigo“ прослѣжено Дан. Якоби въ статьѣ „Zu Clavigo“ въ Goethe-Jahrbuch, V томъ, 1884, стр. 323 и слѣд. Мимоходомъ оно было указано еще Гервинусомъ.

Бомарше и приписалъ социальное значеніе его подвигу. Въ этой легендѣ была точная основа, — но не оттого только понесся въ Мадридъ молодой судья, что какой-то коварный гidalго, обѣщавъ жениться на его сестрѣ, осмѣлился отступить и искать разрыва, а еще болѣе оттого, что, вмѣстѣ съ тѣмъ, представлялась возможность попробовать счастья въ старомодной, захолустной Испаніи, странѣ невѣжества и произвола. Защита чести сестры осложнилась и вскорѣ затмилась усиленною фабрикаціею проектовъ и подборомъ подходящихъ людей для ихъ выполненія. Сестра вовсе не была тогда распускающимся цвѣткомъ; Клавихо, который впослѣдствіи пріобрѣлъ извѣстность и въ наукѣ, и въ политикѣ, и уже считался недюжиннымъ журналистомъ, также не былъ безсовѣстнымъ развратникомъ, какимъ онъ выступаетъ въ разсказѣ его противника. Это былъ скорѣе нерѣшительный, слабый волею селадонъ, которому разнравилась дѣвушка, сначала очень его заинтересовавшая; онъ пересталъ бывать у ея замужней сестры, и совершенно ступсевался бы, еслибы изъ далекаго Парижа, какъ бомба, не упалъ среди семейной драмы мститель. Смушенный женихъ опять обѣщалъ сдержать слово, снова появился въ семьѣ дѣвушки, но вынужденное согласіе стоило ему великихъ усилий; цѣпь стала слишкомъ тяжкою, и онъ безпомощно искалъ выхода. Възбѣшенный Бомарше рѣшилъ раздавить вѣроломнаго соблазнителя, ударилъ въ набатъ, довелъ жалобу до короля и министровъ, лишилъ Клавихо мѣста и заставилъ надолго скрыться изъ Мадрида. Это была, во всякомъ случаѣ, смѣлая схватка, и десять лѣтъ спустя Бомарше еще могъ вызвать въ своей памяти ея бурныя подробности, когда, отвѣчая на пасквиль, поднявшій изъ его прошлаго и этотъ эпизодъ, онъ впервые, съ большимъ драматизмомъ и фантастическими прикрасами, повѣдалъ о немъ міру *). Но изъ сближенія съ королемъ и министер-

*) Année 1764. ragment de mon voyage d'Espagne (входитъ въ составъ четвертаго Mémoire à consulter contre mr. oetzmann, etc.); этотъ разсказъ послужилъ источникомъ для пьесы Гёте.

ствомъ нашъ рыцарь тотчасъ же рѣшилъ извлечь болѣе осязательную пользу; да у него въ карманѣ съ самаго начала были рекомендаціи изъ Парижа, которыми онъ предусмотрительно запасся. Зорко разглядѣлъ онъ составъ высшаго мадридскаго общества, понялъ бездарность членовъ кабинета, слабость Карла III, которымъ управлялъ камердинеръ-французъ, и рѣшилъ приступить къ дѣлу. Онъ составилъ проектъ французской компаніи для устройства заморской торговли съ колоніями и, главнымъ образомъ, съ Луизианой. Отважнѣйшія затѣи такъ и мелькаютъ въ этомъ проектѣ: монополія и контрабанда, національныя французскія выгоды и торговля неграми (стоимость ихъ онъ хладнокровно исчислялъ), частный барышъ и организація подкупа вліятельныхъ испанскихъ чиновниковъ. Неожиданно явилась на поддержку проекта брошюра, гдѣ какой-то „испанскій гражданинъ“ высказывалъ „патріотическія соображенія“ относительно луизианскихъ дѣлъ. Нужно ли говорить, что подъ плащомъ этого испанца, какъ раньше подъ сутаной парижскаго аббата, скрывался все тотъ же Бомарше!

Проектъ потерпѣлъ неудачу въ „совѣтѣ по индійскимъ дѣламъ“, но на смѣну уже готово было десять другихъ, и по мѣстнымъ, и по колоніальнымъ вопросамъ, по доставкѣ припасовъ на Майорку, по подрядамъ на армію, по колонизаціи Сьерры Морены. Втайнѣ Бомарше надѣялся достигнуть еще большаго—заручиться для французскаго правительства неограниченнымъ вліяніемъ на испанскую политику, стать необходимымъ лицомъ для герцога Шуазеля и потомъ продвинуться въ Парижѣ, или же, оставаясь въ Мадридѣ, направлять черезъ подручныхъ всѣ дѣла въ Испаніи. И какихъ подручныхъ! Въ найденномъ теперь тайномъ мемуарѣ, составленномъ для герцога, онъ спокойно говоритъ объ устройствѣ стачки, которая овладѣла бы ограниченнымъ и вѣчно унылымъ королемъ; первое лицо въ ней—всесильный камердинеръ, второе—красавица маркиза Де-ла-Круа, какъ можно догадываться, очень близкая къ Бомарше; изъ искусной кокетки онъ готовъ былъ сдѣлать приманку для Карла, подѣлиться съ нимъ своею удачей въ любви...

Но все это вышло слишком тонко и коварно; не попали въ ловушку ни мадридское министерство, ни Шуазель; страна, которую Бомарше не переставалъ называть отсталюю и невѣжественною, порицая подкупность и безнравственность (что не мѣшало ему именно на этихъ порокахъ основывать часть своего успѣха), устояла противъ усиленнаго натиска, правда, для того, чтобы отдать дѣло въ руки мѣстныхъ монополистовъ, которые, должно быть, еще ближе знали изнанку отношеній. Волшебныя видѣнія, носившіяся передъ мечтателемъ, опять разлетѣлись; пришлось покинуть Испанію. Но онъ никогда не позволялъ себѣ надолго падать духомъ. Какъ Фигаро („Сев. цирюльникъ“, I актъ, сц. 3), онъ спѣшилъ разсмѣяться, боясь заплакать. Да и впечатлѣнія, вынесенныя изъ испанскаго житія, не все же были мрачнаго свойства. Бомарше все-таки одно время былъ героемъ дня; передъ нимъ открылись знатные салоны; онъ былъ частымъ посѣтителемъ русскаго посольства, гдѣ у Бутурлина шла всегда большая игра; посоль и его жена чуть не носили его на рукахъ, къ соблазну остальныхъ дипломатовъ*); молодая Бутурлина писала въ честь его французскіе стихи, вмѣстѣ съ нимъ, княземъ Мещерскимъ, своимъ мужемъ и шведскимъ посломъ разыгрывала любимую тогда оперу Руссо: „Le devin du village“. Бутурлина пѣла Аннету, Бомарше—Любэна. Средній кругъ, куда открыла ему доступъ семья его сестры, и народная жизнь еще сильнѣе привлекали его. Въ письмахъ къ отцу онъ высказываетъ желаніе кореннымъ образомъ изучить испанскую народность, обычаи, развлечения, танцы, музыку; онъ записывалъ мотивы, запоминалъ текстъ народныхъ пѣсенъ; на модный тогда напѣвъ одной сегедильи онъ написалъ (и напечаталъ) французскіе стихи: „les serments des amants sont légers comme les vents“, и все изданіе было расхвачано. Одному изъ своихъ парижскихъ покровителей, герцогу Лавальеръ, онъ съ наслажденіемъ художника пересказалъ любопытнѣйшія сце-

*) Письмо къ сестрѣ, 11 февр. 1765; Loménie, „Beaum. et son temps“, 1873, I, 145—49.

ны изъ мадридской жизни, рождественскій праздникъ, во время котораго монахи плясали въ церкви подъ звуки кастаньетъ, игры въ театрѣ, фанданго. Увлеченіе декоративною стороною быта объясняетъ близкое уже зарожденіе трилогіи о Фигаро, носящей испанскій колоритъ, — не тотъ, вынужденный цензурными соображеніями, условный оттѣнокъ, который принужденъ былъ наложить на „Жиль-Блаза“ Лесажъ, чтобы скрыть намеки на французскія дѣла, но яркій и истинно національный. Для Бомарше Испанія, страна „плаща и шпаги“, серенадъ и болеро, навсегда осталась привлекательною; онъ и „Севильскаго цирюльника“ задумалъ сначала въ формѣ комической оперы, куда собирался вставить пѣсни и пляски, такъ нравившіяся ему.

Но этотъ замыселъ пока еще въ неясныхъ чертахъ носился въ его умѣ; не сразу выступилъ Бомарше среди оживленной жизни Парижа во всеоружіи комическаго дарованія. Точно въ народномъ разсказѣ о Жанѣ-весельчакѣ и Жанѣ-плаксѣ, сначала показалось передъ публикой растроганное, заплаканное лицо, чтобъ потомъ вдругъ перейти къ гомерическому хохоту. Бомарше-комикъ началъ съ чувствительныхъ драмъ. То не было притворство; мадридскія впечатлѣнія и интрига съ остроумною маркизой смѣнились на время романтическимъ увлеченіемъ, не дошедшимъ до брака, полнымъ сердечной тревоги и томныхъ чувствъ, выразившихся въ дошедшей до насъ связкѣ сентиментальныхъ писемъ. Въ этотъ промежутокъ времени, когда бездѣлица могла его легко разстроить, Бомарше былъ пораженъ новизной и правдой переворота, который произвелъ въ драмѣ Дидро. И по убѣжденіямъ, и по складу характера реалистъ, онъ не могъ питать благоговѣнія къ старой трагедіи съ ея отборными героями; плебей, которому патенты и льготы нужны бывали только какъ средство отстоять самостоятельность, подсмѣяться надъ старыми сословіями, онъ вдвойнѣ привѣтствовалъ вторженіе демократизма на сцену; обязательность стихотворной формы для него, не прошедшаго вовсе черезъ обычную школьную дрессировку, была непонятна, и

онъ рукоплескалъ попыткѣ писать пьесы прозой, придавая разговору житейскій характеръ, а сила чувства, торжествующаго надъ предразсудками и самоуправствомъ, любимая тема Дидро, должна была въ эту минуту особенно увлекать его. Такъ зародились первыя его драмы: „Евгенія“ и „Два друга“; имъ овладѣлъ искренній творческій порывъ; призваніе чувствительнаго драматурга онъ серьезно счелъ своимъ удѣломъ; на этотъ разъ никакой расчетъ не руководилъ имъ. Его пьесы слишкомъ были проникнуты недовольствомъ обычною моралью, слишкомъ омрачали умы тѣхъ, кто не разстался еще съ преданіями регентства и хотѣлъ лишь веселиться. Вообще это отклоненіе таланта Бомарше было неудачно (вторая пьеса, взятая изъ міра банкротствъ и расхищеній, пала послѣ перваго представленія) и осталось въ его дѣятельности краткимъ эпизодомъ. Но оно не прошло безслѣдно; „Евгенія“ посчастливилось за предѣлами Франціи; и трогательныя ея сцены, и обличеніе неравенства, и умно написанное введеніе („Опытъ о серьезной драмѣ“), узаконявшее подобныя мѣщанскія пьесы, — все дѣйствовало на измѣненіе вкуса подчасъ сильнѣе, чѣмъ драмы Дидро. Взявъ для „Евгеніи“ изъ „Хромого бѣса“ одинъ вводный разсказъ и, по мнѣнію Лэнтильяка, внеся въ сюжетъ живыя черты изъ только что пережитыхъ мадридскихъ впечатлѣній, Бомарше свободно переработалъ его и превратилъ въ картину изъ современной парижской жизни, настолько правдивую, что цензура потребовала значительныхъ измѣненій. Герой пьесы, молодой аристократъ, племянникъ военнаго министра, обманулъ бѣдную дѣвушку пародіею на брачную церемонію, бросилъ потомъ свою жертву, но раскался, тронутый ея благородствомъ и нравственною высотой. Какъ можно было допустить подобный сюжетъ! И французскій баричъ превратился въ графа Кларендона, а дѣйствіе было перенесено въ Лондонъ. Это еще болѣе сблизило фавбу съ чувствительнымъ изображеніемъ такихъ же столкновеній невинности и самоуправства въ Ричардсоновскихъ романахъ, начинавшихъ услаждать европейскую публику.

Не замѣчая декламаци и общихъ мѣстъ, непривычная и

невзыскательная, она долго считала эту пьесу образцовою. Ее переводили и играли вездѣ. Въ кружкѣ Гаррика, передѣланная подъ названіемъ „The school for rakes“ (Школа развратниковъ) *), она совсѣмъ подошла къ оригиналамъ, съ которыхъ рисовалъ Ричардсонъ. Въ Германіи ее пять разъ перевели въ прошломъ столѣтіи, и даже въ началѣ XIX вѣка, вновь переработанная Вульпіусомъ, она все еще нравилась и встрѣтила сочувствіе Гете. Для русской же сцены она сослужила важную службу: Спустя тринадцать лѣтъ послѣ официального учрежденія правильнаго театра, явилась она (18-го мая 1770), чтобъ нанести рѣшительный ударъ недолгому торжеству Сумароковского классицизма. Разгнѣванный диктаторъ приписывалъ починъ мятежа не переводчикамъ Лессинговыхъ произведеній, а именно Николаю Пушкинову, „состоявшему въ военномъ штатѣ Кирилла Григ. Разумовскаго“, осмѣлившемуся не только перевести „Евгенію“ и съ успѣхомъ поставить ее въ Москвѣ, но въ предисловіи расхвалить драму и автора **).

Какъ ни старался, однако, подкупить общественное мнѣніе авторъ „Хорева“, прося разсудить, кто правъ: онъ или какой-то безвѣстный подьячій, оно рѣшительно склонилось на сторону догадливаго подьячаго, который съ гордостью могъ заявлять въ своемъ предисловіи „къ читателю“, что

*) Передѣлка слѣлана была м-ссъ Грифитсъ. См. *Bibliographie des oeuvres de Beaumarchais*, p. Henri Cordier, 1883, p. 5.

**) „Евгенія“, ком. въ 5 д., сочиненія г. Бомарше. Пер. Н. Пушкинова, 1770; второе изданіе Новикова, 1788, въ типографич. компаніи. Въ предисловіи, называющемъ успѣхъ пьесы столь великимъ, что рукоплесканія почти не умолкали, переводчикъ искренно радуется ему и скромно приписываетъ удачу не себѣ, а сочинителю и актерамъ. „Первый, по моему мнѣнію, ничего не проронилъ, что дѣлаетъ драму совершенной, а послѣдніе, руководствуемые славнымъ нашимъ актеромъ, г. Дмитревскимъ, въ то время въ Москвѣ бывшимъ, изображая естественно то, что требовалъ сочинитель, сами себя превзошли“ (исполняли пьесу дѣйствительно лучшія силы: Дмитревскій—Кларендонъ, Померанцевъ—Гартлей, Ожогинъ—Робертъ). „Примѣръ сей показывается ясно, — разсуждаетъ переводчикъ, — что вкусъ къ арѣлищамъ, вкусъ столь похвальный и полезный, часъ отъ часу больше у насъ умножается. Дай Боже, чтобы оный совершенно утвердился къ чести и пользѣ общества, къ поправленію нашихъ сердецъ и нравовъ“.

пьеса была дана 4 раза сряду. На русскую среду, уже чуткую къ вопросамъ о значеніи сословности и гнетѣ предрасудковъ, но пробавлявшуюся безобиднымъ философствованіемъ Сумароковскихъ монологовъ, освѣжающимъ образомъ подѣйствовала обличительная картина, легко подходившая къ образу жизни російскихъ доморожденныхъ Кларендоновъ. Въ сближеніи русской драмы съ дѣйствительностью всегда будетъ цѣниться починъ, сдѣланный переводомъ слабаго и теперъ забытаго первенца Бомарше.

Но полоса чувствительности скоро прошла у нашего автора, чтобы промелькнуть еще мимолетнѣе лишь на склонѣ его жизни, въ „Тарарѣ“. Неудача второй „серьезной драмы“ напомнила ему, что это не его удѣлъ, и заставила вернуться къ отложенному на время плану „Севильскаго Цирюльника“ *). Тутъ открывался просторъ для юмора и капризовъ фантазіи; снова въ пестрыхъ арабескахъ оживали нѣжные профили, плутовскіе глазки, закутанныя плащомъ фигуры, пляски, серенады — все, что такъ поразило его воображеніе даже среди мадридскихъ тревогъ. И отъ дрязгъ обычной финансовой дѣятельности, къ которой онъ вернулся, годъ отъ году богатѣя, онъ умѣлъ переноситься въ дни молодости и старался возсоздать свѣтлое, невозвратное ея настроеніе въ своей оперѣ, гдѣ и слова, и музыка принадлежали ему. За сложнымъ сюжетомъ онъ не гнался; содержаніе составилось по частямъ, и Бомарше бралъ ихъ отовсюду: изъ итальянской интермедіи, изъ оперетки Панара „le comte de Belflor“, и комедіи Седэна, — какъ доказываютъ теперь, — даже изъ „Жиль-Блаза“. Списокъ источниковъ, безъ того уже длинный, легко было бы еще обогатить, выставивъ, наприм., Бомарше подражателемъ Мольеру („Школа женщинъ“). Агнеса съ такимъ же искусствомъ обманываетъ своего опекуна, какъ Розина — доктора Бартоло; а ея вздыхатель, подобно Альмавивѣ,

*) Лантильякъ доказываетъ что первообразомъ „Цирюльника“ было что-то въ родѣ арлекинады, которую Бомарше однажды угостилъ кружокъ свѣтскихъ людей, собиравшихся у покровительствовавшаго ему Ленормана д'Этіоля.

вполнѣ годится въ Линдоры. Но всѣ эти пьесы (и десятки другихъ, однородныхъ съ ними) основаны на одной изъ вѣковѣчныхъ, общечеловѣческихъ темъ, къ которымъ охотно возвращались поэты всѣхъ странъ, — на торжествѣ молодости и страсти надъ старческимъ деспотизмомъ и подозрительностью. Около этой несложной завязки вращалась интрига „Севильскаго Цирюльника“ въ его первой редакціи, чуждой политическихъ и общественныхъ вопросовъ минуты и свободной отъ намековъ на личныя горести автора. Въ ту пору опера Бомарше была родоначальницей веселыхъ созданий Паззіелло*) и Россини, которые также остановились на внѣшней сторонѣ сюжета. Смѣшная претензія моднаго тогда пѣвца, не захотѣвшаго играть Фигаро, потому что это напоминало бы публикѣ страницу изъ его біографіи, начавшейся дѣйствительно въ цирюльнѣ, разстроила постановку пьесы на оперной сценѣ. Бомарше не безъ сожалѣнія отказался отъ примѣси музыкальнаго элемента, по его мнѣнію, необыкновенно благодарнаго, и принужденъ былъ придать своему произведенію форму комедіи, ту форму, въ которой ей суждено было достигнуть славы.

II.

Въ то время, какъ онъ былъ занятъ этимъ трудомъ, не вымышленная, а настоящая трагикомедія съ сильными эффектами, которыхъ не придумать и досужему воображенію, втѣснилась въ его жизнь и прервала всякое творчество. Счастье снова отвратилось отъ него. Его неизмѣнный покровитель, Пари-Дювернэ, умеръ, въ послѣдній разъ позаботившись о его нуждахъ: онъ оставилъ ему заимообразно

*) Объ оперѣ Паззіелло, которая держалась на итальянскихъ сценахъ до появленія пьесы Россини, теперь совсѣмъ забыли; ни Беттельгеймъ, ни „Библіографія литературы о Бомарше“, Кордье, перечисляя разные предѣлки его комедій, о ней не упоминаютъ. Для насъ особенно любопытно, что эта первая опера на либретто „Сев. Цирюльника“ была написана Паззіелло въ Петербургѣ во время житія его при дворѣ Екатерины. History of the opera from Monteverde to Donizetti, by utherland Edwards. 1862, II, p. 87.

на расширеніе дѣлъ 75.000 франковъ; кромѣ того, поручалъ своему наслѣднику выплатить Бомарше 23.000, недоданныя по прежнимъ операціямъ, и передать ему на память большой портретъ Дювернэ. Незначительность завѣщанной суммы, въ сравненіи съ громадною оставшихся капиталовъ, казалось, не могла бы стать поводомъ къ оспариванію завѣщанія. Племянникъ Дювернэ, графъ Лаблашъ, сразу дѣлался однимъ изъ первыхъ богачей, а всѣмъ извѣстная близость старика къ Бомарше достаточно оправдывала посмертную ласку. Но именно эта близость постоянно разобшала двухъ соперниковъ, до того, что они не могли болѣе переносить другъ друга, — а теперь пришлось бы не только разъ выплатить деньги, но постоянно вѣдаться съ Бомарше, котораго Дювернэ призналъ своимъ пайщикомъ по своду шпионскаго лѣса. Это было выше силъ Лаблаша, и онъ отвѣчалъ встрѣчнымъ искомъ въ 50.000 франковъ и обвиненіемъ въ подлогѣ документа, въ виду того, что воля изложена завѣщателемъ не собственноручно, а почеркомъ Бомарше, и только скрѣплена Дювернэ. Внезапно начавшійся процессъ зловѣще наступалъ на человѣка, беззаботно подбиравшаго испанскіе мотивы для своей комедіи *de sars et d'érées*; онъ зналъ характеръ противника, и ему передали похвалу Лаблаша, что онъ скорѣе затратитъ сотни тысячъ, чѣмъ выплатитъ хоть грошъ негодяю. Бомарше попытался сначала достигнуть соглашенія, но противникъ презрительно отвергнулъ эту попытку*); тогда, бросивъ всѣ дѣла, Бомарше лично повелъ свою защиту, писалъ прошенія за прошеніями, попробовалъ заручиться рекомендаціею принцессъ. Вдругъ на него, еще не одолѣваемаго одной бѣды, обрушилась новая. Все затуманилось, смѣшалось передъ его глазами. Казалось, мелкая любовная стычка, разгорѣвшаяся въ бурное столкновеніе, не могла бы приобрести никакой важности. Счастливый соперникъ давно ему знакомаго герцога де-Шона въ любви ничтожной оперной пѣвицы, онъ неосторожно взялъ ея сторону, когда ревни-

*) Gudin, Histoire de Beaumarchais, p. 65.

вещь сталъ преслѣдовать ее, не скупясь на брань и побои. Но де-Шона было еще опаснѣе раздражать, чѣмъ Лаблаша; способный доходить до бѣшенства, невмѣняемый и въ то же время безнаказанный по своимъ связямъ, онъ пугалъ всѣхъ безумными выходками. Бомарше едва не сдѣлался его жертвой.

Не легко разобратъ въ противорѣчивыхъ показаніяхъ обѣихъ сторонъ и немногихъ свидѣтелей, а Бомарше былъ мастерскимъ адвокатомъ своей чести и благородства. Но фактъ звѣрскаго самоуправства ясенъ. Де-Шонъ врывается къ вѣроломной красавицѣ, заставъ ее еще въ постели, дѣлаетъ ей страшную сцену и выбѣгаетъ искать Бомарше, чтобы его убить. Предупрежденный на улицѣ другомъ, поэтъ отказывается скрыться; служба зоветъ его, и черезъ нѣсколько минутъ онъ уже возсѣдаетъ на президентскомъ креслѣ и допрашиваетъ тяжущихся. Тѣмъ временемъ герцога побывалъ уже на квартирѣ врага и, узнавъ, гдѣ онъ, влетѣлъ въ камеру суда, требуя, чтобы Бомарше немедленно шелъ съ нимъ. Тотъ продолжаетъ засѣданіе цѣлыхъ два часа, не сдаваясь на угрозы; де-Шонъ принужденъ ждать, но постоянно прерываетъ засѣданіе. Какъ только оно кончилось, онъ сажаетъ Бомарше въ свою коляску и везетъ драться; оружія нѣтъ, — они заѣзжаютъ къ знакомому герцога за саблями; ихъ просятъ обождать, но имъ не терпится, и они ѣдутъ сводить счеты въ домъ Бомарше. Тутъ хозяинъ пытается успокоить врага, не безъ комизма предлагаетъ сначала пообѣдать съ нимъ, а потомъ взяться за оружіе. Но отъ промедленія бѣшенство Шона достигло крайняго предѣла; кровь прилила къ головѣ, и онъ, не владея собой, кидается на Бомарше, царапаетъ ему лицо, разрываетъ платье, толкаетъ и увѣчитъ его отца и слугъ, не унимается даже и тогда, когда шумъ привлекъ толпу передъ домомъ, а на мѣсто побоища явилась полиція, которая застала Шона яростно размахивающимъ шпагой и Бомарше отбивающимся каминными щипцами.

Самоуправство было слишкомъ явно; головорѣзъ, который съ гордостью повторялъ, что онъ герцогъ и пэръ, что

никто его тронуть не посмѣетъ, былъ кругомъ виновать. Но старый порядокъ еще процвѣталъ, и въ тюрьмѣ оказался не только Шонъ, но и Бомарше, вѣроятно, чтобы не подать дурного примѣра. Судъ маршаловъ, вѣдавшій тогда дѣла чести между дворянами, освободилъ было его отъ кары, но министръ, раздосадованный этимъ, безъ труда выхлопоталъ у короля *lettre de cachet* и бросилъ Бомарше въ *For l'Evêque* поразмыслить о своемъ ничтожествѣ. Это былъ первый тяжкій урокъ, который жизнь давала человѣку, слишкомъ привыкшему забывать общія невзгоды для борьбы изъ-за личныхъ выгодъ. Рѣзче, чѣмъ когда-либо, ему напомнили о его плебейскомъ происхожденіи, и Шонъ, въ дошедшихъ до насъ показаніяхъ, на допросѣ съ пренебреженіемъ чистокровнаго барича оправдывался тѣмъ, что иначе съ плебеемъ нельзя было бы сосчитаться, что дуэль съ нимъ немислима, что противникъ, про котораго идутъ слухи объ отравленіи женъ и поддѣлкѣ бумагъ, иного и не заслуживаетъ. Но чего не подѣлалъ одинъ знатный врагъ, то сумѣлъ довершить еще болѣе вліятельный Лаблашъ; по его проискамъ, Бомарше задержали въ тюрьмѣ дольше назначеннаго срока, чтобы тѣмъ временемъ можно было направить процессъ во вредъ ему. Онъ вымолилъ себѣ право выходить изъ тюрьмы съ провожатымъ, навѣщать судей, просить, напоминать; онъ не въ состояніи отказать, подобно Мольеровскому Альцесту, отъ вымаливанія справедливости и надѣяться лишь на свою правоту. Онъ и тутъ стоитъ на практической точкѣ зрѣнія; люди обходятъ своихъ судей (*on sollicite ses juges*), и онъ дѣлаетъ то же. Его не возмущаетъ мысль, что съ такими просьбами ему придется обратиться къ членамъ ненавистнаго всѣмъ „подставного“ парламента, собраннаго канцлеромъ Мопу изъ всякаго сброда взаимнѣ законнаго, но слишкомъ независимаго, парламента, высланнаго поголовно въ изгнаніе. Онъ обходитъ вліятельныхъ креатуръ Мопу, и, наконецъ, узнаетъ, что его дѣло передано для доклада совѣтнику Гэтцманну, на котораго молва указывала, какъ на замѣчательнаго законовѣда и самаго способнаго изъ парламентскихъ членовъ.

Дѣйствительно Гэтцманнъ былъ далеко не зауряднымъ подьячимъ *); этотъ усидчивый и аккуратный эльзасецъ не мало поработалъ для юридической литературы, и обстоятельно велъ дѣла, выпадавшія ему на долю. Былъ ли онъ законсѣлымъ и безстыднымъ взяточникомъ, мы не знаемъ; враждебность къ Бомарше могла быть вызвана и желаніемъ угодить его сильному врагу, и недовѣріемъ къ человеку, о которомъ молва говорила, какъ объ извергѣ. Но за него, и, повидимому, скрывая многое, брала взятки его жена, пустая и вѣтренная, мечтавшая скорѣе обогатиться и безцеремонно хваставшая передъ знакомыми умѣньемъ „общипывать курицу“ (*plumer la poule*). До нея можно было доходить окольнымъ путемъ, черезъ одного книгопродавца, который принималъ и передавалъ деньги. Бомарше домогался свиданій съ Гэтцманномъ, но неумолимый привратникъ давалъ ему шесть разъ въ теченіе двухъ дней одинъ отвѣтъ: „Гэтцманна нѣтъ дома и неизвѣстно, когда онъ вернется“. Пришлось купить аудіенцію; собрано сто луидоровъ, книгопродавецъ - передатчикъ Lejaу пущенъ въ ходъ, и въ два пріема снесъ деньги; свиданіе, наконецъ, состоялось, полное усовѣщиваній съ одной стороны, хитрыхъ увертокъ съ другой. Но вторую аудіенцію нужно было опять покупать; Бомарше посылаетъ часы, осыпанные брилліантами; ихъ берутъ, но требуютъ еще 15 луидоровъ „для секретаря“, обѣщая все вернуть, если свиданіе почему-нибудь не состоится. Все выплачено, но проситель опять видитъ лишь суроваго привратника съ тѣмъ же безнадежнымъ отвѣтомъ. Онъ догадывается, что противная сторона не въ примѣръ больше сорила деньгами, ждетъ худшаго, и на другой же день узнаетъ, что судъ, не признавъ подлога, отвергъ его прошеніе, приговоривъ уплатить Лаблашу 56.000 франковъ и покрыть значительныя судебныя издержки; вмѣстѣ съ тѣмъ, съ него потребовали крупную сумму за содержаніе въ тюрьмѣ, гдѣ, по его словамъ, „онъ былъ снабженъ всѣмъ, кромѣ самаго необходимаго“. Наличныхъ денегъ не нашлось; опи-

*) Paul Huot. „Goetzmann et sa famille“, въ Revue d'Alsace, 1868.

сали все имущество, наброшена была тѣнь на честность, опозорено доброе имя. На баловня судьбы обрушивались заразъ всѣ бѣды.

На кого ему было опереться? На короля? Но не онъ ли только-что бросилъ его, безвиннаго, въ тюрьму?.. Принцессы давно отвернулись отъ человѣка, который слишкомъ много заставлялъ о себѣ говорить и могъ вредить имъ своею близостью. Знать была противъ него; періодической печати почти не было; судебная гласность была немыслима. Тутъ въ Бомарше сверкнуло отчаянное, героическое рѣшеніе; онъ сдѣлалъ своимъ судьей общественное мнѣніе, давно уже глухо волновавшееся, нуждаясь въ поводѣ, чтобы свести счеты со старымъ порядкомъ. Подобно Вольтеру въ дѣлахъ Каласа и Сирвена, Бомарше далъ этотъ поводъ, и знаменитые вскорѣ „Мемуары“ его противъ Гэтцманна и его сообщниковъ превратились изъ защитительнаго документа по частному процессу во всенародное дѣло.

Не даромъ остряки впослѣдствіи находили, играя словами, что если Louis Quinze устроилъ парламентъ, то quinze louis уничтожили его. Вокругъ злополучныхъ пятнадцати луидоровъ, будто бы назначенныхъ секретарю, прежде всего сосредоточился споръ. Получивъ обратно всю сумму взятокъ, кромѣ секретарской подачки, и узнавъ, что писецъ Гэтцманна никогда не получалъ этихъ денегъ, Бомарше догадался, что жена совѣтника пожелала удержать хоть часть суммы, побывавшей въ ея рукахъ, и эта алчность совѣтъ уже взбѣсила его. Онъ сталъ осаждать ее письмами, давалъ ей проговариваться, вовлекалъ въ промахи, видѣлъ, какъ она запутываетъ стороннихъ лицъ, и въ обществѣ открыто говорилъ о продажности четы Гэтцманновъ и всей парламентской шайки. Дѣло получало непріятную огласку. Корпорация сочла нужнымъ, для поддержанія своей сомнительной чести, потребовать слѣдствія; Бомарше накликалъ на себя опасный процессъ. Противъ него былъ теперь весь судъ; Гэтцманнъ готовъ былъ обрушить на него всю свою юридическую мудрость. Неожиданно къ нему примкнули въ качествѣ добровольцевъ два усерд-

ныхъ свидѣтеля, искусныхъ въ ябедѣ: бездарный стихотворецъ Бакюларъ д'Арно, и бранчивый журналистъ, онъ же королевскій цензоръ, Марэнъ (Magin), случайный корреспондентъ Вольтера, который пользовался его услугами, чтобы доставлять свои произведенія во Францію, но крѣпко не жаловалъ его. Оба эти сателлита оказались въ близкихъ отношеніяхъ или съ Гэтцманнами, или съ Ле-Жэ; оба безстыдно давали ложныя показанія, чернили Бомарше и пѣли гимны поруганной добродѣтели. Плотная и дружная коалиція стѣною пошла противъ автора „Фигаро“; онъ долженъ былъ являться въ судъ, выслушивать длинные и завѣдомо фальшивыя показанія, быть вѣчно наготовѣ и отводить удары, извлекая, на диво всѣмъ, изъ мелкаго дѣла о взяткахъ новыя и мѣткіе аргументы для обличенія враговъ. Но натискъ усиливался, Бомарше совсѣмъ затравили; не сегодня, завтра, его назовутъ не только поддѣльвателемъ документовъ, но и злостнымъ клеветникомъ.

Были минуты, когда онъ готовъ былъ предаться отчаянію, но онъ переломилъ себя; вѣрный своей привычкѣ, онъ подавилъ подступавшія слезы, и разразился громкимъ смѣхомъ, Эффектъ вышелъ поразительный. Въмѣсто трагическихъ, раздиравательныхъ сценъ, которыхъ можно было ожидать отъ разореннаго и опозореннаго человѣка, началась непримѣрная судебная комедія. Его спасла сила смѣха. Мемуары по дѣлу Гэтцмана *) входятъ столько же въ кругъ юридической литературы, сколько въ область художественной сатиры.

Бомарше случайно посвятилъ насъ въ тайны своего плана; опытъ показалъ ему, что во Франціи ничто такъ не помогаетъ успѣху и не завладѣваетъ вниманіемъ, какъ умѣнье избѣгать монотонности и постоянно разнообразить темы, складъ рѣчи и эффекты, подкупая новизной и неожидан-

*) Этихъ мемуаровъ, выходившихъ небольшими брошюрами, подъ названіемъ „Mémoire à consulter pour P. A. Caron de Beaumarchais etc.“, набралось четыре (по Ломени—пять, считая приложенія). Потомъ они были собраны въ одну книгу, постоянно перепечатававшуюся и во Франціи, и въ Голландіи. Противная сторона отвѣчала такими же брошюрами, такъ что составила литература въ нѣсколько десятковъ книгъ.

ностью, то растрогивая, то смѣясь, то касаясь общихъ вопросовъ и выдвигая научный арсеналь, то выводя на сцену живыхъ людей въ бойкомъ и забавномъ діалогѣ. Безпримѣрный успѣхъ мемуаровъ подтвердилъ его догадку. Бомарше умѣлъ какъ-то неуловимо печатать и распространять ихъ, не справляясь ни съ какими правилами, не представляя рукописи никому на одобреніе. Онъ наводнялъ мемуарами Парижъ, раздавалъ ихъ черезъ агентовъ въ судѣ, на площадяхъ, на оперныхъ маскарадахъ, гдѣ ихъ расходилось въ вечеръ нѣсколько тысячъ экземпляровъ, и достигъ того, что они очутились въ рукахъ всѣхъ и каждого, отъ вельможъ до уличнаго гуляки. Парижская толпа живо откликнулась на призывъ; авторъ листковъ сразу сталъ необыкновенно популярнымъ. Ихъ читали вездѣ; въ кафе собирались для этого массы народы; всѣ хохотали, передавая другъ другу только-что подхваченныя остроты *). Смѣялись даже судьи, когда Бомарше импровизировалъ передъ ними какую-нибудь сцену (будущую страницу мемуара) и тѣшился промахами и нескладными отвѣтами противниковъ. Дворъ не отставалъ; потѣшныя рѣчи жены Гэтцманна и колкости Бомарше показались такъ забавны, что изъ первыхъ двухъ мемуаровъ была скроена непритязательная, но, говорятъ, удачная комедія, которую разыграли своими силами на придворной сценѣ, а провансальская поговорка „ques à со?“ (что это?), которою Бомарше преслѣдовалъ Марэна, показалась такою остроумною, что Марія - Антуанетта назвала такъ придуманную ею куафюру. Бомарше, какъ тонкій наблюдатель, не могъ не видѣть странности этого сочувствія; вліятельнѣйшіе люди въ странѣ предпочитали останавливаться на потѣшной сторонѣ явленія и не хотѣли сознать обязанности преобразовать судъ, гнѣздо всякихъ золъ. „Что смѣетесь? Надъ собой смѣетесь!“—могъ бы имъ сказать авторъ мемуаровъ, но онъ доволенъ былъ тѣмъ, что за него былъ

*) Бомарше такъ славился остроуміемъ, что даже въ нашемъ столѣтіи былъ составленъ сборникъ анекдотовъ и остротъ: „Beaumarchaisiana ou recueil d'anecdotes, bons mots, sarcasmes etc. de Caron de Beaumarchais, par Cousin d'Avallon, 1832.

всеобщій смѣхъ, что съ каждымъ новымъ успѣхомъ обличителя все ниже падали шансы противной стороны; она была виновна уже тѣмъ, что давала себя осмѣять и постоянно оставалась въ долгу.

Противниковъ было много, но это придавало прелесть борьбѣ. Бомарше на столбцахъ мемуаровъ, точно на фехтовальномъ плацу, завязывалъ съ каждымъ отдѣльный поединокъ. „Теперь ваша очередь, г. Марэнъ“,—говорить онъ, и направляетъ стрѣлы остроумія и гнѣва на него. „A vous, monsieur Dairolles“—и той же пыткой подвергается новый лжесвидѣтель. Это безстрашіе приводило въ восторгъ Вольтера: „я никогда не видалъ ничего сильнѣе, смѣлѣе, комичнѣе, интереснѣе, сокрушительнѣе для противника,—писалъ онъ,—чѣмъ мемуары Бомарше. Онъ бьется заразь съ 10 или 12 врагами и повергаетъ ихъ на землю съ такою же легкостью, какъ въ фарсѣ арлекинъ - дикарь колотитъ отрядъ полицейскихъ“ *). Четъ Гэтцманновъ, разумѣется, отводится самое почетное мѣсто, и она почти не сходитъ со сцены,—особенно главная виновница несчастій Бомарше. Съ какимъ злорадствомъ играетъ онъ съ своею жертвой! То принимается говорить ей любезности о ея красотѣ и неувядающей молодости, и вѣтренная женщина, при невольномъ хохотѣ судей, даетъ взять себя подъ ручку, и находитъ, что Бомарше вовсе не такой звѣрь, какимъ его изображаютъ. То ловить онъ ее, среди непринужденной болтовни, на опасномъ для нея промахѣ; она отрицаетъ, что когда-либо получала 15 червонцевъ,—„мыслимо ли, чтобы женщинѣ въ ея положеніи предложили такую мелочь, когда наканунѣ она отказалась отъ ста луидоровъ?—Наканунѣ чего?—вставляетъ наивный вопросъ Бомарше. О какомъ днѣ говорите вы?—Боже мой, о томъ днѣ, когда“...—она умолкаетъ, досадливо кусая губы и обмахиваясь вѣеромъ. То загонить онъ свою противницу въ такую непроходимую чашу, что съ отчаянія она прибѣгаетъ уже къ нелѣпымъ отговоркамъ, объясняетъ противорѣчія въ показаніяхъ тѣмъ, что бываютъ такіе пе-

*) Письмо къ маркизу Флоріану, 1774 (Corresp. génér.).

ріоды, „un temps critique“, когда она невмѣняема и не помнитъ, что говоритъ и дѣлаетъ. Какъ живо представляется при этихъ словахъ сіяющее лицо Бомарше, который сумѣетъ извлечь выгоду изъ пикантнаго признанія, а потомъ съ обычнымъ мастерствомъ передать всю эту картинку въ слѣдующемъ мемуарѣ!

Иногда нужны ему и серьезные, даже специально-научныя средства борьбы. И въ этомъ не будетъ недостатка. По поводу плутней Гэтцманна, онъ излагаетъ исторію знаменитѣйшихъ продажныхъ судей древности и новаго времени. Нужны ссылки на законы, — друзья-юристы снабдили его на этотъ счетъ въ изобиліи. Противная партія затѣяла было воспользоваться неизвѣстной еще во Франціи исторіею съ Клавиho, — Бомарше вводитъ и ее въ свой отвѣтъ, знакомитъ читателя съ этимъ драматическимъ столкновеніемъ и мастерски освѣщаетъ его. Если же хотятъ набросить на него тѣнь, повторяя басню объ отравленіи, онъ умѣетъ гдѣ-то выудить неблаговидную продѣлку Гэтцманна, который, чтобы прикрыть рожденіе незаконнаго сына, поддѣлалъ свидѣтельство о крещеніи. *A la guerre, comme à la guerre*, думается ему. Но общаго значенія процесса онъ все время не теряетъ изъ виду, и, когда нужно указать, какія мѣры могли бы прекратить искаженіе правосудія, онъ высказывается за введеніе суда присяжныхъ по англійскому образцу. Мастерскіе сатирическіе портреты получаютъ у него соціальныя фонъ; люди, съ которыми онъ борется, уже не личные только его враги, но враги народныя; за Марэномъ виднѣется вся клика ложныхъ патріотовъ, готовыхъ обозвать измѣнниками отечества всякаго, кто имъ лично непріятель, возглашающихъ, что кромѣ нихъ настоящихъ французовъ нѣтъ; за Гэтцманномъ выступаетъ не только шайка клеветовъ Мопу, но и весь строй допотопной магистратуры, а въ Лаблашѣ, то и дѣло вставлявшемъ свое слово и теперь, олицетворялось барство. Горячность Бомарше не могла не увлекать читателя; то, что онъ говорилъ, было у всѣхъ на умѣ, но кромѣ него никто не рѣшался высказать это открыто. Съ появленія мемуаровъ до

тріумфа „Свадьбы Фигаро“ Бомарше не разстался болѣе съ ролью глашатая общественнаго мнѣнія, на которой основанъ его писательскій успѣхъ. Для тѣхъ, кто видитъ въ замѣчательныхъ людяхъ выразителей народной думы, — это одинъ изъ убѣдительныхъ примѣровъ.

Но не только въ общественномъ отношеніи прозрѣлъ и возмужалъ Бомарше во время своихъ несчастій. Его литературное дарованіе только теперь проявилось въ полной силѣ. Передъ нами уже образцовый комикъ; стоитъ вынуть отдѣльные эпизоды, — и сцена изъ остроумнѣйшей комедіи готова. Въ минуты сатирическаго воодушевленія онъ увлекается смѣлостью тона, которую ставитъ подъ покровъ извѣстнаго стиха Буало: „Вы видите, что я говорю все на чистоту, — заявляетъ онъ Марэну, — что въ моемъ слогѣ нѣтъ ни умолчаній, ни словечекъ, ни дутыхъ фразъ, ни смѣшныхъ церемоній, ни пошлой экономности; какъ Буало, —

Je ne puis rien nommer, si ce n'est par son nom;
J'appelle un chat un chat...

а Марэна я называю торговцемъ мемуарами, литературой, цензурой, новостями, шпионствомъ, ростомъ, интригами, etc., etc., — цѣлыхъ четыре страницы etc.“ Но спорить съ такимъ противникомъ становится для Бомарше невыносимымъ. „Первое несчастіе для человѣка, — объясняетъ онъ ему подъ конецъ, — конечно, то, когда краснѣешь за себя; но второе наступаетъ, когда за тебя краснѣютъ другіе. Впрочемъ, я не знаю, зачѣмъ я говорю вамъ всѣ эти вещи, которыхъ вы не можете даже понять. Я удаляюсь; вѣдь я еще могу что-нибудь утратить. А вы... вы можете смѣло идти всюду“. Для заурядныхъ противниковъ у него другой тонъ, — насмѣшливый и небрежный. Свидѣтель Бертранъ Д'Эроль ссылался на безпамятство каждый разъ, когда могъ показать въ пользу Бомарше. „Какая прекрасная тема для конкурса хирургической академіи на 1774 годъ! Золотую медаль тому, кто объяснитъ, какимъ образомъ мозгъ бѣднаго Бертрана могъ внезапно расколоться на-двое и вызвать въ его головѣ память, столь счастливую для однихъ

фактовъ, столь несчастную для другихъ, — какъ кузень Бертранъ сталъ вдругъ паралитикомъ одною стороною ума, и притомъ необыкновенно курьезнымъ способомъ, — часть памяти, обвиняющая Марэна, парализована безвозвратно, тогда какъ часть оправдывающая здрава, невреждена и сияетъ такимъ хрустальнымъ блескомъ, что мельчайшія подробности отражаются въ ней, какъ въ зеркалъ“. Когда же постоянная трата энергіи доводила его до изнеможения, и онъ съ печальной ироніей говорилъ друзьямъ: „Ну, что-жъ! еще нѣсколько новыхъ враговъ, еще нѣсколько мемуаровъ, и репутація моя станетъ бѣла, какъ снѣгъ!“ — съ устъ его возносилась, въ отвѣтъ на „мемуары, газетныя статьи, циркуляры, ругательства и тысяча одну диффамацию“ — „молитва къ Благому Существу“ (Etre bienfaisant), одинъ изъ классическихъ образцовъ французской прозы. Ему пригрезилось, что Богъ возвѣщаетъ ему, что ему суждено испытать немало несчастій, дабы не возгордиться благополучіемъ; „его будутъ раздирать на части тысячи враговъ, его лишатъ свободы, имущества, обвинять въ грабежѣ и подлогѣ, въ клеветѣ и подкупѣ, опозорятъ всю его жизнь изъ-за сплетенъ“, и т. д. Онъ склоняется передъ высшей волей, вѣритъ, что она не дастъ ему погибнуть, поможетъ все перенести, — и проситъ только, чтобы грозящія ему несчастія приняли именно ту форму, о которой онъ самъ иной разъ думалъ. Пусть противникомъ его будетъ скупой наслѣдникъ богатаго имѣнія, способный оспаривать даръ, который внушенъ былъ дружбой и честностью, и пусть люди негодуютъ, видя, какъ этотъ человѣкъ, ослѣпленный ненавистью, начинаетъ позорный процессъ. Такъ постепенно въ мольбахъ своихъ Бомарше обрисовываетъ настоящее положеніе дѣла, прося себѣ и безчестнаго трибунала, и лицемѣрнаго судью, и т. д. Когда же главныя просьбы будутъ услышаны, онъ смиренно умолитъ божество, если уже необходимо, чтобы стороннія лица вмѣшались, послать неуклюжаго и злого посредника, умышленно все портящаго. „Пусть онъ будетъ измѣнникомъ друзьямъ, неблагодарнымъ къ своимъ благодѣтелямъ, ненавистнымъ для

авторовъ по своей цензурѣ, скучнымъ для читателей по своимъ писаніямъ, страшнымъ для должниковъ, разорителемъ бѣдныхъ книгопродавцевъ изъ-за своего обогащенія, продавцомъ запрещенныхъ книгъ, соглядатаемъ за людьми, допускающими его въ свое общество,—чтобы въ глазахъ людей достаточно было быть имъ очерненнымъ, и это убѣждало бы въ честности человѣка,—стоило быть подъ его защитой, чтобы всѣ тебя подозрѣвали. Боже, дай мнѣ Марэна!⁴

Врядъ ли серьезно убѣжденъ былъ Бомарше, что послѣ столькихъ усилій онъ восторжествуетъ; правда, его мольбы были услышаны, и судьба послала ему враговъ, дававшихъ нерѣдко противъ себя оружіе,—но они были слишкомъ сильны, а его обращеніе къ общественному мнѣнію устрашало и тревожило ихъ, вмѣсто того, чтобъ образумливать. Толпа теперь знала и любила Бомарше; когда президентъ суда осмѣлился разъ приказать выгнать его изъ палаты, какъ дерзкаго нарушителя спокойствія, и когда онъ заявилъ, что пришелъ по своему дѣлу, не сойдетъ съ мѣста и призываетъ націю въ свидѣтели, его окружила масса сторонниковъ. На спектаклѣ, гдѣ давали „Евгенію“, появленіе автора вызвало овацію; всѣмъ намекамъ пьесы, подходившимъ къ случаю, рукоплескали. Эта популярность становилась опасною, и Бомарше дорого пришлось за нее заплатить. Первый урокъ въ этомъ отношеніи еще можно было стерпѣть: передѣланнаго въ комедію „Севильскаго цирюльника“, уже назначеннаго къ представленію, запретили изъ-за общихъ соображеній благочинія, несмотря на то, что во второй редакціи пьеса все еще была довольно невинна и чужда злобѣ дня. Но худшее испытаніе было впереди.

Насталъ день приговора, и безстрашнымъ Бомарше овладѣло раздумье, когда раннимъ утромъ онъ, одиноко и медленно, подходилъ къ зданію суда: что ожидало его сегодня, какое изъ безчисленныхъ наказаній, переполнявшихъ старый кодексъ, примѣнять къ нему? Шевельнулась даже мысль о смерти,—и не напрасно промелькнула она; о смерти все-таки вспомнили судьи, и въ числѣ двадцати двухъ отвѣчали

на вопросъ о карѣ: „все, кромѣ смертной казни“... Болѣе милостивое воззрѣніе взяло, однако, верхъ, и рѣшено было, во имя высшей справедливости, подвергнуть обѣ стороны, и г-жу Гэтцманнъ, и Бомарше, публичному порицанію (*blâme*), самая формула котораго, рѣзкая и безпощадная (*la cour te blâme et te déclare infâme*), заключала уже въ себѣ улику въ безчестности и лишеніе правъ; приговоръ этотъ Бомарше долженъ былъ бы выслушать на колѣняхъ. Но онъ не былъ объявленъ; свистки заглушили чтеніе этой части приговора; у судей не хватило настойчивости; боялись ли они, что обвиненный дѣйствительно исполнить угрозу, которую находимъ въ письмѣ къ принцу Конти, и либо ранить палача, либо лишить себя жизни,—или же волненіе толпы, усилившееся послѣ окончанія процесса, до того устало ихъ, что многіе подверглись оскорбленіямъ на улицѣ, показывались лишь въ сопровожденіи стражи (Морепа шутя посовѣтовалъ имъ ходить въ палату въ домино), и изъ суда скрылись потайнымъ ходомъ,—только Бомарше былъ избавленъ отъ позора, хотя надолго положеніе его осталось нелегальнымъ, двусмысленнымъ, и каждую минуту онъ могъ опасаться ареста. Ему нашли убѣжище; каждый разъ, когда онъ отваживался покинуть его, народъ шумно чествовалъ героя,—но все же изгнаніе было лучше вѣчной неувѣренности; будущность была испорчена, всякая дѣятельность стала немыслима.

III.

Развязка процесса съ Гэтцманномъ осталась, однако, важнымъ общественнымъ фактомъ. Парламентъ Мопу одержалъ послѣднюю свою побѣду; во время дѣла слишкомъ ярко раскрылись порочность и ничтожество его членовъ; Гэтцманнъ былъ объявленъ *hors de cour* по недостатку уликъ, но не удержался на своемъ мѣстѣ и затерялся въ массѣ до своей трагической смерти *), а вскорѣ послѣ сво-

*) Седьмого термидора онъ погибъ на эшафотѣ вмѣстѣ съ А. Шенье. Bonnefon, „Beaumarchais“, p. 15. Wallon, Histoire du tribunal révolutionn. de Paris, V, p. 117.

его вступленія на престолъ, повинуюсь общественному мнѣнію, Людовикъ XVI принужденъ былъ распустить парламентъ и призвать членовъ прежняго изъ ссылки. Личное дѣло сатирика сослужило такимъ образомъ всенародную службу, — какого удовлетворенія желать ему больше? Но червь честолюбія слишкомъ сильно глодалъ заскучавшаго безъ дѣла энергическаго человѣка; онъ рожденъ былъ геніальнымъ авантюристомъ, а не суровымъ подвижникомъ; онъ не сумѣлъ съ достоинствомъ нести свой крестъ. Если добрый геній вложилъ ему въ уста горячія и благородныя рѣчи, — въ дни тяжкаго несчастья онъ все, казалось, забылъ и подпалъ лишь инстинкту самосохраненія. Что бы ни начать, лишь бы снять съ себя позоръ, снова вернуться въ жизнь, приняться за работу...

Черезъ нѣсколько времени въ Лондонѣ сталъ показываться всюду, гдѣ только собиралась французская колонія, только-что прибывшій съ континента дворянинъ, monsieur de Ronas. Онъ разузнавалъ, изъ какого притона выходятъ французскіе пасквили на Людовика XV, размножившіеся въ Лондонѣ за послѣдніе мѣсяцы, и отважно проникъ на квартиру главнаго ихъ фабриканта, настоящаго бандита, Тевенѣ де-Моранда *), который кормился шантажемъ и только-что выпустилъ ругательную брошюру про г-жу Дю-Барри, придумавъ бойкое заглавіе: *Mémoires secrets d'une fille publique*“. Ронакъ, въ которомъ не трудно узнать Карона, переставившаго только буквы своей фамиліи, прямо заговариваетъ о цѣнѣ, входитъ въ дѣловые переговоры, разгадываетъ характеръ собесѣдника, который способенъ былъ съ такою же легкостью писать и за короля, и вызвался вскорѣ подглядывать за французскими эмигрантами; Морандъ былъ хорошо приготовленъ ко всему, и уже бесѣдовалъ о томъ же предметѣ съ извѣстнымъ шевалье

*) Въ своемъ родѣ оригинальная личность этого пасквилянта нашла недавно своего біографа: „Théveneau de-Morande, par Paul Robicquet, 1882. Морандъ въ особенности приобрѣлъ извѣстность опаснаго сплетника своей книгой „le Gazetier cuirassé“.

д'Эономъ. Его молчаніе, очевидно, хотять купить, и онъ спокойно ведетъ торгъ; Бомарше его обошелъ, даже полюбился ему, и достигъ цѣли; за пожизненную пенсію и 32.000 наличными Морандъ обязался ничего не печатать ни противъ короля, ни противъ фаворитки. Кто же далъ Ронаку это шекотливое порученіе? Самъ Людовикъ; втихомолку содѣйствовалъ его отъѣзду глава полиціи Сартинъ, съ нѣкотораго времени ему покровительствовавшій; рискованная поѣздка предпринята была, чтобъ угодить отживавшей вѣкъ любовницѣ дряхлаго короля... Какимъ рѣзкимъ диссонансомъ звучить все это послѣ недавнихъ торжествъ народнаго дѣятеля, въ которомъ толпа готова была видѣть одного изъ вождей оппозиціи! Но нужно было, во что бы то ни стало, выбиться изъ тьмы, и Бомарше напросился на свою странную миссію; онъ не искалъ денегъ, — напротивъ, тратилъ свои, — но его поманили, въ случаѣ успѣха, возвращеніемъ прежняго положенія въ свѣтъ и отмѣной приговора, и этого было довольно.

Но, бѣдный, странствующій Фигаро! какое злое разочарованіе ждетъ его, какимъ жалкимъ отливомъ смѣнилось опять пошедшее въ гору его счастье! Только-что онъ понесся за наградой въ Версаль, какъ по дорогѣ его поразила вѣсть: король умеръ, — не кстати, преждевременно умеръ. не повидавшись съ нимъ, не сдержавъ слова. Опять все пропало; для новаго короля не только не имѣютъ никакого значенія хлопоты и услужливость ради Дю-Барри, но его цѣломудріе должно оскорбиться ими, какъ оно постоянно возмущалось присутствіемъ фаворитки. Теперь и книга Моранда не имѣетъ смысла, и борьба съ нимъ никому не нужна.

Странное дѣло, однако, — именно въ эту пору въ томъ же Лондонѣ какой-то новый бандитъ захотѣлъ по своему привѣтствовать вступленіе на престолъ Людовика XVI брошюрой, не въ примѣръ циничнѣе и опаснѣе той, которую только что сбыли съ рукъ; на этотъ разъ героиней пасквиля должна явиться сама Марія - Антуанетта. Такъ, по крайней мѣрѣ, донесъ Морандъ, не на шутку возмнившій себя французскимъ агентомъ, — или, вѣрнѣе, это утверждалъ Бомар-

ше, и, какъ человѣкъ опытный въ выслѣживаніи, предложилъ свои услуги. Холодность короля къ нему тотчасъ уступила мѣсто стремленію заручиться его помощью. Въдѣ брошюра (насколько Бомарше сообщалъ ея содержаніе) проникала въ тайники семейной жизни Людовика, разоблачала вѣтренныя, порою даже преступныя, интриги его жены, — мало того, обращаясь къ испанской линіи Бурбоновъ (она такъ и названа была „Avis à la branche espagnole“), призывала ее чуть не къ вмѣшательству; король былъ обрисованъ слабымъ и послушнымъ орудіемъ партіи, которою издали, черезъ дочь, руководить Марія-Терезія (въ свою очередь, выставленная подругой Кауница); съ Шуазелемъ во главѣ, эта партія все захватила въ свои руки и ведетъ Францію къ гибели; чтобы спасти страну, слѣдуетъ отправить олигарховъ въ изгнаніе, а королеву окружить бдительнымъ надзоромъ *). Неизвѣстный авторъ мѣтко выбралъ самое больное мѣсто; король встревожился и какъ мужъ, и какъ правитель, и не хуже своего предшественника подпалъ настоятельнымъ убѣжденіямъ Бомарше, который не только получилъ деньги и паспортъ въ Англію и Голландію, но и добился собственноручнаго разрѣшенія Людовика, которое онъ вправилъ въ медальонъ и повѣсилъ на шею.

Снова отправился *monsieur de Ronas* искать зловреднаго памфлетиста. Но гдѣ найти его, какъ его имя, онъ не знаетъ, и готовъ объѣздить весь свѣтъ, лишь бы напасть на его слѣдъ; онъ не остановится передъ опасностями, будетъ рисковать жизнью, — и подобный подвигъ, конечно, зачтется ему. Большинство біографовъ сходится теперь въ томъ, что Бомарше стоило посмотреть въ зеркало, чтобы увидеть тамъ черты лица автора того памфлета, который для него было такъ же легко набросать, какъ и уничтожить. Беттельгеймъ **) возстаетъ противъ подобной мысли,

*) Брошюра эта представляетъ величайшую рѣдкость; экземпляръ ея хранится въ вѣнскомъ государственномъ архивѣ. Она ложно помѣчена Парижемъ и имя автора скрыто подъ буквами G. A.

**) Beaumarchais, eine Biographie, стр. 313. Лэнтильякъ допускаетъ существованіе подлиннаго автора брошюры, Анджелуччи, хотя не высказываетъ ника-

указывая на тяжелый и неискусный слогъ, совсѣмъ не напоминающій живую рѣчь Бомарше,—хотя нѣкоторыя мѣста, въ особенности желчныя характеристики Мопу и другихъ сильныхъ людей, все-таки, на нашъ взглядъ, могли бы принадлежать ему. Во всякомъ случаѣ, вопросъ этотъ такъ и останется открытымъ, тѣмъ болѣе, что фантастическая обстановка, которую захотѣлъ окружить его Бомарше, усиливаетъ его загадочность. Въ самомъ дѣлѣ, то, что разыгралось въ какихъ-нибудь нѣсколько мѣсяцевъ этой сыскной поѣздки, кажется иной разъ главой изъ самаго разнузданнаго roman d'aventures.

Въ Лондонѣ Бомарше нападаетъ на слѣдъ пасквилянта, какого-то Аткинсона, вступаетъ съ нимъ въ переговоры, покупаетъ четыре тысячи экземпляровъ, выходитъ по Оксфордской дорогѣ до условленнаго мѣста; показывается экипажъ, наполненный книгами, и при немъ Аткинсонъ съ своими людьми. Бомарше сжигаетъ тутъ же экземпляры памфлета, кромѣ восьми, испорченныхъ и потому не привезенныхъ; онъ заставляетъ принести ему и рукопись, и выплачиваетъ, по условію, часть денегъ. Замѣтивъ, что авторъ брошюры скорѣе походитъ на итальянца или еврея, чѣмъ на англичанина, онъ вынуждаетъ его сознаться, что его настоящее имя—Анджелуччи. Это второе дѣйствующее лицо становится все интереснѣе. Неожиданно оно исчезаетъ; только что они вторично свидѣлись въ Амстердамѣ, гдѣ переданы были недостававшія части рукописи и вручены остальные деньги, — какъ Анджелуччи упорхнулъ, конечно, для того, чтобы гдѣ-нибудь переиздать памфлетъ и снова продать его. Бомарше летитъ за нимъ, не зная нѣмецкаго языка, черезъ Германію, надѣясь настигнуть его передъ Нюрнбергомъ, куда онъ, какъ слышно, направился. Уже онъ недалеко отъ цѣли, какъ съ нимъ случается необыкновенное происше-

кихъ сомнѣній относительно двусмысленной роли Бомарше въ дальнѣйшей части его заграничныхъ походовъ. Эдуардъ Дрюмонъ въ своей *France juive* пользуется всѣмъ этимъ инцидентомъ для того, чтобы въ антисемитскомъ рвеніи изобличать преступность *еоря* Анджелуччи.

стве: это было передъ Нейштадтской станціею; онъ вышелъ изъ экипажа, чтобы пройтись лѣсомъ, и велѣлъ кучеру ѣхать впередъ; черезъ полчаса онъ съ трудомъ добрался до кареты, испуганный и пораненный. Рука была перевязана, на шеѣ былъ шрамъ, — онъ только-что выдержалъ схватку съ двумя разбойниками! Одинъ былъ верхомъ, другой зашелъ предательски съ тылу. Пистолетъ Бомарше оскѣся; кинжалъ разбойника, направленный въ грудь, ударился о медальонъ съ королевскимъ письмомъ; въ неравной борьбѣ смѣлость путешественника взяла верхъ; верховой ускорилъ, оставивъ на мѣстѣ шляпу и парикъ; съ пѣшимъ они поборолись; Бомарше увидалъ его передъ собой на колѣняхъ и уже хотѣлъ скрутить ему руки кушакомъ, но показались вдаль новые сообщники, и онъ выпустилъ негодя. Тутъ кстати послышалась труба почтаря, и шайка разсѣялась. Такъ кончилось нападеніе; что оно связано было съ дѣломъ о памфлетѣ, Бомарше не сомнѣвался; онъ ясно слышалъ, какъ двое напавшихъ называли себя по именамъ, — одинъ былъ Аткинсонъ, другой Анджелуччи. Въ этомъ духѣ дѣлаетъ онъ свое показаніе нюрнбергскому бургомистру, и живо, въ лицахъ, рассказываетъ всю сцену хозяину гостиницы „Красный Пѣтухъ“ и его гостямъ. Но онъ не показавъ хирургамъ своихъ ранъ, заявилъ, что спѣшить въ Вѣну, и только просилъ полицію нарядить строгое слѣдствіе; примѣты разбойниковъ, сообщенныя имъ, описываютъ даже синюю безрукавку Анджелуччи. Доѣхавъ до Регенсбурга, онъ чувствуетъ, что отъ тряски ранамъ его хуже и спускается по Дунаю на баркѣ. Мысль о поѣздкѣ въ Вѣну пришла ему внезапно; дерзость враговъ королевы, отваживающихся даже на разбой, показала ему всю силу опасности, и онъ счелъ необходимымъ лично повидать мать своей государыни и открыть ей все. Прибывъ въ Вѣну, онъ, черезъ секретаря Маріи-Терезіи, проситъ тайной аудіенціи; ему не довѣряютъ, но онъ показываетъ полномочіе, выданное Людовикомъ XVI, и это открываетъ ему доступъ въ кабинетъ императрицы. Онъ идетъ прямо къ дѣлу и даетъ полную волю своей импровизаціи, и политическому прожектерству. На-

стоящее и будущность Франціи, судьба Маріи-Антуанетты, мрачное скопище клеветниковъ, задачи дипломатіи—все тутъ есть, а на первомъ планѣ—онъ, герой дня, избавитель. Теперь выходило, что у него была отдѣльная стычка съ Анджелуччи въ томъ же лѣсу, что онъ распоролъ его дорожный мѣшокъ, обыскалъ карманы и завладѣлъ рукописью пасквиля.

Императрица была видимо поражена и встревожена. Славясь умѣньемъ распознавать людей, она и тутъ задавала вопросы, провѣряла сомнѣнія; но Ронакъ на все отвѣчалъ, прочелъ ей памфлетъ, драматически передавалъ сцену нападенія, и она ему почти повѣрила. Изумило ее нѣсколько предложеніе незнакомца перепечатать въ Вѣнѣ, подъ его наблюдениемъ, ненавистную брошюру, съ выпускомъ всѣхъ выходокъ противъ французской королевы: это, — говорилъ Ронакъ (раскрывшій, однако, тутъ свой псевдонимъ),—успокоитъ короля насчетъ семейныхъ разоблаченій, которыми его напугали. Но, въ общемъ, впечатлѣніе было благопріятно,—и только осталось легкое подозрѣніе, не съ фантазеромъ ли имѣетъ она дѣло, и не произошла ли большая часть описываемыхъ событій въ его разгоряченной головѣ. „Пустите себѣ кровь“, сказала она въ заключеніе, мило-стиво разставаясь съ нимъ, но потомъ все-таки посовѣтовалась съ Кауницомъ; при имени Бомарше онъ вспомнилъ о мемуарахъ по дѣлу Гэтцманна, „которыми въ Вѣнѣ всѣ наслаждались предшествующею зимою“, и тоже сначала заинтересовался имъ *). Мастерски поставлена была на сцену интермедія, и Бомарше могъ считать себя у дѣли: онъ на дѣлѣ выказалъ самоотверженіе и преданность, и Марія-Терезія будетъ виновницей его фортуны; мало того: его, быть можетъ, ждетъ крупная роль въ дипломатическомъ мірѣ. Но онъ упустилъ изъ виду двѣ важныя помѣхи: возможность фактическаго опроверженія всей разбойничьей исторіи и опасность вмѣшательства въ дѣло такого мастера по части ин-

*) Correspond. secrète, p. 232; мемуары Бомарше „ont fait les délices cet hiver ici à lire“, писалъ онъ потомъ Мерси.

триги и лукавства, какъ Кауницъ, стоившій въ этомъ отношеніи десяти Бомарше, и черезъ своихъ агентовъ знавшій все, что дѣлалось при европейскихъ дворахъ. Маріею-Терезіею можно было еще овладѣть, подбѣйствовавъ на чувство матери, но ничто не въ состояніи было одолѣть холодной разсудочности хитрѣйшаго изъ дипломатовъ. А она должна была насторожиться, когда изъ Нюрнберга стали приходить наивныя по формѣ, но дѣльныя донесенія слѣдователей, окрашенныя недовѣріемъ къ Ронаку; кучеръ показалъ, что видѣлъ, какъ Бомарше, выйдя изъ кареты, взялъ съ собой бритву и, вѣроятно, ея нарочно порѣзался; никто не замѣтилъ ни всадниковъ, ни пѣшихъ, не слышалъ криковъ, выстрѣловъ; о разбояхъ въ тѣхъ мѣстахъ давно не слыхали. Подобныя свѣдѣнія тотчасъ навели Кауница на мысль о мистификаціи; вмѣстѣ съ надежнымъ помощникомъ, вѣнскимъ литераторомъ Зонненфельсомъ *), онъ взялся за разслѣдованіе дѣла, а тѣмъ временемъ счелъ нужнымъ арестовать Бомарше на дому и овладѣть его бумагами. Фигаро-дипломатъ, агентъ-любитель очутился лицомъ къ лицу съ восемью гренадерами, двумя офицерами и секретаремъ Кауница, которые обыскали его и отняли все, переписку, медальонъ, и шкатулку, оставивъ его въ полной неизвѣстности относительно причины суровой мѣры. Онъ любилъ рассказывать потомъ, что, на грозное напоминаніе о бесполезности сопротивленія, онъ отвѣчалъ: *j'en fais quelque fois contre les voleurs, mais jamais contre les empereurs*⁴; въ томъ же духѣ передалъ онъ эту сцену въ донесеніи Людовику XVI, поданномъ по возвращеніи во Францію **). Военный караулъ былъ оставленъ у него „цѣ-

*) Иосифъ Зонненфельсъ былъ однимъ изъ убѣжденных и ревностныхъ представителей просвѣтительнаго направленія въ Австріи. Арнетъ (Beaum. und Sonnenfels, стр. 39—42) справедливо видитъ въ его судьбѣ много сходства съ исторіею Бомарше. Еврей родомъ, Зонненфельсъ былъ солдатомъ, мелкимъ чиновникомъ, потомъ любимымъ профессоромъ Вѣнскаго университета, совѣтникомъ ниже-австрійскаго намѣстничества, до страсти любилъ драму и считался лучшимъ журналистомъ и театральнымъ критикомъ въ Вѣнѣ.

**) Мемуаръ этотъ, отъ 15 окт. 1774, напечатанъ впервые у Ломени, томъ I, стр. 396—403.

лыхъ тридцать одинъ день, т.-е. 44 тысячи 400 минутъ“, которые показались ему безконечными. Маріи-Терезіи не-пріятна была рѣзко проведенная исторія ареста *), и она предпочла бы высылку. Но Кауницъ былъ задѣтъ за живое и возмущенъ дерзостью обмана, потому что теперь онъ уже не вѣрилъ даже и въ миссію Бомарше, чуть не считая под-логомъ и королевскую записку; не могъ онъ допустить, что-бы человѣкъ, хвастающій, будто о его посылкѣ знаетъ толь-ко король, да глава полиціи, могъ въ Вѣнѣ открыто гово-рить о ней столькимъ лицамъ, и въ то же время предлагать перепечатать зачѣмъ то ругательный памфлетъ. Зоркій глазъ разглядѣлъ промахи, неправильности въ документахъ по дѣлу о памфлетѣ, сходство почерка Аткинсона съ рукою Бомар-ше, противорѣчіе между рассказомъ, будто послѣдній уго-воръ съ авторомъ брошюры писанъ былъ въ Нейштадтскомъ лѣсу, послѣ схватки, на колѣнѣ, стало-быть безпорядочно, — и связною, четкою рукописью документа, — и все силь-нѣе вставало подозрѣніе, не самъ ли авторъ, освобожд-денный отъ своихъ французскихъ, итальянскихъ и англій-скихъ псевдонимовъ, сидитъ теперь подъ охраной гренаде-ровъ въ заѣзжемъ домѣ подъ забавною вывѣской „Zu den drei Laufnern?“

Зонненфельсъ во всякомъ другомъ случаѣ почувствовалъ бы живой интересъ, увидавъ вблизи одного изъ представи-телей культурной среды, которая его такъ привлекала. Но и онъ приступилъ къ дѣлу осторожно, отказался отъ пред-ложеннаго ему въ даръ экземпляра мемуаровъ противъ Гэтц-манна, сказавъ, что, какъ любитель литературы, онъ предо-ставляетъ себѣ принять эту книгу послѣ, когда официаль-ныя сношенія ихъ кончатся. Пока шли допросы и писались протоколы, Бомарше послалъ умоляющее письмо Сартину, а Кауницъ и Марія-Терезія изложили дѣло, каждый по сво-

*) „Marie-Antoinette. Correspond. secrète etc., II, 225: „je suis fâchée qu'on ait arrêté cet homme. J'avais cru qu'il fallait le traiter en miserable imposteur. le renvoyer en deux heures d'ici et même de mes pays, en lui marquant qu'on n'en est pas sa dupe, et que par charité on agissait ainsi, ne voulant le perdre comme il méritait“.

ему, австрійскому послу въ Парижѣ, графу Мерси д'Аржанто, которому поручили явиться передъ королевскою семьей и министерствомъ выразителемъ изумленія и негодованія, вызваннаго интригой Бомарше, и потребовать разъясненій. Опытный дипломатъ *) скоро понялъ, что въ Парижѣ ему не хотять всего сказать, что посылка тайнаго агента дѣйствительно имѣла мѣсто и что разоблаченіе ея неприятно. Всего болѣе извивался и притворялся Сартинъ, нѣсколько разъ мѣнявшійся въ лицѣ, пока ему сообщали о случившемся; онъ забывъ, однако, осторожность, когда, проговорившись, допускалъ уже мысль, что Бомарше, чтобы выйти изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, могъ рѣшиться на отчаянное предпріятіе... Но, какъ бы то ни было, добыто было убѣжденіе, что арестантъ вовсе не такъ виновенъ; изъ Франціи официально просили о его освобожденіи, и, наконецъ, узникъ былъ выпущенъ на волю. Ему даже предложили, въ утѣшеніе, подарокъ въ тысячу дукатовъ; по мнѣнію Кауница, онъ не стоилъ этого, но такъ лучше было для репутаціи императрицы. По желанію Бомарше, долго отказывавшагося, подарокъ этотъ былъ замѣненъ драгоценнымъ перстнемъ.

Такъ счастливо кончилась безумная фанфаронада. Еще разъ, но только одинъ разъ навсегда, Бомарше согласился взять на себя подобное порученіе, и поѣхалъ опять въ Лондонъ добывать у своего предшественника по такимъ дѣламъ, шевалье д'Эона, протeya, превращавшагося изъ драгунскаго капитана въ дѣвицу, всѣ оставшіяся у него компрометирующія бумаги и шифрованныя письма изъ времени его прежнихъ тайныхъ походовъ (между прочимъ, въ Россію). Это порученіе было несравненно проще и прозаичнѣе прежняго. Урокъ, вынесенный Бомарше, былъ слишкомъ тяжелъ и навсегда отучилъ его отъ легкомысленной эксплуатаціи чужихъ тайнъ и отъ дипломатической игры. Отнынѣ лучшія стороны его характера берутъ верхъ; очутившись въ Парижѣ, среди

*) До Парижа онъ былъ посломъ въ Россію; интересная дипломатическая переписка его отсюда издана Русск. Историческимъ Обществомъ.

оживленной литературной братіи, въ атмосферѣ театра, музыки, онъ снова весель, поетъ, сочиняетъ куплеты и беретъ за „Севильскаго Цирюльника“, такъ долго оставленнаго въ сторонѣ ради химерической будущности политика. Онъ увидалъ на дѣлѣ, что его писательскіе успѣхи доставили ему гораздо болѣе извѣстности, чѣмъ тайныя паши: въ Вѣнѣ и Кауницѣ, и Зонненфельсѣ уже видѣли въ немъ автора мемуаровъ; а когда проѣздомъ черезъ Аугсбургъ, на обратномъ пути во Францію, онъ зашелъ въ театръ, онъ изумленъ былъ, увидавъ на сценѣ переложеніе его мадридскаго столкновенія съ Клавихо, взятое изъ тѣхъ же мемуаровъ, и себя самого, выведеннаго на подмостки неизвѣстнымъ ему начинающимъ драматургомъ Гете *). Съ усиленнымъ жаромъ принялся онъ хлопотать о пересмотрѣ своей пьесы, давно передѣланной въ комедію (сначала въ 4 актахъ) и задержанной во время процесса Гэтцманна, устранилъ всѣ препятствія, — и 23 февраля 1775 года, при громадномъ стеченіи народа „Фигаро“ впервые вступаетъ на мировую сцену. Въ пьесѣ еще есть длинноты; успѣхъ неполный; нѣсколько новыхъ измѣненій, и она получила тотъ блестящій, легкій видъ, который быстро завоевала ей всеобщую извѣстность. Передъ нами съ этихъ поръ какъ будто другой Бомарше; нѣтъ болѣе ни дѣльца, ни политическаго *commiss-voyageur*’а; ихъ замѣнилъ остроумный, смѣло фрондирующій Фигаро, наученный опытомъ, во все извѣрившійся, надо всѣмъ смѣющийся и отвѣчающій на вопросъ Альмавивы, кто внушилъ ему такую веселую философію: „привычка къ несчастіямъ“, *l’habitude du malheur*!

*) Подробный разсказъ Бомарше о впечатлѣніи, вынесенномъ изъ этого спектакля, былъ впервые приведенъ Беттельгеймомъ въ 1880, въ журналѣ „Die Gegenwart“. Бомарше рѣшительно отрицалъ талантъ Гёте и былъ раздраженъ вторженіемъ въ свою личную жизнь. Но еще до Гёте Марсомъ скропалъ изъ мадридскаго эпизода пьесу „*Beaumarchais à Madrid*“, которая исполнена была въ присутствіи самого сатирика у принца Конти. — Благодаря большой популярности Бомарше въ Россіи въ прошломъ вѣкѣ, пьеса Гёте была равно переведена, дана на московскомъ публичномъ театрѣ и напечатана вторымъ исправл. изд. въ Петербургѣ 1780 г.

IV.

Въ творествѣ Бомарше образъ Фигаро играетъ роль неразлучнаго съ авторомъ спутника, съ которымъ мы часто встрѣчаемся въ біографіяхъ поэтовъ. Онѣгинъ идетъ объ руку съ Пушкинымъ и въ раннюю его юность, и въ зрѣлыя годы, мечтаетъ съ нимъ въ лунныя ночи надъ Невой, томится въ степяхъ Бессарабіи, или уныло коротаетъ деревенскую осень; Чайльд-Гарольдъ переживаетъ съ Байрономъ и опьяняющіе успѣхи, и людскую ненависть; Фаустъ болѣе полувѣка не разстается съ Гёте, а Чацкій, сначала блѣдный и неопредѣленный, доходитъ съ Грибоѣдовымъ до сознательнаго протеста. Фигаро слишкомъ тридцать лѣтъ сопровождаетъ Бомарше, отражаетъ на себѣ всѣ его тревоженія, постепенно старѣетъ съ нимъ, утрачивая прежнюю бойкость; подъ-конецъ въ его волосахъ пробивается сѣдина, голосъ не такъ звонокъ, шутки и остроты не мечутъ болѣе искръ, и онъ слишкомъ много говоритъ о добродѣтели. Таковъ Фигаро въ „Винной матери“ (*La mère coupable*); это послѣднее звено трилогии, гдѣ онъ неизмѣнно выступалъ, въ окончательной передѣлкѣ шло на сценѣ въ 1797 году, — а черезъ два года Бомарше не было въ живыхъ.

Близость этихъ двухъ „чудныхъ спутниковъ“ понятна. Фигаро для Бомарше не только любимый поэтический образъ, къ которому онъ съ отрадой возвращался, — это его двойникъ *). Правда, ему отведенъ слишкомъ скромный уго-

*) Эту близость особенно любили выставять въ прошломъ столѣтіи враги Бомарше. Такъ, авторъ одной изъ эпиграммъ, написанныхъ по поводу постановки «Свадьбы Фигаро», шевадь де-Ланжакъ, говорилъ:

Mais Figaro?.. Le drôle à son patron
Si scandaleusement ressemble,
Il est si frappant, qu'il fait peur;
Et pour voir à la fin tous les vices ensemble,
Le parterre en chorus a demandé l'auteur.

См. Théodore Muret, „L'histoire par le théâtre“, 1789—1851. P. 1865, p. 9.

локъ, гдѣ понапрасну приходится растрачивать по мелочамъ геніальную находчивость; послѣ безплодныхъ скитаній по свѣту онъ прилѣпился въ Альмавивѣ и его семьѣ, ведетъ борьбу съ незамысловатыми противниками, съ какимъ-нибудь Бартоло, дономъ Базилио, Марселиной, наконецъ съ самимъ графомъ. Но, несмотря на это, сходство большое, постоянное, — только особаго рода, *en gassoingé*, совсѣмъ такъ, какъ будто каждый широкий размахъ энергіи Бомарше отражается здѣсь въ уменьшающемъ зеркалѣ. Сквозь побрякушки условнаго костюма сеvilьскаго брадобрея слишкомъ часто проглядываетъ смѣлое лицо того, кто еще выше его по гибкости ума, — уже потому, что онъ его самого выдумалъ, что онъ—творецъ Фигаро.

Дѣйствительно, этотъ характеръ всецѣло принадлежитъ Бомарше. Это не потомокъ проницательныхъ слугъ римской и новой итальянской комедіи, не Мольеровскій Сганарель или Маскариль съ ихъ плутоватой философіей, не хищникъ Фронтэнъ, хотя принадлежитъ къ одной съ ними группѣ *), — это даровитый выходецъ изъ толпы, умный и зоркій наблюдатель, вооруженный не только юморомъ, веселостью, но и демократическимъ гнѣвомъ, истинный выразитель того, что чувствовали тысячи такихъ же смышленныхъ плебеевъ во время агоніи стараго общественнаго строя. Авторъ одного изслѣдованія о значеніи слугъ на театрѣ **) горячо взялъ подъ свою защиту Фигаро, негодуя на то, что всѣ объяснители не разглядѣли въ немъ честной основы, хорошихъ побужденій, и готовы смѣшивать его съ массой вульгарныхъ искателей приключеній. Развѣ самъ Бомарше не предостерегалъ исполнителей этой роли отъ подобнаго ея искаженія! „Если актеръ увидитъ въ ней что-нибудь иное, кромѣ здраваго смысла, приправленнаго веселостью и остроумными выходками, и въ особенности, если онъ позволитъ себѣ

*) Очеркъ литературной исторіи предковъ Фигаро сдѣланъ въ только что появившейся книгѣ Pierre Toldo, „Figaro et ses origines“, Milan, 1893, работъ молодого дилеттанта, не лишенной однако значенія благодаря удачнымъ сравнительно-историческимъ параллелямъ.

**) L. Celler. Etudes dramatiques, „Les valets au théâtre“, 1875.

малѣйшее преувеличеніе,—онъ опошлитъ свою роль“. Такъ можно говорить только объ излюбленномъ дѣйствующемъ лицѣ, чѣмъ устами высказывается авторъ.

Такое значеніе придано было Фигаро въ „Севильскомъ Цирюльникѣ“ и никогда не разсталось съ нимъ. Пережитое переносилось быстро въ комедію; всюду разсѣяны намеки на судьбу Бомарше или общія мысли, невольно вызываемыя ею. Фигаро радуется, что вельможа, опредѣлившій его на мѣсто, забылъ о немъ, — „знатный человѣкъ уже тѣмъ дѣлаетъ намъ добро, что не затѣваетъ противъ насъ зла“ (актъ I, сц. 2); „если непременно нужно, чтобы бѣдный человѣкъ былъ добродѣтеленъ,—спрашиваетъ онъ, — то много ли найдется вельможъ, достойныхъ быть лакеями?“ Оставшись одинъ, онъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что Базилио слишкомъ низко поставленъ, и потому его клеветѣ никто не повѣритъ (II, 9): „вѣдь нужно имѣть высокое положеніе, знатный родъ, санъ, вліяніе, чтобы подѣйствовать на свѣтъ клеветой!“ Отголоски столкновенія съ Лаблашемъ чувствуются въ каждомъ изъ этихъ словъ, но и борьба съ Гэтцманномъ и его наперсниками не менѣе живо отражается въ комедіи. Такъ, въ быстро набросанной біографіи Фигаро за то время, когда они не видались съ Альмавивой (I, 2), постоянно идутъ личные, иногда непреводимые намеки: Фигаро попробовалъ заняться въ Мадридѣ литературой, но всего натерпѣлся и отъ вражды писателей между собой, и отъ укуловъ насѣкомыхъ, мушекъ, комаровъ (*cousins* — намекъ на Дэролля, *le grand cousin*, какъ его часто называли въ процесѣ), критиковъ, злыхъ москитовъ (*maringouins* — указаніе на Марэна), цензоровъ (опять тотъ же врагъ), и всего вообще, что привязывается къ кожѣ несчастныхъ писателей“. Потомъ, убѣдившись, что „заработокъ отъ бритвы гораздо выгоднѣе, чѣмъ отъ пера“, онъ пустился въ философское странствіе по обѣимъ Кастиліямъ, Эстремадурѣ и т. д.; „въ одномъ городѣ его принимали ласково, въ другомъ бросали въ тюрьму (свѣжее воспоминаніе объ арестѣ въ Вѣнѣ или о дняхъ проведенныхъ въ *For l'Evêque*), то хвалили его, то преда-

валц позору (loué par seux-ci, blâmé *) par seux-là). Но всѣ эти отголоски недавняго прошлаго уступаютъ, по значенію, типической личности Базиліо, сложившейся подъ влияніемъ этого прошлаго и олицетворившей зловѣщее начало, которое едва не сгубило сатирика, — духъ клеветы и интриги, нѣкогда столь могущественный во французскомъ обществѣ и способный сжить человѣка со свѣту (какъ это было съ Мольеромъ), что его изучали въ особыхъ трактатахъ, точно болѣзнь вѣка, и обрушивали на него даже богословскія обличенія **).

Съ этимъ многоголовымъ чудовищемъ, которое во всю жизнь преслѣдовало Бомарше, боролся онъ уже въ первой части трилогіи; за веселымъ *imbroglio*, положеннымъ ей въ основу (*une espèce d'imbroglio*, какъ говоритъ авторъ въ предисловіи къ „Сев. Цир.“), скрывается злобный образъ Клеветы, подобно тому, какъ изъ-за Сквозника-Дмухановскаго съ братією возвышается могучее Лихоимство, этотъ вѣчный предметъ нападокъ русской сатиры. Правда, въ Базиліо еще смягчены краски; теорія искуснаго распространенія лжи вложена въ уста человѣку продажному, падкому на подарки отъ кого бы то ни было; въ сценѣ, гдѣ его выпроваживаютъ и совѣтуютъ полечиться, онъ становится совсѣмъ смѣшонъ. Но прошли годы, и въ послѣдней части (*Mère coupable*) онъ уступилъ мѣсто жестокому и безстыдному Тартюффу.

Бомарше едва устоялъ отъ искушенія вывести на сценѣ и Гэтцманна. Его остерегли отъ явнаго указанія на личности. Пришлось подождать; въ „Свадьбѣ Фигаро“ онъ придалъ недалекому деревенскому судѣ, Бридуазону, мнимо-испанское имя *дона Гусмана* (*don Gusman Brid'oison*) и хотъ нѣсколько потѣшился своею местию. Но если въ подобныхъ указаніяхъ его иногда останавливала осторожность, онъ со-

*) Обыкновенно это слово переводится буквально, какъ противоположность хвалѣ. Еще Сентъ-Маркъ Жирарденъ показвалъ, что тутъ нужно видѣть черту автобіографическую (см. его Notice sur Beaumarchais въ изданіи 1856, Ф. Дидо).

**) Можно указать, напр., на *Traité de la calomnie, des calomnieurs et des calomniés*, par le R. P. Nicolas Collin, P. 1787.

всѣмъ не стѣснялся колкими намеками общаго характера, подходившими къ массѣ современныхъ явленій. Бартоло выпадаетъ на долю быть выразителемъ ропота старой партіи, недовольной духомъ времени; онъ постоянно бранитъ XVIII вѣкъ: „да и что произвелъ онъ такого, за что его стоило бы хвалить? — Глупости во всѣхъ родахъ: свободу мысли, законъ притяженія, электричество, вѣротерпимость, прививку оспы, хининъ, энциклопедію, драмы“... Въ другія минуты его устами говорить старое барство: „Справедливость! Для васъ, ничтожныхъ людишекъ, это еще куда-нибудь годится. Но я—вашъ господинъ и всегда бываю правъ“, — объясняетъ онъ слугамъ. „Стоитъ только позволить всѣмъ этимъ негодяямъ быть когда-нибудь правыми, и тогда посмотримъ, во что превратится власть“. Подобныхъ выходовъ и остроумныхъ замѣчаній было сначала въ пьесѣ еще больше; неразсчетливо растянута на пять актовъ, она, по свидѣтельству очевидцевъ, утомляла избыткомъ ума и недостаточно быстро подвигалась впередъ. Бомарше несовсѣмъ правъ, когда приписываетъ слабый успѣхъ (если вѣрить ему, даже просто паденіе) пьесы стачкѣ противниковъ. Онъ увѣряетъ, что „воскликнулъ, раздирая рукопись: о, ты, богъ шикальщиковъ и свистуновъ, мастеровъ по части кашля, сморканья и всякихъ перерывовъ,—тебѣ нужно крови? Выпей мой четвертый актъ, и пусть гнѣвъ твой уляжется!.. и тотчасъ же адскій шумъ, смущавшій актеровъ, сталъ слабѣть, удаляться и совсѣмъ замолкъ“. Пьеса много выиграла отъ сокращенія, очаровала всѣхъ со второго же представленія. Но необходимая жертва принесена была не богу свиста и кашля, а другому, благодѣтельному боже-ству—сценической правдѣ.

Въ этой комедіи, дѣйствительно, навсегда осталось что-то свѣжее, бодрое и молодое; „Свадьба Фигаро“ зрѣлѣе и рѣзче, общественное значеніе ея глубже; „Преступная мать“ затрогиваетъ трагическія стороны жизни, и въ сравненіи съ ними содержаніе „Цирюльника“ кажется зауряднымъ. Но никогда такъ ярко не выступали рѣдкія дарованія Бомарше, какъ комика-импровизатора, веселаго, шутливаго

и злого, способнаго придумать забавную путаницу, живьемъ возсоздать людей и рѣзко говорить правду, какъ въ этой первой комедіи. Никогда не вернулись къ нему эти свойства въ такомъ пышномъ расцвѣтѣ,—и если предисловіе къ „Цирюльнику“ дышетъ почти юношескою отвагой, независимостью художественныхъ и общественныхъ взглядовъ,—въ краткомъ вступленіи къ послѣдней изъ его пьесъ какъ будто слышится печальный возгласъ:—о, моя юность! о, моя свѣжесть!

Но пока онъ наслаждался громаднымъ успѣхомъ „Цирюльника“, и видѣлъ, какъ его остроты становились поговорками, какъ тонкіе намеки вызвали сочувственныя демонстраціи, его мысль уже летѣла далеко впередъ. Скучной рамки театральнаго зала ему вскорѣ стало недостаточно для полнаго торжества, и старая страсть его, политика, увлекла его опять на мировую арену. На этотъ разъ цѣль была высокая и почетная, не чета двусмысленной вѣнской интригѣ: дѣло шло объ освобожденіи американскихъ колоній, съ нѣкотораго времени засылавшихъ агентовъ къ французскому двору съ просьбой о поддержкѣ. Въ мірѣ политическихъ комбинацій бываютъ иногда такіа необычайныя сочетанія противоположностей; строго монархической официальной Франціи по всѣмъ признакамъ предстояло тогда сблизиться съ заморскими революціонерами и тѣмъ подорвать силы Англіи,—но необходимость рѣшиться на этотъ шагъ долго страшила короля и его совѣтниковъ. Измѣной убѣжденіямъ, предосудительною сдѣлкой съ демократами и протестантами казался имъ этотъ союзъ; осторожный Тюрго выдвигалъ, съ своей стороны, соображенія государственной экономіи. Часто бывая въ Лондонѣ и по своимъ, и по чужимъ дѣламъ, завязавъ знакомства и въ дѣловыхъ кругахъ, и въ парламентской оппозиціи, Бомарше понялъ положеніе страны, оцѣнилъ вѣроятность успѣха возстанія, и въ головѣ его сложился смѣлый планъ. Впереди стояли у него, разумѣется, мотивы высокіе и благородные: Франція являлась дотолѣ защитницей стараго порядка,—теперь она поможетъ свободѣ молодого, предприимчиваго народа, внесетъ

свѣтъ и новую жизнь въ далекіе края, покажетъ примѣръ великодушія, затрачивая ради чужого счастья и энергію, и средства. За этимъ выступали, однако, и болѣе земныя побужденія: хотѣлось оживленія, борьбы, чтобы не жить изо дня въ день,—а позади всего, но далеко не маловажная, шевелилась надежда воспользоваться близкимъ международнымъ столкновениемъ и организаціей тайной помощи инсургентамъ—для *своихъ* цѣлей. Еще въ старыя годы, въ Мадридѣ, Бомарше грезилъ о созданіи громадной колониальной компаніи; суда ея переплываютъ океанъ, ведутъ мѣну съ дикарями и переселенцами, и обогащаютъ предпринимателя! Но что такое была эта юношеская затѣя въ сравненіи съ величественнымъ планомъ зрѣлаго и искуснаго прожектера!

Нажива все-таки не стояла на первомъ планѣ. Жизнь настолько перевоспитала Бомарше, что онъ прежде всего серьезно увлекался идейною стороною своего замысла. Памятныя записки, которыя онъ настойчиво подавалъ Людовику XVI, дышатъ энтузіазмомъ; въ каждомъ мемуарѣ онъ закликаетъ короля помочь американцамъ, и его несмѣняемое напоминаніе: „il faut secourir les américains“, звучить чѣмъ-то вродѣ извѣстной Катоновской угрозы Кароагену. Онъ снова рискуетъ своею репутаціей, но не можетъ молчать; онъ заранѣе торжествуетъ побѣду, и за годъ до провозглашенія независимости пророчить зарожденіе долговѣчной и сильной республики. Искусный ходатай, американецъ Сайласъ Динъ, поддерживаетъ его агитацію; когда Тюрго удаляется отъ дѣлъ, король понемногу начинаетъ свыкаться съ внушаемой ему и непривычной политикой. Бомарше у цѣли. Съ ловкостью Фигаро онъ уже придумалъ безобидное средство всѣхъ успокоить, всѣмъ отвести глаза; Франція никому не помогаетъ, и не будетъ помогать, но въ Парижѣ есть какая-то бойкая корабельная фирма, повидимому испанская—Родригъ Горталесъ и К°, которая ловитъ рыбу въ мутной водѣ и торгуетъ съ инсургентами. всѣмъ, что ни попало: съѣстными припасами, виномъ, ружьями, пушками, доставляетъ порохъ, мундиры,

палатки. Контора ея въ Парижѣ у всѣхъ на виду, но главная дѣятельность не тутъ, а въ морскихъ портахъ, Гаврѣ, Нантѣ, Бордо. Правительство въ сторонѣ: для виду оно готово при первой жалобѣ конфисковать что-нибудь; оно не препятствуетъ англійскимъ крейсерамъ гнаться за подозрительными кораблями компании и захватывать ихъ.

Но дѣло все-таки идетъ на славу; десятки судовъ, полныхъ всякаго добра, снуютъ между обѣими странами; инсургенты снабжены всѣмъ необходимымъ; на тѣхъ же корабляхъ къ нимъ идутъ волонтеры, стремящіеся помочь освобожденію Америки, французы, нѣмцы, поляки, генералъ Пулавскій, Фридриховскій полководецъ Штейбенъ, ирландскій графъ Конвей *). На одномъ изъ судовъ, принадлежавшихъ Бомарше, готовился сначала отплыть изъ Нанта юный Лафайеттъ съ группой намербованныхъ имъ офицеровъ **). Въ кассѣ компании денегъ немало. Она начинаетъ работу съ миллиономъ ливровъ, ссуженныхъ французскою казною, быстро развиваетъ свои операціи, проситъ новыхъ субсидій и, испытывая порою денежныя затрудненія, умѣетъ добывать средства и на собственный страхъ. Стоитъ поработать! Обратные корабли везутъ колоніальныя произведенія и сбываютъ ихъ въ Европу, откуда только-что навезли всего въ колоніи. Компания должна разбогатѣть; она стала силой; американскіе государственные люди сносятся съ нею, занимаютъ у нея деньги на общія нужды, должника отъ имени страны... Кажется, далеко не всѣ знали въ первое время, въ чемъ секретъ этой политической комедіи; они не догадывались, что никакой компании на дѣлѣ нѣтъ, не существуетъ даже того романтическаго испанца, который ссудилъ ее эффектнымъ именемъ, что все—и акціонеры, и совѣтъ, и распорядители,—совмѣщается въ одномъ лицѣ, и что это лицо—Фигаро, т.-е. Бомарше, хотѣли мы сказать.

*) Loménie, vol. 2, p. 135.

**) См. статью Henri Douniol: «Le départ du marquis de Lafayette pour les Etats-Unis», въ Séances et travaux de l'Académie des sciences mor. et politiques, 1886, 6-e livraison.

Еслибы Бомарше жилъ не въ вѣкъ рачіонализма, а въ періодъ наивной астрологіи, онъ приписалъ бы свои вѣчныя злоключенія вліянію несчастнаго созвѣздія. Ни одно удачнѣйшее его предпріятіе не завершалось успѣхомъ,—и широко задуманная помощь Америкѣ, сулившая и нравственное удовлетвореніе, и золотыя горы, подъ-конецъ тяжело отозвалась на личныхъ его дѣлахъ. Скучная американская казна не могла возвращать ему значительныхъ суммъ, которыя онъ ей ссужалъ изъ своихъ средствъ; обширныя поставки оставались незаплаченными; покровительство французскаго кабинета зависѣло отъ разныхъ условій,—и отъ личныхъ капризовъ Верженна и Морепá, и отъ пререканій съ англійскимъ посломъ, и отъ неосторожности агентовъ Бомарше. Доходило до того, что порою онъ переживалъ тревожныя минуты, безъ денегъ, безъ малѣйшаго отзвука изъ Америки, окруженный явными и тайными врагами и завистниками. Франклинъ, явившійся во Францію официальнымъ представителемъ республики, не довѣрялъ Бомарше, мѣшалъ его начинаніямъ; его пуритански-цѣломудренная натура не могла помириться съ слишкомъ страстными проявленіями характера нервнаго, полного противорѣчій; нашлись, къ тому же, люди, сумѣвшіе возстановить его противъ Бомарше, которому не прощали блестящей роли, затмѣвающей всѣхъ. Пошли неудачи и на морѣ; суда компаніи попадали въ руки англичанъ; лучшій изъ ея кораблей, „le Fier Rodrigue“, вооруженный не хуже военнаго судна бо пушками, принялъ участіе въ морскомъ сраженіи наряду съ французскимъ флотомъ и геройски погибъ,—этотъ оригинальный случай придалъ Бомарше роль самостоятельнаго союзника Франціи, снаряжающаго свои эскадры, но за то онъ нанесъ ему большой убытокъ. Смѣло начатое дѣло завершилось плачевною развязкой, и независимая Америка скоро забыла того, кто „одинъ изъ первыхъ помогъ ей увѣнчать себя фригійской шапкой“. Горько жаловался въ старости Бомарше, обѣднѣвшій и несчастный, на это забвеніе его услугъ; онъ просилъ хоть скромнаго возмѣщенія его затратъ,—„date obolum Belisario!“—повторялъ

онъ. Но его напоминанія были тщетны; старыхъ счетовъ невозможно было возстановить; они вѣчно пересматривались, вызывая возраженія и споры. Только въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго вѣка потомки поэта, взаимѣнъ потраченныхъ имъ милліоновъ, получили всего нѣсколько сотъ тысячъ франковъ *).

Въ разгаръ американской войны онъ воспользовался своими новыми связями, чтобы добиться формальнаго снятія *позора* (*blâme*), который все еще тяготѣлъ надъ нимъ; отыгрался онъ и отъ Лаблаша и закончилъ многолѣтній процессъ съ нимъ, одолѣвъ противника; масса рукоплескала возстановленію его добраго имени, шумными оваціями и серенадами выказывала ему сочувствіе; но эта популярность еще болѣе возстановила противъ него высшіе круги, не простившіе ему ни „Цирюльника“, ни слишкомъ горячаго участія въ дѣлахъ Америки. То и дѣло прорывались признаки глухой вражды. Онъ не могъ полагаться ни на одно обѣщаніе; ему неожиданно отказывали въ деньгахъ для экспедицій въ Америку; при малѣйшей неосторожности на него обрушивались какъ на единственнаго виновнаго, тогда какъ подъ прикрытіемъ его псевдонима извлекали пользу для государственныхъ интересовъ. Пасквили противъ него, особенно брошюры д'Эона, расходились массами и читались нарасхватъ свѣтскимъ обществомъ. Онъ душу влагалъ въ дѣло,—его же готовы были предать при малѣйшемъ поводѣ. Онъ былъ послѣдователенъ въ своей борьбѣ съ Англійей и видѣлъ, какъ снова берутъ верхъ дипломатическія любезности съ нею. Онъ не стерпѣлъ и далъ волю своему полемическому таланту въ памфлетѣ: „*Observations sur le mémoire justificatif de la cour de Londres*“, — цензура конфисковала эту страстную патріотическую выходку... Горечь накопала на сердца, а въ то же время англійская оппозиція удивлялась его мужеству, и дѣятели ея посылали ему по почтѣ свои привѣтствія, надписывая, по его словамъ, „почетный, но опасный адресъ: единственному свободному че-

*) John Bigelow, „Beaumarchais the merchant“. New-York, 1870.

ловѣку въ странѣ рабовъ, господину Бомарше“. Я получалъ эти письма, прибавляетъ онъ съ гордостью *).

Но съ тѣхъ поръ, какъ американская республика была упрочена и признана, вѣчное лихорадочное возбужденіе потребовало новыхъ цѣлей, затраты способностей на дѣло, которое опять могло бы захватить всего человѣка. Только-что сброшена одна маска, а на смѣну готова другая. Родригъ Горталесъ и К^о отошли въ вѣчность,—да здравствуетъ „Общество философское, литературное и типографическое“, единое и нераздѣльное, уже потому, что оно опять все въ лицѣ Бомарше! Людовику XIV влагаютъ въ уста возгласъ: „государство — это я“; Бомарше на дѣлѣ и безъ всякаго хвастовства говорить о своей „Société qui est moi“. Въ послѣдніе годы у него установилась оригинальная смѣна политическихъ увлеченій литературными интересами. Онъ только-что заплатилъ дань первымъ, теперь былъ чередъ литературы. Новой фикціей онъ затѣялъ скрыть свой любимый замыселъ издать полное собраніе сочиненій Вольтера. Онъ видѣлъ въ этомъ завѣтъ, перешедшій къ нему отъ автора „Кандида“; ему казалось, что Вольтеръ считалъ его своимъ преемникомъ, и онъ все еще помнилъ послѣднія слова старца при ихъ свиданіи въ Парижѣ: „теперь вся моя надежда на васъ“. Но вмѣстѣ съ тѣмъ опять почудилось и тутъ выгодное финансовое предпріятіе. Замыселъ былъ, какъ всегда, широкой, но вмѣстѣ съ тѣмъ рискованный. Предстояло издать во многихъ десяткахъ томовъ массу произведеній, по большей части ходившихъ въ рукописи, съ безчисленными вариантами, или въ непризнанныхъ авторомъ печатныхъ изданіяхъ, — все это, полное смѣлыхъ и вольнодумныхъ мыслей, личныхъ намековъ, разоблаченій, которыхъ пугалось непривычное общество; задуманное вмѣстѣ съ тѣмъ собраніе обширной корреспонденціи Вольтера затрогивало различныя тонкія или скрытыя отношенія, еще болѣе боявшіяся блага свѣта. Цензура политическая и духовная,

*) Beaumarchais et la révolution; lettres et documents inédits, publ. par L. Farge. Nouvelle Revue 1885, 1 décembre, p. 570.

шепетильность и раздражительность вліятельныхъ лицъ дѣлали немислимымъ открытое печатаніе всѣхъ сочиненій Вольтера во Франціи. Но тому, кто изъ Нанта или Гавра умѣлъ разжигать американскую войну, не трудно было придумать для своего литературнаго проекта своеобразную международную обстановку.

Онъ высмотрѣлъ у границы Франціи, по ту сторону Рейна, противъ Страсбурга, городокъ Кель, и сообразилъ всѣ удобства ввоза (при случаѣ, даже тайнаго) своихъ изданій во французскія владѣнія. Драпируясь ролью предсѣдателя общества (забавно читать въ его бумагахъ формулу: „совѣтъ постановилъ“ и т. д.), онъ искусно побудилъ маркграфа Баденскаго дать согласіе на открытіе типографіи въ обширныхъ размѣрахъ. Документы, напечатанные впервые Беттельгеймомъ, обрисовываютъ комическое положеніе, въ которое былъ поставленъ маркграфъ Карлъ-Фридрихъ неожиданнымъ и лестнымъ обращеніемъ къ нему парижской литературной знаменитости. Крохотная владѣтельная особа эта гордилась связями съ Парижемъ и его философами, и репутаціей вполне современнаго человѣка; подорвать ее было бы совѣстно, но вмѣстѣ съ тѣмъ какая отвѣтственность! Всѣ взоры въ Европѣ обратятся на Баденъ, и появленіе въ печати, подъ покровомъ его правительства, различныхъ рѣзкихъ и циническихъ вещицъ Вольтера, которыя такъ пріятно было читать у себя въ кабинетѣ, объяснять желаніемъ распространять вездѣ эти ужасы... Бомарше воспользовался растерянностью философствующаго князька, совѣмъ обошелъ его, надавалъ ему всякихъ гарантій, обѣщалъ кой-чего не печатать (наприм., „Pucelle“, „Кандида“), подчиниться надзору мѣстныхъ властей,—и принялся за дѣло.

Вскорѣ въ окрестностяхъ Келя поселено было нѣсколько сотъ рабочихъ; въ Англіи куплена масса шрифта; въ Вогезахъ у общества явились бумажныя фабрики; въ Парижѣ набранъ персоналъ редакторовъ изданія; Кондорсэ заказана біографія Вольтера. Агенты Бомарше печатали въ Келѣ томъ за томомъ, едва сносясь съ баденскимъ цензоромъ-французомъ, нарочно приставленнымъ къ этому изданію, и

обнародовали одинъ запретный плодъ за другимъ. Предчувствіе маркграфа скоро исполнилось, — отовсюду посыпались на него замѣчанія, ноты, угрозы. Встревожилась и Екатерина, узнавъ, что письма ея перешли въ руки Бомарше, и поручила Гриму энергически вмѣшаться; издателю пришлось обѣщать заклею неудоныхъ мѣстъ картономъ и остановку тома *). Можно было опасаться репрессалій и со стороны парижскаго парламента.

Бомарше увидалъ необходимость пожертвовать нѣсколькими важными произведеніями, лишь бы отстоять дѣло, — и на зло всему оно было доведено до конца. Въ три года осуществилось извѣстное и до сихъ поръ цѣнимое *édition de Kehl*, быть можетъ, несовсѣмъ полное и не строго критическое **), но все же грандіозное, рано собравшее и сберегшее капитальныя произведенія и летучіе наброски поэта. Вольтеру былъ воздвигнутъ этимъ изданіемъ достойный памятникъ, но оно не только не обогатило Бомарше, а причинило ему, напротивъ, много новыхъ непріятностей и запутало его дѣла. Собраніе Вольтеровскихъ сочиненій было все-таки дорого для своего времени ***) (365 ливровъ); затраты были слишкомъ велики; эксцентрическія приманки въ видѣ лотереи, въ которой участвовалъ каждый подписчикъ, и какихъ-то странныхъ медалей, некстати умножали расходы и не подѣйствовали (время журнальныхъ премій было еще далеко впереди). Въ Келѣ пошли несогласія между агентами поэта и баденскимъ правительствомъ, раздоры ихъ между собой и столкновенія съ Бомарше, пріостановки работъ. Тяжелымъ ярмомъ ложилось порою любимое предпріятіе на человѣка, долго имъ увлекавшагося.

Творчество еще разъ явилось прибѣжищемъ и отдыхомъ для усталаго и удрученнаго духа. Бомарше могъ часто за-

*) Сборникъ Р. Ист. Общества, т. XXIII, 285 и 422.

**) Его значеніе отстаиваетъ знатокъ Вольтера Маренгольцъ (*Zeitschrift für neufranzösische Sprache u. Liter.*, 1886, VIII, 4)

***) Вспомнимъ, что въ числѣ подписчиковъ на *Correspondance Littéraire* при цѣнѣ въ 300 л. въ годъ, кромѣ восьми государей, было лишь нѣсколько десятковъ частныхъ лицъ.

бывать о своемъ писательскомъ талантѣ, бросать любимые замыслы ради практической дѣятельности, но въ дни неудачъ и раздраженія онъ съ отрадой возвращался на старый путь. Онъ не могъ не видѣть, что, по крайней мѣрѣ, въ кругу драматическихъ писателей, онъ завоевалъ себѣ, наконецъ, первенствующее положеніе, котораго добивался въ мірѣ политики и наживы. Товарищи-драматурги смотрѣли уже на него какъ на своего вождя, и эта роль укрѣпилась съ тѣхъ поръ, какъ онъ, въ удачную минуту, опять соединяя личную пользу съ общимъ благомъ, добился признанія литературной собственности. Авторство со временъ Корнеля стало приносить крохотный доходъ драматургамъ, но въ прошломъ вѣкѣ всѣ они, не исключая Вольтера, страдали отъ произвола и скупости актерскихъ товариществъ, опиравшихся на старыя привилегіи. Бомарше сталъ на почву экономического обмѣна: своимъ творчествомъ онъ обогащаетъ театръ, слѣдовательно часть дохода, быть-можетъ даже главная, должна принадлежать ему; „Севильскій Цирюльникъ“ былъ золотымъ дномъ для Французской Комедіи и ничего не приносилъ автору. На его протестъ актеры не обратили вниманія. Тогда онъ быстро привлекъ къ своему личному дѣлу прочихъ драматурговъ, восторжествовалъ надъ трусостью многихъ изъ нихъ, заручился сочувствіемъ Дидро и другихъ знаменитостей; этотъ заговоръ писателей привелъ къ соглашенію, и литературная собственность была признана. Богатыя общества драматическихъ авторовъ на Западѣ и въ Россіи, охраняющія эту собственность въ наше время,—прямые потомки Бомарше.

Эта первенствующая роль налагала извѣстныя обязанности. Приступая къ новой работѣ, нельзя было забыть, что всѣ взоры устремлены на популярнѣйшаго автора и ждутъ отъ него произведенія изъ ряду вонъ. Бомарше съ годами усвоилъ себѣ строгое отношеніе къ своему творчеству; предисловія его къ пьесамъ, указанія актерамъ, отзывы и разъясненія въ его перепискѣ, раскрывающіе строеніе комедій, внутреннюю ткань характеровъ, показываютъ, что онъ необыкновенно подробно обдумывалъ всѣ частности плана,

распределение сценъ, естественность и вѣрность отдѣльныхъ выражений. Не только такимъ мелочно придирчивымъ критикамъ, какъ неизвѣстный сотрудникъ „Journal de Bouillon“, съ которымъ онъ остроумно полемизировалъ въ предисловіи къ „Сев. Цирюльнику“, но первымъ критическимъ авторитетамъ онъ готовъ былъ дать отчетъ въ каждомъ творческомъ шагѣ. Эта черта особенно ярко сказалась съ той поры, когда онъ задумалъ „Свадьбу Фигаро“. Болѣе чѣмъ когда-либо онъ гордился тѣмъ, что идетъ по слѣдамъ великихъ предшественниковъ, и особенно Мольера.

V.

Слушай, братъ Сальери:
Какъ мысли черныя къ тебѣ придуть,
Откупори шампанскаго бутылку,
Иль перечти „Женитьбу Фигаро“.
Пушкинъ.

Планъ второй части трилогіи о Фигаро былъ давно готовъ вчернѣ у Бомарше. Въ главныхъ чертахъ онъ набросанъ уже въ предисловіи къ „Цирюльнику“. Его кто-то упрекнулъ тогда въ слабости и несамостоятельности вымысла. Забавный упрекъ! Да еслибъ онъ хотѣлъ, ему стоило бы только не скупиться на развитіе фабулы, потрясти немного рогъ изобилія, и новыя ситуаціи, лица, отношенія изумили бы своимъ разнообразіемъ зрителя. Развѣ трудно представить себѣ, напримѣръ, эпилогъ „Цирюльника“, Альмавиву — женатымъ и уже скучающимъ, Фигаро — накануне брака съ молодой красоткой, за которой приволакивается его покровитель! Борьба ума и находчивости съ насиліемъ и капризомъ будетъ только перенесена изъ одного поколѣнія въ другое; прежде она направлена была противъ стараго Бартоло, теперь ее вызываетъ прежній вертопрахъ Линдоръ, превратившійся въ важнаго человѣка и солиднаго землевладельца. И не одинъ только Фигаро можетъ связать исторію этихъ двухъ поколѣній. Сирота, выросшій подъ чужимъ именемъ, онъ, положимъ, сынъ Бартоло и Марселины, со-

блаженной имъ когда-то; родители идутъ наперекоръ его браку; старикъ ненавидитъ его за прежнія продѣлки; мать, ничего не подозревая, не прочь насильно женить его на себѣ. Сѣть ихъ интригъ падаетъ передъ раскрытіемъ завѣтной тайны. „Это вы! Это онъ! Это ты! Это я! только и слышатся возгласы. Что за чудесный театральный эффектъ!“

Такъ представлялся автору, въ неясныхъ чертахъ, сюжетъ второй пьесы. Тонкій цѣнитель его таланта, принцъ Конти (какъ вспоминалъ потомъ Бомарше) давно вызывалъ его „поставить на сцену предисловіе къ „Цирюльнику“, которое, по его словамъ, гораздо веселѣе самой пьесы, и вывести семью Фигаро“. Если вѣрить автору, онъ послушался именно этого дружескаго указанія. Изъ двухъ составныхъ элементовъ—столкновения съ барствомъ и комической суматохи сына съ родителями (недаромъ пьесѣ дано второе заглавіе: „La folle jougnée“),—составилась основа комедіи, а жизненный опытъ автора за послѣдніе тревожные годы наложилъ на нее отпечатокъ общественнаго недовольства. На своенравнаго Альмавиву перешли черты и Верженна, охладѣвшаго къ Бомарше изъ ревности къ его успѣхамъ въ американскомъ дѣлѣ, и разныхъ свѣтскихъ противниковъ *), и десятковъ вельможъ, которые, по свидѣтельству друга и кассира поэта, постоянно занимали у него деньги безъ отдачи. Смѣлые намеки на злобу дня сначала переполняли пьесу.

Невольно забываются всѣ слабости Бомарше и вѣчное смѣшеніе въ немъ тѣхъ крайностей, которыя Ломени остроумно предлагалъ назвать *patriotisme* и *négotiantisme*,—когда въ памяти встаютъ терзанія, вынесенныя имъ изъ-за первенствующей его пьесы. Это повтореніе судьбы „Тартюффа“. Сходство—въ стачкѣ всѣхъ вліятельныхъ элементовъ противъ обличителя; разница въ томъ, что за нимъ не было даже

*) На репетиціяхъ всѣ смотрѣли на герцога Шартрскаго, когда въ комедіи говорилось объ аристократахъ, которые держатъ игорные дома; оригиналомъ служилъ и графъ Лорагэ, и князь Нассау-Зигенъ, перешедшій потомъ въ русскую службу.

такого, быть-можетъ, недостаточно энергичнаго, но все же дружески расположеннаго верховнаго судьи, какъ Людовикъ XIV. Четыре года провелъ Бомарше въ упорной борьбѣ; шесть цензоровъ поочередно разбирали комедію, урѣзали, искажали ее; позволеніе играть или печатать ее то давалось, то отнималось; приходилось пропагандировать ее сначала въ частныхъ кружкахъ (какъ это дѣлалъ Мольеръ), возбуждать любопытство массы, потомъ перетянуть всѣ симпатіи на свою сторону и вырвать согласіе у короля. Чѣмъ рѣзче проявлялась оппозиція, тѣмъ настойчивѣе становился Бомарше, ставилъ все на карту и забывалъ, что это упорство можетъ повредить его дѣловымъ комбинаціямъ и связямъ. Ему твердили, что онъ нарушаетъ сценическую благопристойность, — онъ доказывалъ, что эти нареканія — новый видъ лицемѣрія, которое, въ виду всеобщей разнузданности нравовъ, пытается надѣть цѣломудренную маску. Когда негодовали на то, что онъ клеймитъ цѣлыя сословія, онъ соглашался, что „постепенно всѣ классы общества сумѣли высвободиться изъ-подъ суда драмы, и теперь авторъ не смѣетъ свободно задумать свое произведеніе, а принужденъ вращаться среди невозможныхъ приключеній, зубоскалить вмѣсто того, чтобы смѣяться, и выбирать свои типы внѣ общества, изъ боязни нажить тысячи враговъ. Теперь нельзя было бы сыграть „Сутягъ“ Расина, безъ того, чтобы не заговорили объ оскорбленіи суда, нельзя бы поставить „Тюркарэ“, не возбудивъ противъ себя всѣхъ крупныхъ и мелкихъ откупщиковъ, или изобразить мольеровскихъ маркизовъ—безъ того, чтобы не поднять на ноги высшее, среднее, новое и древнее дворянство. Кто вычислить, какую силу долженъ былъ бы имѣть тотъ рычагъ, который въ наше время довелъ бы „Тартюффа“ до постановки на сцену!“ *).

И онъ проникся мыслью, что если какой-нибудь смѣльчакъ „не разсвѣтъ всей этой вѣковой пыли и не внесетъ на сцену настоящей жизни и сильныхъ ситуацій, особенно

*) Затрудненія, обставившія тогда обличеніе нравовъ на сценѣ, характеризованы у Desnoiresterres, „La comédie satirique au XVIII siècle“, 1885.

тѣхъ, что порождаются общественнымъ неравенствомъ“, скука заставитъ зрителя измѣнить театру для двусмысленной оперетки или бульварныхъ балагановъ. „Я отважился явиться такимъ смѣльчакомъ,—говоритъ Бомарше,— и если не вложилъ особенно много таланта въ мои произведенія, все же намѣренія мои сказались въ нихъ“.

Но и талантъ его въ эту пору былъ въ полномъ развитіи. Онъ далеко отбросилъ придирчивыя „правила“ (*des règles qui ne sont pas les miennes*) и пишетъ слогомъ небрежнымъ, неправильнымъ, но замѣчательно естественнымъ. Онъ не навязываетъ своихъ гладкихъ и обдуманыхъ періодовъ дѣйствующему лицу, но „входитъ въ его положеніе и говоритъ ему: не плошай, Фигаро, графъ догадывается, — спасайся скорѣе, Керубинъ... Что они на это скажутъ, ему все равно; важно лишь то, что *сдѣлаютъ*“ Въ характеристикѣ замѣтно нѣсколько существенныхъ успѣховъ. Альмавива, прямой потомокъ Донъ-Жуана, понятъ и обрисованъ своеобразно; авторъ желаетъ, чтобъ исполнители придавали этой роли чувство достоинства и изящество, которое должно скрывать душевную развращенность и сглаживать комическое впечатлѣніе его постоянныхъ неудачъ. Графиня столь же напоминаетъ Мольеровскую Эльмиру, но въ этой оскорбленной и печальной женщинѣ шевельнулось нѣжное чувство къ увлекающемуся и наивно-страстному ребенку Керубину и едва замѣтною струйкой промелькнуло въ ея душѣ среди супружескихъ тревогъ, а въ миловидномъ образѣ Керубина воплотились первыя проявленія потребности любви на порогѣ отъ отрочества къ юности, до того еще смутная, что мальчикъ самъ не знаетъ, что любить не графиню, и не Сусанну, и не Фаншетту, а женщину. Такъ тонко никогда еще не рисовалъ нашъ художникъ.

Много выиграла и техника комедіи; сплетеніе тройной интриги искусно проходитъ по ней и подъ-конецъ порождаетъ, совсѣмъ въ испанскомъ вкусѣ, рядъ забавныхъ столкновений и открытій. Мелькаютъ еще кое-гдѣ прежнія неровности,—слишкомъ чувствительныя разсужденія Марселины, непомѣрно длинный и несовсѣмъ спиченный монологъ

Фигаро въ началѣ пятаго акта. Но эти недостатки искупаются перевѣсомъ достоинствъ, и тотъ же знаменитый монологъ производилъ нѣкогда потрясающее впечатлѣніе, потому что въ немъ сосредоточились обличительныя истины, которыя авторъ стремился провозгласить во всеуслышаніе. Этотъ третій и самый важный элементъ пьесы, быстро заслонившій отъ взоровъ толпы художественную сторону произведенія, естественно развился здѣсь гораздо сильнѣе, чѣмъ въ „Сев. Цирюльникъ“. Тамъ онъ еще могъ быть блестящимъ *hors d'oeuvre*, новую же пьесу онъ проникъ насквозь и нераздѣленъ съ нею. Благодаря открытію, только что сдѣланному Лэнтильякомъ *), мы знаемъ теперь, что Бомарше хотѣлъ сначала сбросить съ сюжета испанскій нарядъ, перевести Фигаро и его спутниковъ черезъ Пиренеи и открыто выставить въ комедіи французскіе нравы и порядки. Цензурное давленіе и воля короля заставили снова вернуться къ испанскому маскараду... Авторомъ руководили не одно лишь остроуміе, насмѣшливость или самозащита, но прежде всего стремленіе къ общественной пользѣ. Составляя планъ своей пьесы, онъ „расположилъ его такъ, чтобы въ ней могла найти мѣсто критика многочисленныхъ злоупотребленій, удручающихъ общество“; онъ ставилъ себѣ цѣлью „проложить при помощи сцены путь для желанныхъ реформъ“ **).

Теперь онъ вѣрилъ въ ихъ настоятельность и убѣжденъ былъ въ успѣхъ, и тѣмъ смѣлѣе призывалъ ихъ, предсказывалъ ихъ близость. Но и въ эту пору онъ совсѣмъ не былъ радикаломъ, — какъ въ пору „мемуаровъ“ онъ удовле-

*) Revue des deux mondes, 1893, 1 mars, «Beaumarchais inédit, p. 155—162. Изъ первоначальной редакціи здѣсь приведены любопытныя нападки на парижскую полицію, на внимательство въ литературныя дѣла доносчиковъ—клерикаловъ, на продажность прессы; вмѣсто «замка, у воротъ котораго Фигаро оставилъ свободу и надежды», прямо называлась Бастилія.

**) Впослѣдствіи, оглядываясь на свое участіе въ американской войнѣ, онъ объяснял его желаніемъ принести косвенно пользу родинѣ, и надеждой, что „свобода Америки когда-нибудь отзовется и на французской жизни“ (письмо къ Талейрану, 7 окт. 1797).

творился бы англійскими государственными учрежденіями. Среди водоворота финансовой, международной, спенической дѣятельности онъ, всегда такой прозорливый, не замѣтилъ приближенія не мирной поры реформъ, но глубокаго и потрясающаго переворота. Онъ беспощадно обличалъ, но въ то же время не порывалъ связей съ вліятельными сферами, не разставался съ широко задуманными планами, какъ будто надѣясь, что при улучшеніяхъ и перемѣнахъ порядокъ вещей можетъ еще стать удовлетворительнымъ. Такова тайна видимой непослѣдовательности Бомарше и того трагическаго разлада между писателемъ и обществомъ, который обозначился вскорѣ послѣ начала революціи и обнаружилъ сильное недовѣріе къ автору пьесы, явившейся однимъ изъ главныхъ ея предвѣстій. До нея онъ инымъ казался чуть не демагогомъ, послѣ нея сочтенъ былъ слишкомъ умѣреннымъ...

Но въ ту пору, когда только-что написана была „Свадьба Фигаро“, спертый воздухъ былъ освѣженъ этимъ стремительнымъ потокомъ галльскаго остроумія, срываващаго маски и называвшаго вещи по ихъ именамъ. Какъ зло смѣялся нашъ Фигаро надъ тѣми вельможами, которые, какъ Альмавива, уступали духу времени, хотѣли слыть передовыми, выставляли на показъ свое отреченіе отъ прежнихъ правъ и, про себя, оставались крѣпостниками! Онъ раскрывалъ тайны придворнаго міра и съ замѣчательною мѣткостью, которой позавидовалъ бы Фонтъ-Визинъ, формулировалъ его катехизисъ (*recevoir, prendre et demander, voilà le secret en trois mots*, II, 2). Досталось и патриархальному суду съ такими дѣтелями, какъ попечительный помѣщикъ Альмавива и нелѣпый Бридуазонъ, съ указами „снисходительными къ богатымъ, суровыми для бѣдныхъ“, — и высшей политикѣ, живущей обманомъ и интригами, и продаждъ мѣсть, и бюрократіи, гдѣ подвигаешься впередъ бездарностью и раболѣпіемъ (*médiocre et rampant, et l'on arrive à tout*). Фигаро возмущаетъ нравственное паденіе общества, которое сначала чуждалось его, какъ писателя и умнаго человѣка, но открыло передъ нимъ настежь двери, какъ только онъ задумалъ держать у себя банкъ;

на что ему способности, когда принято обходить людей свѣдущихъ и предпочитать имъ перваго попавшагося пласуна, заручившагося протекціею (*on pense à moi pour une place, mais malheureusement j'y étais propre: il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint!*)

Но остріе всего больнѣе направлено противъ двухъ главнѣйшихъ для Бомарше социальныхъ бѣдствій его времени: всевластія барства и гоненія на мысль. Здѣсь рѣчь льется отъ сердца. „Нѣтъ, графъ, она вамъ не достанется! Потому только, что вы вельможа, вы уже считаете себя гениемъ! Дворянство, санъ, богатство внушаютъ человѣку столько гордости! Но что вы сдѣлали, чтобы добиться всѣхъ этихъ благъ? Вы потрудились только родиться—больше ничего. И способности-то у васъ заурядныя, тогда какъ мнѣ,—чортъ возьми!—мнѣ, затерянному въ сѣрой толпѣ, нужно было выказать несравненно больше искусства и сообразительности, чтобы только продержаться, чѣмъ затрачивалось этихъ свойствъ, за цѣлыхъ сто лѣтъ, чтобы управлять всею Испаніей,—и вы хотите тягаться со мною!“ Еще разъ Фигаро заступился и за себя, и за всѣхъ даровитыхъ плебеевъ, бросая вызовъ соперникамъ. Поспорить онъ съ ними, конечно, не изъ-за мелкихъ столкновений, какъ герой пьесы изъ-за любви къ Сусаннѣ; это опять уменьшающее отраженіе интересовъ высшаго порядка. Но Бомарше съ умысломъ сдѣлалъ, кромѣ того, Фигаро писателемъ-дилеттантомъ, и пользуется этимъ, чтобы его устами протестовать противъ тѣхъ, кто, увидавъ, что „не въ состояніи подчинить себѣ умнаго человѣка, мститъ ему за это преслѣдованіями“. Фигаро бросаютъ въ тюрьму за невинную брошюру экономического содержанія; онъ хотѣлъ бы „втолковать временщикамъ, такъ безпечно причиняющимъ несчастія людямъ, что напечатанныя небылицы получаютъ значеніе лишь тамъ, гдѣ стѣсняется ихъ обращеніе, что безъ свободы порицанія не можетъ существовать и льстивая похвала, что только мелкія натуры могутъ бояться мелкихъ книжекъ“. Впрочемъ, зло прибавляетъ онъ: „говорятъ, что, въ мое отсутствіе, въ Мадридѣ установилась свобода печати, подъ условіемъ,

чтобъ я не касался ни властей, ни церкви, ни политики, ни нравственности, ни чиновныхъ лицъ, ни почитаемыхъ сословій, ни оперы или другихъ театровъ, ни кого бы то ни было, кто съ кѣмъ-нибудь имѣетъ связи; я могу все печатать свободно, подъ наблюденіемъ двухъ или трехъ цензоровъ“.

Не довольствуясь поучительнымъ изображеніемъ порядка вещей, складывающимся передъ зрителемъ изъ множества такихъ рѣзкихъ штриховъ, Бомарше кончаетъ пьесу укоромъ Франціи за долготерпѣніе. По крайней мѣрѣ, такъ представляется намъ смыслъ послѣдняго куплета, который часто хотѣли истолковать въ примирительномъ, сглаживающемъ духѣ. „Настоящая комедія, — слышимъ мы тутъ, — безошибочно изображаетъ жизнь нашего добраго народа. Когда его притѣсняютъ, онъ бранится, онъ кричитъ, волнуется на всѣ лады, — но все кончается пѣсенками (tout finit par des chansons)!“

Легко представить себѣ, какова должна была быть тревога, возбужденная въ извѣстныхъ слояхъ слухами о подобной комедіи, и съ какимъ страстнымъ любопытствомъ ожидали ее въ болѣе нейтральныхъ кругахъ и въ быстро пробуждавшейся массѣ; подготовленные „Сев. Цирюльникомъ“, всѣ убѣждены были, что въ новой пьесѣ общественное мнѣніе найдетъ горячее заступничество, и впередъ симпатизировали ей. Отдѣльные отрывки, мѣткія слова и выходки разносились повсюду молвой, и Бомарше постоянно старался какъ можно больше пустить ихъ въ обращеніе. Съ виду случайная, на дѣлѣ умышленная, неосторожность то-и-дѣло роняла невзначай въ толпу одну блестящую сатиры за другою. Мало-помалу любопытство превратилось въ манію; она росла по мѣрѣ усиленія произвола, отдалявшаго всенародное исполненіе пьесы, — и подъ-конецъ заразила и тѣ слои, которые, казалось, обязаны были дать ей отпоръ. Какъ въ дни „мемуаровъ“, вліятельнѣйшія лица искали случая увидать, какъ громятъ поддерживаемый ими порядокъ вещей. Тонкое остроуміе (esprit) всегда плѣняло и побѣждало французовъ, замѣча-

еть Тэнъ*), а въ этой комедіи оно привлекательно сочеталось съ пикантными положеніями, веселою путаницей, маскарадными превращеніями,—удивительно ли, что долго неудовлетворявшееся любопытство привело, наконецъ, къ достопамятнымъ сценамъ наканунѣ перваго представленія, когда толпа, въ которой знать смѣшивалась съ плебеями, провела цѣлыя сутки передъ театромъ, дамы забирались тайкомъ въ ложи актеровъ, барьеры были сломаны, стража отброшена и смята!

Но если фанатизмъ этого рода возрасталъ не по днямъ, а по часамъ, то на-встрѣчу ему развивалась и оппозиція. На Бомарше и его пьесу усердно клеветали. Ее старались выставить грубымъ фарсомъ, полнымъ непристойностей, и указывали на безнравственность автора, который ни за что не хочетъ разстаться ни съ одной изъ нихъ **) (*qu'il y veut conserver toutes les ordures dont elle est remplie*). Потомъ, когда этого показалось недостаточно, выдвинули опасное обвиненіе: „кромѣ множества неприличныхъ мѣстъ, пьеса,—по словамъ лицъ, бывшихъ на репетиціяхъ,—полна неумѣстныхъ выходокъ противъ суда, иностранныхъ посланниковъ“ и т. д. Наконецъ, постоянно твердили о непомѣрной длинѣ и нестройности пьесы, которая непременно протянется не менѣе трехъ часовъ, о безвкусіи выраженій, извращенныхъ некстати пословицъ, шутовскихъ словечекъ. И, точно эхо, слышалось изъ далекаго Петербурга почти буквальное повтореніе тѣхъ же предвзятыхъ сужденій. Екатерина видѣла въ пьесѣ безпрестанныя двусмысленности, растянутыя на три съ половиной часа, сѣтъ интриги, въ которой видны слѣды продолжительной работы и нѣтъ ни капли правдоподобія. „Можетъ-быть, игра актеровъ придаетъ цѣлому комизмъ,—прибавляла она,—но я ни разу не разсмѣялась при чтеніи“ ***).

*) *Origines de la France contemporaine*, I, 1876. 359—61.

**) *Mémoires secrets pour servir à l'hist. de la république des lettres*. Londres, Adamson, 1784, tome 23, p. 5—8.

***) Сборн. Р. Историч. Общества, т. XXIII, стр. 334. Сначала она настойчиво добивалась возможности дать „Свадьбу Фигаро“, какъ новинку въ Пе-

Въ такомъ осужденіи со стороны критика, обыкновенно пронизательнаго, видимо таилась болѣе серьезная причина недовольства. Людовикъ XVI былъ откровеннѣе, когда, по свидѣтельству г-жи Кампанъ *), съ раздраженіемъ отбросилъ рукопись комедіи, сказавъ, что въ его царствованіе такая ужасная пьеса дана не будетъ, что для ея оправданія слѣдовало бы тотчасъ же уничтожить Бастилію... Переданное Бомарше, это гнѣвное заявленіе вызвало съ его стороны сильный отпоръ, и борьба изъ-за комедіи приняла характеръ поединка между королемъ и комическимъ писателемъ. Побѣдилъ все-таки Фигаро; заклятіе Людовика осталось пустымъ звукомъ, и не только пьеса была дана именно въ его царствованіе, но хоръ похвалъ и восторговъ совсѣмъ заглушилъ его суровыя возраженія.

Какъ нѣкогда Мольеръ изъ-за „Тартюффа“, Бомарше повелъ дѣло такъ, что его партизанами постепенно становились приближенные къ королю лица, члены королевской семьи (графъ д'Артуа), гости французскаго двора, которымъ трудно было бы отказать въ просьбѣ объ освобожденіи изъ плѣна комедіи, этой всеобщей любимицы. Бомарше съ особымъ увлеченіемъ воспользовался случаемъ познакомить съ нею в. кн. Павла Петровича и Марію Ѳеодоровну, путешествовавшихъ подъ именемъ графа и графини Сѣверныхъ. Князь Юсуповъ, лично съ нимъ знакомый, вмѣстѣ съ Гриммомъ, который прикинулся на этотъ разъ заступникомъ и ходатаемъ (тогда какъ въ своемъ органѣ онъ обличалъ интриги Бомарше по поводу его пьесы), старались сблизить автора „Свадьбы Фигаро“ съ наслѣдникомъ русскаго престола и намекали на возможность предстательства Павла Петровича передъ королемъ **).

тербургъ и воспользоваться успѣхомъ „Цирюльника“, который выдержалъ тамъ 50 представленій. Отъ имени директора театровъ, Бибикова, писалъ въ этомъ смыслѣ къ Бомарше французскій актеръ при екатерин. дворѣ Daubcourt. Письмо у Lintilhac, стр. 407.

*) Mémoires de madame Campan, II.

**) Loménie, II, 301—2.

Успѣхъ чтенія и тутъ былъ полный *); авторъ вскорѣ ссылался на него въ своихъ дальнѣйшихъ просьбахъ и домогательствахъ. Быть можетъ, благодаря этому онъ добился, наконецъ, разрѣшенія поставить пьесу при дворѣ. Актеры разучили ее, сдѣлано было до *пятнадцати репетицій* на сценѣ отеля *des Menus Plaisirs*, всюду разосланы приглашительные билеты, украшенные гравированнымъ изображеніемъ Фигаро въ его костюмѣ; графъ д'Артуа пріѣхалъ ко дню спектакля, надѣялись видѣть на немъ и королеву, — и вдругъ (опять точно изъ подражанія гоненію на „Тартюфа“) представленіе было запрещено безъ всякихъ побудительныхъ причинъ. Общество заволновалось, зароптало противъ самоуправства. Вскорѣ третье лицо могло передать Бомарше, уѣхавшему съ досады въ Англію, что пьесу пропустятъ, только для виду назначивъ новый пересмотръ ея. Два-три выраженія были опять принесены въ жертву. Пьеса дана была въ этомъ видѣ съ громаднымъ успѣхомъ въ Женвилье у графа Водрейля передъ отборнымъ обществомъ, но она все еще казалась ненадежною для исполненія на настоящей сценѣ. Еще три цензора придали ей, наконецъ, благопристойный видъ; Бомарше самъ прочелъ ее у министра и отставлялъ всѣ спорныя мѣста. Упорствовать дольше нельзя было, — и насталъ небывалый, опьяняющій успѣхъ комедіи, которую такъ долго выдавали за бездарное произведеніе; съ 27 апрѣля 1784 до начала 1785 года ее играли шестьдесятъ восемь разъ, и она доставила почти полмилліона ливровъ сбора. Казалось, ничего не доставало болѣе для популярности Бомарше. Новый промахъ Людовика, раздраженнаго этими проявленіями общественнаго своевоія, еще болѣе усилилъ симпатіи къ автору „Свадьбы Фигаро“. Мелкій журналистъ, мстившій Бомарше изъ-за личныхъ счетовъ по литературной полемикѣ, подалъ на него доносъ объ оскорбленіи величества и нашелъ поддержку у графа Прован-

*) Далеко не такое впечатлѣніе произвела пьеса на другого гостя французскаго двора, шведскаго короля Густава; совсѣмъ въ тонъ Людовика онъ нашелъ, что она не неприлична, а дерзка (*insolente*).

скаго (будущаго Людовика XVIII), одного изъ немногихъ въ ту минуту знатныхъ противниковъ пьесы. Сидя за карточнымъ столомъ, король написалъ на пиковой семеркѣ приказъ запретъ Бомарше въ тюрьму Saint-Lazare. Неожиданность этой кары среди непрерывныхъ триумфовъ писателя и странный выборъ исправительнаго заведенія, куда сажали гулякъ, подѣйствовали на всѣхъ оскорбительно. Правда, какъ писали тогда *), друзья утѣшали Бомарше тѣмъ, что, со времени уничтоженія венсеннской тюрьмы, Saint-Lazare можетъ считаться государственною темницей, какъ бы предверіемъ Бастили, и быть въ немъ не причиняетъ безчестья, но это было плохое утѣшеніе. Правительство поняло свою ошибку, выпустило Бомарше на волю черезъ нѣсколько дней и старалось загладить напраслину любезностями. Орелъ, окружавшій Бомарше, какъ страдальца за убѣжденія, засіялъ ярче прежняго.

Еще быстрѣе, чѣмъ „Сев. Цирюльникъ“, новая пьеса стала достояніемъ всѣхъ европейскихъ сценъ. Въ концѣ 1785 года она уже переведена была по-нѣмецки Губеромъ и въ Лейпцигѣ шла много разъ подъ-рядъ передъ переполненнымъ театромъ. Большое любопытство возбудила она и въ Россіи. Заинтересовавшій уже всѣхъ двумя пьесами, Бомарше, какъ „сочинитель Фигарона“, **) дѣлался властителемъ нашихъ думъ. Въ Москвѣ, какъ признавался потомъ переводчикъ пьесы, съ нетерпѣніемъ ждали полученія печатныхъ экземпляровъ, и какъ только въ „Москов. Вѣдомостяхъ“ (1785, № 55) появилось объявленіе отъ французской книжной лавки на Тверской о привозѣ книги, тутъ же неизвѣстное лицо помѣстило объявленіе, гласившее, что „славная комедія „Mariage de Figaro“ переведена и скоро издается въ свѣтъ“. По свѣдѣніямъ Полторацкаго***), она пере-

*) См. „Извѣстія изъ Парижа“ въ „Москов. Вѣдом.“ 1785 г. апрѣля 9.

**) Въ прошломъ столѣтіи имя это у насъ склонялось. „Господинъ Бомарше, какъ сочинитель Фигарона, получилъ сто ливровъ годовой пенсіи“. „Моск. Вѣд.“, того же года, № 78.

***) Въ рукописныхъ замѣткахъ при экземплярѣ „Фигаровой женитьбы“ въ Моск. Румянцовскомъ музеѣ.

водилась даже за-разъ двумя лицами, труды которыхъ остались, впрочемъ, ненапечатанными. Ихъ заслонилъ переводъ даровитаго молодого человѣка, только-что вышедшаго изъ университета, и, какъ говорить его біографъ *), плѣнившася сначала новѣйшею литературой. Многое ожидало его впереди, и далека была дорога, которая привела горячаго почитателя социальныхъ комедій, въ родѣ „Свадьбы Фигаро“ или „Судьи“ Мерсье, порывавшагося, въ юношески-отважныхъ предисловіяхъ къ ихъ переводамъ, пропагандировать новыя идеи, — къ мистицизму „Сіонскаго Вѣстника“. Въ ту пору Лабзинъ былъ молодъ и любовался смѣлостью Бомарше; его переводъ „Фигаровой женитьбы“ до сихъ поръ самый полный и точный въ нашей литературѣ **). Но въ три года, прошедшіе отъ перевода пьесы до перваго ея представленія ***), онъ кое-чему научился; въ концѣ предисловія онъ не безъ горечи шутить надъ тѣмъ, что „изуродованный прежде по нѣкоторому случаю, его Фигаро теперь отъ ранъ своихъ излѣчился“... Прошло еще два года — и „изъ переводчиковъ при конференціи университета Лабзинъ перешелъ въ секретную экспедицію петербургскаго почтамта“.

Новая свѣтская литература лишилась въ его лицѣ немалого дарованія. Слогъ его юношескаго перевода живъ и непринужденъ для своего времени (напримѣръ, въ монологѣ 5 акта), а предисловіе, въ которомъ, повторяя доводы автора, онъ удачно впадаетъ и самъ въ его манеру, дышетъ

*) „Александръ О. Лабзинъ, очеркъ его жизни и дѣятельности“, г. Безсонова, „Русск. Архивъ“, 1866, № 6, стр. 819—20.

**) Такъ одинъ изъ послѣднихъ переводовъ (безыменное литографир. изданіе Общества драм. писателей, 1879) весьма неполонъ, въ особенности въ важнѣйшихъ обличительныхъ мѣстахъ. Въ „Заграничномъ Вѣстникѣ“ 1882 г., февраль, напечатаны въ переводѣ В. Маркова куплеты, заканчивающіе комедію, и притомъ безъ обычныхъ цензурныхъ сокращеній. Въ 1888 г. „Св. Фиг.“ явилась (вмѣстѣ съ остальными частями „Трилогіи“) въ пер. А. Чудинова.

***) Напечатаніе ея также непомѣрно замедлилось и совпало съ постановкой на сцену. Издана она была Новиковымъ (Типографич. Комп.) съ нотами куплетовъ и эпиграфомъ изъ Бомарше: „Эта шутка намъ заслужитъ одобреніе отъ васъ“.

сатирическимъ оживленіемъ. Мы слышимъ любопытный отголосокъ сужденій, которыя пьеса возбуждала въ Москвѣ: „Нѣкто, за новостъ, разговаривая о сей пьесѣ, когда она только-что появилась на нашемъ театрѣ, въ разсужденіи качества ея, сказалъ нѣчто съ отрицаніемъ. — Почему же такъ?—спросили его:—читали ли вы ее?—Нѣтъ.—Такъ, по крайней мѣрѣ, видѣли ли?—Не удалось.—Съ чего же взяли о ней судить? — Отвѣтъ былъ слѣдующій: — Я слышалъ въ аглицкомъ кофейномъ домѣ на Тверской, что такъ о ней говорилъ одинъ гвардейскій офицеръ!“ Приходилось отстаивать пьесу отъ подобныхъ судей и подробно разсматривать, чтѣ такое вольность и безнравственность на сценѣ, напоминать, что „нельзя выставить гнусность порока, не представляя, по крайней мѣрѣ, одного порочнаго. Какъ показать картину грубаго невѣжества безъ Скотинина, худого воспитанія безъ Митрофанушки, сдернуть маску съ лицемѣрства безъ Тартюфа, съ сладострастія—безъ сластолюбца“ (Предисл., стр. X—XI). Но слышались голоса, находившіе излишними эти объясненія и эту „робость“ тона въ виду несомнѣннаго успѣха комедіи на театрѣ. Составитель „Драматическаго Словаря“ въ предисловіи къ нему *) иронизировалъ надъ озабоченностью Лабзина, напоминая ему о непрерывныхъ аплодисментахъ **) и о томъ, что „г. Бомарше заслужилъ въ цѣломъ просвѣщенномъ свѣтѣ похвалу и имя писателя замысловатаго, остраго и важнаго“,—въ подлинность же офицера онъ почему-то совсѣмъ не хотѣлъ вѣрить, и не безъ невольнаго комизма бралъ пріѣзжихъ въ Москву гвардейцевъ подъ свое покровительство: „имъ некогда бывать въ вольныхъ домахъ,—обычай и благовоспитанность это запрещаютъ; имѣя много родни и знакомыхъ, имъ не скучно и безъ трактировъ. Не слышалъ ли онъ скорѣе этого вздора отъ какого ни есть стараго приказа подьячаго?“...

*) „Драматическ. Слов.“ М. 1787, стр. VIII и слѣд.

**) Исполнена была въ первый разъ эта пьеса въ Москвѣ на вольномъ Петровскомъ театрѣ 15 янв. 1787 г. Фигаро игралъ Волковъ, графиню — Сивяская.

Такъ, даже въ далекихъ уголкахъ тогдашняго культурнаго міра, эта страстная пьеса умѣла возбуждать восторги, толки и споры. Ея безчисленныя представленія шли почти въ уровень съ длиннымъ рядомъ ея изданій, явныхъ, авторскихъ и тайныхъ. Во время первыхъ спектаклей ее записывали на-лету въ партерѣ, небрежно, съ вариантами собственнаго издѣлія или такими, которые постепенно устривалъ самъ авторъ,—и эти почти стенографическіе наброски превращались потомъ въ Голландіи въ печатный текстъ, на который, поверхъ заглавнаго листа, наклеивался другой, съ помѣткой Парижа *), какъ мнимаго мѣста печатанія. Бомарше былъ вынужденъ поспѣшить собственнымъ изданіемъ, чтобъ оградить комедію отъ новыхъ искаженій; какъ будто не достаточно было жертвъ, принесенныхъ цензурѣ! **). Но долго не прекращались контрафакціи,—и за ними, какъ всегда, жужжалъ рой пародій и пасквилей, проникшихъ даже въ русскую литературу ***). Они уже не въ состояніи были тревожить счастливаго автора; сочувствіе несмѣтнаго большинства было на его сторонѣ; удавались теперь и денежные предпріятія, а къ нимъ присоединялся грандіозный литературный гонораръ; прежнія напасти были забыты, про-

*) Любопытный экземпляръ такого поддѣльнаго изданія (Амстердамъ, 1785) съ значительными отмѣнами (наприм., въ послѣднихъ куплетахъ), съ другимъ спискомъ дѣйствующихъ лицъ и т. д., имѣетъ бібліотека Московскаго университета.

**) Обзоръ всѣхъ злоключеній „Свадьбы Фигаро“ сдѣланъ въ брошюрѣ Walferdin, „De la dernière représentation du M. de F. au Théâtre français, 2 novembre 1820, ou Histoire de ses mutilations depuis sa naissance jusqu' à nos jours. Petite brochure dédiée aux censeurs passés, présents et futurs.

***) Таковъ „Багдадскій Цирюльникъ“, ком., переведенная Павломъ Вырубовымъ, 1787 г. Затѣмъ любопытная книжка „Багдадскій Цирюльникъ, бреющий бороду севильскому цирюльнику Фигаро“. М. у В. Окорокова, 1792,—доказывавшая, что Бомарше, въ противоположность Мольеру и Реньяру, изображалъ пороки забавными.—Выпущено было продолженіе „Свадьбы Фигаро“, Les deux Figaro ou le sujet de comédie, p. Martelly, 1794, гдѣ выставлена безчестность героя. Въ дни революціи явилась пьеса „Figaro Journaliste“, въ напѣ въѣкъ видимъ пятиактную „Смерть Фигаро“, пьесу Розье, 1833, гдѣ Фигаро погибалъ въ рукахъ инквизиціи, „Дочь“ и „Сына Фигаро“ (La fille de Fig. Мельвиля, 1843, Le fils de F., par Burat et Masselin, 1835).

пессы закончены, клеймо снято. Самые смѣлыя мечты его юности осуществились.

Когда на настоящей сценѣ пьеса, полная тревоженій, доходит до такого примиряющаго момента, опытный писатель спѣшитъ воспользоваться имъ; тихо спускается занавѣсъ, актеры замерли въ живой картинѣ; еще звучать въ воздухѣ послѣднія хорошія слова, кстати пригнанные въ конецъ, и зритель выходитъ изъ театра удовлетворенный. Но сцена, гдѣ изъ вѣка въ вѣкъ разыгрывается битва жизни, рѣдко балуетъ зрителя такими минутами, и послѣ ликующаго апоѳеоза неожиданно выставляетъ послѣсловіе томительное, печальное... Счастливъ былъ бы біографъ Бомарше, еслибъ онъ тоже могъ спустить занавѣсъ въ эпоху полного торжества своего героя! Но вслѣдъ за этой порой онъ долженъ вспоминать о дняхъ унынія и неудачъ и вмѣсто апоѳеоза завершить рассказъ сиротливою кончиною прежняго любимца толпы.

V.

Довольный собой, успокоенный и веселый, Бомарше нашель, что можетъ приступить теперь къ исполненію замысла, который онъ давно лелѣялъ,—къ постройкѣ, на удивленіе всему Парижу, богатыхъ палатъ, гдѣ, среди чудесъ искусства и роскоши, заживетъ на славу умный плебей, сынъ своихъ дѣлъ. Фантазія разгорѣлась, и, постепенно поддаваясь искушенію, онъ захотѣлъ ослѣпить современниковъ своими причудливыми затѣями. Это плохо подходило къ демократизму, которымъ онъ любилъ драпироваться, но за то казалось ему хорошей и поучительной отместкой. Чортъ возьми, развѣ онъ не заработалъ себѣ этого дома въ борьбѣ съ жизнью! Пусть же останется онъ памятникомъ его труда и энергіи!.. И полились нажитыя деньги рѣкой, уходя на покупку диковинной мебели, картины, на башни и ограду, придававшія дому видъ замка, на паркъ съ павильонами, фонтанами, со статуями Платона, Вольтера *).

*) Снимокъ съ части дома, уцѣлѣвшей до 1835 г., приложенъ къ книгѣ

сколько лѣтъ ушло на выполненіе этого эксцентрическаго плана,—но, по мѣрѣ развитія его, не только не усиливалась популярность Бомарше, а росли недовольство и досада сѣрой и бѣдной массы, обиженной этою безтактностью, и тѣмъ болѣе чуткой къ ней, что окна дворца поэта-богача выходили на жалкія улицы рабочаго предмѣстья Св. Антонія. Для Бомарше наставала, повидимому, сытая буржуазная старость, когда человѣкъ позволяет себѣ успокоиться на лаврахъ, сознавая, что сдѣлалъ кое-что въ жизни. Онъ не хотѣлъ вовсе отказываться отъ литературы и театра, но и замысль, занимавшій его теперь, былъ подѣлить именно къ его новому настроенію.

Какъ для своего дворца онъ на досугѣ изобрѣталъ вычурные эффекты убранства, такъ въ затѣйливой оперѣ, съ которой онъ долго носился, собираясь удивить свѣтъ какимъ-то страннымъ сочетаніемъ греческой трагедіи съ просвѣтительными идеями XVIII-го вѣка и грезившеюся автору (задолго до Вагнера) формой „музыкальной драмы“, онъ хотѣлъ перенести зрителя въ восточную и волшебную обстановку, искалъ пестроты красокъ, выдвигалъ въ прологѣ не живыхъ людей, а ихъ тѣни, въ самой пьесѣ—азіатскихъ деспотовъ, хитрыхъ жрецовъ, хоры евнуховъ, взбунтовавшихся солдатъ, а наряду съ ними—„Генія, воспроизводящаго живыя существа, или Природу“ (*le Génie de la reproduction des êtres, ou la Nature*), и „Духа огня, повелѣвающаго солнцемъ, любовника Природы“. Съ роскошной обстановкой и музыкой Сальери, „Тараръ“ могъ нравиться въ свое время, но не прибавилъ ни черточки къ художественной репутациі автора. Бомарше остался въ памяти потомства творцомъ несравненныхъ двухъ комедій, и дальше не могъ идти. Да и фабула „Тарара“ (какъ это кстати раскрылъ Беттельгеймъ), основанная на борьбѣ королевскаго сластолюбиваго каприза съ прямодушіемъ полководца, слишкомъ счастливаго въ супружествѣ, представляла собой опять

Paul Bonnefon, „Beaumarchais, étude“, 1887. На переднемъ планѣ круглая башня и ворота съ лѣпными изображеніями рѣкъ.

исторію Фигаро, перенесенную лишь въ область трагедіи *).

Но слишкомъ рано подумалъ объ успокоеніи и нѣгѣ старый боецъ и, всегда недостаточно разборчивый, слишкомъ непринужденно велъ, ради своихъ денежныхъ, биржевыхъ дѣлъ, сношенія съ сторонниками порядка вещей, противъ котораго онъ ратовалъ. Онъ не зналъ, какъ больно должна была поражать его небрежность лучшихъ людей оппозиціи, начинавшихъ въ немъ разочаровываться. Его ждали новыя испытанія, и онъ сладилъ бы съ ними, еслибы силы его не ослабѣли. Онъ бросился тотчасъ въ сѣчу, но на каждомъ шагу, въ каждомъ поступкѣ чувствовалось крайнее, почти болѣзненное, напряженіе расшатанной энергіи. Нѣсколькихъ ошибокъ, сдѣланныхъ въ минуту слабости, было достаточно, чтобъ отвратить отъ него массу, которая недавно такъ довѣрчиво бѣжала за нимъ, а теперь недоумѣвала уже въ виду разлада между его словами и дѣломъ.

Полный вѣры въ удачу, онъ пересталъ опасаться серьезнаго соперничества; онъ забылъ, что изъ той же среды, которая выдвинула его, какъ застрѣльщика въ соціальной борьбѣ, могутъ выйти новые люди, воодушевленные тѣмъ же стремленіемъ пробиться впередъ, завоевать вліяніе, что въ нихъ можетъ заговорить ревность къ его популярности, что они раскроютъ его прошлое, разоблачатъ двойственность его дѣйствій и на этомъ оснуютъ свой успѣхъ. И эти люди явились въ лицѣ будущаго великаго оратора Мирабо, давашаго въ этомъ случаѣ первую пробу умѣнья увлекать сердца, и даровитаго честолюбца Бергасса, адвоката изъ начинающихъ. Неглубоки и неважны были поводы къ обоимъ нападеніямъ. Мирабо обрушилъ громы обличенія на Бомарше изъ-за мелкой биржевой спекуляціи,—общества водоснабженія Парижа, въ которомъ поэтъ принялъ участіе своими капиталами. Бергассъ съ горячностью молодого защитника карьериста, который ждетъ-не дождется какого-нибудь эф-

*) Первый набросокъ *Тара* восходитъ ко времени появленія „Цирюльника“. Lintilhac, „Beaumarchais“, p. 79—96.

фектнаго дѣла, взявъ подъ свое покровительство ничтожнаго эльзасскаго проходимца, жаловавшагося на то, что Бомарше разлучилъ его съ женой и помогалъ ея соблазнителью. Дѣло о водоснабженіи было изъ числа обычныхъ финансовыхъ предпріятій; Мирабо со временемъ понималъ, что горячность завлекла его слишкомъ далеко, и первый сталъ искать сближенія съ Бомарше. Бергассъ, по словамъ современниковъ, замѣчательно даровитый, также не могъ не понять, что вдался въ обманъ, что выставленный имъ несчастною жертвой Корнманнъ былъ просто негодяй, который торговалъ женой, записывалъ ее сначала въ домъ умалишенныхъ, потомъ бралъ деньги съ ея любовника, и донесъ, какъ только увидѣлъ, что у соперника онѣ вывелись. Онъ понималъ, что Бомарше вмѣшался въ совсѣмъ чуждое ему дѣло по просьбѣ друзей, заступился за женщину, какъ порядочный человѣкъ, и выхлопоталъ ей отдѣльный видъ.

Но оба обличителя сознали свою ошибку слишкомъ поздно, когда масса яростныхъ укоровъ и обвиненій была уже выставлена; Бергассъ, опьяненный успѣхомъ, рвался, не смотря ни на что, все впередъ, — быть можетъ потому, что не видѣлъ уже за собою отступленія. Онъ проигралъ дѣло: Бомарше былъ оправданъ, но возстановить прежнюю популярность было невозможно. Противники приподняли завѣсу, и показали сатирика въ странной компании биржевиковъ, придворныхъ интригановъ, высшихъ полицейскихъ, съ помощью которыхъ онъ за кулисами работалъ на одного лишь себя, въ погонѣ за богатствомъ. Положимъ, что лейтенантъ полиціи Ленуаръ игралъ въ „affaire Kornmann“ порядочную роль и помогъ избавленію молодой женщины, — но зачѣмъ же обнаружилось, что Бомарше былъ своимъ человѣкомъ въ его домѣ, и что за шашни могли быть у нихъ? И Бергассъ громилъ двуличность и безиравственность его; Мирабо безжалостно совѣтовалъ ему скрыться съ глазъ и стараться отнынѣ объ одномъ, — *чтобы его забыли!* Безчисленные листки и брошюры выползали отовсюду и поддерживали обоихъ вождей наступленія. Всѣ старые компромиссы, все наслѣдіе прошлаго тяжело обрушивалось на Бомарше

и затуманивало передъ современниками его великія заслуги.

Онъ спасся бы, еслибы сумѣлъ стать подъ знамя великихъ принциповъ. общаго блага, или еслибы искусно поражаѣлъ противниковъ сарказмомъ и привлекъ смѣхъ публики на свою сторону. Но роль защитниковъ нравственности и справедливости захватили себѣ его враги, оставляя ему заботу о самосохраненіи. Насмѣшки и остроты не удавались больше; импровизаціи, неожиданные обороты защиты, бывало такіе удачные, поражали тяжеловѣсностью, и всѣмъ должно было показаться странною претензіей его желаніе увѣрить публику, что Бергассъ поднялъ дѣло только для того, чтобы помѣшкать первому представленію „Тарара!“

Фигаро состарѣлся, и всѣ это замѣтили. Его пѣсня была спѣта, и никогда болѣе онъ не поправился. Последняя месть, которую онъ себѣ позволилъ, не достигла цѣли, и еще разъ напомнила о дряхлости; то была заключительная часть трилогии, „La mѣre coupable“, гдѣ зритель снова видѣлъ семью Альмавивы, въ которую вселился теперь настоящій демонъ клеветы, въ лицѣ ирландца Бежарса, позорящаго несчастную супругу, чтобы приготовить разореніе графа. Трудно было не узнать въ неискусно передѣланной фамилии этого новаго Тартюффа ненавистнаго автору Бергасса (Bergasse-Bégearss). Такъ дразги послѣдней минуты проникли въ любимую фабулу поэта, а безцвѣтная madame Kornmann съ ея зауряднымъ романомъ отождествилась съ граціознымъ образомъ Розины *).

Настало 14-е іюля 1789 года. Передъ палатами Бомарше бушевала несмѣтная толпа, осаждая Бастилію, и, стоя у окна, онъ могъ видѣть, какъ рушился оплотъ произвола, столько разъ грозившій, бывало, ему самому. Онъ потрясенъ былъ неожиданностью взрыва, но не могъ не сознавать солидарности съ его вдохновителями: не за одно ли съ ними бо-

*) Бомарше собрался послѣ „Матери-Преступницы“ написать еще пьесу, гдѣ снова выступилъ бы Бергассъ. Онъ хотѣлъ назвать ее „La vengeance de Léon ou le Mariage de Bégearss“. Письмо къ Редереру отъ 14 мессидора, годъ V (Лэнтильякъ, прилож. № 40).

ролся онъ такъ долго противъ стараго порядка! Но онъ все еще вѣрилъ въ возможность мирнаго обновленія и поспѣшилъ (въ 1790 г.) ввести въ „Тарара“ сцену торжественной передачи народомъ своихъ правъ избранному имъ королю, какъ правителю конституціонному, который будетъ руководиться законностью и справедливостью; мало того, онъ позаботился и о томъ, чтобы въ пьесѣ нашли мѣсто живые вопросы современности, освобожденіе негровъ въ колоніяхъ, отмѣна безбрачія священниковъ, идеи братства и народной державности. Прикрывшись фантастическимъ сюжетомъ своей пьесы, гдѣ, какъ въ сказкахъ, дѣйствіе происходитъ за тридевятыя земли въ тридесятомъ царствѣ, онъ могъ перенести въ него осуществленіе надеждъ, которыя, казалось ему, одушевляли лучшую часть народа, а сочувствіе реформамъ скрасилъ двумя стихами, успокоивавшими насчетъ его преданности королю:

Nous avons le meilleur des rois.
Jurons de mourir sous ses lois!

Но чутье обмануло его. Заявленіе новыхъ принциповъ со сцены разожгло въ театрѣ всѣ враждебныя страсти, и представленія передѣланнаго „Тарара“ были полны шумныхъ рукоплесканій и свистковъ, даже столкновений между зрителями, а хитро придуманные два стиха были просто вычеркнуты, „изъ осторожности“, парижскимъ мэромъ Балли. Жизнь усложнялась и слишкомъ быстро шла впередъ. Бомарше не поспѣвалъ за нею. Прошло три года, и „Тарара“ нужно было въ третій разъ пересматривать и принаравливать; стараго порядка не существовало, королевскій апофеозъ былъ неумысленъ; героя пьесы одушевлялъ уже духъ истиннаго республиканца; какъ прежде народъ сдавалъ ему свои полномочія, такъ теперь этотъ избранникъ массы отклонялъ отъ себя корону и научалъ людей самоуправленію.

Въ промежуткѣ между тремя редакціями пьесы прошла тревожная пора сношеній Бомарше съ революціей и новыми для него дѣятелями ея; онъ тщетно пытался примѣниться къ нимъ, сбитый съ позиціи частою смѣной вліятель-

ныхъ партій. Ему казалось, что онъ въ состояніи пойти вмѣстѣ съ своимъ вѣкомъ, но это было лишь заблужденіе. Бёрне чрезвычайно мѣтко указалъ *) его основу. Въ одну изъ своихъ прогулокъ по Парижу онъ очутился на площади Бастиліи, снова привлекая вниманіе свѣта послѣ іюльскихъ дней; еще виднѣлись на ней обломки великолѣпнаго дома сатирика; вдали за ними шумѣлъ и волновался богатый и знатный Парижъ, а возлѣ глухо рокотала едва улегавшаяся народная волна въ предмѣстьѣ Св. Антонія. И нѣмецкому страннику подумалось, что въ выборѣ мѣста для этихъ палатъ—на самой грани между царствомъ капитала и жильемъ трудовой толпы—отразилось истинное значеніе Бомарше, который всю жизнь стоялъ *на рубежѣ* стараго порядка и республики.

Такому человѣку невозможно было удержаться на высотѣ, когда переходная пора уступила мѣсто организованному народовластію. Онъ надѣялся, что за нимъ признаютъ роль предтечи и подготовителя, и готовъ былъ напоминать французамъ, наравнѣ съ американцами, что они многимъ обязаны ему. Кое-чѣмъ онъ могъ быть доволенъ. Главныя пьесы его, особенно „Свадьба Фигаро“, стали украшеніемъ репертуара. Бомарше нѣсколько ретушировалъ ихъ въ уровень съ обстоятельствами. Сначала какъ будто озадаченный отмѣной дворянскихъ титуловъ, онъ отбросилъ аристократическую приставку къ своей фамиліи и оставлялъ на афишѣ лишь незатѣйливое имя Карона **). Но популярность все-таки не возвращалась. Напротивъ, ропотъ усиливался, и малѣйшаго извѣста достаточно было, чтобы толпа повѣрила слухамъ о тайныхъ симпатіяхъ Бомарше къ династіи, даже о его содѣйствіи проискамъ роялистовъ. Передъ его домомъ часто происходили сборища, ему грозили местию, какъ предателю, подозрѣвали, что у него спрятано оружіе; наконецъ, однажды вошли въ домъ, обыскали его,

*) См. Briefe aus Paris, 100-е письмо (25 янв. 1833), съ превосходною характеристикой Бомарше; слѣдующее затѣмъ (101-е) письмо даетъ анализъ „Свадьбы Фигаро“ на тогдашней сценѣ. Gesammelte Schriften, 1862.

**) H. Welschinger, „Le théâtre de la révolution“, 1881, p. 83—84.

но ничего не нашли. Бомарше не потерялъ присутствія духа, не протестовалъ; казалось, это эрѣлище занимало его, точно сторонняго наблюдателя; какъ будто ему не приходила мысль, что безопасность его отнынѣ на волоскѣ. На стѣнахъ своего дома онъ вывѣсилъ воззваніе къ народу, напечатанное крупнымъ шрифтомъ на желтой, бросающейся въ глаза, бумагѣ (такая аффиша только что найдена), и заявлявшее о его невиновности. Но, хотя въ домѣ ничто не пострадало отъ вторженія толпы, Бомарше былъ вскорѣ арестованъ и дѣлилъ заключеніе съ массою (192) заподозрѣнныхъ роялистовъ.

Кризисъ наступилъ; тревожной жизни сатирика предстояло закончиться кровавою развязкой. Но пострадать за идею, которой онъ не сочувствовалъ, — это было бы уже слишкомъ несправедливо. Онъ — роялистъ! Онъ, который нанесъ роялизму самые тяжкіе удары, который позволялъ себѣ сближаться съ его столпами лишь затѣмъ, чтобы сдѣлать ихъ орудіями своихъ плановъ, который видѣлъ въ нихъ послушныхъ маріонетокъ, зналъ насквозь ихъ слабости и, минутой, презиралъ этихъ людей... Мы ждемъ отъ него горячихъ защитительныхъ рѣчей,—онъ молчитъ, быть-можетъ сознавая, что теперь никакія рѣчи, никакіе мемуары не помогутъ. Неожиданно его освобождаютъ. Это кажется несбыточнымъ, точно сказочный сонъ, но совершенно по-длинно и подѣ-стать къ романтической судьбѣ нашего героя. Его освобождаетъ именно тотъ, кто обязанъ былъ бы осудить его,—самъ прокуроръ коммуны. Онъ могъ бы вдвойнѣ стремиться къ его гибели, потому что они съ Бомарше — старые враги. Но гуманное вмѣшательство женщины внушаетъ торжествующему противнику мысль избрать честный видъ мести. Бомарше снова на волѣ и опять за работой. Теперь его занимаютъ различные проекты содѣйствія республикѣ; вчерашній арестантъ бесѣдуетъ съ ея министрами, даетъ совѣты, проситъ порученій. Для милиціи, слышалъ онъ, нужны ружья; онъ знаетъ, гдѣ можно дешево добыть партію въ шестьдесятъ тысячъ штукъ; пусть только дадутъ ему полномочія и средства, и онъ доставитъ ружья тайно

изъ Голландіи, гдѣ австрійскіе агенты распродаютъ ихъ. Сначала его не слушали, ему не вѣрили; новый доносчикъ Лекуэнтръ, въ лицѣ котораго, казалось, возрождался Бергассъ, обличалъ его въ безнравственности и плутняхъ. Но тайное порученіе добыть ружья было все же подъ-конечъ дано, и Бомарше спѣшить черезъ Лондонъ въ Гагу. Теперь онъ хотѣлъ бы, чтобы на время забыли о его писательствѣ и видѣли въ немъ только торговаго агента. „Французскій гражданинъ, негодіантъ, занимавшійся прежде крупными торговыми предпріятіями, которыя и до сихъ поръ, помимо его воли, сходятся отовсюду къ нему“,—такъ характеризуетъ онъ себя въ перепискѣ съ министромъ иностранныхъ дѣлъ, Лебрёномъ *). Но прошлое мнимо-дѣлового человека то и дѣло всплывало. Сношенія его съ высшимъ правительствомъ ведены были слишкомъ секретно и были неизвѣстны даже въ ближайшихъ къ нему кругахъ. Пребываніе въ Голландіи показалось очевиднымъ доказательствомъ происковъ въ пользу династіи. Бомарше ищутъ, какъ бѣглеца, и обдумываютъ вѣрнѣйшее средство захватить его.

Узнавъ объ этомъ, онъ полетѣлъ на родину. Въ Лондонѣ онъ попадаетъ въ тюрьму, потому что не возвратилъ въ срокъ денегъ, занятыхъ для покупки ружей, вырывается изъ заключенія и, презирая опасность, является передъ лицомъ конвента. Мы узнаемъ прежняго Бомарше, время „мемуаровъ“ и американской войны; несчастія снова напрягли его энергію. Многогрѣчивый, но смѣлый (онъ небрежно осмѣиваетъ, наприм., Марата) защитительный документъ, наскоро напечатанный и всюду распространенный („Шесть эпохъ“), не могъ не повліять на умы; слишкомъ ясно выступила лживость доноса и настоящій смыслъ роли Бомарше, какъ исполнителя офиціознаго порученія. Возможность такихъ недоразумѣній, болѣзненное развитіе подозрительности въ обществѣ, и зрѣлище внутреннихъ раздоровъ вызвали у Бомарше нѣсколько искреннихъ, почти лирическихъ,

*) См. переписку его съ генер. Дюмурье и Лебрёномъ въ „Nouv. Revue“ 1885, дек. 1.

обращеній къ единомушію и патріотизму. Эта проповѣдь могла показаться неумѣстною, особенно со стороны чело-вѣка, еще не снявшаго съ себя подозрѣнія въ измѣнѣ, но она не раздражила тѣхъ, кто ее выслушивалъ, и Бомарше могъ свободно возвратиться въ Голландію, чтобы кончить дѣло о поставкѣ ружей; на этотъ разъ онъ снабженъ былъ формальнымъ полномочіемъ отъ комитета общественной безопасности и признанъ комиссаромъ республики.

Но пока онъ усердно хлопоталъ по своему дѣлу, постоянно опасаясь, что тайная покупка будетъ открыта англійскими агентами, уже напавшими на ея слѣдъ, или что самъ онъ и его кладъ очутятся въ плѣну у коалиціи, враждебная ему партія снова усилилась въ Парижѣ. Его имя внесли въ списокъ эмигрантовъ, домъ его запечатали, конфисковали и написали на немъ большими буквами „Propriété nationale“; жена и дочь сатирика брошены были (къ счастью, ненадолго) въ тюрьму, гдѣ ждали очереди итти на гильотину. Печально провелъ Бомарше три года въ далекомъ и чуждомъ ему Гамбургѣ, среди толпы недовольныхъ роялистовъ, съ которыми у него не было ничего общаго, или честолюбцевъ въ родѣ Талейрана, ждавшихъ поворота къ военной диктатурѣ. Его терзала мысль о разореніи и безчестіи, объ участи семьи; старый, больной, въ послѣдніе годы лишившійся слуха, онъ еле жилъ, сообщаясь съ немногими земляками и все надѣясь на избавленіе. Какъ только водворилась директорія, онъ поспѣшилъ на родину, добился возвращенія своихъ правъ, просилъ объ уплатѣ старыхъ долговъ казны и новаго счета по поставкѣ ружей. Но коммисіи, назначавшіяся по его дѣлу, слѣдовали одна за другою, то поддерживая его искъ, то отвергая его; матеріальное его положеніе не поправлялось, а вторичная постановка „Mêge soupirable“ оставила публику холодною.

Въ то время, какъ болѣзни и душевная усталость, безчисленные долги и пререканія, досада и разочарованія удручали старика, вокругъ него снова оживало беззаботное веселье, эпикурейство; оно напоминало пору регентства и стремилось вознаграждать людей за перенесенныя стѣсненія.

Но среди шумнаго, празднаго и легковѣснаго общества временъ директоріи для Бомарше не было мѣста, — хотя новые нравы напоминали ему давно минувшую молодость. Въ толпѣ шеголихъ и incroyables, блестящихъ офицеровъ и свѣтскихъ поэтовъ бродилъ онъ, какъ тоскующій призракъ прошлаго, никому не нужный, забываемый при жизни. Попытавшись найти себѣ занятіе въ Парижѣ, онъ остановился-было на мысли снова вернуться къ дипломатіи; въ письмѣ къ Талейрану, съ которымъ онъ незадолго передъ тѣмъ дѣлилъ изгнаніе, онъ предложилъ свои услуги правительству для упроченія отношеній съ Америкой. Пусть отправятъ его, въ качествѣ посла или простого агента, и дадутъ ему паспортъ, „какъ торговцу и республиканцу“. Его имя хорошо извѣстно по ту сторону океана; ему достаточно было бы провести въ Филадельфіи шесть мѣсяцевъ, и французская политика ощутила бы отъ его вмѣшательства великую пользу... Но Талейранъ былъ теперь важной особой и сухо помѣтилъ на его прошеніи: „se passeport ne peut pas être accordé“. Никакого просвѣта не открывалось ни откуда, и послѣднія старанія добиться какого-нибудь дѣла у Бонапарта, значеніе котораго Бомарше мѣтко предугадалъ, также разбились о недовѣріе и холодность. Консуль не поспешилъ на любезности автору „Свадьбы Фигаро“, но только тогда, когда его уже не было въ живыхъ и когда онъ имѣли характеръ милостиваго привѣта его вдовѣ.

Для натуръ въ родѣ Бомарше какъ будто не существуетъ ни полнаго упадка силъ, ни безнадежнаго унынія; до послѣдней минуты эти люди волнуются, хлопочутъ, строятъ планы, собираются что-то сдѣлать; жизнь порывается у нихъ разомъ, однимъ ударомъ, — напряженіе ума достигло крайняго предѣла, туго натянутая струна должна лопнуть. 18-го мая 1799 г. Бомарше, говорятъ, былъ очень оживленъ и много смѣялся въ кругу близкихъ, — на другой день его нашли мертвымъ.

Передъ свѣжей могилой творца Фигаро въ массѣ снова поднялись симпатіи къ нему, память о прежнихъ наслажденіяхъ; недавніе счеты постепенно забылись, и образъ Бо-

марше, освобожденный отъ всего темнаго или неискренняго, перешелъ къ потомству просвѣтленнымъ. Иные найдутъ, что наше время сурово развѣнчало его. Врядъ ли это такъ; мы только разстались съ однимъ изъ идеальныхъ, положительныхъ характеровъ, которыхъ такъ много бывало въ старой литературѣ и такъ мало встрѣчается въ жизни, — но ближе узнали настоящаго, живого человѣка, съ бездною слабостей и великими дарованіями, энергическій характеръ, во многомъ искалѣченный его вѣкомъ, но способный горячо служить высшимъ цѣлямъ; наконецъ, неисчерпаемый родникъ благороднаго смѣха, который пробивается сквозь всѣ преграды и сближаетъ его съ величайшими комическими писателями.

ДЖОНАТАНЪ СВИФТЪ.

Непонятый ни современниками, ни ближайшимъ потомствомъ, Свифтъ до сихъ поръ остается загадочнымъ явленіемъ въ литературѣ новѣйшаго времени. Ни черты его жизни, насколько ихъ удавалось разъяснить прежнимъ біографамъ, ни изученіе собственныхъ произведеній Свифта долго не давали возможности заглянуть въ сокровенный внутренній міръ его, разгадать его характеръ. Сплошная ткань самыхъ рѣзкихъ противорѣчій поражаетъ каждого, кто захотѣлъ бы приступить къ трудному дѣлу разгадки этого страннаго челоука. Только тонкій анализъ въ состояніи указать едва видныя нити, которыя связываютъ и уравниваютъ эти противорѣчія. Глубокое презрѣніе къ обществу, къ мелочнымъ людскимъ интересамъ, искательству, борьбѣ изъ-за выгодъ—и рядомъ съ этимъ жажда власти, вліянія, честолюбивые замыслы; демоническое злорадство, попрекающее людскую породу грубою чувственностью животнаго,— и мечты и муки, достойныя идеалиста; мѣткій, подчасъ желѣзный и смертоносный, слогъ, полный сарказмовъ и прозрачныхъ аллегорій, — и томныя любовныя поэмы, и безконечно нѣжныя письма въ любимымъ женщинамъ; холодное, безсердечное отношеніе къ женщинѣ вообще, идущее въ разрѣзъ съ этими письмами,— и заступничество за ея права; глубокій скептицизмъ въ дѣлѣ религіи — и почти вся жизнь, проведенная въ скромномъ санѣ приходскаго священника, добровольно на себя принятомъ; культъ своей личности и заботы о ея благѣ — и дѣятельность народнаго вождя:

такова длинная вереница противорѣчій, скрещивающихся въ этомъ характерѣ. Серьезный ученый, политическій дѣятель, злой памфлетистъ, умѣющій „мѣтко свиснуть“ въ своего врага безыменнымъ уличнымъ листкомъ, электризирующимъ массу, публицистъ первой величины, остроумный членъ утонченнаго кружка умниковъ, составлявшаго красу англійскаго общества въ дни Анны и Георга I, — то увлекающій людей до самозабвенія, то отталкивающій ихъ, способный тѣшиться ихъ страданіями, то возносящійся до крайнихъ высотъ человѣческой мысли, то готовый спуститься въ тину мелкихъ происковъ, — онъ неуловимъ и порою даже отпугиваетъ отъ себя. Какъ бы презрительно посмѣиваясь, смотря на удачнѣйшемъ изъ портретовъ Свифта (работы Джервэза) его небесно-голубые глаза. Эти глаза умѣли и разить, окаймляясь тогда строго насупленнымъ челомъ, — какъ на портретѣ, — но они умѣли и ласкать, и манить къ себѣ. Это — взглядъ василиска, — и горе тому, кто поддастся его обаянію! Когда одинъ изъ лучшихъ объяснителей Свифта, затрудняясь найти подходящую характеристику, называетъ его демоническимъ существомъ и именно въ злорадномъ отношеніи его къ человѣчеству видитъ что-то дьявольское, — это опредѣленіе возвращаетъ насъ къ старому эстетическому жаргону, но какъ будто подводитъ къ рѣшенію смутной загадки.

Изобразить такой неуловимый и сложный характеръ — дѣло не легкое; до нашего времени оно еще затруднялось тѣмъ, что въ большей части біографій писателя отсутствовала вовсе историческая критика, принимались на вѣру рассказы легендарнаго свойства и т. д.; къ тому же опыты подобной характеристики нерѣдко выходили или почти сплошь сочувственными ко всѣмъ дѣйствіямъ писателя (такова, наприм., біографія, написанная Вальтеръ-Скоттомъ *) и долго считавшаяся авторитетною) или дышавшими нераспо-

*) Memoirs of Jonathan Swift, by sir Walter Scott, 1814. Первая характеристика Свифта дана была еще въ 1751 г. лордомъ Оррери и, благодаря интересному анекдотическому содержанію, имѣла большой успѣхъ.

ложениемъ къ Свифту (таковы знаменитая статья Джеффри въ „Эдинбургскомъ Обозрѣніи“ 1816 года, много разъ потомъ перепечатывавшаяся*) или этюдъ Маколея). Рѣшительный поворотъ къ безпристрастному изученію, основанному на фактахъ, сдѣланъ былъ со времени появленія труда Джона Форстера **), даровитаго біографа Гольдсмита, Диккенса, Кромвеля, государственныхъ людей англійской республики и т.д. Съ невѣроятными усиліями, но за то и съ рѣдкою удачей, въ теченіе многихъ лѣтъ собиралъ онъ матеріалы, и въ первомъ томѣ своей книги обстоятельно пересказалъ дотолѣ остававшуюся наиболѣе темною раннюю часть жизни Свифта,—но этотъ первый томъ былъ единственнымъ; вскорѣ послѣ его выхода не стало автора. Довершить созданіе подлинной, правдивой біографіи сатирика выпало на долю новѣйшаго изслѣдователя, Крэка, чей трудъ ***) является пока заключительнымъ, исчерпывающимъ фактическую сторону предмета, хотя и не всегда удачнымъ въ попыткахъ отгадать нравственную личность писателя. Но въ этомъ можетъ помочь онъ самъ; въ его произведеніяхъ, особенно въ письмахъ, болѣе, чѣмъ у многихъ его сверстниковъ по таланту, скрыты мало оцѣненные до сихъ поръ черты его душевной жизни.

I.

Бываютъ люди, которыхъ съ ранняго дѣтства приходится назвать натурами надломленными, неудачниками, которымъ суждено со временемъ стать рѣшительно въ разрѣзъ съ окружающимъ жизненнымъ строемъ. Какая-то горечь, скрытое озлобленіе и желаніе отмстить стоящимъ поперекъ дороги, лишь только окрѣпить силы,—сказывается чуть не въ отроческіе годы. Для образованія этой характеристической складки не нужно вовсе слишкомъ рѣз-

*) По-русски она переведена г. Кеневичемъ, въ «Библіотекѣ для чтенія», 1858, VII, 1—42.

**) The life of Jonathan Swift, by John Forster. London, 1875.

***) Henry Craik. The life of J. Swift. Lond. 1882. Только что появилась книга Коллинса: J. Swift, a biograph. and critical study. L. 1893.

кихъ внѣшнихъ причинъ, которыя сразу установили бы раздвоенность характера; отталкивающее физическое уродство, сковывающее всѣ стремленія страстной и чудовищно честолюбивой души, вызываетъ у Ричарда III порывы мести всему неповинному человечеству, вѣчно напоминаетъ о себѣ, словно тачка, прикованная къ ногѣ каторжника, — но порою достаточно и болѣе незамѣтныхъ, незатѣливыхъ причинъ для того, чтобы бросить человѣка въ открытую борьбу съ жизнью. Такія-то причины, въ которыхъ самому человѣку иной разъ невольно можетъ почудиться злое вмѣшательство судьбы, рано обнаружили въ жизни Свифта. Онъ говорилъ впослѣдствіи, что неудачи и разочарованія стерегли его колыбель. По словамъ знакомыхъ, онъ всегда считалъ день своего рожденія днемъ печали, и надѣвалъ на себя личину радостнаго настроенія только ради любимой женщины. Въ этотъ день онъ всегда читалъ завѣтную главу изъ книги Іова, и будто бы даже къ себѣ примѣнялъ отчаянный вопль страдальца, сожалѣвшаго, что не умеръ въ тотъ день, когда увидѣлъ свѣтъ.

Дѣйствительно, нерадостно взглянула жизнь на маленькаго Джонатана, когда, 30 ноября 1667 года, въ Дублинѣ, въ конуркѣ вдовы маленькаго судейскаго чиновника, раздался первый дѣтскій его крикъ. Матери было нечѣмъ жить; отецъ, всю жизнь боровшійся съ нуждой, едва прибылъ изъ Англіи въ Ирландію попытать счастья, едва успѣлъ пристроиться смотрителемъ судебного зданія въ Дублинѣ и жениться на бѣдной дѣвушкѣ, какъ внезапная смерть (за восемь мѣсяцевъ до рожденія второго ребенка) положила предѣлъ скромнымъ мечтамъ о счастіи, начинавшимъ уже улыбаться. Вдовѣ не къ кому было обратиться за помощью; члены суда дали ей отъ себя немного денегъ, но новый смотритель торопилъ переѣздомъ съ казенной квартиры, которую считалъ уже своею собственностью; приходилось выбираться хоть на улицу. Началось безотрадное мыканье по чужимъ людямъ, житье изо дня въ день. Въ числѣ родныхъ матери Джонатана оказался зажиточный дядя, который любилъ, чтобы всѣ считали его богачомъ и поклоня-

лись ему, но былъ тугъ на помощь, которую добыть у него можно было цѣною тяжкихъ униженій. Въ зависимость къ такому-то человѣку попала осиротѣвшая семья; понятно, поэтому, какого рода картины встрѣтили прежде всего маленькаго Джонатана при вступленіи въ жизнь. Бѣдность, приниженность, вѣчныя кочеванья, отсутствіе тихаго семейнаго угла,—а рядомъ деньги въ рукахъ людей съ темнымъ прошлымъ, торгашей, аристократовъ,—вотъ готовый контрастъ, разгадать смыслъ котораго не трудно было подроставшему мальчику, особенно при той быстротѣ развитія, которую приносить съ собою нужда. И этотъ контрастъ глубоко залегъ потомъ въ его душу.

Странно сказать,—лучшіе годы его дѣтства прошли не въ семьѣ, а далеко отъ нея, по ту сторону моря, въ домѣ его кормилицы, которая попросту выкрала его и тайно увезла съ собой на корабль въ Англію къ своимъ роднымъ, гдѣ должна была получить наслѣдство. Она сильно привязалась къ ребенку, не могла подумать разстаться съ нимъ и потому увезла его съ собой; но это похищеніе имѣло еще болѣе странныя послѣдствія. Мать (такъ рассказываетъ самъ Свифтъ въ краткой автобіографіи), узнавъ о небывалой выходкѣ кормилицы, написала ей, прося не подвергать ребенка опасностямъ обратнаго морского путешествія и выдержать его у себя, пока онъ окрѣпнетъ. Такимъ-то образомъ Джонатанъ провелъ два года въ крестьянской семьѣ; тамъ научился сначала говорить, потомъ читать, и вернулся домой въ значительной степени развитымъ для своихъ лѣтъ. Тутъ его сразу охватила та тяжелая атмосфера, въ которой задыхалась его бѣдная мать.

Настала школьная пора; благодаря родственнымъ щедротамъ, Свифта помѣстили въ основанную однимъ мѣстнымъ аристократомъ школу въ Килькенни, а затѣмъ въ раннемъ, четырнадцатилѣтнемъ возрастѣ въ Дублинскій университетъ. Первые школьные годы не оставили послѣ себя никакихъ осязательныхъ слѣдовъ, кромѣ развѣ товарищества съ нѣсколькими извѣстными впослѣдствіи людьми (наприм., комическимъ писателемъ Конгривомъ), удержавшагося на-

долго. Но университетская пора, напротив, освѣщена черезмѣрнымъ количествомъ анекдотовъ и воспоминаній, которые различные современники Свифта наперерывъ другъ передъ другомъ сообщали въ позднѣйшіе годы. Это обиліе анекдотическаго матеріала, однако, лишено прочной основы,—а между тѣмъ именно эта полоса, на рубежѣ самостоятельной жизни и дѣятельности, представляетъ особый интересъ: тогда складывались опредѣленно его взгляды, даже, по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, передъ его фантазіей впервые возникли въ неясныхъ еще формахъ замыслы его лучшихъ обличительныхъ произведеній.

Сохранились отмѣтки, за одинъ годъ, всего класса, гдѣ учился Свифтъ. Видно, что онъ занимался не очень усердно, успѣвалъ только въ древнихъ языкахъ, которые въ ту пору снова выдвигались на первый планъ въ Англіи; педантическое изложеніе учебниковъ отталкивало его, ко всему умозрительному онъ не чувствовалъ ни малѣйшей склонности; отмѣтка по философіи гласитъ *male*, за богословіе—*negligenter*. Обратимся ли мы къ прочимъ сторонамъ его студенческой жизни, и тутъ встрѣтимъ подобные же факты. Суровая мораль классныхъ наставниковъ изображаетъ его безпорядочнымъ, шумливымъ, безпокойнымъ; онъ участвуетъ въ студенческихъ исторіяхъ, не является ночевать въ опредѣленное время, не ходить въ церковь. За послѣднюю вину у него набирается немало штрафовъ всевозможнаго рода; будущій священникъ не только упорно не показывался на обязательной для всѣхъ литургіи, но, какъ мы видѣли, небрежно изучалъ богословіе. Взаимнѣ официальнаго усвоенія науки Джонатанъ страстно отдавался келейному чтенію, которое, въ шесть лѣтъ, проведенныхъ въ университетѣ, достигло колоссальныхъ размѣровъ. Богъ вѣсть гдѣ и какъ добывалъ онъ книги, но несомнѣнно, что этимъ путемъ онъ прочелъ массу сочиненій, наиболѣе привлекавшихъ его; на-ряду съ исторіей, правомъ, политикой, онъ изучалъ современную англійскую поэзію; быть-можетъ, къ этому времени нужно отнести первые его стихотворные опыты. Но и чтеніе было келейное, и работы

только для себя; въ немъ уже видна была привычка сосредоточиваться, ничѣмъ не намекая на то, что происходитъ въ его душѣ. Говорятъ, будто товарищи его не любили и сторонились отъ него, считая его чудакомъ, нелюдимомъ, чуть ли не человѣкомъ ограниченнымъ. Врядъ ли этому можно вполне повѣрить: прославленное впоследствии, удивительное умѣнье его привлекать къ себѣ людей не разомъ же обнаружилось, и нельзя не отнести хоть нѣкоторой доли его еще къ юношеской порѣ. Но иногда на него находила тяжелая полоса хандры, недовольства жизнью, позывовъ къ бездѣйствію и лѣни, или же его безпокойство выражалось въ эксцентрическихъ выходкахъ, удивлявшихъ товарищей. Новѣйшія изслѣдованія раскрыли, что склонность къ подобнымъ эксцентричностямъ можно прослѣдить во всѣхъ вѣтвяхъ его семьи. Въ автобиографическомъ наброскѣ онъ признается, что послѣдніе годы университетской жизни были отравлены заботами вслѣдствіе „дурного обращенія съ нимъ ближайшихъ родственниковъ“; онъ такъ упалъ духомъ, что слишкомъ пренебрегъ своими занятіями, и когда наступила пора соисканія степени „bachelor of arts“, онъ не былъ допущенъ вслѣдствіе недостаточности своихъ знаній, — и хотя черезъ нѣсколько времени и приобрѣлъ эту степень, но съ обидною оговоркой, — въ видѣ особой милости (*speciali gratia*). Дурное обращеніе родныхъ, на которое онъ жалуется, гораздо важнѣе, чѣмъ можно бы предположить на первый взглядъ. Этимъ неяснымъ намекомъ пожилой Свифтъ хотѣлъ указать на обидное, заброшенное положеніе, которое для него, юноши, создали родные, и именно дядя, принявшій на себя заботы о его воспитаніи. Уже отдача въ университетъ была равносильна насильственному разлученію съ матерью, которую родня мужа не взлюбила. Мать вскорѣ должна была искать пріюта у своихъ личныхъ родныхъ въ Англіи, и сынъ остался одинокимъ среди искушеній студенческой жизни, безъ всякой поддержки, безъ средствъ даже для того, чтобы приобретать любимыя книги. О немъ порою почти совсѣмъ забывали, не высылая вовсе денегъ; широкіе честолюбивые

замыслы, уже проносившіеся въ этомъ впечатлительномъ умѣ, каждый разъ разбивались о горькое сознаніе, что ничему не бывать, что онъ войдетъ въ жизнь ничтожнымъ голякомъ, и что ему не на что надѣяться. Это такъ грызло его, что онъ подъ конецъ на все махнулъ рукой и фаталистически увѣровалъ въ свою несчастную звѣзду. Во всю жизнь онъ не могъ забыть впечатлѣнія, произведеннаго на него съ виду маловажнымъ эпизодомъ его школьныхъ лѣтъ. Еще мальчикомъ, онъ однажды, ловилъ рыбу и уже совсѣмъ было вытащилъ какую-то тяжеловѣсную добычу, когда точно на зло рыба сорвалась и упала назадъ въ воду. Ему всегда это вспоминалось, точно первообразъ позднѣйшихъ неудачъ.

Добывъ съ трудомъ первую ученую степень (магистромъ онъ сталъ уже въ Оксфордѣ), Джонатанъ не успѣлъ еще оглянуться вокругъ себя и приготовиться къ борьбѣ за существованіе, какъ необходимость понудила его все бросить, покинуть Ирландію и отплыть въ Англію искать удачи. Давно готовившееся ирландское возстаніе разразилось въ 1689 г. уличными столкновеніями въ Дублинѣ; на время восторжествовала анархія; между ирландцами, предводимыми Тэрконнелемъ, и англичанами разгоралась вражда; всѣ дѣла остановились, изъ университета все разбѣжалось. Въ эту пору Свифту пришлось впервые стать лицомъ къ лицу съ народнымъ ирландскимъ движеніемъ; онъ не сознавалъ еще тогда его смысла, и долго послѣ того любилъ налегать на то, что онъ не ирландецъ родомъ, а сынъ англійскихъ переселенцевъ, хотя родился и большую часть жизни провелъ въ этой странѣ. Лишь на склонѣ лѣтъ пришлось ему стать во главѣ того движенія, котораго онъ юношей не понималъ и отъ котораго спасся бѣгствомъ.

Желая помочь сыну выбраться изъ неопредѣленнаго положенія, мать Свифта подумала о возможности покровительства со стороны одного изъ выдающихся политическихъ дѣятелей предшествовавшей поры, жившаго на покой, но не утратившаго ни связей, ни вліянія. Это былъ сэръ Вильямъ Тэмплъ, государственный человѣкъ, начитан-

ный дилеттантъ-ученый и сторонникъ развитія классическихъ вкусовъ въ литературѣ. Онъ былъ когда-то близокъ къ одному изъ членовъ семьи Свифтовъ; кромѣ того жена его была сродни матери Джонатана. Вовремя вспомнились эти связи, и вскорѣ мы видимъ Свифта приглашеннымъ въ Муръ-Паркъ, резиденцію Темпля*), а затѣмъ занимающимъ въ его домовомъ штатѣ опредѣленную должность.

Въ уютномъ затишѣ бывшаго министра, добровольно превратившагося въ Цинцинната, Джонатанъ впервые былъ направленъ судьбой на тѣ политическіе и литературные пути, съ которыхъ ему не суждено было никогда сходить. Безвѣстный дублинскій студентъ, выросшій въ буржуазной средѣ, очутился въ кругу высшей знати, мало-помалу проникъ въ тайны, руководящія политикой, — въ лицѣ Темпля и его друзей (наприм. Драйдена, пользовавшагося репутацией первостепеннаго поэта), увидалъ передъ собою передовыхъ представителей литературы. Новый міръ охватывалъ его; ему грезилась самостоятельная жизнь, дающая просторъ дарованіямъ, которыя онъ уже сознавалъ въ себѣ; покровительство Темпля, казалось, должно было создать его будущность. Но по мѣрѣ того, какъ росло терпѣніе, усиливалось и разочарованіе. Темплъ неспособенъ былъ вполне оцѣнить и направить силы юноши, и вначалѣ относился къ нему довольно поверхностно, чуть не пренебрежительно. Только послѣ того, какъ недовольный Свифтъ покинулъ его и пробылъ въ отсутствіи около полутора года**), онъ сошелся съ нимъ ближе, сдѣлалъ его своимъ личнымъ секретаремъ, повѣреннымъ своихъ интимныхъ плановъ. Кажется, и Свифтъ раскисался въ своей горячности...

Темплъ, характеристика котораго составляетъ одно изъ украшеній „Историческихъ и критическихъ опытовъ“ Маколея, держался тогда въ сторонѣ отъ дѣлъ, но король

*) Въ *Century magazine* 1893, іюль, при статьѣ „The author of Gulliver“ приложены видъ Муръ-Парка, портретъ Темпля и другихъ лицъ близкихъ къ Свифту.

**) Фактъ этого временнаго разрыва впервые доказанъ былъ Craik'омъ.

Вильгельмъ, помня услуги, оказанныя имъ его дому во время дипломатическихъ переговоровъ въ Голландіи, относился къ нему съ уваженіемъ, совѣщался съ нимъ въ важныхъ дѣлахъ, лично являясь въ Муръ-Паркъ. Уединившись, Темплъ предался своимъ любимымъ занятіямъ, читалъ классиковъ, отдыхалъ среди природы, сажалъ цвѣты въ паркѣ, который изрѣзаль каналами по образцу Венеціи и голландскихъ городовъ; издали онъ прислушивался къ шуму столичной жизни, къ парламентскимъ распрямъ, для которыхъ вовсе не былъ созданъ. „При большихъ дарованіяхъ и душевной добротѣ,—говоритъ Лекки въ своемъ этюдѣ о Свифтѣ *),—Темплъ былъ слишкомъ вялъ, непритязателенъ, слишкомъ эпикуреецъ, чтобы достигнуть высшей роли въ англійской политикѣ; его любезное, обильное всякими милостями обхожденіе съ людьми, нѣсколько изысканный вкусъ и инстинктивное нерасположеніе ко всему безпокойному, — къ шуму и спорамъ, — выказывали въ немъ человѣка скорѣе способнаго блистать при дворѣ, чѣмъ въ парламентѣ. Въ одномъ изъ своихъ „Essays“, онъ называетъ холодность темперамента, крови, а стало-быть и всѣхъ человѣческихъ желаній, высшей основой добродѣтели, и его собственный характеръ почти осуществилъ этотъ идеалъ“. Скользя по житейскимъ волненіямъ, старикъ Темплъ не могъ понять, что волновало его дальняго, бѣднаго родственника. Онъ далъ ему работу, иногда бесѣдовалъ о поэзіи, классикахъ, даже написалъ нѣсколько писемъ великосвѣтскимъ друзьямъ, прося найти мѣсто молодому человѣку, въ крайнемъ случаѣ пристроить его въ какомъ-нибудь колледжѣ. Разумѣется, такое ходатайство, сдѣланное вскользь, успѣха не имѣло.

Съ той поры, когда Свифтъ вторично поселился въ Муръ-Паркъ, уже въ качествѣ секретаря Темпля, участника его ученыхъ работъ, редактора предположеннаго собранія его сочиненій, все измѣнилось. Мнѣніе и голосъ его приобретаютъ значеніе. Онъ много перечелъ; бесѣды и споры съ

*) Lecky. Four historical essays. Есть нѣмецкій переводъ Іоловица, Posen, 1873.

знатокомъ литературы принесли свою долю пользы. Онъ принимается за подражанія Горацию, пишетъ поэмы на мелкие случаи, и, къ великому оскорбленію юнаго авторскаго самолюбія, слышитъ отъ авторитетнаго Драйдена предвѣщаніе, что ему не бывать поэтомъ.

Но недовольство попрежнему глодало его, и что-то манило впередъ, на невѣдомое, но блестящее поприще. На одну минуту, казалось, случай къ тому представился; король спросилъ совѣта у Темпля относительно страшившаго его утвержденія билля о трехлѣтнемъ срокѣ дѣятельности палаты. Темплъ уже сообщилъ ему успокоивающее мнѣніе, но, чтобы усилить свои доводы, воспользовался прїѣздомъ короля, чтобы поручить личный докладъ по этому вопросу своему секретарю, замолвивъ кстати слово и о его карьерѣ. Свифтъ подходилъ къ источнику благъ. Но удача и здѣсь оборвалась. Король, выслушавъ тщательно обработанные Свифтомъ и подкрѣпленные историческими и юридическими ссылками доводы, остался при своемъ мнѣніи, — но вообще былъ очень милостивъ: удостоилъ собственноручно показать голландскій способъ рѣзанія и приготовленія спаржи, а на счетъ карьеры—предложилъ Свифту зачислить его кандидатомъ въ любой кавалерійскій полкъ... Полнѣе фіаско нельзя было ожидать, и чело недовольнаго честолюбца стало еще пасмурнѣе. Нельзя же ему весь вѣкъ свой провести около дряхлѣющаго старика, исполняя его капризы и тратя силы на работу не по душѣ!

Но въ прискучившемъ ему, чуть не ненавистномъ, домѣ было что-то, что порою примиряло его съ жизнью, вызывая нѣжное чувство сначала отеческой заботливости и ласки, а потомъ восторженнаго удивленія и любви. Въ числѣ главныхъ лицъ домашняго штата Темпля и сестры его, леди Джиоффардъ, была распорядительница хозяйства этой дамы, мистриссъ Джонсонъ, съ перваго разу ставшая въ дружескія отношенія къ Свифту, который любилъ заходить къ ней бесѣдовать. У нея вырастала, всѣмъ на удивленіе, красавица-дочка, Эсѣиръ. Ей было еще семь лѣтъ, но по своей внѣшности, тонкимъ, пластическимъ очертаніямъ ху-

дожественно правильнаго лица, роскошнымъ волосамъ и глубокимъ чернымъ глазамъ, она обѣщала развиться въ замѣчательную красавицу. Несмотря на большую разницу лѣтъ, Свифтъ привязался къ этому ребенку. Она развивалась на его глазахъ; сначала онъ лепеталъ съ ней на томъ смѣшномъ жаргонѣ, который дѣти часто придумываютъ между собой; потомъ, по его же словамъ, онъ первый сталъ учить ее грамотѣ, водилъ ея ручкой по бумагѣ, приучая писать, разъяснялъ всѣ ея дѣтскія недоумѣнія, отвѣчалъ на ея вопросы. Онъ самъ не замѣчалъ, какъ сильно привязывался къ ней. Еще нѣсколько лѣтъ, и она загорѣлась яркой *звѣздой* на его небосклонѣ и стала его дорогой *Стеллой*.

Когда Темплъ вспоминалъ впоследствии о житиѣ у него Свифта, онъ придавалъ прежнему своему собесѣднику эпитетъ челоѣка неуживчиваго, тяжелаго въ обращеніи. Дѣйствительно, безпокойство, овладѣвавшее порою Свифтомъ, шло уже слишкомъ въ разрѣзъ съ настроеніемъ старика, искавшаго всюду гармоніи и спокойствія; въ хандрѣ, смѣнявшейся раздраженіемъ, мелькали уже признаки душевной болѣзни, которая не разлучалась со Свифтомъ во всю жизнь, словно стерегла каждый его шагъ, отравляла мысли, пыталась совсѣмъ завладѣть имъ, пока, къ концу его дней, не достигла полной побѣды. Въ одинъ изъ наиболѣе острыхъ пароксизмовъ недовольства Свифтъ рѣзко разрываетъ съ своимъ покровителемъ, уѣзжаетъ въ Ирландію, напоминаетъ о себѣ прежнимъ знакомымъ въ Trinity College, добивается посвященія въ санъ пастора и получаетъ небольшой приходъ въ Кильрутѣ, сѣверномъ ирландскомъ мѣстечкѣ.

Этотъ неожиданный переворотъ, конечно, поразителенъ. У Свифта не было никакихъ слѣдовъ набожности; въ университетѣ онъ чуть не прослылъ безбожникомъ. Но, какъ вѣрно замѣчаетъ Форстеръ *), въ ту пору въ Англіи духовный санъ вовсе не обособлялъ челоѣка отъ мірскихъ дѣлъ; напротивъ, онъ какъ бы содѣйствовалъ достиженію свѣтскихъ цѣлей, давалъ возможность занимать дипломати-

*) The life of J. Swift, p. 70—71.

ческіе посты, вліять на политику, быть правою рукою министра, губернатора, вице-короля. Это было ослабленное отраженіе тѣхъ нравовъ, которые еще своеобразнѣ развились во Франціи 17—18 в., съ ея аббатами и аббатиссами, нерѣдко дававшими тонъ салонной и галантной жизни, или въ Италіи, гдѣ духовныя лица бывали поэтами любви и сладострастія, авторами развязно циническихъ комедій, оперными композиторами. Свифтъ, облачившись въ одежду пастора, не думалъ, что вызываетъ крутой переломъ въ своей судьбѣ. Онъ могъ считать это только переходною ступенью къ чему-нибудь лучшему, могъ ждать, что не сегодня, завтра его вызовутъ въ средоточіе цивилизованной жизни для иного дѣла. Но никуда не звали его; приходилось не на шутку приниматься за роль пастыря душъ. Все показное, ритуальное въ религіи, все, что отзывалось жречествомъ, всегда возмущало его, но онъ считалъ своею обязанностью добросовѣстно исполнять то, что было человѣчнаго и полезнаго въ его служеніи. Онъ старательно отдѣлывалъ свои проповѣди, какъ въ первыхъ своихъ деревенскихъ приходахъ, гдѣ слушателями его были простоватые сквайры, такъ и подъ конецъ жизни, въ Дублинѣ,— проповѣди, которыя многими *) считаются образцовыми, конечно, не съ рутинно-богословской точки зрѣнія. Иной разъ и въ нихъ замѣтна обычная сатирическая манера Свифта; но то была не каррикатурная Фонвизинская проповѣдь сельскаго попа, но изящная ткань тонкой ироніи. Ставъ членомъ High-Church, Свифтъ считалъ также долгомъ стоять за права ея, добиваться для нея льготъ, усвоить себѣ до нѣкоторой степени корпоративный духъ. Но жестоко бы ошибся тотъ, кто на основаніи этихъ данныхъ счелъ бы его зауряднымъ церковникомъ. Все это была добросовѣстная внѣшность. Мысли иного рода наполняли умъ, терзали его, не давали покоя, — и умственная работа, разжигаемая одиночествомъ, окрѣпла именно въ годы спокойнаго житія въ Кильрутѣ. Схоластика, которою его

*) Forsyth, *Novels and novelists of the 18—th century*. 1871, p. 15.

мучили въ университетѣ, барство и надменность аристократовъ, съ которыми послѣ приходилось сталкиваться, закулисныя стороны политической жизни, наконецъ наблюденія надъ клерикализмомъ, нетерпимостью, предразсудками, гнетомъ на совѣсть, — вотъ тотъ обзоръ заблужденій и терзаній человѣчества, который привелъ его къ грустному выводу о несчастной долѣ разума. Такъ сложились матеріалы для одного изъ важнѣйшихъ обличительныхъ произведеній Свифта, — „Сказки о бочкѣ“ (Tale of a tub), появившейся въ печати нѣсколько лѣтъ спустя (1701), но задуманной еще въ Кильрутѣ.

Не однимъ лишь этимъ блестящимъ литературнымъ дебютомъ отмѣчена была его жизнь въ глуши; тамъ впервые одержана была побѣда надъ женскимъ сердцемъ, открывающая собой лѣтопись тревогъ и увлеченій любви, столь знаменательныхъ въ его душевной жизни. Его первую героиней была сестра его знакомаго Вэринга, которую по обычаю того времени онъ поэтически переименовалъ въ Варину, воспѣвая ее въ стихахъ и нѣжной перепискѣ. Но и въ этой первой любви онъ необыкновенно своеобразенъ. Сначала онъ мечталъ о бракѣ, умоляя только подождать, пока обстоятельства улучшатся и положеніе его станетъ прочнѣе; но это, очевидно, сказано сгоряча и необдуманно, и нерѣшительность Варины его отрезвляетъ. Связь навѣкъ страшитъ его; онъ вѣритъ только въ свободное, преходящее чувство, гдѣ обѣ стороны вполне самостоятельны въ своихъ рѣшеніяхъ. Даже впослѣдствіи, когда судьба сближала его съ женщинами несравненно развитѣе и обаятельнѣе заурядной Варины, и онъ самъ сталъ проповѣдывать подъемъ женскаго образованія, — мысль о бракѣ продолжала казаться ему такою же не симпатичною, какъ въ молодые годы. Кругомъ себя онъ видѣлъ столько неудачныхъ, необезпеченныхъ и несчастныхъ браковъ, что невольно призадумывался. „Да если когда-нибудь я и упрочу свое положеніе, писалъ онъ одному знакомому, — меня вообще такъ трудно удовлетворить, что я ужъ лучше отложу все это до жизни на томъ свѣтѣ“...

Отношенія къ Варинѣ, раздутыя сплетней, желаніе вырваться на волю, наконецъ ласковыя приглашенія Темпля, привели къ тому, что Свифтъ торопливо выхлопоталъ себѣ отпускъ, допустилъ какого-то интригана отбить у него приходъ, и, свободный, снова (въ третій разъ) явился въ Муръ-Паркъ уже въ полноправной роли сотрудника въ ученыхъ работахъ своего покровителя. Темплю особенно важна была его помощь въ эту минуту. Необдуманно принявъ онъ участіе въ ученой распрѣ, разгорѣвшейся сначала во французской литературѣ, быстро перекинувшейся черезъ каналъ и возбудившей не менѣе страстную полемику и въ Англіи. Послѣ поэмы Перро, провозгласившей превосходство современной поэзіи надъ древне-классической, но не изъ симпатій къ прогрессу мысли и творчества въ новѣйшемъ человѣчествѣ, а изъ лстиваго благоговѣнія передъ блескомъ культуры Людовика XIV, рѣзко обозначились два враждебныхъ стана ученыхъ, критиковъ и поэтовъ. Война эта, мелкая, полная праздныхъ словопреній и злобной нетерпимости, вызывала не разъ смѣшныя пародіи; одною изъ нихъ была рѣдкая теперь книга, приписывавшаяся Кутре, въ дѣйствительности написанная дипломатомъ и членомъ академіи, Франсуа де-Калльеромъ „Histoire poétique de la guerre nouvellement déclarée entre les anciens et les modernes“. Въ Англіи вождями обѣихъ армій выступали Темплъ, какъ глава классиковъ-старовѣровъ, и превышавшій его талантомъ и эрудиціей Бентлей, предводившій защитниками новой науки. И тутъ было выказано вдоволь односторонностей и крайностей: либо утверждали, что внѣ древнихъ писателей нѣтъ спасенія, что современные авторы недостойны разрѣшить имъ ремень у сапога, либо слышались самодовольные и пренебрежительные отзывы о несовершенствѣ формы и содержанія, свойственной отдаленной порѣ человѣчества. Темплъ былъ неукротимъ, какъ будто считая, что достойно завершить свою жизнь, если защитить любезную ему старину. Въ пылу спора онъ сдѣлалъ грубую ошибку, тотчасъ же поднятую на смѣхъ противниками. Онъ повѣрилъ въ подлинность такъ называемыхъ,

„посланій Фаларида“, цитировалъ ихъ, опирался на нихъ. Ему доказали его промахъ, цѣлымъ хоромъ прокричали о немъ, и, забывая иногда о настоящемъ предметѣ спора, тѣшились, поддразнивая Темпля.

Свифтъ, быть можетъ, по просьбѣ его, вмѣшался въ борьбу, и, позаимствовавъ у де-Калльера обстановку сатирической сцены, назвалъ выпущенную имъ безыменно сатиру „Битвой книгъ“ (The battle of the books). Это не перво-степенное произведение, но въ немъ уже сказались многие важные приемы Свифтовой манеры, наприм. умѣнье выдерживать сплошную аллегорическую картину, наполнивъ ее тысячами бойкихъ и понятныхъ всѣмъ намековъ.

Авторъ признается, что его давно беспокоила мысль о томъ, какъ неуютно книгамъ разнороднаго, часто враждебнаго другъ другу направленія быть принужденными, по прихоти библіотекаря, стоять рядомъ или въ перемежку... Вотъ что дѣйствительно произошло въ прошлую пятницу въ Сентъ-Джемскомъ книгохранилищѣ: смѣшанный вмѣстѣ пристрастнымъ и недогадливымъ библіотекаремъ (Бентлеемъ) который поставилъ новѣйшія сочиненія на лучшія мѣста, возмущившіяся книги затѣяли междоусобіе. Новыя книги, желая отстоять свое положеніе, посылаютъ эмиссара по всѣмъ комнатамъ, чтобы счесть свои силы; ихъ до 50.000, впрочемъ плохо вооруженныхъ. Старики тоже спѣшатъ сплотиться. Завязывается споръ, сначала довольно умѣренный. Новички согласны допустить, что нѣкоторые изъ нихъ по малодушію заимствовали кое-что у старыхъ писателей. Но страсти разгораются; на полкахъ все зашевелилось; поднимаются облака пыли. Наконецъ въ бой выступаютъ двѣ правильно выстроившіяся рати. Мужество и стройность на сторонѣ классиковъ, запальчивость и легкомысліе отличаютъ новое поколѣніе. Гомеръ ведетъ конницу, Эвклидъ — главный инженеръ, Гиппократъ начальствуетъ драгунами, Геродотъ и Ливій—пѣхотой и т. д. Въ дѣло вмѣшиваются съ одной стороны боги Олимпа, съ другой—духъ Критики со всею его семьей, Мнѣніемъ, Шумомъ, Безстыдствомъ, Педантизмомъ. Мало-помалу силы молодежи,

несмотря на назойливость Буало, Декарта, Гоббза, начинают слабѣть. Завязываются поединки Аристотеля съ Бэкономъ, Виргилія съ Драйденомъ и т. д. Наконецъ главные виновники спора, Бентлей и Уоттонъ съ одной стороны, Темплъ и Бойль съ другой выступаютъ въ послѣдній бой, и оба врага старины убиты.

Въ этомъ памфлетѣ видна еще неумѣренная горячность. Свифтъ далеко не былъ исключительнымъ поклонникомъ старины, но увлекся желаніемъ унижить слишкомъ рѣзкихъ противниковъ Темпля, и, нападая на крохотныя дарованія нѣкоторыхъ изъ нихъ, въ *общемъ* приговорѣ осудилъ и важнѣйшія завоеванія новой мысли. Доискиваясь его собственнаго взгляда, какъ онъ сложился въ ту пору, мы найдемъ его во вставленномъ въ рассказъ эпизодѣ о паукѣ и пчелѣ, чей неожиданно разгорѣвшійся въ одномъ углу библіотеки споръ невольно заставилъ оба лагеря книгъ на мгновеніе примолкнуть и вслушаться. Паукъ, какъ бы ни гордился онъ въ своей цитадели, случайно прорванной пчелою, играетъ жалкую роль; онъ искусенъ и, можетъ-быть, много знаетъ, но осужденъ вѣчно копошиться въ своемъ углу, не видѣть ничего далѣе трехъ-четырехъ дюймовъ вокругъ себя; у пчелы и полетъ широкъ, и она свободна, но въ то же время привыкла къ долгому исканію и собиранію меда по каплямъ; покинувъ своего злого противника, она привольно и весело понеслась къ клумбѣ, пестрѣвшей розами.

Такимъ образомъ, недостатокъ широты мысли является въ глазахъ сатирика ущербомъ современнаго направленія. Еслибъ онъ ограничилъ свой приговоръ одною такъ-называемой изяшною литературой, онъ не былъ бы неправъ, но онъ какъ будто не захотѣлъ видѣть разцвѣта новой философіи, гуманной проповѣди соціальной науки, обновленія политической свободы,—всѣхъ этихъ славныхъ итоговъ тревожнаго семнадцатаго столѣтія, вліявшихъ уже на духъ словесности и создавшихъ для Англіи положеніе руководительницы всей мыслящей Европы.

Когда писались наиболѣе бойкія страницы памфлета и обдумывались втихомолку основныя черты слѣдующей и важ-

нѣйшей сатиры, Свифтъ уже былъ подѣ влияніемъ новаго, чарующаго чувства, которое наполняло его весельемъ и охотой жить. Маленькая звѣздочка блистала теперь, на переходѣ изъ дѣтскаго возраста, пышной красотой. Въ біографической запискѣ, составленной Свифтомъ впослѣдствіи, вслѣдъ за ея смертью, онъ такъ описываетъ свою молодую подругу: „Она была болѣзненна съ ранняго дѣтства до пятнадцати лѣтъ, а потомъ совершенно поздоровѣла, и всѣ ея считали одной изъ красивѣйшихъ, граціознѣйшихъ и обходительныхъ молодыхъ дѣвушекъ въ Лондонѣ *); ея немного портила только нѣкоторая полнота. Волосы ея были чернѣ воронова крыла, и каждая черта лица ея была совершенствомъ.. Никогда ни одна женщина не была въ такой степени одарена отъ природы въ умственномъ отношеніи, и никто не сумѣлъ такъ развить свои дарованія чтеніемъ и бесѣдой, какъ она. Никогда не бывало такого счастливаго соединенія вѣжливости, свободы мнѣній, непринужденности и откровенности. Могло казаться, будто всѣ вокругъ нея сговорились относиться къ ней съ почтеніемъ, превывшавшимъ ея скромное положеніе въ свѣтѣ,—а въ то же время всякій находилъ, что ни въ чьемъ обществѣ онъ не чувствуетъ себя такъ привольно“. Если изъ этого восторженнаго отзыва исключить то, что относится къ характеристикѣ Эсэири Джонсонъ въ позднѣйшіе годы, когда всѣ способности ея развились, то и тогда поймемъ обаяніе, которое, по словамъ современниковъ, производила граціозная и умная дѣвушка.

Ей уже было 16—17 лѣтъ, но рано установившіяся между нею и ея учителемъ, товарищемъ ея игръ, дружескія отношенія оставили слѣдъ и на новомъ ихъ сближеніи, освященномъ любовью. Ни она, ни онъ не могли отстать отъ своихъ прежнихъ привычекъ; какъ въ былые годы, они смѣшивали въ разговорѣ между собой обычный языкъ съ наивнымъ

*) Снимокъ съ небрежно набросаннаго мистриссъ Дэлани на стѣнѣ, и потомъ пострадавшаго отъ времени, портрета Стеллы, приложенный къ статьѣ Century Magazine, 1893, VII, плохо согласуется съ этимъ изображеніемъ.

нарѣчіемъ, обильнымъ уменьшительными именами, наконецъ совсѣмъ вымышленными словами, — которое они вмѣстѣ когда-то выдумали и на которомъ имъ такъ хорошо говорилось. Они были нѣжны другъ съ другомъ, но это не была нѣжность отца съ дочерью или ласка влюбленныхъ; долго ни одного слова любви не было произнесено между ними. Имъ просто хорошо жилось, они были счастливы вмѣстѣ; необъяснимая притягательная сила, отличавшая его, все крѣпче привязывала ее къ нему.

Но смерть давно дряхлѣвшаго Темпля прервала это счастливое затишье. Все вокругъ пошло въ разбродъ. Дальнѣйшее присутствіе Свифта въ домѣ сдѣлалось ненужнымъ. Семья Темпля не расположена была къ его секретарю. Леди Джиофардъ уѣхала и взяла съ собой мать Эсѣири, но сама дѣвушка устроила свою судьбу совершенно иначе. Въ своемъ завѣщаніи Темплъ, быть можетъ, къ немалому удивленію его близкихъ, отказалъ миссъ Джонсонъ нѣсколько земель въ Ирландіи (злые языки и прежде называли ее незаконной его дочерью); она предпочла жить независимо на доходъ съ этихъ земель, пригласила съ собой свою подругу, миссъ Динглей, съ этой поры не разстававшуюся болѣе съ нею, и поселилась въ небольшомъ провинціальномъ городкѣ въ Англіи.

Рядъ неудачъ ожидалъ Свифта, такъ грубо выхваченнаго судьбой изъ покоя и довольства. Въ Ирландіи, куда онъ возвратился, этотъ новичокъ съ феноменальными дарованіями нигдѣ не могъ пристроиться. Съ трудомъ добылъ онъ себѣ мѣсто каплана въ Дублинскомъ замкѣ и вскорѣ сталъ оживляющимъ центромъ общества, группировавшагося вокругъ лорда Беркли. Дамы были въ восторгѣ отъ его остроумія; онъ писалъ для ихъ развлечения шуточные вещицы въ стихахъ,—но, зная, какъ ненадежно зависѣтъ единственно отъ оффиціального лица, которое при первой же переменѣ вѣтра въ политикѣ можетъ быть смѣнено, онъ, на всякій случай, желалъ заручиться приходомъ, не имѣя охоты тотчасъ же отправляться къ мѣсту. Но друзья и покровители смѣялись его остромамъ и импровизаціямъ, но ничего прочнаго и почет-

наго не нашли для него. Беркли подалъ въ отставку вслѣдствіе перемѣнъ въ министерствѣ, — и Свифту пришлось войти въ болѣе чѣмъ скромную роль сельскаго священника. Мѣстечко Ларакоръ, куда онъ былъ назначенъ, стоило Кильрута. И не избавиться ему болѣе никогда отъ смиреннаго титула ларакорскаго викарія; величайшихъ своихъ писательскихъ триумфовъ и диктатуры политической достигнетъ онъ, оставаясь на дѣлѣ только бѣднымъ деревенскимъ пасторомъ.

II.

Только первое время, когда приходилось заботиться объ устройствѣ собственной судьбы, Свифтъ могъ прожить врозь отъ своей молодой ученицы; но лишь только онъ обжился въ новомъ своемъ положеніи, какъ имъ завладѣла мысль переселить къ себѣ миссъ Джонсонъ. Онъ нашелъ въ Ларакорскомъ пасторатѣ все въ запущенномъ видѣ; домикъ покривился, церковь была бѣдна, кругомъ нея былъ пустырь. Благодаря энергіи новаго викарія все мало-по-малу преобразилось. Домъ обновился, раскинулся красивый садикъ съ затѣями роскошныхъ парковъ (часть Свифтовыхъ построекъ и сада сохранилась до сихъ поръ). Принарядилась и церковь. Но и здѣсь бѣдность и малолюдство были такія же, какъ и въ Кильрутѣ; на первой службѣ Свифта присутствовалъ лишь церковный сторожъ, а въ лучшіе дни набиралось человѣкъ пятнадцать-двадцать. Свифтъ имѣлъ право считать себя ссыльнымъ и, видя, въ какомъ жалкомъ состояніи оупѣнія, невѣжества и бѣдности находится народъ, возненавидѣлъ необходимость зарыться навсегда въ Ирландію. Но просвѣта не было; ни поѣздка въ Лондонъ, ни искусно брошенный въ обострившуюся борьбу между торіями и вигами первый политическій памфлетъ Свифта (*On the Dissensions in Athens and Rome*), произведшій впечатлѣніе, но, изъ осторожности, безыменный, не принесли никакого улучшенія судьбы. Нужно было мириться съ тѣмъ, что выпадало на долю, — и Свифтъ рѣшается наконецъ осуществить давно лелѣемый планъ. Онъ

отыскивает миссъ Джонсонъ въ ея захоластьѣ, разъясняетъ ей, въ какой степени выгоднѣе было бы для нея съ другой жить въ Ирландіи, гдѣ капиталъ можно помѣстить несравненно прибыльнѣе, гдѣ находятся земли, завѣщанныя Темплемъ и гдѣ дѣвушка будетъ близко отъ своего стараго друга. Сердечное влеченіе внушило ей то же, что поддерживалъ холодный разсудокъ, и въ 1700 г. обѣ пріятельницы навсегда выселились изъ Англіи.

Два существа, казалось, давно уже къ тому предназначенныя, соединились теперь въ тѣсномъ союзѣ. Свифтъ даетъ ей имя Стеллы, связавъ его отнынѣ съ своимъ въ памяти потомства. Она, дѣйствительно, какъ яркая, спасительная звѣзда освѣтила его тревожную, больную, разъядаемую недовольствомъ и грустью, душевную жизнь. Онъ посвящалъ ее во всѣ свои дѣла и помышленія. Уѣзжаетъ ли онъ въ недолгую отлучку или на продолжительный срокъ, онъ мысленно съ нею, и его письма дышатъ искренней нѣжностью. Когда впослѣдствіи политическія тревоги вызвали его въ Лондонъ, онъ заводитъ дневникъ, гдѣ описываетъ Стеллѣ въ немногихъ, но характеристическихъ словахъ все, что видѣлъ и испыталъ въ тотъ день, — и съ разсказомъ о крупныхъ событіяхъ смѣшивается шаловливая болтовня, словно съ маленькимъ ребенкомъ, о томъ, что - то въ это время подѣлывала Стелла: теперь, вѣроятно, она встала, идетъ въ садъ, своими рученками срываетъ розы; вотъ къ ней идутъ гости, сосѣдній викарій съ женой; вотъ они садятся за карточный столикъ, — и Богъ вѣсть чего не пригрезится одинокому Джонатану, который переживаетъ всѣ мелочи жизни своей подруги, осыпая ее тысячею нѣжныхъ названій, по большей части въ условныхъ сокращеніяхъ, которыя лишь недавно были сколько-нибудь сносно поняты, а до настоящей поры тщательно опускались цѣломудренными издателями Свифтовыхъ произведеній *).

*) Такъ *M. D.* въ этой перепискѣ значить *my dear* (моя дорогая), *Ppt* — *poor pretty thing* (бѣдненькая милая крошка), тогда какъ псевдонимъ самого Свифта, очевидно вятый изъ шутливаго прозвища, даннаго ему Стеллой —

Это именно *Journal to Stella*, который навсегда останется памятникомъ сердечныхъ отношеній двухъ замѣчательныхъ людей своего времени и образцомъ мастерски веденнаго дневника, отражающаго какъ въ зеркалѣ жизнь человѣка изо-дня въ день.

Но у этого страннаго существа, сложеннаго изъ противорѣчій, и въ задушевномъ отношеніи къ его „доброму генію“, какъ называлъ Стеллу Теккерей^{*)}, есть неизбѣжная двойственность, порой загадочная. Съ тѣхъ поръ какъ Стелла прибыла въ Ирландію, она никогда не жила подъ одною крышею со Свифтомъ, но всегда гдѣ-нибудь по близости. Лишь въ его отсутствіе она имѣла право жить у него, что въ первое время порождало немало сплетенъ. Она бывала у него хозяйкой на сборищахъ, оживляла ихъ, но передъ свѣтомъ не имѣла никакихъ правъ въ его домѣ. Его нѣжность къ ней часто отъ отеческаго тона переходитъ почти къ тону любовника, но никто не могъ прослѣдить дѣйствительно страстныхъ отношеній между ними, такъ что одни біографы прямо говорятъ о платоническомъ характерѣ этихъ безконечно долгихъ отношеній, тогда какъ другіе, подобно Вальтеръ-Скотту, принуждены предполагать вліяніе физическаго недостатка. Свифтъ съ скрытымъ неудовольствіемъ поспѣшилъ разстроить искательство какого-то непрошеннаго жениха, но самъ никогда не хотѣлъ и думать о бракѣ. И при всемъ томъ она не перестаетъ жить его интересами и заботами, цѣлыми годами не видитъ его, но вѣрить въ его привязанность. Онъ сближается съ другими женщинами, одерживаетъ надъ ними побѣды, но въ завѣтномъ уголкѣ своего сердца умѣетъ сберечь преданность Стеллѣ и пишетъ ей такія же ласковыя письма, какъ и въ былые годы.

Когда Свифту приходилось бывать въ Лондонѣ по личнымъ дѣламъ или по порученіямъ своего духовнаго началь-

Pdfr (poor dear foolish rogue), является непереводимымъ смѣшеніемъ ласковыхъ и укоризненныхъ словъ.

*) The english humorists. L. 1853, p. 43.

ства, онъ все внимательнѣе вглядывался въ сложныя политическія отношенія; Темплъ своими разсказами о людяхъ и нравахъ далъ ему ключъ къ ихъ пониманію. Перебѣнился правитель, насталъ новый режимъ, или, вѣрнѣе, открылась безцеремонная борьба честолюбій и хищничества, облегченная безхарактерностью и ограниченностью королевы Анны, чье царствованіе вообще страннымъ образомъ совпало съ блестящею порой дѣятельности Свифта. Обѣ главныя партіи не пренебрегали ничѣмъ для достиженія власти, интриговали при помощи приживалокъ и фаворитовъ королевы и ждали себѣ милостей съ задняго крыльца. Зоркій наблюдатель могъ предсказать, когда одержитъ верхъ та или другая изъ спорящихъ сторонъ, и воспользоваться этимъ успѣхомъ, для того чтобы осуществить личныя свои намѣренія или же провести въ жизнь дорогую ему идею. И виги, и торіи, представлялись Свифту одинаково подходящими орудіями въ рукахъ человѣка съ волею и умомъ. О, еслибъ только дали ему дѣйствовать! Онъ не посмотритъ тогда на кличку и ярлыкъ, украшающій его клеветовъ, и заставитъ ихъ дѣлать то, что онъ захочетъ. Не всѣ ли они только притворяются преданными извѣстнымъ принципамъ, тогда какъ ими движетъ одинъ лишь эгоизмъ, нажива, кастовый духъ!.. Онъ понялъ, что въ этой средѣ памфлетъ, пущенный умѣлою рукой, мѣткое обличеніе, могутъ сдѣлать чудеса,— и рѣшился бросить, хоть на время, свое захоlustье и перенестись въ центръ столичной толчеи.

Неприглядна картина англійскаго дореформеннаго парламентаризма XIX в., обрисованная нѣсколькими сатириками, въ особенности Диккенсомъ, и сводящая самоуправленіе цѣлой страны къ полновластію двухъ-трехъ семей, захватывающихъ въ свои руки всѣ вліятельныя должности,—но въ то переходное время (конецъ XVII и начало XVIII вѣка) этотъ порядокъ вещей производилъ удручающее впечатлѣніе. Не было надеждъ на лучшее будущее, не было гласности парламентскихъ преній, зоркаго контроля печати, общественнаго мнѣнія, митинговъ, сходокъ, демонстрацій, зарожденія новыхъ партій. Два вражескихъ стана боролись

другъ съ другомъ, оживленные мстительностью и ненавистью. Достигнуть ли они власти, — первая ихъ забота о мщеніи. Время еще грубое, старинная свирѣлость свѣжа въ памяти; за два царствованія передъ тѣмъ была въ ходу плаха, еще вистѣлица повсюду щедро примѣняется, измѣнниковъ бросаютъ въ Тоуэръ и судятъ инквизиціоннымъ способомъ. Первые же шаги Свифта въ Лондонѣ навели его на начатое только-что передъ тѣмъ уголовное дѣло, гдѣ лорды Оксфордъ, Соммерсъ, Портландъ и Галифаксъ обвинялись въ тяжкихъ государственныхъ преступленіяхъ. — Безправный народъ, чьимъ мнѣніемъ нахально спекулировали, пуская въ ходъ при выборахъ подкупы, застрашиванья и другія средства, которыми справедливо прославилась старая избирательная практика въ Англіи, презрительно игнорировался. Свифтъ слишкомъ близко зналъ жизнь бѣдныхъ людей, въ своемъ служеніи сталкивался вдоволь съ народомъ, небольшие путешествія любили дѣлать пѣшкомъ, приставая къ обозникамъ, ночуя въ тавернахъ, вмѣшиваясь въ сѣрую толпу. Всегда живы и ясны были передъ нимъ народныя испытанія, и, хотя большую часть жизни ему пришлось проводить съ аристократами, онъ въ глубинѣ души всегда оставался заклятымъ врагомъ барства.

Единственная сила, способная обуздать своеволие правившихъ классовъ, тогда только-что нарождалась. Послѣ широкаго развитія политической прессы въ дни революціи и республики, долгій застой парализовалъ руководящее дѣйствіе печати на жизнь. Журналистика снова возродилась, но избирала болѣе осторожный путь сатирическаго, вѣрнѣе—нравоучительнаго или нравоописательнаго листка, рассчитаннаго скорѣе на семейное воспитывающее чтеніе, чѣмъ на страстную борьбу съ злобой дня. Уже понемногу сходились отовсюду дѣятели того кружка, который создалъ англійскую сатирическую журналистику, ставшую вскорѣ образцомъ для „моральныхъ изданій“ (Moralische Wochenschriften) всего континента *), Аддисонъ, Стиль и ихъ со-

*) Вліяніе «Spectator'a», «Tattler'a» и другихъ руководящихъ изданій

трудники. Юморъ Свифта и выказанныя уже имъ способности публициста предназначали его не только войти въ этотъ кружокъ на правахъ рядового его члена, но и приобрести значеніе руководителя, ведущаго остальныхъ за собою въ атаку. Ему недоставало и открыто дѣйствующаго политическаго органа. Неудовлетворяемая потребность въ немъ вызывала тогда подпольную, потаенную литературу, произведенія которой широко распространялись, какъ все, что скрашивается уже заманчивостью запрета. Всего удобнѣе было провести свою мысль въ толпу, изложивъ ее въ небольшомъ памфлетѣ, въ летучемъ листкѣ, безыменномъ и продающемся изъ-подъ полы. Grub-Street въ Лондонѣ была наполнена мелкими лавчонками и печатнями, которыя исключительно жили такими изданіями и искусно прятали станки, но иногда отваживались открыто выставить свою фирму, не смущаясь преслѣдованіями безцеремонной администраціи, умѣвшей и послѣ отмѣны цензуры въ 1694 году вытравлять оппозиціонныя мысли. Нельзя удивляться процвѣтанію подобной литературы, въ рядахъ которой вскорѣ оказался и Свифтъ, съ вольтеровскимъ самодовольствомъ забавлявшійся мистификаціею ближайшихъ къ нему лицъ. Выѣстъ съ сатирическими журналами эти памфлеты были единственнымъ спасеніемъ при отсутствіи

первора періода англійской журналистики на зарожденіе европейской правоучительной прессы XVIII вѣка въ настоящее время выясняется все очевиднѣе. Журналъ Мариво былъ сколкомъ съ «Зрителя», копенгагенскій «Spectateur du Nord» занесъ эту моду на скандинавскій сѣверъ, швейцарскіе и гамбургскіе листки упрочили ее въ Германіи (см. работы о нихъ Kawczynski: Die Moralischen Zeitschriften, Studien zur Literaturg. des 18 Jahrh. L., 1888); англійскіе и нѣмецкіе образцы вызвали русскія подражанія. На зависимость «Всякой всячины», «Живописца» и т. д. отъ англійскихъ изданій я указалъ, привелъ примѣры, въ своей книгѣ «Западное вліяніе въ новой русской литературѣ», М. 1883, стр. 78—81; несмотря на очевидность заимствованій, въ критикѣ послышались возраженія. Съ тѣхъ поръ вопросъ исчерпанъ въ статьѣ г. В. Солнцева, Журн. Мин. Нар. Просв. 1892, I, «Всякая всячина» и Спектаторъ», гдѣ обстоятельное сличеніе обоихъ изданій обнаружило, что правоучительная проповѣдь «Всячины» была просто переложеніемъ на русскіе нравы чужого матеріала.

правильныхъ условій политическаго быта. Ежедневной печати не было, парламентскія пренія хранились въ тайнѣ, сложная канцелярская машина безнаказанно перемалывала и уродовала жизнь, но массу видимо охватывалъ уже токъ умственной энергіи. Тутъ-то неприглядная сѣробумажная литература минуты должна была явиться немаловажною силой; ея боялись, передъ нею заискивали; она призывала къ своему суду все порочное и преступное, не разбирая общественного положенія обличаемаго лица.

По вѣрному замѣчанію Форстера, Свифтъ никогда не принадлежалъ ни къ одной партіи. Онъ дорожилъ своею независимостью, возможностью критически относиться ко всѣмъ направленіямъ, и, точно самостоятельная вооруженная сила, снисходилъ иногда до союза съ тѣмъ или другимъ изъ нихъ. Когда онъ брался за перо, руководители виговъ или торіевъ ошибочно считали это вмѣшательство услугой ихъ дѣлу. Его привлекало обаяніе власти, которую печатное слово могло дать скромно-поставленному человѣку, дѣлая его поводителемъ массъ. Помимо полезной стороны работы, это льстило и демоническому его самолюбію, разожженному невзгодами и разочарованіями. Ему доставляло удовольствіе ослѣпить человѣчество яркимъ огнемъ желчныхъ насмѣшекъ, раскрыть тайныя пружины мнимо-великихъ событій, срывать маски съ притворщиковъ, скрываясь подъ шапкой-невидимкой и видя, какъ послушныя куклы приходятъ въ движеніе. Это была его месть всему порядку вещей за то, что онъ не оставилъ ему ни уголка на солнцѣ.

Выраженіемъ такого строгаго суда надъ общественнымъ строемъ, мало того—надъ всѣмъ человѣчествомъ, явилась „Сказка о бочкѣ“ (Tale of a Tub), давно писавшаяся и, если вѣрить предисловію издателя, ждавшая только удобнаго времени для напечатанія. Удобно ли дѣйствительно было избранное наконецъ время,—объ этомъ, кажется, нечего говорить. Раздражить то учрежденіе, въ средѣ котораго надѣешься достигнуть блестящей будущности, дать противъ себя оружіе врагамъ, возстановить набожную королеву противъ такого отъявленнаго безбожника и вольно-

думца,—все это было бы странною непоследовательностью со стороны Свифта, еслибъ онъ былъ только искателемъ фортуны, какимъ онъ подчасъ можетъ казаться. Но въ печатаніи „Сказки“ именно въ ту пору, когда онъ явился въ Лондонъ, чтобъ улучшить свою судьбу, выразился страстный порывъ; его натуры, когда молчить мелкое честолюбіе, жажда высказаться побуждаетъ забыть осторожность, и когда изъ деревенскаго священника внезапно вырастаетъ грозный судья міровой исторіи

„Сказка о бочкѣ“—произведеніе своеобразное и по формѣ, и по слогу, по идеѣ, и по обстоятельствамъ, при которыхъ оно появилось. Разсказать въ видѣ сказки жизнь человѣчества за длинный рядъ вѣковъ и коснуться жгучихъ религіозныхъ вопросовъ, пережитыхъ за это время, скрывъ все подъ наивнымъ иносказаніемъ исторіи какого-то крестьянскаго семейства, и эту фабулу слить съ остроумною критикой социальныхъ и политическихъ отношеній,—мысль смѣлая и, по правдѣ сказать, трудно выполняемая. Сплошная аллегорія можетъ утомить читателя, а иносказательный языкъ съ теченіемъ времени можетъ утратить прозрачность намековъ *). Языкъ этой сатиры умышленною рѣзкостью поражалъ блюстителей литературныхъ приличій; юморъ, порою смѣняющій язвительную насмѣшку, отзывался намѣренной безцеремонностью образовъ и сравненій. Это шеголянье нескромностью, угловатостью приемовъ впослѣдствіи вошло въ моду у передовыхъ французскихъ писателей прошлаго вѣка, особенно у Вольтера, который, прочитавъ „Сказку“, сталъ восторженнымъ поклонникомъ Свифта **). Этотъ приемъ долженъ былъ казаться имъ особенно близкимъ и симпатичнымъ; иные изъ нихъ въ этомъ привольѣ насмѣшливой фантазіи, тѣшившейся созданіемъ гротескныхъ образовъ, видѣли воз-

*) Это, напримъ, находитъ Тэкерманъ (Characteristics of literature. Philadelphia, 1849, p. 81); при всемъ удивленіи красотамъ этого произведенія, онъ жалѣлъ, что такая примѣчательная сатира стала непонятною безъ объясненій и слишкомъ растянута.

**) См. его письма въ собраніи переписки Свифта, изд. 1768 г., т. II и III.

рожденіе своего національнаго достоянія, стараго галльскаго остроумія. Дѣйствительно, на Свифта вліяли старыя французскіе писатели, съ Рабле во главѣ. Вліяніе Рабле на „Гулливерово путешествіе“ не подлежитъ сомнѣнію; въ библиотекѣ Свифта найденъ экземпляръ Рабле, весь исписанный сбоку замѣтками и, стало-быть, составлявшій любимое чтеніе *). Можно поэтому предполагать, что и „Сказка“ не обошлась безъ того же вліянія. Но, кромѣ непринужденности сатирическихъ пріемовъ, она вызывала нападки неслыханнымъ, по мнѣнію правовѣрныхъ ханжей, неуваженіемъ къ религіи, ко всѣмъ существующимъ учрежденіямъ. Большой былъ соблазнъ въ клерикальномъ лагерѣ.

Заглавіе не сразу можетъ быть понято. Авторъ объясняетъ его въ предисловіи. Вліятельныя лица въ государствѣ были будто бы озабочены размноженіемъ умныхъ головъ, которыя того и гляди примутся разоблачать слабыя стороны всего строя вещей, и совѣщались однажды между собой. Въ разговорѣ одинъ собесѣдникъ разсказалъ, въ видѣ притчи, объ обычаѣ моряковъ. Когда они невзначай встрѣтятся съ китомъ, они для отвлеченія бросаютъ въ море пустую тонну (бочку); они знаютъ, что китъ тотчасъ займется ею и дастъ время кораблю уплыть. Всѣ призадумались, выслушавъ притчу, но вскорѣ догадались, однако, что корабль означаетъ собой государство, что китъ—это „Левіаѳанъ“ Гоббза **), нечестивая и вредная книга, породившая превратное направленіе новѣйшихъ философовъ и политиковъ. Догадались и о томъ, что этой мелкотравчатой семьѣ Левіаѳана необходимо бросить для ея развлеченія если не тонну, то „сказку объ ней“, которую бы она занялась, забывъ о своихъ вѣчныхъ нападкахъ на государство и церковь, — и поручили выполнить этотъ планъ автору сатиры. Объяснивъ заглавіе, увѣривъ читателя, что ограничится ролью правдиваго разсказчика и избѣжитъ обличительныхъ выходокъ (въ первой же главѣ онъ нарушаетъ

*) Статья Гоше въ *Jahrbuch für Literaturgeschichte*, 1865, I, 156.

**) *Leviathan, or the matter, form and power of a commonwealth*. 1651.

обѣщаніе), онъ начинаетъ свой разсказъ, часто прерываемый отступленіями, собственно со второй главы.

Передъ нами развертывается фабула притчи, въ отправной своей точкѣ схожей съ тою, которая, странствуя по старой европейской повѣсти, являясь въ „Римскихъ Дѣянiяхъ“, Декамеронѣ и т. д., перешла въ Лессингова „Натана“ *) и развилась въ немъ до величественной защиты свободы совѣсти и равенства всѣхъ исповѣданій, вложенной въ уста представителя гонимой религіи, гуманнаго философа—еврея. Сходство колець, завѣщанныхъ отцомъ сыновьямъ своимъ въ Лессинговой притчѣ, приводитъ къ тому, что обладатель каждаго изъ нихъ считаетъ свое кольцо настоящимъ и чудодѣйственнымъ, и располагаетъ свою жизнь такъ, чтобы быть достойнымъ владѣть этимъ сокровищемъ. Это сходство и навѣки утраченная возможность открыть чье бы то ни было первенство приводятъ къ равенству и братству. Завѣщаніе отца у Свифта проповѣдуетъ единство и согласіе, но исполненіе его приводитъ къ раздорамъ, враждѣ и злобѣ. Изъ двухъ мыслителей одинъ взывалъ къ лучшимъ сторонамъ человѣчества, другой клеймилъ его и печально смѣялся надъ нимъ.

У одного человѣка, гласитъ притча, было трое сыновей, родившихся одновременно, такъ что даже бабка не могла сказать, который изъ нихъ старше. Они были еще очень юны, когда отецъ, чувствуя близость смерти, призвалъ ихъ и въ прощальномъ словѣ сказалъ, что, не имѣя ничего за душой, даетъ имъ на память и въ наслѣдство лишь по новому платью: но эти платья способны никогда не изнашиваться и выростать, удлиняясь и расширяясь, по мѣрѣ роста человѣка. Давъ дѣтямъ указанія, какъ обходиться съ платьями, и обязавъ ихъ всегда жить вмѣстѣ, въ согласіи, отецъ умираетъ;—сила его завѣщанія была такова, что семь лѣтъ сряду братья прожили душа въ душу... Прежде чѣмъ продолжать разсказъ, раскроемъ иносказаніе,—далѣе

*) Вопросъ о вліяніи Свифта на Лессинга разсмотрѣнъ у Caro, Lessing und Swift, 1869.

оно все усложняется. Братья: Петръ, Мартинъ, Джэкъ—изображаютъ собой католичество, англиканскую церковь и диссентеровъ; ихъ одѣяніе—первоначальное вѣроученіе; семь лѣтъ дружной жизни—семь первыхъ вѣковъ христіанства, сберегавшихъ основы религіи почти неизмѣнными; наконецъ завѣщаніе отца—Новый Завѣтъ.

Подросли братья и отправились жить въ городъ, себя показать. Скоро отвыкли они отъ грубыхъ манеръ и научились свѣтскимъ тонкостямъ, и въ довершеніе всего влюбились въ трехъ знатныхъ дамъ. Увлекаясь мало-помалу новымъ обществомъ, они уже стыдятся своей хорошей, но не модной одежды. Всѣ носятъ на плечѣ банты, у нихъ же бантовъ и въ поминѣ нѣтъ. Завести модное хочется имъ, но они боятся нарушить волю родителя. Петръ, самый начитанный изъ нихъ и великій казуистъ, научаетъ ихъ, какъ посредствомъ натяжекъ и вычурныхъ толкованій, подбирания буквъ и слоговъ, они найдутъ въ завѣщаніи нужное имъ слово. Но мода пошла дальше; какой-то лордъ, вернувшись изъ Парижа, изумилъ всѣхъ золотымъ шитьемъ на кафтанѣ. Новое затрудненіе, новый казуистическій самообманъ,—и смиренная одежда покрылась галуномъ. Попавъ на торную дорогу, братья не останавливаются; появляются украшения за украшениями. Иными словами, церковь сблизилась съ мірскимъ началомъ, усвоила блескъ и пышность, налегла на внѣшнюю сторону культа.

Наконецъ Петру удается вкратъ въ довѣренность знатнаго человѣка; онъ сталъ воспитателемъ его дѣтей, а послѣ смерти его такъ усилился въ домѣ, что наконецъ выгоняетъ его семью и водворяется на ея мѣстѣ съ братьями. Онъ держитъ себя высокомѣрно, велитъ братьямъ называть его мистеръ Петръ, отецъ Петръ, даже милордъ Петръ, предается разнымъ затѣямъ, которыя должны обогатить его и поднять его значеніе. Тутъ уже въ немъ легко разгадать римскаго первосвященника. Онъ спекулируетъ всѣмъ, что ни попало, исповѣдью, индульгенціями, крестными ходами, чудесами, святою водою, издаетъ буллы, громящія еретиковъ. Затѣмъ въ томъ же иносказа-

тельномъ, порою добродушномъ, тонѣ авторъ проводить передъ нами другія нововведенія, — безбрачіе священниковъ, видоизмѣненіе обряда причащенія (здѣсь католическое ученіе о пресуществленіи осмѣяно при помощи юмористической сцены между братьями за обѣдомъ). Безумство Петра доходитъ до крайнихъ предѣловъ, и братья расходятся, — произошелъ реформаціонный переворотъ. Мартинъ и Джэкъ идутъ каждый самостоятельно, не обращая вниманія на грозныя проклятія Петра. Симпатіи автора не на сторонѣ Джэка; свое нерасположеніе къ фанатизму англійскихъ и особенно шотландскихъ диссентеровъ онъ перенесъ и въ сказку. Джэкъ дикъ и неистовъ, всюду умѣетъ пробраться и навязать свои убѣжденія; въ разныхъ странахъ ему придаютъ разнообразныя названія, считая мѣстнымъ уроженцемъ, — въ этихъ названіяхъ легко узнать намеки на Кальвина, Іоанна Лейденскаго, Нокса, гугенотовъ и др. Джэкъ вообще всего больше напоминаетъ старшаго брата; онъ, правда, принялся передѣлывать отцовское платье на свой ладъ, испортилъ его и на живую нитку сметалъ, но духъ его исправленій часто напоминаетъ обрядность, выдуманную Петромъ. Одинъ Мартинъ остался вѣрнѣе завѣту отца, хотя не свободенъ отъ упрека въ неразумныхъ отступленіяхъ. Между нимъ и Джэкомъ частыя несогласія и даже открытая борьба. Передъ читателемъ проходятъ, подъ покровомъ аллегоріи, главнѣйшія событія англійской исторіи со времени реформации, особенно казнь Карла I, регентство Кромвеля, который совѣмъ въ рукахъ Джэка и начинается эра раздоровъ и несогласій. Этотъ историческій обзоръ прерывается въ пору реставраціи. Иностранца (Вильгельма) призываютъ для того, чтобъ изгнать при его помощи прежняго хозяина, который уже готовъ былъ снова водворить ученіе Петра. Притча обрывается рѣзко, на недосказанной фразѣ, которою авторъ хотѣлъ заступиться за частыя попытки примирить Мартина съ Джэкомъ, постоянно разстраиваемыя тайными друзьями папизма.

Этою притчей, свободно обличавшею фанатизмъ, властолюбіе и хищничество во всемъ клерикальномъ мірѣ, далеко

не исчерпывается содержание „Сказки“, хотя современники считали ее исключительно антицерковною сатирой. Не мало эпизодических вставокъ, въ которыхъ Свифтъ переходитъ къ другимъ, разнообразнымъ темамъ. Тутъ есть желчныя насмѣшки надъ современною наукой, педантическою и въ то же время несостоятельною, словно раздутою вѣтромъ до обманчиво - чудовищныхъ размѣровъ, — и авторъ забавляется рассказомъ о новой ученой сектѣ золистовъ, которые учатъ, что началомъ всему былъ вѣтеръ, и что въ него же подъ конецъ все существующее должно рас-твориться; рядомъ съ этимъ есть проектъ приспособленія Бедлама для общепользныхъ цѣлей и назначенія коммисіи, которая, изучивъ нравы, склонности и любимыя идеи жителей этого почтеннаго учрежденія, дала бы каждому изъ нихъ соотвѣтствующее дѣло въ общественной жизни. При этомъ зло осмѣяны ходячіе взгляды на назначеніе важнѣйшихъ профессій; проведена параллель между проповѣдническою кафедрой, лѣстницей, ведущей на висѣлицу *), подмостками бродячаго комедіанта: это, по Свифту, три вида ораторскихъ машинъ, которыя способствуютъ человѣку выдѣлиться изъ толпы, подняться надъ нею и говорить къ ней (судейское краснорѣчіе авторъ затрудняется включить въ тотъ же кругъ, такъ какъ скамьи, съ которыхъ льются ораторскіе потоки этого рода, не подъ стать тѣмъ тремъ высокимъ подставкамъ). Гоше справедливо удивляется **) тому, что эту параллель, пространно развитую, авторъ не исключилъ изъ своего произведенія даже послѣ того, какъ самъ нѣсколько разъ уже говорилъ къ народу съ первой изъ упомянутыхъ машинъ,—и прибавимъ, послѣ того, какъ онъ сильнѣе чѣмъ когда-либо добивался устройства своей судьбы именно въ церковной сферѣ.

Появленіе „Сказки“ было событіемъ въ литературной и

*) Въ ту пору нерѣдко шедшіе на висѣлицу обращались къ толпѣ съ рѣчами. Свифтъ остритъ надъ однимъ книгопродавцемъ, который постарался достать записанныя эти рѣчи и издалъ ихъ отдѣльно.

**) *Jahrb. für Literaturgeschichte*. 1865, I, 144.

общественной жизни. Если для новѣйшаго читателя форма и приемы этой сатиры могут показаться устарѣвшими, то для того времени оригинальность и безцеремонность нападокъ на традиции, издавна неприкосновенныя, должна была дѣйствовать увлекательнымъ образомъ. Всѣ спрашивали другъ у друга, кто неизвѣстный авторъ, и, теряясь въ догадкахъ, приписывали сатиру четыремъ различнымъ лицамъ. Сановники и приверженцы господствующей перкви (High-Church), казалось, должны были быть всѣхъ довольны, но сатирикъ нашелъ и въ ней темныя пятна, легкомысленно относился къ обрядамъ и догматамъ, заявлялъ свое сочувствіе Гоббзу и его Левіаѳану;—разрушительныя его убѣжденія были очевидны.

Свифтъ, являясь защитникомъ High-Church, вовсе не имѣлъ въ виду восхвалять чистоту ея ученія. „Эта церковь, — говоритъ Мэссонъ въ своей статьѣ о нашемъ сатирикѣ *),— представляетъ собой цѣлую отрасль общегосударственной жизни англійской, вкоренилась въ обычаи и интересы народа, сплелась съ социальнымъ порядкомъ,—и подобно тому, какъ какой-нибудь браминъ, не заботящійся особенно о философскомъ оправданіи своей религіи, могъ бы тѣмъ не менѣе желать удержать и далѣе браманизмъ, какъ исконное учрежденіе въ жизни Индустана, такъ Свифтъ, чье сердце и умъ преисполнены были сомнѣній въ освященныхъ традиціяхъ, могъ вѣрить въ извѣстную пользу созданной подъ ихъ вліяніемъ фабрики, выдѣлывающей епископовъ, приходскихъ священниковъ, викаріевъ, округляющей церковныя имущества“ и т. д. Въ этой защитѣ была даже какъ будто патріотическая основа, убѣжденіе, что крѣпость церковной организаціи будетъ содѣйствовать упроченію національнаго и государственнаго единства, въ то время еще далеко не твердаго. Этой защитѣ было посвящено Свифтомъ въ послѣдствіи много разсужденій, ходившихъ по рукамъ и заключавшихъ въ себѣ нерѣдко, на-ряду съ философскими

*) Essays, biographical and critical, chiefly on english poets, by D. Masson. Cambr., 1856, 149.

или догматическими доводами, неожиданные брызги увлекательного юмора. Въ пору появленія „Сказки“ Свифтъ началъ въ этомъ духѣ долгую агитацію во вліятельныхъ лондонскихъ сферахъ.

Въ одной изъ любимѣйшихъ кофейныхъ столицы (Button's coffeahouse), гдѣ собирались по вечерамъ наиболѣе извѣстные писатели, привыкшіе другъ къ другу собесѣдники стали съ нѣкотораго времени замѣчать странную фигуру скромно одѣтаго пастора, державшагося обыкновенно въ сторонѣ, упорно молчавшаго, машинально расплачивавшагося и таинственно исчезаващаго. Подслушали затѣмъ его разговоръ съ кѣмъ-то изъ обѣдавшихъ и какъ разъ попали на одну изъ забавнѣйшихъ, но тѣмъ не менѣе странныхъ выходокъ, которыя не всякій день удается услышать. Они прозвали незнакомца сумасшедшимъ пасторомъ, не догадываясь, что видятъ передъ собой своего будущаго диктатора. Мало-помалу таинственность разсѣялась, наступило сближеніе, установились дружескія связи, изъ которыхъ нѣкоторыя остались неразрывными на всю жизнь; такими вѣрными друзьями были для него Аддисонъ и въ особенности Арбэтнотъ и Попъ. Очутившись въ самомъ центрѣ литературы, Свифтъ въ то же время сумѣлъ сблизиться съ руководящими лицами міра политическаго. Его вскорѣ знали и цѣнили. Сношенія его съ правительствомъ были вызваны требованіемъ важной для ирландской церкви отмѣны десятины, взымавшейся въ королевскую казну съ приходскихъ земель и имуществъ, и другихъ, не менѣе обременительныхъ налоговъ, при бѣдной обстановкѣ сельскаго быта въ Ирландіи подчасъ невыносимыхъ. Отмѣна была тѣмъ желательнѣе, что незадолго передъ тѣмъ она въ видѣ особой милости была уже проведена въ Англіи. Свифтъ запасся полномочіями отъ высшихъ ирландскихъ духовныхъ властей, но агитація его встрѣтила препятствія и затягивалась безконечно. Много обѣщали, но мало дѣлали; королева не расположена была къ уступкамъ, видя, что милостью все-таки не купишь расположенія англійскаго священства. Не того ждалъ Свифтъ отъ виговъ; въ вопро-

сахъ церковныхъ они вовсе не оказывались такими либералами, какими величали себя, становясь подъ знамя просвѣщеннаго свободомыслія. Свифтъ вель съ ними дружбу, появлялся въ ихъ салонахъ, бывалъ центромъ общества, предметомъ восторженнаго удивленія женщинъ, но ясно видѣлъ безсодержательность направленія слабыхъ потомковъ тѣхъ виговъ, чье важное историческое призваніе и славное прошлое высоко цѣнили. Подъ вліяніемъ досады на очевидное стремленіе держать низшее, сельское духовенство въ загонѣ, онъ создаетъ прелестную небольшую поэму, внушенную классическимъ сказаніемъ о Филемонѣ и Бавкидѣ, но аллегорически относившуюся къ злобѣ дня. Эта бездѣлка, особенно въ исправленномъ по рукописи видѣ ея, приведенномъ у Форстера, рисуетъ идиллическую картину старой и дружной четы, живущей въ какой-то невѣдомой деревушкѣ и хранящей старосвѣтскіе обычаи гостеприимства и сердечности. По деревнѣ идутъ два пустынника, святые люди, нарочно надѣвшіе на себя лохмотья, чтобъ испытать людскую сострадательность. Они выпрашиваютъ себѣ тономъ каликъ переходящихъ подъ окнами милостыню, а когда настаетъ дурная погода, просятъ на ночлегъ, но всюду ихъ встрѣчаютъ грубостями или насмѣшками. Только подъ крышей у старичковъ находятъ они теплый уголь и радушный пріемъ; хозяйка суетится, чтобы принести имъ все, что есть съѣстнаго, добываетъ пива, но, къ немалому своему удивленію, начинаетъ замѣчать, что всѣ эти припасы не убавляются, хотя очевидно пришлось гостямъ по вкусу. Она догадывается, что передъ нею люди не простые,—и точно, они скоро открываются своимъ хозяевамъ и возвѣщаютъ имъ, что, въ награду, скудный домикъ вырастетъ на ихъ глазахъ и станетъ церковью, тогда какъ хаты всѣхъ прочихъ крестьянъ будутъ поглощены наводненіемъ. И вотъ начинается таинственное превращеніе, описанное съ неподдѣльнымъ юморомъ; всѣ незатѣйливые предметы бѣднаго хозяйства, кухонныя принадлежности, мебель, мало-помалу превращаются въ церковную утварь, старое скрипучее кресло Филемона стано-

вится каедрой; стѣны вырастаютъ, труба дѣлается церковнымъ шпиромъ. Возвеличивъ убогій домикъ, святыя спрашиваютъ старика, чего же онъ пожелаетъ лично для себя. Понятно, что ему хочется стать священникомъ въ чудесно созданной церкви. Едва сказалъ онъ это, какъ у него вытягивается платье, удлиняются рукава, и онъ уже совсѣмъ смотритъ пасторомъ, а вскорѣ начинаетъ добросовѣстно исправлять священническія обязанности. Свифтъ съ добродушнымъ юморомъ рисуетъ типъ зауряднаго сельскаго пастыря душъ; онъ умѣетъ „и покурить, и выпить, и газеты почитать, и продать въ сосѣднемъ городкѣ гуся, стыдливо спрятавъ его подъ полонъ; знаетъ, какъ можно повторить старую проповѣдь, переѣмивъ лишь кое-что во вступленіи и въ текстѣ ея; умѣетъ пожелать своимъ прихожанамъ обильнаго потомства; стоитъ горой за свой титулъ *преподобія* и отѣнно любезенъ съ сосѣднимъ сквайромъ“.

За такихъ-то бѣдняковъ, какіе изображены въ поэмѣ (стоящей хорошаго русскаго перевода), Свифтъ заступался въ Лондонѣ, безпокая вліятельныхъ людей, но безъ успѣха. Эти непосредственныя сношенія выдвигали вмѣстѣ съ тѣмъ и самого просителя,—и, въ силу двойственности его натуры, онъ старался удовлетворить собственное честолюбіе. За него не разъ хлопотали у королевы; самъ онъ заботился о томъ, чтобы какой-то его трактатъ о поддержаніи христіанства попалъ въ руки Анны; ему хотѣлось бы произнести проповѣдь при ней. Для устройства его судьбы составляли разные планы: то ему хотятъ доставить видное мѣсто среди столичнаго духовенства, то прочать въ епископы въ Америку, то онъ самъ заводитъ рѣчь о посылкѣ его въ Вѣну въ качествѣ секретаря посольства. Но ни одинъ изъ этихъ плановъ не выполняется. Королева не благоволяетъ къ нему. Одна изъ ея фаворитокъ, задѣтая эпиграммой Свифта, вмѣстѣ съ нѣсколькими высшими духовными лицами втолковала недалёковидной Аннѣ, что человѣкъ, написавшій *Tale of a tub*, безбожникъ, не заслуживающій никакихъ милостей. Но Свифтъ настойчивъ и порою легковѣренъ въ своихъ ожиданіяхъ карьеры; говоря

словами Теккерея, онъ все ждетъ, что вотъ-вотъ покажется золотая карета, которая везетъ ему всякія блага, высокія назначенія, облаченіе епископа,—но карета гдѣ-то замѣшкалась на пути изъ сентъ-джермского дворца, да такъ и не показалась во всю его жизнь... Онъ продолжалъ по-прежнему вращаться въ избранныхъ сферахъ, среди родовой или литературной аристократіи, появлялся то на обѣдахъ у министровъ, то на веселыхъ вечерахъ въ тавернѣ, излюбленной писательскою братіей. Можно прослѣдить всю его жизнь за эти годы ожиданія и надеждъ въ дневникѣ, назначенномъ для Стеллы. День за день рассказываетъ онъ ей мельчайшія подробности, съ кѣмъ обѣдалъ, что слышалъ, какъ провелъ вечеръ, какъ сострилъ или отвѣчалъ какому-нибудь надменному баричу. Порою онъ жестоко бранитъ столичную сутолоку, но, видимо, онъ тутъ въ своей стихіи. Только позднюю ночью, вернувшись изъ гостей, или утромъ, еще въ постелѣ, онъ находитъ минутку, чтобы побесѣдовать съ любимою женщиной, мысленно осыпая ее поцѣлуями и заканчивая письмо иногда длиннымъ рядомъ строкъ, гдѣ нѣсколько разъ повторяется одно и то же слово („моя крошка, моя милая“...). Въ эти минуты онъ—прежній Джонатанъ, со всѣми хорошими свойствами его натуры, съ презрѣніемъ къ суетности и высокоумію,—но еще нѣсколько часовъ—и омутъ опять втягиваетъ его.

Но у него и тутъ бывали просвѣты, и съ тѣхъ поръ, какъ онъ сошелся съ нѣсколькими даровитыми юмористами, соревнованіе съ ними вызывало у него порою остроумную шутку или пародію. Одна изъ его великосвѣтскихъ знакомыхъ увлекалась душеполезными трактатами, носящими часто титулъ „Размышлений“,—онъ написалъ „Размышленія о метлѣ“ (*Meditations on a broomstick*). Съ напускною серьезностью задумывается онъ надъ судьбой метлы, сравниваетъ ее съ участію человѣка во всѣ періоды жизни, отъ той поры, когда метла еще—юное деревцо, до того времени, когда она доходитъ до своего прозаическаго назначенія. Еще злѣе насмѣшка надъ современною знаменитостію, предсказателемъ Партриджемъ, издававшимъ мод-

ный астрологическій альманахъ, поддерживая въ массѣ невѣжество и суевѣріе. Прикрывшись прославленнымъ вскорѣ псевдонимомъ Исаака Биккерстаффа, Свифтъ выпустилъ собраніе своихъ предсказаній, искусно перенявъ шарлатанскіе приемы астрологовъ,—и, между прочимъ, съ шутливою важною предсказалъ день, часъ, чуть не минуту смерти самого Партриджа. Поднялась забавная сумятица. Несчастный предсказатель выпустилъ новый альманахъ и увѣрялъ публику, что онъ не умеръ въ назначенное время, а это, по его мнѣнію, ясно доказываетъ нелѣпость предсказаній его противника. Онъ дѣйствовалъ противъ него всевозможными средствами, не зная, кто авторъ пародіи; лондонскіе книгопродавцы, однако, почему-то увѣровали въ дѣйствительную смерть астролога и обратились къ властямъ съ просьбой прекратить самозванное печатаніе подъ именемъ Партриджева альманаха чьихъ-то безсовѣстныхъ поддѣлокъ. Словомъ, впечатлѣніе, произведенное Биккерстаффомъ, было громадное, и книга достигла цѣли. Но этому курьезному эпизоду пришлось, кромѣ того, сыграть не послѣднюю роль и въ исторіи англійской прессы; съ него можно вести лѣтописи сатирической журналистики *). Одинъ изъ ближайшихъ литературныхъ друзей Свифта, Стилъ, подмѣтивъ сильный эффектъ, произведенный на массу вымышленною комическою личностію Биккерстаффа, задумалъ воспользоваться этимъ, когда, перепробовавъ цѣлый рядъ профессій, отъ военной до проповѣднической, онъ задумалъ попытать счастья въ периодическихъ забавныхъ бесѣдахъ съ публикой. Взявъ напрокатъ у Свифта его псевдонимъ, онъ основалъ при его помощи своего „Болтуна“ (The tattler), и успѣхъ былъ такъ великъ, что и послѣ прекращенія журнала, его номера со-

*) Въ нѣкоторой степени провозвѣстникомъ ся былъ основанный въ 1704 г. Даниэлемъ Дефо журналъ „The Review“, въ которомъ помѣщались сатирическіе очерки фельетоннаго характера подъ назов. „Скандалной хроники“. Шутка Свифта очень рано была переведена по-русски. Она помѣщена въ Миллеровыхъ „Сочиненіяхъ и переводахъ къ пользѣ и увеселенію служащихъ“, VII, 1758, „Письмо съ предсказательствами Бикерштафа. Годъ спустя, въ Трудолюб. пчелѣ Сумарокова перев. было изъ Свифта «О естествѣ, пользѣ и т. д. войны и ссоръ».

бирали за большую цѣну и читали, какъ интересную книгу, — подобно тому какъ Новиковскій „Живописецъ“ переиздавался и перечитывался много разъ послѣ того, какъ лица и происшествія, вызвавшія его сатиру, успѣли давно забыться. Этимъ успѣхомъ Стилъ былъ обязанъ Свифту, который выступилъ у него впервые въ роли журнальнаго сатирика.

Но политическія тревоги оставляли мало простора для веселой насмѣшки надъ человѣческими слабостями. Борьба партій становилась все ожесточеннѣе. Положеніе виговъ было расшатано. Общественное мнѣніе тяготилось постоянно возникавшими процессами, возбуждаемыми противъ торіевъ, на которыхъ легкомысленно взводились обвинения въ государственной измѣнѣ. Неудачи въ военныхъ дѣйствіяхъ англійскихъ войскъ и союзной австрійской арміи въ Голландіи и Испаніи въ теченіе безконечной войны за испанское наслѣдство, ошибки Мальборо, еще недавно считавшагося первокласснымъ полководцемъ, ставились въ число прегрѣшеній кабинета. Наконецъ интриги придворныхъ приживалокъ и приживальщиковъ тоже были пущены въ ходъ, на этотъ разъ съ особою силой. Новая фаворитка лэди Мэшамъ работала безъ устали для своихъ торійскихъ друзей. Анна становилась все смѣлѣе и безцеремонно, очевидно по обдуманному плану, смѣняла и отрѣшала отъ должности то въ томъ, то въ другомъ вѣдомствѣ главныхъ лицъ, замѣняя ихъ торіями. Этотъ образъ дѣйствій, непривычный и незаконный, смущалъ виговъ, въ томъ числѣ и Свифта, предвѣщая близость переворота. Свифтъ попытался выступить посредникомъ. Въ безыменномъ памфлетѣ „Мысли члена англійской церкви о религіи и правительствѣ“ онъ старался сблизить партіи, указать на крайности ихъ направленій, разжигаемыя личными антипатіями, и устанавливалъ основы соглашенія. Мысли, высказанныя имъ, его взглядъ на преимущества свободныхъ учреждений, навеліе принципа народнаго самоуправления, раскрываютъ настоящія политическія убѣжденія Свифта, грѣшившаго на практикѣ тѣмъ, что честолюбіе и жажда власти надъ умами увлекали его порою съ пути послѣдовательности. Совѣты примиренія были, однако, уже

несвоевременны. Смѣшанный составъ министерства ничего не поправилъ, и Свифтъ, утомленный этою медленною агоніей, бросилъ наконецъ Лондонъ и вернулся въ Ирландію, къ своему приходу, къ Стеллѣ. Онъ хотѣлъ войти въ прежнюю роль, прервалъ сношенія съ вельможами и толки о политикѣ. Но въ эту именно пору въ его жизни настаетъ новая эра. Завѣтныя мысли его начинаютъ сбываться. Онъ, только-что бросившій Лондонъ, скоро вернется туда, — и вернется другимъ человѣкомъ.

III.

Вѣсти изъ столицы, письма отъ близкихъ людей, молившихъ о совѣтѣ и помощи, все показывало, что дни вигскаго кабинета Годольфина сочтены. Однимъ ударомъ положенъ былъ конецъ паникѣ. Не дожидаясь распушенія парламента, королева устранила прежнее министерство и поставила во главѣ новаго двухъ людей, давно добивавшихся власти, даровитыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ искушенныхъ въ томъ, что считалось тогда политической мудростью, — Гарлея, будущаго лорда Оксфорда, и молодого государственнаго секретаря Сентъ-Джона, пріобрѣтшаго впослѣдствіи, подъ именемъ лорда Болингброка, репутацію тонкаго политика и мыслителя. Затѣмъ палата была распушена, назначены выборы, и насталъ періодъ могущества торіевъ.

Быстрота, съ которой Свифтъ въ эту критическую пору перешелъ въ противоположный лагерь, поразила тогда многихъ, и всегда будетъ производить удручающее впечатлѣніе. Но понять связь этого образа дѣйствій съ его взглядомъ вообще на людей и социальный порядокъ, съ наболѣвшимъ на его душѣ сознаніемъ несправедливости, неблагодарности, съ неутолимымъ властолюбіемъ, не трудно. Все сошлось, чтобъ облегчить ему такой переходъ, и его постоянныя стремленія стоятъ между партіями и, стало-быть, не подчиняться ничьей дисциплинѣ, и разочарованіе въ современныхъ представителяхъ вигизма, начавшееся до обрушив-

шейся на них грозы, и готовность новыхъ министровъ исполнить его предложенія и провести его проекты, и раздраженіе на вчерашнихъ друзей, когда они всюду клеймили его *измѣнну*. А мечты о власти, о могуществѣ?.. Едва Свифтъ узналъ о назначеніи Гарлея, какъ у него вырвалось восклицаніе: „я обращаюсь къ нему,—онъ прежде выказывалъ ко мнѣ предупредительность, и, если не измѣнился, то, думаю, найдетъ теперь полезнымъ обойтись со мной хорошо“. Въ этихъ словахъ сказалась сладкая душевная тревога, охватившая его честолюбивую натуру.

Положеніе было, однако, двусмысленное и мучительное. Новые люди напрашивались въ друзья, Гарлей добивался личнаго знакомства съ сельскимъ пасторомъ, а старые друзья съ печалью отворачивались отъ него или съ пѣной у рта громили его всюду. На одномъ банкетѣ его пригласили выпить за возрожденіе партіи виговъ,—онъ наотрѣзъ отказался, добавивъ, что подниметъ бокаль только за ея перерожденіе. Вѣсть о паденіи ихъ, по его словамъ не произвела на него никакого впечатлѣнія,—„онъ столько же огорчился, какъ еслибы узналъ, что ихъ всѣхъ повѣсили“. Онъ сталъ наконецъ мстить павшимъ рыцарямъ печальнаго образа злыми сатирами и эпиграммами, которыя мигомъ разносились по городу и съ восторгомъ читались торіями,—наприм. басней „Sid Hamet's Rod“, осмѣявшей Годольфина. Этотъ избытокъ силъ и очевидная способность даровитаго писателя властвовать надъ массами заставили торійскихъ вождей сдѣлать первый шагъ и сблизиться съ такимъ могучимъ союзникомъ. „Мы всѣ боялись васъ“, признался ему потомъ одинъ изъ нихъ. Вскорѣ министерство сильно почувствовало важность его поддержки.

Прежде всего Свифтъ сблизился съ Гарлеемъ, сталъ появляться на его обѣдахъ, всегда осыпaeмый ласками; министръ съ особымъ вниманіемъ выслушалъ его ходатайство за ирландское духовенство, интимно бесѣдовалъ съ нимъ въ кабинетѣ, сталъ называть его своимъ другомъ и „Джонатаномъ“; за обѣдомъ гости и хозяинъ декламировали новѣйшіе его стихи, притворяясь, что не могутъ разгадать

анонима. Затѣмъ наступила очередь Сентъ-Джона. Этотъ молодой еще человѣкъ, выказавшій себя искуснымъ ораторомъ въ парламентѣ, былъ самымъ умнымъ, философски образованнымъ и способнымъ членомъ министерства; переписка его съ Свифтомъ, не прекращавшаяся потомъ много лѣтъ *), выставляетъ его человѣкомъ самостоятельныхъ убѣжденій, хотя и не безъ погони за оригинальностью, который, быть-можетъ, одинъ только въ правительственныхъ кругахъ могъ понять настоящее значеніе Свифта,—а высокое мнѣніе о немъ Вольтера, въ послѣдствіи и другихъ французскихъ литературныхъ дѣятелей, узнавшихъ Болингброка уже послѣ его паденія, въ годы его изгнанія во Франціи, подтверждаетъ, что въ немъ было не одно лишь властолюбіе. Благодаря его личнымъ настояніямъ, ходатайство Свифта за ирландское духовенство увѣнчалось успѣхомъ. Ободренный этимъ, онъ бросился въ разгаръ борьбы и неутомимо работалъ въ теченіе всѣхъ трехъ лѣтъ этого блестящаго періода его жизни. Основанный торіями для полемики съ врагами „Examiner“ перешелъ въ неограниченное распоряженіе Свифта, который, почти безъ сотрудниковъ, вѣчно на своемъ посту, руководилъ общественнымъ мнѣніемъ, дѣйствуя на него всѣми богатыми средствами своего таланта. Дѣло было не легкое. Положеніе министерства было непрочное; то финансовыя затрудненія, то неудачи на войнѣ, бездна мелкихъ внутреннихъ вопросовъ, оппозиціонное движеніе, ходъ выборовъ въ парламентъ, вызывали замѣшательства, сладить съ которыми и найти всему разрѣшеніе и исходъ могъ только одинъ человѣкъ. Даже и въ средѣ кабинета обнаружился разладъ; недоразумѣнія между Гарлеемъ и Сентъ-Джономъ перешли къ охлажденію, чуть не разрыву; оба честолюбца не могли ужиться; блестящій и талантливый Сентъ-Джонъ съ трудомъ выносилъ первенствующую роль бюрократа-казуиста Гарлея. Одинъ Свифтъ былъ въ состо-

*) Изданіе переписки Свифта: Letters written by J. Swift and several of his friends from the year 1703—1740, published by Hawkesworth. London, 1768. 3 volumes.

янии примирить этих людей, дѣлая иногда отчаянные усилія. Не о личностяхъ заботился онъ, такъ какъ не могъ не сознать, что душою кабинета былъ онъ самъ (Форстеръ удачно называлъ его министромъ безъ портфеля въ торійскомъ правительствѣ),—сама власть, опьянявшая, очаровывавшая его, становилась слишкомъ дорогою ему, чтобы онъ могъ допустить двумъ безумцамъ подорвать результаты столькихъ трудовъ изъ-за личныхъ счетовъ. Къ тому же онъ преслѣдовалъ опредѣленные политическіе планы, тогда какъ его министерскіе друзья имѣли прежде всего въ виду интересы партіи, а затѣмъ уже народныя нужды. Свифтъ смотрѣлъ безмѣрно дальше, и въ важныхъ вопросахъ заставлялъ ихъ идти за собою, наперекоръ даже ихъ приверженцамъ. Его статьи въ „Examiner“ и его многочисленные памфлеты безстрашно называютъ вещи по именамъ, проповѣдуютъ разумную политику, необходимость покончить съ разорительной войной, тяжкимъ бременемъ налегшей на англійскіе финансы, безцѣльной, служившей династическимъ интересамъ и поддерживаемой главнымъ образомъ ради такой союзницы, какъ Австрія. Разъяснить себялюбивый расчетъ подобныхъ союзниковъ, раскрыть народу обманчивость военныхъ успѣховъ и великія преимущества мира стало главною цѣлью Свифта, который имѣлъ въ этомъ случаѣ противъ себя чуть не всю народную массу, ослѣпленную національнымъ тщеславіемъ. Тутъ онъ одержалъ одну изъ лучшихъ своихъ побѣдъ, оставившихъ далеко за собою удачныя битвы Мальборо,—побѣду духовную, доказавшую могущество слова надъ умами. Четыре изданія сряду выдержалъ его памфлетъ „The conduct of the allies“, къ которому онъ подготовилъ общественное мнѣніе журнальными статьями, — и подъ конецъ взглядъ его восторжествовалъ: масса была на его сторонѣ, парламентъ послужилъ отголоскомъ этого настроенія, начались переговоры, и утрехтскій миръ, настоящее созданіе Свифта, былъ рѣшенъ въ принципѣ.

Начался ропотъ, скрежетъ зубовъ, была оппозиція въ своей же партіи. Около сотни крайнихъ консерваторовъ изъ нижней палаты образовали такъ называемый „октябрьскій

клубъ“, служившій центромъ всѣхъ недовольныхъ мягкою политикой правительства и преисполненныхъ шовинизма. Эти друзья были хуже недруговъ: „они привыкли у себя въ деревенскомъ захолустѣ тянуть октябрьское пиво, писалъ Свифтъ, и неистово разсуждать о политикѣ въ тавернѣ, — они и тутъ хотятъ продолжать то-же самое, требуя, чтобъ мы дошли до крайностей“. На это рвеніе не по разуму Свифтъ отвѣчалъ „Совѣтомъ членамъ October club'a“, который парализовалъ созрѣвавшій заговоръ и повелъ за собой добровольное закрытіе клуба. Но если онъ оказывалъ министерству поддержку, какой не смогла бы ему доставить цѣлая партія, онъ довелъ правителей до такого повиновенія, что они держались отъ него на почти-тельномъ разстояніи, не смѣя забыться передъ нимъ или напомнить о своемъ превосходствѣ. Разъ, еще въ началѣ, Гарлей вздумалъ было прислать ему билетъ въ 50 фунтовъ въ подарокъ, и не только получилъ деньги обратно при письмѣ взбѣшеннаго Свифта, но долженъ былъ дать ему всевозможное удовлетвореніе, прежде чѣмъ онъ согласился повидаться съ нимъ. Еще въ молодости Джона-танъ при случаѣ сознался, что, вращаясь среди знати, онъ хочетъ добиться того, чтобы эти важные господа обращались съ нимъ, плебеемъ, какъ съ равнымъ себѣ. Теперь онъ вполне достигъ этого. Говорятъ, странное впечатлѣніе производило появленіе Свифта въ салонахъ министра; онъ выступалъ спокойнымъ, увѣреннымъ шагомъ, говорилъ съ гостями и просителями, толпившимися вокругъ, какъ человѣкъ, до мелочей знакомый съ механизмомъ правленія, давалъ обѣщанія, совѣты, сообщалъ свои предположенія или свѣжія новости, которыя съ интересомъ всѣми подхватывались. Онъ снизошелъ до того, что обоихъ министровъ ввелъ въ свой дружескій литературный кружокъ, и вскорѣ оба они наряду съ Попомъ или Геемъ тѣшились юмористическими выдумками, образовавъ изъ себя клубъ въ честь Мартина-Писаки (Martinus Scriblerus), олицетворявшаго стихоплетовъ и бездарныхъ писателей, и, подобно арзамасцамъ 19 вѣка, изощрялись въ веселыхъ пародіяхъ. Стоя у кормила власти,

Свифтъ однако не извлекалъ для себя изъ своего положенія никакой пользы. Онъ дѣлалъ много добра, хлопоталъ до надобливости даже за людей, разставшихся съ нимъ послѣ его отпаденія отъ виговъ, на прим. за Стиля, отплачивавшаго ему злобными выходками, а самъ оставался бѣднякомъ. Новые друзья усерднѣе прежнихъ хлопотали о немъ, проча его то въ епископы, то въ исторіографы, но не могли побѣдить предубѣжденія королевы. Денегъ не бралъ этотъ человѣкъ, карьеры не могли ему составить,—а онъ все продолжалъ нести на своихъ плечахъ чудовищное бремя правительственныхъ заботъ, поддерживаемый сознаніемъ своего фактическаго могущества: отнынѣ онъ опирался на новую, имъ вызванную силу, — на общественное мнѣніе. Но, какъ выразился Тэккерманъ, „къ несчастью, Свифтъ не довольствовался умственной сферой, — онъ искалъ могущества и надъ сердцами, и широко наслаждался имъ“. Эта черта никогда въ такой степени не сказывалась, какъ въ ту пору, когда онъ былъ въ полномъ разгарѣ своей политической и литературной дѣятельности. Блестящая роль его, необъяснимо-привлекательная сила его внѣшности, звука голоса, выраженія глазъ, рѣчь, выказывавшая умъ свѣтлый и глубокий,—все это должно было привлекать къ нему женскія сердца. Онъ былъ молодъ духомъ, хотя ему уже давно минуло сорокъ лѣтъ, — и эта неувядающая молодость заслоняла собою все, что напоминаетъ о скоротечности и измѣнчивости жизни. Въ числѣ знакомствъ, завязанныхъ имъ въ послѣдніе годы, заняло первое мѣсто сближеніе съ семьей богатаго чиновника, голландца по происхожденію, Ваномри. Въ дневникѣ часто начинается появляться отмѣтка: „обѣдалъ или провелъ вечеръ у Mrs Van.“ Наконецъ Свифтъ даже перебирается на новую квартиру, дверь обь дверь съ новыми знакомыми. Отмѣтки эти поражаютъ лаконизмомъ. Чудится, что съ этой стороны что-то неладно, что эта краткость умышленная, и что сильный интересъ привлекаетъ его въ этотъ небрежно упоминаемый домъ. Съ тонкимъ предчувствіемъ женщины и Стелла начинала подозрѣвать опасность, но скрывала свои подозрѣнія, и, по мѣрѣ ушаченія

упоминаній о *Mrs Van.*, стала только самымъ спокойнымъ тономъ спрашивать въ письмахъ, кто такіе эти люди, изъ кого состоитъ семья, и т. д. Она не ошиблась, — въ этой семьѣ была опасная ей соперница, молодая и прелестная собой Эстеръ Ваномри, страстная поклонница Свифта. Видя его часто у себя, она заслушивалась его рѣчей, ее увлекали своеобразность его взглядовъ, оставлявшихъ далеко позади ходячія мнѣнія, и его несравненное остроуміе. Ея красота, образованность, вкусъ къ литературнымъ занятіямъ, стихотворству, также обратили на нее вниманіе Свифта. Онъ сблизился, подолгу бесѣдовалъ съ ней, развивалъ ее; онъ открывалъ ей новый міръ, говорилъ о высокомъ призваніи женщины, о ея правахъ на самостоятельность. Драгоценнымъ и, быть-можетъ, единственнымъ выраженіемъ этого новаго для своего времени взгляда Свифта на женскій вопросъ служить позднѣйшее стихотвореніе восторженной ученицы, вспоминающей съ благодарностью о чудныхъ откровеніяхъ, которыми она была обязана любимому руководителю. Эта новая для него роль, прелесть распускающагося подъ его заботливымъ вліяніемъ юнаго существа должны были увлечь Свифта, и, утомленный тревогами дня, онъ приходилъ въ знакомую гостиную набираться новой жизни и молодѣть душой. Въ любопытномъ памятномъ листкѣ, относящемся еще къ житію въ Муръ-Паркѣ и заключающемъ „наставленія, какъ жить и поступать, когда старость придетъ“, находимъ такіа замѣтки: „не привязываться къ дѣтямъ, или стараться, чтобъ они ко мнѣ не подходили“, „не жениться на молодой женщинѣ“, „не водить знакомства съ молодежью, развѣ если съ ея стороны будетъ истинное желаніе“, „не довѣряться легки и не воображать, что въ меня можетъ влюбиться молодая женщина“ и т. д. Эти предписанныя самому себѣ житейскія правила сложились, очевидно, подъ вліяніемъ внезапнаго сознанія, что изъ заботъ, игръ и уроковъ съ маленькой Стеллой выросло сильное чувство, въ то время, казалось, не имѣвшее будущаго. Но опытъ не сдѣлалъ его осторожнымъ, и невольно повторилъ онъ прежнюю ошибку. Эстеръ, правда, не была уже ребенкомъ, но та же живая заботливость

о духовномъ развитіи, то же нѣжное руководство первыми шагами въ жизни, наконецъ и льстившее самолюбію чувство своей неотразимости, спорящей съ годами (въ тѣхъ же правилахъ онъ давалъ себѣ зарокъ „не тщеславиться своей прежней красотой, или силой, или успѣхомъ у женщинъ“...), привели къ тому же исходу. Играя съ огнемъ, онъ не думалъ, что чѣмъ-нибудь нарушаетъ вѣрность своему доброму ангелу, Стеллѣ, которую не переставалъ любить, съ которой по-прежнему былъ нѣженъ въ письмахъ. Онъ не подозревалъ, на что способна такая пылкая и восторженная дѣвушка, какъ Эстеръ; не произнеся словъ любви, онъ думалъ остаться въ границахъ сладостной дружбы, духовнаго сродства. Но страсть охватила всю душу дѣвушки; она не могла таить въ себѣ любви, и въ минуту увлеченія сама призналась обожаемому человѣку.

Онъ былъ потрясенъ этимъ открытіемъ, но на нѣсколько времени поддался обаянію новаго счастья, такъ неожиданно освѣтившаго его бурную жизнь. Онъ отозвался на признаніе и воспѣлъ Эстеръ въ аллегорической поэмѣ *), придавъ, по обычаю вѣка, молодой дѣвушкѣ поэтический псевдонимъ — Vanessa. Такъ начался тотъ трагическій эпизодъ въ его жизни, который до сихъ поръ еще не высвободился изъ-подъ таинственной завѣсы, — эпизодъ, который въ лѣтописяхъ извѣстнѣйшихъ сердечныхъ привязанностей прославился подъ именемъ „исторіи о Стеллѣ и Ванессѣ“, и, какъ это показываетъ только что появившійся англійскій романъ, и въ концѣ 19 вѣка способенъ возбуждать къ художественной переработкѣ, не изглаживаясь изъ памяти человѣчества.

Когда прошла первая пора увлеченія, дѣйствительность предстала во всей своей наготѣ, и наслажденіе новою побѣдой сѣнилось у Свифта сознаніемъ невыносимаго положенія, въ которое онъ самъ себя поставилъ. Совмѣщать двѣ привязанности, быть принужденнымъ безсовѣстно обманывать два честныхъ молодыхъ существа, довѣрившихся

*) „Cadenus and Vanessa“. Поэма эта написана была въ 1713 г., но издана лишь послѣ смерти Ванессы, по желанію, высказанному въ ея завѣщаніи.

его завлекательной тактикѣ, было выше его силъ. Онъ не рѣшался дать понять Ванессѣ, что у нея есть соперница, чьи права на его любовь старше и серьезнѣе; повинувшись состраданію и не желая разочаровывать молодую энтузіастку гибельнымъ для нея признаніемъ, испытывая ли потребность обновиться около этой согрѣвавшей, молодившей его страстной натуры, или наконецъ демонически играя въ любовь, наслаждаясь чужими волненіями и твердо рѣшившись не дать имъ никакого удовлетворенія, онъ поддерживалъ увлеченіе Ванессы, которое день ото дня все разгоралось. Письма его, стихотворенія, написанныя въ честь ея, несятъ иногда слѣды вызывающаго поощренія. Многіе біографы находятъ, что въ этихъ любовныхъ изліяніяхъ мало истиннаго чувства, что въ нихъ замѣтна какая-то искусственность, что-то головное. Это не лишено справедливости. Въ особенности въ поэмѣ, съ ея миеологической обстановкой, чувствуется не разъ фальшивая нота. Но ничего не замѣчала довѣрчивая дѣвушка. Она все сильнѣе привязывалась къ нему, мечтала соединиться съ нимъ навѣки. Проникнувшись его же теоріей о самостоятельности женщинъ, она готова была бросить родныхъ и пойти за нимъ всюду, куда ни приведетъ его судьба; но она ждала отъ него рѣшительнаго слова, а онъ не производилъ его. На взрывы страстнаго нетерпѣнія онъ отвѣчалъ холодно или уклончиво, изобрѣтая предлоги и отговорки. Съ нимъ происходила иногда пугавшая ее перемѣна; въ одномъ изъ писемъ, трогательныхъ по своей искренности, она даетъ волю грустному раздумью. Что это значитъ? Джонатанъ то приласкаетъ ее, какъ будто подастъ надежду, то „въ его глазахъ зажжется вдругъ такой зловѣщій огонь, и взглядъ его становится такъ ужасенъ, такъ пронзителенъ, что она вся трепещетъ“. Но чародѣйская сила этого искуателя была велика; она заставляла ее забыть и неровности въ обращеніи, и настойчивую его замкнутость въ себѣ. Тяжкій крестъ взяла она на себя съ той поры, какъ полюбила этого человѣка; но и его положеніе становилось все мучительнѣе. Онъ часто испытывалъ жела-

ніе вырваться во что бы то ни стало изъ заколдованнаго круга.

Въ связи съ его заботами и разочарованіями на политическомъ поприщѣ вѣчно гложущее недовольство собой тяжело отзывалось на его силахъ. Исполинская работа нѣсколькихъ лѣтъ и умственная диктатура расшатали его здорье. Еще въ Муръ-Паркѣ его томили головныя боли, приводившія къ обморокамъ и головокруженію; теперь онѣ стали возвращаться часто, почти неотвязно. Страстно жаждавшій дѣла, онъ долженъ былъ порою убѣждаться въ постыдномъ, хотя и временномъ, безсиліи. Ему казалось иногда, что наступила развязка. Но многое ожидало его еще впереди.

Связанный дружбой съ обоими враждовавшими правителями и цѣня ихъ дарованія, онъ истощилъ наконецъ всѣ средства примиренія, и ему показалось, что временное удаление отъ напряженной, но чуть ли не безплодной работы освѣжить его. У него все еще не было прочнаго положенія, и онъ принялъ мѣсто старшаго священника (Dean) въ соборѣ св. Патрика въ Дублинѣ, — во всякомъ случаѣ одинъ изъ наиболѣе видныхъ постовъ въ ирландской церкви. Уходя почти въ ссылку, Свифтъ говорилъ себѣ, что теперь онъ снова будетъ ближе къ Стеллѣ, а разлука разорветъ мучительную для него связь съ Ванессой. Министерству онъ можетъ быть полезенъ своимъ перомъ и издали.

Но дни его счастья были сочтены. Въ нѣсколько мѣсяцевъ, протекшихъ послѣ его пріѣзда въ Дублинѣ, пронеслось столько событій, что это время мелькнуло какъ одинъ бурно пережитый день. Духовенство встрѣтило его холодно, видя въ немъ теперь чуть не отступника, друга вѣчно ненавистнаго ирландцу англійскаго правительства. Онъ свидѣлся съ Стеллой; красота ея начинала увядать, тогда какъ свѣтлый умъ развился въ долгіе годы размышленій и разнообразнаго чтенія, а самостоятельность придавала ей порою неожиданныя черты смѣлаго присутствія духа и находчивости. Отношенія къ Стеллѣ возобновились на той же основѣ платонической дружбы и нѣжности, но въ нихъ невольнo вкрадывалась дисгармонія. Свѣ-

жее еще воспоминание о другой, столь же прелестной, но огненной, страстной головкѣ вставало въ душѣ и вызывало безысходную тоску. Какъ ни холоденъ былъ онъ съ виду къ Ванессѣ, онъ несомнѣнно былъ увлеченъ ею въ эту пору. Изъ Ирландіи онъ написалъ ей, что безъ нея вся жизнь его заволокла мракъ, и что глубокое уныніе овладѣло имъ. Но съ этимъ увлекающимся созданиемъ нельзя было безнаказанно поступать такъ: онъ думалъ, что его удаленіе порветъ ихъ связи, но не могъ предвидѣть случайностей, на зло сложившихся противъ него. Родственники Ванессы умерли, она была свободна и—единственная наследница значительнаго состоянія и земель въ Ирландіи, гдѣ прежде служилъ ея отецъ. „Теперь,—подумала она,—ничто не помѣшаетъ намъ соединиться“, и внезапно посѣщила въ Ирландію къ Свифту. Онъ точно громомъ пораженъ былъ ея появленіемъ, встрѣтилъ ее холодно, постарался поскорѣе удалить ее въ ея помѣстье, куда обѣщаль часто наѣзжать, но, лишь только она скрылась изъ глазъ, сталъ уклоняться подъ разными предлогами, читать ей будничную мораль на тему о приличіяхъ, объ опасности скомпрометировать свою репутацію; порою письма его принимали суровый тонъ.

Этотъ ледяной пріемъ сразилъ Ванессу, — онъ такъ противорѣчилъ розовымъ мечтамъ, съ которыми она полетѣла изъ Лондона на-встрѣчу счастью. Впервые разгадала она всю глубину ожидавшихъ ее страданій. Сиротливо повела она жизнь въ своемъ помѣстьѣ, гуляя по парку, сажая цвѣты и аллеи деревьевъ въ честь ожидаемаго пріѣзда Свифта, или слагая грустныя стихотворенія. Ревнивыя думы часто посѣщали ее и усиливали ея горе.

Внезапно Свифтъ былъ вызванъ въ Лондонъ друзьями. Снова принялся онъ за трудъ руководящаго публициста, написалъ брошюру въ защиту утрехтскаго мира, порицаемаго вигами, и нѣсколько рѣзкихъ памфлетовъ. Но въ раздраженномъ его состояніи трудно было сохранить обычную ясность, самообладаніе и тонкую иронию; въ его нападкахъ на виговъ, особенно въ „Public spirit of the whigs“,

гдѣ онъ взялся характеризовать ихъ направление и нарисовать портреты главныхъ ихъ вождей, онъ наносилъ тяжкіе удары плашмя, не зная мѣры и не стѣсняясь ничѣмъ. Этимъ онъ вызвалъ бурю негодованія. Королева и министры были засыпаны жалобами и протестами противъ оскорбленія чести не только отдѣльныхъ лицъ, но и цѣлыхъ народовъ, наприм. шотландцевъ, приверженныхъ къ вигамъ. Сотни голосовъ требовали примѣрнаго наказанія типографа, не открывшаго безыменнаго автора. Свифта едва отстояли, бѣднаго издателя выдали на удовлетвореніе разбушевавшагося недовольства; но весь этотъ тягостный эпизодъ показалъ, что времена перемѣнились и что для господствующей партіи наступилъ кризисъ. Еще нѣсколько дней—и власть уже была въ рукахъ Болингброка, который сталъ первымъ министромъ, сбросивъ съ своего пути Оксфорда и заручившись особенно дѣятельною поддержкой Свифта,—но внезапная смерть королевы Анны все измѣнила. Воцарилась въ лицѣ Георга I ганноверская линія, внесшая съ собой политическіе взгляды, несовмѣстные съ торизмомъ. Министерство пало, Оксфордъ былъ брошенъ въ Тоуэръ, Болингброкъ бѣжалъ во Францію, начато строгое слѣдствіе противъ главныхъ сторонниковъ прежняго правительства. Свифту грозила бѣда, и онъ снова возвратился въ Ирландію, на этотъ разъ съ окончательно разбитыми надеждами, унося свѣжее еще воспоминаніе о недавнихъ триумфахъ.

IV.

Въ прежніе годы Свифтъ часто сѣтовалъ на необходимость жить въ Ирландіи и считалъ это для себя изгнаніемъ. Теперь его судьба складывалась такъ, что всѣ остальные свои годы ему предстояло провести въ этой опальной странѣ. Долгое отсутствіе изъ родины сдѣлало для него чуждымъ дѣйствительное положеніе ирландскаго народа мысли были слишкомъ заняты крупными, общенгльскими или общечеловѣческими вопросами. Отнынѣ несчастія сблизили писателя съ его народомъ, заглохшія симпатіи оживились, предубѣжденія противъ него разсѣялись при видѣ

искренняго его желанія изучить нужды массы и послужить ей. Для его таланта и энергіи явились новыя цѣли, выше и благороднѣе прежнихъ; на этомъ пути нельзя было надѣяться на выгоды и преимущества въ официальномъ мірѣ; народная любовь, поддержка общественнаго мнѣнія однѣ могли быть его наградой. Но тернія честолюбія уже измучили его, а сколько открывалось простора для страстной личной ненависти и жажды отмщенія!... Свифтъ все глубже и глубже опускается въ самыя нѣдра ирландскаго движенія, и если, съ одной стороны, становится замѣтнымъ лицомъ въ дублинскомъ обществѣ, собирая въ своемъ деканскомъ домикѣ оживленный кружокъ, въ которомъ вмѣстѣ съ Стеллой даетъ тонъ и направленіе бесѣдѣ, то, съ другой, онъ входитъ въ соглашеніе съ вожаками, стягиваетъ въ свои руки всю власть, приносить народному дѣлу въ даръ могучій талантъ публициста и поднимаетъ знамя ирландской самостоятельности.

Послѣ попытокъ послѣдняго Стюарта отстоять отъ Вильгельма свои права, опираясь на Ирландію, послѣ нѣсколькихъ частныхъ возстаній и ожесточенной „ирландской войны“, восторжествовавшая англійская политика отвѣтила на своеволіе репрессаліями; онѣ становились все непринужденнѣе, по мѣрѣ того какъ страна застывала въ изнеможеніи и давала лишь слабый отпоръ. Къ желанію обуздать и усмирить примѣшалось стремленіе эксплуатировать ее, подчинить экономическому игу. Торіи смѣнились вигами, но ирландскому народу стало только хуже. Свифтъ прежде какъ будто не замѣчалъ народнаго горя; теперь оно предстало передъ нимъ, образумило его, внушило, что онъ долженъ дѣлать. Онъ открылъ собой рядъ примѣчательныхъ агитаторовъ, среди которыхъ блещутъ имена Граттана, О'Коннелля, Бэтта, въ наше время Парнелля; онъ хотѣлъ тогда уже отвоевать своей родинѣ *home-rule*, но его призывъ къ справедливости не встрѣтилъ отклика,—государственныхъ людей съ прозорливостью и благородствомъ Гладстона не было. Его голосъ звучалъ мятежнымъ кликомъ, его дѣятельность приняла характеръ революціонный, его

слово стало желчнымъ сарказмомъ, ѣдкою надсмѣшкой или угрозой.

Образъ дѣйствій, принятый въ то время относительно Ирландіи англійскимъ правительствомъ и парламентомъ, во многомъ былъ однороденъ съ притѣснительными мѣрами, которыя черезъ полвѣка вызвали отпаденіе американскихъ колоній. Самоуправленіе мѣстное было сведено къ нулю, ирландскій парламентъ сдѣланъ совсѣмъ безсильнымъ и безправнымъ; въ религіозныхъ вопросахъ господствовалъ мстительный и придиричивый духъ, отчего одинаково страдали и католики и диссентеры, но на первомъ планѣ стояла небывалая эксплуатація производительныхъ силъ Ирландіи ради обогащенія англійской торговли и промышленности. Подобно тому, какъ Америкѣ стали со временемъ навязывать англійскія издѣлія, выработанныя изъ мѣстныхъ продуктовъ, возвращавшихся такимъ образомъ вспять непомерно дорожая, запрещать вывозъ наиболѣе цѣнныхъ произведеній или ограничивать торговлю съ другими странами, — и въ Ирландіи жизненные соки страны выжимались на пользу государственной казны, а еще чаще стаи спекулянтовъ, пользовавшихся оффиціозною поддержкой. Прежде всего запрещенъ былъ вывозъ овецъ въ Англію, составлявшій прибыльную статью отпуска для Ирландіи, — и только потому, что конкуренція была опасна для англійскихъ овцеводовъ. Отъ американской торговли Ирландія была отстранена добавленіемъ къ „Навигаціонному акту“, вслѣдствіе чего одни англійскія суда могли отплывать въ Америку и, стало-быть, одни могли доставлять ирландцамъ необходимые имъ колоніальные продукты. Затѣмъ зависть сосѣдей возбуждена была сильнымъ развитіемъ въ Ирландіи выдѣлки шерсти и суконъ, къ которой хозяева естественно должны были прибѣгнуть, когда сбытъ овецъ у нихъ былъ отнятъ. Вывозъ шерсти и суконъ изъ Ирландіи былъ запрещенъ; въ видъ возмездія дано было нѣсколько льготъ полотняной промышленности, но и она подверглась впослѣдствіи сильнымъ стѣсненіямъ. Бѣдность возрастала въ ужасающихъ размѣрахъ, контрабанда поневолѣ процвѣтала, и вскорѣ оказался недостатокъ въ деньгахъ.

Правительство отдало какому-то аферисту Вуду подрядъ выдѣлки размѣнной монеты для Ирландіи, даже не спросивъ согласія мѣстнаго представительства. Стало вскорѣ извѣстно, что подрядъ этотъ отданъ былъ по интригѣ знатной дамы, герцогини Кендаль, получившей за комиссію десять тысячъ фунтовъ. Монета была выдѣлана низкой пробы, и эта новая безцеремонность переполнила чашу. Глухому недовольству народа не доставало выразителя. Примѣръ, поданный еще въ концѣ XVII вѣка патріотомъ Molineux, пострадавшимъ за разоблаченіе бѣдствій отечества, остался единичнымъ и не нашель подражателей, быть-можетъ, даже устрасаль оппозицію. Тутъ то выступилъ Свифтъ.

Онъ началъ съ памфлета „A proposal for the universal use of irish manufactures“, гдѣ совѣтовалъ соотечественникамъ мстить англичанамъ круговою порукой—не употреблять ни одного англійскаго издѣлія и поощрять только родную производительность. Поднялась тревога въ высшихъ мѣстныхъ сферахъ, обставленныхъ почти сплошь англичанами; началось инквизиціонное слѣдствіе, 300 фунтовъ было обѣщано за открытіе имени автора; типографъ былъ преданъ суду, но присяжные признали его невиновнымъ. *Девять разъ* отсылали ихъ обдумать рѣшеніе, и каждый разъ они отвѣчали то же самое. Памфлетъ, видимо, произвелъ уже зажигательное дѣйствіе на массу. Не испугавшись преслѣдованій (Крэкъ приводитъ впервые любопытный документъ,—конфиденціальное письмо отъ намѣстника къ архіепископу Кингу, внушающее ему, на основаніи вскрытой переписки, принять строгія мѣры противъ Свифта), Свифтъ рѣшилъ итти дальше по тому же пути и установить прямое общеніе съ народомъ при помощи періодически выпускаемыхъ листовъ. Такъ возникли знаменитыя „Письма суконщика“ (Drapier's letters), важнѣйшее изъ его произведеній по ирландскому вопросу. Принявъ на себя личину мелкаго торговца сукномъ и скрывъ свое имя подъ первыми попавшимися двумя буквами, онъ повелъ къ народу безхитростную рѣчь о злѣбѣ дня, именно о возмутительной продѣлкѣ съ монетой, которую совѣтовалъ наотрѣзъ отвергнуть. Эта плутня была лишь нагляд-

нымъ образцомъ правительственной политики, и автору было легче, говоря объ „исторіи Вуда“, перейти къ общимъ политическимъ вопросамъ, разъяснять читателю, какія отношенія между Англіею и Ирландіею могутъ быть признаны справедливыми, обеспечивающими странѣ свободу и равноправность. Съ каждымъ новымъ письмомъ успѣхъ агитаціи возрасталъ, все заволновалось, забушевало; когда же появилось четвертое письмо, участь обманной монеты была рѣшена. Всѣ уцѣлѣвшія еще автономическія учрежденія въ Ирландіи протестовали; къ нимъ примкнули вліятельныя лица въ дворянствѣ, церкви, судѣ. Правительство заставили отказать отъ необдуманнаго намѣренія.

Взрывъ, возбужденный „Письмами суконщика“, соединилъ всѣ мѣстныя партіи, враждовавшія дотолѣ изъ-за религіознаго разномыслия, и поставилъ во главу ихъ Свифта. Снова онъ сталъ диктаторомъ, и на этотъ разъ прочтѣе и продолжительнѣе прежняго. Въ своихъ политическихъ сочиненіяхъ онъ никогда не называлъ себя, но всѣ знали, что „Письма“ принадлежатъ именно ему. Ему чужда была мысль окружить себя такимъ туманомъ таинственности, какимъ полвѣка спустя скрылъ свои подлинныя черты авторъ „Юніевыхъ писемъ“ (Junius letters), такъ же загадочно появлявшихся среди толпы и распалявшихъ страсти. Чье лицо скрывалось подъ маской Юнія *), объ этомъ иногда спорятъ и до нашего времени, но за фиктивнымъ суконщикомъ всѣ отгадывали геніальныя черты дублинскаго Dean'a. Народъ призналъ въ немъ своего друга и такъ привязался къ нему, что готовъ былъ грудью отстаивать его отъ всякихъ покушеній со стороны правительства. Постоянно раздражаемое, оно могло бы, конечно, тысячу разъ овладѣть имъ и избавиться отъ злѣйшаго врага; эта мысль приходила Вальполю, но каждый разъ сознаніе опасности такого шага заставляло отказаться отъ него. Когда слухи о подобномъ покушеніи стали тревожнѣе, около Свифта мигомъ выросла почетная стража изъ людей, которые, явившись къ нему, вызвались защи-

*) Хотя наибольшее вѣроятіе за догадкой, указывающей на сэра Филиппа Фрэнсиса, но все еще возникаютъ новыя, иногда вычурныя предположенія.

шать его до послѣдней капли крови. Онъ зналъ ихъ преданность и ничего не боялся: „Попробуйте только пальцемъ меня коснуться,—сказалъ онъ разъ одному изъ высшихъ ирландскихъ администраторовъ, — „народъ разнесетъ васъ на части“. За „Письмами“ послѣдовалъ рядъ другихъ памфлетовъ. Злою, мрачной ироніей были они часто проникнуты. Въ „Скромномъ предложеніи, дѣлаемомъ въ видахъ того, чтобы дѣти бѣдняковъ въ Ирландіи не были бременемъ для родителей или для своей страны, но чтобъ они, напротивъ, служили на пользу публики“, фантазія автора тѣшилась созданіемъ отталкивающихъ образовъ; сущность „скромнаго предложенія“ сводится сначала къ параллели между неисчислимымъ множествомъ нищаго люда въ Ирландіи и бытомъ зажиточнаго класса, и затѣмъ къ подробному проекту, какъ избавиться отъ будущаго пролетаріата, поставляя новорожденныхъ дѣтей на кухни богачей для ихъ пировъ. Серьезность, съ которой авторъ вдается въ обстоятельное изложеніе и мотивированіе проекта, статистическія выкладки о числѣ дѣтей и размѣрѣ поставокъ, производятъ подъ конецъ давящее впечатлѣніе. Такъ жестоко остричь могъ только человѣкъ, которому тяжело на душѣ.

Этому торжествующему диктатору было, дѣйствительно, тяжело, какъ человѣку; онъ осужденъ былъ выпить до дна горькую чашу. Грустныя, умоляющія письма Ванессы, нѣжныя просьбы освятить бракомъ ихъ взаимную любовь постоянно растравляли его душу; по временамъ онъ считалъ необходимымъ показаться къ ней и успокоить ее при помощи хитро сплетенной лжи. Но Стелла узнала наконецъ, что у нея есть соперница, и въ этой спокойной, сдержанной, всегда стыдливой женщинѣ заговорила ревность, нежеланіе уступить кому бы то ни было. Она склонила Свифта втайнѣ обручиться съ нею, и онъ по-прежнему былъ полонъ такого уваженія къ ней, что согласился, и другъ его, докторъ Ашъ, епископъ Клогерскій, совершилъ эту церемонію*).

*) Не было недостатка въ сомнѣніяхъ относительно фактическаго заключенія брака. Высказанныя еще въ 1820 году Монкомъ Мэсономъ въ его

Есть преданіе, что Свифтъ во время обряда былъ сильно взволнованъ, и, выходя, сказалъ двумъ друзьямъ: „вы видите несчастнѣйшаго изъ людей, но не выпытывайте у него никогда причины его горя“. Обрученіе отнимало у него послѣднюю надежду соединиться съ Ванессой, и въ его отчаяніе не трудно повѣрить. Зато съ этой поры онъ становится все суровѣе къ своей молодой поклонницѣ; ихъ переписка принимаетъ натянутый характеръ, и только порой какая—нибудь фраза („soyez assurée, пишетъ онъ въ 1721 г., — que jamais personne au monde n'a, été aimée, estimée adorée par votre ami que vous“), проскользнувшая въ письмѣ, напоминаетъ, что несовсѣмъ еще похоронено прежнее чувство. Наконецъ Ванесса ускорила неизбежную развязку. Она тоже раскрыла тайну, и знала теперь, какую роль занимаетъ Стелла въ жизни Свифта. Она пишетъ ей, требуетъ объясненій; Стелла передаетъ ему письмо, и, взбѣшенный, онъ, не помня себя, мчится въ помѣстье Ванессы, вбѣгаетъ къ ней, сверкая глазами, принявшими опять жуткое выраженіе, котораго она такъ боялась, не говоря ни слова, бросаетъ ей письмо и удаляется. Бѣдная дѣвушка затрепетала и залилась слезами; въ этой нѣмой сценѣ, въ возвращенномъ ей письмѣ она увидала смертный приговоръ своей любви и торжество соперницы. Покинутая, одинокая на всемъ свѣтѣ, она быстро стала гаснуть и въ сиротливомъ одиночествѣ умерла. Тогда наступилъ чередъ отчаянію и угрызениямъ совѣсти Свифта, который цѣлыми мѣсяцами не могъ найти покоя, считая себя виновникомъ смерти Ванессы. Когда же горе стало не такъ остро, онъ, чтобы забыться, бросился очертя голову въ напряженную политическую борьбу, которая одна теперь въ состояніи была поднять его ослабѣвшія силы.

Весь интересъ жизни сосредоточивался для него отнынѣ

книгѣ „History and antiquities of the cathedral church of St. Patrick“, они привели большинство новѣйшихъ изслѣдователей и біографовъ Свифта къ отрицанію этого брачнаго союза. Но Крэкъ (The life of J. Swift, pp. 523—29) собралъ рядъ надежныхъ показаній и документовъ, позволяющихъ рѣшить вопросъ въ утвердительномъ смыслѣ.

только въ ней; все прочее, ничтожныя страсти, движущія человѣчествомъ, борьба ради наживы и честолюбія, кодексъ приличій и условной морали, поклоненіе людей лживымъ кумирамъ, мишурный блескъ государственнаго организма, — все это теперь казалось ему, болѣе чѣмъ когда либо, безумнымъ и позорнымъ. Личныя разочарованія наложили мрачный оттѣнокъ на все окружающее, и онъ давно порывался сказать въ лицо жалкому свѣту, что всѣ его стремленія, интересы и увлеченія безсмысленны и недостойны сочувствія. Это послѣднее скорбное слово сатирика, извѣрившагося во все, сказано имъ въ знаменитыхъ „Странствіяхъ Гулливера“, которыя предпочтительно передъ всѣми прочими произведеніями его поддерживаютъ его репутацію въ потомствѣ.

Насколько оболочка, приданная замыслу, обманчива и проникнута тонкимъ юморомъ, настолько безотраднa мысль, связывающая пеструю смѣсь фантастическихъ картинъ. Какъ незадолго передъ тѣмъ Свифтъ удачно скрылся подъ личиной простого суконщика, такъ теперь онъ сливается съ вымышленной личностью Лемьюэля Гулливера, сначала хирурга, потомъ корабельнаго капитана, одержимаго страстью къ путешествіямъ по неизвѣданнымъ странамъ, и въ формѣ дневника этого обыкновеннаго смертнаго, знакомящаго съ чудесными краями, которые ему привелось видѣть, набрасываетъ картину политической и общественной жизни не только Англіи, но и остальной Европы.

Пріемъ не новый; немало можно было бы указать предшественниковъ Гулливера. И великаны Рабле, и обитатели солнца и луны, выступавшіе въ „Комической исторіи солнечныхъ и лунныхъ государствъ“ молюеровскаго товарища Сирано де-Бержерака, и „Человѣкъ на лунѣ“ Гудвина, епископа Ландафскаго *), прошли раньше свифтовыхъ героев по тому же пути. И замыселъ сначала былъ непритяза-

*) *Histoire comique des états et empires de la lune et du soleil.*—The man in the moon, by Goodwin, bishop of Llandaff.

теленъ. Въ „Гулливеръ“ Свифтъ хотѣлъ посмѣяться надъ небылицами, развязно сообщаемыми въ описаніяхъ путешествій по далекимъ странамъ, и превзойти ихъ скопленіемъ баснословныхъ приключеній. Быть можетъ, эта мысль пришла ему еще въ то время, когда въ Лондонѣ онъ жилъ одною жизнью съ литературнымъ кружкомъ Scribler'a и соперничалъ съ его членами въ юмористическихъ выдумкахъ. Онъ сберегъ этотъ планъ, удаляясь окончательно съ политической арены и какъ будто приберегая его для своихъ долгихъ и печальныхъ досуговъ въ Ирландіи. Не спокойствіе и философскія размышленія, а новыя разочарованія и угрюмыя мысли ждали его тамъ, — и „Гулливеръ“, (писавшійся вообще не менѣе пяти лѣтъ) преобразился. Шутливо выполненный очеркъ лиллипутскихъ нравовъ оттъсненъ и подавленъ былъ массой образовъ, создать которые могло лишь больное воображеніе человѣка, измученнаго жизнью, и вознамѣрившагося, по его же словамъ, не „развлечь, а раздражить, оскорбить людей“.

Тѣмъ ставилъ въ особую заслугу Свифту *) удивительное умѣнье, выставивъ сначала какое-нибудь очевидно нелѣпое предположеніе, серьезно выводить затѣмъ всѣ послѣдствія, вытекающія изъ него. „Это,—говоритъ онъ,—способность ума логическаго и дарованіе строителя, который, предположивъ уменьшеніе или увеличеніе того или другого механизма, предвидитъ всѣ результаты этого измѣненія и ведетъ имъ точный списокъ. Все его удовольствіе состоитъ въ томъ, чтобы ясно и путемъ основательнаго умозрѣнія увидать эти послѣдствія“. Начертавъ рѣзкими контурами тѣ фантастическіе міры, которые придется посѣтить Гулливеру и которые населены то карликами, то великанами и другими небывальными существами, Свифтъ какъ будто самъ повѣрилъ въ существованіе ихъ и съ серьезнѣйшимъ видомъ описываетъ всѣ подробности быта, ни на минуту не забывая скрывать за ними черты дѣйствительной жизни. Чтобы вполне оцѣнить значеніе сатиры, ее нужно снабдить под-

*) Histoire de la litter. anglaise, 1863, III, 245.

робными подстрочными примѣчаніями и объясненіями при появленіи каждаго новаго лица и новой подробности быта Лиллипутовъ, Бробдингнаговъ и т. д.; если остаться только на поверхности, получится пожалуй впечатлѣніе остроумнаго осмѣянія общечеловѣческихъ слабостей, которое, подъ условіемъ смягченія слишкомъ реальныхъ подробностей, и могло сдѣлать эту книгу любимымъ дѣтскимъ чтеніемъ. Но эта пестрая дѣтская сказочка въ сущности одно изъ безотраднѣйшихъ проявленій пессимизма.

Все, чѣмъ держится и изъ за чего волнуется человѣчество, приковано здѣсь къ позорному столбу; показаны тѣ нити, которыми все приводится въ движеніе, сорваны маски и нарядныя одежды, и грубые инстинкты животнаго выставлены въ отталкивающей наготѣ. Раболѣпіе и хищничество придворныхъ сферъ, закулисная сторона политики, тайны войнъ и договоровъ, предрасудки, притворство и нелѣпыя обычаи, правящіе повседневной жизнью обыкновенныхъ гражданъ, — таковы темы, на которыхъ сатирикъ любитъ останавливаться. Эти жалкіе люди тѣшатъ себя грезами любви, поэзіи, великодушія, героизма, не замѣчая, сколько лжи и предательства въ любви, какъ притворенъ поэтический жаръ и полонъ суетныхъ и смѣшныхъ притязаній героическій порывъ. Страсти, волнующія человѣчество, и кажущіяся пламенными и титаническими, приписаны крохотному племени Лиллипутовъ, и оттого стали необыкновенно забавными. Та же цѣль достигнута и чрезвычайнымъ усиленіемъ красокъ; мелкота людскихъ интересовъ отбѣивается контрастомъ съ исполинскими и первобытными силами колоссальныхъ Бробдингнаговъ. Въ странѣ, населенной благородною и умною породой коней (Houyhnhnms), казалось бы, можно отвести душу, — почти идеализованы ихъ простые, честные нравы; но для этихъ разсудительныхъ существъ есть бичъ, — размножившіяся среди нихъ низшія животныя, обезьяны (the Yahoos), донельзя напоминающія собою человѣка, порочныя, нечистыя, злыя, возмущающія коней своимъ безобразіемъ, и все же взявшія власть надъ ними. Всюду одна и та же горькая истина... Стоитъ ли жить

послѣ этого? Если сколько-нибудь стоитъ, то только потому (говоритъ Свифтъ), что на свѣтѣ „еще есть нѣсколько порядочныхъ людей“.

Въ такую общечеловѣческую бытовую раму вставлены отрывочныя черты, взятая изъ окружающей автора современности. Въ лицѣ разныхъ повелителей фантастическихъ государствъ выведены англійскіе короли Вильгельмъ III, Георгъ I; есть живая характеристика Роберта Вальполя, олицетворявшаго отнынѣ принципъ попечительной, все усыпляющей и обезличивающей власти; споры католиковъ и протестантовъ, борьба съ короной изъ-за народныхъ правъ, усилившаяся при Георгахъ, развитіе постоянной арміи, преслѣдованія, которымъ Свифтъ подвергался въ Ирландіи, дипломатическія шашни между Англіей и Франціей (по Гулливеру-Блефуску),—все это отразилось въ обстоятельныхъ описаніяхъ путешественника. Онъ не забылъ свести личные счеты и съ людьми неповинными въ притѣсненіи народа, наприм. съ современными учеными. На островъ Лапуту, висящій надъ моремъ благодаря магнитной силѣ и служащій сборнымъ мѣстомъ непризнанныхъ философовъ и несвѣдущихъ математиковъ, онъ помѣстилъ карикатурное подобіе *Royal society* и во главѣ ея Ньютона, которому Свифтъ не могъ простить вмѣшательства въ щекотливое дѣло объ ирландской монетѣ, за доброкачественность которой заступился Ньютонъ.

Послѣ того, какъ въ „Странствіяхъ Гулливера“ подведенъ былъ печальный итогъ долгимъ наблюденіямъ надъ жизнью и людьми, какой интересъ могутъ представлять позднѣйшія произведенія человѣка утомленнаго, больного, во всемъ разочаровавшагося! Успѣхъ „Гулливера“ былъ поразительный, слава проникла далеко за предѣлы Англіи; Вольтеръ провозгласилъ Свифта вторымъ Рабле и гордился знакомствомъ съ нимъ. Даже такіе явные враги, какъ Вальполь, искали возможности сблизиться съ нимъ. Но прошло время и для творчества, и для призраковъ прежняго счастья. Внезапно Свифта вызвали изъ Лондона вѣстью объ опасной болѣзни Стеллы. Онъ засталъ ее въ живыхъ, ви-

дѣлъ ея страданія, терзался, но прервалъ разговоръ съ умирающей, когда услышалъ мольбу огласить ихъ тайный бракъ, и въ сильномъ волненіи отошелъ отъ постели. Безцѣльная ли жестокость, или желаніе избавить несчастную отъ видимо вреднаго ей возбужденія побудило его къ отказу, — кто можетъ это рѣшить? Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что онъ не владѣлъ собой и заболѣлъ отъ потрясенія, такъ что не могъ даже присутствовать при погребеніи Стеллы, похороненной въ соборѣ, противъ оконъ его комнаты.

Со смертью Стеллы вся жизнь омрачилась для него. Онъ долго прожилъ послѣ того, но то была лишь слабая тѣнь прежней жизни. Онъ сознавалъ ослабленіе всѣхъ способностей, застарѣлая болѣзнь неотвязно мучила его, уныніе дѣлало его иногда на долгое время безучастнымъ ко всему. Ничто не утѣшало его болѣе; даже на свое благородное заступничество за народное дѣло онъ смотрѣлъ теперь иронически, какъ на праздное и никому не нужное фанфаронство, и въ зломъ стихотвореніи смѣялся надъ Ирландією, „страной рабовъ и глупцовъ“. Написалъ онъ стихи и на собственную смерть, юмористически изображая равнодушіе, съ которымъ всѣ несомнѣнно отнесутся къ смерти стараго декана, и пустые разговоры, которые пойдутъ о немъ за карточными столами между сдачей картъ и ходами. „Бѣдный Попъ погорюетъ съ мѣсяцъ, Гэй съ недѣлю, Арбѣтнотъ денекъ, а самъ Сентъ-Джонъ врядъ ли удостоить куснуть перо свое и пролить слезу; остальные же пожмутъ плечами и воскликнуть: „да, жалко, но вѣдь всѣмъ намъ суждено умереть“. Такою непрочною считалъ онъ теперь дружбу людей, искренно ему преданныхъ, — и особенно Арбѣтнота, самаго вѣрнаго его друга, не разъ останавливавшаго его среди крайностей мизантропіи и скептицизма и влиявшаго своею честностью до такой степени, что „онъ готовъ былъ бы сжечь немедленно своего *Гулливера*, еслибъ узналъ, что на свѣтѣ есть хоть дюжина Арбѣтнотовъ“.

Смерть лишила его и этого друга; близкій ему кружокъ

сильно порѣдѣлъ, а онъ все жилъ, влача бремя лютой болѣзни. Современные намъ англійскіе врачи постарались опредѣлить и назвать его недугъ *). Это, говорятъ они, очевидно, такъ-назыв. *Labyrinthine vertigo*, или, какъ предпочитаютъ обозначать ее на континентѣ, Меньерова болѣзнь, вызывающая, вслѣдствіе пораженія лабиринта, головокруженіе и глухоту. Память мало-помалу исчезла. Измученный, онъ звалъ смерть; его письма проникнуты бывали отчаяніемъ. Въ послѣднемъ письмѣ онъ говоритъ: „Мнѣ было снова очень тяжело прошлую ночью; сегодня опять я глухъ, и болей у меня много. Я такъ отупѣлъ и убитъ, что не могу выразить, какъ пораженъ тѣломъ и духомъ. Я еще не въ агоніи, но каждый день жду ея. Скажите, какъ ваше здоровье, здорова ли ваша семья? Я почти не понимаю, что пишу. Я увѣренъ, что дни мои сочтены; ихъ не много будетъ, и жалкіе же будутъ они“. Письмо помѣчено: „если не ошибаюсь, суббота“. Наконецъ силы этого мощнаго, такъ долго напряженнаго духа оборвались, и Свифтъ впалъ въ состояніе безсознательное, почти въ идіотизмъ, никого не узнавалъ, рѣдко приходилъ въ себя, почти не говорилъ ни съ кѣмъ; цѣлые часы просиживалъ онъ передъ зеркаломъ, грустно вздыхая, или множество разъ повторялъ одну и ту же фразу: „я—то, что есмь“ (*I am what i am*). За нимъ присматривали, боясь, чтобъ онъ не наложилъ на себя рукъ. Но въ этомъ не было нужды,—а въ рѣдкіе просвѣты разума онъ всегда разрѣшался какою-нибудь эпиграммой, заявлявшей, что ничто не примиритъ его ни съ судьбой, ни съ людьми. Да и на могильной плитѣ надпись, имъ сочиненная, говоритъ о духѣ негодованія, какъ объ основной чертѣ его характера, смягченной лишь его преданностью свободѣ.

Наконецъ (19 октября 1745) исполнилось его желаніе; смерть пришла избавить его, именно такъ, какъ онъ хотѣлъ этого; „пусть это будетъ быстрый конецъ,—говорилъ онъ прежде въ письмѣ, написанномъ въ припадкѣ хандры,—чтобы не пришлось умирать въ мученіяхъ и отчаяніи, какъ

*) Статья д-ра Бэкнилла въ журналѣ «*The Brain*», 1882, I.

отравленная крыса въ подпольѣ“. Смерть подошла тихо, и тревожный духъ отлетѣлъ среди безмятежнаго сна.

Кончина Свифта была великимъ горемъ для бѣдныхъ, утѣшеніемъ для господствующихъ классовъ. Толпы простого народа наполняли его комнату, желая проститься съ своимъ заступникомъ и благодѣтелемъ (третью часть дохода Свифтъ постоянно отдавалъ на бѣдныхъ, и кромѣ того дѣлалъ много тайныхъ благодѣяній). Слуги допустили народъ обрѣзать сѣдые кудри у покойнаго, и крестьяне уносили съ собой эту драгоценность, говоря, что сберегутъ ее, а умирая, оставить въ лучшее наслѣдство дѣтямъ. Эта благодарная народная память о „великомъ землякѣ Свифтѣ“ никогда не изсякла въ Ирландіи.

Но онъ не принадлежитъ одному народу или одной эпохѣ. Этотъ умъ, „столь великій и столь мрачный“, сталъ достояніемъ человѣчества. Оно знаетъ теперь и его несчастья, и подтачивавшія его страсти, его властный и мстительный духъ, знаетъ и печальную драму двухъ сгубленныхъ имъ жертвъ, и горькій смѣхъ сомнѣнія и отрипанія, отравлявшій ему жизнь,—но оно помнитъ его въ роли народнаго вождя, защитника вольностей, замѣчательнаго публициста, повелѣвавшаго массами, создателя общественнаго мнѣнія въ родной странѣ, видитъ его вызывающимъ своими обличеніями на бой все, что есть низкаго, порочнаго и несправедливаго въ соціальной жизни; оно знаетъ, что причина многихъ печальныхъ явленій скрыта была въ болѣзни его души, и никогда не забудетъ этого гениальнаго неудачника.

ПОЭТЪ ГУМАННОСТИ.

(На смерть Гюго).

Въ лимбѣ Дантова Ада, на залитыхъ свѣтомъ лугахъ, счастливыя своими мечтами, творческими радостями и блаженной созерцательной жизнью, бродятъ, дружески сплетаясь, тѣни великихъ поэтовъ и мыслителей. Они ласково встрѣтили Данта. Къ нимъ идетъ теперь новый пришелецъ съ грѣшной земли, — величавая тѣнь, съ осанкой героя, богатыря, съ даромъ звучнаго, гармоническаго стиха, и съ словами любви и всепрощенія на устахъ...

Фантазія невольно вводитъ ее въ такую легендарную, призрачную среду, — но останавливается у порога такихъ демократическихъ усыпальницъ, какъ *cimetière Montmartre* или Волково кладбище, скрывшихъ на вѣки не меньшихъ любимцевъ человѣчества. И въ жизни, и въ смерти такихъ людей, какъ Гюго, есть героическая, ни съ чѣмъ не соразмѣрима ширь и величавость.

Новымъ поколѣніямъ покажутся баснословными подвиги Гарибальди, рассказы о популярности Гюго. И теперь нѣтъ недостатка въ строгихъ судьяхъ, доказывающихъ у этихъ баловней судьбы разные промахи. И они правы. Попробуйте разобрать гарибальдійскіе походы съ точки зрѣнія высшей стратегіи, теоретически провѣрить трагедіи, романы, философскія поэмы Гюго... А Італія все-таки свободна и независима, и имя автора „*Les Misérables*“ неизгладимо изъ народной памяти.

Жизнь древняго богатыря — готовая поэма. Славные поединки, избавленіе плѣнныхъ, оборона городовъ, борьба съ чудовищами. Новые вѣка, новые взгляды. Не одна только личная храбрость, исканіе невѣдомаго противника, съ кѣмъ бы помѣряться силами, а широкія общенародныя, общечеловѣческія задачи увлекають героическую личность; ея ареной становится исторія челоуѣчества, современныя его тревоги и нужды.

Это особенно поражаетъ у Гюго. Когда закрылись его очи, столѣтіе близилось къ концу; когда впервые ихъ коснулись солнечные лучи, „столѣтію исполнилось два года“, — и на всемъ этомъ огромномъ промежуткѣ жизнь его тѣсно связана съ военною, политическою, общественною и литературною исторіей Европы; вездѣ онъ въ первыхъ рядахъ, борется, страдаетъ, зоветъ впередъ и ободряетъ усталыхъ. Будущій лѣтописецъ вѣка на каждомъ шагу встрѣтится съ этою всеобъемлющею личностью. Но передъ нимъ будетъ не глубокой политической мудрецъ, прозорливо руководящій массами, а челоуѣкъ страстей, увлеченій, поэтъ во всемъ, даже въ такъ называемой практической дѣятельности. Судьба такъ воспитала его. Иному нужно немало усилій, чтобы вжиться въ тревожныя историческія эпохи, — Гюго съ дѣтства пережилъ всю современную исторію. И какое это было дѣтство, какія первыя впечатлѣнія! Лагерь наполеоновскихъ отрядовъ, перестрѣлка, раненные и убитые, порою бѣгство всей испуганной семьи передъ непріателемъ, борьба отца съ неаполитанскими разбойниками и знаменитымъ Фра-Діаволо, народныя волненія въ Испаніи, содрогавшейся въ своихъ оковахъ. Потрясающія картины окружають его колыбель, да и она „была поставлена на барабанъ, святою водою ребенка окропили изъ старой каски, пеленали его въ лохмотья знаменъ; онъ любовался аттакою быстро несущейся конницы, засыпалъ подъ звуки канонады“ (ода девятая „Mon enfance“). Удивительно ли, что у него навсегда осталась склонность къ рѣзкимъ штрихамъ, яркимъ картинамъ, рельефнымъ характерамъ! А раннее вліяніе Испаніи, гдѣ всего дольше жилъ онъ въ дѣтскіе, воспримчивые

годы, влияние испанской жизни и литературы, которую онъ изучилъ въ совершенствѣ, баллады и легенды, поэзія рыцарства, любви и чести! Весь первый періодъ его поэтической дѣятельности подготовленъ такимъ дѣтствомъ, и читатель или зритель его юношескихъ, бурныхъ драмъ долженъ перенестись изъ своей болѣе уравновѣшенной поры къ тѣмъ далекимъ и тревожнымъ годамъ, которые создали поэзію Байрона и Гюго и освѣтили путь Гейне.

Строгое монастырское воспитаніе, прервавшее скитанія ребенка вслѣдъ за арміею, не въ силахъ было заглушить волнующихъ воспоминаній. Въ первыхъ одахъ и балладахъ звучать еще они; боевыя картины отуманиваютъ голову юноши; Наполеонъ, о которомъ такъ много рассказывалъ ему, бывало, отецъ, окруженъ въ его глазахъ ореоломъ, какъ личность сильная, носитель славы, виновникъ величія Франціи. На немъ долго будетъ останавливаться съ удивленіемъ его взглядъ; ангелъ это или демонъ, все равно, — это герой въ сравненіи съ мелкотой, его смѣнлившей. Да одинъ ли Гюго изъ того поколѣнія поддающагося этому поклоненію Наполеону!...

Быстро мѣняется и складъ его юношеской поэзіи. Сначала этотъ лютый врагъ псевдо-классицизма пишетъ оды ничуть не хуже классиковъ, настраиваетъ лиру по поводу мелкихъ событій въ королевской семьѣ, риторически изображаетъ горестъ „народовъ“ о смерти Людовика XVIII, трогательно воспѣваетъ коронованіе бездарнаго Карла X; но для этого у него точно не свои слова, языкъ запутанный, метафоры неудачныя. Онъ еще такъ молодъ, и влияние матери-роялистки еще сильно! Но слишкомъ поспѣшили его зачислить въ кругъ придворныхъ стихотворцевъ. У него уже есть большой кружокъ друзей, поэтовъ—вольнодумцевъ, искателей новыхъ путей въ поэзіи и въ жизни. Онъ отваживается дать волю фантазіи, наряжаетъ музу въ экзотическій нарядъ „Orientales“, переносится мыслію въ средніе вѣка, становится романтикомъ и въ предисловіи къ „Кромвелю“ бросаетъ перчатку старой школѣ. Началась настоящая битва, и долго, пока не оставилъ онъ драму для романа и

лирики, каждое новое произведение его было сраженіемъ, штурмомъ: слава „Эрнани“ была взята съ бою послѣ пятидесяти представлений, одно шумнѣе другого, а „Маріонъ Делормъ“ и „Le roi s’amuse“ слѣпымъ цензурно-полицейскимъ гоненіемъ и отважными отвѣтами поэта возведены были въ роль важныхъ политическихъ фактовъ.

На далекомъ разстояніи, въ болѣе спокойную литературную эпоху, оглядываясь на вызванную Гюго и быстро разгорѣвшуюся войну романтизма, потомокъ иронически покачаетъ головой и улыбнется. Но онъ будетъ не правъ. Боги, которыхъ свергаль Гюго и его друзья, были жалкими глиняными слѣпками съ громовержцевъ; не противъ Корнеля выступали юноши, — у Гюго было тогда слишкомъ много точекъ соприкосновенія съ нимъ, и титаническіе образы, подобныя Сиду, неотразимо его привлекали; молодежь ратовала противъ новѣйшихъ представителей академическаго классицизма, нетерпимымъ и чопорнымъ, и провозглашала свободу творчества. Лихорадочный пульсъ бьется въ предисловіи къ „Кромвелю“; поэтъ хотѣлъ бы широко раскрыть врата, чтобы въ міръ искусства могла проникнуть вся жизнь, съ ея вѣчными контрастами добра и зла, великаго и смѣшнаго; народный бытъ, подонки общества, сельская природа, — все получало доступъ въ поэзію. Намъ уже непонятны споры о законности такого разнообразія, но мы въ значительной степени обязаны этимъ борьбѣ отважныхъ, длинноволосыхъ юношей, въ огненныхъ жилетахъ и бандитскихъ шляпахъ, двигателей литературной революціи, которая такъ тѣсно связана была съ іюльскою революціей 1830 года.

Такой протестъ былъ необходимъ; онъ освѣжилъ воздухъ и очистилъ путь для всей новой литературы; вышла на свѣтъ истинная критика въ лицѣ Сентъ-Бева, романъ Бальзака и Жоржъ-Занда, лирика современной школы. За такіе результаты можно простить ошибки, сдѣланныя сгоряча, въ началѣ схватки. Драмы Гюго пестрѣютъ ужасами, мрачными страстями, загадочными или зловѣщими личностями; инныя подробности долго вызывали упрекъ въ неестественности; атаманы разбойниковъ являются благородными героями,

лакей—влюбленнымъ въ королеву и грезящимъ о политической роли, разбитная куртизанка Маріонъ — способною глубоко полюбить. *Cosas de España!* —восклицали, бывало, читая или слыша о чемъ-нибудь необычайно сложномъ и диковинномъ,—„это бываетъ только въ Испаніи!“ Но другъ Гюго, Поль де-Сенъ-Викторъ, попробовалъ серьезно произнести это восклицаніе по поводу двухъ пьесъ поэта, взятыхъ дѣйствительно изъ испанской жизни, „Эрнани“ и „Рюи-Блаза“; онъ обратился къ современнымъ свидѣтельствамъ и мемуарамъ, и доказалъ, что черты нравовъ, такъ поражающія насъ, несомнѣнно подлинныя, что авторъ возсоздалъ удушливую атмосферу Испаніи XVI и XVII вв., подобно тому, какъ нравственное паденіе итальянскаго общества отразилось въ его „Лукреціи Борджіи“, хотя бы новая наука и доказала невѣрность пониманія характера самой героини. Въ этомъ умѣнн вживаться въ духъ эпохи (онъ выставилъ его однимъ изъ своихъ догматовъ въ предисловіи къ „Кромвелю“) обнаружилось историческое чутье, которое тогда же вызвало у него къ жизни въ „*Notre Dame de Paris*,“ навѣянномъ, конечно, Вальтеръ-Скоттомъ, яркую и драматическую характеристику старофранцузскаго быта, мѣстами оставившую за собой мелочную археологическую живопись англійскаго романиста.

Но въ драмахъ сказалась черта, тогда же опредѣлившая сущность дальнѣйшей эволюціи поэзіи Гюго: онъ уже является заступникомъ за „униженныхъ и оскорбленныхъ“, разгадываетъ человѣчныя движенія въ самыхъ порочныхъ сердцахъ, вызываетъ состраданіе къ наиболѣе отверженнымъ личностямъ и гордится ихъ просвѣтленіемъ; онъ протягиваетъ руку нищему, колоднику, и тогда же въ „*Claude Gueux*“ и „Послѣднемъ днѣ приговореннаго къ смерти“ выступаетъ противъ смертной казни, ратуя за ея отміну вездѣ до послѣднихъ дней. Перевѣсь общественныхъ стремленій подготавлился въ немъ постепенно. Онъ увлекался сначала Ламеннэ, но и его учитель не вынесъ солидарности съ папствомъ и торжественно перешелъ на сторону новыхъ идей. Двоедушіе и неспособность роялистскаго правительства

сумѣли также разубѣдить Гюго. Увѣровавъ сначала въ спасительность іюльскаго переворота, онъ увидалъ себя вскорѣ гонимымъ столь же придирчивою властью; совѣтъ министровъ былъ въ его глазахъ „султанскимъ диваномъ“. Теперь онъ сознательно искалъ политической дѣятельности и отъ уступокъ новымъ ученіямъ переходилъ къ искреннему ихъ усвоенію. Ему не стыдно было вспоминать о переломѣ въ его развитіи; онъ находилъ, что въ жизни человѣка „важно не то, съ чего онъ началъ, а то, чѣмъ онъ кончитъ“, и въ отвѣтъ Монталамберу, упрекавшему его въ непослѣдовательности, съ гордостью напомнилъ, что „перешелъ отъ тѣхъ, кто угнетаетъ, на сторону угнетаемыхъ“.

Съ этой поры онъ весь отдался двойной работѣ; теперь онъ зналъ, что нужно дѣлать. Какъ политическій ораторъ, хотя еще неопытный и не свободный отъ ошибокъ, онъ проводилъ въ палатѣ тѣ же взгляды, которые потомъ художественно воссоздавалъ. Казалось, онъ сталъ новымъ человѣкомъ, и все, что выдвигалось пробуждавшимися социальными слоями, новыя ученія и политическія требованія, становились ему близкими и дорогими. Но политическое воспитаніе его еще не завершилось; онъ пережилъ имперію, реставрацію, іюльскую монархію, республику 1848 года, — ему предстояло быть свидѣтелемъ рѣзни 2-го декабря, тщетно пытаться организовать отпоръ и съ болью въ сердцѣ взять посохъ изгнанника. Онъ не склонилъ головы передъ насильникомъ, какъ это сдѣлали многіе, и поклялся не возвращаться при ненавистномъ порядкѣ вещей; быть можетъ, изгнаніе будетъ безконечно и онъ останется одинокимъ, но не сдастся. „Будетъ ли такихъ, какъ онъ, тысяча, онъ станетъ въ ея рядахъ; уцѣлѣетъ ли сотня, онъ все еще будетъ бороться; будетъ ихъ девять, онъ станетъ десятымъ, и еслибъ остался всего лишь одинъ человѣкъ, онъ будетъ этимъ смѣльчакомъ“ (et, s'il n'en reste qu'un, je serai celui là!). На островкѣ своемъ, почти безъ средствъ, въ виду родной земли, на которую ему суждено было вступить лишь восемнадцать лѣтъ спустя, онъ отдался съ удвоенными силами творчеству. Насталъ лучшій, зрѣлый періодъ его. Не-

справедливость и несчастья закалили его характеръ, вывели его на свободу, къ народнымъ массамъ, къ человѣчеству, и прежній литературный застрѣльщикъ сталъ проповѣдникомъ гуманности и терпимости, обличителемъ произвола и гнета. Тогда написаны „Les misérables“, выхваченные изъ глубины народной жизни, проникнутые искреннимъ состраданіемъ къ порочнымъ и заблуждающимся, и звучащіе проповѣдью милосердія. Поощады не было лишь для одного преступника, чью власть Гюго болѣе всего помогъ расшатать и низвергнуть; жестокими ударами падала на нее каждая строфа „Châtiments“, каждая ироническая строчка „Napoleon le Petit“. Въ одиночествѣ онъ сильнѣе прежняго позналъ утѣшенія дружбы и смягчающее вліяніе природы, которой онъ поклонялся съ дѣтства. Тѣснѣе сплотилась семья, еще ближе сжился онъ съ подругой, которая раздѣлила съ нимъ годы бѣдности и неудачъ; нѣжныя симпатіи перенеслись съ дѣтей на внуковъ, и Гюго сталъ первымъ, быть можетъ единственнымъ въ европейской поэзіи пѣвцомъ дѣтскаго міра. Дѣтскія головки, щебетанье и смѣхъ стали для него лучшимъ ободреніемъ къ труду; онъ переносился во всѣ ощущенія своихъ маленькихъ друзей, освѣжался среди нихъ, смотрѣлъ на нихъ какъ на своихъ ангеловъ, и только жалѣлъ, что они не вѣчно остаются дѣтьми; ему казалось, что на землѣ наступилъ бы рай, еслибы родители оставались всегда молоды, а дѣти вѣчно малы. Еще въ „Осеннихъ листьяхъ“ встрѣчаются дидактичныя дѣтямъ, въ „Légendes des siècles“ есть прелестное стихотвореніе, изображающее грезы ребенка; циклъ этой своеобразной поэзіи замыкаетъ собой пѣлая книга стиховъ „L'art d'être grand père“, гдѣ старый дѣдъ съ глубокою любовью воспѣваетъ своихъ несравненныхъ внуковъ, Жоржа и Жанну, которые одни только утѣляли отъ всей семьи и искрасили послѣдніе годы поэта. Инымъ покажется страннымъ такой выборъ темъ для лирики, особенно въ ранніе годы; но вѣдь у Гюго напрасно стали бы мы искать обычнаго обилія стихотвореній къ ней, какъ бы она ни называлась. Въ молодости онъ разъ полюбилъ серьезно, она стала его подругой, — а потомъ онъ любилъ человѣчество.

Природа нашла въ немъ такого же страстнаго поклонника. Монастырскій садъ времянь его дѣтства возсозданъ имъ въ *Misérables* съ юношескою свѣжестью впечатлѣній; полевые ландшафты и сельскія картины сплелись въ богатомъ выборѣ въ „*Chansons des rues et des bois*“. Долгіе годы изгнанія сроднили его съ жизнью моря; оно поднимало въ немъ вдохновеніе, вызывая сумрачныя или величавыя картины въ его фантазіи, когда онъ задумавшись долгіе часы проводилъ на морскомъ берегу. И не только свѣжіе морскіе пейзажи въ „Труженикахъ моря“ или лирическія изліянія „*Châtiments*“ и „*Contemplations*“ были порождены этимъ уединеніемъ передъ лицомъ необъятнаго океана. Широкій размахъ мысли, отличавшая его склонность къ величавому, колоссальному, нашли могучую поддержку; ничѣмъ не отвлекаемый, онъ углублялся въ созерцаніе жизни человѣчества, въ пережитыя имъ фазы, страсть къ обобщеніямъ, обзорамъ философіи исторіи съ орлиного полета и предчувствіямъ будущаго овладѣла имъ. Тутъ зародились тѣ оригинальныя произведенія, которыя появлялись въ послѣдніе годы, постепенно слабѣя по формѣ, но все такія же широкія по замыслу и блистающія искрами сильнаго вдохновения. За сорокъ лѣтъ передъ тѣмъ таинственный сонъ, видѣнный имъ, показалъ ему волшебное зданіе, гдѣ въ хаосѣ накоплены были дѣянія минувшихъ вѣковъ,—и вспомнивъ это, онъ набросалъ въ „*Légende des siècles*“ рядъ очерковъ, гдѣ эпохи, лица и народы проходятъ передъ читателемъ въ типическихъ отраженіяхъ. Такъ, въ позднѣйшей книгѣ „*Le rare*“ онъ раскрылъ мрачную исторію папства, въ „Торквемадѣ“—вѣковыя судьбы инквизиціи, въ „Ослѣ“ произнесъ судъ надъ педантизмомъ во всѣхъ его видахъ. Тамъ, гдѣ господствуютъ мелкія заботы, топтанье на одномъ мѣстѣ, полетъ старческой фантазіи къ широкимъ, непрогляднымъ горизонтамъ казался необычайнымъ явленіемъ.

Между тѣмъ часъ избавленія пробилъ. Изгнанникъ увидалъ отечество, но его ждали новыя испытанія, — война, осада, междоусобія; онъ все пережилъ, какъ очевидецъ и непосредственный участникъ, вынесъ много разочарованій,

вспомнилъ о нихъ въ мрачныхъ и жгучихъ страницахъ „*Année terrible*“, но среди борьбы и ожесточенія напоминалъ о братствѣ и человѣчности и передъ торжествующими и мстительными версальцами поднялъ голосъ за милосердіе и забвеніе въ своей „*Pitié suprême*“. Его гуманность иногда казалась непонятною, излишнею, его безпристрастіе неумѣстнымъ. Человѣкъ, котораго хотѣли выставить непримиримымъ, въ состояніи былъ въ „*Misérables*“ изобразить евангельскую доброту епископа, въ „Девяносто третьемъ годѣ“ правдиво пересказать исторію Франціи въ ту тревожную пору, изобразивъ въ лицѣ Говэна идеальнаго республиканца и рядомъ съ нимъ облагородивъ въ Лантенакѣ послѣдовательнаго и убѣжденнаго роялиста; такъ въ „Легенды вѣковъ“ краснорѣчивое стихотвореніе поэтизируетъ смерть Жана Шуана, вождя роялистскаго отряда, который погибаетъ подъ пулями враговъ, спасая отъ нихъ бѣдную женщину. Гюго ставилъ себѣ въ заслугу это безпристрастіе, эту вѣру въ людей и способность прощать; онъ вѣрилъ въ силу знанія, просвѣщенія, широко распространеннаго, „хотѣлъ искоренить каторгу школою“. И въ его строго и величественно звучащемъ призывѣ было что-то, чего нельзя было ослушаться; современность привыкала смотрѣть на него какъ на патріарха и судью, къ чьему трибуналу обращались гонимые, какъ нѣкогда къ посредничеству Вольтера. Славная, почетная старость ждала его послѣ тревожной жизни. Въ молодые годы, въ стихотвореніи, обращенномъ къ знаменитому скульптору Давиду (*Feuilles d'automne*), онъ жалѣлъ, что на долю его никогда не выпадетъ слава, что рѣзецъ художника не увѣковѣчитъ его чертъ для отдаленнаго потомства; „вѣдь онъ не изъ тѣхъ смертныхъ съ высоко поднятымъ челомъ, которые, въ бурю ли или въ тишь, среди поклоненія или ненависти, опережая свой вѣкъ, однимъ шагомъ вступаютъ уже въ будущность!“ Какъ должны были вспоминаться ему эти скромныя сожалѣнія, когда подъ старость, окруженный, даже избалованный всеобщимъ почетомъ, онъ видѣлъ исполненіе своихъ юношескихъ грезъ! Послѣдніе его годы, какъ выразился новѣйшій

его біографъ, превратились въ продолжительный апопееозъ. Празднованіе его восьмидесятилѣтія было національнымъ торжествомъ; до пятисотъ тысячъ прошло въ этотъ день передъ его балкономъ, возглашая ему славу...

Итальянское Rinascimento умѣло чествовать любимыхъ народныхъ поэтовъ, возродивъ для того великолѣпный античный обычай вѣнчанія ихъ въ Капитоліи. Новѣйшіе вѣка стали трезвѣе и равнодушнѣе. Показалось бы страннымъ парадомъ такое торжество при жизни человѣка; сама смерть его часто не въ силахъ вызвать всенародное выраженіе любви и горя. Байрона хоронятъ въ деревенской глуши, тѣло Пушкина ночью, тайкомъ, увозятъ изъ столицы, Гейне провожаютъ до могилы нѣсколько десятковъ человѣкъ. Но въ героической легендѣ о Гюго и конецъ необычайный. Подъ открытымъ небомъ, передъ старинной триумфальной аркой воздвигается мавзолей съ его прахомъ, и нѣсколько дней сряду къ гробницѣ, возвышавшейся надъ мировымъ городомъ, приходятъ безчисленныя депутаціи со всѣхъ концовъ страны; гробницу затопило вскорѣ цѣлое море благоухающихъ цвѣтовъ, а съ высокихъ свѣтильниковъ еиміамъ возносился къ небесамъ.... Неужели все это дѣйствительно было среди бѣлаго дня, въ центрѣ Парижа, а не пригрезилось мечтателямъ, способнымъ все еще вѣрить, что царство поэзіи не кончилось? Но чуть не милліоны были свидѣтелями этого сна на яву. Гюго и послѣ кончины смогъ вызвать у народа своего благородный порывъ единодушія и братства, и жизнь „пѣвца гуманности“, это послѣднее эпическое преданіе девятнадцатаго вѣка, гармонически завершилось величественной народною тризной.

НАКАНУНЪ НОВАГО СТОЛѢТІЯ*).

Первый выдающийся литературный дѣятель, съ именемъ котораго мы встрѣчаемся въ началѣ XIX столѣтія, Шатобріанъ, въ такихъ выраженіяхъ вспоминалъ потомъ о порѣ своихъ юношескихъ начинаній: „Судьба заставила меня,—говорилъ онъ,—броситься въ волны тамъ, гдѣ сливались двѣ большія рѣки. Я поплылъ, съ грустью оглядываясь на тотъ берегъ, который отъ меня отдалялся, и съ надеждой взирая на тотъ, который показался впереди...“

Стоя на рубежѣ двухъ столѣтій, мы переживаемъ такія же ощущенія. Правда, еще не выполнена хронологическая точность раздѣленія двухъ вѣковъ, и восемь лѣтъ насъ отдѣляютъ отъ того времени, когда официально начнется двадцатое столѣтіе, но историки культуры отвыкли отъ безусловнаго соблюденія заведенныхъ изстари граней, раздѣляющихъ между собою вѣка. Для нихъ XIX вѣкъ начинается съ девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія, чуть не со взятія Бастиліи; главнѣйшія умственные теченія новаго періода тогда уже обозначались. Такъ и теперь, среди литературныхъ явленій, съ виду слѣдующихъ обычной рутинѣ, можно разглядѣть признаки ученій и вкусовъ, которымъ будетъ принадлежать будущее. Въ такую переходную пору понятно желаніе очевидца-наблюдателя подвести итогъ пережитому и намѣтить выдвинутыя жизнью новыя цѣли. На недоста-

*) Въ первоначальномъ видѣ — публичная лекція, читанная въ 1892 г. въ Москвѣ въ пользу голодающихъ.

токъ матеріала не придется сѣтовать; напротивъ, обиліе его подавляющимъ образомъ дѣйствуетъ на обозрѣвателя, особенно если трудъ его замкнуть въ тѣсныя рамки публичнаго чтенія. Съ этимъ придется примириться. Пусть то или другое славное имя или художественное произведеніе будутъ опущены, лишь бы удалось прослѣдить развитіе главнѣйшихъ идей и интересовъ, питавшихъ собою цѣлое столѣтіе...

Если бѣгло присмотрѣться, въ какомъ настроеніи мы доживаемъ XIX вѣкъ и какъ начинаемъ новый, впечатлѣніе получится тяжелое. Словно душевное утомленіе, нервная усталость овладѣли всѣми; слышатся жалобы на то, что убѣжденія вывѣтрились, энергія ослабѣла, жить не за чѣмъ. Такой взглядъ средняго человѣка находитъ себѣ оправданіе въ философскихъ и поэтическихъ заявленіяхъ пессимизма, получаетъ доступъ въ журналистику. Что же касается свѣжихъ новостей современной жизни, начиная съ эксцентричности модъ и кончая всякими капризами и гримасами пресыщенной культуры, словечко *fin de siècle* необыкновенно удобно покрываетъ собой всевозможныя несообразности. Можно подумать, что цѣлое столѣтіе прожито бесплодно, что оно было сплошною ошибкой, и что теперь мы не знаемъ, какъ скоротать постылый вѣкъ. А, бывало, казалось, что и прожить онъ былъ не даромъ, что много было передумано, испытано, страдано...

Оглянемся же назадъ на тотъ берегъ, который *теперь* еще виднѣется за нами, взглянемся и въ ту страну, что обрисовывается впереди.

Не судъ надъ прошлымъ будетъ нашею задачей: по мѣткому выраженію Брандеса, критика въ наше время не хочетъ болѣе *судить*; она изучаетъ и объясняетъ...

Отъ предѣльной грани доживаемаго нами столѣтія вернемся къ тому времени, когда Шатобріанъ былъ молодъ, и, сознавая необычайность минуты, совершалъ любопытное передвиженіе изъ одного вѣка въ другой. Нѣсколько одновременныхъ умственныхъ теченій представлялось тогда взору, и эти теченія свойственны были не одному только народу,

а охватывали собой всю Европу, имѣли значеніе международное. Это первый любопытный фактъ въ литературной исторіи столѣтія; съ той поры становится невысказаннымъ изолированіе какой бы то ни было національной дѣятельности; все живое, глубокое и истинно художественное дѣлается общимъ достояніемъ. Проповѣдь энциклопедизма уже сблизила передъ тѣмъ мыслящихъ людей, наполеоновскія войны еще тѣснѣ свели и смѣшали племена. Общія испытанія отражались отнынѣ въ литературѣ. Разочарованіе въ недавнемъ прошломъ, утрата идеаловъ, разбитыхъ наполеоновскою тиранніей, подавленность духа, съ печалью отдаляшагося отъ современности, — съ другой стороны, стойкая приверженность къ завѣтамъ просвѣщенія и свободы, хранящая во что бы то ни стало отдѣльными лицами и группами, сумѣвшими (какъ это видимъ у Годвина, учителя Шелли) въ пору глухой реакціи ни на шагъ не отступать отъ завѣтныхъ убѣжденій, — изящная стройность и философская глубина гете-шиллеровскаго творчества, или демонстративно-патріотическое и средневековое движеніе романтизма, — вотъ тѣ главные элементы, изъ которыхъ должна была создаться будущая литература.

Насколько могли совладать со всѣми противорѣчіями и сомнѣніями слишкомъ склонные унывать и терзаться даровитые, но никому не нужные скорбники и печальники, показываетъ судьба мистическаго, туманнаго, полного унылой поэзіи, нездороваго направленія, которое ведетъ свое начало отъ Шатобриана, хотя коренится еще въ меланхолии Вертера и Сень-Прэ. Дѣйствительность не могла удовлетворить ихъ; въ ней, какъ и въ недавнемъ прошломъ, было слишкомъ много потрясеній; хотѣлось уйти отъ людей, отъ ихъ злобы и низости, уйти въ глушь первобытной природы, въ туманную даль мистическихъ грезъ; жизнь среди общества казалась неволей, и съ печатью тайныхъ страданій на челѣ, въ непонятномъ величіи, одинокіе среди толпы, шли своей тернистою тропой вѣчные печальники.

Изъ этого нервнаго поколѣнія выдѣлялись отдѣльные образы разочарованныхъ и надломленныхъ людей; Рене Шато-

бріана выступаєть, точно вождь, во главѣ разныхъ Оберманновъ, Адольфовъ, Карловъ Мюнстеровъ *); постепенно эта дружина меланхоликовъ пополнялась новобранцами изъ разныхъ странъ. Національныя особенности, перевѣсъ мистицизма, себялюбія или же отзывчивости на народныя страданія и протестующихъ порывовъ вводятъ новыя видоизмѣненія въ этотъ сводный характеръ.

Поставьте рядомъ съ Рене героя романа Уго Фосколо, Джакомо Ортиса, и вы увидите, какъ въ тяжелую пору, когда послѣ временнаго освобожденія, которымъ Италія была обязана полководцамъ республики, снова приходилось подчиняться возвратившимся мелкимъ тиранамъ, — человекъ, тяготящійся жизнью и глубоко разочарованный, страдалъ не отъ одного только личнаго горя; сильнѣе, чѣмъ всѣхъ женщинъ міра, онъ любитъ Италію, эту „страну мертвыхъ“, видитъ, какъ она погружается въ летаргическій сонъ, и въ отчаяніи рѣшается покончить съ собой. Горячая любовь къ родинѣ, пробивающаяся сквозь грустныя личныя изліянія, призывы къ освобожденію, чередующіеся съ пароксизмами тяжелой хандры, предвѣщали въ эту раннюю пору удивительную поэзію Леопарди, его гимны къ Италіи и болѣзненные стоны.

Среди тьмы, заволакивавшей всю Европу, на дальнемъ сѣверѣ послышался изъ семьи разочарованныхъ неудачниковъ другой, смѣлый и обличающій голосъ. Итальянская и русская національность наложили особенно симпатичный отпечатокъ на обще-европейскій типъ. *Такіе* люди—неудавшіеся общественные дѣятели. Выпустите Ортиса на волю—это будущій Гарибальди, или Мадзини; Чацкій и декабристы—родные братья.

Въ нѣмецкомъ романтизмѣ, съ его культомъ старины и средневѣковымъ маскарадомъ, такія явленія рѣдки. Кернеръ, восторженно воспѣвавшій освобожденіе родины, покинувшій поэзію для активной борьбы и сраженный непріятельскимъ ядромъ, и Клейсть съ его таинственнымъ

*) Герои романовъ Сенанкура, Бенжамена Констана, Шарля Нодье.

самоубійствомъ, вызваннымъ недовольствомъ личною и народною жизнью, стоять одиноко среди поддѣльныхъ рыцарей, миннезенгеровъ во фракѣ, монашествующихъ философовъ и археологовъ. Объединить всѣ разрозненные проявленія „міровой скорби“ и порывовъ впередъ суждено было лишь тому оттѣнку романтизма, который сложился въ народѣ, по характеру и склонностямъ своимъ слишкомъ расположенномъ къ практическому, реальному дѣлу, чтобы долго оставаться въ дебряхъ фантазмагоріи.

Англійскій романтизмъ возбудилъ отрезвленіе и тревогу, и если такіе чистокровные романтики, какъ поэты „Озерной школы“ и Вальтеръ-Скоттъ съ его занимательными реставраціями стараго быта, пошли по нѣмецкой тропѣ, такъ же благоговѣя передъ одной лишь стариной, не понимая современныхъ нуждъ, и противопоставляя деревенскую тишину и красоты природы всѣмъ измышленіямъ вѣка, изъ тѣхъ же рядовъ раздались смѣлыя пѣсни Байрона и Шелли.

Байронъ былъ, конечно, прежде всего сыномъ прошлаго вѣка; на немъ всегда было замѣтно вліяніе Руссо, но все испытанное новыми поколѣніями, вся тяжкая и возмущающая злоба дня такъ страстно воспринимаются имъ, что онъ не въ состояніи утѣшаться романтической басней о томъ, что встарину было лучше. Ему нужно будущее, а не прошлое, и онъ зоветъ человѣчество впередъ. Въ первой же его поэмѣ, „Чайльдъ Гарольдъ“, наслѣдіе шатобріановой школы кореннымъ образомъ перерождается, и поэзія личной грусти уступаетъ мѣсто поэзіи соціального протеста. Какъ бы порою ни казались слишкомъ неосязаемыми формы его, изъ-за нихъ обрисовывалась опредѣленная программа освобожденія не только личности, но и всего человѣчества. Чайльдъ Гарольдъ проходитъ по краямъ Европы, наиболѣе страдавшимъ отъ тиранніи, не съ онѣгинской тоской и апатичностью, а съ гуманнымъ участіемъ и ободряющею рѣчью, стремится поднять духъ поработенныхъ, подѣйствовать на нихъ картинами величія и независимости. Тѣмъ же духомъ вѣетъ отъ мятежныхъ заявленій Люцифера и тонкихъ насмѣшекъ Донъ-Жуана.

Романтизмъ, которому, казалось, суждено было лишь принести извѣстную пользу для изученія старины и народности, благодаря Байрону и Шелли сталъ переходною ступенью къ социальному направленію литературы. Мы замѣчаемъ это въ Англіи, гдѣ послѣдователи Байрона поняли этотъ призывный кличъ. Байронъ по временамъ дорожилъ своею политическою дѣятельностью болѣе, чѣмъ поэзіею. Въ верхней палатѣ онъ произноситъ горячую рѣчь за ткачей, разоренныхъ введеніемъ машиннаго производства, въ предсмертные годы пытается издавать руководящую политическую газету, затрачиваетъ массу энергии для служенія итальянскому дѣлу и погибаетъ во главѣ народнаго греческаго ополченія.

Его примѣръ воспиталъ цѣлыя поколѣнія поэтовъ: Пушкинъ покидаетъ блестяшія стихотворныя шалости „лицейскаго періода“ для полныхъ тревоги и протеста поэмъ и лирическихъ изліяній; Мицкевичъ становится авторомъ *Дзядовъ* и *Валенрода*; въ рядахъ байронистовъ выступаютъ такія разнообразныя личности, какъ Ламартинъ и Гейне, Леопарди, Лермонтовъ и Мюссе. Такія же благородно возбуждающія рѣчи слышатся изъ устъ Шелли; казалось, онъ такъ радостно и безповоротно ушелъ въ чудно идеализованный имъ античный міръ, полный разцвѣта знанія, красоты и свободы, что „грѣшныхъ пѣсенъ земли“ для него не существуетъ; вѣдь онъ одною только стороною примыкаетъ къ англійскому романтическому движенію; завѣты философіи XVIII вѣка, своеобразныя классическія грезы для него всего ближе. Но того же Шелли вы видите въ Ирландіи, среди взволнованнаго народа, ходящимъ по селамъ, раздавая все, что у него есть, группируя вокругъ себя недовольныхъ, видите въ англійскихъ деревняхъ во время эпидемической болѣзни, всѣ ужасы которой не остановятъ его отъ человѣколюбивой дѣятельности, видите наконецъ авторомъ такихъ поэмъ, какъ *Возстаніе Ислама* или *Освобожденный Прометей*. Олицетворяя въ Прометее противниковъ застоя и рабства, онъ измѣняетъ старую легенду о безысходныхъ мученіяхъ друга людей и тѣшитъ себя мечтой о томъ, какъ страда-

лецъ будетъ освобожденъ, новое поколѣніе людей, переродившихся духовно и нравственно, займетъ мѣсто одряхлѣвшаго человѣчества, и побѣжденный Юпитеръ будетъ низвергнутъ въ бездну времени...

Такъ поэзія умѣла уже воспитывать современность и подготавливать ее даже своими грезами къ социальному обновленію. Но къ двадцатымъ годамъ жизнь настолько осложнилась и обнаруживала свои насущныя нужды, что стала все сильнѣе ощущать потребность перейти отъ поэтическихъ мечтаній къ практическому дѣлу.

Конецъ двадцатыхъ годовъ отмѣченъ въ Англіи подъемомъ соціального и политическаго движенія. То фабричныя волненія, безпощадно подавляемыя, то глухое броженіе среди рабочаго люда, то заявленіе новыхъ ученій, задающихся цѣлями общаго блага, то чье-нибудь краснорѣчивое заступничество за страдающихъ (вродѣ, наприм., заботъ Роберта Оуэна объ ограниченіи дѣтскаго труда на фабрикахъ)—напоминали о серьезномъ пробужденіи общественныхъ интересовъ. Уже не байроновскіе эффектные герои, а личности заурядныя: ткачъ съ его будничной нуждой, мелкій торговецъ, крестьянинъ, городской пролетарій, дѣлаются героями дня. Это такъ понятно въ тотъ періодъ, который совмѣщаетъ въ себѣ и движеніе въ пользу билля о реформѣ, приведшее къ присвоенію избирательныхъ правъ большому числу гражданъ, и зарожденіе чартизма, и дѣятельность лиги противъ хлѣбныхъ законовъ, и цѣлый рядъ другихъ важныхъ соціально-литературныхъ фактовъ. Все это примѣчательное возбужденіе увлекаетъ за собой литературу. „Униженные и оскорбленные“ находятъ себѣ заступника въ лицѣ плебея Диккенса, творящаго вмѣстѣ съ тѣмъ строгій судъ надъ господствующею родовой и денежною знатью. Томасъ Гудъ слагаетъ свою знаменитую „Пѣсню о рубашкѣ“, Эбенезеръ Эллиоттъ—свои пѣсни противъ „хлѣбныхъ законовъ“. Ветеранъ публицистики, Коббеттъ, своими брошюрами, сатирами и рѣчами ратуетъ за интересы „чернаго народа“ (The Great Unwashed). Выдающіеся литературные критики,вродѣ Карлейля, принимаютъ участіе въ

образованіи партіи чартистовъ, долго ратовавшей за права рабочаго люда и оставившей слѣдъ въ литературѣ и въ политикѣ; однимъ изъ главнѣйшихъ фактовъ исторіи этой партіи является книга Карлейля „Chartism“, краснорѣчивая защита людей труда и остроумный разборъ современнаго экономического положенія Англіи. Въ дѣятельности всѣхъ этихъ людей чувствуется не лихорадочный призывъ къ разрушенію, а чисто-британское, трезвое и практическое сознаніе необходимости реформъ, очевидности зла и обязанности для честнаго человѣка сказать свое свободное и правдивое слово. И съ той поры не замерла болѣе въ англійской литературѣ гуманная отзывчивость на общественныя нужды, сказавшаяся и въ романахъ „христіанскаго социалиста“, пастора Кингслэя, и въ стихотвореніяхъ Роберта Броунинга и его жены, ставшихъ поэтами бѣдняковъ, и наконецъ въ такихъ романахъ Дж. Эллиоттъ, какъ *Адамъ Бидъ* или *Сайласъ Марнеръ*.

Такой же поворотъ подготавлился во Франціи. Кружокъ 4-жи Сталь, идя по слѣдамъ этой смѣлой противницы наполеоновскаго деспотизма, велъ борьбу съ его преемникомъ, произволомъ Бурбоновъ. Бенжаменъ Констанъ изъ романиста-психолога, защитника разочарованности, превратился въ искуснаго публициста и теоретика либеральной партіи; въ рядахъ оппозиціи сходится онъ съ такими противоположными по натурѣ дѣятелями старшаго поколѣнія, какъ Шатобріанъ, Лафайеттъ; подъ таинственнымъ покровомъ плебейскаго псевдонима вторять имъ остроумные памфлеты Поль-Луи Курье, а по всей странѣ изъ края въ край разносится легкокрылая пѣсенка Беранже, неподражаемая, всѣмъ понятная, народная, и разить врага однимъ изъ наиболѣе смертоносныхъ орудій, хохотомъ. Когда борьба привела къ іюльскому перевороту, вѣсть о немъ всюду (вспомнимъ признанія Гейне и Берне, стихотвореніе Лермонтова и т. д.) была встрѣчена съ радостью. Чуть ли не такъ же радовались въ прошломъ столѣтіи и на берегахъ Невы, и въ Вѣнѣ, и въ Лондонѣ, когда узнали, что Бастиліи больше нѣтъ.

Но действительность скоро показала, как заблуждались, кто, подобно рыбаку, сообщившему Гейне вѣсть о июльскихъ дняхъ, считалъ, что „бѣдные люди побѣдили“. Общественное движеніе еще болѣе обострилось. Французскіе поэты, позже другихъ выступившіе на поприще романтизма, и сначала расположенные позировать въ качествѣ замкнутого кружка молодыхъ гениевъ, отдаются теченію и научаются пользоваться литературой, какъ средствомъ достиженія общественныхъ цѣлей. Каждая драма Гюго была демонстраціей. Политическій и социальный протестъ, вложенный въ рѣчи всевозможныхъ Рюи Блазовъ, Эрнани, шута Трибуле, заступничество за плебея и склонность идеализировать его идутъ рядомъ съ заявляемою во всеуслышаніе свободой творчества и объясняютъ одно изъ любимыхъ изреченій молодой французской школы, гласившее, что „романтизмъ въ литературѣ то же, что либерализмъ въ политикѣ“.

До 1840 года идетъ группировка силъ, распознаваніе своихъ отъ чужихъ, переработка старыхъ и заявленіе новыхъ социальныхъ ученій, все могущественнѣе начинающихъ волновать умы, и наконецъ къ сороковымъ годамъ опредѣленно складывается широкое социальное движеніе, охватывающее собою всю жизнь, отражающееся въ Германіи, въ далекихъ отголоскахъ проникающее въ Россію, гдѣ ему предстояло повліять на Герцена и его кружокъ, на послѣдній періодъ дѣятельности Бѣлинскаго и на направленіе новой школы романистовъ. Благодаря такимъ удивительнымъ его популяризаторамъ, какъ Гейне и Берне, „Молодая Германія“, воспитавшая свое свободомысліе на шиллеровскомъ „Теллѣ“, на „Рѣчахъ къ нѣмецкому народу“ Фихте, и на отпорѣ домашней реакціи, оживляется отъ соприкосновенія и солидарности съ французскимъ умственнымъ движеніемъ. Отважно выступившая въ бой, затравленная реакціей и обезсиленная, она сдала свое дѣло болѣе энергическимъ преемникамъ, „политическимъ поэтамъ“, Фрейлиграту, Гервегу, Фаллерслебену. „Уріэль Акоста“ Гуцкова и теперь еще въ состояніи возсоздать печальную исповѣдь разбитыхъ жизнью меч-

тателей того времени. Устами героя и его судей говорят молодое поколѣніе и старые, властные люди сороковых годовъ. Если Уріэль долженъ испытать гнѣтъ общественныхъ и церковныхъ предразсудковъ на свободную мысль, то все это извѣдали на себѣ Гупковъ и его поколѣніе. Если старикъ Бенъ-Акиба своею неизмѣнной поговоркою: „все это ужъ бывало“, встрѣчаетъ всякій порывъ и новое слово, напоминая о неизбѣжности подчиненія и превосходствѣ силы и авторитета, эти слова многомудраго старца были взяты прямо изъ жизни; ихъ на всѣ лады повторяли и консервативная печать, и само общество, привыкшее къ блаженному покою. „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“ (спокойствіе—первая обязанность гражданина) гласило вскорѣ ироническое заглавіе одного романа.

Когда между тремя народностями установилась такимъ образомъ солидарность, и социальное направленіе литературы представилось главнымъ залогомъ ея возрожденія и развитія, она отрекается отъ служенія интересамъ и развлеченію избранныхъ общественныхъ слоевъ и хочетъ сдѣлаться вѣрною спутницей всего народа. Съ сороковыхъ годовъ въ Германіи, потомъ во Франціи, подъ конецъ въ Россіи обозначается въ беллетристикѣ стремленіе изучить и правдиво изобразить жизнь деревенскаго люда. Шварцвальдскія „Dorfgeschichten“ Ауэрбаха открываютъ собой рядъ такихъ этюдовъ съ натуры. Въ первой серіи своихъ разсказовъ Ауэрбахъ еще не прочь подрисовать дѣйствительность, изображая крестьянство исключительно съ свѣтлой его стороны, но затѣмъ онъ показалъ деревенскую жизнь, какъ она есть, не скрывая пороковъ, мелкой наживы, даже преступленій, не отступая и передъ идиллической картинкой, если ему случилось ее наблюдать. Примѣръ Ауэрбаха увлекъ за собой Жоржъ-Зандъ, уже покинувшую къ тому времени исключительную разработку *женскаго* романа и отдавшую десять лѣтъ своей дѣятельности на служеніе идеямъ социализма. Она съ особеннымъ вниманіемъ изучаетъ деревню и крестьянъ, къ которымъ французская словесность всегда относилась слишкомъ сурово,—и оставляетъ въ своихъ де-

ревенскихъ повѣстяхъ любопытную галерею этюдовъ съ натуры. Наконецъ, поддерживая этими двумя симпатичными примѣрами свое искреннее влеченіе къ русскому крестьянству, уже введенному въ область поэзіи Пушкинымъ, но оставшемуся внѣ рамокъ гоголевской бытовой картины, выступаютъ съ середины тѣхъ же сороковыхъ годовъ наши повѣствователи изъ деревенскаго быта, Тургеневъ, Григоричъ, Некрасовъ, увлекая за собой все послѣдующее поколѣніе знатоковъ народа, вплоть до Глѣба Успенскаго и Короленко, — а въ отвѣтъ слышатся задушевные звуки народныхъ пѣсень Кольцова, Шевченка и Никитина.

Къ тому времени, когда литературное изученіе быта стало такъ широко развиваться, въ литературу, уже утрачивавшую изолированное, исключительное значеніе художественнаго творчества, входитъ нѣсколько могучихъ притоковъ: это именно вліяніе быстро идущаго впередъ естествознанія и общественныхъ наукъ. Притокъ такихъ силъ могъ только оживить ее.

Если прежде подъ крыломъ романтизма могла сложиться натурфилософія Шеллинга, научавшая абстрактно судить о природѣ, если та же природа искусно воспѣвалась поэтами, при чемъ ея художественный образъ заслонялъ собой точное ея пониманіе, пришла пора усиленнаго изслѣдованія ея законовъ. Привыкнувъ любоваться картинами ея у Гейне, Шелли, Лермонтова, Байрона, и сожалѣть о неудовлетворимости фаустовскихъ порывовъ подчинить себѣ природу хотя бы силою тайныхъ знаній, человѣчество начинаетъ постигать величіе точной науки и ея очевидныхъ побѣдъ и научается высоко цѣнить людей, вродѣ Ляйелля, Фарэдея, Дарвина, Гельмгольца.

Ясность и точность научнаго метода прививаются къ литературѣ. Изученіе жизни и ея явленій постепенно пріобрѣтаетъ стройность и систему; художникъ-реалистъ надежно оперируетъ собраннымъ матеріаломъ, и у его обобщеній и типовъ есть твердая почва. Бальзакъ увлеченъ мыслью дать въ своихъ романахъ „естественную исторію общества“ и дѣлаетъ опыты надъ „физиологіею“ его главныхъ предста-

вителей. Научный методъ отразился и на способахъ изученія литературы и на направленіи критики. Лишь съ этой поры критика стала достойной своего призванія. Еще въ началѣ вѣка она была догматической. Въ сороковыхъ годахъ, благодаря Сентъ-Бёву, она начала уже изучать литературное произведеніе въ связи съ характеромъ и личною жизнью писателя, съ его средой, идеями его времени и разнообразными влияніями, которыя оно могло оказать на него. Идя вслѣдъ за успѣхами естествознанія, критика послѣ почина, сдѣланнаго Тэнномъ, не довольствуясь физическими розысканіями и историческими справками, старается раскрыть влияніе физическихъ условій, особенностей природы, климата, расы, входитъ въ область „психологіи народовъ“, — словомъ, для оцѣнки литературныхъ явленій касается такихъ предметовъ, самое упоминаніе о которыхъ въ критической статьѣ казалось бы въ началѣ столѣтія ересью; въ крайнихъ проявленіяхъ своихъ она до того подпадаетъ обаянію науки о природѣ, что готова принести ей въ жертву творчество и борьбу изъ-за народныхъ нуждъ. Таково было юношеское увлеченіе Писарева, отклонившее было его блестящій талантъ отъ истиннаго призванія руководящаго критика. Наконецъ, въ литературную область проникаетъ понятіе объ эволюціи, и, примѣненное къ развитію творчества и художественнаго отраженія жизни, обогащаетъ критику и исторію словесности новыми точками зрѣнія.

Развитіе общественныхъ наукъ, съ другой стороны, еще тѣснѣе примкнуло къ литературному движенію и должно было существенно поддержать его. Политическая экономія новаго времени, посвящающая себя интересамъ труда, перенесшая свою заботливость съ охраненія личнаго благосостоянія на развитіе дѣятельности народныхъ массъ и изученіе способовъ объединенія рабочихъ силъ, конечно, стояла, вмѣстѣ съ политическими теоріями конца сороковыхъ годовъ, на одномъ уровнѣ съ тою литературой, которая отъ преклоненія передъ избранными личностями рѣшительно переходила къ изображенію *всего* народа, *всего* общества, и искала гармоническаго сочетанія личнаго съ общимъ. От-

того-то многія имена съ одинаковымъ правомъ значились тогда и въ рядахъ дѣятелей словесности, и въ числѣ политическихъ писателей. Жоржъ-Зандъ и Пьеръ Леру сначала выступаютъ въ изящной литературѣ, потомъ это уже—издатели журналы („Revue indépendante“), группирующаго всѣ передовыя политическія силы. Ламартинъ, еще недавно чистокровный лирикъ, съ очевиднымъ пристрастіемъ къ „серафимской“ поэзіи, превращается въ президента республики и, хотъ и не долго, держитъ въ своихъ рукахъ судьбу Европы; Гюго рѣшительно переходитъ на путь политической дѣятельности; въ Германіи, даже въ нѣдрахъ гегельянства, образуется „лѣвая сторона“, и составившіе ее дѣятели, выступая и въ философіи, и въ литературѣ, и въ политикѣ, отмѣчаютъ этимъ поворотъ въ умозрительной работѣ нѣмецкой культуры; авторъ романа „Кто виноватъ“ является въ то же время и талантливымъ популяризаторомъ новой науки и замѣчательнымъ публицистомъ; критическія работы Бѣлинскаго и Добролюбова получаютъ общественно воспитательное значеніе.

Бывало, бойкая французская *chanson* умѣла задорно фронттировать; теперь народу нужны другія пѣсни. Поэтъ-рабочій Пьеръ Дюпонъ выдвигается своими неподдѣльно-реальными изображеніями народной жизни. До сихъ поръ не забыто стихотвореніе, „*Le pain*“, написанное въ голодный 1846—47 годъ. Это такое проклятiе голоду и такое искреннее заступничество за страдающій народъ, какое врядъ ли часто встрѣтишь. „Голодь, точно хищный волкъ, безстыдно, среди бѣлаго дня врывается въ жилища. Повсюду запустѣніе, зловѣщая тишина... мельницы не работаютъ, не слышно веселыхъ [голосовъ, перекликающихся въ полѣ, не видно работниковъ. Въ воздухѣ сбирается гроза, смутный гулъ слышится издали... То сливаются безчисленные голоса въ одинъ ропотъ: мы голодны“ *).

*) La famine, comme une louve,
Entre en plein jour dans la maison;
Dans les airs un orage couve,
Un grand cri monte à l'horizon.

Когда общественное значеніе литературы стало признанным фактомъ, она уже рѣшается брать на себя выполнение широко задуманныхъ работъ, охватывающихъ всю жизнь. Бальзакъ дѣлаетъ это въ обширной серіи романовъ „La comédie humaine“, яркой картинѣ всего французскаго общества 40-хъ годовъ; изъ многочисленныхъ романовъ Диккенса складывается исторія англійскаго общества его времени; подъ вліяніемъ Пушкина, внушавшаго ему серьезный взглядъ на общественное призваніе писателя, Гоголь задумываетъ сдѣлать „Мертвыя души“ отраженіемъ всей русской жизни. Такъ, на развалинахъ романтизма постепенно выросъ и развился реализмъ въ широкомъ и глубоко симпатичномъ смыслѣ этого слова. Художественная сила и красота творчества отъ этого не тускнѣли, но выступали въ новой и прекрасной оправѣ. Последнія великія имена миновавшаго періода напоминали сторонникамъ чистаго искусства о возможности сліянія обоихъ началъ. У Пушкина тридцатыхъ годовъ чувствовалось уже искреннее уваженіе къ народной личности. „Фаустъ“, задуманный подъ вліяніемъ идей прошлаго вѣка, во второй части драмы указалъ на трудъ для общественнаго блага, какъ на единственный залогъ полнаго счастья и примиренія съ собой.

Въ сложной исторіи литературнаго реализма XIX-го вѣка было немало переходовъ и видоизмѣненій. Всѣмъ еще памятно эффектное появленіе французскаго натурализма, самое имя котораго такъ созвучно съ опередившею его дѣлтъ на сорокъ гоголевской „натуральной школой“. И вождь этого направленія, и его сотрудники настаивали на новизнѣ своего дѣла, но правда была на сторонѣ тѣхъ, кто видѣлъ въ натурализмѣ Зола, Флобера, Додэ, лишь одну изъ переходныхъ стадій стараго, какъ міръ, движенія, вѣчно встрѣчавшагося и спорившаго съ направленіемъ, которое отдаляетъ творчество отъ жизни.

On n'arrête pas le murmure
Du peuple, quand il dit: j'ai faim;
Car c'est le cri de la nature:
Il faut du pain.

Натурализмъ такъ же отмѣчаетъ собой шестидесятые и семидесятые годы, какъ общественное направленіе словесности и развитіе политическихъ теорій характеризовало сороковые и пятидесятые годы. Онъ съ гордостью указываетъ на свой научный методъ. Союзъ между точными науками и литературой прежде скорѣе подразумѣвался; Зола прямо ставитъ свое дѣло подъ покровъ естествознанія. Его произведенія именуются „романами опыта“; начинаются собираніе и классификація „человѣческихъ документовъ“; наряду съ немногими именами предшественниковъ-беллетристовъ, вродѣ Бальзака, у него красуется въ качествѣ наставника и вдохновителя Клодъ Бернаръ. Если вспомнить, что Тэнъ своими авторитетами называлъ Жоффруа Сентъ-Илера и Кювье, то смыслъ переворота, происшедшаго въ литературѣ, станетъ особенно яснымъ. Для дѣятелей слѣдующаго поколѣнія, хотя бы они и расходились въ чемъ-либо съ натурализмомъ или взглядами Тэна, основная точка зрѣнія остается безспорною. Такъ Брюнтьеръ, въ широко задуманномъ трудѣ объ „Эволюціи литературныхъ родовъ“, не довольствуется уже прежними путеводными именами и, идя слѣдомъ за успѣхами естествознанія, взываетъ къ Дарвину и Геккелю, а Бурже опирается на открытія новейшей, опытной психологіи.

Обобщеніе научныхъ результатовъ позитивистами придало еще болѣе увѣренности реализму. Отказываясь отрицать то, что еще не изслѣдовано, онъ желалъ изображать лишь подлинные факты жизни, которые послѣ точныхъ наблюденій стали достояніемъ соціолога и психолога.

Движеніе это осложнилось съ теченіемъ времени различными преувеличеніями и уродствами, но въ корнѣ оно было здоровымъ. Рѣшимость искать, во что бы то ни стало, правды (характеристично названіе, избранное „натуралистами“ Италіи въ видѣ девиза своей школы, *veristi*, отъ *vero*, правдивое) возможность такъ расширять кругозоръ литературы — слишкомъ замѣтный фактъ въ исторіи ея развитія. Установилось полезное соревнованіе между тѣми изъ беллетристовъ, которымъ по силамъ были наблюденія физиологиче-

скаго характера, и художниками - психологами, шедшими старымъ и уже испытаннымъ путемъ, углубляясь теперь въ самыя нѣдра жизни. На всемъ пространствѣ, охваченномъ умственными движеніями современности, предприняты были сложныя изслѣдованія душевныхъ явленій; это психологія дѣтскаго міра (въ „Дѣтствѣ и Отрочествѣ“), душевная жизнь несчастнаго каторжника (въ „Запискахъ изъ Мертваго дома“, разсказахъ Короленко), негра-невольника („Хижина дяди Тома“, поэмы Лонгфелло), крѣпостнаго мужика, анализъ безграничной помѣщичьей лѣни („Обломовъ“) или нравственной испорченности французской буржуазіи, отравленной наполеоновскимъ имперіализмомъ (двадцать романовъ Зола о Ругонъ-Макарахъ), — въ историческомъ романѣ выступила на первый планъ психологія народовъ („Война и Миръ“, шесть романовъ Фрейтага, изображающихъ эволюцію нѣмецкой національности въ разныя эпохи, *Саламбо* Флобера); драма дала нѣсколько глубокихъ психологическихъ этюдовъ, въ особенности изъ женскаго душевнаго міра („Гроза“; драмы Ибсена).

Но можно ли забыть то, характеризующее конецъ вѣка, движеніе умовъ, которое стоитъ такъ же обособленно отъ его водоворота, какъ въ прошломъ столѣтіи однородное съ нимъ ученіе Руссо, — то изумляющее подчасъ своею односторонностью, своимъ „походомъ противъ культуры“ (которая, казалось бы, служить тѣмъ же человѣчнымъ цѣлямъ), своимъ воздержаніемъ отъ борьбы съ торжествующею неправдой, но глубоко серьезное, вызванное тоской по нравственномъ идеалѣ, и полное сердечнаго братолюбія, движеніе, во главѣ котораго красуется имя одного изъ величайшихъ художниковъ слова? Тотъ вѣкъ, когда подобная проповѣдь самосовершенствованія могла находить живой отзвукъ въ разноплеменныхъ адептахъ, въ Старомъ и Новомъ Свѣтѣ, не былъ даромъ прожить человѣчествомъ.

А въ то время, когда съ самообладаніемъ и зоркостью естествоиспытателя беллетристика накопила свои наблюденія надъ жизнью, а группа подвижниковъ страстно стремилась къ разрѣшенію нравственныхъ противорѣчій, — дру-

гая группа дѣателей литературы, стоя въ водоворотѣ этой жизни, отзываясь на повседневные ея запросы обличающимъ словомъ, честною насмѣшкой или бодрою учительною рѣчью, исполняла завѣщанную ей предшественниками задачу, и въ сатирѣ Щедрина выставила рѣдкій образецъ общественнаго служенія литературы. Какую же обширную область охватила собою словесность! Все, что пережито было человѣчествомъ за сто лѣтъ, вся жизнь съ ея мелкими оттѣнками хлынула въ нее. Когда хоть бѣглымъ взглядомъ окинешь все это многообразіе дѣятельности, замираетъ на устахъ суровый приговоръ истекающему столѣтію. Правда, его называютъ „вѣкомъ открытій“, заявляя этими словами, что не литературѣ, а точному знанію принадлежитъ первенство въ умственной работѣ XIX столѣтія. Но если литература, какъ видимъ теперь, могла бы потребовать и своего включенія въ этотъ кругъ торжествующаго движенія человѣческой мысли, то вѣдь и она можетъ гордиться открытіемъ, и немаловажнымъ. Правда, оно постепенно назрѣвало въ предшествующіе вѣка; но развѣ изслѣдованію законовъ природы не предшествовали также догадки и наблюденія прежняго времени? Ея открытіе можетъ только сдѣлать честь нашему вѣку. Литература, какъ выраженіе мысли и жизни *всего* народа, уже не фраза. Литература, какъ вѣрная спутница человѣчества, казалась чудною мечтой, которая, несмотря на всѣ одиночныя усилія, не осуществлялась. Теперь эта мысль стала общимъ достояніемъ; возврата на старую дорогу нѣтъ; поэты вродѣ французскихъ *Parnassiens*, допѣвающіе свои изящныя, правильныя, но ко всему безучастныя пѣсни, кажутся запоздалыми чудаками...

Но за все это время долгой и напряженной работы накопилось немало опыта, выяснились ошибки и намѣтились цѣли дальнѣйшаго труда. Этими указаніями должно воспользоваться слѣдующее столѣтіе. Зачѣмъ брести ему по пройденнымъ уже извилинамъ и не отречься отъ надеждъ, еще не упраздненныхъ, но очевидно несостоятельныхъ? Въ борьбѣ за существованіе достаточно сказалась безжизненность и

неправоспособность различных вкусовъ, пріемовъ и направлений. Какъ много ихъ отпало по дорогѣ или же чахнетъ передъ нашими глазами!

Гдѣ тѣ „положительные герои“, которые когда-то очаровывали нашихъ отцовъ? Ихъ слѣда не осталось! Безжалостный анализъ романиста-скептика, который не видитъ вокругъ себя положительныхъ людей, съ головы до ногъ составленныхъ изъ добродѣтелей, отбросилъ этотъ пріемъ. Правда, даже на такого зоркаго наблюдателя, какъ Брандесъ, совершенное отсутствіе положительныхъ характеровъ въ литературѣ наводитъ скорбь; ему кажется, будто вмѣстѣ съ тѣмъ понизился уровень литературы. Но они все же исчезли, и вмѣстѣ съ этими образцовыми людьми скрылись и разочарованные герои, съ самаго начала столѣтія привыкшіе привлекать симпатіи массы; скрылись и таинственные или, какъ ихъ называлъ Шпильгагенъ въ своемъ романѣ, „проблематическія“ натуры. Надъ послѣдними представителями этой группы эффектныхъ неудачниковъ произнесенъ строгій судъ. Печорины, Рудины, Штейны (въ *Problematische Naturen*), Confession d'un enfant du siècle Мюссе останутся навсегда живыми воспоминаніями этого суда, разбишаго прежнія иллюзіи, подобно тому какъ въ судьбѣ героя Флоберовской „Education sentimentale“ или въ приключеніяхъ Райскаго (въ *Обрывъ*) выставлены всѣ отрицательныя стороны вычурнаго эстетическаго, неподготовляющаго къ жизни воспитанія. Карлейль не уставая проповѣдывалъ всѣмъ такимъ неудачникамъ, что для нихъ одинъ исходъ—въ работѣ, въ дѣятельности (Action), въ исполненіи того, чего не можешь не счесть своимъ долгомъ, и напоминалъ имъ примѣръ Лотаріо (въ *Вильгельмъ Мейстеръ*), открывшаго, что для исправленія золъ нашей соціальной жизни и исканія достойнаго подвига вовсе не нужно отправляться въ Новый Свѣтъ. Вѣдь Америка найдется рядомъ съ нами... Неотразимое очарованіе унылыхъ звуковъ лиры пессимизма, отчаянія г-жи Аккерманъ, душевныхъ страданій Ленау, уступило мѣсто участливой симпатіи; ее возбуждаетъ истинное горе, но она не носитъ уже на себѣ печати увлеченія мо-

дой и жажды подражанія. Во что преобразились страдающіе и непонятныя героини женскихъ романовъ начала вѣка, эти неопытныя заступницы за права женщины? Что сдѣлалось съ Дельфинами и Кориннами, въ которыхъ г-жа Сталь влагала свои личныя испытанія и думы, съ Леліями и Индіанами Жоржъ-Зандъ? Послѣ внимательства Джона Стюарта Милля, оживившаго агитацію, замѣтную еще въ концѣ прошлаго вѣка, послѣ его знаменитой книги о „Подчиненности женщинъ“, въ которой онъ такъ опредѣленно заявилъ, что важнѣйшими возбужденіями къ дѣятельности мысли онъ былъ обязанъ своей женѣ, женское движеніе, распространившись по свѣту, замѣнило и въ жизни и въ литературѣ прежній неуловимый образъ положительной героини характеромъ энергической женщины, отстаивающей свое право на развитіе, на общественную дѣятельность и уже находящей мѣстами практическое примѣненіе своихъ способностей.

Не вернуть намъ также и старинной, безупречной правильности формы. Что сдѣлалось съ тѣми родами поэзіи, о которыхъ мы учили въ школахъ? Гдѣ, обведенныя точными границами, сатира, ода, элегія, дидактическая поэма? Все смѣшалось; поэзія отразила въ себѣ всю жизнь безъ остатка; смѣхъ и слезы, низменно-жизненное и возвышенное одинаково входятъ въ нее. А слогъ охватилъ собой всѣ ступени человѣческой рѣчи, отъ деревенскаго говора въ русскомъ народномъ разсказѣ до изящныхъ описаній у Тургенева или Додэ, отъ выразительной, захватывающей своимъ содержаніемъ и неправильной прозы Толстого до граненаго слога Флобера.

Перерождаются и излюбленныя темы, которыя долго питали литературу и подъ конецъ обнаружили свою односторонность. Стало достояніемъ исторіи то, связанное съ романтизмомъ, движеніе, которое обошло всю Европу, отразившись у насъ въ славянофильствѣ, на Скандинавскомъ сѣверѣ въ „скандинавоманіи“, у поляковъ въ мессіанизмѣ, у нѣмцевъ въ германофильствѣ, ненадолго вспыхнувшее снова въ 70-хъ годахъ, въ Англіи въ ненавистномъ Бай-

рону крайнемъ англоманствѣ его современниковъ. Идея національности совершила чудеса, поднявъ и объединивъ нѣсколько даровитѣйшихъ племенъ, вызвавъ много лирическаго огня у поэтовъ и страстнаго краснорѣчія у публицистовъ, но ея крайности извѣданы на опытѣ, и тамъ, гдѣ она, казалось, готова была снова разобщить сливавшіяся въ культурной работѣ народности, становятся возможными такіе факты, какъ солидарность французской и нѣмецкой демократической публицистики, игнорирующая государственную рознь, какъ горячій привѣтъ, оказанный парижской публикой новѣйшему направленію нѣмецкаго „свободнаго театра“. Идеализація старины и національная нетерпимость должны были отступить передъ безпристрастно научнымъ изученіемъ стараго времени, примиряющимъ духомъ между-народнаго братства и интересами общаго прогресса. Фактическое изслѣдованіе жизни народа, слагающееся изъ разнообразныхъ данныхъ этнографіи, права, экономическихъ условий, исторіи вѣрованій и т. д., пошло въ разрѣзъ съ благонамѣренной тенденціею безусловнаго благоговѣнія передъ всѣмъ, что народно, — тенденціею, раздражавшею еще Добролюбова, „проникнутаго вѣрой въ народъ, но требовавшего свободнаго критическаго его изучения“.

Подобныхъ уроковъ накопилось много за минувшія столѣтія. Новымъ дѣятелямъ предстоитъ воспользоваться ими. А между тѣмъ масса ждетъ не дождется новыхъ словъ. Удрученная разными потерями, она вмѣстѣ съ тѣмъ всматривается вдаль, ожидая, когда покажется мессія, который поведетъ ее за собою. Широко раскинулась уже область, на которую можетъ дѣйствовать обновляющаяся литература. Англійская книга проникаетъ и въ Австралію, и въ Индію, лучшія созданія русской беллетристики доступны всѣмъ и каждому; Тургеневъ, Достоевскій и особенно Левъ Толстой переведены на всѣ культурные языки. Отдѣльныя національныя литературы широко развились, не переставая слѣдить за общеевропейскимъ умственнымъ теченіемъ. Лучшую характеристику „великихъ жизненныхъ волнъ нашего вѣка“ находимъ въ миниатюрной датской литературѣ подъ

перомъ Брандеса. Польскіе писатели конца столѣтія сравняли свой романъ съ лучшими произведеніями этого рода въ Европѣ. Чешское научно-литературное движеніе возродило умный и талантливый народъ. Въ преддверіи Азіи за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ развилась армянская литература, и ея беллетристы, поэты, публицисты стремятся привить результаты европейской культуры на родной почвѣ.

Вся эта многомилліонная масса ждетъ новыхъ словъ и новыхъ людей. Въ какомъ же духѣ будутъ произнесены эти слова и откуда могутъ притти эти люди?

Преобладаніе матеріальныхъ интересовъ и сутолока изъ за наживы въ окружающемъ насъ обществѣ часто мѣшаютъ подмѣтить попытки исканія новыхъ литературныхъ путей. Онѣ въ особенности умножились во французской жизни. Отовсюду возникаютъ школы, которыя уже по своимъ названіямъ производятъ иногда нѣсколько озадачивающее впечатлѣніе. Едва люди свыкли съ натурализмомъ, а теперь намъ уже говорятъ, что онъ умираетъ, чуть ли даже не умеръ. За то на смѣну ему готовы психологи, нео-реалисты, символисты, какіе-то маги, декаденты, индипенденты и т. д.

О настроеніи всѣхъ этихъ школъ и мелкихъ литературныхъ приходовъ наканунѣ новаго столѣтія даетъ возможность судить любопытная во многихъ отношеніяхъ книга, появившаяся лѣтомъ 1891-го года подъ оригинальнымъ (совсѣмъ *fin de siècle*) заглавіемъ „Enquête sur l'évolution littéraire“. Одинъ изъ сотрудниковъ *Echo de Paris*, Жюль Юре (Huret) предпринялъ опросить важнѣйшихъ беллетристовъ, поэтовъ и драматурговъ съ цѣлью узнать мнѣніе каждаго изъ нихъ о современномъ положеніи литературы и вѣроятномъ ходѣ ея дальнѣйшаго развитія. Подробное изложеніе мнѣній *шестидесяти четырехъ* лицъ, заинтересованныхъ въ дѣлѣ, конечно, надежнѣ всякихъ гаданій и предположеній сторонняго наблюдателя; Юре былъ и у знаменитостей вродѣ Гонкура, и у критика Жюля Леметра,

былъ и у вождя маговъ „Сара“ Пеладана, и у социалиста Мирбо. Всѣ почти сошлись на томъ, что натурализмъ отжилъ свой вѣкъ. Когда Юре вошелъ къ Зола, послѣдній встрѣтилъ его шутливымъ вопросомъ: „вы пришли посмотреть, умеръ ли я или еще живъ“?

Зола тоже согласился, что натурализмъ сдѣлалъ свое дѣло, но вмѣстѣ съ тѣмъ напомнилъ, что вѣдь онъ захватилъ чуть не полвѣка, а это такой періодъ, на который можно сослаться съ удовольствіемъ и гордостью. Его основа останется и впредь нетронутою, но для новаго времени все же нужно что-то другое, что Зола обозначилъ болѣе или менѣе выразительнымъ терминомъ „классицизмъ натурализма“. Очевидно, и ему кажется, что водворенное имъ направленіе зашло слишкомъ далеко въ одностороннемъ изображеніи низменнаго, и что необходимъ снова притокъ идеальнаго начала. Сочетаніе обоихъ элементовъ и есть то *другое*, „autre chose“, которое, по его словамъ, онъ самъ готовъ бы попытаться осуществить (быть-можетъ, романъ *Le rève* былъ его первымъ опытомъ въ этомъ направленіи). Ему вторять Гонкуръ, находя, что пора „дать перевѣсъ психологii надъ физиологіею“, и Эдуардъ Родъ, заявляющій, что мы „наканунѣ полной реакціи“ въ литературѣ, но затрудняющійся пока опредѣлить, до чего дойдетъ она. И Зола, и Гонкуръ считаютъ форму романа уже устарѣвшею, выполнившею все, что она могла дать. Тотъ, кто сумѣетъ создать новую форму для повѣствовательнаго вымысла, говорятъ они, будетъ вожакомъ въ умственной жизни XX вѣка.

Изъ рядовъ новыхъ дѣятелей слышится голосъ Октава Мирбо; по мнѣнію его и солидарныхъ съ нимъ нео-реалистовъ, спокойнаго, научнаго изученія общественныхъ явленій недостаточно для литературы; ей необходимо еще тѣснѣе сблизиться съ социальнымъ движеніемъ; вмѣстѣ съ пересозданіемъ общества измѣнится все,—и литература, и искусство, и воспитаніе.

Но чистые психологи, очевидно, иного мнѣнія, а въ области романа въ настоящую минуту за ними всего болѣе закрѣпилось популярности. Бурже идетъ впереди этой

школы, Мопассанъ въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ видимо склонялся въ сторону ея. Но исключительность мелочного, хотя и тонкого анализа душевныхъ движеній ихъ героевъ грозитъ вернуть романъ на старую почву *личныхъ* исторій и отдалить его отъ общей жизни. Направленіе это, очевидно, предназначенное перейти и въ слѣдующее столѣтіе, врядъ ли будетъ долговѣчнымъ; таково мнѣніе многихъ спрошенныхъ свидѣтелей; они не даромъ ссылаются на то, что прежніе романисты-психологи бывало умѣли затрогивать въ читателѣ струны гуманности, — теперь же новая школа въ числѣ своихъ послѣдователей выставила и Бурже, который въ „Космополисѣ“ впервые переходитъ къ общечеловѣческимъ темамъ и желалъ бы найти въ проповѣди вѣры въ идеалъ оружіе противъ эгоизма, и Мориса Баррэса съ его разсужденіями о „культурѣ личнаго начала“ (*la culture du Moi*)...

Вокругъ этого столкновенія индивидуализма съ социальнымъ направленіемъ обнаруживаются признаки мелкихъ идеекъ, пытающихся повліять на ходъ литературы. Рене Гиль — основатель *Ecole évolutive instrumentiste* полагаетъ, что все спасеніе въ переработкѣ самого *орудія* словесности, языка, и въ новомъ стихосложеніи. Символистамъ хотѣлось бы доказать, что словами можно выразить множество неуловимыхъ доселѣ и смутныхъ душевныхъ ощущеній, игру красокъ, ароматъ цвѣтовъ. Драпирующійся въ хламиду древняго мага Пеладанъ ждетъ высшаго блага отъ мистической, таинственной мудрости старой каббалы, и кажется жрецомъ какого-то необыкновеннаго священнодѣйствія. Эти скрещивающіяся мнѣнія дѣйствительно складываются какъ будто въ ту анархію литературныхъ взглядовъ, о которой сѣтуетъ Жюль Леметръ. Но въ ней все же обозначаются основныя черты дальнѣйшаго развитія того процесса сближенія съ жизнью и исканія правды, которымъ жила уже литература XIX вѣка. Будущность принадлежитъ, конечно, не Баррэсу, не Фридриху Нитше, не магамъ и не декадентамъ...

Тому же Мирбо читающая публика обязана была указаніемъ на новое явленіе въ области драмы, на бельгійца Мэ-

терленка и его произведенія *L'intruse*, *Les aveugles* и др. Сжатость и сила діалога, сумрачный, захватывающій драматизмъ нѣкоторыхъ сценъ не могли не поразить читателя, заставляя забывать очевидную неопытность автора.

Юре постигъ и Мэтерленка. Въ противоположность ожиданіямъ, онъ увидалъ передъ собой здороваго, могучаго фламандца, съ трезвымъ и яснымъ умомъ, изложившаго ему свою несложную эстетику. Онъ осуждаетъ приемы натурализма, но не во имя идеалистическаго направленія. Пройдетъ время, говоритъ онъ, и наиболѣе сильныя сцены романовъ Зола будутъ непонятны. Если измѣнится къ лучшему положеніе рудокоповъ, какая будетъ судьба *Germinal'*? Правда, писатель не въ силахъ высвободиться отъ связи съ современностью, но какъ можно менѣе зависѣть отъ условій даннаго быта—истинная цѣль новаго искусства. Только тѣ созданія его обречены на долгое вліяніе и славу, которыя сумѣютъ изображать не случайное, но вѣчное. Его удѣлъ—изучать и возсоздавать вѣчныя увлеченія, радости и горести человѣчества, всегда и всѣмъ понятныя. Въ драмѣ высшій идеалъ для Мэтерленка—Шекспиръ.

Другой примѣчательный фактъ въ современной судьбѣ драмы—учрежденіе во многихъ европейскихъ центрахъ, въ Парижѣ, Берлинѣ, Лондонѣ, того типа сценическихъ представленій, образцомъ для которыхъ послужилъ парижскій *Théâtre libre*. И въ пьесахъ, и въ способѣ игры тутъ много эксцентричнаго, еще не устоявшагося, но страстное желаніе какъ можно полнѣе и правдивѣе перенести жизнь на сценическія подмостки невольно привлекаетъ вниманіе и симпатію. Уже обозначаются несомнѣнныя дарованія новыхъ драматурговъ, упорно не признававшихся сначала присяжною критикой, но побѣдившихъ это противодѣйствіе; кромѣ Мэтерленка, Жанъ Жюльенъ, а въ Германіи Гауптманнъ (увлекшій недавно своими Ткачами даже парижанъ) и особенно Зудерманъ (съ его *Честью*, *Гибелью Содома*, *Родиной*) открываютъ собою новый отдѣлъ въ лѣтописяхъ драматическаго творчества.

Лирика также не осталась безучастною свидѣтельницею

общаго движенія впередъ. Не въ вычурныхъ эффектахъ символиствъ, не въ стилистическихъ ухищреніяхъ школы Гийя найдетъ она новую силу. Въмѣсто безконечной разработки личныхъ ощущеній и испытаній и исповѣди передъ читателями, вы встрѣчаете у новыхъ поэтовъ, наприм., у Жана Экара, сердечное обращеніе не къ исключительнымъ или проблематическимъ натурамъ, но къ каждому сознательному человѣку, вызывающее его не смущаться тѣмъ, что часть общаго дѣла, выпадающая ему на долю, будетъ, можетъ-быть, мала, и помнить, что если каждый явится среди мрака со свѣтильникомъ, для всѣхъ засіяетъ день *).

Наконецъ, и въ критикѣ есть проблески новыхъ ученій, на которыхъ лежитъ отпечатокъ руководящихъ идей эпохи. Быстро возникшая популярность такого талантливаго писателя, какъ Жюль Леметръ, такъ же быстро падаетъ съ тѣхъ поръ, какъ въ критикѣ его обнаружилось вліяніе личныхъ усмотрѣній, настроенія минуты. Потребность въ твердыхъ основахъ оцѣнки, въ выработкѣ законовъ и метода сознается всюду. Рано умершій Эннекенъ уже попытался сдѣлать это и назвалъ свою книгу „Critique scientifique“ **). Въ грезившейся ему „эсто-психологii“ изученіе литературныхъ произведеній будетъ основано не только на эстетическомъ, но и на психологическомъ и соціологическомъ ихъ анализѣ; признавая великое значеніе руководящихъ умовъ на массу, онъ, однако, еще выше ставилъ ихъ взаимодействіе. То, къ чему стремится новѣйшая литература, становится такимъ образомъ однимъ изъ коренныхъ убѣжденій критики. Эннекенъ умеръ, едва успѣвъ намѣтить въ общихъ чертахъ свою систему, но уже опредѣлилъ направленіе критики будущаго, способной безпристрастно освѣщать и объяснять разнообразіе литературныхъ движеній; новымъ людямъ придется вести дальше его дѣло. Во главѣ cadaго періода

*) Et ne dis pas: Seul pour le nombre
Quel bien fera mon humble amour?
Que chacun soit flambeau dans l'ombre:
Les ténèbres verront le jour.

**) Переводъ ея помѣщался въ журналѣ „Русское Богатство“.

литературы всегда стояло вліятельное критическое имя; вспомните Добролюбова и Бѣлинскаго, Сентъ-Бѣва и Тэна; Эннекенъ—предтеча будущаго передового критика XX вѣка.

Не разъ у писателей нашего времени встрѣчаемъ догадки о тѣхъ особенностяхъ культуры, которыя будутъ преобладать въ слѣдующемъ столѣтіи. Зола предрекаетъ, что это будетъ „вѣкъ науки и исторіи“; Тарду (автору книги о „Законахъ подражанія“) кажется, что это будетъ вѣкъ „согласованія открытій“, въ такомъ обилии совершенныхъ XIX столѣтіемъ. Слово „наука“ не сходитъ съ устъ каждаго, задумывающагося о будущемъ, но это уже не сухая и безстрастная наука, удовлетворявшая старое челоувѣчество, но то широко приложимое къ жизни знаніе, которое приноситъ съ собою возможно большую сумму блага для наибольшаго числа людей.

И въ ней, и въ той литературѣ, что, чутко прислушиваясь къ жизни, выше всего ставитъ дѣятельность, силу характера, влеченіе послужить людямъ, найдется достаточно противовѣса болѣзненному направленію, которое такъ же замѣтно въ концѣ вѣка, какъ оно поражало въ началѣ его,—тому меланхолическому анализу личныхъ скорбей, который не оставляетъ альтруизму ни малѣйшаго мѣста.

Это направленіе совсѣмъ не исчезнетъ,—вѣдь однимъ изъ пріобрѣтеній конца XIX вѣка является значительная терпимость мнѣній. Всегда будутъ существовать разнообразныя группы умовъ и талантовъ, которыя свои творческіе замыслы будутъ облекать въ несходныя между собою формы; и въ слѣдующемъ вѣкѣ, быть-можетъ, послышатся чарующіе звуки пѣсень великаго и несчастнаго поэта, который съ глубокой искренностью повѣдаетъ о своихъ личныхъ страданіяхъ, но эта скорбная исповѣдь не покажется никому выразительницею лучшихъ помысловъ современности. Заунывность пессимизма, какое бы историческое оправданіе ни имѣлъ онъ за себя, должна же наконецъ уступить мѣсто другимъ тонамъ, которыхъ давно не раздавалось въ литературѣ!

Не въ рѣзкомъ, неестественномъ переходѣ отъ песси-

мизма къ благодушной вѣрѣ въ прелесть существующаго строя чувствуется потребность; если Брандеса томить „пониженіе уровня литературы, если Максу Нордау всюду чудится *вырожденіе*, а для обновленія жизни ссылаются въ Германіи „этические конгрессы“ *), если даже Зола начинаетъ вѣрить въ возможность „натуралистическаго классицизма“, который долженъ обновить литературу,— отчего же не признать, что слышится снова призывъ къ идеальному, ободряющему? Вѣдь онъ не возглашаетъ, что все существующее превосходно,—напротивъ, онъ указываетъ впереди свѣтлыя цѣли и готовъ вести къ нимъ...

Только-что шла рѣчь объ оригинальномъ опросѣ писателей. Въ Англіи сдѣлана была другая попытка отобрать голоса у свѣдущихъ людей относительно призванія литературы и искусства въ будущемъ обществѣ. Съ тѣмъ безпристрастіемъ, которое отличаетъ выдающіеся англійскіе журналы новаго типа, допускающіе на своихъ страницахъ заявленіе мнѣній по одному и тому же вопросу консерватора и социалиста, католика и *libre penseur'a*, *New Review* вызвала высказаться о творчествѣ будущаго представителей индивидуализма и социализма. Отъ лица первыхъ отвѣчалъ Маллокъ, страстный спорщикъ по вопросамъ социальнымъ, за послѣднихъ написали Сольтъ и даровитый поэтъ Вильямъ Моррисъ, авторъ „Земного рая“.

Если обѣ стороны въ сущности сходятся въ своихъ упованіяхъ, то всего типичнѣе звучать заявленія Морриса и его товарища. Они протестуютъ противъ предположенія, что переустройство жизни будетъ враждебно поэзии и искусству. Напротивъ, они вмѣстѣ съ извѣстнымъ Беллами вѣрятъ въ такое широкое развитіе литературы, которое далеко оставитъ за собой движеніе временъ Возрожденія. Но прежде всего литература выйдетъ изъ цехового состоянія; не будетъ писателей по профессіи, изсушающихъ мозгъ изъ-за куска хлѣба; меценатство, зависимость и продажность стануть не-

*) Международнѣй конгрессъ такого рода созывался къ концу 1893 года въ Эйзенахъ.

понятными словами и въ литературномъ мірѣ; не будетъ и зажиточныхъ дилеттантовъ, имѣющихъ возможность баловаться писательствомъ. Литература станетъ цвѣтомъ жизни; печататься будетъ только то, что дѣйствительно нужно для современниковъ, и потому, что оно прямо полезно, и потому, что оно художественно и, стало-быть, ведетъ впередъ, воспитываетъ читателя, напоминаетъ ему о великихъ людяхъ и дѣяніяхъ. Такая литература будетъ доступна всѣмъ и каждому, и станетъ органомъ не однихъ лишь избранныхъ сословій, а милліоновъ людей,—и талантливыхъ, и простыхъ, незамѣтныхъ.

И когда, уходя все глубже въ мечтанія о будущемъ строѣ, Моррисъ въ вышедшей недавно фантазіи на эту стародавнюю тему (*News from Nowhere*) набросалъ картину идеальнаго порядка вещей, основой его онъ установилъ упраздненіе обветшалыхъ государственныхъ формъ, свободу, всеобщій трудъ, и *красоту*, распространенную на жизнь всѣхъ и cadaго, выражающуюся въ общедоступности искусства, въ изяществѣ архитектуры, служащей народу, въ величественной роли творчества, всѣмъ понятнаго и облагораживающаго жизнь.

Съ такими надеждами на полное сліяніе литературы и жизни, на сочетаніе личнаго начала съ общимъ, на развитіе „международной солидарности“, и теперь уже достаточно замѣтной, всемірная словесность вступаетъ въ двадцатый вѣкъ. Пусть многое изъ того, что здѣсь удалось сгруппировать, кажется инымъ мечтой, грезой. Но отраднo сознать, что даже въ наше время, которое такъ любятъ представлять исключительно поглощеннымъ хищническими инстинктами или культомъ эгоизма, не вымираетъ у челоѣчества склонность къ такимъ грезамъ, что и теперь его привлекаютъ идеалы истиннаго знанія, справедливости и гуманности!

ТИТАНЫ И ПИГМЕИ.

(Альпійская фантазія).

Въ пышныхъ, сверкающихъ снѣговыхъ коронахъ высятся горы-громады, изъ вѣка въ вѣкъ такія же величавыя, торжественно красивыя. Когда передъ человѣческимъ взоромъ, слишкомъ привыкшимъ ко всему ограниченному, правильному, умѣренному, внезапно раскинется безконечная цѣпь этихъ исполинскихъ глыбъ, прорѣзывающихъ облака то бѣлымъ куполомъ, то причудливымъ остріемъ вродѣ *стрѣлы* готическаго собора, то цѣлымъ хребтомъ зубцовъ, — даже совсѣмъ не впечатлительному зрителю можетъ почудиться, что волшебная сила перенесла его въ заоблачное царство гигантовъ.

Разгорится ли солнце, — тысячами искръ заиграетъ дѣвственно чистая бѣлая пелена. Глубокія снѣговья залежи, вѣками наслоившіяся на груди утесовъ, сияютъ точно алмазныя розсыпи. Прозрачной синевой отливаютъ ледяные кристаллы въ безчисленныхъ иглахъ, граненыхъ колонкахъ и башенкахъ, покрывающихъ ледники, застывшимъ потокомъ нависшіе надъ долинами. Съ веселымъ шумомъ, клокоча и пѣнясь, вырываются изъ-подъ льда горныя рѣки и несутся по скалистому ложу куда-то вдаль, внизъ, къ людямъ, вбирая въ себя по пути серебристую влагу сотенъ водопадовъ, въ чьихъ брызгахъ полуденное солнце играетъ радугой.

Внезапно, точно раскатами грома или гуломъ выстрѣловъ

наполнить окрестность шумъ свалившейся лавины, но онъ прогудѣлъ и замеръ, и снова все погружается въ торжественное спокойствіе. Солнце здѣсь рано догораетъ; подъ его послѣдними лучами зардѣлись вѣчные снѣга и тихо мерпаютъ; еще немного—и сумракъ окутываетъ вершины; облака свиваются кольцами вокругъ нихъ; точно безпробудная дремота охватываетъ все вокругъ. Когда же луна выглянетъ изъ-за горъ, подъ ея блѣднымъ свѣтомъ еще таинственнѣе кажутся и этотъ сонъ исполиновъ, закутанныхъ въ свои бѣлыя мантии, и немолчный плескъ водопадовъ, и серебряная пыль мелкихъ брызговъ, разлетающихся вокругъ ихъ бѣлой струи, и синеватый отливъ льда...

Проходили вѣка, тысячелѣтія,—и все было здѣсь такъ же чудно хорошо и величаво спокойно. Люди не проникали въ это заповѣдное царство. Вѣдь ихъ слабой природѣ не вынести ни разрѣженного воздуха, ни ослѣпительно яркаго свѣта, ни борьбы съ неисчислимыми препятствіями льдовъ и снѣговыхъ полей!... Имъ оставалось лишь въ грезахъ переноситься въ заоблачные края, откуда взирають на грѣшную землю вѣчныя горы, нарушая свое безмолвіе, черезъ тысячелѣтніе промежутки, развѣ только одною изъ тѣхъ немногорѣчивыхъ бесѣдъ, которыя почудились Тургеневу въ его „Стихотвореніи въ прозѣ“. Мечтали первобытные народы,—и сложили рядъ горныхъ мѣтовъ; мечтали поэты всѣхъ странъ, расточая богатства слога и воображенія, чтобы передать поразительное впечатлѣніе вѣчныхъ красотъ, и ставили своихъ избранниковъ, Манфредовъ и Фаустовъ, лицомъ къ лицу съ ними; по-своему мечтали и люди науки, и смѣлые альпійскіе туристы; сурово проведенная грань, какъ все запретное, словно манила къ себѣ, побуждая переступить ее. Но за такую дерзость люди платились жизнью. Кладбища деревень, ближайшихъ отъ Монблана, Юнгфрау, Монте-Розы, полны памятниковъ, печально вспоминающихъ объ отвагѣ и гибели; въ народныхъ устахъ живутъ преданія объ исчезнувшихъ безъ вѣсти, упавшихъ въ пропасть, замерзшихъ и засыпанныхъ снѣгомъ слишкомъ самонадѣянныхъ путникахъ. Ледяныя и неприступныя красавицы, вродѣ Юнгфрау, съ

жестокостью эпической женщины-богатыря искони мстили своимъ поклонникамъ...

Помните ли вы „Гуливера“? Каково было ему проснуться въ странѣ Лиллипутовъ и при первыхъ же движеніяхъ почувствовать, что все его тѣло опутано тонкою сѣтью веревочекъ, что къ груди его приставлена лѣстница и что на ея ступеняхъ, на узлахъ бичевокъ, на площади груди расхаживаютъ крошечные человѣчки, все изслѣдуютъ, разсматриваютъ, измѣряютъ, объясняютъ! Только бы ему подняться и встряхнуться,—и вся эта мелкота разсыпалась и разлетѣлась бы во всѣ стороны. Но крѣпка веревочная паутина и хитроумны пигмеи. Великанъ не сдвинется съ мѣста, и они его осмотрятъ, измѣрятъ и опишутъ во все свое удовольствие...

Свифтъ въ своей печально-насмѣшливой сказкѣ недалекъ отъ истины. То, что кажется иногда совсѣмъ сказочнымъ, сбывается на яву.

Въ тѣхъ ущельяхъ, чья суровая прелесть такъ привлекала усталую душу Манфреда, на тѣхъ горныхъ скатахъ, „гдѣ и птицы не отваживались вить гнѣзда“, гдѣ „человѣческой груди трудно вдыхать холодный воздухъ снѣговыхъ вершинъ“, въ долинахъ, гдѣ байроновскому неудачнику грезилась трогательная патріархальность, скромная добродѣтель и любовь къ свободѣ въ бодромъ, выросшемъ среди природы и далеко отъ людской суеты поколѣніи горцевъ, охотниковъ и альпійскихъ пастуховъ, — въ этомъ заповѣдномъ краю поднимается странный шумъ и движеніе. Со всѣхъ сторонъ ползутъ вверхъ сотни и тысячи рабочихъ съ заступами, ломами, кирками; они роютъ, рубятъ, отламываютъ; динамитъ взрываетъ для нихъ на воздухъ огромныя каменные глыбы, тревожа горное эхо; черезъ потоки и водопады перекидываются мосты; туннели проникаютъ вглубь скалистаго края. Змѣями обвиваются вокругъ крутыхъ вершинъ рельсовые полосы, всѣ типы новыхъ „путей сообщенія“, которые выработала Европа *fin de siècle* и которые почти совсѣмъ непримѣнены на Руси, всѣ эти электрическія, зубчатыя, проволочныя, пневматическія желѣзныя дороги,

Zahnradbahn'ы, Drahtseilbahn'ы и Funiculaire'ы пускаются въ ходъ.

То, что вчера еще казалось труднымъ и опаснымъ, осуществляется; у строителей дорогъ развивается удалъ и соревнованіе; каждому хочется изумить чѣмъ-нибудь небывалымъ и рискованнымъ. Здѣсь вагоны-коробки взбираются съ людьми по проволочному канату на верхъ отвѣснаго обрѣза; тамъ горный локомотивъ, точно прыткая серна, бѣжитъ по зубцамъ на высоту двухъ, трехъ тысячъ метровъ. Уже приблизились къ линіи снѣговъ. Отъ Гриндельвальда, гдѣ останавливаются поѣзда, до глетчеровъ рукой подать, но черезъ годъ желѣзная дорога пройдетъ дальше, къ подножію Юнгфрау. Оставалось сдѣлать только одинъ шагъ — и мы наканунѣ его. Швейцарскія федеральныя власти уже разсматриваютъ проектъ рельсоваго пути на Юнгфрау; ихъ затрудняетъ лишь вопросъ, насколько можетъ быть вреднымъ для будущихъ путешественниковъ разрѣженный воздухъ, которымъ придется дышать на конечной станціи. И это не единственный примѣръ; идетъ рѣчь о желѣзной дорогѣ на Монбланъ, на Маттергорнъ и т. д.

Вѣка горделиваго одиночества и неприступности смѣняются зрѣлищемъ безцеремоннаго человѣческаго нашествія. За инженерами и желѣзнодорожными рабочими взбираются на высоты цѣлыя отряды юркихъ швейцарскихъ hôteliers и, поднимаясь еще выше, совсѣмъ въ облакахъ строятъ свои гостиницы; каждый камень, доску, желѣзную полосу нужно было доставить сюда снизу на спинахъ людей или на хребтѣ муловъ, но это мелочи, къ которымъ пора привыкнуть... И черезъ нѣсколько времени красный флагъ съ бѣлымъ крестомъ взвивается въ поднебесьѣ, а разноцвѣтныя рекламы ссылаютъ со всего свѣта туристовъ посѣтить новый отель, „расположенный выше всѣхъ существующихъ въ Европѣ“. И разноплеменная толпа устремляется отовсюду по вновь проложенному пути, точно потокъ воды, прорвавшій запруду. Идутъ англичане, до того изѣздившіе Швейцарію во всѣ направленія, что она имъ кажется „своею провинціей“; поднимаются мѣстные альпинисты-любители, вооруженные

молотками для прорубанія льда и веревками для взаимнаго протаскиванія по снѣговымъ полямъ; изъ захоластнаго Тараскона, любуясь на свою смѣлость, летитъ на новый подвигъ великій Тартаренъ, до того убѣжденный, что онъ долженъ его совершить, что когда онъ замѣшкался, сама Юнгфрау является ему во снѣ и строго спрашиваетъ его: „Tag-tagin, u sommes nous“? Все скучающее, праздное и сколько-нибудь зажиточное со всѣхъ концовъ свѣта, не исключая Австрали и Новой Зеланди, быстро стекается на новую приманку, не столько для того, чтобъ испытать чудныя впечатлѣнія раскрывающагося наконецъ передъ людьми альпійскаго міра, сколько для того, чтобы провѣрить на мѣстѣ послѣднее изданіе Бэдекера или Мэррея, сличая красоты съ ихъ описаніемъ, и исполнить добросовѣстно весь обиходъ, смотря, гдѣ нужно, въ подозрную трубу, вставая спозаранку любоваться на солнечный восходъ. Все старое уже осмотрѣно, вкусъ избалованъ всевозможными пряностями; нужны эксцентрическія новинки, которыя возбудили бы притупившуюся воспримчивость. Едва успѣла открыться дорога въ Мюрренъ, доставляющая частью по проволоку, частью электричествомъ въ то чудесное мѣсто, гдѣ бывало лишь послѣ долгаго и труднаго восхожденія передъ путникомъ раскидывалась панорама снѣговыхъ бернскихъ горъ,—какъ на верхней площадкѣ образовался такой водоворотъ посѣтителей, что ликующая мѣстная печать сравнила его съ изышнымъ Корсо.

„Покорился человѣку ты не даромъ, братъ“, сказалъ полвѣка тому назадъ своему товарищу „сѣдовласый Шатъ“, предчувствуя всякія напасти, постройку „дымныхъ келій“, звонъ топора, раскопку рудниковъ, движеніе каравановъ. Меланхолическое предчувствіе обмануло старика. Натискъ штыковъ показался ему вступленіемъ къ нашествію торговли, предпримчивости, культуры. Но полстолѣтія прошло, а тишина все еще окружаетъ торжественность Кавказскихъ горъ. Ихъ альпійскимъ товарищамъ выпала другая доля.

Какія рѣчи повелъ бы теперь горделивый духъ Монблана, еслибъ его могъ вызвать изъ снѣговаго замка Манфредъ на-

шихъ дней! Какъ отуманилось бы чело той горной феи, the witch of the Alps, которая когда то предстала передъ байроновскимъ двойникомъ, озаренная радугой, игравшей въ струяхъ водопада! Прежде они могли выслушивать страстные призывы разочарованнаго человѣка въ полномъ сознаніи своего могущества и независимости; они могли ему обѣщать здоровье души и свободу въ своемъ неприступномъ затишьѣ. Теперь ихъ тѣснить отовсюду, не посягая лишь на тѣ заоблачныя полосы горнаго міра, гдѣ, какъ на вершинѣ Юнгфрау, люди въ состояніи пребыть не болѣе десятка минутъ, не ослѣпнувъ отъ невыносимаго блеска снѣговъ и не задохнувшись. Да и гдѣ самъ Манфредъ съ его титаническими порывами, съ сознаніемъ божественной искры, зароненной въ него судьбой, и оскорбительной ограниченности человѣческихъ силъ, — гдѣ это гениальное сочетание „бренности и божества“, half dust, half deity? Его завѣты еще носятъ и мелькаютъ кое-гдѣ во встревоженныхъ умахъ, но новымъ поколѣніямъ, ставящимъ себѣ опредѣленныя, осязательныя задачи, они уже мало понятны. А отъ того замка, въ которомъ (по швейцарскому преданію) Байрону пригрезилась одна изъ наиболѣе потрясающихъ сценъ его поэмы, уцѣлѣлъ лишь сиротливый обломокъ башни. Высокія деревья выросли на немъ, плющъ избородилъ своими побѣгами стѣны; змѣи и красивыя сѣрыя ящерицы шуршатъ среди камней; вокругъ холма вьется удобная дорожка для туристовъ, а не-вдалекѣ виднѣется кафе...

И двадцати лѣтъ не прошло съ той поры, когда среди тяжкихъ физическихъ страданій и съ печальнымъ запасомъ всякихъ разочарованій и сожалѣній Тургеневъ набрасывалъ свою эпически-сильную и краткую бесѣду двухъ исполинскихъ горъ, а уже она не вполне соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Спокойный лаконизмъ великановъ долженъ былъ бы уступить мѣсто чѣму-нибудь вродѣ лермонтовскаго „Спора“...

Таковъ неизбѣжный ходъ вещей, скажете вы. Les dieux s'en vont; боги уходятъ по всей линіи. И невольное страданіе поднимается откуда-то со дна души при видѣ такого развѣнчанія; остатокъ ли это романтическаго культа

природы, глубоко залегшаго въ челоѣчествѣ, того культа, который уживался у Гейне съ самымъ рьянымъ иконоборствомъ въ религіи и политикѣ?... Но вѣдь судьба безжалостна: таинственный сумракъ постепенно скрываетъ божественные образы, которые исчезаютъ, тонуть въ немъ, — развѣ только новый геологическій переворотъ могъ бы снести или въ чемъ-нибудь исказить величавыя красоты Монблана. За то и его, и всю дружину его товарищей ожидаетъ другая участь: Прежде свободные, они обречены сдѣлаться всеобщимъ достояніемъ; ихъ будутъ изслѣдовать, осматривать, разрывать, попирать, а они должны все терпѣть, совсѣмъ какъ связанный Гулливеръ въ странѣ карликовъ...

Титаны и пигмеи... Какъ давно, безконечно давно стала занимать людской умъ эта противоположность двухъ рѣзкихъ крайностей, — могучей силы и ползающей слабой мелкоты! И въ природѣ, и въ рядахъ челоѣчества поражаютъ все тотъ же контрастъ. Точно дивно-красивыя скалы выдвигаются изъ моря житейскаго или изъ зыбучихъ песковъ повседневной людской рутины избранныя натуры; когда-то ихъ окружалъ ореолъ полубожественнаго титанизма, смѣнившійся потомъ славой великихъ людей, гениальныхъ правителей, художниковъ и мыслителей, представителей челоѣчества, — а безконечно далеко внизу, подъ ними, копошится необозримое множество крошечныхъ существъ, занятыхъ своею будничною работою, чуждыхъ всякимъ порывамъ и творческимъ замысламъ и, должно быть, завистливо смотрящихъ на могучихъ великановъ, въ чьей силѣ и красотѣ имъ чудится что-то оскорбительное, едва снисходящее. И у „большихъ людей“ дѣйствительно слишкомъ часто срывались съ устъ огульные приговоры толпѣ безцвѣтныхъ и бездарныхъ существъ. Полководецъ назоветъ ихъ пушечнымъ мясомъ, политикъ — стадомъ, которое должно слѣпо итти за своимъ вождемъ, поэтъ, священнодѣйствуя у треножника, презрѣнною чернью, или, разнообразя попреки, народомъ лавочниковъ и торгашей, какъ Байронъ звалъ своихъ одноплеменниковъ, сбродомъ филистеровъ и лакеевъ, какъ въ негодованіи честить свою родину Гейне. Творецъ

„Манфреда“ и авторъ „Reisebilder“ отгадывали, правда, подъ враждебнымъ имъ общественнымъ слоемъ глубокіе пласты непочатой и свѣжей народной жизни, къ нимъ обращались и готовы были ихъ идеализировать, — все же, когда байроновскіе герои произносятъ страстные осужденія „людей“, „человѣчества“, не всегда легко подмѣтить грань, отдѣляющую самодовольное и невѣжественное мѣшанство отъ народа.

Въ прошломъ вѣкѣ, въ пору Genie-Zeit, люди недюжинные и, кажется, неглупые, товарищи юнаго Гете, величавая своею геніальностью, выказывали презрѣніе къ людскому стаду; полвѣка спустя, выступая подъ такимъ же знаменемъ освобожденія творчества, французскіе романтики дразнили и бѣсили своими эксцентрическими выходками буржуазію, какъ скопище идіотовъ; саркастическая усмѣшка надъ легковѣрностью и невѣжествомъ массы не сходила съ устъ Вольтера, хотя во имя правъ этой же массы онъ совершилъ столько великаго; въ наше время философія пыталась иногда оправдать исключительность полномочій тѣхъ, кого она же назвала „представителями человѣчества“, representative men, и, словно возвращаясь къ эпической порѣ, готова была возстановить „культъ героев“.

Такъ продержалось это видоизмѣненное, привилегированное богатырство до нашихъ дней. То удача политической или военной диктатуры, то властное руководство сильнаго человѣка въ области общественной давали неожиданное примѣненіе старому, какъ міръ, взгляду на избранниковъ, несмотря на то, что поднимающіяся все смѣлѣе ученія о полноправности массъ противорѣчили ему.

И въ этихъ массахъ долженъ былъ назрѣть мятежный вопросъ: заслужено ли такое поклоненіе, многими ли изъ крупныхъ и второстепенныхъ „титановъ“ новѣйшихъ вѣковъ руководило влеченіе добыть божественный огонь для сѣрой человѣческой толпы? И что же? Не новыми Прометеями, пригвожденными къ скалѣ и все-таки не сдающимися, а подчасъ баловнями судьбы, склонными позировать передъ современниками и потомствомъ, оказывались они при близкомъ изученіи.

Какъ понятно стремленіе людей, раздраженныхъ насмѣшливыми напоминаніями объ ихъ заурядныхъ способностяхъ и незавидной долѣ, когда-нибудь разогнать таинственный ореолъ, окружающій жизнь и дѣянія великановъ, заглянуть за кулисы міровой трагикомедіи и подвести точный итогъ величію и геніальности! И какое же торжество для нихъ настаетъ, когда всевозможныя біографическія нескромности (ими вѣдь такъ богато наше время!) позволяютъ съ фактами въ рукахъ раскрыть слабости, капризы, шаткость мнѣній, даже нравственную дряблость у тѣхъ дѣятелей, чье мѣсто, казалось, было на лучшихъ страницахъ исторіи, тогда какъ они подчасъ совсѣмъ не лучше среднихъ людей! Такое срываніе масокъ, разрушеніе пьедесталовъ доставляетъ странное наслажденіе, переходитъ въ привычку; отъ поддѣльныхъ знаменитостей, не по праву ослѣпившихъ современность, скорый судъ незамѣтно распространяется и на все, что когда-либо поднималось надъ толпой, хотя бы оно было полно духовной силы, благородства и любви къ людямъ. Такъ и хочется все нивелировать до зауряднаго, удобопонятнаго уровня, гдѣ было бы такъ гладко, что хоть шаромъ покати. Тупость и пошлость однихъ, корысть и зависть другихъ, несогласіе въ убѣжденіяхъ—все соединяется въ пристрастной расправѣ надъ великими людьми.

Но прибавьте къ этому простое любопытство толпы, жадной до занимательныхъ разоблаченій ихъ интимной жизни и предъявляющей свои запросы съ нетерпѣніемъ, которое возрастаетъ послѣ каждой попытки чѣмъ-нибудь его удовлетворить,—прибавьте изслѣдованія психологовъ, историковъ, біографовъ, лѣтописцевъ словесности, которые требуютъ себѣ, какъ законнаго достоянія, права анализировать жизнь, мысли, сокровеннѣйшія душевныя движенія людей замѣчательныхъ,—и предстанетъ поразительная картина: въ то же самое время, когда пытаются возродить культъ героическихъ личностей, идетъ или судьбище надъ ними, часто суровое и неумолимое, или анатомическое раззѣтіе на части, спокойно и безъ жалости обнажающее все завѣтное въ жизни недавнихъ любимцевъ.

И никогда не избавятся они уже отъ этого испытанія. Веревочная сѣть здѣсь тоже прочна, и изъ нея не выбьшся. Все будетъ измѣрено, описано, изслѣдовано. Ходятъ и ползаютъ по человѣку, полосуютъ его, забывая, что онъ все еще живъ если не физически, то въ своихъ созданіяхъ, мысляхъ, поэтическихъ образахъ.

То и дѣло отыскиваются къ тому новые поводы. Настанетъ ли юбилей такого человѣка,—ждемъ сыплются пикантные біографическіе матеріалы, письма, показанія очевидцевъ; печатается то, что онъ никогда не назначалъ къ печати, что считалъ своею шалостью, ошибкой, чуть не грѣхомъ; настежъ раскрываются двери, и тысячокая толпа устремляется, чтобы все оглядѣть, до всего дотронуться, со всего снять покровы. Любилъ ли человѣкъ и таилъ свое чувство,—доишутся его рукопожатій, нѣжныхъ взглядовъ, минутъ унынія, и все оповѣстятъ міру; былъ ли онъ счастливъ,—добудутъ его любовныя письма и поднесутъ читателю, съ приложеніемъ подлинныхъ портретовъ, любопытный томикъ, подстать къ многочисленнымъ изслѣдованіямъ объ исторіи сердечныхъ увлеченій Гете, Мюссе, Шиллера, Ленау. Застанутъ человѣка къ пароксизмѣ бурной ревности или за зеленымъ столомъ, среди азартныхъ игроковъ, и обогатятъ личную исторію Пушкина печальной страницей; покажутъ Байрона или Лермонтова въ минуты ихъ суетности или позирования, Гейне—въ его спорахъ съ парижскими нѣмцами-эмигрантами или попыткахъ опереться на орлеанскую монархію, Лассаля—въ лайковыхъ перчаткахъ и изящномъ сюэтѣ, собирающагося говорить къ народу, Гамбетту, свергающаго септеннатъ при помощи реакціонеровъ,—и ликуютъ: вѣдь все это, оказывается, были самые обыкновенные люди... И чѣмъ больше простора для такого вскрыванія чужой жизни, тѣмъ пріятнѣе. Средній человѣкъ не цѣнитъ достаточно своего преимущества; его душевный міръ останется святыней для другихъ, тогда какъ потомство отказывается въ этомъ правѣ замѣчательнымъ людямъ.

Какъ жутко имъ думать о томъ, что ихъ ожидаетъ! Вспомните послѣднюю статью Гончарова... Каждый изъ нихъ же-

лалъ бы себѣ современемъ біографа, который правдиво пере-сказалъ бы мысли, чувства и поступки его, изобразивъ ихъ такими, каковы они были въ дѣйствительности, но сдѣлаться предлогомъ для праздныхъ экскурсій любопытствующихъ зѣвакъ въ область пикантныхъ анекдотовъ и интересныхъ психологическихъ загадокъ, — за что эта посмертная кара?

Но ея мало, — можно вѣдь задохнуться и отъ избытка ласки... Когда записываются въ послѣдователи человѣка и связываютъ съ нимъ свое имя люди, неспособные понять его замысла и нуждающиеся только въ благовидномъ знамени; когда творенія поэта, горькое остроуміе сатирика, вдохновенная мелодія компониста переходятъ изъ тѣхъ здоровыхъ и чуткихъ слоевъ, для которыхъ они были созданы, въ область рыночнаго обмѣна, досаждая слуху безчисленными повтореніями избитыхъ цитатъ, декламаціею однихъ и тѣхъ же стиховъ, брянчаніемъ и распѣваніемъ мотивовъ, самыя сильныя и свѣтлыя произведенія теряютъ первоначальный свой смыслъ, блѣднѣютъ, обезличиваются. И тѣ, кто негодуетъ на несоразмѣримость дарованій избранниковъ, и тѣ, кто, ослабившись, спѣшитъ записаться въ полкъ ихъ почитателей и оглашать воздухъ ликующими возгласами, могутъ чуть не въ одинаковой степени причинить имъ вредъ. По тому пути, по которому когда-то легкою поступью прошелъ одинокій человѣкъ, двинулись сотни тысячъ ногъ и оставили свой слѣдъ.

Но какъ же быть? На краю двадцатаго вѣка, когда къ участію въ свободной культурѣ подошелъ не одинъ только „разночинецъ“, но пододвинулись народныя массы, странно и несправедливо было бы превращать въ недоступныя святилища то, что лучшіе люди когда-либо создали, завѣщавъ грядущимъ вѣкамъ, и дѣлать изъ самихъ этихъ людей неприкосновенныхъ, неуязвимыхъ полу-боговъ. Свою долю солнечнаго свѣта, творческихъ красоть, силы мысли, сбереженныхъ предками и добытыхъ современностью, вправѣ потребовать себѣ всѣ новые участники въ міровомъ развитіи. Примирится ли гуманное чувство братства со стихійнымъ нерасположеніемъ всѣхъ противъ одного или съ неизбѣжными

неудобствами восторговъ миллионной толпы, которая захотѣла бы напимѣрь повторять на всѣ лады „Выхожу одинъ я на дорогу“ или вагнеровскую „Пѣснь къ вечерней звѣздѣ“? . .

„S'thut gut, s'Lüftle! Хорошо на вольномъ воздухѣ!“ слышалось за мною въ вагонѣ. Поѣздъ, взобравшись по кручѣ узкаго горнаго прохода, шелъ теперь по ровной лентѣ пути, врѣзаннаго въ скалу; далеко внизу, извиваясь, вся въ пѣнѣ, бѣжала по долинѣ рѣка; разбросанные вокругъ поселки, купы деревьевъ, поля, пестрѣвшія всевозможными оттѣнками красокъ, точно яркій коверъ, бѣлая полоса дороги, пробивающаяся сквозь темную зелень тополей и разрѣзавшая долину прямою чертой,—все это складывалось въ необыкновенно миловидную картину. Точно засмотрѣвшись на нее, стояли окрестныя горы: однѣ—разубранныя доверху опушью хвойныхъ лѣсовъ, другія—съ зеленою муравой лужаекъ на груди, третьи—строгія осанкой и очертаніями, скалистыя, величавыя въ своемъ одиночествѣ. А изъ-за нихъ, въ пролетахъ между скалами, порою показывалась снѣговая вершина. Свѣжій вѣтерокъ несъ намъ на-встрѣчу ароматы горныхъ травъ и хвойной иглы и ни съ чѣмъ не сравнимое ощущение бодрости и новой жизни. На такомъ *вольномъ* воздухѣ дѣйствительно было *хорошо*.

Я оглянулся. Позади никого не было кромѣ невзрачной, совсѣмъ сморщенной старушки-крестьянки въ широкополой бернской шляпѣ. Никто съ нею не велъ рѣчи, и ни къ кому она не обращалась; то былъ невольный возгласъ, вышедшій изъ глубины души. И нужно было видѣть, какъ озарилось старое лицо, какъ любовались ея влажные глаза на чудесную картину, какъ они переходили отъ одной ея черты къ другой, отъ долины къ водопаду или къ снѣжному куполу! Она вздыхала, о чемъ-то думала, и снова любовалась, радуясь какъ ребенокъ и не отрываясь отъ вагоннаго окна.

Блаженное созерцаніе, свѣтившееся въ ея взглядѣ, согрѣло другую, тоже совсѣмъ старомодную, но необыкновенно привлекательную личность альпійскаго народнаго пѣвца,

съ которымъ случай свелъ меня въ живописномъ захолустьѣ, какъ-то уцѣлѣвшемъ въ двухъ шагахъ отъ торнаго пути иностранныхъ туристовъ. Изъ нихъ лишь немногіе подозрѣваютъ его существованіе, проѣзжая на пароходѣ внизу подтою горой, гдѣ живетъ одинъ изъ послѣднихъ хранителей швейцарской пѣсни въ своей бѣдной гостинницѣ „Des Schweizers Heimath“. Съ ея досчатого балкона открывается широкій видъ на Бріэнцское озеро, горы, полуостровъ, вдавшійся въ воду; старику кто-то сказалъ, что этотъ видъ напоминаетъ Lago Maggiore, и онъ очень гордится этимъ. Съ ласковой улыбкой встрѣчаетъ онъ своихъ гостей; черезъ нѣсколько минутъ они говорятъ съ нимъ какъ со старымъ знакомымъ, и онъ посвящаетъ ихъ во всѣ таинства и прелести горной жизни. Если онъ въ ударѣ, онъ приноситъ исполинскій Alpenhorn, въ полтора человѣческихъ роста вышиною, вродѣ тѣхъ роговъ, которые скликали шестьсотъ лѣтъ тому назадъ горцевъ, возставшихъ противъ Габсбурга. Старый рогъ издаетъ громоносные звуки, которые смущаютъ ѣдущихъ на пароходѣ и мирныхъ путниковъ и оглашаютъ окрестность на половину забытою народною мелодіей. Но вотъ рогъ отставленъ въ сторону, и слышится пѣніе. Голосъ слабъ; тонкій фальцетъ нѣсколько помогаетъ ему шире раскинуться; пѣсня старая, чисто мѣстная и наивная по словамъ; она прославляетъ красоты горъ, озера родины, лучше которой на свѣтѣ ничего нѣтъ, — а за каждымъ куплетомъ слышатся переливы неизбежнаго jodel. Но пѣніе согрѣто неподдѣльнымъ чувствомъ; старый виртуозъ, блаженнымъ взоромъ окидывающій свой любимый ландшафтъ, совсѣмъ завладѣваетъ вами. Онъ забылъ о своихъ слушателяхъ; слегка приподнимаясь во время пѣнія, онъ какъ будто весь устремлялся впередъ, къ горамъ, къ синей дали озера, — и въ голосъ его слышались вдругъ нѣжные, чисто-женскіе звуки, отдававшіеся звонко въ вечернемъ воздухѣ.

Вольный воздухъ его родины сберегъ въ немъ и этотъ энтузіазмъ, и чувство собственного достоинства, съ которымъ онъ пожималъ потомъ своими мозолистыми ладонями протягивавшіяся къ нему со всѣхъ сторонъ руки слушателей.

Никто и подумать не могъ предложить ему денегъ, — это было бы кровною обидой...

Но моя старая спутница и изельтвальдскій народный пѣвецъ—въ своемъ родѣ баловни судьбы; она поставила ихъ въ исключительное положеніе, окруживъ величайшими красотами природы; для какого же необозримаго множества такихъ непочатыхъ натуръ онѣ остаются недоступными! Придавленные будничными заботами, эти люди не увидятъ и такого просвѣта въ своей трудовой жизни; природа, эта вѣковѣчная чародѣйка, способная возродить человѣка, поднять въ немъ всѣ лучшія силы, залечить его душевныя раны, расточаетъ свои дары немногимъ. Величаво-аристократической недоступности ея чудесъ наносить теперь ударъ за ударомъ смѣлая человѣческая изобрѣтательность, — для кого? Для скучающей массы привилегированныхъ туристовъ, которые по большей части только отбываютъ „дорожную повинность“, наполняютъ пустоту своего прозябанія или тѣшатъ избалованное любопытство. Они по-своему готовы хвалить и восторгаться, но, какъ гейневскому Филистеру, „was gehen ihnen die grünen Bäume an“?

Эпическое величіе „горныхъ вершинъ“, одинокихъ и недосыгаемыхъ, очевидно невозможно долѣе охранить отъ людского вторженія. Бывало, остановится странникъ при видѣ „ледяного, снѣжнаго моря, окаймленного грядою горъ, облитыхъ солнцемъ, и кажушагося замерзшею ареной гигантскаго колізея, припадетъ къ глыбѣ гранита, вслушивается въ прозрачную тишину и долго любитъся безпредѣльной, нѣмой, неподвижною бѣлизной“, и „странное чувство овладѣетъ имъ,—онъ здѣсь лишній, посторонній гость, и въ то же время онъ свободнѣе дышетъ и, будто подъ цвѣтъ окружающему, становится бѣль и чистъ внутри... серьезень и полонъ какого-то благочестія!“ Вскорѣ эти слова Герцена, написанныя послѣ восхожденія на Монте-Розу, станутъ непонятными... Люди пройдутъ всюду, гдѣ прежде „носились лишь туманы, да пари орлы“. Настанетъ время, когда придется очень далеко искать и первобытныхъ альпійскихъ красотъ, и горныхъ идиллій, и народной пѣсни. Новѣйшая ва-

ріація на извѣстную тему романа Беллами, повѣсть „Caesars column“ (London, 1891), увѣряетъ, что въ концѣ XX столѣтія такимъ блаженнымъ уголкумъ для человѣчества будутъ горы Африки, оглашаемыя пастушескими пѣснями и журчаніемъ водопадовъ.

Но если и для этихъ вѣковыхъ преданій, какъ и для всего эпического, сказочнаго, богатырскаго, есть свой предѣлъ, насколько величественнѣе было бы, еслибы завоеваніе совершено было для народныхъ массъ, еслибы побѣдой надъ титанами воспользовались не пигмеи, жалкіе человѣчки съ ничтожной душой! Народныя волны и гигантскія горы—величины однородныя...

Ни легенды, ни таинственный сумракъ не въ состояніи также окутывать долѣе и „вершины“ человѣчества. Память о выдающихся людяхъ будетъ переживать вѣка, новые любимцы будутъ выдѣляться изъ народныхъ массъ (не такъ давно одинъ американскій ораторъ называлъ „первою обязанностью народа вырабатывать великихъ людей“, *to grow great men*),—но даже еслибъ это чествованіе принимало религіозный оттѣнокъ, замѣтный, напримѣръ, въ англійскомъ позитивизмѣ съ его „church of humanity“, оно никогда не вырождается болѣе въ культъ героевъ. Отъ суда потомства не укроются ни слова, ни поступки ихъ; но пусть же это будетъ судъ не праздныхъ искателей сплетень и ловцовъ скандала, а народной совѣсти, просвѣтленной знаніемъ. Передъ такимъ искусомъ устоитъ все истинно великое и отпадетъ мишурное и лживое. Потомство должно пройти по слѣдамъ избранныхъ, но не для того чтобы стянуть въ тину ничтожества и злобы ихъ дѣло, а чтобы подняться до его уровня, сдѣлать причастными къ нему всѣ свои слои, безъ различія...

Стемнѣло. Послѣдній вечерній поѣздъ засталъ горное село въ полудремотѣ. На долину легли густыя тѣни; вскорѣ все смолкло и слилось въ неясную, безформенную массу, — а тамъ, въ вышинѣ, темноту прорѣзывало блѣдное очертаніе вѣчныхъ снѣговъ. Въ то время, какъ вокругъ царитъ мракъ и безжизненный сонъ, тамъ все еще теплится свѣтъ. Онъ не померкнетъ до утра.

ПАМЯТИ ФОНВИЗИНА.

(1 декабря 1892 г.)

Сто лѣтъ тому назадъ, въ зимнюю, студеную пору, когда и въ природѣ, скованной ледянымъ покровомъ, окутанной снѣговымъ саваномъ, все замирало на-долго, когда и въ русской жизни намело сугробы на слабые ростки новой культуры, и едва пробитыя тропинки, казалось, исчезали безслѣдно въ метель и вьюгу реакціи, измученный семилѣтними страданіями, но съ вѣчно-насмѣшливой улыбкой на устахъ, давно уже полумертвый, впавшій въ немилость, забываемый современниками, лишній на землѣ, но остроумный, увлекающійся, страстный до послѣдняго часа, заснулъ вѣчнымъ сномъ Фонвизинъ. Его смѣхъ на краю гроба, неподражаемая импровизація, способная очаровать слушателей, несмотря на хриплый голосъ и болѣзненно-замедленную дикцію, глаза, горѣвшіе яркимъ, говорятъ, почти невыносимымъ, блескомъ даже тогда, когда дни и часы больного были сочтены, — все это черты, неизгладимыя изъ памяти потомства. Такъ прожить и такъ умереть могъ только человѣкъ, для котораго смѣхъ не былъ лишь отрадною забавой, но составлялъ заветное содержаніе его природы, вырываясь изъ нея свободно, на счастье и пользу людямъ. Его настроеніе можетъ принимать меланхолическій, покаянный, нравоучительный или патетическій оттѣнки, но они ему несвойственны, посѣщаютъ его лишь на время, и иногда неожиданно разсѣиваются передъ появленіемъ вѣчнаго врага всякой рефлексіи—смѣ-

ха. Собираясь посыпать пепломъ главу и всенародно принести „чистосердечное признаніе въ дѣлахъ и помышленіяхъ“, Фонвизинъ начинается съ благочестиваго текста и со ссылки на исповѣдь Жанъ-Жака Руссо, повидимому готовъ послѣдовать этому образцу въ самобичеваніи изъ-за малѣйшаго дѣтскаго поступка,—и черезъ страницу безподобно рассказываетъ въ лицахъ о варварски-невѣжественномъ преподаваніи, которое долженъ былъ выносить въ гимназій и университетѣ, и шутливо набрасываетъ комическія картинки. Онъ, конечно, все это преувеличилъ, окрасилъ по-своему, ради полноты смѣшного впечатлѣнія; но куда же дѣвались смиреніе, скорбь о страстяхъ, смолodu одолѣвавшихъ его, и та душевная усталость, которая внушила первыя строки „Исповѣди“?

Русская земля всегда была богата самородками; въ извѣстной степени это сдѣлалось даже предметомъ національной гордости: прелесть, именно, и заключается, должно быть, въ томъ, что человѣкъ талантливый доходитъ до всего собственными усиліями и, если жизнь не дала ему для этого досуга, наполняетъ всѣ пробѣлы и изъѣзны своею отважною смѣткою и самодѣльною философіей. Фонвизинъ былъ и на всю жизнь остался такимъ замѣчательнымъ самородкомъ,—да онъ ли одинъ, особенно изъ числа лучшихъ нашихъ сатириковъ?.. Что было бы съ нимъ, еслибы съ раннихъ лѣтъ его кругозоръ правильно расширялся, способности гармонически развивались, и еслибы просвѣтительное русское движеніе пріобрѣло въ немъ многосторонне свѣдущаго и политически зрѣлаго дѣятеля? Но съ университетской скамьи, надъ которой звучала всего чаще сухопедантическая рѣчь старомоднаго профессора *), онъ прямо

*) Рейхель, которому Фонвизинъ былъ обязанъ многимъ, прежде всего ободреніемъ его литературныхъ занятій и въ извѣстной степени даже ихъ направленіемъ и выборомъ, конечно, былъ головой выше своихъ товарищей; въ актовой рѣчи его, 1762 г., въ защиту наукъ и художествъ, обороняемыхъ имъ отъ нападокъ Руссо, есть искреннее воодушевленіе. (Эта рѣчь была переведена Фонвизиннымъ и тогда же напечатана; она включена лишь въ Первое полное собраніе его сочин., М. 1888, 187—95.) Но все, что намъ извѣстно о

перешелъ въ толчею столичной жизни, гдѣ были въ ходу какіе-то обрывки легковѣснаго вольномыслія или зубоскальства, выдаваемого за нѣчто опасное, а въ сущности—вполнѣ безобиднаго и скоропреходящаго, и эта новая среда, въ которой оказался большой спросъ на его остроуміе, быстро втянула его въ себя, стараясь для своихъ потребностей размѣнять на мелочь его рѣдкій талантъ. За легкими свѣтскими успѣхами пошли соблазны чиновничьей карьеры, роль „правой руки“ у вліятельнаго вельможи, канцелярскія мелочи и вычуры старомодной дипломатіи, сношенія со множествомъ служилыхъ лицъ, — жизнь раздвоилась на дѣловую прозу исполнительности и усердія, и на свободное служеніе сатирѣ и комедіи. Даже въ столь прославленномъ покровительствѣ его литературной дѣятельности гораздо болѣе терній и шиповъ, чѣмъ это обыкновенно думаютъ. Его поощряли и ласкали, пока можно было надѣяться сдѣлать его всегда послушнымъ орудіемъ высшей воли. Рядомъ съ Екатериной, собратомъ и его и Новикова по обличенію пороковъ, стоялъ Фонвизинъ, непринужденностью рѣчи и остроумія, казалось, напоминавшій демократа Дидро, безпечно бесѣдовавшаго съ Семирамидой съ вера. Но, когда эта непринужденность раскрыла у придворнаго сатирика возраставшую серьезность взглядовъ и требованій и пошла вразрѣзъ съ новою охранительною политикой, когда къ тому же завязались подозрительныя сношенія его съ оппозиціоннымъ кружкомъ Павла,—все перемѣнилось. Было время, когда гоголевскіе запорожцы дѣйствительно могли видѣть на дворцовомъ приѣмѣ неподалеку отъ Екатерины „господина съ полнымъ, но нѣсколько блѣднымъ лицомъ, котораго скромный кафтанъ съ большими перламутровыми пуговицами показывалъ, что онъ не принадлежалъ къ числу придворныхъ“, и слышать, какія похвалы ему расточались. Пришла пора, когда это уже былъ писатель опальный; съ нимъ сначала печатно спорили, не скрывая

способахъ его преподаванія, показываетъ, что свѣжаго, новаго слова и онъ не могъ сказать.

раздраженія, потомъ, не перемонясь, стали его обуздывать, стѣснять его обличенія, отказывать въ просьбахъ, запрещать его изданія.

Проходить невредимо среди всѣхъ этихъ препятствій можно было бы, казалось, только обладая крѣпкимъ здоровьемъ, надежными нервами и сильною волей. Но Фонвизинъ, очевидно, отъ матери унаслѣдовалъ замѣчательную хрупкость организма; его полнота не была признакомъ здоровья, силы были подорваны раннимъ угаромъ страстей, нервы, необыкновенно чуткіе, легко ослабѣвали, причиняя уныніе, подавленное настроеніе и склонность къ гложущей рефлексии. Маловажнаго повода бывало иногда достаточно, чтобы вдругъ потрясти всего человѣка; тогда вся жизнь казалась ему сплошною ошибкой, писательство—развратомъ и порожденіемъ дерзкаго сомнѣнія; тогда какой-нибудь ограниченный, но настойчивый піетистъ, въ родѣ Теплова, въ состояніи былъ внушительно дѣйствовать на него, застрашивать его, влгать ему въ руки аскетическій трактатъ. Пока молодость еще могла спорить съ недугами, эти полосы хандры не были продолжительны, и, едва оправившись, недавній больной снова острилъ, смѣялся и съ любовью принимался за перо, забывъ, что это—тяжкій грѣхъ. Съ годами болѣзненность усиливалась; начались скитанія по свѣту въ надеждѣ найти исцѣленіе. Выѣзжая изъ Россіи, несчастный благодарилъ Бога за то, „что Онъ вынесъ его изъ той земли, гдѣ онъ страдалъ столько душевно и тѣлесно“ (отрывокъ изъ журнала путешествія въ Вѣну, 1786); онъ рвался вонъ изъ Москвы, которая становилась ему до того „ненавистною, что эта ненависть и по смерти не истребится“ (тамъ же, 13 іюня),—а за-границей пробовалъ всевозможные способы леченія отъ карлсбадскихъ водъ до какихъ-то анимальныхъ ваннъ, гдѣ онъ опускался въ кровь только что убитаго животнаго, обращался къ докторамъ и чуть не къ знахарямъ, и все напрасно. Семейный разладъ ускорилъ параличное онѣмѣніе чуть не половины тѣла; бывали періоды, когда прежде живой, общительный собесѣдникъ обреченъ былъ на полное безмолвіе, или когда, наоборотъ, онъ тре-

боваль, чтобъ его приносили въ университетскую церковь, и тамъ, указывая молодежи на свое омертвѣвшее тѣло, называлъ свои страданія карою за вольнодумство.

И, несмотря на всѣ вредныя вліянія неподготовленности къ писательству, столкновений его съ интересами служебными, ненадежной поддержки, а потомъ враждебности въ высшихъ кругахъ и, наконецъ, болѣзненности, лишавшей его необходимой энергіи и душевной ясности, замѣчательныя природныя силы таланта выносили Фонвизина изъ омута на волю, вели впередъ, все впередъ. Когда онъ принимается за упражненія въ словесности, его первыя работы, — переводъ 226 басенъ Гольберга, статьи изъ „Полезнаго Увеселенія“, наполнявшагося трудами его бывшихъ товарищей по университету, тяжелое переложеніе безконечнаго и малоинтереснаго нравоучительнаго романа Террассона „Геройская добродѣтель и жизнь Сифа, царя египетскаго, изъ таинственныхъ свидѣтельствъ древняго Египта взятая“, или дебелые стихи перевода Вольтеровской „Альзиры“, ничѣмъ не отличаются отъ дюжинныхъ кропаній едва грамотнаго подростка и не общаются и въ отдаленномъ будущемъ живого и остроумнаго слога *). Самородный юморъ и наблюдательность, пробившись въ *Бригадиръ*, отмѣчаютъ громадный шагъ впередъ **). Возбужденіе еще получено извнѣ; „Jean de France“, комедія того же любимаго въ свое время у насъ датскаго комика Гольберга, который своими баснями приохотилъ его къ переводамъ, а своей пьесой „Ген-

14. 6. 29
11. 11. 11.

*) Кто угадалъ бы его, наприм., въ такихъ стихахъ „Альзиры“: „Я зрѣла уже ихъ величество попоранно, что богу новому сдались они безбранно, или «Я болѣе хочу, какъ нежелѣ ты чаешь», или «Алзиринъ вѣкъ во всемъ несчастенъ мною былъ» и т. д.?

**) Даже въ *Коріонѣ*, передѣланномъ изъ слабой комедіи Грессе „*Sidney*“ введено нѣсколько штриховъ изъ русскаго быта, мѣстами совершенно мѣняющихъ фонъ сюжета. Особенно богато ими 6-е явленіе перваго акта, гдѣ крестьянинъ рассказываетъ слугѣ Коріона, Андрею, о тягостной жизни крѣпостныхъ („Нерѣдко ѣздить къ намъ изъ города гонецъ — и въ городъ старосту съ собою онъ таскаетъ — котораго-ста міръ, сложившись, выкупаетъ“, или „Къ тому же сборщики, драгуны ѣздить къ намъ — и безъ пошадъ бьютъ кнутами по спинамъ — колъ денегъ-ста когда даемъ мы имъ немного“ и т. д.).

рихъ и Пернилла“ къ театру, дала канву для фонвизинскаго первенца; но въ то время, какъ она же послужила источникомъ еще для двухъ русскихъ комедій (для „Русскаго Француза“ Елагина, почти ограничившагося ролью переводчика, и для „Русскаго парижанца“ *) Хвостова) Фонвизинъ, даже при уцѣлѣвшемъ и теперь сходствѣ его комедии съ датскимъ первообразомъ **), сумѣлъ ввести въ готовыя рамки бытовое русское содержаніе, вмѣсто блѣдныхъ копій создалъ живыхъ людей, выработалъ типическіе оттѣнки рѣчи ханжи, крючкотворца, скопидомки-модницы, выжившаго изъ ума фронтовика, перепуталъ ихъ сердечныя отношенія, какъ будто предопредѣленныя потѣшною *Wahlverwandschaft*, поразили зрителя богатымъ запасомъ веселости, заразительно дѣйствующей даже тамъ, гдѣ она переходитъ въ шаржъ и каррикатуру,—и сразу завоевалъ первое мѣсто въ русскомъ театрѣ, официально начавшемъ жить всего лѣтъ за восемь до *Бригадира*. Его сравниваютъ съ Мольеромъ и Буало, ждуть отъ него замѣчательныхъ произведеній и уже „многія письменныя сего автора сочиненія носятъ по рукамъ“ („Пустомеля“ 1776, июль). Среди заботъ и интересовъ служебныхъ и придворныхъ проходить новый періодъ, вплоть до *Недоросля*. Весельчакъ превращается въ моралиста и политика, усерднѣе слѣдитъ за вѣкомъ, читаетъ, думаетъ, старается выработать себѣ сложную программу, въ которой европеизмъ мирится съ народностью, и сочувствіе къ прогрессу съ симпатіями къ старинѣ (впрочемъ, не особенно дальней, потому что для Стародума это—петровское время); познаетъ важность об-

*) Въ послѣдней изъ этихъ пьесъ (напечатана въ „Росс. Театрѣ“, часть XV, 1787) дѣйствующее лицо, нѣсколько соответствующее Иванушкѣ, носитъ характеристическое имя Франколюба, за сто лѣтъ тому назадъ предвѣщающее современные намъ термины франко-русскаго сближенія.

**) Болѣе подробное сличеніе обѣихъ пьесъ въ моей книгѣ „Западное вліяніе въ новой русской литературѣ“, М. 1883. Любопытно отмѣтить кстати, что Гольбергъ въ свою очередь взялъ мотивъ для своей пьесы у англійскаго комическаго писателя 17 вѣка Уичерли, именно изъ пьесы „The dancing master“, такъ что получается любопытная эволюція сюжета, видоизмѣняющагося у трехъ народностей.

шественнаго призванія писателя, вырастает нравственно; онъ переводитъ уже не *Сифа*, а *Похвальное слово Марку Аврелію* или пишетъ *Каллистоена*, идеализируя безтрепетное заявленіе истины и готовность къ страданіямъ изъ-за нея, и во второй комедіи, гораздо болѣе самостоятельной *), доходитъ до высшей степени, которой вообще въ состояніи была достигнуть наша комическая литература прошлаго вѣка, развертываетъ широко картину всего общества, съ его культурными слоями и подонками, съ тупою косностью невѣжества, жестокостью рабовладѣнія и мечтами просвѣтительнаго вѣка, и останавливается въ своемъ смѣхѣ на порогѣ трагедіи, куда такъ и просится *Фурія Простакова* или ея отецъ-воевода, умирающій на желѣзномъ сундукѣ, переполненномъ награбленнымъ добромъ. Отъ *Недоросля* до послѣднихъ, предсмертныхъ лѣтъ талантъ не ослабѣваетъ; духъ борется съ немощнымъ тѣломъ; если не въ комедіи, которая и въ „Выборѣ гувернера“, и въ нѣсколькихъ наброскахъ другихъ пьесъ („Добрый наставникъ“, отрывокъ изъ безымянной комедіи, наконецъ діалогическая сцена у княгини Халдиной) не удерживается на недавнемъ уровнѣ, то въ сатирической журналистикѣ, въ „Вопросахъ и отвѣтахъ“, „Придворной грамматикѣ“, „Перепискѣ Взяткина съ его превосходительствомъ“ обнаруживается такая зрѣлость взглядовъ на сатиру и такая художественность приемовъ, которыя превышаютъ достоинства *Недоросля*, хотя бы отчужденіемъ отъ положительныхъ характеровъ и замѣной нравоучительной проповѣди еще болѣе безпошадною на-

*) Въ одной старой статьѣ о Фонвизинѣ, въ „Вѣсти. Европы“ 1829, № 15, находимъ мѣткія мысли о способности нашего комика „изобрѣсти сюжетъ, т.-е. соединить въ своемъ твореніи давно уже существующее, но разбросанное въ природѣ, собрать частицы, составить изъ нихъ нѣчто цѣлое, согласно образцу идеальному, по своему плану для извѣстнаго конца и предназначенія“. Въ *Недоросль*, несмотря на глубокую его бытовую основу, есть заимствованія изъ пяти иностранныхъ писателей. На вліяніе добродѣтельныхъ лицъ, выраженныхъ взглядовъ автора, выводимыхъ часто у Гольберга, на фонвизинскихъ Стародумовъ и Правдиныхъ у насъ еще не обращали вниманія. Первообраза, быть-можетъ, нужно искать именно здѣсь, а не во французскомъ театрѣ. См. книгу Брандеса „Ludwig Holberg und seine Zeitgenossen“, В. 1885, 128.

смѣшкой. Не переставая заботиться о самообразованіи (онъ, даже пріѣхавъ въ Парижъ, спѣшитъ взять себѣ учителей философіи и юриспруденціи), Фонвизинъ, хотъ и поздно, дорабатывается до тѣхъ политическихъ идеаловъ, которые раздѣлялъ теперь съ кружкомъ Панина и которые казались высшему обществу несвоевременными и опасными,— до защиты коренной реформы русскаго строя въ духѣ шведскихъ государственныхъ учреждений, созданія цѣлой организациі самоуправленія и постепеннаго освобожденія крестьянъ *). Среди всѣхъ колебаній, наполнившихъ его жизнь, раскрывается постоянная, несмолкавшая никогда пытливость его ума и развитіе таланта.

Что было бы, повторяемъ, съ этимъ удивительнымъ само-родкомъ, еслибы судьба могла обезпечить ему иную жизнь, среди широкаго развитія просвѣтительнаго дѣла, которое сгруппировало бы всѣ лучшія силы страны не на время, пока продлится мода, а для свободнаго и разносторонняго общественнаго служенія? Если самъ онъ, высоко ставя Оеодора Волкова, находилъ, что во всякой другой странѣ его рѣдкія способности и энергія открыли бы передъ нимъ поприще государственнаго челоуѣка, то автору *Недоросля* съ его чуткостью къ нуждамъ и запросамъ народнымъ, казалось, должна бы предстоять будущность публициста, популярнаго, убѣдительнаго, блестящаго и увлеченнаго своимъ призваніемъ. Тотъ, кто въ своихъ „Вопросахъ“ требовалъ гласнаго судопроизводства и впередъ ликовалъ при мысли, какъ „судья, считая всѣ свои бездѣльства погребенными въ архивъ своего мѣста, возьметъ въ руки печатную тетрадь и вдругъ увидитъ въ ней свои скрытыя плутни, объявленные во всенародное извѣстіе“ **),—кто устами Стародума (въ несостоявшемся журналѣ Фонвизина „Другъ честныхъ людей“) могъ заявлять, что „таковая свобода, каковою поль-

*) Любопытныя свѣдѣнія о составленномъ Фонвизинимъ проектѣ этихъ реформъ сообщены въ запискахъ племянника его, М. А. Фонвизина (Русская Старина 1884, IV).

**) «Къ Г. Сочинителю Былей и Небылицъ отъ Сочинителя Вопросовъ» (Собес. Люб. Р. С., 1783).

зуются нынѣ Россіяне, поставляетъ человѣка съ дарованіемъ, такъ сказать, стражемъ общаго блага*, что „писатели имѣютъ долгъ возвысить громкій гласъ свой противъ злоупотребленій и предразсудковъ, вредящихъ отечеству“, что „человѣкъ съ дарованіемъ можетъ въ своей комнатѣ, съ перомъ въ рукахъ, быть полезнымъ совѣтодателемъ государю, а иногда и спасителемъ согражданъ своихъ и отечества“,—этотъ человѣкъ былъ, казалось, прямо предназначенъ осуществить это высокое служеніе писателя не на одной лишь аренѣ комедіи. Такъ искренне говорили и мыслили немногіе въ его время. Тяжкія нужды сѣрой, безыменной Руси, преданной, несмотря на новую эру, на произволъ Простаковыхъ, Взяткиныхъ и Скотининыхъ, взывали о заступничествѣ,—и во всемъ, что писалъ Фонвизинъ, даже среди легкой *causerie* на французскій ладъ, или въ разливѣ неистощимаго балагурства, встрѣчаются такія серьезныя ноты, которыя выдають его коренныя убѣжденія, столь естественныя у сына такого неподкупно-честнаго человѣка, какимъ былъ отецъ писателя, по давнишней традиціи считае-мый оригиналомъ Стародума. Такихъ людей было немного, а вскорѣ они (правда, на время) и совсѣмъ перевелись. Фонвизинскіе Нельстецовы, Здравомыслы, Каллисѣены, Правдины, Стародумы, всѣ эти выразители оскорбленной нравственной порядочности, стали анахронизмомъ. Замолкла сатирическая журналистика, рѣшавшаяся заглядывать во всѣ завѣтные уголки государства, осиротѣла комедія, порвалась гуманная дѣятельность масоновъ. Новиковъ, Радищевъ, Фонвизинъ одинъ за другимъ сходили со сцены и упразднялись. Параличъ, медленное омертвѣніе и вынужденное безмолвіе стоили для Фонвизина Радищевской прогулки въ Илимскъ или заточенія Новикова. Всѣхъ ихъ, какъ героиню Данта, удручала „тягчайшая доля вспоминать о счастливыхъ дняхъ

*) На заимствованія, сдѣланныя имъ изъ Новиковскихъ журналовъ: „Утренняя Свѣта“, „Вечеровъ“, „Московского изданія“, для *Недоросля*, и именно для рѣчей Стародума, указалъ проф. Незеленовъ: „Н. И. Новиковъ, издатель журналовъ“. Спб., 1875, стр. 439.

среди бѣдствій“. Они пережили и зарю новаго дня и преждевременный, сумрачный его закатъ...

Эти грустныя черты прошлаго не лишнія въ годовщину смерти Фонвизина. Въ этотъ день воображеніе рисуетъ его намъ не тѣмъ, морящимъ всѣхъ со смѣху, мастерскимъ чтецомъ, который бывало (точно Грибоѣдовъ во время первыхъ чтеній „Горя отъ ума“) способенъ былъ, разыгрывая въ лицахъ своего *Бриадера* по рукописи, тутъ же творить новыя сцены, одна забавнѣе другихъ,—сокровища, навсегда утраченныя, — но тѣмъ страдальцемъ, при видѣ котораго Дмитріевъ „вздрогнулъ и почувствовалъ всю бѣдность и нищету человѣческую“. А между тѣмъ вѣдь это все же юбилей комическаго писателя. Толпа, по замѣчанію Грибоѣдова, непременно хочетъ, чтобъ и въ жизни онъ оставался такимъ же, какимъ являлся на сценѣ („сочинитель Фамусова,—стало-быть, человѣкъ веселый“, говорили провинціалы 20-хъ годовъ). Что же дѣлать, если у Фонвизина вѣчно смѣшивались свѣтъ и тѣни, смѣхъ и слезы, безпечное веселье и тяжкія страданія! Вспомнимъ же въ день его кончины его настоящій нравственный обликъ, не возводя этого замѣчательно талантливаго неудачника на недосягаемый пьедесталь, но соединяя съ любовью и уваженіемъ печаль о томъ, что такому самородку не суждено было широко и правильно развиваться. Возможность узнать настоящаго Фонвизина не повредитъ его популярности и славы. Она уже выдержала столѣтній искусь; переживетъ она и новый вѣковой срокъ. Въ ранніе дѣтскіе годы насъ встрѣчаетъ вмѣстѣ съ Крыловымъ Фонвизинъ и, вызывая свѣтлый смѣхъ своими забавными сценами, влагаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ дѣтское сердце—и рѣчами своихъ честныхъ людей, и зрѣлищемъ возмущавшихъ ихъ пороковъ—влеченіе къ свѣту и правдѣ. Если въ старыя годы въ комедіи—и нашей, и европейской—были въ модѣ заглавія вродѣ „Школы женщинъ“, „Школы мужей“, „Школы злословія“ и т. д., то его комедіямъ и сатирамъ пристало имя „Школы честныхъ людей“. Возможность хоть въ раннемъ дѣтствѣ побывать въ такой школѣ — большое благо.

ГРИБОѢДОВЪ.

Александръ Сергѣевичъ ГрибоѢдовъ родился въ Москвѣ 4-го января 1795 года. Съ ранняго дѣтства его окружала обстановка стараго барства. Семья его вела свой родъ отъ выѣзжаго изъ Польши дворянина; помнила, что еще въ допетровскую пору многіе ея предки занимали важныя государственныя должности; гордилась заключенными въ послѣдствіи связями со многими аристократическими родами, и вообще любила тянуться за старою знатью. Домъ, въ которомъ жили ГрибоѢдовы и который сохранился до сихъ поръ почти въ томъ видѣ, въ какомъ былъ при нихъ, находился въ той части Москвы, которая и теперь не совсѣмъ утратила характеръ барскаго квартала, и своими старинными фасадами, фронтонами и львами на воротахъ, домами-особняками, назначенными для одного лишь семейства и окруженными многочисленными службами, напоминаетъ о прежнемъ бытѣ богатаго помѣщичества. Въ этомъ московскомъ Сень-Жерменскомъ предмѣстьѣ встарину сложились особые нравы и порядки; въ то время, какъ въ другихъ частяхъ города лишь изрѣдка виднѣлись дворцы магнатовъ, высившіеся изъ нестройныхъ группъ мѣщанскихъ построекъ, здѣсь селились одни „столбовые“, составляя замкнутый мірокъ, связанный узами родства, свойства, дружбы и сплетенъ. Себя только и свою жизнь эти люди считали *свѣтомъ*; у нихъ были свои мудрецы, законодатели и законодательницы свѣтскихъ приличій, свои *esprits forts*. Родовыя и общест-

венныя традиціи свято наблюдались, и самостоятельная жизнь гасла и замирала въ этомъ заколдованномъ кругу.

Вотъ среда, въ которой очутился ребенкомъ Грибоѣдовъ, вотъ тѣ люди, съ которыми ему пришлось въ послѣдствіи имѣть дѣло. Среда и мнѣніе этихъ людей оказывали обаятельное вліяніе на мать его, Настасью Ѳедоровну; родовитость, связи, приличія имѣли для нея громадное значеніе. Играя въ домѣ первенствующую роль вслѣдствіе безучастности ея мужа (секундъ-маіора Сергѣя Ивановича) въ семейныхъ дѣлахъ, она старалась не отставать отъ передовыхъ людей своего кружка, прислушивалась къ ихъ сужденіямъ объ ея семейныхъ отношеніяхъ и свято слѣдовала ихъ совѣтамъ. Пока дѣти ея были малы, имъ, повидимому, давали полный просторъ рѣзвиться и шалить, сколько хотѣлось. Устами Чацкаго Грибоѣдовъ съ глубокимъ чувствомъ вспоминалъ о „невинномъ возрастѣ“ своемъ, проведенномъ хотя и въ мірѣ Фамусовыхъ, но безопасно и счастливо. Люди, въ послѣдствіи ставшіе ему ненавистными, еще не были имъ разгаданы, и, какъ Чацкій съ Софьей, ребенокъ весело игрывалъ въ домѣ Фамусова, скакалъ и шумѣлъ съ друзьями и подругами дѣтства, по стульямъ и столамъ, являясь и исчезая то тутъ, то тамъ. Лучшимъ другомъ его рано слѣдалась его сестра, Марья Сергѣевна (въ послѣдствіи г-жа Дурново), сочувствовавшая его замысламъ и борьбѣ противъ свѣтскаго гнета.

Мать по-своему сильно любила его, но, одержимая сильнымъ честолюбіемъ, мысленно начертила ему карьеру по собственному вкусу, съ той же минуты, какъ замѣтила необыкновенныя способности въ своемъ сынѣ. Оракуломъ для нея былъ братъ ея, Алексѣй Ѳедоровичъ Грибоѣдовъ (родители писателя принадлежали къ двумъ вѣтвямъ того же рода), являвшійся въ ея глазахъ образцомъ знатнаго барина, въ совершенствѣ обладающаго знаніемъ свѣта и людей. Ничего не дѣлала она, не спросивъ его совѣта, — и раннее деспотическое вмѣшательство этого человѣка во всѣ мелочи домашняго быта скоро возстановило противъ него Александра Сергѣевича. Дядя придумывалъ сестрѣ и ея дѣтямъ

необходимые и полезные въ будущемъ визиты къ сильнымъ людямъ, и самовольно опредѣлялъ ту среду, въ которой они должны были вращаться. Чацкій, вспоминая дѣтство, говоритъ о „Несторѣ негодяевъ знатныхъ“, къ которому Фамусовъ еще съ пеленъ, для замысловъ какихъ-то непонятныхъ, дитятею возилъ его на поклонъ: это—черта изъ жизни самого Грибоѣдова.

Впрочемъ, не въ одной насильственной дрессировкѣ молодого барича для свѣтской карьеры, основанной въ фамусовскомъ духѣ на искательствѣ и низкопоклонствѣ, проходило дѣтство Грибоѣдова. Мать его все же выработала своеобразный воспитательный планъ, шедшій вразрѣзъ съ принятыми взглядами. Она постаралась сдѣлать воспитаніе дѣтей по преимуществу домашнимъ, поручая главный надзоръ педагогамъ иностранцамъ. Первымъ изъ нихъ былъ Петрозилиусъ, кладезъ знанія, но педантъ, отшатнувшій отъ себя живой и пытливый умъ его воспитанника. Врядъ ли не его имѣлъ въ виду Грибоѣдовъ въ одной выходкѣ Чацкого (I актъ, 7 явл., первоначальн. редакція):

Я не могу забыть, учительскій халатъ,
Перстъ указательный, сіяніе гюмента,
Какъ наши робкіе тревожили умы;
Какъ съ раннихъ лѣтъ привыкли вѣрить мы,
Что ничего нѣтъ выше нѣмца!

Научныя занятія пошли систематичнѣе съ тѣхъ поръ, какъ Петрозилиуса замѣнилъ Богданъ Ивановичъ Іонъ, которому суждено было сдѣлаться не только руководителемъ воспитанія Грибоѣдова, но и близкимъ другомъ и совѣтникомъ его, одной изъ тѣхъ добродушныхъ старческихъ головъ, которыя такъ симпатично вырѣзываются иногда въ смутныхъ воспоминаніяхъ дѣтства. Когда судьба ни приводила потомъ его ученика въ родную обстановку, одною изъ первыхъ его заботъ было отыскать Іона. Старикъ въ свою очередь сильно тосковалъ, что не могъ повидать своего питомца, когда послѣ 14 декабря его провезли подъ конвоемъ черезъ Москву, и когда выказывать привязанность къ

нему было небезопасно. На предполагавшейся дуэли съ Якубовичемъ секундантомъ опять избранъ былъ Іонъ. Наконецъ, когда Грибоѣдова не стало, старый гувернеръ любилъ встрѣчаться съ другомъ покойнаго, С. Бѣгичевымъ, и вспоминать о хорошемъ прошломъ. Въ тѣ минуты, говоритъ очевидецъ, слезы виднѣлись на глазахъ обоихъ собесѣдниковъ.

Грибоѣдову удалось получить основательное образованіе. Рано приобрѣлъ онъ знаніе нѣсколькихъ иностранныхъ языковъ, открывшее ему богатая литературы Запада, рано привыкъ къ усидчивому труду, къ изслѣдованію мельчайшихъ научныхъ вопросовъ, поражавшему впослѣдствіи въ его записныхъ тетрадяхъ (особенно въ рубрикѣ *Desiderata*), обличающихъ въ немъ задатки замѣчательнаго ученаго. Іону содѣйствовали, какъ кажется, недурно выбранные преподаватели, дававшіе мальчику уроки на дому. Рядомъ съ научными занятіями рано началось изученіе музыки, процвѣтавшей въ домѣ Грибоѣдовыхъ, который славился тогда какъ артистическій центръ, гдѣ можно услышать дѣйствительно хорошую музыку. По вечерамъ Подъ Новинское съѣзжались иногда любители и артисты, и дѣти рано наслаждались лучшихъ музыкальныхъ произведеній. Вскорѣ и Александръ Сергѣевичъ, и его сестра были уже хорошими піанистами; для нихъ фортепіано было не орудіемъ пытки, а средствомъ достиженія поэтическихъ наслажденій, товарищемъ мечтательныхъ часовъ. Впослѣдствіи, войдя въ кружокъ молодыхъ русскихъ музыкантовъ, Алябьева, Верстовскаго, кн. Одоевскаго, Грибоѣдовъ перешелъ отъ виртуозности къ изученію законовъ музыки и подъ вліяніемъ извѣстнаго тогда петербургскаго профессора гармоніи Іоганна Миллера овладѣлъ ими въ такой степени, что могъ считаться даже опытнымъ теоретикомъ *). Гдѣ онъ ни былъ, онъ оставался вѣренъ любви къ музыкѣ. О своемъ фортепіано вздыхаетъ онъ, заброшенный въ Грузію, къ нему ки-

*) Провелъ цѣлый день съ Грибоѣдовымъ, пишетъ въ своихъ запискахъ („Русск. Старина“, 1870, 2 изд., 352) М. И. Глинка; „онъ былъ очень хорошій музыкантъ“, — а Глинка не былъ щедръ на раздачу такихъ эпитетовъ.

дается, лишь только снова (хотя бы при тревожных обстоятельствах) возвращается на родину. Увлекаясь въ безконечныя импровизаціи, прелести которыхъ удивлялись всѣ слышавшіе ихъ, онъ забывалъ весь міръ и способенъ былъ не отрываться отъ инструмента по цѣлымъ днямъ.

Іонъ руководилъ воспитаніемъ Грибоѣдова уже съ опредѣленною цѣлю. Настасья Ѳедоровна рѣшила дать сыну университетское образованіе, чтобъ обезпечить ему потомъ служебную, всего бы лучше дипломатическую карьеру. Изъ - за такихъ - то надеждъ ему дали возможность пройти въ университетъ. Разумѣется, были приняты предосторожности; его не хотѣли смѣшивать съ плебеями, опредѣлили вольнымъ слушателемъ, выдержали въ университетѣ менѣе обыкновеннаго и посылали на лекціи съ гувернеромъ. Іонъ каждый день совершалъ неблизкое путешествіе изъ-подъ Новинскаго на Моховую, сопутствуя своему воспитаннику и оберегая его отъ соблазновъ. Выбрали „этико-политическое“ отдѣленіе, какъ наиболѣе пригодное для будущей службы. Но, хотя одинъ изъ товарищей Грибоѣдова по университету, И. И. Давыдовъ *), утверждаетъ, что только студенты философскаго факультета пользовались въ ту пору правомъ свободно посѣщать лекціи на всѣхъ прочихъ факультетахъ, льгота эта была повидимому всеобщаю; по крайней мѣрѣ нужно допустить, что она была предоставлена вольнымъ слушателямъ, что дало Грибоѣдову возможность слѣдить за чтеніями лучшихъ тогдашнихъ представителей литературной и философской школы наравнѣ съ чтеніями юристовъ.

Московскій университетъ въ то время, когда его посѣщалъ Грибоѣдовъ **), находился въ переходномъ состояніи; отголоски предшествовавшаго періода встрѣчались съ признаками новаго научнаго направленія. Въ персоналѣ профессоровъ было нѣсколько достойныхъ специалистовъ, у ко-

*) Биографическій словарь профессоровъ Москов. унив., 1855, I, 278.

**) Официальныхъ свѣдѣній о пребываніи Грибоѣдова въ университетѣ не сохранилось, такъ какъ въ 1812 году значительная часть университетскихъ актовъ и въ особенности текущихъ бумагъ подверглась уничтоженію.

торыхъ было чему поучиться, Это были въ особенности ветераны западной науки, вѣрные преданіямъ просвѣтительнаго вѣка и продолжавшіе въ Россіи пропаганду знаній. Имъ подражали молодые русскіе профессора. Общеніе преподавателей со студентами было общимъ правиломъ. Дома многихъ профессоровъ были открыты для студентовъ, которыхъ они называли (какъ наприм. М. М. Снегиревъ) своими друзьями; проф. Страховъ еще болѣе входилъ въ жизнь молодежи и руководилъ студенческими спектаклями, наполнявшими собой зимнюю вакацію. Здѣсь въ Грибоѣдовѣ могла легко зародиться, часто переходившая въ энтузіазмъ, любовь къ театру, которая служила характеристическою чертой его вкусовъ и рано направила его литературную дѣятельность къ комедіи. Среди этого общенія студентовъ съ профессорами особенно выдавалась личность Іоганна Теофила Буле (Buhle), профессора исторіи и эстетики, превосходившаго, кажется, и познаніями своихъ товарищей. Онъ перенесъ въ Москву свою дѣятельность, имѣя уже за собой ученую репутацію на Западѣ и профессорскій опытъ въ Гёттингенѣ. Въ сонной помѣщичьей Москвѣ онъ остался тѣмъ же неутомимо-дѣятельнымъ поклонникомъ и распространителемъ науки. Онъ читалъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ публичныя лекціи по исторіи, археологіи и искусству, задумалъ изданіе Журнала изящныхъ искусствъ (1807), издавалъ Московскія ученыя вѣдомости, читалъ курсы философіи и изучалъ въ свободныя часы прошлое Россіи, давшей ему у себя пріютъ, наконецъ устраивалъ на нѣмецкій ладъ на дому частныя курсы, гдѣ отдѣльные вопросы философіи, эстетики или исторіи, — трехъ наукъ, которыми онъ предпочтительно занимался, — подвергались подробному разсмотрѣнію.

Если студенческій кружокъ не оказалъ на Грибоѣдова особенно живительнаго вліянія (изъ называемыхъ Давыдовымъ общихъ ихъ товарищей, Альфонскаго, Прянишникова, С. Нечаева, Смирнаго и др., ни одинъ, сколько извѣстно, не былъ въ болѣе или менѣе дружескихъ отношеніяхъ съ Грибоѣдовымъ), то слѣды вліянія профессоровъ долго сохраня-

лись у него. Любовь къ изученію русской исторіи пріобрѣтена была именно въ это время; знакомство съ молодою тогда политической экономіей и статистикой, которую читалъ Шлецеръ, сказывалась даже въ позднѣйшіе годы, въ заботахъ Грибоѣдова о составленіи статистическихъ таблицъ по Кавказу и его подробномъ описаніи. Но всего болѣе повліялъ на него Буле, къ которому онъ сильно привязался, и о которомъ, какъ говоритъ Ксен. Полевой *), онъ всегда вспоминалъ съ благодарностью. Есть основаніе думать, что и до университета онъ посѣщалъ частные курсы Буле, вслѣдствіе чего вліяніе его было еще продолжительнѣе. Буле былъ поклонникомъ Аристотеля и въ своихъ трактатахъ любилъ изучать сущность и основы драмы. Грибоѣдову представлялась возможность теоретическаго изученія любимаго рода поэзіи. Буле предпочиталъ комедію, и цѣлое сочиненіе посвятилъ душевной веселости и средствамъ поддерживать и развивать ее. Образцовъ онъ искалъ въ классическихъ литературахъ, и Грибоѣдовъ слѣдомъ за нимъ вначалѣ съ особою любовью относился къ комическимъ писателямъ древности, Плавту, Теренцію. Буле, оцѣнивъ его способности, часто одному ему посвящалъ продолжительныя философскія и эстетическія бесѣды, пріучившія его къ отвлеченному мышленію. Грибоѣдовъ не остановился на псевдо-классицизмѣ своего учителя; мысли про себя, наблюденія и разностороннее чтеніе побуждали его пойти неизмѣримо дальше его ученія и додуматься со временемъ до отрицанія обязательности незыблемой теоріи драмы, вложившаго ему въ уста знаменательныя слова: „знаю, что всякое ремесло имѣетъ свои хитрости, но чѣмъ менѣе, тѣмъ спорѣе дѣло; и не лучше ли вовсе безъ хитростей“? Все же онъ многимъ обязанъ Буле, давшему прочную основу его литературному образованію. Увлекъ

*) Біографія Грибоѣдова при изд. „Горя отъ ума“ 1839, стр. VIII. Даже подъ арестомъ Г. вспоминалъ о книгѣ Дежерандо, которую 15 лѣтъ передъ тѣмъ подарилъ ему Буле, и просилъ друзей прислать ее (Сборникъ автографовъ, изд. „Русск. Старинны“, 1873).

его въ немъ и примѣръ нравственной силы и самостоятельности. Сравненіе среды, гдѣ встрѣчаешь такихъ людей, съ той, въ которой придется вращаться, напрашивалось само собой. Поднимались вопросы, сомнѣнія, догадки.

Онъ долженъ былъ прятать въ себѣ начинавшуюся работу сомнѣвающегося ума. Ни въ комъ онъ не могъ встрѣтить полного сочувствія. Сестра, раздѣлявшая съ нимъ любовь къ музыкѣ и поддерживавшая его въ научныхъ зынатіяхъ, не шла въ уровень съ нимъ въ критическомъ отношеніи къ дѣйствительности. Въ матери онъ встрѣчалъ хотя и дружелюбное, но неумолимо сдерживающее начало. Она составила себѣ опредѣленный планъ его карьеры, въ который, разумѣется, не входила дѣятельность ученаго или литератора. Первые писательскіе опыты сына она встрѣтила съ „презрѣніемъ“, которое однажды выразила публично въ кругу товарищей Александра Сергѣевича, попрекнувъ его при этомъ „завистью, свойственной мелкимъ натурамъ, оттого что онъ не восхищался Кокоскинымъ и ему подобными“. Еще строже относилась она къ юношеской вѣтрености и шаловливости сына, не подходившей къ ея идеалу образцоваго молодого человѣка. А въ юношѣ кипѣли силы; слишкомъ долго сдерживаемыя и подавляемыя, онѣ въ послѣдствіи не скоро улеглись и перебродили, и вовлекали его въ разныя излишества, пока раздумье и нравственная реакція не измѣнили его окончательно.

Чѣмъ сознательнѣе становился онъ, тѣмъ тяжелѣе казался ему семейный гнетъ. Въ письмахъ его разсѣяны протесты противъ непрестанныхъ заботъ о порядочности сына, противъ посягательствъ на его свободу. Онъ завидуетъ Бѣгичеву въ томъ, что у него нѣтъ матери, которой „онъ обязанъ казаться основательнымъ“, въ письмѣ же къ Одоевскому доходитъ до печальнаго убѣжденія, что „истиннымъ художникомъ можетъ быть только человѣкъ безродный“. Выходки противъ неограниченнаго господства родственной клики въ „Горѣ отъ ума“—были выстраданы авторомъ. Онъ терпѣлъ не только отъ вмѣшательства матери, но отъ встававшей за нею грозной силы родни и свѣтскихъ знакомыхъ съ ихъ

установившимися навсегда воззрѣніями и дружной круговою порукой. Борьба его одного противъ сплошной стѣны противниковъ была слишкомъ неровна, и онъ затаилъ мщеніе. Деспотъ-дядя удвоилъ попеченіе о молодомъ человѣкѣ, готовомъ вступить въ свѣтъ. Вѣчно приходилось отстраняться отъ его навязчивости. „Какъ только Грибоѣдовъ замѣчалъ, что дядя вѣхалъ къ нимъ на дворъ (рассказываетъ Бѣгичевъ въ запискѣ, составленной для г. Смирнова), разумѣется, затѣмъ, чтобъ везти его на поклоненіе къ какому-нибудь князь-Петръ-Ильичу, онъ раздѣвался и ложился въ постель. „Поѣдемъ,—приставалъ А. Ѳ.—Не могу, дядюшка, то болитъ, другое болитъ, ночь не спалъ“,—хитрилъ молодой человѣкъ“. Въ черновомъ наброскѣ, впервые напечатанномъ нами по списку г. Смирнова, дана поэтомъ мѣткая характеристика его дяди, раскрывающая удивительную „смѣсь пороковъ и любезности“, „извнѣ рыцарства въ нравахъ, а въ сердцѣ отсутствія всякаго чувства“, „безчестности и лживости на языкѣ“, „способности драться какъ левъ съ турками при Суворовѣ и потомъ пресмыкаться въ переднихъ всѣхъ случайныхъ людей въ Петербургѣ“, и при всемъ томъ вѣчно въ своихъ нравоученіяхъ ставить себя въ примѣръ („Я, братъ!—говорилъ Алексѣй Ѳедоровичъ.—Не надобно другого образца, когда въ глазахъ примѣръ отца“, говоритъ Фамусовъ).

Окружавшая среда разоблачалась передъ юношей во всей своей наготѣ; закулисная исторія столповъ общества возбуждала нравственную брезгливость. Первые произведенія его получили характеръ сатирическій, обличительный. Послѣ шуточной пародіи на „Дмитрія Донскаго“, названной имъ „Дмитрій Дрянской“ и осмѣивавшей напыщенный патріотизмъ Озерова *), онъ остановился на мысли о сатирѣ на московское великосвѣтское общество или, вѣрнѣе, на рядъ личностей наиболѣе ненавистныхъ. Пока—онъ въ состояніи осмѣять только изнанку ихъ жизни, хлестнуть ихъ бичомъ сатиры, но, конечно, еще не разгадалъ вполнѣ ихъ ограни-

*) Единственная рукопись ея, подаренная сестрою Алек. Сергѣевича г. Смирнову, повидимому утрачена для исторіи литературы.

ченного міросозерцанія и не умѣлъ возсоздать живыми ихъ характеровъ. Такими свойствами отличался, конечно, первоначальный планъ „Горя отъ ума“, который, по драгоценному показанію одного университетскаго товарища Грибоѣдова, онъ сообщилъ ему и Іону, прочитавъ притомъ нѣсколько отрывковъ. Это было въ 1812 г., въ годъ выступленія Александра Сергѣевича изъ университета *). Такимъ образомъ, еще семнадцатилѣтнимъ юношей онъ задумалъ произведеніе, которое должно было навѣки сохранить о немъ память въ потомствѣ.

Настала отечественная война. Грибоѣдовъ не могъ остаться безучастнымъ свидѣтелемъ борьбы, разгоравшейся передъ нимъ. Патріотическое возбужденіе овладѣло имъ, и онъ считалъ долгомъ протестовать личнымъ примѣромъ противъ пассивности дворянскаго большинства. Въ сценаріѣ драмы изъ двѣнадцатаго года, набросанномъ позже, но основанномъ на вынесенныхъ имъ печальныхъ наблюденіяхъ, онъ громитъ „всеобщее ополченіе безъ дворянъ, трусость служителей правительства, искательство, исчезновеніе *всей поэзіи великихъ подвиговъ*, прежнія мерзости“ и, въ противоположность, воспоминаетъ славныя черты прошлаго, оживающія въ видѣ тѣней „усопшихъ исполиновъ“, Святослава, Влад. Мономаха, Іоанна, *Петра*, которыя слетаются ночью въ Архангельскій соборъ, скорбятъ о бѣдствіи и предвѣщаютъ искупленіе **). Тотъ, кто такъ близко принималъ къ сердцу горе отечества, не могъ оставаться въ сторонѣ, хотя бы пришлось испортить всю свою служебную карьеру. И мать не въ силахъ была помѣшать; къ ея предохранительнымъ выдумкамъ нужно, вѣроятно, отнести направленіе молодого волонтера въ аристократическій полкъ, набравшійся на средства графа Салтыкова. Это и погубило дѣло. Полкъ сби-

*) Записки о Грибоѣдовѣ. Л. Н. Майкова; Сборникъ, издан. студентами Петерб. унив., 1860, II, стр. 230.

**) Набросокъ пьесы изъ отечественной войны, вѣроятно, одна изъ первыхъ работъ Грибоѣдова; года, однако, указать трудно. Сцена между отцомъ и дочерью, сбереженная въ черновыхъ бумагахъ,—единственный остатокъ этой пьесы.

рался туго и за смертью Салтыкова былъ распушенъ въ то время, когда еще могъ быть полезенъ при преслѣдованіи отступающаго непріятеля.

Неудача не охладила Грибоѣдова, но рѣшеніе его измѣнилось. Его не увлекала мысль о борьбѣ съ врагомъ за предѣлами Россіи, объ освобожденіи Европы,—хотѣлось только честно исполнить свой гражданскій долгъ и оборонить родину. Но разбитыя надежды не помѣшали ему все же остаться въ военной службѣ. Въ немъ происходитъ крутой поворотъ. Изъ волонтера, оставлявшаго лишь на время науку и свои думы для патріотическаго подвига, онъ превращается въ военного по профессіи, и въ концѣ 1812 г. мы застаемъ его среди невылазной грязи литовскихъ мѣстечекъ, въ стоянкѣ Иркутскаго гусарскаго полка. Стоитъ припомнить его прежнюю обстановку, чтобы понять, почему онъ примирялся съ бѣлорусскимъ захолустьемъ и съ разгульною компаніей сослуживцевъ. Онъ все же вырвался на свободу изъ-подъ домашней и свѣтской опеки; никто не обязывалъ его теперь „казаться основательнымъ“, и изъ одной крайности онъ перешелъ въ другую, бросился очертя голову въ новую жизнь, исполненную удовольствій и развлеченій довольно пошлаго характера. Не было конца его дурачествамъ, которыя бы сдѣлали честь любому шалуну-гусару изъ опытныхъ: то онъ вѣѣжалъ съ товарищемъ на лошадяхъ на балъ, куда ихъ не пригласили, то, прогнавъ органиста въ брестскомъ монастырѣ и занявъ во время богослуженія его мѣсто, игралъ послѣ превосходной импровизованной прелюдіи *Камаринскую* и т. д. То была пора кризиса, когда онъ легко могъ на вѣки разстаться съ прежними великодушными мечтами. Но кризисъ былъ непродолжителенъ; перебравшись сначала изъ Могилева въ Слонимъ, Грибоѣдовъ очутился наконецъ въ Брестѣ, назначенный состоять при командирѣ кавалерійскихъ резервовъ, генералѣ Кологривовѣ. Вспоминая впоследствии о Брестѣ, онъ признавался, что это—чуть ли не худшее мѣсто на свѣтѣ, но что и тамъ хорошо пожилось. Кологривовъ, принадлежавшій къ новой школѣ гуманныхъ начальниковъ, былъ популяренъ среди молодыхъ офицеровъ,

домъ его былъ всегда открытъ для нихъ; въ его штабѣ находилось нѣсколько развитыхъ лицъ; Грибоѣдову было немного дѣла, и потому онъ могъ снова отдаться литературнымъ занятіямъ. Изъ Бреста онъ посылаетъ въ „Вѣстникъ Европы“ одно за другимъ два письма,—о кавалерійскихъ резервахъ и ихъ исторіи, и о праздникѣ, устроенномъ офицерами въ честь Кологривова (съ стихотвореніями, написанными по этому поводу; одно изъ нихъ, вѣроятно, принадлежитъ Грибоѣдову). Это—первыя печатныя произведенія нашего писателя. Но тогда же возрождается у него страсть и къ драматическимъ опытамъ. На первый разъ онъ довольствуется переводами французскихъ легкихъ комедій. Первая пьеса его, представленная на петербургской сценѣ 29 сент. 1815 года, „Молодые супруги“ (*Le secret du ménage*), была написана въ Брестѣ. Стихи ея, тяжелые и шероховатые, встрѣтили вскорѣ строгія указанія критики; въ нихъ еще не предчувствуешь вовсе разговорнаго языка „Горя отъ ума“.

Но рядомъ съ внѣшнимъ измѣненіемъ строя жизни Грибоѣдова шло еще важнѣйшее, внутреннее. Въ одномъ изъ своихъ товарищей, неразлучномъ съ нимъ въ проказахъ, но скоро одумавшемся, Бѣгичевѣ, онъ встрѣтилъ челоѣка, котораго нельзя не считать виновникомъ нравственнаго его перерожденія. Многія мѣста изъ задушевныхъ писемъ къ Бѣгичеву показываютъ, что такимъ строгимъ и въ то же время искренно любящимъ его наставникомъ считалъ друга своего Грибоѣдовъ, никогда не забывшій великой пользы его ранняго вліянія. Обмѣнъ взглядовъ между друзьями привелъ къ тому, что окружающая дѣйствительность окрасилась совершенно инымъ свѣтомъ, и какъ въ Москвѣ разоблачился передъ нимъ міръ Фамусовыхъ, такъ здѣсь онъ понялъ міръ Скалозубовъ и Бурцовыхъ. Своихъ недавнихъ собутыльниковъ онъ уже называетъ „казарменными готентотами“. Досадуя на „участъ умныхъ людей большую часть проводить съ дураками“, онъ порывается на волю. „Я пробылъ въ этой дружинѣ 4 мѣсяца, а теперь 4-й годъ какъ не могу попасть на путь истинный“, вспоминалъ онъ потомъ объ одномъ изъ наиболѣе бурныхъ эпизодовъ своей военной службы. Но и

эта пора не прошла даромъ въ его жизни. Знакомство съ военнымъ міромъ пригодилось, и не разъ отражается въ „Горь отъ ума“. Многія черты собирательнаго типа служаки Скалозуба (въ которомъ, по преданію, есть подмѣченное у дивизіоннаго генерала Фролова, у Паскевича, Аракчеева, даже, какъ передавали бывало другъ другу шепотомъ, у одного особенно высоко поставленнаго лица) были впервые срисованы съ натуры въ эту пору. Горичевъ (Илья Огаревъ), Репетиловъ (офицеръ Шатиловъ, неудачный острякъ, вѣчно повторявшій чужія, преимущественно французскія *bons-mots*), вольнодумецъ двоюродный братъ Скалозуба („крѣпко зараженный *теперешнимъ столѣтjemъ*“, какъ говорится о немъ въ первоначальной редакціи „Г. о. ума“), всѣ эти живыя въ комедіи лица были нѣкогда живыми и реальными на дѣлѣ. Авторъ заставилъ даже Чацкаго быть одно время товарищемъ Платона Михайловича по кавалерійской службѣ.

Стремленія на волю изъ этой среды увѣнчались наконецъ успѣхомъ. Въ 1815 г. мы видимъ Грибоѣдова въ Петербургѣ; онъ проникаетъ въ литературные кружки, ставитъ свою первую пьесу, является вскорѣ за кулисами своимъ чело-вѣкомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ вступаетъ въ масонскую ложу (*Des amis réunis*), гдѣ встрѣчаетъ серьезныхъ и развитыхъ людей, способныхъ вліять на него, Чаадаева, Норова, Пестеля. Наконецъ онъ сбрасываетъ съ себя гусарскій мундиръ, и, проживъ около года въ Петербургѣ жизнью свободнаго чело-вѣка, съ лѣта 1817 г. вступаетъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ.

Все еще неясны его вкусы и намѣренія. Съ виду его всего болѣе привлекали работы для театра; ихъ вообще у него не мало, начиная отъ „Молодыхъ супруговъ“ до „Пробы интермедіи“, „Своей семьи“, ком. „Кто братъ, кто сестра“; написано все это на спѣхъ, къ бенефисамъ, иногда въ складчину съ двумя, тремя лицами, часто (какъ въ *Пробѣ*) безъ опредѣленнаго содержанія, съ безпечной затратой веселости и болѣе или менѣе остроумныхъ выдумокъ. Все это не возвышается надъ среднимъ уровнемъ комедіи того времени; куплеты даже просто слабы, въ сравненіи напримѣръ

съ бойкими стихами водевилиста Писарева, открытаго врага Грибоѣдова. Понѣмногу, однако, выдвигается русскій бытовой фонъ. „Притворная невѣрность“ уже переложена на наши нравы; дѣйствующія лица не Аристъ и Эльмира, а Ленскій и Рославлевъ, въ діалогѣ есть жизнь. Смѣлѣ звучить его стихъ въ пародіи „Лубочный театръ“, направленной противъ Загоскина съ его „Благороднымъ театромъ“,—но раздраженіе руководить авторомъ, и комедія Загоскина, далеко не плохая, не заслуживала такихъ нападковъ. Но, задѣтый за живое критикой, въ которой авторъ „Благ. театра“ повторялъ Грибоѣдову вмѣстѣ съ дѣйствующимъ лицомъ мольеровской комедіи:

Такіе, графъ, стихи

Противъ поэзіи суть тяжкіе грѣхи...

Грибоѣдовъ въ своей пародіи высвобождается изъ шаблонности своего ранняго комическаго стиля, и его стихъ уже не тяжкій грѣхъ противъ поэзіи, а искусное, насмѣшливое и язвительное полемическое орудіе. Такъ Байронъ, оскорбленный пренебрежительнымъ тономъ журнальной рецензіи, въ отвѣтъ на нее, сгоряча, обнаружилъ впервые силу и оригинальность своего стиха. Выравнивается и грибоѣдовская проза. Напечатанная наконецъ въ наше время (въ изданіи г. Шляпкина) такъ долго (съ 1859 года) дразнившая любопытство библіомановъ комедія „Студентъ“, написанная Грибоѣдовымъ вмѣстѣ съ его новымъ петербургскимъ знакомымъ Катенинымъ, мѣстами выказываетъ даже умѣнье справиться съ такими сложными бытовыми чертами, какъ крѣпостничество большого барина Звѣздова, молчалинская вкрадчивость *) и въ то же время вычурная, не то сентиментальная, не то романтическія претензіи эксъ-семинариста Беневольскаго; недурно владѣющій цвѣтистою рѣчью, одержимый бѣсомъ

*) Въ нѣсколькихъ мѣстахъ замѣтенъ первообразъ молчалинскихъ фразъ: «Помилуйте, а Музеумъ? вы конечно любите Музеумъ? Московскій Музеумъ? — Я даже не знаю, есть ли онъ на свѣтѣ. — Нѣтъ, его уже нѣтъ больше, но онъ былъ. Помилуйте, что-жъ вы читаете?—Мало ли что! Только не то именно, что вы назвали, и не то, что на это похоже».

стихотворства, лакейски угодливый, самообольщенный относительно своей внѣшности и успѣховъ у женщинъ, порою наивный, порою продувной, главный герой пьесы обрисованъ съ значительнымъ умѣньемъ, тогда какъ нѣсколько подробностей изъ домашней жизни и хозяйства Звѣздова даютъ возможность взглянуть ближе въ безтолковыя крѣпостническія затѣи Фамусова, котораго онъ уже предвѣщаетъ.

Пять явленій второго акта „Своей семьи“, написанныя Грибоѣдовымъ, обнаруживаютъ, наконецъ, что и стихотворная форма не только не мѣшаетъ уже болѣе выраженію бытового содержанія и живыхъ характеровъ (старой дѣвскопидомки и бойкой молодой дѣвушки, надѣвающей на себя маску послушанія и скромности). Такимъ образомъ, въ промежутокъ двухъ-трехъ, лѣтъ талантъ Грибоѣдова, несмотря на продолжавшуюся еще неопредѣленность его литературныхъ убѣжденій, значительно развился.

А убѣжденія были дѣйствительно еще неустойчивы — и не потому только, что онъ хотѣлъ отвоевать себѣ независимость. Въ виду толковъ, возбужденныхъ комедіей Шаховскаго „Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды“ онъ напечаталъ въ „Сынѣ Отечества“ эпиграмму въ видѣ манифеста отъ Аполлона, отвергающаго всякую солидарность съ нападками на эту пьесу. Въ журнальной статьѣ онъ защищалъ отъ нападокъ Гнѣдича переводъ *Леноры* Бюргера, сдѣланный Катенинымъ; вмѣстѣ съ Жандромъ перевелъ „Семелу“ Шиллера (письмо къ Катенину 19 окт. 1817); во вкусъ Кребильона могъ задумать трагедію „Родамистъ и Зенобія“, — словомъ, то склонялся на сторону романтизма, то сочувствовалъ „антикизирующему“ направленію Шиллера, то готовъ былъ итти по слѣдамъ псевдоклассиковъ, то сближался съ членами Бесѣды. Многое въ этихъ сбивчивыхъ вкусахъ должно было перебродить и выясниться, но во всякомъ случаѣ они обнаруживали серьезное оживленіе литературныхъ интересовъ у недавняго гусарскаго корнета.

Какъ въ эту пору, такъ и впослѣдствіи онъ не принадлежалъ ни къ какому писательскому приходу; со временемъ

утратилъ для него прелесть полемическій задоръ его первыхъ пародій и защитительныхъ статей, и, оставивъ позади себя весь хламъ пререканій о преимуществахъ классическаго или романтическаго, онъ вынесъ изъ обширныхъ чтеній, думъ, наблюденій надъ жизнью, то міросозерпаніе и тѣ независимыя литературныя убѣжденія, которыя обособили его въ современной словесности. Его замѣтили и въ обществѣ; его остроуміе, горячія вспышки правдолюбія, „катоновская суровость“ отзывовъ о порочномъ и безчестномъ, и въ то же время возрастающая строгость къ самому себѣ („вы меня хвалили какъ автора, а я именно, какъ авторъ, ничего еще не произвелъ истинно изяшнаго“, писалъ онъ Булгарину, недовольный его восхваленіями), все это указывало немногимъ, способнымъ оцѣнить его способности, на славное его призваніе. Пушкинъ увидалъ на этомъ задумчивомъ челѣ печать высшей талантливости, хотя весь литературный запасъ Грибоѣдова состоялъ пока изъ нѣсколькихъ пьесокъ, да двухъ-трехъ журнальныхъ статей.

Все, что было честнаго, прямодушнаго въ характерѣ Грибоѣдова, побудило его примкнуть къ общественному движенію, распространявшемуся тогда по всѣмъ концамъ Россіи. Знакомство съ Пушкинымъ, жившимъ тогда одною жизнью съ передовою литературной фалангой, не могло не укрѣпить въ немъ серьезнаго взгляда на обязанности литературы въ смутную эпоху. Въ ту же пору, кажется, сблизился онъ и съ Александромъ Одоевскимъ, которому впослѣдствіи посвятилъ трогательное стихотвореніе. Впослѣдствіи Одоевскій былъ провидѣніемъ Грибоѣдова и охранялъ его отъ всякихъ отклоненій въ сторону, замѣняя ему Бѣгичева. Въ этотъ періодъ коренного перелома снова ожилъ старый планъ комедіи — сатиры на руководящія общественныя сферы. Еще въ 1816 г. набросано было нѣсколько сценъ изъ будущаго „Горе отъ ума“ — и начата обдѣлка всей пьесы; наброски не сохранились, но есть нѣсколько свѣдѣній объ этой второй редакціи. Роль Чацкаго не была еще выяснена, и имени герою не было дано; Репетилловъ не входилъ въ число дѣйствующихъ лицъ, замѣнъ чего были лиш-

нія лица, наприм. жена Фамусова, отъ характеристики которой осталось три, четыре мѣста въ окончательномъ текстѣ. Конечно, глубже и полнѣ схвачены были съ натуры характеры наиболѣе близкіе и доступные автору, — Алексѣй Ѳедоровичъ Грибоѣдовъ, его дочь Софья (въ общемъ схожая съ Софьей въ комедіи, хотя совершенно ошибочно мнѣніе, будто въ жизни автора было что-нибудь похожее на отношенія Софьи къ Чацкому). Сцены изъ комедіи, прочтенныя друзьямъ, были такъ удачны, что вызвали сочувствіе и одобреніе. Думается намъ, не одни только сатирическіе штрихи привлекли вниманіе; то особое *гражданское* настроеніе, которое охватывало Грибоѣдова, побуждало его сказать современному обществу нѣсколько суровыхъ истинъ. Къ этой цѣли не подходила, по его мнѣнію, обычная форма сценическаго произведенія, разбитаго на акты и явленія, съ неизбѣжными антрактами, ослабляющими впечатлѣніе. Онъ мечталъ одно время о какой-нибудь вполнѣ оригинальной формѣ; была ли это поэма или то, что принято называть комедіей для чтенія, въ точности неизвѣстно; вѣрно только то, что, по мнѣнію автора, „первоначальное начертаніе было гораздо великолѣпнѣе и высшаго значенія“, чѣмъ позднѣйшій „суетный нарядъ“, на который онъ рѣшился, подпавъ искушенію слышать свои стихи въ театрѣ.

Кровавая исторія, разыгравшаяся среди близкихъ знакомыхъ Александра Сергѣевича, — дуэль Шереметева съ Завадовскимъ изъ-за танцовщицы Истоминой, внезапно прервала ходъ развитія его писательства. Благодаря вмѣшательству секунданта Шереметева, извѣстнаго бреттера Якубовича, рѣшена была даже двойная дуэль, — между секундантами; смерть Шереметева, убитаго почти на поваль, не дала исполниться второму поединку, и Грибоѣдову, секунданту Завадовскаго, пришлось поплатиться позже, на Кавказѣ, за юношескую горячность. Лишь участію отца Шереметева всѣ содѣйствовавшіе дуэли были обязаны тѣмъ, что отдѣлались легко; Грибоѣдовъ не понесъ никакого наказанія. Но исторія огласилась и, по взгляду матери, ему неудобно было оставаться на глазахъ у большого свѣта. Послѣ долгой борьбы и колебаній при-

шлось уступить материнским настояніямъ, совѣтамъ Маза-ровича, повѣреннаго въ дѣлахъ въ Персіи, и милостивымъ уговорамъ министра,—и въ концѣ августа 1818 г. Грибоѣдовъ выѣхалъ изъ Петербурга въ дальнее персидское захоlustье, Тавризмъ, гдѣ въ качествѣ секретаря посольства ему приходилось извѣдать всѣ услады дипломатической службы на Восто-кѣ, въ то время равнявшейся ссылкой или заточенію въ монастырь.

„Вотъ годъ съ нѣсколькими днями, какъ я сѣлъ на лошадь, изъ Тифлиса пустился въ Иранъ, секретарь бродячей миссіи, писалъ потомъ Грибоѣдовъ Катенину.— Съ тѣхъ поръ не нахожу себя. Какъ это дѣлается? Человѣкъ по 70-ти верстъ скачетъ каждый день, и скачетъ по два мѣсяца сряду, подъ знойнымъ персидскимъ небомъ, по снѣгамъ на Кавказѣ, и промежутки отдохновенія недѣли двѣ, много три, на одномъ мѣстѣ. И этотъ человѣкъ будто я? Положимъ однако, что еще я не совсѣмъ съ ума сошелъ, различаю людей и пред-меты, между которыми движусь“... Но если съ неподдѣль-ною грустью покинулъ онъ отечество, друзей, любимую женщину, если эта тоска еще усилилась, когда онъ вполнѣ созналъ безвыходность своего положенія, и передъ нимъ потянулись долгіе мѣсяцы душевнаго одиночества на чужой сторонѣ, новый отдѣлъ его жизни не лишенъ былъ важнаго вліянія на его умъ и творчество. Онъ съ любопытствомъ сталъ приглядываться къ восточнымъ нравамъ, типамъ и по-рядкамъ, порою напоминавшимъ ему, при всемъ его сочув-ствіи къ русской старинѣ, древнерусскіе. Поѣздки по Пер-сіи привели его и къ развалинамъ героическаго прошлаго, и въ горныя и степныя захоlustья, сводили его съ поэта-ми, дервишами, придворными, владѣтельными князьками. Въ Тавризмъ ни русскіе сослуживцы, ни иностранные дипло-маты не могли понять его интересовъ; онъ ушелъ въ себя, занялся восточными языками, много читалъ и думалъ, и страст-ное желаніе писать овладѣло имъ. „Въ Петербургѣ, гдѣ всякій приглашалъ, поощрялъ меня писать, и много было охотниковъ до моей музыки, я молчалъ, а здѣсь, когда некому ничего и прочесть, потому что не знаютъ по-русски, я не

выпускаю изъ рукъ“, удивлялся онъ. И снова выдвинулась впередъ его давнишняя любимица, комедія. Отдаленіе отъ изображаемой среды, частое раздумье въ одиночествѣ, начинавшійся уже перевѣсъ серьезнаго, почти угрюмаго настроенія („веселость утрачена“, признается онъ въ одномъ письмѣ) должны были положить свою печать на характеръ сатиры. Издалека Грибоѣдовъ вѣрнѣе понималъ основныя черты оставленнаго имъ быта; изъ-за отрицательныхъ характеровъ, собранныхъ имъ въ комедіи, выступили важнѣйшіе вопросы русской жизни. Изъ Россіи приходили только вѣсти о новыхъ успѣхахъ реакціи. Взглядъ его становился мрачнѣе, сатира рѣзче. Его возмущалъ (какъ въ юношеской пьесѣ) контрастъ настоящаго съ прошедшимъ, въ которомъ ему грезились величіе и слава; онъ хочетъ выступить не только съ обличеніемъ, но и съ воззваніемъ къ обществу, заклинающимъ его остановиться на гибельномъ пути къ застою и безличности. Характеръ Чацкого, дотолѣ неясный, получаетъ вполне опредѣленную фizioномію; чѣмъ болѣе развивается благородный складъ воззрѣній Грибоѣдова, тѣмъ совершеннѣе становится художественное воспроизведеніе его въ Чацкомъ.

Чацкому суждено было стать предметомъ самыхъ разнообразныхъ комментаріевъ; его приурочивали къ невозможнымъ оригиналамъ; думали, наприм., что въ своемъ героѣ авторъ хотѣлъ изобразить близкаго друга, глубоко имъ цѣнимаго, Чаадаева (при этомъ даже видѣли въ первоначальномъ правописаніи имени *Чадскій* указаніе на это соотношеніе, упуская изъ виду, что всѣ дѣйствующія лица, по обычаю старой комедіи, прозвищами указываютъ на свой характеръ,—Репетилловъ повторяетъ чужое, Молчалинъ осторожно молчитъ, голова Чадскаго наполнена чадомъ либеральныхъ идей; къ тому же Чаадаевъ совсѣмъ не склоненъ былъ идеализировать русскую старину). Толковали также, что въ Чацкомъ изображенъ Катенинъ, съ которымъ герой „Горя отъ ума“ иногда дѣйствительно имѣетъ нѣкоторое сходство. Наконецъ, по появленіи отрывковъ изъ пьесы въ печати противники Грибоѣдова называли Чацкого копіей съ Демокрита

въ Виландовыхъ „Абдеритахъ“, хотя сходство не идетъ далѣе положенія обоихъ молодыхъ и образованныхъ людей, наученныхъ опытомъ и путешествіями, среди общества, которое они пытаются исправить и которое отшлачиваетъ, оглашая ихъ безумными *). Всѣ подобные комментаріи несостоятельны. Чацкій, по толкованію Пушкина, навсегда оставшемуся глубоко вѣрнымъ, — самъ Грибоѣдовъ, и если съ кѣмъ-нибудь сравнивать его изъ литературныхъ героевъ, то только съ прямодушнымъ Альцестомъ. Его рѣчей, его стремленій и понять нельзя безъ постоянного сличенія съ оригиналомъ. Грибоѣдовъ тутъ весь, съ своими убѣжденіями и симпатіями. Рѣзкая правда, высказываемая Чацкимъ въ глаза людямъ — отголосокъ безбоязненныхъ рѣчей автора. Грибоѣдовъ поэтому надѣлилъ Чацкаго и недостаткомъ благонамѣренной невождержности, не соображающей, къ какимъ промахамъ это можетъ повести. Письмо къ Катенину показываетъ, что авторъ смотрѣлъ на Чацкаго, какъ на характеръ цѣльный и послѣдовательный, а не какъ на автомата, при помощи котораго удобно обличать. Въ нападкахъ Чацкаго можно въ извѣстной степени уловить предвзятую систему, и она всецѣло свойственна Грибоѣдову. У обоихъ то же исканіе опоры въ прошедшемъ, но не съ тѣмъ, чтобъ повернуть жизнь назадъ, а съ тѣмъ, чтобы расшеве-

*) Въ числѣ пѣсень одного изъ даровитѣйшихъ трубадуровъ, Peire Cardinal, есть слѣдующая басенка. Въ одномъ городѣ прошелъ дождь совершенно особаго свойства: всѣ попавшіе подъ него поглупѣли; только одинъ человѣкъ, спавшій у себя въ дому во время дождя, сохранилъ здоровую голову. Онъ выходитъ и видитъ странное зрѣлище: всѣ обезумѣли; король съ властительнымъ видомъ ходитъ по улицѣ, думая, что великолѣпно одѣтъ, тогда какъ онъ совсѣмъ голый. Одни плюютъ въ небо, другіе кидаютъ въ прохожихъ камнями, третьи дико прыгаютъ и мечутся; слышны то смѣхъ, то слезы. Но людской муравейникъ встрепенулъ, почувавъ въ своей средѣ здороваго человѣка; всѣ вглядываются въ его лицо, считают его безумнымъ и гонятъ его ради общественного спокойствія, бьютъ его, бросаютъ на землю, топчутъ ногами; съ трудомъ удается ему укрыться въ свой домъ; онъ покрытъ грязью, измученъ, едва живъ. Вѣчно правдивый сюжетъ, разработывавшійся потомъ сатириками, социальнымъ романомъ и комедіей, былъ уже намѣченъ въ басенкѣ трубадура.

лить самосознаніе въ массѣ, отучить ее отъ слѣпой подражательности и униженія своей личности; это, разумѣется, свойственно было лиризму патріотовъ того времени, но это лиризмъ честный и не напускной. Обращеніе Чацкаго къ старинѣ нельзя истолковать въ узко-славянофильскомъ духѣ;— Грибоѣдовъ никогда славянофиломъ не былъ. Сколько въ его комедіяхъ горячихъ выходокъ противъ враговъ новой образованности, противъ аракчеевщины, противъ стѣсненій печати! То защищаетъ онъ гонимыхъ новаторовъ-профессоровъ, обвиняемыхъ въ расколахъ и безвѣрїи, то систему ланкастерскихъ школъ, обѣщавшую поднять народное образованіе и т. д. Невозможно серьезно отрицать, что Чацкій-Грибоѣдовъ сочувствовалъ просвѣтительнымъ стремленіямъ, которыя въ ту пору именно и неслись къ намъ съ Запада. Въ письмѣ къ кн. В. Одоевскому Грибоѣдовъ порицаетъ „людей, которые отъ души желаютъ, чтобъ отечество наше осталось въ вѣчномъ младенествѣ“; въ письмѣ, которымъ онъ намѣревался въ 1820 г. просить отставки, онъ проводитъ мысль, что чѣмъ просвѣщеннѣе человѣкъ, тѣмъ больше онъ можетъ принести пользы своему отечеству. — Чацкій возстае, правда, противъ нечистаго духа пустого, рабскаго, слѣпого подражанія, но возстае за то, что это не сознательное подражаніе, а поверхностное слѣдованіе модѣ. Добровольное отреченіе отъ своей національности его глубоко возмущало, и онъ заставляетъ своего героя пространствовать по всей Европѣ и притти къ заключенію, что тамъ лучше, гдѣ насъ, т.-е. русскихъ, нѣтъ. Болѣе разительнаго указанія на превосходство Запада, кажется, и ожидать нельзя.

Такова постоянная связь мыслей и стремленій Чацкаго, лучшаго выразителя надеждъ либерализма двадцатыхъ годовъ, со складомъ воззрѣній Грибоѣдова. Чацкій подвергается опаснымъ въ то время обвиненіямъ въ карбонаризмѣ, но „не терпитъ подлости“ и не можетъ молчать. Его удовлетворяло бы гармоническое соединеніе національнаго съ общечеловѣческимъ, дѣдовскаго съ современнымъ, а какъ это сдѣлать, онъ и самъ, быть можетъ, не смогъ бы указать въ

подробностяхъ. Онъ и не приписываетъ себѣ твердо обоснованной политической и соціальной системы; вѣдь онъ—одинъ изъ тѣхъ немногихъ новыхъ людей, у которыхъ найдется „пять - шесть мыслей здравыхъ“, заявляемыхъ ими во всеуслышаніе, чтобъ образумить большинство. Не могутъ они говорить хладнокровно; порою, въ пылу обличенія, скажутъ лишнее; Чацкій будетъ восхвалять „премудрое китайское незнанье иноземцевъ“ (но тогда зачѣмъ же высшее образованіе, народная школа, живая и свободная литература?), будетъ на зло смѣшнымъ фракамъ гг. N и D восхищаться древнерусскимъ охабнемъ (впрочемъ, въ одно слово съ прусскимъ патріотомъ фонъ-Штейномъ, спасшимся отъ Наполеона въ Петербургъ и удивлявшимся несоотвѣтствію между нашимъ климатомъ и русской новѣйшей одеждой); но все это сказано такъ же сгоряча, какъ и обѣщаніе „пойти въ огонь, какъ на обѣдъ“, если только велитъ Софья.

Не романтическая блажь заставляла Рылѣва возвращаться въ своихъ „Думахъ“ къ важнѣйшимъ эпизодамъ русской исторіи; не она побуждала общество „Соединенныхъ Славянъ“ искать на почвѣ славянства опоры для своего дѣла; не она создала знаменитыя въ свое время „Историческія пѣсни“ (Spiewy historyczne) Нѣмцевича, побудившія Рылѣва взяться за перо. Виѣстъ съ обоими поэтами и Грибоѣдовъ думалъ расшевелить соотечественниковъ, научить ихъ, посредствомъ указаній исторіи, трезвому, мужественному взгляду на жизнь, напомнить имъ, что они не дряблѣе, разобщенное, изолированное племя, а народъ, у котораго есть прошедшее, налагающее на него важныя обязанности.

Давно уже рвался Грибоѣдовъ изъ своей почетной ссылки на волю и всегда оживалъ, когда какое-нибудь дѣло заставляло его на время пріѣзжать въ Тифлисъ, гдѣ онъ снова видѣлъ образованныхъ людей и гдѣ его радушно встрѣчалъ Ермоловъ (вначалѣ сердившійся на него за дуэль, въ первый же проѣздъ черезъ Тифлисъ, съ Якубовичемъ), который научился цѣнить его по достоинству и былъ представителемъ его передъ правительствомъ. Особенно поразила его энер-

тія Грибоѣдова при возвращеніи изъ плѣна нашихъ солдатъ; это было храброе дѣло, подѣйствовавшее къ отличавшему Грибоѣдова спокойному мужеству. Во главѣ колонны изнуренныхъ плѣнниковъ и бѣглецовъ, не боясь нападеній, онъ велъ ее по Персіи до границы, прислушивался къ пѣснямъ, которыя загягивали путники, и еще сильнѣе тосковалъ по родинѣ. Наконецъ, когда въ концѣ 1821 года онъ былъ посланъ снова въ Тифлисъ для сообщенія о войнѣ, вспыхнувшей между Персіей и Турціей, онъ рѣшилъ не возвращаться болѣе въ Тавризмъ.

Ермоловъ, давно желавшій удержать его при себѣ, хлопоталъ передъ гр. Нессельроде о назначеніи Грибоѣдова секретаремъ по иностранной части при кавказскомъ главнокомандующемъ и кандидатомъ въ директоры школы восточныхъ языковъ, въ то время задуманной министерствомъ. Въ 1822 году Грибоѣдовъ уже переселился въ Тифлисъ.

Здѣсь жизнь его значительно измѣнилась къ лучшему: были люди, съ которыми можно было бесѣдовать о занимавшихъ его вопросахъ, было нѣсколько семейныхъ кружковъ, которые онъ охотно посѣщалъ и гдѣ впервые встрѣтилъ свою будущую жену, тогда еще прелестнаго ребенка. Наконецъ у него было фортепіано. Жилъ онъ скромно, въ двухъ небольшихъ комнатахъ, изъ которыхъ открывался чудный видъ на кавказскій хребетъ, бродилъ по городу, предпочитая особенно гору Св. Давида, у подошвы которой разстилался оригинальный полу-восточный городъ. На этой горѣ находится теперь его могила.

Въ Тифлисъ были окончены первые два акта „Горя отъ ума“, вчернѣ готовые еще въ Тавризмѣ. Но Грибоѣдовъ видѣлъ, что для окончанія комедіи, для тѣхъ дѣйствій, въ которыхъ должна обрисоваться среда, у него недостаетъ красокъ, что нѣсколько лѣтъ, проведенныхъ вдали, затуманили его воспоминанія о людяхъ и нравахъ сѣвера. Кавказская жизнь порою тяготила его; сквозь слезы шутилъ онъ въ позднѣйшемъ письмѣ къ Бѣгичеву, говоря, что „его замучаетъ борьба горной и лѣсной свободы съ барабаннымъ просвѣщеніемъ“, и обѣщалъ, что „мы будемъ вѣшать и про-

шать и плюемъ на исторію“. Теперь всѣ его помыслы обращены были къ задуманной имъ поѣздкѣ въ Москву и Петербургъ. Получивъ въ 1823 г. кратковременный отпускъ, онъ въ слѣдующемъ году снова выѣзжаетъ на сѣверъ и остается тамъ около двухъ лѣтъ. Наступаетъ самое блестящее время его жизни.

Повидавшись, послѣ долгой разлуки, съ Бѣгичевымъ, Александръ Сергѣевичъ прочелъ ему написанное изъ комедіи, при чемъ, какъ показалось другу, съ неудовольствіемъ выслушалъ замѣчанія относительно перваго акта. На другой день Бѣгичевъ засталъ его рано утромъ neodѣтаго, у печки, въ которую онъ бросалъ, листь за листомъ, первый актъ. „Я обдумалъ,— отвѣчалъ онъ изумленному Бѣгичеву:—ты вчера говорилъ мнѣ правду, но не безпокойся: все готово въ головѣ моей“. Дѣйствительно, черезъ недѣлю актъ былъ написанъ вновь. Москва возбуждающимъ образомъ дѣйствовала на сатирика; съ жаромъ принялся онъ за новыя наблюденія. Его не узнавали; прежде не любившій показываться въ шумныхъ собраніяхъ, онъ теперь сталъ присяжнымъ посѣтителемъ гостиныхъ, баловъ, пикниковъ. Материаловъ набиралось вдоволь; живыя краски, поражающія въ двухъ послѣднихъ актахъ, наложены именно въ это время непосредственныхъ наблюдений. Грибоѣдовъ по приѣздѣ на родину былъ вполне въ положеніи Чацкаго, который, вернувшись изъ странствія, признается, что „есть на землѣ такія превращенія правленій, климатовъ, и нравовъ, и умовъ“, что нынѣшніе „люди важные слыли за дураковъ“, что „въ послѣдніе годы всѣ стали умны хоть куда“.

Отставъ въ теченіе пяти лѣтъ отъ порядковъ сѣвера и помня тамъ сравнительно сносный духъ, который господствовалъ въ официальныхъ сферахъ и обществѣ, еще не забывшемъ обновляющихъ традицій, завѣщанныхъ ему наполеоновскимъ погромомъ,—онъ перенесенъ былъ точно въ переродившуюся среду. Реакція торжествовала; Магницкіе и Аракчеевы процвѣтали, а навстрѣчу имъ усиливалось броженіе. Относясь съ обычною суровостью къ первымъ, Грибоѣдовъ понялъ и слабыя стороны дѣла ихъ противни-

ковъ. Онъ былъ близокъ къ многимъ будущимъ дѣтелямъ переворота, — въ особенности же сблизился съ ними въ пребываніе въ Петербургѣ въ 1824—25 гг., не былъ вполне посвященъ въ дѣло, но „зналъ многое“ (настолько, что по свидѣтельству Завалишина, еслибъ не успѣлъ во время истребить своихъ бумагъ, ему бы не уцѣлѣть послѣ 14 дек.) и, по словамъ Бѣгичева, „сочувствовалъ желанію нѣкоторыхъ перемѣнъ“ (вспомнимъ у Чацкого „связь съ министрами и потому разрывъ“). Нигдѣ поэтому не встрѣтимъ нападокъ на главныя личности союза, за то вся роль Репетилова насыщена колкими остротами насчетъ хористовъ движенія, въ которыхъ онъ чувалъ неподготовленность, поверхностность и въ своемъ родѣ слѣдованіе модѣ, скуки ради. Впослѣдствіи однако этимъ острымъ выходкамъ довелось сослужить автору великую службу: онъ сняли съ него подозрѣніе въ солидарности съ движеніемъ.

Когда Грибоѣдовъ почувствовалъ, что идея вполне созрѣла и пора творчества настала для него, онъ поспѣшилъ удалиться; послѣдніе акты написаны въ деревнѣ, именно въ имѣніи Бѣгичева, с. Дмитріевскомъ, Тульской губ., Ефремовскаго уѣзда, куда Грибоѣдовъ въ концѣ мая или началѣ іюня 1824 г. пріѣхалъ вслѣдъ за своимъ другомъ. Здѣсь онъ уединялся для работы въ садовую бесѣдку; вставалъ рано, днемъ сходилъ съ домашними только во время обѣда, зато вечеромъ читалъ имъ написанное въ тотъ день. Онъ сжилъ съ своими героями, ясно видѣлъ ихъ передъ собой, и давалъ волю кисти. Но, какъ показываетъ сличеніе списковъ комедій, онъ чрезвычайно тщательно, съ чисто пушкинскою добросовѣстностью работалъ надъ своимъ слогомъ, десятки разъ мѣняя фразу, пока она не удовлетворяла вполне его требованіямъ. Стиху: „а надъ собой гроза не бесполезна“ предшествовали стихи „а строгость къ самому себѣ не бесполезна“, и „поправка вамъ не бесполезна“ и т. д. Иначе и невозможно было бы перейти отъ водевильнаго слога его прежнихъ драматическихъ бездѣлокъ къ гибкому и живому діалогу его комедій, возмущившему своей непринужденностью и часто неправильностью пуристовъ.

Грибоѣдовъ вначалѣ какъ будто не намѣренъ былъ подѣлиться ни съ кѣмъ своимъ произведеніемъ, которое все еще не назначалъ для сцены. Случай рѣшилъ иначе. Одинъ изъ знакомыхъ его сестры, гр. Вьельгорскій, страстный собиратель и распространитель новостей, нашелъ на ея фортепіано отдѣльные листки комедіи, изумился смѣлымъ выходкамъ противъ Москвы, вымолилъ себѣ остальную рукопись, и потомъ такъ усердно всюду говорилъ о ней, что вскорѣ весь городъ зналъ о пьесѣ. Поднялись толки, восторги и злобный ропотъ. Многіе поспѣшили узнать себя или своихъ, другіе вступились за честь порядочнаго общества, Москвы, русскаго имени, за нравственность. Одни возбуждали къ дуэли „американца Толстаго“, котораго всѣ узнали въ „ночномъ разбойникѣ, вернувшемся изъ Камчатки алеутомъ“, а директоръ театровъ Кокошкинъ представлялъ главнокомандующему кн. Д. В. Голицыну (правда, безуспѣшно) что „Горе отъ ума“—пасквиль на Москву, который слѣдуетъ немедленно запретить. Агитація имѣла агентовъ и въ Петербургѣ, выдвигавшихъ соображенія высшей политики, предрекая недовольство всего дворянскаго сословія и т. д. Въ виду такого сильнаго впечатлѣнія, Грибоѣдовъ могъ легко подпасть искушенію увидеть комедію на сценѣ и открыто выступить съ своею сатирой. Восторженные крики придали ему рѣшимости. Онъ поспѣшилъ въ Петербургъ и еще лѣтомъ 1824 г. принялся за хлопоты о принятіи комедіи на сцену. Но тутъ ожидала его новая работа. Необходимы были коренныя перемѣны изъ-за цензурныхъ соображеній, ослабленіе самыхъ удачныхъ, но рѣзкихъ мѣстъ. Это было настоящею мукой для автора. „Надѣюсь, жду, урѣзываю, мѣняю дѣло на вздоръ,—пишетъ онъ Бѣгичеву,—такъ что во многихъ мѣстахъ моей драматической картины яркія краски совсѣмъ... сержусь и восстанавливаю стертое, такъ что, кажется, работѣ конца не будетъ; но будетъ же, добьюсь до чего-нибудь“. Начатый поневолѣ пересмотръ комедіи повлекъ за собой не однѣ только передѣлки цензурнаго характера. Нѣкоторые стихи, по его мнѣнію неподѣланные, принимаютъ окончательный видъ; такимъ образомъ перемѣне-

но восемьдесят стиховъ, пока „сдѣлалось гладко, какъ стекло“. Разговоры, казавшіеся растянутыми, сжаты; на дорогѣ въ Петербургъ, въ почтовомъ экипажѣ, придумана вновь сцена заигрыванья Молчалина съ Лизой, кажущаяся намъ теперь неотъемлемой частью художественнаго цѣлаго, съ которымъ вмѣстѣ должна была бы зародиться.

Но, при дружномъ натискѣ встревоженного барства и разобиженной старой литературной клики *), нельзя удивляться, что старанія о принятіи пьесы на сцену, поддержанныя многими вліятельными людьми, въ томъ числѣ Паскевичемъ, остались безуспѣшными. Грибоѣдовъ долго надѣялся на успѣхъ, на талантливую Дюрову рассчитывалъ, какъ на прекрасную исполнительницу роли Софьи, Сосницкому и Щепкину давалъ совѣты относительно Репетилова и Фамусова. Но пришлось убѣдиться въ тщетности надеждъ, тѣмъ болѣе несомнѣнной, что даже устроенное-было тайкомъ учениками театральной школы представленіе „Горя

*) О неумѣренномъ ея раздраженіи свидѣтельствуетъ, наприм., ходившая тогда по рукамъ эпиграмма:

Не говори, что дважды два—четыре,
Я „Горе отъ ума“ тебѣ при семь пришло;
Четыре акта въ немъ, и ровно всѣ четыре
Равны не дважды двумъ, а одному нулю.

Водевилъ Писаревъ, талантъ котораго признавалъ и Грибоѣдовъ, выступилъ также противъ „Г. отъ ума“, побуждаемый, кажется, привычкой остроумничать во что бы то ни стало. Въ пародіи на „Пѣвца въ станѣ рус. воиновъ“ (Пѣвецъ на бивакахъ у подошвы Парнасса, перепеч. въ „Библиограф. Запискахъ“ 1859, № 20) сюда относятся слѣдующе мѣсто:

Давно ли „Горе отъ ума“
Всѣхъ умныхъ огорчило?
Въ немъ мало смыслу, мыслей тьма
И писано премило,
Хоть Чацкій годенъ въ желтый домъ,
Хоть въ немъ съ французскимъ языкомъ
Нижегородскій смѣшанъ.
Никто объ немъ не думалъ знать,
Никто объ немъ не слышалъ,
Но, чтобъ комедію читать,
Поэтъ въ отставку вышелъ.

отъ ума“ (репетиціями руководилъ самъ авторъ) было разстроено по приказанію генераль-губернатора Милорадовича, имѣвшаго свои счеты съ Грибоѣдовымъ. Эти неудачи сильно огорчили Александра Сергѣевича; онъ приунылъ и возвратившаяся къ нему веселость прежнихъ лѣтъ стала увядать. Помѣщеніе нѣсколькихъ отрывковъ изъ комедіи въ „Русской Таліи“ Булгарина, да любительскій спектакль въ Эривани въ 1827 г.,—офицеры разыграли „Горе отъ ума“ въ прежнемъ дворцѣ персидскихъ сердарей, — вотъ все, что послано ему было судьбой для всенароднаго оглашенія его комедіи.

Враги литературные стали смѣлѣе. Многіе представители старшаго поколѣнія нападали на пьесу съ теоретической точки зрѣнія, и во главѣ ихъ Карамзинъ; когда въ „Таліи“ явились первые отрывки, и статьи „Московского Телеграфа“ и „Сына Отечества“ проникнуты были искреннимъ удивленіемъ таланту автора, въ „Вѣстн. Европы“ явились грубыя нападки, особенно привязчивыя рецензіи М. Дмитріева, ратовавшаго повидимому всего болѣе противъ поправанія приличій и оскорбленія свѣтскаго общества, къ которому онъ самъ себя приписывалъ. Грибоѣдовъ не принималъ участія въ борьбѣ, называя ее ребяческой, школьной, удерживая отъ нея и друзей; застрѣльщиками грибоѣдовскаго лагеря являлись по собственному влеченію начинающіе писатели, кн. В. Одоевскій, Сомовъ и др. Грибоѣдову были еще тягостнѣе униженныя и корыстныя хвалы, которыми въ виду его успѣховъ осыпали его нѣкоторые изъ всегдашнихъ завистниковъ и противниковъ. Письма за это время дышатъ негодованіемъ на эту притворную лесть, въ особенности со стороны московскихъ литераторовъ.

Пребываніе Грибоѣдова въ Петербургѣ, вызванное послѣдними работами надъ „Горемъ отъ ума“, отразилось вообще на оживленіи его литературной дѣятельности. Прежнія связи съ представителями партіи дѣйствія скрѣпились и расширились; эти люди не говорили ему *всего*, заявивъ на слѣдствіи, что „берегли талантъ человѣка, который можетъ прославить Россію, и находили, что его слѣдуетъ

уберечь отъ всякихъ невзгодъ и случайностей“. Развивается его стихотворная дѣятельность, въ которой видимо идетъ борьба между отголосками торжественной риторичности, къ которой онъ привыкъ какъ лирикъ, склонностью къ славянизмамъ и запутанному философствованію, и тѣмъ живымъ, искреннимъ тономъ, который и въ лирическихъ его вещахъ сблизилъ бы его слогъ съ безподобнымъ сценическимъ діалогомъ. Переводъ одного изъ прологовъ къ „Фаусту“ еще тяжелъ и далеко отстаетъ отъ духа подлинника, но шесть уцѣлѣвшихъ первыхъ стиховъ изъ стихотворенія „Домовой“ (на какой-то сюжетъ изъ народныхъ сказокъ) звучатъ уже своеобразно, совсѣмъ въ сказочномъ тонѣ, а въ „Хищникахъ на Чегемѣ“ (доконченныхъ на Кавказѣ) есть удалъ, и быстрый темпъ подходитъ къ содержанію, взятому изъ борьбы черкесовъ за свою волю.

Долгая жизнь на сѣверѣ сдѣлалась возможной для Грибоѣдова лишь оттого, что онъ почему-то не воспользовался даннымъ ему отпускомъ за границу. Наконецъ срокъ отпуска истекъ, и необходимо было возвращаться въ Грузію; на этотъ разъ Грибоѣдовъ придумалъ новый путь, объѣздомъ, черезъ мѣста, которыя давно порывался посѣтить. Въ іюнѣ 1825 г. онъ былъ уже въ Кіевѣ и затѣмъ все лѣто странствовалъ по южному берегу Крыма. Онъ видимо искалъ новыхъ вдохновеній, но по временамъ испытывалъ томительное чувство ослабленія фантазіи. „Не знаю, не слишкомъ ли я отъ себя требую?—пишетъ онъ изъ Симферополя;—умѣю ли писать? Право, это для меня все еще загадка. Что у меня съ избыткомъ найдется что сказать, за это ручаюсь; отчего же я нѣмъ?“ Онъ обѣщалъ петербургскимъ друзьямъ сообщить имъ путевыя впечатлѣнія, но и этого не исполнилъ, хотя краткій его дневникъ за это время полонъ замѣтокъ, выписокъ и справокъ научнаго характера, на что его вызывала кіевская старина, генуэзскія, греческія и татарскія древности Крыма. Это было переживаніе вкусовъ его молодости, отнынѣ усиливавшихся до самой его смерти. Автора великой комедіи трудно узнать въ этомъ усердномъ изслѣдователѣ. Ледяная кора

понежному покрывала горячій темпераментъ и искреннюю веселость.

Когда наконецъ пришлось разстаться съ жизнью туриста и направиться въ главную квартиру кавказскаго корпуса, Грибоѣдовъ настигъ Ермолова въ Екатериноградской станицѣ. Здѣсь ему пришлось узнать о событіяхъ 14 декабря. Вскорѣ очередь быть привлеченнымъ къ обширному слѣдствию дошла до него. Къ Ермолову былъ присланъ фельдъ-егерь съ приказаніемъ арестовать Грибоѣдова, захватить его бумаги и выслать его въ Петербургъ. Ермоловъ на вечеринкѣ у одного изъ штабныхъ офицеровъ шепнулъ Грибоѣдову о грозящей ему опасности, затѣмъ исполнилъ формальность, донеся военному министру, что „взялъ Грибоѣдова такъ, что онъ не успѣлъ истребить своихъ бумагъ“, что онъ посылаетъ все найденное, пришлетъ и больше, если что найдется (часть бумагъ была въ кр. Грозной), но при этомъ замолвилъ слово за него, восхваляя его служебныя способности. Грибоѣдовъ, понесшійся снова на сѣверъ съ своимъ невольнымъ спутникомъ, умѣлъ приручить его, сказавъ, что если онъ хочетъ довести его живого, такъ пусть дѣлаетъ, что угодно арестанту. Онъ шутилъ и смѣялся надъ нимъ, возвелъ его въ званіе испанскаго гранда донъ Лыско Плѣшивосъ ди Париченца; въ Москвѣ онъ промелькнулъ, не повидавшись съ матерью, которая при первомъ же извѣстіи о его задержаніи разразилась укорами въ вольнодумствѣ. По приѣздѣ въ Петербургъ Грибоѣдова посадили въ особомъ помѣщеніи при главномъ штабѣ, откуда водили для допросовъ въ крѣпость. Сохранившіяся записочки къ друзьямъ живо выражаютъ его настроеніе, становившееся все раздражительнѣе. Онъ „погибалъ отъ скуки и невинности“, тосковалъ, ссорился съ надсмотрщиками. Своей участи онъ не страшился, подъ арестомъ читалъ „Чайльдъ-Гарольда“ и Пушкина, на допросахъ готовъ былъ заявить, что зналъ обо всемъ и знакомъ былъ съ замѣшанными въ дѣло лицами. Но у него были сторонники между слѣдователями и тюремнымъ начальствомъ. Наконецъ, по разсказу Бѣгичева,

„одно очень вліятельное лицо“, подойдя къ Грибоѣдову въ то время, когда онъ писалъ отвѣтъ на вопросные пункты, сказало ему: „Что вы дѣлаете! Пишите: знать не знаю, вѣдать не вѣдаю“. Грибоѣдовъ такъ и сдѣлалъ. Его участь улучшилась и потому, что Репетиловскія выходки по поводу „секретнѣйшаго союза князь-Григорія“ были выставлены доказательствомъ насмѣшливаго отношенія къ заговорщикамъ. Все же Грибоѣдовъ провелъ въ заключеніи четыре мѣсяца, и его эпиграмма:

По духу времени и вкусу
Я ненавижу слово рабъ...
Меня и взяли въ главный штабъ
И потянули къ Іисусу

навсегда сохранила память о его негодующемъ настроеніи. Наконецъ въ іюнѣ 1826 г. его освободили и даже дали ему слѣдующій чинъ. Лѣтъ онъ провелъ на уединенной дачѣ, бродя по морскому берегу, взбираясь на холмы и ища среди природы забвенія недавнихъ ощущеній. Ему не хотѣлось возвращаться на Кавказъ; удаленіе отъ всѣхъ дѣлъ, кабинетная жизнь манили его къ себѣ. Горе о погибшихъ товарищахъ томило его. Честолюбіе матери, рѣшившей, что послѣ недавнихъ подозрѣній необходимо полное возстановленіе служебной чести, все измѣнило; она придумала воспользоваться предстоявшей замѣной Ермолова новымъ родственникомъ ея Паскевичемъ, составила планъ возвышенія сына, въ Москвѣ передъ иконой Иверской взяла съ него обѣщаніе исполнить то, о чемъ она его попросить, — и затѣмъ сообщила о своемъ планѣ. Грибоѣдовъ, связанный обѣщаніемъ и доводившій сыновнюю преданность до крайности, не рѣшился отклонить предложеніе, тягостное уже потому, что оно какъ бы навязывало ему враждебность къ Ермолову, которому онъ такъ много былъ обязанъ.

Скоро однако ненормальное его положеніе среди двухъ ссорящихся генераловъ прекратилось, Паскевичъ сталъ нераздѣльнымъ властителемъ края, поспѣшилъ на мѣсто

военныхъ дѣйствій, Грибоѣдовъ послѣдовалъ за нимъ перенесъ всѣ тягости Персидской войны, участвовалъ во всѣхъ важнѣйшихъ битвахъ, поражая неустрашимостью даже бывалыхъ воиновъ. Замѣтивъ однажды въ себѣ волненіе, когда рядомъ съ нимъ упалъ раненый ядромъ офицеръ, онъ съ рѣдкимъ фатализмомъ сталъ приучать себя къ опасности, и, назначивъ себѣ впередъ извѣстное число выстрѣловъ, развѣзжалъ спокойно въ открытыхъ мѣстахъ, считая выстрѣлы. Присутствіе его при войскахъ было очень полезно, благодаря его знанію жизни и людей въ Персіи. Когда, разбитый на голову подъ Нахичеванью, Аббасъ-мирза просилъ о мирѣ, Грибоѣдовъ былъ посланъ въ персидскій лагерь для переговоровъ, которые мѣтко охарактеризовалъ въ своемъ донесеніи, предсказывая возобновленіе военныхъ дѣйствій. Его совѣты были своевременны; мѣры предосторожности отразили новое нападеніе и ускорили развязку. Въ ней Грибоѣдовъ снова игралъ важную роль. Онъ былъ главнымъ дѣятелемъ при заключеніи Туркманчайскаго договора, присоединившаго къ Россіи Эриванскую область и наложившаго на Персію большую контрибуцію. Паскевичъ выбралъ его поэтому въ вѣстники мира и отправилъ въ Петербургъ съ донесеніемъ.

Въ 1828 г. Грибоѣдову пришлось въ послѣдній разъ быть на сѣверѣ. Жилъ онъ тутъ не долго; появленіе его въ столицѣ казалось ему прелюдіей къ совершенному удаленію въ частную жизнь. „Все, чѣмъ я до сихъ поръ занимался,— пишетъ онъ Бѣгичеву,— для меня дѣла постороннія. Призваніе мое—кабинетная жизнь. Голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать“. Это было словно предвѣстіе возрожденія послѣ подавляющей грусти предшествующихъ трехъ лѣтъ. Правда, только ближе знавшіе его догадывались, что творилось подъ сдержанной, дѣловой внѣшностью, которую онъ усвоилъ себѣ, какъ онъ жалѣлъ о своихъ несчастныхъ товарищахъ, какъ осиротѣлъ безъ нихъ; только немногіе, взглянувъ „на его холодный ликъ“, видѣли на немъ „слѣды былыхъ страстей“ и вспоминали (какъ это сдѣлалъ Баратынскій въ прекрасномъ стихотво-

реніи къ портрету Грибоѣдова), что такъ иногда замерзаетъ бушевавшій прежде водопадъ, сохраняя и въ оледенѣломъ состояніи „движенія видъ“. Теперь снова проснулось въ немъ стремленіе къ творчеству, и въ его бумагахъ была уже черновая рукопись „Грузинской ночи“, этой неожиданной попытки вторгнуться въ область шекспировской трагедіи, съ романтическимъ аппаратомъ колдовства и горныхъ духовъ, взятымъ изъ кавказскаго folk-lore'a, и съ бытовымъ фономъ крѣпостничества и рабства. Не знаемъ, правъ ли Гречъ, говоря, что Грибоѣдовъ только попробовалъ свое перо на „Горѣ отъ ума“; дошедшихъ до насъ двухъ сценъ и бѣлаго очерка содержанія слишкомъ недостаточно, для того, чтобы составить себѣ точное понятіе о дарованіяхъ Грибоѣдова, какъ трагика, но сильно проведенные штрихи въ характерахъ стараго самодура князя и такой же непреклонной и мстительной кормилицы, и таинственный колоритъ сцены съ горными духами указываютъ, что поэтъ вступалъ въ новый періодъ творчества, единственно возможный для него съ тѣхъ поръ, какъ веселость отъ него отлетѣла, далеко оставилъ позади прежнія попытки въ патетическомъ родѣ, высвободился изъ-подъ власти славынизмовъ, неизбѣжныхъ у него прежде въ подобныхъ случаяхъ, и вырабатывалъ себѣ легкость и образность слога, предвѣщающую пушкинскую „Русалку“. Но если не суждено было ему окончить свою пьесу, пришлось поставить на сценѣ жизни небывалую трагикомедію съ кровавой развязкой. Возобновленіе дипломатическихъ сношеній съ Персіей послѣ войны напомнило высшимъ сферамъ, что въ знаніи персидскихъ порядковъ, отношеній и дѣйствующихъ лицъ никто не можетъ сравниться съ такимъ старожиломъ Востока, какъ Грибоѣдовъ. Его горячее, страстно проведенное объясненіе съ министромъ по дѣлу о назначеніи посла въ Тегеранъ, полное общихъ соображеній, было сочтено намекомъ и полупросьбой, и черезъ нѣсколько дней онъ неожиданно узналъ, что посломъ назначенъ именно онъ. Отказываться было поздно,—роковая сила, цѣпко захвативъ его, направляла его на вѣрную смерть. Мысль о

ней не покидала его отнынѣ. Проводы, устроенные ему друзьями, походили на похороны; два друга, проводившіе его далѣе другихъ, до Царскаго Села, во всю дорогу не могли произнести ни слова. До завтрака никто не дотронулся, вина никто не пилъ, разстались молча. Слишкомъ хорошо зналъ онъ мстительность персіянъ, чтобы тѣшить себя какими-нибудь иллюзіями. Онъ бѣжалъ на тяжелую, быть можетъ непосильную, службу, но долгъ требовалъ этого, и онъ скрѣпя сердце двинулся на-встрѣчу опасности.

Въ эту нерадостную пору, точно цвѣтокъ у гробового входа, распустилось и зацвѣло его счастье, единственное полное счастье, извѣданное имъ во всю жизнь и освѣтившее радостнымъ свѣтомъ немногіе дни, остававшіеся этому измученному человѣку. Прелестный романтическій эпизодъ прерываетъ собой цѣпь неудачъ, разочарованій и горя, и подъ его обаяніемъ раскрывается въ Грибоѣдовѣ совсѣмъ новая, негаданная сторона. Его письма за эту пору къ друзьямъ и потомъ къ молодой женѣ *) дышатъ радостью, блаженствомъ, поэзією. Такъ онъ никогда не говорилъ о любви и не изображалъ ея. Самый рассказъ его о внезапномъ рѣшеніи предложить руку свою такому граціозному ребенку, только-что вступавшему въ жизнь, какъ Нина Чавчавадзе, могъ бы украсить собой циклъ всесвѣтно извѣстныхъ рассказовъ о молніеносныхъ проявленіяхъ любви. Прерывистымъ слогомъ, въ которомъ такъ и слышится полнота захватившаго его чувства, передаетъ онъ всѣ быстро смѣнявшіяся ощущенія и у него и у молодой дѣвушки, слезы и смѣхъ, волненіе и безумную радость. Когда послѣ отлучки изъ Тифлиса въ дѣйствующую армію онъ вернулся изнуренный лихорадкой, и невѣста все время ходила за больнымъ, онъ полюбилъ ее еще

*) Въ новѣйшемъ собраніи сочиненій Г., изд. И. А. Шляпкинымъ, 1889 г. (наиболѣе полною по сю пору; критическія замѣчанія о немъ см. въ моемъ разборѣ этого изданія въ Присужденіяхъ Пушкинской преміи. Спб., 1890) нѣ первый разъ напечатано преисполненное вѣжности письмо Г. къ женѣ изъ Казбины, — послѣднее, извѣстное намъ обращеніе его къ ней.

сильнѣе, какъ ангела-хранителя. Только-что стало ему легче, онъ поспѣшилъ свадьбой, но и подъ вѣнцомъ его посѣтилъ неотвязный пароксизмъ.

Новая жизнь начиналась; ничто не страшило болѣе, все казалось исполнимымъ. Меланхолія исчезла. Тяжелый путь въ Персію въ сопровожденіи громаднaго каравана казался ему занимательнымъ, житѣе въ Тегеранѣ окрашивалось радостнымъ свѣтомъ, потому что тамъ онъ будетъ съ своей „женушкой“. Въ ней для него все; „вечеромъ я уединяюсь въ свой гаремъ,—пишетъ онъ съ дороги,—тамъ у меня и сестра, и жена, и дочь, все въ одномъ миломъ личикѣ... Полюбите мою Ниночку. Хотите ее знать? Въ Malmaison, въ эрмитажѣ, тотчасъ при входѣ, направо, есть мадонна въ видѣ пастушки Murillo,—вотъ она!“

Въ своемъ путешествіи, которое онъ намѣренно обставилъ особымъ блескомъ, вызывая шумныя встрѣчи и церемоніи, Грибоѣдовъ достигнулъ наконецъ Тавриза, оставилъ тамъ жену, сказавъ, что по дѣламъ долженъ отправиться на время въ Тегеранъ, устроить тамъ свое жилище, и скоро вернется за нею. Онъ дѣйствительно скоро вернулся, только мертвый.

Долгое общеніе съ персіянами сложило у него полу-презрительное отношеніе къ нимъ. Онъ порицалъ Ермолова за то, что тотъ „уважаетъ непріятеля, который того не стоитъ“. Этотъ взглядъ удержалъ онъ и тогда, когда персидскій народъ пересталъ быть „непріятелемъ“, когда инструкции совѣтовали посланнику озаботиться оживленіемъ международных сношеній и торговли. Личныя антипатіи тоже играли свою роль при установленіи отношеній Грибоѣдова къ важнѣйшимъ придворнымъ и самому шаху. Принятое имъ положеніе было твердое, но вмѣстѣ съ тѣмъ вызывающее и ломавшее иногда безъ раздумья восточныя обычаи и приличія. Поводовъ къ столкновеніямъ было не мало. Настойчивое напоминаніе о контрибуціи, требованіе выдачи русскихъ плѣнныхъ раздражали. На аудіенціяхъ у шаха Грибоѣдовъ не разъ нарушалъ восточный этикетъ; разгнѣванный шахъ однажды быстро прервалъ приѣмъ и уда-

лился. Зять его Ала-Яръ-ханъ, личный врагъ посла, возбуждалъ противъ него шаха. Служебныя лица русской миссіи, особенно Дадашъ-бекъ и Рустемъ-бекъ, нанятые еще на Кавказѣ, вели въ Персіи буйную жизнь, заводили интриги и ссоры, вызывая часто противъ себя вооруженныя нападенія толпы, и держались только тѣмъ, что сообщали Грибоѣдову о томъ, что дѣлалось въ разныхъ слояхъ тегеранскаго общества. Въ посольство стали являться недовольные и перебѣжчики, прежде всего главный евнухъ, армянинъ Мирза Якубъ, просившій помочь ему вернуться въ Россію, затѣмъ двѣ русскія подданныя, армянка и нѣмка изъ тифлисскихъ колоній, тоже, кажется, убѣжавшія изъ гарема. Въ лицѣ Якуба ненавистный персіянамъ русскій посолъ приобрѣталъ важнаго отгадчика тайнъ шахскаго двора; понятво, что его не желали выпустить изъ Персіи, вносили на него тяжкія преступленія и, ссорясь съ Грибоѣдовымъ изъ-за настойчиваго выгораживанія мнимаго преступника, переходили уже къ лютой ненависти. Грибоѣдовъ зналъ, что его не любятъ, быть можетъ почуялъ надвигавшуюся опасность, но́ былъ далекъ отъ мысли о народномъ возмущеніи. Въ свободныя минуты онъ думалъ о своей женушкѣ, вспоминалъ, какъ они полюбили другъ друга, какъ были счастливы, тосковалъ о разлукѣ и писалъ письма вродѣ того (последняго), что послалъ Нинѣ въ сочельникъ 1828 г. изъ Казбина: „Безцѣнный другъ мой,—говорилъ онъ тогда,—жаль мнѣ тебя, грустно безъ тебя, какъ нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значить любить. Прежде разставался со многими, къ которымъ тоже крѣпко былъ привязанъ, но день, два, недѣля, и тоска исчезала, теперь чѣмъ далѣе отъ тебя, тѣмъ хуже. Потерпимъ еще нѣсколько, Ангелъ мой, и будемъ молиться Богу, чтобы намъ послѣ того никогда болѣе не разлучаться“. „Помнишь, другъ мой неоцѣненный, какъ я за тебя сватался, безъ посредниковъ, тутъ не было третьяго. Помнишь, какъ я тебя въ первый разъ поцѣловалъ, скоро и искренно мы съ тобой сошлись, и на вѣки. Помнишь первый вечеръ, какъ маменька твоя и бабушка, и Прасковья Николаевна сидѣли

на крыльцѣ, а мы съ тобой въ глубинѣ окошка, какъ я тебя прижималъ, а ты, душка, раскраснѣлась, я училъ тебя, какъ надобно цѣловаться крѣпче и крѣпче. А какъ я потомъ воротился изъ лагеря, заболѣлъ и ты у меня бывала“!.. *). Въ это время уже собиралась гроза. Ее поддерживали духовныя лица, на базарахъ проповѣдывавшія мечь русскимъ, какъ врагамъ религіи. Зачинщикомъ возстанія былъ Месихъ, глава тегеранскаго духовенства, пособниками улемы. Вѣроятно, хотѣли скорѣе напугать, нанести уронъ, но не вызывать рѣзни. Когда же народу собралось въ роковой день, 30 января 1829 г., [около ста тысячъ, и подъ вліяніемъ фанатической проповѣди толпа бросилась къ посольскому дому, руководители заговора потеряли власть надъ стихійною силой.

Вокругъ всѣ крыши были заняты собравшимся народомъ, который зналъ, что готовится любопытное зрѣлище. Персидскій караулъ при домѣ былъ смятъ; казаки, весьма малочисленные, пробовали бороться и долго отстрѣливались. Но толпа росла, а число осажденныхъ убывало. Грибоѣдовъ, всегда безбоязненный, явился во главѣ ихъ съ саблей въ рукѣ, но скоро былъ узнанъ и варварски умерщвленъ. Все, что было въ посольствѣ, было разграблено; передъ входомъ лежала куча труповъ. Когда показались посланные отъ шаха, потребовавшіе удаленія толпы, все уже было кончено. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, запряженная волами грузинская арба, поскрипывая колесами, ввозила въ русскіе предѣлы тѣло несчастнаго великаго человѣка.

Глубоко задумался встрѣтившій на перекресткѣ горной дороги скромное погребальное шествіе всадникъ, Пушкинъ, вспомнилъ общую ихъ молодость, надежды и мечты, позднѣйшую участь, — и позавидовалъ старому товарищу. „Самая смерть, постигшая его среди смѣлаго, неравнаго боя,

*) Полное собр. сочин. Грибоѣдова подъ ред. И. А. Шляпкина, 1889, томъ I, стр. 333 (напечатано въ перв. разѣ).

**) Наиболее полныя свѣдѣнія о тегеранской трагедіи сообщены въ послѣднее время въ статьѣ г. А. Мальшинскаго „Подлинное дѣло о смерти Грибоѣдова“, Русск. Вѣстникъ, 1890, VI, VII.

не имѣла для него ничего ужаснаго, ничего томительнаго. Она была мгновенна и прекрасна“ *).

Всѣ лучшіе помыслы и творческое дарованіе Грибоѣдова выразились въ одномъ произведеніи, являющемся для насъ какъ бы итогомъ его существованія, завѣтомъ потомству. Оживающій изъ множества его заявленій, писемъ, поступковъ, изъ его отношеній къ людямъ, къ отечеству, его старинѣ и будущему развитію, нравственный обликъ его, сливаясь съ честною ролью обличителя, заступника за просвѣщеніе и народную совѣсть, окружають Грибоѣдова ореоломъ рѣдкаго благородства. Счастливы народъ, изъ среды котораго выходятъ такіе люди. Счастлива литература, въ которой могъ раздаться такой мужественный протестъ противъ зла. Сила его вліянія никогда не ослабѣетъ, и, по выраженію Гончарова, каждое дѣло, требующее обновленія, будетъ вызывать тѣнь Чацкаго. Вліяніе это основывается на вѣчно понятномъ заступничествѣ за дорогіе людямъ идеалы и не зависитъ отъ временныхъ условій быта, какъ бы остроумно они ни были осмѣяны. Для современной, упавшей духомъ литературы неоцѣнимымъ благомъ была бы рѣшимость писателя „съ душой“ выступить съ новымъ переложеніемъ вѣчной темы о „горѣ отъ ума“, столь же страстнымъ и искреннимъ, хотя и обращеннымъ къ новому обществу и къ порочнымъ на новый ладъ людямъ.

Въ этомъ пожеланіи заключается, кажется, высшая похвала, которую потомокъ можетъ воздать Грибоѣдову.

*) Путешествіе въ Арарумъ, глава вторая.

ТРИ ПУТЕШЕСТВІЯ.

Весенній вечеръ. Щеголеватый екатерининскій Петербургъ уже засыпаетъ; только въ богатыхъ палатахъ, да въ веселыхъ пріютахъ гвардейской молодежи еще видны огни. Невзрачная кибитка стоитъ у крыльца какого-то скромнаго дома, гдѣ засидѣлась за прощальнымъ ужиномъ кучка друзей. Наконецъ, отъѣзжающій выходитъ на крыльцо; нѣсколько сердечныхъ рукопожатій, двѣ-три невеселыя мысли о разлукѣ и одиночествѣ, промелькнувшія въ головѣ,—и вотъ ужъ онъ „лежитъ“ въ кибиткѣ; ямщикъ свистнулъ, лошади дружно подхватили; черезъ нѣсколько мгновеній городъ остался далеко позади, и пошли безконечныя поля. Однообразно позвякиваетъ колокольчикъ, извозчикъ затянулъ заунывную пѣсню,—сквозь неодолимую дремоту путникъ слышитъ эту тоскливую мелодію. Отчего же во всѣхъ пѣсняхъ нашихъ „есть нѣчто скорбь душевную означающее?“—спрашиваетъ онъ себя, и ему подумалось, что на „семъ музыкальномъ расположеніи“ можно бы основать у насъ „бразды правленія“, что „въ немъ найдешь образованіе души нашего народа“, и что волжскій бурлакъ съ его быстрыми переходами отъ тоски къ бурной гульбѣ „многое можетъ рѣшить доселѣ гадательное въ исторіи російской“. Вереницами проходятъ такія думы въ головѣ наблюдателя, а между тѣмъ бревна, которыми вымощена дорога между обѣими столицами, поднимаясь точно клавиши, нестерпимо мучать бока, на станціяхъ не даютъ лошадей, а глупая фигура двороваго слуги Петрушки, покачивающаяся въ полуснѣ изъ

стороны въ сторону на облучкѣ, надоѣдливо раздражаетъ взоръ.

Дорога длинная; ночь смѣняется яркимъ днемъ; проливной дождь настигаетъ проѣзжаго, принуждая укрыться гдѣ-нибудь въ избѣ; бѣгутъ мимо сѣла, города и ямскія слободы; десятки, сотни лицъ промелькнутъ, разговоятся, раскроютъ уголокъ своей внутренней жизни и исчезнутъ. Но этотъ калейдоскопъ не тѣшитъ нашего туриста,—да онъ вовсе и не праздный, вѣтренный туристъ. Блаженной памяти Стернь причислилъ бы его къ категоріи путешественниковъ „чувствительныхъ“. Онъ неспособенъ удовольствоваться одною внѣшностью: достаточно мелкаго намека, чтобы мысль въ тревогѣ заглянула вглубь и открыла тамъ горе и страданія. Для всѣхъ весела залитая солнцемъ полевая картина, пестрящая трудолюбивыми земледѣльцами,—путникъ не можетъ видѣть ея спокойно: эти подневольные люди работаютъ въ зной изъ-за прихоти одного человѣка. Крѣпостничество какъ будто предстало олицетворенное, и смущенному страннику, только-что гордившемуся тѣмъ, что „у него мужиковъ нѣтъ, и для того никто его не клянетъ“, становится совѣстно, что онъ хоть въ чемъ-нибудь можетъ проявить рабовладѣльческіе инстинкты. Чѣмъ виноватъ бѣдный Петрушка, что онъ не даетъ ему воспользоваться „усладителемъ нашихъ бѣдствій—сномъ“? Онъ, правда, сытъ, одѣтъ, получаетъ плату, но развѣ недавно, когда онъ былъ пьянъ, баринъ не далъ ему пощечины? Кто позволилъ это сдѣлать? Законъ?.. И слезы потекли изъ глазъ кающагося.

То ли увидить и услышать онъ еще на своемъ пути! Передъ нимъ раскрывается міръ безправія, произвола и тьмы; тутъ обнищавшіе крестьяне въ оковахъ приходятъ рассказывать о жестокости своего помѣщика; тамъ трехъ-аршинный курьеръ громитъ исполинскими кулаками и смотрителя, и ямщиковъ, несумѣвшихъ спроворить лошадей для „генерала“; здѣсь слышится злой (несмотря на свою юмористическую форму) рассказъ о томъ, какъ выслуживался чиновникъ, každогодно ѣздя въ командировку на казенный счетъ, чтобы доставить намѣстнику бочку свѣжихъ устрицъ изъ

столицы; тамъ эту присказку смѣняетъ уголовное дѣло о какомъ-то ассессорѣ, проявившемъ лютыя плантаторскія свойства; еще далѣе—отчаянные вопли, доносящіеся изъ деревни, открываютъ проѣзжему ужасы рекрутскаго набора. Злоба дня сплетается съ историческими воспоминаніями; скудные остатки великаго Новгорода пробуждаютъ въ фантазіи картину его крушенія; среди нихъ высится раздраженная фигура Грознаго, когда, стоя на Волховскомъ мосту, онъ руководилъ послѣдними репрессаліями. Хочетъ ли забыться путникъ, сонъ его неспокоенъ и словно стремится доразвить мысли, мучившія на-яву; ему грезится печальная, гонимая странница — Истина, срывающая покровы со всего лживаго, или онъ видитъ себя забытымъ, одинокимъ въ безводной пустынѣ. Настаетъ ли день, онъ приносить съ собой новыя печали. Даже, встрѣтивъ немногихъ глубоко-порядочныхъ людей,—честную и любящую крестьянку, прямодушнаго старика-дворянина, напутствующаго уѣзжающихъ на службу сыновей, семинариста, полмоносовски идущаго за наукою, или слѣпотаго пѣвца въ Клину съ его заунывнымъ стихомъ объ Алексѣѣ Божьемъ человѣкѣ и воспоминаніями о своихъ боевыхъ подвигахъ,—проѣзжій не въ силахъ отдаться оптимизму. Ему до смерти жалко этихъ людей, затерянныхъ среди порочной массы; это его настоящіе сверстники и товарищи; будь ихъ больше повсюду,—иной видъ получила бы жизнь. Онъ призываетъ это лучшее, гуманное будущее всѣми своими мыслями, строить планы и проекты, одинъ симпатичнѣе другого, но печально признается: „Конечъ сокрытъ еще отъ взоровъ и внучатъ моихъ!“ Но вотъ ужъ показались подмосковныя слободы, вотъ Всесвятское. Путь конченъ. „Москва, Москва!“

Такова эта старая, разстарая поѣздка по Россіи, отошедшая теперь отъ насъ на цѣлое столѣтіе и большинствомъ давно позабытая. Она совсѣмъ похожа на скорбное хожденіе по мукамъ, и завершилась она скорбью: вѣдь этотъ болѣвшій душою о людяхъ странникъ былъ Радищевъ, а книга, въ которой сельскія и городскія сцены XVIII

вѣка, бытовые очерки и вдохновенныя обращенія къ грядущему, печаль и юморъ слились въ оригинальное цѣлое, эта книга — несчастное радищевское „Путешествіе изъ Санктъ-Петербурга въ Москву“.

Прошло потомъ безъ малаго сорокъ лѣтъ. Новая столица еще болѣе принарядилась. Старого контраста между тонкою болтовней Эрмитажныхъ пріемовъ и кутежами гдѣ-нибудь въ австеріи или Красномъ кабачкѣ какъ будто не бывало; все изящно, замысловато, разнообразно, балы, праздники, пиры въ модномъ ресторанѣ, гдѣ брызги „вина кометы“ падаютъ на окровавленный ростбифъ и страсбургскій пирогъ, поэзія балета и закулиснаго „волшебнаго края“. Бездна этихъ удовольствій способна даже иныхъ утомить, пресытить, и поѣздка куда-нибудь подальше, на свѣжій воздухъ, можетъ показаться пріятнымъ отдохновеніемъ. Весна была „дождлива и скучна“, въ первый ясный день, именно „іюня третьяго числа“, дорожный экипажъ готовился умчать одного изъ этихъ усталыхъ душою надолго и подальше отъ постылаго Петербурга. Гдѣ стоялъ этотъ экипажъ, эта „легкая вѣнская коляска“, запряженная почтовыми? Врядъ ли около холостой квартиры, куда два-три друга пришли проводить, кое-о-чемъ помолчать и вздохнуть, — нѣтъ, она, конечно, ждала у подъѣзда *Talon*, гдѣ въ послѣдній разъ вино кометы производитъ свой фейерверкъ, гдѣ неизмѣнный Каверинъ досказываетъ свои пикантные анекдоты. Но всему есть конецъ: зѣвая, небрежно оглядывая давно прискучившую ему картину петербургской суеты, уѣзжающій сходитъ съ крыльца. Рядомъ съ кучеромъ навѣрно уже сидитъ барскій приспѣшникъ, но, разумѣется, не какой-нибудь дворовый, неуклюжій парень, а французъ-камердинеръ, быть-можетъ все тотъ же *monsieur Guillot*, недавній секундантъ своего господина. Коляска помчалась, „пыль вьется“. Онѣгинъ ѣдетъ путешествовать по Россіи *).

*) «Путешествіе Евгенія Онѣгина», вновь открытыя строфы романа, «Русская Старина» 1888 г., № 1. См. также изданіе «Онѣгина» подъ ред. В. Е. Якушкина (Общ. любит. словесности), М., 1887 г.

Мысль неожиданная, какъ будто не къ лицу ему и не по вкусу; она блеснула вдругъ среди припадка грызущей скуки и бездѣлья, и показалась желаннымъ избавленіемъ. Все извѣдано и испытано; чудачество, байронизмъ, роль загадочнаго Демона или Мельмота скитальца, всѣ эти „маски“ износились; уже двадцать шесть лѣтъ прошло „безъ цѣли и трудовъ“, пора „быть чѣмъ-нибудь“. Дождливимъ утромъ Онѣгинъ „просыпается патриотомъ“. Онъ долженъ увидѣть „святую Русь“, онъ ея только бредитъ, ненавидитъ Европу съ ея суетностью и эгоизмомъ и просто „влюбленъ въ Россію“. Страсть эта пришла мгновенно и, какъ всѣ такія молніеносныя страсти, обѣщаетъ захватить всего человѣка, сжечь его своимъ огнемъ. Начинается изученіе святой Руси, окрашенное легкимъ оттѣнкомъ народничества; маршрутъ первыхъ дней опять радищевскій: все тѣ же старыя *ямы*, Новгородъ, Валдай, Тверь. Но однообразна, скучна „полудикая равнина“, и старая тоска уже поднимается со дна души; когда же среди полей показывается Новгородъ, видѣнія прошлаго проносятся въ воображеніи. Очевидно, вспомнились отрывочныя историческія свѣдѣнія, и думы Радищева въ виду развалинъ новгородскаго величія, и грезы Байрона, блуждающаго по пустынному Мараеонскому полю или заснувшему римскому форуму.

Смирились площади—среди нихъ
Мятежный колоколъ утихъ,
Но бродятъ тѣни великановъ:
Завоеватель Скандинавъ,
Законодатель Ярославъ
Съ четою грозныхъ Іоанновъ,
И вокругъ поникнувшихъ церквей
Кипитъ народъ минувшихъ дней.

Вмѣсто желаннаго освѣженія быстрая, бѣшеная поѣздка лишь усиливаетъ старую тоску; Евгенийъ еще нетерпѣливѣе спѣшитъ оторваться отъ тѣней прошлаго, чѣмъ отъ вялой пустоты новой жизни. Онъ едва глядитъ на окрестности, машинально отмѣчая различныя остановки исполненіемъ не-

избѣжныхъ обязанностей туриста, покупая баранки въ Валдаѣ, туфли въ Торжкѣ. Москва, гдѣ наконецъ „онъ очнулся“, поражаетъ его знакомыми петербургскими чертами. „Что новаго покажетъ мнѣ Москва?“—могъ бы онъ спросить вмѣстѣ съ Чацкимъ и увидеть въ отвѣтъ на это рядъ давно прискучившихъ приманокъ,—спѣсивую суету большого свѣта, стерляжью уху, балы съ цвѣтникомъ красавицъ; „въ палатѣ англійскаго клоба (народныхъ засѣданій проба), безмолвно въ думу погруженъ, о кашахъ пренья слышитъ онъ“. Въ тотъ смутный планъ, съ которымъ онъ пускался въ путь, Москва входила совсѣмъ не въ этомъ видѣ. Онъ идетъ въ Кремль, видитъ „башни Годунова, дворцы и площади, святыя храмы“, но отъ этихъ остатковъ былого принужденъ опять спуститься въ омутъ безтолковыхъ сплетенъ, гдѣ одни выдаютъ его за шпіона, другіе славословятъ его даже въ стихахъ или стараются поймать его, какъ выгоднаго жениха. Рѣшительно не удается уловить той національной прелести, которая грезилась еще недавно, какъ лучшая краса пути. Дыханіе старины нужно Евгенію, какъ талисманъ собственнаго обновленія; онъ плохой историкъ и археологъ, но прикоснуться къ живымъ чертамъ минувшихъ вѣковъ, съ ихъ сильными характерами, потрясающими событіями и широкимъ размахомъ жизни, видимо, кажется ему чудеснымъ цѣлительнымъ средствомъ. Онъ покидаетъ Москву и спѣшитъ въ Нижній, потому что это „отчизна Минина“. Но, вмѣсто поднимающихъ душу воспоминаній о народномъ героизмѣ, путника окружаетъ суতোлка Макарьевской ярмарки, толпы степныхъ помѣщиковъ, спѣлыхъ барышенъ, игроковъ, торгашей, царство „меркантильнаго духа“.

Еще остается одно, послѣднее прибѣжище—путешествіе внизъ по Волгѣ. Онѣгинъ не можетъ устоять передъ его заманчивостью; сама Волга зоветъ его на свои „пышныя воды“; онъ нанимаетъ купеческое судно, быстро плыветъ внизъ и отдается новымъ сильнымъ впечатлѣніямъ; природа, память о прошломъ, народныя пѣсни—все настраиваетъ его на необычный ладъ. Быть-можетъ, это лучшіе дни изъ всего пути.

Надулась Волга; бурлаки,
Опершись на багры стальные,
Унывымъ голосомъ поютъ
Про тотъ разбойничій пріютъ,
Про тѣ разъѣзды удалые,
Какъ Стенька Разинъ встарину
Кровавилъ волжскую волну;
Поютъ про тѣхъ гостей незванныхъ,
Что жгли да рѣзали...

Недолго длится это романтическое очарованіе. Плоскіе, песчаные берега низовья, торговая суетня Астрахани, зной и мириады комаровъ снова ввели странника въ прозаическую, будничную обстановку. Исчерпаны всѣ притягательныя средства поѣздки по святой Руси, оставивъ по себѣ тяжелый осадокъ недовольства. Искать и ждать больше нечего; мелькающія изрѣдка догадки о чемъ-то движущемъ народною жизнью говорятъ слишкомъ мало; а какъ узнать эту жизнь, проносясь ураганомъ сотни верстъ, съ горы на гору, подъ пѣніе и свистъ ямщиковъ, конскій топотъ и пыль? Не останавливаться же по-радищевски въ любомъ захолустьѣ, не вступать же въ душевныя бесѣды со всякимъ лапотникомъ!

Нужны теперь героическія средства, сильные эффекты, не русская природа, горы, пропасти, моря. Онѣгинъ кончаетъ путь Кавказомъ, Крымомъ, Одессой; роскошные ландшафты смѣняются передъ его глазами, но въ немъ недостаточно байронизма, чтобы захотѣть уйти куда-нибудь за Терекъ, къ «кавказскимъ громадамъ», отъ постылой городской жизни. Онъ здѣсь чужой, а та жалкая кучка земляковъ, калѣкъ, уродовъ или искателей приключеній, которую онъ находитъ на водахъ, лишь раздражаетъ его. Ни „снѣжныя вершины горъ, ни кубанскія равнины“ не въ силахъ удержать его; какъ легендарнымъ Агасееромъ, имъ овладѣло безпокойство, увлекающее его все впередъ. Мы лишь мимоходомъ узнаемъ, какое впечатлѣніе вынесъ онъ изъ Крыма, какъ освоился съ полу-европейской Одессой, — онъ уступаетъ рѣчь своему старинному знакомцу Пушкину, и блестящія картины южной природы и быта слѣдуютъ одна за дру-

гой. Пріятели встрѣтились случайно въ Одессѣ; Онѣгинъ предсталъ „неприглашеннымъ привидѣніемъ“, поэтъ обрадовался ему, а потомъ, отдавъ дань пріязни, они „взглянули другъ на друга и разсмѣялись, какъ ципероновы авгуры“. Какъ прежде бродили они по невскимъ набережнымъ въ бѣлыя ночи, такъ стали и теперь вмѣстѣ блуждать по морскому берегу и въ неистощимыхъ, насмѣшливыхъ или разочарованныхъ изліяніяхъ повѣрять одинъ другому свои испытанія или „горестныя замѣтки“. Но кромѣ этой дружеской встрѣчи ни что не могло бы задержать Онѣгина въ пыльной Одессѣ. „Судьба“ кстати вмѣшалась въ дѣло, умчавъ обоихъ друзей въ два дальнихъ сѣверныхъ угла,—Пушкина „въ тѣнь лѣсовъ Тригорскихъ“, Онѣгина—снова въ Петербургъ, куда онъ вернулся „очень охлажденный и тѣмъ, что видѣлъ, насыщенный“. Печальная развязка путешествія; прибавилось еще нѣсколько разочарованій къ богатому запасу ихъ у способнаго и неглупаго неудачника, который не шутя завидуетъ тѣмъ, кто „старъ, кто боленъ“ и близится къ смерти, тогда какъ онъ „здоровъ, молодъ, воленъ“ и томится безысходною тоской,—у того неудачника, которому не достаетъ лишь немногаго,—силы характера и истиннаго развитія! Онъ рѣдко увлекался, не создавалъ себѣ идеаловъ; поѣздка по Россіи — одно изъ рѣдкихъ исключеній: оттого-то унылое возвращеніе послѣ нея какъ-то особенно удручаетъ.

Прошло еще лѣтъ десять. Опять передъ нами большая, столбовая дорога; но не изъ новой столицы въ старую ведетъ она, не туда, гдѣ Онѣгинъ еще засталъ „ропотъ отставныхъ бояръ“, а куда-то въ замосковную глушь и дичь,—куда именно, не все ли равно? Въ городъ N, а можетъ быть и въ другой какой-нибудь—вѣдь всѣ они такъ похожи другъ на друга... Покойно покачивается на рессорахъ красивая бричка, вродѣ тѣхъ, въ какихъ ѣздятъ холостяки; на козлахъ возсѣдаетъ низенькій кучеръ въ тулупчикѣ, да суровый на видъ, съ крупнымъ носомъ и губами крѣпостной лакей, носящій все то же благозвучное имя Петрушки, какъ и радищевскій слуга, но никогда не возбуждавшій въ своемъ баринѣ ни малѣйшаго человѣчнаго движенія. А изъ брич-

ки выглядывает кругленькое, благоприличное, не молодое, но и не совсѣмъ еще старое лицо самого барина. Зорко посматриваетъ онъ по сторонамъ, чутко втягивая въ себя воздухъ, точно вынюхивая себѣ поживу. Ни байроновской тоски, ни радищевскихъ грезъ нѣтъ у него, — одно лишь общее мѣсто, гладкая фраза, обворожительный жестъ, медленное, непримѣтное, но упорное приближеніе къ цѣли. Онъ не путешествуетъ, онъ просто выѣхалъ на ловитву, и она будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не дастъ ему въ руки богатства, о которомъ онъ мечтаетъ. Ыздить онъ уже долго и все ждетъ вожделѣнной минуты; пріютившись на время у Тентетникова, онъ словно предчувствуетъ уже прелесть домашняго очага; „цыганская жизнь ему надоѣла“. Но дѣло еще не додѣлано, и онъ снова двигается въ путь. Не то, чтобы онъ былъ нечувствителенъ къ нѣкоторымъ прелестямъ дороги и ея случайностей. Подскакивая на кожаной подушкѣ, онъ улыбается, когда лошади помчали бричку съ горы на гору, и любитъ быстрой ѣздой. У Пѣтуха онъ заслушался дружной пѣсни гребцовъ, но не потому, чтобы она напоминала ему что-нибудь о той порѣ, когда могли складываться такія пѣсни, а потому, что, слушая, ужъ очень захотѣлось скорѣе обзавестись своей деревенькой и такъ же вотъ кататься съ хоромъ гребцовъ по озеру. Возвращаясь отъ Плюшкина въ пріятномъ настроеніи послѣ неожиданной удачи, онъ даже самъ, сидя въ бричкѣ, затянулъ какую-то необыкновенную пѣсню, такъ что и Селифана удивилъ. А множество лицъ, съ которыми приходится сталкиваться—„коловращеніе людей, живая книга, та же наука!..“ Но все-таки и люди, и нравы, и города съ деревнями, мелькающіе передъ глазами, только аксессуары въ сравненіи съ великою сущностью *дѣла*. Маниловъ ли, Собакевичъ или Пѣтухъ, пріятная дама или идиотка Коробочка, чиновники города N или ихъ собраты изъ города Тьфу-славля (во 2-мъ томѣ)—все это лишь мелкія случайности жизненного пути; нечего на нихъ останавливаться, нужно спѣшить: какая-то сила все толкаетъ впередъ, не даетъ покоя. Но это не тотъ „знакомый русскому человѣку, производя-

шій чудеса надъ его чуткою природой“, призывъ, который когда-то Тентетниковъ слышалъ въ школѣ, и не мучительное безпокойство Онѣгина; слово *впередъ* нашептываетъ демонъ наживы. И неустанно подвигается по столбовой дорогѣ бричка, въ какой ѣздить холостяки; пронесется ли мимо фельд-егерь, изъ окна дормеза выглянетъ личико граціозной блондинки, красивый видъ вдругъ откроется съ пригорка, — мимо, мимо всего этого! Нужно спѣшить, и Чичиковъ падаетъ, едва не гибнетъ, оправляется и снова пускается въ свою безконечную дорогу.

Какъ то невольно вспомнились заразъ эти три странствования по русской землѣ; виновато въ томъ неожиданное открытіе связной, отдѣльной главы „Онѣгина“ съ наброскомъ путешествія героя. Въ новомъ освѣщеніи ожили черты Евгения, а за ними (не для игры ли свѣта и тѣни?) вырѣзались въ отдаленіи два другихъ лица. Въ музыкѣ бываютъ такіа неизбѣжныя сочетанія звуковъ...

Все это—дѣла давно минувшихъ дней,—скажетъ кто-нибудь. Будто? Не правъ развѣ Гоголь, когда, споря съ тѣми, кто сталъ бы утверждать, что его дѣйствующія лица уже отжили, и теперь уже нѣтъ, наприм., Ноздревыхъ, онъ говорить: „Ноздревъ долго не выведется изъ міра. Онъ вездѣ между нами и, можетъ-быть, только ходитъ въ другомъ кафтанѣ; но легкомысленно-непроницательны люди, и человѣкъ въ другомъ кафтанѣ кажется имъ другимъ человѣкомъ!“ Развѣ три выдающихся писателя не схватили въ своихъ созданіяхъ чего-то побольше временнаго, преходящаго общественнаго явленія, и развѣ вамъ не приходилось видѣть хоть въ окнѣ вагона блѣдное, тоскующее лицо современнаго Онѣгина, стремящагося размыкать дорогой свое бездѣлье, тогда какъ дѣло передъ его глазами, — и не встрѣчали вы никогда задумчиваго взора волнуемаго людскимъ зломъ и не въ мѣру чувствительнаго путешественника, а главное—не попадалось вамъ лоснящееся отъ благополучія лицо торжествующаго обладателя знаменитой брички? Все по-прежнему, —измѣнились только „кафтаны“, да еще бричка, за древностью, пожертвована куда-то въ музей.

ПО ПОВОДУ ЮБИЛЕЯ ОДНОЙ СТАТЬИ.

Полвѣка тому назадъ.

Въ своемъ дореформенномъ убранствѣ покоится 'непробуднымъ сномъ' Москва; грибоѣдовскіе герои еще занимаютъ первый планъ; матерое купечество укрылось отъ соблазновъ въ свои хоромы, крѣпко приперевъ ворота; о народѣ никто не вспоминаетъ; первый вопросъ рабочему человѣку, — *чей* онъ? Въ университетѣ еще витаютъ тѣни Хераскова и патріархальныхъ педагоговъ стараго времени; отъ скудныхъ мѣстныхъ журналовъ вѣетъ уныніемъ и плѣсенью, и только неутомимый *Телеграфъ* горячо твердить что-то о Европѣ и прогрессѣ. Издали молва приносить отголоски пушкинской поэзіи, да и они больше всего красуются въ завѣтныхъ тетрадкахъ любителей стиховъ, не смѣя разсчитывать на гласность. Заходитъ и новая петербургская литература, надвигающаяся стройнымъ отрядомъ, гдѣ во главѣ идутъ полководцы, Гречъ, Булгаринъ, Сенковский, фланговыми стоятъ Бенедиктовъ съ Кукольниковъ, а въ аррьергардѣ плетется старикъ Воейковъ. Но задоръ этихъ людей, идущихъ спасать вкусъ, слишкомъ суетливъ и назойливъ, и, холодно встрѣчая это новое порожденіе петербургскаго легкомыслія, Москва еще плотнѣе закутывается въ свою обломовщину. Лишь кое-гдѣ теплится огонекъ, и подъ вечеръ по темнымъ московскимъ улицамъ продребезжатъ иногда дѣдовскія дрожки, унося какого-нибудь мечтательнаго юношу на другой конецъ города, въ кружокъ пріятелей, гдѣ до зари пойдутъ толки о Шиллерѣ, о любви,

о философіи, и о томъ, какъ въ дѣйствительности все разумно.

Нѣсколько страничекъ безыменной статьи въ надеждинской *Молвь*, плохо читавшемся фельетонномъ приложеніи къ *Телескопу*, неожиданно взволновали и обезпокоили благонравно дремавшихъ обывателей. Въ муравейникѣ все всполохнулось, засуетилось, обидѣлось. Откуда это, зачѣмъ, какъ позволяютъ такую дерзость?! — слышалось отовсюду; дорого дали бы теперь, чтобъ умолкъ этотъ некстати раздавшійся голосъ, но онъ звучалъ все смѣлѣе и смѣлѣе съ каждымъ продолженіемъ мятежной статьи, и на-встрѣчу ему неслись молодые сердца, давно уже смутно о чемъ то догадывавшіяся и теперь ясно сознавшія свою задачу. Изъ рукъ въ руки переходила эта статья, зачитывалась вездѣ до ключевъ, поднимала безконечные споры; ея появленіе стало просто общественнымъ событіемъ.

То были „Литературныя мечтанія“ Бѣлинскаго, первая его критическая статья, напечатанная въ *Молвь* ровно пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, 21-го сентября 1834 г.

Въ своей жизни изо дня въ день большинство изъ насъ любить имѣть дѣло съ опредѣлившимися величинами, за которыми уже признано извѣстное право имѣть свои личные взгляды; когда нужно, изъ подлежащихъ устъ слышится мнѣніе, которое болѣе или менѣе можно заранѣе предвидѣть. Странно дѣйствуетъ поэтому на средняго человѣка, когда онъ услышитъ вдругъ безбоязненное и независимое сужденіе, заявленное какимъ-то таинственнымъ незнакомцемъ, чьего существованія никто и не подозревалъ. А въ статьяхъ этого безвѣстнаго новичка, въ которомъ по старой привычкѣ хотѣли было сначала отгадать кого-нибудь изъ патентованныхъ журналистовъ, сразу выступала не только типическая личность, но и рѣдкое соединеніе энтузіазма, юмора, любви къ родинѣ и интереса къ общечеловѣческому развитію; и написаны онѣ были не такъ, какъ писались до тѣхъ поръ критическія статьи, оставляя за собой довольно остроумныя, но холодныя рецензіи Надеждина, и задорно полемическія вылазки Полевого, и по-барски вы-

холенные, отточенные эпиграммы Вяземского. Гибкость и разнообразіе слога, который то-и-дѣло переходилъ отъ веселой шутки и дружеской бесѣды запросто съ читателемъ къ серьезному обзору исторіи литературы или патетическому отступленію, были совершенною новостью. Юношескою бодростью вѣяло отъ перваго опыта этого незнакомца, который сразу смѣлою рукой захватилъ себѣ мѣсто въ литературѣ. И такимъ невидимкой остался онъ на всю жизнь, почти никогда не подписывая своихъ статей полнымъ именемъ; но вскорѣ его знала вся Россія, инкогнито его не составляло ни для кого тайны, и, принимаясь за новую книжку журнала съ захватывающимъ любопытствомъ и наслажденіемъ, котораго уже не вѣдали позднѣйшія, болѣе избалованныя поколѣнія, читатель спѣшилъ прежде всего прочесть новую работу своего любимца. Невидимкой остался онъ и долго послѣ смерти, являясь среди засыпавшей снова литературы словно мрачнымъ незнакомцемъ, чье присутствіе всѣ чувствуютъ, не смѣя въ то же время назвать этого человѣка по имени. И только съ середины пятидесятихъ годовъ этотъ таинственный анонимъ, такъ сильно любимый и такъ много ненавидимый, получилъ наконецъ полное право гражданства, могъ быть названъ вездѣ, и имя Бѣлинскаго заняло почетное мѣсто въ лѣтописяхъ новой нашей литературы.

Но отъ этой довольно фантастической обстановки его дѣятельность, пожалуй, даже выигрываетъ. Противники бывало любили выставять его скрытымъ виновникомъ всякихъ недуговъ въ литературѣ и обществѣ, чуть не духомъ зла. Но если ужъ дѣло пошло на демонологию, онъ въ дѣйствительности былъ добрымъ гениемъ нашей словесности, тѣмъ центромъ, къ которому стремилось и откуда исходило все живое въ ней. Старые и новые писатели, близкіе ему и совершенно незнакомые люди одинаково находили въ немъ сочувствіе, горячую защиту, какъ только онъ отгадывалъ въ нихъ талантъ и правдивость; небывалою искренностью проникнута была каждая строчка его критическихъ отзывовъ,— въ эту минуту онъ дѣйствительно такъ думалъ и не сталъ

бы кривить душой ни для кого. Онъ сберегалъ нравственное достоинство литературы, которую булгаринская клика такъ усердно старалась втянуть въ трясины пошлости и взаимныхъ восхваленій, и спасительно дѣйствовалъ уже своимъ несокрушимымъ идеализмомъ. Онъ былъ весь на лицо, и если чего не договаривалъ, то только по обстоятельствамъ не отъ него зависѣвшимъ. Въ половину онъ ничего не умѣлъ дѣлать, и любилъ, и враждовалъ безъ оглядки, страстно, но, если приходилось разувѣриться въ человѣкъ или въ теоріи, не отстаивалъ своего взгляда съ ложно понятою послѣдовательностью, а разбивалъ прежній пьедесталъ, отрезвлялся отъ несостоятельнаго увлеченія и шель по новому пути въ своемъ вѣчномъ исканіи правды.

Эти переходы, теперь такъ тщательно опредѣленные его биографами (въ особенности А. Н. Пыпинымъ), въ иныхъ глазахъ могутъ умалить впечатлѣніе, производимое его дѣятельностью, — въ дѣйствительности, они дѣлаютъ ее еще привлекательнѣе. Они говорятъ намъ, что этотъ человѣкъ, не переставая мыслить и бороться, переживалъ въ теченіе своей жизни всѣ переходныя ступени, по которымъ шла развитая часть современнаго ему общества, и, отрекаясь отъ своихъ вѣрованій, не подчинялся личному капризу или слабости. Въ его статьяхъ дошла къ намъ умственная жизнь эпохи чуть ли не въ наиболѣе полномъ ея выраженіи. Такихъ людей, идущихъ впередъ вмѣстѣ съ жизнью, немудрено сильно полюбить массѣ, которая видитъ въ нихъ и руководителей, и товарищей.

Но Бѣлинскій былъ еще ближе къ ней и въ другомъ отношеніи. По мѣткому выраженію Тургенева, онъ былъ изъ числа *центральныхъ* личностей, но не въ общепринятомъ только смыслѣ вождя, а какъ человѣкъ, который, что бы ни переживалъ въ своемъ развитіи, какъ бы далеко ни продвигался впередъ, „всѣмъ существомъ своимъ стоялъ близко къ сердцевинѣ своего народа, воплощалъ его вполне и съ хорошихъ, и съ дурныхъ его сторонъ“. Объ этомъ щедро позаботилась судьба, показавъ ему съ раннихъ лѣтъ русскую жизнь, какъ она есть. Далекое уѣздное захолустье,

разладъ въ семьѣ, отцовскій произволъ, а вокругъ—спены рабства и взяточничества, — вотъ что наполняло его не-радостное дѣтство. Потомъ пошли безцвѣтные школьные годы и курьезы допотопной педагогіи; чуть не пѣшкомъ плетется онъ въ поискахъ за наукой въ Москву и здѣсь много лѣтъ не выходитъ изъ бѣдности, переходя отъ философскихъ споровъ съ товарищами къ переводу Поль де-Кокковскихъ романовъ, принятому изъ-за куска хлѣба, или къ грошовымъ урокамъ, лѣпясь часто въ такихъ трущобахъ, среди гама и шума рабочаго люда, что свѣжій человѣкъ почти не могъ вынести такой ужасной обстановки. Съ этимъ запасомъ наблюдений и воспоминаний переселился онъ въ Петербургъ, гдѣ новая среда, охватившая его со всѣхъ сторонъ, показала ему незнакомый еще оттѣнокъ того же русскаго быта, міръ департаментскій и офиціозный, и поотшибла у него еще нѣсколько иллюзій. Такого человѣка нельзя закабалить ни въ какой оптимизмъ; промежуточная пора, когда онъ, слѣдомъ за своими друзьями, попытался было увѣрить себя въ разумности существующаго и успокоиться, такъ и осталась болѣзненнымъ, короткимъ переломомъ. То было насиліе надъ здоровою натурой, и „связи съ народной сердцевиной“ взяли верхъ. Съ той поры и до самой смерти онъ не переставали усиливаться, и съ какимъ бы увлеченіемъ ни отдавался онъ служенію общественнымъ идеямъ, шедшимъ тогда изъ Франціи, онъ переносилъ ихъ на заботы о русскихъ нуждахъ и радовался каждому успѣху литературнаго изученія народа. Не разъ ставился вопросъ: что бы писалъ и въ какомъ духѣ отнесся бы Бѣлинскій къ заботамъ позднѣйшей русской жизни и къ новымъ литературнымъ направленіямъ, еслибы могъ дожить до нашихъ дней? Весь ходъ развитія его собственныхъ взглядовъ убѣждаетъ въ томъ, что онъ продолжалъ бы идти впередъ, вглядываясь съ обычною зоркостью въ новые факты быта и творчества, обличая лживость и вычурность, поклоняясь по-прежнему искреннему и правдивому изученію людей и жизни. Видоизмѣненные по внѣшней оболочкѣ идеалы Бѣлинскаго въ существѣ своемъ все еще продолжаютъ

жить въ нашей литературѣ, чьи главные представители воспитались подъ прямымъ или косвеннымъ вліяніемъ его идей; преемники его въ критикѣ, отдаляясь съ виду отъ нѣкоторыхъ его положеній, не сошли собственно никогда съ его почвы.

Еще держится мнѣніе, будто Бѣлинскій былъ исключительно эстетическимъ критикомъ. Это и односторонне, и несправедливо. Начиная съ первой же статьи, съ „Литературныхъ мечтаній“, онъ переноситъ изученіе предмета изъ художественной области въ историческую среду, въ связь съ общественными явленіями. Въ яркой картинѣ проходитъ передъ читателемъ вся жизнь русскаго общества съ Петра и даетъ свое отраженіе въ памятникахъ и школахъ литературы. И позже каждый сколько-нибудь обширный этюдъ его всегда вводитъ въ оцѣнку произведенія разнообразные мотивы соціального характера; критическая работа, пожалуй, носитъ въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ даже отпечатокъ горячо написанной передовой статьи, и авторъ, принужденный работать одинъ за всѣхъ, совмѣщаетъ въ своемъ разборѣ трудъ критика и публициста. Но мы знаемъ всегда лишь часть написаннаго имъ; все, что выходило изъ предѣловъ чисто-литературной оцѣнки, казалось уже подозрительнымъ и отпадало въ печати. Была разъ написана статья о Петрѣ, въ которую Бѣлинскій вложилъ много своихъ заветныхъ мыслей, но на столбцахъ журнала явилась лишь треть статьи,—одно введеніе къ петровской порѣ,—а самъ Петръ такъ и не показался. Статьи послѣднихъ лѣтъ въ особенности не даютъ полного представленія о взглядахъ Бѣлинскаго въ предсмертный періодъ; ихъ необходимо дополнять его превосходными письмами, гдѣ его истинная точка зрѣнія выступаетъ открыто и безбоязненно. Они-то болѣе всего убѣждаютъ въ томъ, что въ наши дни Бѣлинскій такъ же чутко отзывался бы на тревоги и надежды новыхъ поколѣній и не замкнулся бы въ одиночество непризнаннаго величія, понемногу отстающаго отъ вѣка. Но зачѣмъ говорить даже о возможности такому человѣку дожить до глубокой старости, полной умственного труда вплоть до послѣдней ми-

нуты! Это—удѣлъ уравновѣшенныхъ натуръ, которая берегутъ себя, и стройно, систематически овладѣвають наукой. Нервная, вся изъ порывовъ и пламени, натура Бѣлинскаго перерогала быстро, свѣтила ярко, но не дала всего, что могла бы дать въ другой средѣ и въ другое время; унесли ее въ могилу и наслѣдственная болѣзнь, и сырая петербургская весна, и общія горести, и почти безпримѣрная, многолѣтняя затрата рѣдкихъ умственныхъ силъ, доведенныхъ до крайняго напряженія.

Но отъ смерти перейдемъ къ жизни молодой, закипающей, отъ скромной могилы гдѣ-то на „литераторскихъ мосткахъ“ Волкова кладбища перенесемся въ скромную студенческую каморку, гдѣ юноша-авторъ съ жаждой борьбы и свѣтлой надеждой дописываетъ свои „литературныя мечтанія“. Сколько жизни, сколько вѣры! Нѣтъ у насъ словесности, есть только хорошіе писатели,—слышится смѣлый его возгласъ,—но литература *будетъ*, она вся еще впереди, и явится достойною спутницей своего народа; и съ любовью глядитъ онъ на творцовъ ея, объясняетъ читателю каждый важный ихъ шагъ, вдается въ лиризмъ при видѣ этого возрожденія, разбиваетъ старыхъ кумировъ и рукоплещетъ „открывающемуся простору русскаго ума“. Онъ еще не опытенъ, философскій жаргонъ порою сковываетъ его и туманитъ слогъ, но дарованіе беретъ верхъ, за мистическимъ толкованіемъ идетъ яркая и остроумная страница, восторги молодого эстетика смѣняетъ широкая культурная картина. Далека теперь отъ насъ эта пора пробужденія и юношескихъ грезъ, но есть что то глубоко симпатичное и трогательное въ ней, даже на историческомъ отдаленіи.

Такъ сплетаются въ воспоминаніи и личные, и общіе факты. И сегодня мы можемъ чествовать не только полвѣка писательской славы Бѣлинскаго, но и пятидесятилѣтнюю годовщину настоящей русской критики.

НА МОГИЛѢ ГОГОЛЯ.

Элегія въ прозѣ.

Кресты и надгробные камни, купы унылыхъ березъ. Во всѣ стороны дорожки, окаймленные памятниками,—крошечный городокъ мертвыхъ. Пустынно и тихо вокругъ; издали слабо доносится шумъ большого города. Вблизи старые сады, огороды, луга, совсѣмъ сельская картина; рѣка вьется между ними; за нею на холмѣ чернѣетъ лѣсъ. Порою все какъ-то особенно стихаетъ; только медленно, золотымъ дождемъ, спадаютъ листья съ деревьевъ. Вдругъ послышится чья-то пѣсня на рѣкѣ или деребезжащая трель сигнального рожка изъ казармъ, но лишь на мгновенье,—и снова тишина своими волнами заливаетъ всю окрестность.

За монастырской оградой еще безмолвіе. Кое-гдѣ лѣнливо двигаются какія-то тѣни; сторожъ вышелъ погрѣться на осеннемъ солнцѣ. Не видать трогательныхъ сценъ будничнаго, сѣраго горя,—этихъ горько плачущихъ, припавъ къ могильному холмику, простыхъ людей, этихъ подавленныхъ своимъ сиротствомъ, словно застывшихъ въ позѣ унынія, женскихъ фигуръ. Здѣсь больше лежитъ именитый купецъ или важный баринъ. Сюда не проторила дороги неграмотная мелкота, а та тропа, что проложила—было грамотная Русь, теперь едва замѣтна.

Тихое, покойное мѣсто. Здѣсь смиряются всѣ земные порывы; ничто не нарушаетъ покоя тѣхъ, кто уже почилъ вѣчнымъ сномъ. Пусть жизнь стучится сюда, пусть о ней

напоминають „признаки времени“,—фабричная труба въ со-
сѣдней слободкѣ, рожокъ горниста, вагонъ желѣзно-конной
дороги,—ничто не въ силахъ нарушить летаргической дре-
моты этого уголка. Послѣ уличной суеты и шума путникъ,
останавливаясь здѣсь, чувствуетъ, что это—край свѣта, что
тутъ нужно высадиться, что дальше ѣхать некуда.

Таково это теперь, — а прежде?... Городъ кончался го-
раздо раньше тоскливо торчавшихъ желтыхъ столбиковъ
заставы; шли сплошные пустыри, разстилалось вокругъ огром-
ное поле; въ дождливую пору посреди него накоплялось
озеро, вродѣ того, что украшало собой Миргородъ. По
полю, мѣся грязь, колыхались допотопные тарантасы и
брички. Еще нѣсколько постоялыхъ дворовъ съ пучками
ковыля надъ воротами,—и совсѣмъ конецъ Москвѣ! Начи-
нался новый міръ. Позади еще философствуютъ, мечтаютъ,
рвутся куда-то, негодуютъ, упиваются Шекспиромъ, а впе-
реди необъятное царство Сквозника-Дмухановскаго и Чи-
чикова. Жутко окунуться въ него; не вернуться ли назадъ,
пока еще не поздно, туда, гдѣ красуются благородныя, аб-
страктныя идеи, гдѣ еще можно мечтать? Такъ и кажется,
что надъ унылой заставой вьется надпись: „оставь надежду
всякъ, сюда идущій!“

Кладбище совсѣмъ у мѣста на этомъ рубежѣ. Здѣсь scho-
ронены мечты и думы сотенъ людей; они навѣрно по-своему
тоже къ чему-то стремились, пока были молоды и честны;
суровая проза будней все сгладила, потомъ смерть все ско-
вала. Но подъ тѣ же „вѣчные своды“ укрылась и твор-
ческая сила, казалось, ничѣмъ не угасимая. Поодаль отъ чи-
новной и богатой братіи, въ скромномъ уголкѣ монастыр-
скаго некрополя, среди немногихъ близкихъ ему людей,
спитъ вѣчнымъ сномъ тотъ, кого не утешала грозная над-
пись, тотъ, кто смѣло пускался въ странствія по царству
неправды, выносилъ намъ оттуда ужасающіе рассказы, хо-
тѣлъ разбудить, воодушевить людей и, скованный тою же
мертвящею силой, этой великой уравнилельницей челове-
чества, нашелъ себѣ здѣсь послѣднее убѣжище. Было время,
когда мимо него онъ, вмѣстѣ съ тысячами проѣзжихъ „по

своей надобности⁴, направлялся по столбовой дорогѣ изъ Москвы въ русскую глушь, за которой гдѣ-то вдали его ласково манила къ себѣ родина. До заставы провожали его московскіе друзья; здѣсь, въ послѣднюю минуту, слышали они отъ него обыкновенно нѣсколько новыхъ остротъ, скрашивавшихъ горечь разлуки, и брали съ него слово привезти съ собой какъ можно больше живительнаго смѣха. Потомъ наступила пора, когда по тому же полю двинулся печальный поѣздъ, когда настали послѣдніе проводы. Молодежь несла гробъ на рукахъ; говорятъ, она осыпала путь цвѣтами; эти цвѣты среди ранней московской весны, оставляя небольшую яркую полосу на грязновато-однообразной массѣ тающего снѣга, были печальнымъ символомъ.

Много искреннихъ слезъ было тогда пролито. Поникли головой и надолго загрустили даже люди, совѣмъ не причастные къ умственному движенію,—точно умеръ необыкновенно близкій и дорогой имъ человекъ. Тогдашніе дѣти на всю жизнь сохранили потомъ память о глубокомъ горѣ, которое удручило въ эти тяжкія минуты „старшихъ“. Для дѣтскихъ головокъ это былъ наглядный примѣръ могущества писателя надъ умами, и когда настала ихъ чередъ, они поддались тому же очарованію.

Но слезы были осушены; надъ неутѣшнымъ горемъ взяли верхъ время и разумъ. Въ порывѣ любопытства толпа заглянула въ душевный тайникъ того, кому прежде молилась, развѣдала малѣйшіе его помыслы и поступки,—и потомство стало творить надъ нимъ судъ. Порою онъ былъ суровъ, и тогда странною тѣнью облекалась вся личность сатирика,—или же слышались неукротимо восторженные похвалы. Тотъ, кого одни сближали съ защитниками застоя, былъ въ глазахъ другихъ несравненнымъ учителемъ жизни. Одни забывали, что современники его, имѣвшіе больше насъ правъ на раздраженіе, сумѣли все простить, сердечно пожалѣть и крѣпче прежняго полюбить умершаго; другимъ хотѣлось видѣть въ немъ властнаго наставника, обладающаго стройной системой воззрѣній, тогда какъ онъ самъ послѣ тяжелой неудачи своей проповѣди скромно возвращался въ ряды

тѣхъ искателей правды, которые съ грустью сознають, что имъ, быть можетъ, никогда не обрѣсти ея.

Подъ этою плитой схоронена печальная загадка, но не изъ тѣхъ, что навѣки остаются неразрѣшимыми. Пусть иногда участь великихъ людей, въ чьей жизни нѣтъ ни одного завѣтнаго уголка, куда бы ни заглянуло всевидящее око потомства, вызываетъ въ насъ состраданіе, — относительно Гоголя можно только радоваться этой суровой гласности. Больше, больше давайте намъ подлинныхъ, сокровенныхъ чертъ его характера и жизни, чтобы все раскрылось, рѣшительно все: наслѣдственная болѣзненность, безобразное воспитаніе, вредныя вліянія среды, отсутствіе дружеской поддержки въ роковыя минуты, душевное одиночество и печальныя колебанія встревоженного и какъ струна чуткаго организма. Быть можетъ, наступаетъ уже время, когда произнесется, наконецъ, вся правда объ этомъ великомъ несчастливцѣ, и когда отъ рѣзкаго сопоставленія свѣта и тѣней еще ярче выступитъ удивительный самородокъ, выставленный въ его лицѣ народной русскою средой.

Пора намъ узнать не писателя, — его давно любятъ и цѣнятъ, — а человѣка съ его великими задатками, слабостями и разочарованіями; пора быть, наконецъ, въ состояніи мысленно пережить съ нимъ всю его жизнь, увидѣть, какъ рано вкрадывается въ нее недугъ, какъ онъ развивается, растеть, подрываетъ творческія силы, изсушаетъ чудесный источникъ смѣха, превращаетъ гениальнаго остроумца въ хилаго старика, томимаго безотчетнымъ страхомъ и понижающаго головой, и какъ это безжалостное разрушеніе замыкается, наконецъ, тою горстью земли, которая укрылась подъ этой могильною плитой. То будетъ глубоко грустная повѣсть, но не выслушать ее невозможно.

Всего горсть земли! Но вѣдь въ этой жалкой оболочкѣ когда-то скрывалась та сила, что создала „Мертвыя Души“. Упованія и житейскія тревоги, страсти и увлеченія сатирика замерли навѣки; ихъ снесло волнами новой жизни, какъ снесло и удалые вакхическіе порывы Языкова и рудинское

краснорѣчіе Хомякова, дремлющихъ тутъ же рядомъ, — но та чудесная сила переживетъ вѣка, и отъ нея поидетъ, не замолкая, благая проповѣдь грядущимъ поколѣніямъ. Мы еще живемъ ею, хотя бы и ушли дальше по пробитому ея пути; она вывела нѣкогда на славное поприще лучшихъ нашихъ писателей, и въ пышномъ разцвѣтѣ сказала такъ недавно у автора „Забытыхъ словъ“. Привѣтъ же этой горсти праха, послѣднему останку великаго сатирика! На печатныхъ страницахъ его созданій не весь онъ; лишь здѣсь какъ будто соприкасаешься съ тѣмъ удивительнымъ, блестящимъ и глубоко несчастнымъ человѣкомъ, который когда-то властвовалъ надъ умами, какъ царь, и погибъ, какъ одинокій странникъ.

Очевидно, есть люди, живо это чувствующие. Совсѣмъ безвѣстные поклонники Гоголя по временамъ проникаютъ на кладбище Даниловскаго монастыря, грустно застаиваются надъ могилой и украдкой записываютъ или вырѣзаютъ свои имена и сочувственныя заявленія на крестѣ, возвышающемся надъ каменною глыбой, за надгробною плитой. Тутъ есть и восклицанія, и сожалѣнія, и общія мѣста. Но насколько производитъ отталкивающее впечатлѣніе обыкновенный стиль игривыхъ надписей, нацарапанныхъ съ пошлымъ самоуслажденіемъ гдѣ-нибудь въ общественномъ мѣстѣ, настолько трогательны эти наивныя обращенія къ „великому учителю“, къ дорогому поэту-художнику. Такое паломничество къ его могилѣ бываетъ, однако, не часто. Слишкомъ далеко, никуда не по пути, а жизнь торопитъ, гонитъ; да и память у насъ какая-то короткая. Но если доберешься до цѣли, не сразу найдешь, гдѣ схороненъ великій писатель. Вѣдь это не кладбище Пэръ-Лашеза съ его образцовымъ инвентаремъ художественныхъ, литературныхъ, политическихъ знаменитостей, съ мавзолеями Мольера, Расина, съ статуями и бюстами; это и не Александровская лавра съ ея русскимъ „уголкомъ поэтовъ“, даже не „литературные мостики“ Волкова кладбища, въ такой степени облегчающіе путнику грустный обзоръ погибшихъ надеждъ новой русской словесности. Вы спрашиваете одного сторожа, потомъ

другого, какъ ближе пройти къ могилѣ Гоголя, и они отвѣчаютъ вамъ, что такой не знаютъ.

„Батюшка, кормилецъ нашъ!“—послышалось чье-то всхлипываніе, когда мы подошли къ плитѣ съ извѣстною красно-рѣчивою надписью изъ Іереміи: „горькимъ моимъ словомъ посмѣюся“. Чисто одѣтая старушка слезящимися глазами всматривалась въ нее и отвѣшивала земные поклоны. „Батюшка, Александръ Кирилычъ, голубчикъ!“ — начала она снова. Мы указали ей на ея ошибку, — „вѣдь тутъ лежитъ совсѣмъ другой человѣкъ“... Она не сразу повѣрила, два раза просила повторить имя Гоголя, которое показалось ей нѣмецкимъ, и когда узнала, что ея благодѣтель Александръ Кирилычъ погребенъ въ нѣсколькихъ шагахъ дальше, перенесла къ его памятнику свои искреннѣйшія сѣтованія. Какая жалость, однако! Отличный эффектъ испорченъ,—горе народа надъ прахомъ великаго человѣка...

Но уже надвигаются сумерки; пора покинуть городокъ мертвыхъ. Съ монастырской колокольни раздается вечерній звонъ. Краткій осенній день догорѣлъ. Тѣни все гуще ложатся на тотъ укромный уголокъ, гдѣ теперь уже слабо виднѣется дорогая могила. Мы выходимъ. Снова та же безмолвная картина; окрестность безмятежно засыпаетъ; изъ-за рѣки слышится отвѣтный благовѣстъ Симонова монастыря. Огни еще нигдѣ не зажигались, и скучная жизнь, погружающаяся въ дремоту чуть не при дневномъ свѣтѣ, производитъ въ эту минуту какое-то особенно тягостное впечатлѣніе. Недавнія думы такъ были полны мотивовъ пробужденія, магическаго дѣйствія духовныхъ силъ, торжествующихъ надъ смертію, что эта летаргія—печальный возвратъ къ дѣйствительности. Надвигается сонъ - дрема не на одну эту мирную долину, покрытую тѣми же нехитрыми огородами еще при бояринѣ Кучкѣ; всюду слабѣетъ энергія, парализуются силы, и нѣтъ того человѣка, который способенъ былъ бы разстроить этотъ заколдованный сонъ, поднять упавшій духъ, и (говоря страстною рѣчью Гоголя) „который на родномъ языкѣ русской души нашей сумѣлъ бы намъ сказать всемогущее слово *впередъ*, котораго жаждетъ по-

всюду, на всѣхъ ступеняхъ стоящей, всѣхъ состояній и званій и промысловъ русскій человѣкъ“...

Но прочь унылыя мысли! Вдали какъ-то вдругъ всколебался и сильнѣе зашумѣлъ городъ; языки газа засверкали во всѣхъ направленіяхъ, переливаясь огнями. Жизнь зоветъ къ себѣ. Какова бы она ни была, ее нужно пережить. Изъ преддверія къ царству мертвыхъ вернемся же опять къ жизни, мой благосклонный читатель...

МЕРТВЫЯ ДУШИ.

Глава изъ этюда о Гоголѣ.

„Темно и скромно происхожденіе нашего героя“, — такими словами начинаетъ Гоголь извѣстную біографическую вставку о Чичиковѣ въ концѣ перваго тома „Мертвыхъ Душъ“. Этотъ отзывъ можно всецѣло примѣнить и къ самому произведенію. Въ бѣглыхъ, непритязательныхъ наброскахъ, схватившихъ изъ жизни лишь рядъ смѣшныхъ случайностей, никто не узналъ бы будущей поэмы съ ея двойнымъ предназначеніемъ служить широкой бытовою картиной и философски объяснить смыслъ жизни. Такъ, придя къ источнику многоводной, на весь свѣтъ извѣстной рѣки, не сразу повѣришь, что скромная струйка, которая минутами совсѣмъ пропадаетъ и затѣмъ снова выбивается на волю, можетъ разлиться въ царственный потокъ, обставленный безконечною панорамой лѣсовъ и горъ, громадныхъ городовъ, деревень, покрытой сотнями судовъ.

Авторское самолюбіе могло бы внушить Гоголю желаніе указать въ самомъ зародышѣ его поэмы присутствіе тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ въ послѣдствіи сложилось ея художественное и социальное значеніе. Но съ рѣдкою искренностью онъ самъ настаиваетъ на незатѣйливости и поверхностномъ характерѣ своихъ первоначальныхъ работъ, находя удовольствіе въ частыхъ указаніяхъ на то, что развитіе „Мертвыхъ Душъ“ совершалось постепенно, отражая на себѣ всѣ переходы въ его собственномъ творчествѣ и нравственномъ настроеніи.

Если принять (приблизительно) за точку отправленія въ его работахъ надъ поэмой 1834—35 г. *) и вспомнить, что до самой смерти онъ озабоченъ былъ ея пересмотромъ и исправленіемъ, станетъ ясною первостепенная роль, которую это произведеніе играло въ жизни автора. Изъ двадцати-трехъ лѣтъ его писательской дѣятельности восемнадцать ушло на обдумываніе и создаваніе поэмы, прерываемое томительными періодами недовѣрія къ себѣ и сомнѣній, на страстные приливы творчества, мистическіе восторги и пароксизмы безсилія. Всѣ прочіе замыслы отходятъ на второй планъ; параллельно веденныя работы останавливаются, и то, что начато было въ свѣтлую минуту и казалось „комическимъ анекдотомъ“, который прежде всего долженъ доставить развлеченіе самому рассказчику, стало для него источникомъ великихъ радостей и страданій, наполнило его жизнь, сдѣлалось его призваніемъ. Исторія „Мертвыхъ Душъ“, по выраженію самого Гоголя **), является „исторіею его собственной души“.

Когда онъ приступалъ къ работѣ, сила непосредственного, неудержимаго смѣха, не руководимаго вовсе соображеніями пользы, въ немъ была ключомъ. „Молодость, во время которой не приходятъ на умъ никакіе вопросы, подталкивала“. Стоило захотѣть, и самые затѣйливые, потѣшные лица, образы, сцены сходились, выстраивались, комически перепутывались въ фантазіи. Видѣнное, слышанное смѣшивалось съ „выдуманнымъ“. Намѣтивъ извѣстное смѣшное лицо, легко было представить его себѣ въ различныхъ забавныхъ положеніяхъ, столкнуть его съ другими, столь же мало реальными лицами и, отойдя въ сторону, оставить ихъ выбирать, какъ знаютъ, изъ происшедшей путаницы. Гоголь такъ и дѣлалъ; даже въ позднѣйшіе годы онъ любилъ развлекаться такою игрою воображенія и, на сонъ гря-

*) Эту дату впервые установилъ Н. С. Тихонравовъ, основываясь на внесенныхъ въ записную тетрадь Гоголя, еще неизданную вполнѣ, черновыхъ набросковъ первой редакціи „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“.

**) „Четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу „М. Душъ“ (Выбр. мѣста изъ переп.). Соч. Гог., изд. 10, IV, 86.

душій, устраивалъ, наприм., съ Языковымъ настоящія состязанія въ изобрѣтательности, причемъ оба весело хохотали; характеризующія ту пору его творчества страницы „Авторской исповѣди“ бросаютъ яркій свѣтъ на его первоначальные художественные приемы.

Свойственная чуть ли не всѣмъ истиннымъ весельчакамъ (будетъ ли то замѣчательный комическій актеръ, сатирикъ, юмористъ) смѣна смѣха тоскою, уныніемъ — естественная реакція слишкомъ возбужденной нервной системы — была и тогда уже замѣтна у Гоголя. Но и изъ слезъ зарождался опять смѣхъ, не меланхолическій, а, напротивъ, пуше прежняго бойкій и безотчетный. То было оригинальное средство бороться съ „болѣзненной, необъяснимой тоской“; чѣмъ сильнѣе подступала она, тѣмъ смѣлѣе пытался одолѣть ее еще молодой и бодрый организмъ. И затуманившееся было настроеніе, оставившее свой слѣдъ въ неожиданно грустныхъ страницахъ украинскихъ рассказовъ или петербургскихъ повѣстей, снова прояснялось; въ воображеніи роились десятки, сотни смѣшныхъ тѣней; воплощенные, онѣ становились въ повѣстяхъ и комедіяхъ фланерами Невского Проспекта, департаментскими уродами, купчихами изъ Шестилавочной, уѣздными модницами. Взаимное отношеніе смѣха и слезъ, вѣчно спорившихъ за преобладаніе въ жизни и творчествѣ Гоголя, въ ту пору рѣшительно склонялось къ перевѣсу комизма. Подобно Раблѣ, будущій авторъ „Мертвыхъ Душъ“ находилъ тогда, что „mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme“.

Обиліе матеріаловъ просто подавляетъ его. Нѣтъ еще умѣнья придать имъ стройную форму. Необдѣланные, въ сыромъ видѣ, они тѣсняются отовсюду, и изъ жизни, и изъ фантазій, на страницы каждаго новаго произведенія. Показалось ужъ очень смѣшнымъ появленіе въ гостиной узрѣлой купеческой дочки нѣсколькихъ жениховъ заразъ, съ ихъ различными ужимками и странностями, — пишется комедія „Женихи“, прямо вводящая зрителя въ домашнюю обстановку Агаѣи Тихоновны и еще не вѣдающая вовсе внутренняго міра Подколесина, изобразить который было гораздо труд-

нѣе *). Гдѣ-то подслушанъ или, быть можетъ, въ смѣшливую минуту придуманъ анекдотъ о поручикѣ, принесенномъ въ домъ нравившейся ему дѣвушки въ кулѣ съ перепелками, — и онъ вставленъ въ первоначальный текстъ „Ревизора“; туда же, нѣсколько позднѣе, безъ разбору и, какъ будто, не замѣчая происходящихъ отъ этого длиннотъ, вносятся и хвостовство Хлестакова романическимъ приключеніемъ въ большомъ свѣтѣ, и грубый рассказъ его о кулачной расправѣ на балу. То, что казалось смѣшнымъ, пока не выходило изъ области помысловъ, заносится на бумагу, и неестественность, натянутость нѣкоторыхъ чертъ не бросаются въ глаза. Просто не вѣрится, чтобы Гоголю могло казаться правдоподобнымъ признаніе невѣсты женихамъ, что она долго не выходила къ нимъ, потому что дралась съ кухаркой, или поведеніе мнимаго ревизора, желающаго ослѣпить провинціаловъ свѣтскостію и кладущаго для начала одну ногу на столъ, или же выслушивающаго отъ Марьи Антоновны объясненіе слова *комедія*, которое онъ смѣшивалъ съ артиллеріею **)...

Таковъ, однако, былъ уровень еще нестройнаго гоголевскаго творчества, не освободившагося ни отъ чувствительной реторики прежнихъ лѣтъ, ни отъ непомѣрно развившагося, примитивнаго комизма, въ ту пору, когда рядомъ съ набросками „Ревизора“ мы должны предположить зарожденіе „Мертвыхъ Душъ“ въ видѣ коллекціи портретовъ провинціальныхъ чудаковъ, оригиналовъ и мелкихъ плутовъ.

Самородная художественная сила таилась и тогда подъ густымъ пластомъ, мѣшавшимъ ей вполне развиться. Ничьи совѣты, хотя бы ихъ далъ самъ Пушкинъ, не въ состояніи были бы совершить коренного перелома въ гоголевскомъ творествѣ, еслибы не было этой основы. Но гдѣ-то очень глубоко скрыта была она, и въ то время, какъ поразитель-

*) Отъ нея сохранилось одиннадцать явленій перваго дѣйствія; впервые напечат. въ приложеніи къ „Царю-Колоколу“, 1892 г.

**) „Ревизоръ“. Первоначальный сценич. текстъ, извлеченный изъ рукописей Н. Тихонравовымъ, 1886.

ная наблюдательность могла бы рано навести нашего писателя на изображеніе жизни, какъ она есть, онъ безпечно смѣшивалъ правду съ вымысломъ, въ изображеніи смѣшныхъ сторонъ не могъ удержаться отъ каррикатурныхъ преувеличеній, украинскій бытъ рисовалъ по чужимъ разсказамъ и письмамъ, вводя въ него иногда чудесное не изъ народной сказки, а изъ романтическихъ повѣстей Тика *).

Этой силы не сознавалъ тогда въ себѣ молодой авторъ. *Вполнѣ* онъ ее никогда и не созналъ, но она вдохновляла и поддерживала его, исправляла его житейскія ошибки и колебанія и снова выводила на истинный путь. Подъ конецъ его неудачнаго студенчества она получила въ его глазахъ значеніе идеалистическаго и очень неопредѣленнаго порыва оставить по себѣ прочный слѣдъ, сдѣлать добро людямъ; потому она слыла у него подъ неточнымъ именемъ лиризма и, односторонне понятая, едва не подверглась искаженію; она пережила и крайнее развитіе мистическаго направленія у Гоголя, и внушила ему мучительную мысль о несовершенствѣ дорогой ему поэмы.

Богатая, но никогда не развившаяся во всей своей полнотѣ сила сказывалась уже для внимательнаго наблюдателя-знатока и въ тотъ ранній періодъ, о которомъ идетъ у насъ рѣчь. Онъ могъ отгадать ее и въ тонкомъ психологическомъ *чутьѣ*, и въ гуманномъ чувствѣ ко всѣмъ обездоленнымъ, и въ пробужденіи гражданской скорби, невольно охватывающей сатирика при видѣ непрогляднаго невѣжества, варварства и безправія, съ грѣхомъ пополамъ прикрытаго мишурнымъ столичнымъ блескомъ. Эти свойства, въ связи съ неисчерпаемымъ родникомъ смѣха, должны были казаться стороннему наблюдателю настоящимъ кладомъ. Но недавнему новичку-литератору нужно было сначала объяснить, что онъ — владѣлецъ такого клада.

Въ этомъ—великая заслуга Пушкина. Быть можетъ, не сразу понялъ онъ значеніе своего младшаго друга, и, лас-

*) На вліяніе Тиковой повѣсти „Liebeszauber“ на „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала“ указывалъ еще Надеждинъ въ „Телескопѣ“ 1831 года.

ково встрѣтивъ его „Вечера на хуторѣ“, оцѣнили прежде всего рѣдкое дарованіе „юмориста“, затѣмъ личныя свойства оригинальнаго и остроумнаго собесѣдника. Но съ каждымъ серьезнымъ шагомъ впередъ онъ не могъ не измѣнять своихъ ожиданій, и требованія его возрастали. По свидѣтельству Гоголя въ „Авторской Исповѣди“, Пушкинъ *давно* склонялъ его приняться за большое сочиненіе, и, очевидно, встрѣчалъ съ его стороны непониманіе или отсутствіе доброй воли, пока однажды, пораженный мастерствомъ, выказаннымъ въ „одномъ небольшомъ изображеніи небольшой сцены“ (какъ туманно выражается Гоголь), которое, однакожъ, поразило его больше всего имъ прежде читаннаго, онъ не возвратился къ любимой темѣ своихъ совѣтовъ съ особенной настойчивостью, которая до того поразила Гоголя, что подробности этой рѣшающей бесѣды запечатлѣлись въ его памяти.

Въ изданныхъ недавно замѣчательныхъ посмертныхъ воспоминаніяхъ С. Аксакова о Гоголѣ, безпристрастный авторъ высказалъ мысль о томъ, что не только Жуковскій, но и Пушкинъ не вполне цѣнили талантъ Гоголя, не придавали ему серьезнаго значенія, восхищаясь только его юморомъ, комизмомъ, способностью изображать пошлость человѣческую, живою образностью создаваемыхъ имъ характеровъ *). Мнѣніе такого свѣдущаго чловѣка, казалось бы, должно умалить значеніе того рѣшающаго вліянія, которое Пушкинъ оказалъ на сатирическую дѣятельность Гоголя. Но это мнѣніе разбивается о показаніе главнаго заинтересованнаго лица, самого автора „Мертвыхъ Душъ“, наглядно передающаго другую бесѣду свою съ поэтомъ, быть-можетъ одну изъ послѣднихъ передъ ихъ разлукой. Дѣло было уже послѣ окончанія первыхъ главъ поэмы „въ томъ видѣ, какъ онѣ были прежде“. Авторъ читалъ ихъ вслухъ, и Пушкинъ, „всегда смѣявшійся при гоголевскомъ чтеніи, началъ становиться все сумрачнѣе, сумрачнѣе, и наконецъ сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произ-

*) „Исторія моего знакомства съ Гоголемъ“. М. 1890, стр. 27—28.

несъ голосомъ тоски: „Боже, какъ грустна наша Россія!“ *). Если Гоголя дѣйствительно тогда же „изумилъ“ этотъ грустный возгласъ поэта, „который такъ хорошо зналъ русскую жизнь, и все-таки не замѣтилъ, что все это была карикатура и выдумка“, и если эта часть воспоминанія о ихъ бесѣдѣ не внушена позднѣйшимъ, не въ мѣру строгимъ, отношеніемъ автора къ своимъ произведеніямъ, роли обоихъ собесѣдниковъ существенно мѣняются. Гоголю еще кажется, что онъ по-прежнему отдался лишь комической импровизаціи, *похожей на жизнь*, а Пушкинъ уже увидалъ въ не-совершенныхъ еще наброскахъ поэмы проявленіе новой стороны дарованія своего друга; правдивое изображеніе жизни его поражаетъ, удручая безотрадностью. Онъ поникъ головой, а неопытный сатирикъ ждалъ смѣха... Кто же изъ двухъ въ ту пору вѣрнѣе „оцѣнилъ“ талантъ Гоголя? **).

Но вліяніе Пушкина слѣдуетъ точнѣе опредѣлить, съ тѣмъ чтобы степень самостоятельности прогресса гоголевскаго творчества ясно обозначилась. Неумѣренные поклонники автора „Онѣгина“ склонны видѣть въ „Ревизорѣ“, а стало-быть и въ первыхъ главахъ „Мертвыхъ Душъ“, слѣды активнаго вмѣшательства Пушкина; они какъ будто готовы оставить Гоголю все непосредственное, веселость, изобрѣтательность, юморъ, а социальный фонъ картины и тонкое пониманіе душевныхъ движеній отвести въ удѣлъ старшему и болѣе опытному руководителю. Изъ того факта, что Пушкину дважды пришлось указать Гоголю на пригодность извѣстнаго житейскаго факта для литературной обработки,

*) Четыре письма и т. д. (письмо 3-е). Соч., IV, 88.

**) Послѣдній печатный отзывъ Пушкина о гоголевскихъ произведеніяхъ (статья въ „Современникѣ“ 1836 года о второмъ изданіи „Вечеровъ на хуторѣ“) замѣчательнъ по прямодушному тону, не стѣсненному соображеніями дружбы или щепетильности. Въ украинскихъ разсказахъ онъ выдѣляетъ прелесть и искренность смѣха, но вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣчаетъ „неровность и неправильность слога, безсвязность и неправдоподобіе нѣкоторыхъ разсказовъ“. Слѣдя за прогрессомъ его творчества, онъ называетъ *Невскій проспектъ* „самымъ полнымъ изъ его произведеній“, *Старосвѣтскихъ помѣщиковъ*—шутливую, трогательную идиллію, которая заставляетъ васъ *смѣяться сквозь слезы грусти и умиленія*“.

чуть не возникла (по крайней мѣрѣ, относительно комедіи) догадка о какомъ-то странномъ авторствѣ на паяхъ.

Гораздо важнѣе этого мнимаго сотрудничества, такъ неправдоподобнаго со стороны поэта, въ чьемъ творчествѣ комизмъ занималъ всегда лишь второстепенное мѣсто, было воспитывающее вліяніе его на мало образованнаго, увлеченнаго внезапною быстротой своихъ писательскихъ успѣховъ и самонадѣяннаго юношу. Указывая ему на высокое значеніе сатиры, заботясь о его художественномъ воспитаніи, ставя ему въ образецъ Мольера и Сервантеса и привѣтствуя каждый шагъ его въ новомъ направленіи, Пушкинъ этимъ самымъ уже отвлекалъ его отъ слишкомъ поверхностнаго отношенія къ жизни, литературѣ и своему призванію. Въ то время, какъ Гоголь могъ беззаботно тратить свое дарованіе на такія бездѣлки, какъ „Носъ“ или „Коляска“, Пушкинъ, радушно встрѣчая ихъ, не переставалъ напоминать ему о необходимости посвятить свои силы большому сочиненію, охватывающему всю русскую жизнь; онъ за него мечталъ о будущности выдающагося романиста и послѣдовательно велъ его къ ней. Когда онъ счелъ его готовымъ для этого дѣла, онъ уступилъ ему сюжетъ, случайно подмѣченный имъ самимъ среди житейской суеты, пересудовъ и анекдотовъ.

Это былъ сюжетъ „Мертвыхъ Душъ“.

Разсказъ о плутоватомъ аферистѣ, воспользовавшемся недосмотромъ въ положеніи о залогѣ помѣщичьихъ имѣній въ опекунской совѣтъ и скупившемъ сотни крестьянскихъ душъ, давно исчезнувшихъ со свѣта, вѣроятно, былъ переданъ, какъ образецъ ловкости, какимъ-нибудь дѣльцомъ Пушкину во время его хлопотъ по залогу и перезалогу отцовскихъ и своихъ деревень въ 1834 году (см. переписку его). Выхваченный прямо изъ жизни, этотъ разсказъ сразу приглянулся поэту, какъ основа для романическаго, нравоописательнаго сюжета. Несмотря на то, что „Капитанская дочка“ съ ея воспроизведеніемъ уже отжившаго быта заслонила, казалось, собою попытки Пушкина изображать въ повѣсти современную ему уѣздную Русь, онъ постоянно возвращался

къ мысли о большомъ романѣ, въ которомъ послѣ характеристики екатерининскаго вѣка и александровской поры выступила бы во всѣхъ своихъ существенныхъ чертахъ окружавшая его дѣйствительность *). Для послѣдней части, конечно, могла дать вполне удобную рамку исторія странствій по всевозможнымъ захоластьямъ ловкаго и неунывающего афериста, сталкивающегося съ множествомъ лицъ; присоединивъ къ прежнему знанію провинціи, которое дало краски для деревенскихъ картинъ „Онѣгина“, много новыхъ данныхъ, добытыхъ въ частыхъ поѣздкахъ по глуши, возобновившихся послѣ его женитьбы, Пушкинъ могъ надѣяться совладать съ трудною задачею, и, „презрѣвъ Фебовы угрозы, унизиться до смиренной прозы“ (Онѣгинъ, III, 13). Ею „Мертвыя Души“, конечно, оказались бы существенно различными отъ гоголевской поэмы уже въ силу несходства дарованій обоихъ романистовъ, но несомнѣнно носили бы на себѣ слѣды внимательнаго изученія народной жизни и изощренной наблюдательности.

Относительно тѣхъ обстоятельствъ, при которыхъ намѣченный для себя Пушкинымъ сюжетъ былъ переданъ имъ Гоголю, есть два противорѣчивыхъ показанія. По словамъ самого Гоголя, поэтъ „отдалъ ему свой собственный сюжетъ, изъ котораго онъ самъ хотѣлъ сдѣлать что-то вроде поэмы и котораго, по словамъ его, онъ бы не отдалъ другому никому“. Напротивъ того, Анненковъ **) опредѣленно заявляетъ, что „Пушкинъ не совсѣмъ охотно уступилъ свое достояніе“, и приводитъ вслѣдъ затѣмъ отзывъ поэта о Гоголѣ, сдѣланный съ добродушнымъ смѣхомъ въ кругу домашнихъ и сводящійся къ протесту противъ захвата чужого добра. Очевидно, во время своихъ частыхъ указаній на необходимость расширить размѣры сатирической картины, Пушкинъ неосторожно, не рѣшивъ еще про себя, вос-

*) Программа содержанія „Русскаго Целамы“ даетъ нѣкоторое понятіе о канвѣ такого нравоописательнаго романа. Соч. Пушкина, изд. Литер. Фонда. томъ IV.

**) Воспоминанія и критич. очерки П. В. Анненкова, 1877, I, „Н. В. Гоголь въ Римѣ лѣтомъ 1841 г.“, стр. 184.

пользуется ли онъ самъ данною фабулой, привелъ ее въ примѣръ Гоголю, быть можетъ, даже показавъ, какіе разнообразныя узоры можно расположить по такой канвѣ. Тщетно стремившись уже нѣсколько времени убѣдить своего друга, онъ могъ думать, что и это указаніе останется лишь доброжелательною проповѣдью; Гоголь, втихомолку набросавшій начальныя главы *своей* поэмы, долженъ былъ изумить поэта и (по крайней мѣрѣ въ первую минуту) возбудить смутное чувство досады и сожалѣнія, показавъ начатое уже осуществленіе плана, еще не выполненнаго въ фантазии его настоящаго творца. Только въ этомъ смыслѣ можно объяснить „неохотно сдѣланную Пушкинымъ уступку“. Во всякомъ случаѣ, если недовольство и возбуждено было, то не надолго, и во все то время, пока „Мертвыя Души“ возникали на глазахъ у Пушкина, авторъ встрѣчалъ съ его стороны лишь глубокое сочувствіе, какъ мы видѣли, далеко опережавшее его собственное пониманіе своихъ силъ.

Мимоходомъ обронено Гоголемъ любопытное указаніе на то, что самъ Пушкинъ замышлялъ обработать данный сюжетъ въ формѣ поэмы. Стало-быть, поразившее многихъ въ послѣдствіи названіе гоголевскаго романа *поэмою* было также указано Пушкинымъ. Но, разумѣется, не въ духѣ свѣтлыхъ и ясныхъ художественныхъ плановъ поэта было присвоить будущему произведенію ту полную таинственнаго символизма основную мысль, которая потомъ въ глазахъ Гоголя оправдывала столь непривычное въ сатирической литературѣ названіе, — да и этотъ символизмъ лишь съ годами проникъ въ „Мертвыя Души“. Если къ какому-нибудь изъ мелкихъ видоизмѣненій родовой формы поэмы (а ихъ въ началѣ нынѣшняго вѣка насчитывался цѣлый десятокъ) Пушкинъ могъ шутя отнести задумываемый имъ романъ, то развѣ къ такъ-называемой „комической поэмѣ“, разумѣется, не вродѣ какихъ-нибудь „Расхищенныхъ шубъ“, а въ освѣженной тонкимъ юморомъ байроновскаго „Донъ-Жуана“ формѣ бытовыхъ очерковъ, введенныхъ въ „Онѣгина“. Но въ словахъ Гоголя есть еще одна цѣнная подробность. У него живо сохранилась въ памяти изъ из-

вѣстной намъ бесѣды съ Пушкинымъ пространная ссылка на примѣръ Сервантеса, „который хотя и написалъ нѣсколько очень замѣчательныхъ и хорошихъ повѣстей, но еслибы не принялся за *Донкишота*, никогда бы не занялъ того мѣста, которое занимаетъ теперь между писателями“; послѣ этой ссылки, очевидно, былъ тотчасъ же рассказанъ въ видѣ образца будущій сюжетъ „Мертвыхъ Душъ“ („и, въ заключеніе всего, онъ отдалъ мнѣ“ и т. д.). Эта близкая параллель между Гоголемъ и Сервантесомъ, „Донъ-Кихотомъ“ и будущею тонко-шутливою поэмою изъ русской жизни, бросаетъ особый свѣтъ на замыселъ поэта, усвоенный въ извѣстной степени и его подражателемъ.

Донъ-Кихоть покидаетъ свое мирное дѣдовское гнѣздо ради осуществленія рыцарскаго идеала, всѣми забытаго и попораннаго, для защиты угнетенныхъ и слабыхъ. Нашему времени уже непонятна эта фантастическая погоня за радужными химерами, и Донъ-Кихоту нашихъ дней приличнѣе другой нарядъ и другія цѣли. Что, еслибы изобразить въ видѣ полной противоположности ламанчскому герою рыцаря наживы, стремящагося не освобождать гонимыхъ, а самому угнетать и разорять, и еслибы такъ же заставить его вѣчно переѣзжать съ мѣста на мѣсто, ища не столько приключеній, сколько возможности совершать, какъ Топтыгинъ у Щедрина, „крупныя, среднія и малыя злодѣяства“?... Мысль о подобномъ переложеніи фабулы Сервантеса на русскіе нравы николаевскихъ временъ легко могла притти на умъ Пушкину и прежде всего должна была рѣшить вопросъ о самой формѣ романа, мѣсто дѣйствія котораго будетъ столько же на большой дорогѣ и проселочныхъ путяхъ, сколько въ четырехъ стѣнахъ помѣщичьяго жилья. Но, продолжая сравненіе, можно подмѣтить и дальнѣйшіе слѣды вліянія, которое могъ оказать испанскій романъ на зарождавшееся произведеніе, — разумѣется, вызывая прямо противоположныя черты. Донъ-Кихоть разгорячилъ свое воображеніе неумѣреннымъ чтеніемъ рыцарскихъ романовъ; ими полна его библіотека, и въ его отсутствіе домашніе безжалостно жгутъ и выбрасываютъ за окно эти зловред-

ныя книги. Чичиковъ ничего никогда не читаетъ, „Герцогиню Лавальеръ“ никакъ не можетъ одолѣть, совсѣмъ случайно узналъ „Посланіе Вертера къ Шарлоттѣ“, которое неожиданно декламируетъ Собакевичу, и превосходно обходится безъ книжнаго балласта. Сервантесъ далъ своему герою въ спутники Санчо, въ которомъ сквозь неотесанность деревенскаго парня сквозитъ народный здравый смыслъ и трезвость сужденій. Крѣпостная среда вытравилъ и умъ, и смѣтку въ Селифанѣ и Петрушкѣ, этихъ совсѣмъ пришибленныхъ оруженосцахъ Чичикова. Въ теченіе десятилѣтняго промежутка, который отдѣляетъ вторую и послѣднюю часть „Донъ-Кихота“ отъ первой, Сервантесъ, точно пожалѣвъ своего несчастнаго и всѣми осмѣяннаго героя, просвѣтляетъ его образъ, выдвигаетъ въ немъ мирныя христіанскія добродѣтели, надѣляетъ его всепрощеніемъ и кротостью и возвращаетъ въ лоно обыкновенныхъ людей. Если не въ Пушкинѣ, то во всякомъ случаѣ въ Гоголѣ, должно было возбудить сочувствіе это зрѣлище искупленія бывшихъ излишествъ и заблужденій, и въ число причинъ, опредѣлившихъ искупительное значеніе второго и третьяго томовъ „Мертвыхъ Душъ“ во внутренней исторіи Чичикова, думается намъ, слѣдуетъ включить и вліяніе „Донъ-Кихота“.

Такъ, подъ впечатлѣніемъ дружескихъ настояній Пушкина, его указаній на великихъ мастеровъ сатиры и обмѣна мыслей о возможности правдиво изобразить всю русскую жизнь, начаты были первыя работы надъ поэмой. Гоголь признается, что, приступая къ труду, онъ „не опредѣлилъ себѣ обстоятельнаго плана, не далъ себѣ отчета, что такое именно долженъ быть самъ герой“. Первая часть этого признанія нуждается въ оговоркѣ: конечно, еще не выработанъ былъ не въ мѣру широкій планъ трехтомнаго романа, становящійся сколько-нибудь яснымъ лишь съ извѣстной перспективы, гдѣ дѣйствующія лица, житейскіе факты отходятъ вдаль, а, заслоняя ихъ, выдвигаются впередъ, связанные развитіемъ одной и той же мысли, главные отдѣлы поэмы. Но основной приѣмъ былъ тогда же намѣченъ и удержанъ навсегда. Стоило хоть немного вдуматься въ пред-

стоявшую сложную задачу, чтобы убѣдиться, что только тогда авторъ въ силахъ будетъ справиться съ нею, если предоставитъ повѣствованію течъ широкою рѣкой, послѣдовательно изображая жизнь. Вводитъ въ него опредѣленную фабулу съ завязкой и развязкой должно было казаться излишнимъ стѣсненіемъ. Чисто-механическая связь отдѣльных походовъ Чичикова поражаетъ и въ окончательной редакціи поэмы, когда *планъ* считался уже выработаннымъ. Случайности скопляются въ подавляющемъ количествѣ, какъ будто шаловливо перебрасывая героя изъ одной обстановки въ другую, отъ Бетрищева къ Пѣтуху, отъ него къ Костанжогло, Кошкареву и т. д. Если *отдѣльнымъ до мелочей* плана и въ послѣдствіи незамѣтно, такъ оно было, разумѣется, и съ самаго приступа къ дѣлу. Каждая глава имѣла значеніе законченнаго эпизода, и могла быть написана отдѣльно, раньше или позже своихъ сосѣдокъ. Романъ не являлся стройнымъ, легкимъ зданіемъ, чудомъ эпической литературы; онъ долженъ былъ представить длинный свитокъ, на которомъ развертывалась безконечная интимная лѣтопись русскихъ деревень и городовъ, испещренная портретами, набросками съ натуры и лишь изрѣдка массовыми картинами быта. Этотъ пріемъ выдержанъ съ большою послѣдовательностью (за исключеніемъ позднѣйшихъ „лирическихъ мѣстъ“) до конца перваго тома; его слѣдуетъ, повидимому, признать одною изъ самыхъ раннихъ примѣтъ гоголевской поэмы; онъ внушенъ былъ давно забытою, но въ свое время распространенною формой „романа-путешествія“ (Reiserroman).

Столько же нуждается въ поясненіяхъ и вторая часть гоголевскаго признанія. Онъ не далъ себѣ отчета въ томъ, что такое именно самъ герой... Въ сравнительно свѣтлый періодъ жизни Гоголя ему ни въ Чичиковѣ, ни въ Хлестаковѣ еще не грезилось аллегорическаго, всеобъемлющаго смысла, и примирительный исходъ судьбы плутоватаго Павла Ивановича не входилъ въ соображенія романиста, — это, разумѣется, не удивительно, и съ этой точки зрѣнія нужно согласиться съ тѣмъ, что авторъ не зналъ тогда, чѣмъ *можетъ сдѣлаться* его герой. Но относительно его нравственныхъ свойствъ и особенностей

характера онъ, конечно, не имѣлъ и въ первыя минуты работы никакихъ сомнѣній. Онъ могъ сначала легче, поверхностнѣе обрисовывать его плутни, отдавая въ послѣдній разъ дань юношескому избытку смѣха, выказывая недостаточную еще художественную зрѣлость, но въ томъ, что ему предстоитъ описывать похождения торжествующаго негодея, искусно раскидывающаго сѣти и предпочитающаго грубой, хищнической наживѣ обворожительную изворотливость и вкрадчивость, онъ не могъ сомнѣваться. На это ему указалъ бы коренной источникъ поэмы, завѣщанный ему Пушкинымъ,—анекдотъ о чиновникѣ-скупщикѣ мертвыхъ душъ, совершавшемъ свои рискованныя покупки, разумѣется, не съ развязностью биржевика, объявляющаго цѣну на товаръ, ходячій на рынкѣ... Намѣреніе избрать центральной личностью въ романѣ человѣка пронырливаго, въ свою очередь, сближало зарождавшіяся „Мертвыя Души“ съ развившимся еще съ XVII-го вѣка на Западѣ „плутовскимъ романомъ“ (Schelmenroman).

Но и на Руси онъ не былъ безызвѣстенъ. Если съ романомъ въ формѣ описанія путешествія мы познакомились лишь въ концѣ прошлаго столѣтія, у Гоголя, желавшаго какъ будто впервые „пристегнуть плутоватаго человѣка“, былъ довольно ранній предшественникъ, недостаточно оцѣненный бытовой рассказчикъ временъ Алексѣя Михайловича, анонимный авторъ „Исторіи о Фролѣ Скобѣевѣ и о стольничьей Ордина-Нащокина дочери Аннушкѣ“ *). Съ рѣдкимъ для своей поры реализмомъ, ни на минуту не впадая въ назиданіе, бойко рисуя московскій и провинціальный бытъ XVII столѣтія, онъ сжатыми чертами, быстро двигая дѣйствіе впередъ, передаетъ рядъ смѣлыхъ и удачныхъ плутней своего героя (въ своемъ родѣ даже собрата Чичикова по профессіи, сутяги, ходящаго по дѣламъ), который во что бы то ни стало хочетъ выбраться изъ низкой доли въ люди, — и достигаетъ своего. Началъ онъ жизнь чѣмъ-то вродѣ однодворца въ новгородской глуши, а подѣ

*) Впервые напечатана въ «Москвитянинѣ» 1853 года.

конецъ является богатымъ зятемъ стольника, быть можетъ, станетъ самъ стольникомъ и будетъ играть вліятельную роль при дворѣ. Онъ никогда не унываетъ, мастеръ притворяться, плутуетъ съ лукавой усмѣшкой, побѣждающей его жертвъ. Въ результатъ получается идущее въ разрѣзъ и съ цѣломудренными требованіями современной автору набожности, и съ позднѣйшими эстетическими правилами, торжество порока и довольно скромный удѣлъ, отведенный добродѣтели. И все это безъ лиризма, безъ вмѣшательства автора, который какъ будто иронически подсмѣивается, передавая то, что дѣйствительно *бываетъ*, что у всѣхъ передъ глазами.

Но если повѣсть о Скобѣевѣ осталась неизвѣстною Гоголю и возбуждаетъ интересъ, какъ ранняя предшественница его поэмы, въ обоихъ видахъ романа, съ которыми сближаются „Мертвыя Души“, у него могли быть болѣе близкія и доступныя ему соотношенія. На одно изъ нихъ (вліяніе „Донъ-Кихота“) пришлось уже указать. Замѣчательное умѣнье воспользоваться формой путевыхъ впечатлѣній для группировки массы лицъ и бытовыхъ сценъ было показано Стерномъ въ „Сентиментальномъ путешествіи“, полномъ вѣчной игры свѣта и тѣней, капризныхъ вспышекъ юмора, обращеній автора прямо къ читателю, быстрыхъ переходовъ отъ слезъ и раздумья къ смѣху. Этотъ типическій складъ разсказа, представляющій просторъ и личнымъ изліяніямъ и наблюденіямъ надъ жизнью и людьми, выработался, конечно, подъ вліяніемъ племенныхъ британскихъ свойствъ, остался почти неподражаемымъ, встрѣтилъ на Западѣ однородное явленіе лишь въ юморѣ гейневскихъ „Reisebilder“, но дѣйствовалъ возбуждающимъ образомъ на многихъ даровитѣйшихъ беллетристовъ. Врядъ ли Гоголь избѣжалъ этого вліянія. Вмѣшательство автора въ разсказъ, особенно часто повторяющееся въ первоначальной редакціи перваго тома „М. Душъ“ *) и вообще непривычное въ тог-

*) „Мертвыя Души“ въ подлинной рукописи автора, сообщ. Е. С. Некрасовой. „Русск. Старина“, 1885, дек. Приведемъ примѣры этихъ устранимыхъ

дашнихъ литературныхъ нравахъ, могло опираться и на примѣръ Пушкина, сдѣлавшаго въ этомъ отношеніи начинъ въ „Онѣгинъ“, и на еще болѣе подходившій по складу таланта юморъ Стерна. Для рѣзкихъ переходовъ изъ одного душевнаго настроенія въ другое, замѣтныхъ и въ раннихъ произведеніяхъ Гоголя, но особенно учащенныхъ въ поэмѣ, точно также англійскій юмористъ могъ служить ободряющимъ образцомъ.

Но нашему автору было еще доступнѣе примѣненіе стерновскаго направленія къ русской средѣ— „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“. Кто былъ такъ близокъ къ Пушкину, какъ Гоголь, тотъ не могъ не воспринять у него интереса къ Радищеву и къ его несчастной книгѣ. Если Пушкинъ до такой степени руководилъ чтеніемъ Гоголя, что, по свидѣтельству Смирновой, заставилъ его прочесть цѣлый рядъ классическихъ произведеній западныхъ литературъ*), то, предлагая облечь будущій романъ въ форму описанія путешествія, онъ не могъ не указать на наиболѣе замѣчательный, хотя и вызывавшій въ немъ нѣкоторыми сторонами недовольство и возраженія, примѣръ такого русскаго произведенія. Для столь чуткаго, болѣзненно отзывчиваго и благороднаго мечтателя, какъ тотъ странникъ, за которымъ скрывается Радищевъ, конечно, не было

въ послѣдствіи личныхъ обращеній: „Будь лучше ты, нежели вы, веселый и прямодушный читатель мой, я съ тобой совершенно безъ чиновъ, и вмѣсто того, чтобы разсказывать, какъ герой нашъ одѣвался, беру тебя за руку и веду прямо на балъ“. — „Было время, когда и я, несмотря на неповоротливость, глядѣлъ въ глаза, старался угадывать желанія тѣхъ, съ которыми мы привыкли быть до приторности учтивыми. А теперь, какъ унесло меня море изъ нашей пространной имперіи, все благоговѣніе, которое питалось въ душѣ къ разнымъ правителямъ канцелярій и многимъ другимъ разнымъ достойнымъ людямъ, испарилось совершенно. Теперь и кланяться не умѣю. Я состарѣлся, нѣтъ гибкости въ костяхъ“.

*) Записки А. О. Смирновой, «Сѣвер. Вѣстн.», 1893, августъ, стр. 268. Списокъ этихъ сочиненій необыкновенно интересенъ; тутъ есть «Essais» Монтаня, «Мысли» Паскаля, «Персидскія Письма» Монтескье, «Сказки» Вольтера, «Характеры» Ла-Брюйера, «Мысли» Вовенарга; есть *весь Мольтеръ и Донъ-Кихотъ*. По совѣту Жуковскаго, Гоголь прочелъ Шекспира, Шиллера и Гете.

мѣста въ гоголевской поэмѣ; вѣдь это былъ такой же Донъ-Кихоть, гнавшійся за идеалами, уже упраздненными екатерининскою реакціей. И его, и испанскаго его собрата замѣнили „хозяинъ-пріобрѣтатель“ Чичиковъ, но въ распорядкѣ сюжета, дорожныхъ думахъ про себя, встрѣчахъ, знакомствахъ, эпизодическихъ разсказахъ, обрисовкѣ немногихъ положительныхъ характеровъ, выступающихъ изъ массы порочныхъ личностей, въ такихъ смѣлыхъ скачкахъ отъ бойкаго комическаго наброска къ мрачной картинѣ торжествующаго зла и лжи, какъ сопоставленіе (въ главѣ: „Спасская Полюсть“) анекдота о выпискѣ устрицъ по казенной надобности съ фантастическимъ появленіемъ истины при самоуправномъ дворѣ,—во всѣхъ этихъ чертахъ „Путешествія“ многое могло руководить Гоголемъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ серьезнѣе сталъ задумываться надъ тѣмъ, какъ справиться съ необъятнымъ содержаніемъ поэмы. Ему и тогда, да и впослѣдствіи чужда была дѣятельная, практическая, общепользная сторона, которая у Радищева составляетъ основу книги, скрашенную беллетристической оболочкой *). Взятънъ того и онъ испытывалъ искреннее негодованіе противъ зла и несправедливости, не вѣдавшее средствъ окончательно побороть ихъ, но все же не дававшее успокоиться, примириться, задремать. На этой почвѣ онъ могъ сойтись съ своимъ стариннымъ предшественникомъ.

Другое русское произведеніе, также внушенное иностраннымъ образцомъ, именно „Gil Blas'омъ“ Лесажа,—„Россійскій Жилблазъ“ **) Нарѣжнаго, неоконченный, подвергшійся гоненію, мѣстами растянутый и вялый, мѣстами замѣчательно смѣлый и остроумный,—было, разумѣется, хорошо извѣстно Гоголю, воспринявшему немало полезныхъ возбужденій у этого земляка своего (въ *Vin* и *Бульбѣ*—изъ *Бурсака*,

*) Плетневъ очень мѣтко ставилъ Гоголю на видъ, что «въ его поэмѣ нѣтъ того, чего мы еще не встрѣчаемъ въ нашей жизни,—серьзнаго общественнаго интереса; онъ возвратилъ обществу то, что оно дало ему».

**) Россійскій Жилблазъ или похождение князя Гаврилы Семеновича Чистикова. Соч. Вас. Нарѣжнаго. Спб., 1814; въ настоящее время это — большая рѣдкость.

въ *Повѣсти объ Иванѣ Ив.*—изъ *Двухъ Ивановъ* или *Страсти къ тяжбамъ*). Въ виды Нарѣжнаго входило постепенно обозрѣть всѣ закоулки русской жизни, но онъ не успѣлъ выполнить своей задачи; отдѣльные эпизоды у него слишкомъ разрастаются, какъ наприм. сатирическая выходка противъ метафизиковъ, риторовъ и семинарскихъ словесниковъ; онъ принужденъ прибѣгать къ аллегорическому переодѣванью, лишь бы коснуться запретныхъ вопросовъ (выводя лицемѣрящихъ и жадныхъ монаховъ подъ видомъ факировъ). Но тамъ, гдѣ ему удается прямо подойти къ русскимъ житейскимъ фактамъ, онъ пролагаетъ дорогу Гоголю, вводя читателя въ помѣщицьи усадьбы, на деревенскую улицу, въ захолустный городъ, старый судъ *). Можно было бы найти даже нѣсколько мелкихъ чертъ совпаденія между обоими романами.

Знакомство съ только-что названными произведеніями, которыя въ различной степени могли помочь Гоголю въ періодъ приступа къ работѣ, почти обнимаетъ собой то, что можно бы назвать литературными источниками „Мертвыхъ Душъ“. Прибавимъ къ этому, чтобы исчерпать вопросъ, нѣсколько примѣровъ позднѣйшихъ частныхъ заимствованій у русскихъ и иноземныхъ писателей, — заимствованій, скажемъ кстати, чаще встрѣчающихся у Гоголя, чѣмъ это обыкновенно думаютъ. Въ началѣ извѣстнаго лирическаго мѣста седьмой главы перваго тома („Счастливы писатель“

*) Вотъ, наприм., бойкая характеристика двухъ сосѣднихъ домовъ: одинъ изъ нихъ «каменный, большой, на верху котораго прибитъ былъ деревянный раскрашенный двоеглавый орелъ. Въ домъ сей входило и выходило множество людей. Входящіе имѣли на лицѣ начертаніе ожиданія, держали въ карманахъ руки и ими помахивали; выходящіе оттуда были печальны, имѣли руки на слободѣ и, одною утирая потъ, другою чешась въ затылкахъ, отходили прочь. Рядомъ стоялъ маленкій, ветхій домикъ съ разбитыми окошками, а надъ дверью прибитый кругъ, на коемъ также нарисованъ двоеглавый орелъ и куда также входило множество народа. Входящіе туда также держали руки въ карманахъ; но разница въ томъ, что на лицахъ выходящихъ, вмѣсто печали, видна была радость, а иные даже припрыгивали отъ удовольствія и весело вскрикивали». Эта характеристика какъ будто заставляетъ предчувствовать близость гоголевской сатиры.

и т. д.) можно найти отголоскъ XI строфы первой главы „Евгенія Онѣгина“ („Свой слогу на важный ладъ настроя“ и т. д.). Чичиковъ, объясняя Лѣницыну необходимость, „чтобы это было въ тайнѣ, ибо не столько самое преступленіе, сколько соблазнъ вредоносенъ“, выражается словами Тартюфа: „le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait; le scandale du monde est ce qui fait l'offense“. Это неожиданное сходство можно сопоставить съ незамѣченнымъ еще, кажется, присвоеніемъ словъ Горация (сатира первая, стихи 69—70): „Quid rides? mutato nomine, de te fabula narratur“, городничему въ „Ревизорѣ“: „Что смѣтесъ? Надъ собой смѣтесъ!“

Но въ такомъ непосредственно связанномъ съ жизнью произведеніи, какъ „Мертвыя Души“, литературные источники естественно должны занимать *второстепенное* мѣсто, и Гоголь съ первыхъ же шаговъ, конечно, увидалъ, что главною его опорой будутъ подлинныя факты, добытые его наблюденіями надъ людьми и нравами. Онъ постепенно убѣждался въ томъ, что у него „только то и выходило хорошо, что было взято изъ дѣйствительности, изъ данныхъ извѣстныхъ ему“.

Лучше всего ему извѣстенъ и понятенъ былъ его же собственный характеръ, который онъ привыкъ анализировать до мелочей еще въ то время, когда въ анализъ не закрадывалось самобичеванія и когда это былъ лишь здравый и строгій судъ надъ самимъ собою, естественное слѣдствіе раздвоенія его натуры на дѣйствующую, страстную, порою слишкомъ подпадающую людскимъ слабостямъ сторону и на элементъ разсудочный, критическій. Онъ самъ признается, что „большую часть своихъ пороковъ и слабостей онъ передавалъ своимъ героямъ, осмѣивая ихъ въ своихъ повѣстяхъ, и такимъ образомъ избавлялся отъ нихъ *навсегда*“ (?),—и въ любопытныхъ воспоминаніяхъ своихъ Арнольди, братъ Смирновой, вполне подтверждаетъ это, ссылаясь „на всѣхъ, кто зналъ Гоголя коротко“ *). Послѣ этого

*) Русск. Вѣстникъ, 1862 г., № 1.

вполнѣ естественно искать, въ числѣ матеріаловъ для романа, и чертъ автобіографическаго характера. Кудрявая витіеватость рѣчей Чичикова въ сильной степени напоминаетъ застарѣлый у самого Гоголя недостатокъ, отъ котораго онъ постоянно стремился избавиться,—склонность къ отборнымъ, красивымъ фразамъ, полнымъ многословія и риторическихъ побрякушекъ. Въ юности его почти всѣ письма, кромѣ непринужденныхъ, дружескихъ, написаны этимъ слогомъ; въ quasi-ученыхъ статьяхъ *Арабесокъ* онъ то-и-дѣло туманитъ изложеніе; сочетаніе его съ неподобно правдивымъ языкомъ петербургскихъ повѣстей или эпилогомъ въ „Тарасу Бульбѣ“ поражаетъ иногда диссонансомъ; въ первомъ томѣ „М. Душъ“ рѣшительный переломъ въ пользу естественности, но прежняя риторика, скрашенная новымъ освѣщеніемъ во вкусъ благочестія, опять всплываетъ въ „Выбранныхъ мѣстахъ“. Но еще отроческія письма Гоголя полны также маниловскихъ оборотовъ. Конечно, самъ Маниловъ не отказался бы написать слѣдующее письмо: „Позвольте, дражайшая маменька, поздравить васъ со днемъ ангела вашего, съ симъ блаженнѣйшимъ днемъ для каждаго нѣжнаго и благороднаго сына. Ваши родительская любовь и нѣжность, ваши благодѣянія, ваши о мнѣ попеченія, все сіе побуждаетъ меня приняться за перо, чтобы изъяснить вамъ свою благодарность. Но, къ несчастію, оно не столь твердо, силы мои такъ слабы, а о благодарности я и думать не могу: она не что иное есть какъ слабая тѣнь, въ сравненіи со всѣмъ тѣмъ, что я вамъ долженъ“ *) и т. д. Гоголю стоило вспомнить слогъ своихъ писемъ этого пошиба, чтобы схватить вѣрный тонъ для рѣчей Манилова (отъ первыхъ строкъ приведенной поздравительной записки такъ и вѣетъ „майскимъ днемъ“ и „именинами сердца“). Но тотъ же строгій къ себѣ судья зналъ въ своемъ характерѣ и слабость, заклеянную имъ въ Хлестаковѣ: „есть во мнѣ что-то хлестаковское“, пишетъ онъ Жуковскому; въ интим-

*) Сочиненія Гоголя, изд. Кулиша, томъ V, стр. 15; также стр. 50, 67 и т. д.

ныхъ бесѣдахъ съ друзьями онъ не таилъ ея, несмотря на присущую ему склонность лишь до извѣстной степени раскрывать имъ свой внутренній міръ; эту черту признаетъ за нимъ сильно любившій его С. Аксаковъ, а изученіе писемъ Гоголя (сообщенныхъ сыномъ Шевырева) привело Ореста Оед. Миллера къ весьма характеристическому вопросу: „какъ помирить хлестаковщину съ геніальностью“ *)?... И вотъ, въ „М. Душахъ“ разбросаны остроумныя выходки противъ суетнаго желанія рисоваться, хвастать, казаться, а не быть, противъ привычки щеголять показными достоинствами. Наконецъ, необходимое для него и, какъ мы видѣли, поддержанное примѣромъ образцовыхъ писателей, развитіе активной роли рассказчика позволило ввести въ романъ многое лично пережитое и передуманное, и самокритику, и самооправданіе. Со временемъ, когда перевѣсъ лиризма въ подобныхъ вставкахъ сталъ придавать личному элементу слишкомъ большое значеніе, Гоголь уже страшился этой склонности и искалъ противовѣса въ усиленныхъ наблюденіяхъ надъ внѣшнею жизнью; прося всѣхъ доставлять ему какъ можно больше этихъ наблюденій, онъ поясняетъ, что иначе „на мѣсто людей высунется его собственный носъ“.

Отъ изученія своего характера легко въ переходъ къ обдумыванію и переработкѣ того, что уже было не только подмѣчено, но и облечено самимъ же авторомъ въ литературную форму и стало его достояніемъ. Это — второй видъ *личныхъ* источниковъ „Мертвыхъ Душъ“, раскрывающій любопытную черту въ творчествѣ Гоголя, постоянное воспроизведеніе группы характеровъ, почему либо рано обратившихъ на себя вниманіе сатирика и затѣмъ не расстающихся съ нимъ, — повторяемость ихъ, обусловленную ихъ видоизмѣненіемъ и болѣе тонкимъ анализомъ **). Такъ какъ первые наброски поэмы и „Ревизора“ совпадаютъ

*) «Русская Старина», 1875, № 9.

**) Нѣсколько примѣровъ ся, взятыхъ изъ украинскихъ повѣстей, приведено г. Шенрокомъ въ „Вѣстн. Европы“ 1890, августъ, стр. 503—504, впоследствии въ „Матеріалахъ для біографіи Гоголя“, I, М. 1892.

по времени,—не удивительно, что между обоими произведениями всего болѣе замѣтна эта связь. Въ языкѣ, пріемахъ, привычкахъ дѣйствующихъ лицъ „М. Душъ“ часто слышатся отголоски чего-то знакомаго. Городничій (который, кстати, въ ранней редакціи названъ полицеймейстеромъ, а на рисункѣ, сдѣланномъ самимъ Гоголемъ, изображенъ даже въ военномъ мундирѣ съ эполетами *), снова оживаетъ въ лицѣ полицеймейстера города N, „всеобщаго благодѣтеля“, у котораго вкусно позавтракалъ Чичиковъ. Онъ беретъ взятки и досаждастъ горожанамъ не хуже Сквозника, но помнитъ, что живетъ не въ захолустѣ, и уже не кормитъ арестованныхъ селедкой и не хватаетъ за бороду, но предлагаетъ купцу сыграть съ нимъ или покататься на его иноходцѣ, и тотъ, очень польщенный, кланяется, катается и проигрываетъ сколько слѣдуетъ. Тяпкину-Ляпкину соотвѣтствуетъ почтмейстеръ Иванъ Андреичъ, тоже дошедшій до всего собственнымъ умомъ (характеръ мнимо глубокомысленнаго судьи, скажемъ мимоходомъ, уже намѣченъ былъ въ „Жил-блязѣ“ Нарѣжнаго и въ комедіи Основьяненка „Пріѣзжіи изъ столицы“, гдѣ онъ носитъ фамилію Спалкина), словоохотливый, любящій читать мудренныя книги и ссылающійся на „Ключъ Натуры“ Эккартсгаузена, какъ Тяпкинь-Ляпкинь на „Дѣянія Іоанна Масона“, выдвигающій въ затруднительныя минуты вычурныя совѣты и объясненія. Анна Андреевна по манерамъ и складу рѣчи—прототипъ „просто пріятной дамы“, тогда какъ въ рассказѣ послѣдней о нетерпѣнии, съ которымъ она летѣла сообщить важную новость пріятельницѣ, звучатъ почти тѣже слова, какъ и въ задыхающейся отъ волненія и столь же фальшивой болтовнѣ жены Луки Лукича Хлопова. Бобчинскій, Добчинскій, Люлюковъ и прочіе мелко-травчатые провинціалы умножились числомъ, взапуски толкуютъ о будущности крестьянъ Чичикова, готовы отыскать ему управляющаго, жену и т. д.

*) Этотъ рисунокъ воспроизведенъ fac simile въ приложеніи къ статьѣ Н. С. Тихонравова: „М. С. Щепкинъ и Н. В. Гоголь“, журналъ „Артистъ“, 1890, кн. 5.

Хлестаковъ ссудилъ нѣсколько чертъ, и въ особенности свое лганье, Ноздреву; теперь онъ сталъ грубѣе, но это потому, что онъ уже не столичная штучка, а размѣнявшійся на мелочи враль, герой губернскихъ ярмарокъ и дворянскихъ сѣздовъ. Мало того, онъ уже не просто любитель картъ, а шулеръ, и этою стороною своей повторяетъ черты, собранныя въ „Игрокахъ“. Очевидно, типъ лжеца былъ предметомъ одного изъ самыхъ раннихъ наблюдений сатирика; обрывки рѣчей, которыми онъ мысленно надѣлялъ такого человѣка, слышатся иногда даже тамъ, гдѣ бойкая находчивость еще не перешла въ привычку лгать. Такъ можно указать на близкое созвучіе между болтовней Хлестакова, Собачкина, Кочкарева и, наконецъ, Ноздрева.

Замѣтно соотвѣтствіе даже между отдѣльными ситуациями въ романѣ и въ комедіи. Совѣщаніе городскихъ сановниковъ по случаю ожиданія ревизора, открывающее собою пьесу, повторено въ началѣ десятой главы перваго тома „М. Душъ“ въ видѣ тревожнаго сѣзда властей города N, ожидающихъ появленія генераль-губернатора, причемъ опять каждый предлагаетъ свои мѣры и щеголяетъ догадливостью. Найденный впоследствии набросокъ окончанія IX главы еще опредѣленнѣе усиливаетъ сходство, такъ какъ тутъ у чиновниковъ внезапно проносится мысль, не есть ли самъ Чичиковъ ревизоръ, и мертвыя души не указываютъ ли на всѣхъ, ложно зачисленныхъ за послѣднее время умершими.

Переходя отъ обзора тѣхъ матеріаловъ для будущей поэмы, которые доставляло изученіе собственного характера или переживаніе преждесозданныхъ образовъ, къ бытовымъ даннымъ, которыя приходилось прямо черпать изъ моря житейскаго, намъ представятся, конечно, сначала тѣ, что имѣютъ отношеніе къ опредѣленнымъ личностямъ, извѣстнымъ автору, а затѣмъ несравненно болѣе многочисленныя, такъ сказать, безыменные, подобранныя имъ по пути или же просто доставленныя другими лицами.

Вопросъ о матеріалахъ, составляющихъ первую изъ этихъ группъ, равносильенъ съ опредѣленіемъ *портретности* изо-

браженныхъ Гоголемъ лицъ. По его же словамъ, онъ никогда не писалъ портрета въ смыслъ простой копии; онъ „создавалъ“ портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе соображенія, а не воображенія. Чѣмъ болѣе вещей принималъ онъ въ соображеніе, тѣмъ вѣрнѣе выходило созданье“ *). Несмотря на то, что онъ прямо указываетъ на собирательный, типическій складъ своихъ характеровъ, изрѣдка встрѣчались указанія на опредѣленные лица, будто бы служившія прототипами его героевъ, причемъ (какъ это сдѣлано было недавно) **) выставялись въ свидѣтели лица довольно авторитетныя. Такъ, для Манилова, въ которомъ даже друзья Гоголя,—наприм., Плетневъ ***),—склонны были видѣть только карикатуру, нашелся оригиналъ, Василій Ивановичъ Юрьевъ, женатый на двоюродной сестрѣ А. Данилевскаго, для Пѣтуха—отставной полковникъ двѣнадцатаго года Федоръ Акимовичъ Данилевскій, для капитана Копейкина нашелся первообразъ въ рязанскомъ разбойникѣ Копейкинѣ, герой народныхъ пѣсень ****). Относительно второго тома вообще нѣсколько больше такихъ указаній: въ свѣтской эмансипированной женщинѣ, въ которую влюбился Платоновъ, авторъ предполагалъ, говорятъ, изобразить Смирнову, въ Кошкаревѣ — Викулина, стараго знакомаго Жуковскаго *****), въ Муразовѣ—откупщика Столыпина, прадѣда лермонтовскаго товарища „Монго“ *****, въ генераль-губернаторѣ—графа А. П. Толстого или же мужа Смирновой, калужскаго губернатора, энергически боровшагося съ шайкой взяточниковъ *****), и т. д. Наконецъ, въ недоучившемся сту-

*) Соч. Гог., 10-е изд., IV, 256.

**) „Н. В. Гоголь и А. С. Данилевскій“, ст. В. И. Шенрока. В. Европы 1890, II, 613.

***) Сочин. и переводы Плетнева, 1885, I, 487.

****) „Нашъ вѣкъ въ историч. пѣсняхъ“. Пѣсни Кирѣевск. X, стр. 105.

*****) Жуковский и его произведенія, И. Загарина, М. 1888, стр. 363.

*****) Биографія Лермонтова, П. Висковатова, Собр. соч., изд. Рихтера, М. 1882, I, 245.

*****) См. любопытную переписку Смирновой съ Гоголемъ въ „Русс. Стар.“ 1890.

дентъ, начитавшемся всякихъ брошюръ, пріятель Гентетникова, нѣкоторые видятъ Бѣлинскаго, выведеннаго въ этомъ видѣ въ отместку за страстное порицаніе „Выбранныхъ мѣстъ“. Но всѣ эти ссылки имѣютъ значеніе лишь потому, что могутъ опредѣлить ближайшій поводъ къ созданію характера, который затѣмъ свободно осложнялся и видоизмѣнялся. Данилевскій, принявшійся перечислять оригиналы гоголевскихъ героевъ, говоря о Чичиковѣ, просто назвалъ его „общимъ знакомцемъ“. Расширивъ смыслъ этого заявленія, его можно повторить и о другихъ лицахъ одинаковой съ нимъ художественной силы. И Собакевичъ, и Коробочка — „всеобщіе знакомцы“, и потому-то стали типами кулака и вѣчно плачущейся скопидомки.

Если число сколько-нибудь опредѣленныхъ оригиналовъ дѣйствующихъ лицъ поэмы очень ограничено, и Гоголя нельзя назвать „портретистомъ“, то тѣмъ обширнѣе и сложнѣе должны быть тѣ общіе матеріалы, изъ которыхъ слагалась картина русской жизни. Искреннее влеченіе къ реализму и правдѣ стало отличительною чертой его творчества съ той поры, когда „романтическій его періодъ“ (очень удачно названный такъ Н. С. Тихонравовымъ) уступилъ мѣсто серьезному изученію дѣйствительности. Его томить неудовлетворенность; его бѣсятъ и возмущаютъ фальшиво задуманныя и столь же ложно изображаемыя современными романомъ и комедіею тѣни, выдаваемые за живыя лица, и онъ страстно призываетъ писателей и актеровъ-художниковъ приступить, наконецъ, къ вѣрному изображенію настоящихъ русскихъ людей. „Русскаго мы просимъ! Своего давайте намъ! Что намъ французы и весь заморскій людъ! Развѣ мало у насъ *нашихъ* плутовъ, которые тихомолкомъ употребляютъ во зло благо, изливаемое на насъ правительствомъ нашимъ, которые превратно толкуютъ наши законы, которые, подъ личиною кротости, подъ рукою дѣлаютъ дѣлишки не совсѣмъ кроткія. Изобразите намъ *нашего* честнаго, прямого человѣка, который среди несправедливостей, ему наносимыхъ, остается непоколебимъ въ своихъ положеніяхъ“, — такъ вписалъ онъ въ 1835 году въ свою за-

писную книгу *) бѣглыя замѣтки, внушенныя состояніемъ тогдашней сцены, но выразившія его собственное настроеніе. Если именно въ эту пору начинали умножаться набросанные, по его обыкновенію, на отдѣльныхъ лоскуткахъ отрывки будущихъ „М. Душъ“, то, конечно, и онъ самъ долженъ былъ желать на дѣлѣ показать, *какъ слѣдуетъ* выполнить его совѣты и дать русскому читателю русскихъ же людей. Въ этихъ словахъ выставлена какъ-будто программа всего дальнѣйшаго труда; даже то раздвоеніе задачи правоописателя, которое большею частью относятъ къ позднѣйшему времени, уже установлено здѣсь. Нужно одинаково изображать и *нашихъ плутовъ*, и *нашего честнаго, прямого человека*. Скажемъ больше: предрѣшена не только законность введенія одиночныхъ положительныхъ характеровъ среди скопища негодяевъ, но—совершенно въ духѣ обоихъ послѣднихъ томовъ поэмы—допущена возможность изображать ихъ цѣлыми группами. „Бросьте долгій взглядъ во всю длину и ширину нашей раздольной Россіи: *сколько есть у насъ добрыхъ людей*, но сколько есть и плевелъ, отъ которыхъ житья нѣтъ добрымъ“, читаемъ далѣе въ записной книгѣ.

Но во всякомъ случаѣ и честныхъ, и порочныхъ людей этихъ нужно было изучить въ ихъ подлинной житейской обстановкѣ. Насколько же зналъ жизнь Гоголь въ ту пору, когда принимался за свой трудъ, и были ли въ его распоряженіи необходимыя данныя для будущей картины *всего* русскаго быта? Способностью сердцежденія былъ онъ одаренъ въ рѣдкой степени и могъ многое отгадывать, досказывать въ воображеніи, но для новаго труда это было недостаточно, и знаніе многосложныхъ отношеній, изъ которыхъ складывается народная жизнь, способное придать *вообще* вѣрно схваченному характеру взяточника, крючкотвора или честнаго труженика отпечатокъ его національности, общества и времени, это знаніе было безусловно необходимо. Но Гоголь въ 1834—36 годахъ всего ближе зналъ жизнь Украины, а изъ великорусской дѣйствительности—лишь Петербургъ,

*) Отрывки изъ нея въ „Артистъ“ 1890, кн. 5, стр. 85—86.

тонко изученный имъ. Москва была отчасти извѣстна ему, благодаря краткимъ остановкамъ въ ней по пути, а русская глушь была знакома, благодаря довольно однообразнымъ маршрутамъ, которые помогали ему, истомленному душевнымъ одиночествомъ на дальнемъ сѣверѣ, переноситься опять на родину. Эти маршруты почти всегда проводили его къ себѣ прямою линіею отъ Москвы черезъ Тулу, Орель, Курскъ, и затѣмъ обратно. Первый прїѣздъ въ Петербургъ состоялся по бѣлорусской дорогѣ, черезъ Черниговъ, Могилевъ, Витебскъ *). Поѣздка къ крымскимъ грядямъ, если она дѣйствительно состоялась **), опять должна была направить его шаги по излюбленному направлению. Между тѣмъ онъ все глубже проникается мыслью, такъ мѣтко выраженной въ одномъ изъ его писемъ къ Погодину: „вѣдь въ столицѣ нашей чухонство, въ вашей—купечество, а Русь только среди Руси“ ***).

Естественно, что бытовые данныя, имъ собранныя въ ту пору, были взяты прежде всего изъ малорусскаго быта, а затѣмъ уже изъ мастерски подмѣченныхъ мимоходомъ чертъ остальной русской жизни. Онъ самъ сознавалъ минутами неполноту пониманія ея. Даже въ 1836 г., послѣ представленія „Ревизора“, онъ говорилъ въ письмѣ къ Щепкину, что авторскія терзанія были бы для него еще мучительнѣе, „еслибы онъ взялъ что-нибудь изъ петербургской жизни, которая ему больше и лучше теперь знакома, нежели провинціальная“. Если въ названной комедіи многіе въ то время склонны были видѣть изображеніе украинскаго захолустья или, вѣрнѣе, одного изъ тѣхъ городковъ со смѣшаннымъ населеніемъ, что встрѣчаются на порубежной линіи между великорусскимъ міромъ и Малороссіей, то даже на родинѣ сатирика господствовало убѣжденіе, что въ своей поэмѣ

*) „Н. В. Гоголь и А. С. Данилевскій“, ст. В. И. Шенрока, „Вѣсти Европы“ 1890, I, 84.

**) На нее есть указаніе въ официальныхъ бумагахъ, по которымъ составлена статья Н. А. Бѣлозерской: „Н. В. Гоголь, служба его въ Пятріотич. институтѣ“, Русск. Стар. 1887, XII.

***) „Соч. Г.“ изд. Кулиша, V, 195.

онъ главнымъ образомъ имѣлъ въ виду изобразить южно-русскую жизнь. „Малороссы вообще, особенно въ Миргородѣ, терпѣть не могутъ Гоголя за то, что онъ вывелъ ихъ въ смѣшномъ видѣ, и говорятъ, что „Мертвыя Души“ написаны на нихъ же“, писала своей пріятельницѣ В. С. Аксакова, разумѣется, основываясь на свѣдѣніяхъ, сообщенныхъ Гоголемъ.

Зная, что „Русь только среди Руси“, Гоголь не пропускалъ случая извѣдать подлинную жизнь ея. Путешествія доставляли ему любопытныя впечатлѣнія очевидца, но сами эти странствія не имѣли цѣлью изученіе быта, это не были продолжительныя „хожденія въ народъ“, и оттого огромная полоса русской жизни: нравы, характеры и складъ деревенскаго люда,—осталась невѣдомою нашему писателю, не успѣвшему и въ позднѣйшіе годы сколько-нибудь пополнить этотъ существенный пробѣлъ. Въ поѣздкахъ имѣли наибольшее значеніе конечныя точки,—та, которую покидалъ путникъ, стремившійся въ самомъ передвиженіи найти снова душевную бодрость и освѣженіе, и та, что манила его своей нѣгой, ароматнымъ воздухомъ и добродушно-патріархальною средой. По дорогѣ могли встрѣтиться всевозможныя случайности, даже онѣ были чрезвычайно желательны. Если неожиданно лопалась ось, и приходилось по-неволѣ застрять въ какомъ-нибудь городишкѣ по милости „ямщиковъ, кузнецовъ и другихъ дорожныхъ подлецовъ“, эта остановка была для Гоголя настоящимъ событіемъ. Онъ пускался бродить по мѣстечку, ко всему присматривался, все стараясь разузнать, — и надѣлилъ Чичикова своею страстью къ разспросамъ. Онъ самъ, только-что пріѣхавъ куда-нибудь, спѣшилъ завести и съ трактирщикомъ, и съ половымъ, и съ базарнымъ торговцемъ длинныя разговоры о томъ, кто живетъ въ городѣ и по сосѣдству, какіе новости, слухи и толки занимаютъ мѣстный людъ, какъ идетъ торговля и т. д. Арнольди наглядно изображаетъ подобную сцену въ одну изъ послѣднихъ поѣздокъ Гоголя въ Калугу, а самъ писатель въ „Авторской исповѣди“ включаетъ такой способъ собиранія свѣдѣній въ число основныхъ своихъ пріемовъ. Если

же судьба посылала ему, кромѣ того, интересную встрѣчу на постояломъ дворѣ, или въ дорогѣ, съ еще большею поживой заканчивалъ онъ свою поѣздку.

Разумѣется, во всемъ этомъ было слишкомъ много случайнаго. Не такъ поступалъ бы зрѣло обдумавшій свой планъ дѣйствій нравоописатель. Прослышавъ объ ужасающемъ положеніи народныхъ школъ въ Йоркширѣ, Диккенсъ переряживается, принимаетъ чужое имя, вмѣстѣ съ однимъ пріятелемъ отправляется на самое мѣсто свирѣпства йоркширскихъ Кутейкиныхъ, все высматриваетъ и потомъ ярко воспроизводитъ въ своемъ „Николаѣ Никльби“; передъ созданіемъ „Оливера Твиста“ онъ близко изучаетъ плутни приходской благотворительности; въ Нью-Йоркѣ онъ „ходилъ по тюрьмамъ, мастерскимъ, госпиталямъ, полицейскимъ домамъ, выходя въ полночь, пробирался въ каждое воровское гнѣздо, разбойничій притонъ, на матросскія пляски, во всѣ скопища мерзости чернокожей и бѣлой“ *). Въ способности Гоголя довольствоваться гораздо болѣе общими наблюденіями сказывалась сначала та же излишняя увѣренность въ себѣ, которая вплоть до постановки „Ревизора“ дѣлала для него мыслимымъ выполненіе самыхъ сложныхъ и трудныхъ работъ, къ которымъ онъ не былъ подготовленъ,—профессуры, составленія исторіи Малороссіи или историческаго обзора русской критики **). Изумительная даровитость натуры помогала изъ незначительныхъ матеріаловъ извлекать живые и яркіе образы. Съ другой стороны, отвлекало отъ слишкомъ близкаго изученія дѣйствительности сомнѣніе въ практической пригодности его. Онъ мѣтко высказалъ его въ „Исповѣди“, вспоминая неудачу своихъ развѣдокъ: „Я очень долго думалъ, — говоритъ онъ, — о томъ, какимъ бы образомъ узнать многое, дѣлающееся въ Россіи, живя въ Россіи. Развѣздами по государству немного возьмешь: ос-

*) The letters of Charles Dickens, L. 1880, I, 72 — 73, письмо изъ Бальтимора.

**) Предпринять его посовѣтовалъ Гоголю Пушкинъ, но въ черновыхъ бумагахъ не найдено ни малѣйшаго слѣда подобной работы. Вѣроятно, она не удовлетворила его, и онъ, по обыкновенію, сжегъ ее.

танутся въ головѣ только станціи да трактиры. Знакомства въ городахъ и деревняхъ тоже довольно трудны для развѣжающаго не по казенной надобности: могутъ принять за какого-нибудь шпиона, и пріобрѣтешь развѣ только сюжетъ для комедіи, которой имя *безтолковщина*. Когда писались эти строки, воспоминаніе о прежнихъ неудачахъ приведено было для того, чтобъ оправдать долгое житіе автора за границей, гдѣ отъ русскихъ людей, свободнѣе высказывавшихся, чѣмъ дома, онъ, по его мнѣнію, получалъ гораздо больше свѣдѣній о родинѣ. Но если къ матеріаламъ для поэмы нужно причислить и этотъ, совершенно особый, врядъ ли кому-нибудь кромѣ русскаго человѣка понятный, видъ изученія собственнаго отечества за его предѣлами,— Гоголь, не умалчивая объ усилившемся съ годами мучительномъ сознаніи недостаточности собранныхъ имъ данныхъ, не высказывается за необходимость, во что бы то ни стало, непосредственнаго изученія жизни и особыхъ развѣдочныхъ странствій по Руси. Къ этому выводу, однако, рано или поздно онъ долженъ былъ неизбѣжно притти.

Наконецъ, придется отвести не послѣднее мѣсто добыванію бытовыхъ фактовъ при помощи корреспондентовъ, сотрудниковъ, обязанныхъ сообщать романисту все, что они знаютъ, предоставляя ему сдѣлать изъ этого любое употребленіе. Не для „Мервыхъ Душъ“ придумалъ Гоголь столь оригинальное собираніе источниковъ; оно давно уже было ему свойственно. При такихъ же условіяхъ писались „Вечера на хуторѣ“; задуманной „Исторіи о малороссійскихъ казакахъ“ было предпослано печатное обращеніе ко всѣмъ, имѣющимъ въ своихъ рукахъ цѣнные матеріалы, съ просьбой доставлять ихъ автору; совершенно въ томъ же духѣ предисловіе ко второму изданію перваго тома „Мертвыхъ Душъ“ пригласило даже „читателей невысокаго образованія и простаго званія“ присылать свои замѣчанія и дополненія. Но то, что въ послѣднемъ случаѣ сдѣлано было гласно лишь послѣ появленія перваго тома, частнымъ образомъ практиковалось гораздо раньше. Друзья и знакомые получали порученія разузнать и доставить

подробности, необходимы для той или другой главы, почему-нибудь страдавшей неполнотою. Особенно волновало Гоголя плохое знаніе судебных нравовъ и бумажной процедуры. Въ 1835 году онъ озабоченъ тѣмъ, чтобъ ему нашли „хорошаго ябедника“, а въ 1840, уже написавъ тѣ страницы, для которыхъ знакомство съ такимъ специалистомъ по кляузамъ могло быть пригодно, онъ постоянно молилъ С. Т. Аксакова достать „какихъ-нибудь докладныхъ записокъ и дѣлъ“, необходимыхъ для него, чтобы „повѣрить написанныя имъ въ „Мертвыхъ Душахъ“ разныя судебныя сдѣлки Чичикова“, которая, какъ замѣчаетъ Аксаковъ, такъ и остались невѣрными съ дѣйствительностью *). Съ откупщикомъ Бенардаки заводилъ онъ при встрѣчѣ разговоръ о финансовыхъ дѣлахъ, съ Далемъ—о жизни въ провинціальныхъ городахъ и о зарожденіи пролетаріата. Устно переданные друзьями рассказы тѣмъ болѣе находили доступъ въ поэму, что иногда они были художественно изложены. Такъ извѣстно, что и анекдотъ о городничемъ, нашедшемъ себѣ мѣсто въ биткомъ-набитой церкви, и рассказъ „полюби насъ черненькими“ были включены со словъ М. С. Щепкина.

Съ такими данными, первоначально еще болѣе скудными, приступалъ Гоголь въ 1834—35 г. къ своей многолѣтней работѣ. Отъ отдѣльныхъ набросковъ, схватывавшихъ комическія стороны жизни и нанизывавшихъ слышанное, видѣнное или вычитанное, онъ переходилъ къ болѣе серьезному тону рассказа, скрѣплялъ мелкія его частности

*) «Исторія моего знакомства съ Гоголемъ», стр. 39. Въ «Выдержкахъ изъ карманныхъ записныхъ книжекъ» Гоголя, напечатанныхъ Н. С. Тихонравымъ въ приложеніи къ «Царю-Колоколу» 1892 г., находимъ пространнѣйшій очеркъ явныхъ и закулисныхъ отношеній между различными административными и судебными мѣстами, очевидно написанный со словъ какого-нибудь дѣльца и назначенный служить основой для характеристики официального міра провинціи въ «М. Душахъ». Тутъ же сбереглись любопытныя замѣтки для многихъ другихъ частей поэмы: первообразъ одной новгородской фразы, описаніе лица дочери повѣтника, къ которой подлаживался Чичиковъ, сцена гулянья бурлаковъ на Волгѣ, подробныя свѣдѣнія о псовой охотѣ, о птицѣ Мартынѣ и т. д.

общею мыслію, вдумывался глубже въ центральную личность и (подобно тому, какъ онъ превратилъ ничтожнѣйшаго и почти безграмотнаго Скакунова въ типическое лицо Хлестакова) сдѣлалъ Чичикова изъ исполнителя „смѣшного проекта“ настойчивымъ хищникомъ-лицемѣромъ. вмѣстѣ съ „Ревизоромъ“ росла и крѣпла облагороженная идея „Мертвыхъ Душъ“; потрясенія, вынесенныя при постановкѣ комедіи на сцену и впервые раскрытія передъ Гоголемъ удѣлъ сатирика, рѣшившагося сказать обществу всю правду, взволновали, вмѣстѣ съ тѣмъ наполнили его благоговѣніемъ передъ великими судьбы, обрекшей его на подобное служеніе людямъ, и въ то же время рѣшили участь поэмы. Отнынѣ уже нѣтъ возврата къ прежнимъ шаловливымъ наброскамъ; если, слушая *чтеніе* первыхъ главъ, Пушкинъ уже почувствовалъ въ нихъ „незримыя и невидимыя“ тогда не только міру, но и самому автору слезы, то съ этой поры юморъ Гоголя входитъ во всѣ свои права *).

Исторія *текста* „Мертвыхъ Душъ“ еще не написана, хотя много матеріаловъ для нея уже на-лицо. Постепенное превращеніе наброска въ художественную и законченную сцену или описаніе могло бы еще нагляднѣе показать внутреннюю, хоть съ виду и черную, работу автора надъ дорогимъ ему произведеніемъ. Но и рамки статьи для этого тѣсны, да и кромѣ того (надѣмся, въ недалекомъ будущемъ) можно ожидать появленія специальной работы по этому вопросу лучшаго знатока гоголевскихъ рукописей, редактора послѣдняго образцоваго изданія Гоголя **). Есть другія стороны въ исторіи поэмы, которыя до сихъ поръ оставались невыясненными. Перейдемъ къ нимъ.

*) Мысль о томъ, что основой смѣха часто можетъ быть скорбь, о „смѣхѣ сквозь слезы“, была высказана въ нашей литературѣ еще Кантемиромъ. Въ сатирѣ IV (Объ опасности сатирич. сочиненій) онъ говоритъ, что «стихи, что чтецамъ смѣхъ на губы сажаютъ, часто слезъ издателю причиною бываютъ. Знаю, что правду пишу и именъ не значу, смѣюсь въ стихахъ, а въ сердцѣ о злонравныхъ плачу». Это—развитіе мысли, высказанной Буало: *et le mot, pour avoir réjoui le lecteur, a coûté bien souvent de larmes à l'auteur.*

**) Съ грустью вспоминаемъ, какъ судьба разрушила эти ожиданія. Одного изъ учителей нашихъ, Н. С. Тихонравова, не стало...

Со времени выѣзда Гоголя за границу приостановившееся было продолженіе „Мертвыхъ Душъ“ возобновилось. Первые три мѣсяца (іюнь—сентябрь) ушли на быструю смѣну впечатлѣній морского пути, плаванія по Рейну, швейцарской природы, но въ Женевѣ онъ уже испытываетъ желаніе вернуться къ поэмѣ („принимаюсь перечитывать вновь всего Вальтеръ-Скотта, а тамъ, можетъ быть, за перо“), а въ Веве уже „сдѣлался болѣе русскимъ, чѣмъ французомъ“, и это все оттого, „что началъ здѣсь писать и продолжать моихъ Мертвыхъ Душъ, которыхъ было оставилъ“ *). Послѣ этого работа двигается впередъ почти непрерывно; никакія помѣхи не могутъ остановить ее, онъ даже какъ будто придаютъ автору еще болѣе энергии и творческой силы. Онъ пишетъ въ Веве, передъ чудною панорамой голубого озера и савойскихъ Альпъ, — впоследствии въ итальянской остеріи, подъ шумъ и говоръ извозчиковъ и погонщиковъ муловъ, за столомъ, вокругъ котораго они суетятся, бранятся и поютъ. Въдѣ самъ же онъ говоритъ въ письмѣ Шевыреву (августъ 1839 г.), что „всѣ сюжеты почти обдѣлывалъ въ дорогѣ“... Пока здоровье его это позволяетъ, дружно исписываются тетрадки, изъ которыхъ слагается первая редакція поэмы, почти чуждая лирическихъ мѣстъ, скупая и на описанія природы, не знающая ни скорбнаго возгласа надъ погибшимъ Плюшкинымъ, ни блестящей картины заросшаго плюшкинскаго сада, полная свѣта и жизни. Нѣсколько тяжкихъ ударовъ обрушиваются на него: смерть Пушкина, медленное угасаніе молодого Віельгорскаго въ Римѣ на рукахъ Гоголя; собственная хворость усиливается. Какъ будто трудъ долженъ надолго остановиться. Кратковременный пріѣздъ въ Россію въ 1839 г. снова сближаетъ Гоголя съ родною дѣйствительностью; въ Москвѣ онъ продолжаетъ романъ и уже читаетъ друзьямъ первыя шесть главъ. Начатая — было рядомъ съ „Мертвыми Душами“ другая работа, драма изъ малороссійской исторіи **), не выдерживаетъ соперничества,

*) Сочин. Гоголя, изд. Кулиша, т. V, стр. 282, письмо изъ Лозанны.

**) Въ десятомъ изданіи соч. Гоголя напечатаны (впервые явившіеся въ

отходить на второй планъ и, наконецъ, совсѣмъ обрывается. Съ „какою-то бодростью юноши“ онъ принялся въ 1840 г. въ Вѣнѣ за „сюжетъ, который въ послѣднее время лѣнливо держалъ въ головѣ, не осмѣливаясь даже приниматься за него“, и онъ „развернулся передъ нимъ въ величіи такомъ, что все въ немъ почувствовало сладкій трепетъ и онъ, позабывши все, переселился вдругъ въ тотъ міръ, въ которомъ давно не бывалъ, и въ ту же минуту засѣлъ за работу“. Тяжкая болѣзнь въ Римѣ, отъ которой онъ точно чудомъ избавился (ходившій за нимъ Н. Боткинъ никакъ не надѣялся видѣть его здоровымъ), быть можетъ, вызванная непосильнымъ напряженіемъ, изнурила его, -- но проходить два мѣсяца, и онъ снова занятъ „совершенной очисткой перваго тома“, т.-е. второю его редакціей, тогда какъ продолженіе его „выясняется въ головѣ чище, величественнѣе и, можетъ-быть, со временемъ выйдетъ кое-что колоссальное“.

Вотъ въ главныхъ чертахъ внѣшняя исторія поэмы до той важной поры, когда, перебѣливъ, при помощи П. В. Анненкова, писавшаго подъ его диктовку, первый томъ, Гоголь сталъ готовиться къ его печатанію, не предвидя мучительныхъ затрудненій *). Несмотря на перерывы и остановку, это — рядъ настойчивыхъ усилій выполнить задуманное. Не можетъ быть, чтобы такая неутомимая дѣятельность страдала и въ эту пору прежнимъ отсутствіемъ плана, хотя бы и пришлось допустить, что сначала планъ этотъ былъ проще, а со временемъ сталъ принимать „вели-

«Основѣ» 1861 г. и теперь дополненные) наброски и замѣтки, относящіяся къ этой пьесѣ,—единственное, что уцѣлѣло отъ нея.

*) Чего только не говорилось въ вліятельныхъ сферахъ противъ поэмы? То она являлась произведеніемъ безбожнымъ, такъ какъ авторъ своими „Мертвыми Душами“ возстаетъ противъ безсмертія, то государственно опаснымъ, потому что онъ „идетъ противъ крѣпостного права“, то позорящимъ національное достоинство, оглашая, будто „у насъ за два съ полтиной можно купить душу человѣческую“; нескромности капитана Копейкина подрывали честь арміи и т. д. Даже въ тѣхъ исправленіяхъ, которыя, благодаря Никитенко, сдѣлали возможнымъ пропускъ поэмы, бездна трусливыхъ и мелочныхъ придиорокъ.

чественные, колоссальные“ размѣры. Если такъ, въ чемъ же сущность этого плана?

Попробуемъ отвѣтить на это, опираясь прежде всего на данныя, заключающіяся въ самой поэмѣ; придется воспользоваться и тѣми, которыя представляетъ второй томъ,— но въ этомъ не будетъ натяжки. Въ настоящее время можно утверждать, что главнѣйшія лица этого тома были намѣчены тогда же, когда создавались герои предшествовавшей части, что Костанжогло имѣетъ одинаковое старшинство съ Ноздревымъ и Собакевичемъ; приведенный выше отрывокъ изъ записной книги показалъ, что добродѣтельные лица заранѣе были предназначены явиться среди порочныхъ.

Вспомнимъ, какъ обрисованъ Чичиковъ во второмъ томѣ. Онъ сильно помятъ судьбою и ищетъ успокоенія. „Подкопы враговъ“ утомили его; капиталецъ припасенъ. Онъ купить имѣніе, станетъ образцовымъ гражданиномъ, воспитаётъ своихъ дѣтей въ правилахъ добродѣтели. Еще только одна, слишкомъ выгодная, плутня—и онъ закается. Обманное завѣщаніе тетки Хлобуева подписано едва грамотной бабой, подставленной Чичиковымъ. Плутня раскрыта; гибель неизбежна. Чичиковъ валяется въ ногахъ у генераль-губернатора, у себя въ каморкѣ вырываетъ клочьями волосы, рветъ на себѣ фракъ; всѣ мечты покидаютъ его. Сострадательный взглядъ издали слѣдитъ за нимъ. Еслибы съ такою энергіей да пошелъ онъ по доброму пути! — вздыхаетъ о кающемся грѣшникѣ Муразовъ и беретъ на себя вымолить ему если не прощеніе, то возможность скрыться и гдѣ-нибудь въ тиши приняться за свое нравственное перевоспитаніе. Мы не вѣримъ своимъ глазамъ. На убитомъ горемъ лицѣ Чичикова уже мелькнулъ свѣтлый лучъ; онъ будетъ спасенъ! Но психологическое чутье уберегло Гоголя отъ ошибки; Чичиковъ не могъ такъ скоро превратиться въ безкорыстнаго и гуманнаго человѣка, въ сердобольнаго странника. Старое зло еще всплыветъ. И точно, когда является Самосвитовъ съ своимъ сообщеніемъ о возможности уладить дѣло, давъ *на встѣхъ* тридцать тысячъ, Чичиковъ ободрается; хорошій обѣдъ, видъ возвращенной ему шкатулки—вызываютъ пріят-

ное расположение духа. Муразовъ застаётъ его прежнимъ грѣшникомъ, снова вырываетъ его изъ когтей дьявольскихъ—надолго ли? Быть-можетъ, еще пройдутъ годы, прежде чѣмъ грѣшникъ искупитъ искреннимъ раскаяніемъ свое печальное прошлое. Тогда только можетъ раскрыться таинственный смыслъ словъ, которыми авторъ еще въ первомъ томѣ постарался оправдать выборъ такого человѣка въ герои поэмы: „можетъ быть, въ семъ же самомъ Чичиковѣ страсть, его влекущая, уже не отъ него, и въ холодномъ его существованіи заключается то, что потомъ повергнетъ въ прахъ и на колѣни человѣка передъ мудростью небесъ. *И еще тайна*, почему сей образъ предсталъ въ нынѣ являющейся на свѣтъ поэмѣ“.

Эта тайна—вся въ идеѣ нравственнаго возрожденія, возможнаго для самаго презрѣннаго изъ людей. Идея эта также переживаетъ съ Гоголемъ всѣ важнѣйшіе переходы его душевнаго состоянія и, возникнувъ изъ чистаго чувства человѣчности, она съ теченіемъ времени окутывается мистической дымкой, проникается монашескимъ воззрѣніемъ на міръ. Но какъ бы ни было трудно, почти безнадежно, ея выполнение тѣми средствами, которыя даетъ романъ, какъ бы ни противорѣчило ея позднѣйшее примѣненіе первоначально трезвому взгляду на жизнь, такъ рѣшительно оторвавшемуся отъ прѣснаго благодущія Киѣи Мокіевича и стремящемуся во что бы то ни стало доискаться правды,—для непредубѣжденнаго читателя ея основа не утрачиваетъ привлекательности, смягчая многія неровности въ характерѣ Гоголя и посвящая насъ въ его заповѣдный внутренній міръ. Говорятъ, что тотъ, „кто хочетъ понять поэта, долженъ пойти въ его родную страну“. Для Гоголя этой страной была не только многострадальная Русь николаевскихъ временъ, но и міръ его грѣзъ. Намъ нужно послѣдовать туда за нимъ, усвоить себѣ его взгляды и терминологию, и съ его точки зрѣнія охватить широко раскидывавшійся передъ его очами планъ „М. Душъ“.

Было же въ немъ что-нибудь особенно для него привлекательное, если выполнение его могло съ годами представиться

Гоголю главнѣйшимъ подвигомъ, важной нравственной заслугой передъ людьми! По временамъ онъ отваживался заглянуть вдаль и, когда ему вспоминалось, сколько еще остается сдѣлать, у него захватывало духъ. Если близко знавшій его авторскія намѣренія Плетневъ могъ съ 1842 г. заявить, что „то еще впереди, что въ поэмѣ называется дѣйствіемъ, что передъ нами только поднята завѣса для объясненія первыхъ странныхъ шаговъ Чичикова“, что на первый томъ „нельзя иначе смотрѣть, какъ только на вступленіе къ великой идеѣ о жизни человѣка, влекомаго страстями“ *), становится еще понятнѣе сказывающееся во множествѣ писемъ Гоголя безпокойство, съ которымъ онъ смотрѣлъ на бесплодно уходящія годы, сознавая, что силы его слабѣютъ, что онъ принужденъ нѣсколько разъ возвращаться на тѣ же самые слѣды, вѣчно недовольный, и что не доживетъ онъ до блаженной минуты, когда все зданіе поэмы предстанетъ въ его таинственной красѣ. Безпечно бросился онъ когда-то въ волны необъятно разливагося потока. Наконецъ, берегъ показался на горизонтѣ. Боже, только бы доплыть! Но усталыя руки нѣмѣютъ, дыханіе спирается, безпредѣльность усилій наводитъ ужасъ, а та же узкая полоска берега по прежнему неопредѣленно сѣрѣетъ вдали.

Особою таинственностью проникнуты частыя указанія автора на необходимость дѣленія его поэмы на три части, съ особымъ назначеніемъ для каждой и съ неизреченными откровеніями въ заключительной части. Эти намеки какъ будто переносятъ насъ въ средніе вѣка, такъ долго плѣнявшіе своею художественной стороною Гоголя, въ ту пору, когда поэтическая фантазія углублялась въ скрытый смыслъ завѣтныхъ цифръ—трехъ, семи, двѣнадцати. Для автора, думается намъ, тройственное дѣленіе вытекло изъ той же основной идеи возрожденія нравственно погибшихъ людей.

Снова аналогію можетъ дать средневѣковое творчество; мы найдемъ ее въ совершеннѣйшемъ его созданіи, въ „Божественной Комедіи“. Еще отягченный земными помыслами,

*) „Сочиненія и переписка П. А. Плетнева“, 1885, I, 477.

вступает Дантъ въ многотрудное странствіе по загробнымъ мірамъ. Кромѣшный адъ своимъ гуломъ, столами, проклятіями, безстыдной исповѣдью негодяевъ какъ будто еще продолжаетъ иллюзію грѣшной земли, только-что покинутой поэтомъ, а легіоны собранныхъ въ преддверіи равнодушныхъ, безстрастныхъ попустителей зла, не стяжавшихъ жизнью ни позора, ни хвалы, придаютъ еще болѣе реальности сходству. Но скопленіе ужасовъ и злобы поднимаетъ со дна души скорбь о несчастныхъ. Вся природа челоуѣка взываетъ къ милосердію, и, отдавшись теченію подземнаго потока, странники снова выходятъ къ свѣту, простору и привѣтливо мерцающимъ звѣздамъ. Но пройдена лишь часть пути. Впереди трудное восхожденіе по уступамъ горы Чистилища до самой ея вершины. Опять идутъ они мимо множества тѣней, слышать отголоски земныхъ страстей и несчастій, но уже примиреніемъ и кротостью вѣтъ отъ страдальческихъ образовъ. Прежніе гордецы самоотверженно служатъ ближнимъ; тѣ, кто заставлялъ плакать другихъ, сами льютъ слезы, властители сознаются въ своемъ безсиліи, скупцы готовы раздать все свое достояніе, яростные враги обнимаются. Нѣтъ болѣе дикихъ воплей; незримые хоры поютъ: „блаженны нищіе духомъ“, а надъ всѣмъ этимъ разсвѣтомъ вьются легкіе, воздушные женскіе образы — Лючія, Матильда, Беатриче. Одна за другою возносятся къ райскимъ жилищамъ покаившіяся и искупленныя души; съ чела поэта исчезаютъ таинственныя письма, символы его грѣховъ; волны рѣки забвенія уносятъ воспоминаніе о прежнемъ грѣховномъ его существованіи, и, жизнерадостный, вступаетъ онъ въ царство свѣта, счастья и мудрости, окруженный лучезарными видѣніями, создать которыя могъ только средневѣковой поэтической мистицизмъ.

Изъ легендарной обстановки скорбнаго „хожденія по мукамъ“ перенесемся въ прозаическое странствіе Чичикова по столбовымъ русскимъ дорогамъ 30—40 годовъ, совершаемое въ „рессорной небольшой бричкѣ, въ какой ѣздятъ холостяки“. Мелькаютъ деревенскіе и губернскіе типы и сцены, несущаяся тройка окутываетъ облаками пыли окрест-

ность. Повѣствованіе выдержано въ удивительно безпристрастномъ тонѣ; юморъ почти добродушенъ; никто не страшенъ, ни позорно смѣшонъ, всюду тишь и гладь. Но, невидимая сначала, печальная тѣнь поэта какъ будто сопутствуетъ кругленькому, довольному собою герою. Порою слышится грустный вздохъ, лирической возгласъ; вдругъ обнажится такое горе, которое способно разогнать все веселое настроеніе, но за думами о нравственномъ паденіи Плюшкина быстро слѣдуютъ совсѣмъ противоположныя сцены. Колеса брички загромыхали по городской мостовой, и трезвая, ни надъ чѣмъ не задумывающаяся, дѣйствительность опять надъ всѣмъ господствуетъ.

Пріемъ новый, полный художественнаго такта и объективности. Но читателю ясно, что для романиста изображаемый имъ міръ чудаковъ и уродовъ давно сталъ синонимомъ тьмы кромѣшной, гдѣ не осталось мѣста ни одному честному влеченію. Однажды самъ авторъ наводитъ на сравненіе съ дантовымъ Адомъ, называя путеводителя, провожавшаго Чичикова съ его друзьями по гражданской палатѣ до залы „присутствія“, новымъ *Виргилиемъ*, „прислужившимся имъ, какъ нѣкогда *Виргилій* прислужился Данту“. Но палата, да и весь старый судъ были только однимъ изъ подраздѣленій или адскихъ рвовъ (*malebolge*) огромнаго темнаго царства; описывая его, Гоголь не разъ долженъ былъ вспоминать о великомъ флорентинцѣ *).

Въ этомъ *Адѣ* не было мѣста для чистыхъ духовъ и добрыхъ, и потому рано высказанное Гоголемъ намѣреніе одинаково изображать и нашихъ плутовъ и честныхъ людей сознательно покинуто; добродѣтельному челоуѣку дана отпуская, развернуто знамя сатиры и обличенія, имѣющаго дѣло только съ порокомъ.

Но вотъ та же испытанная тройка вынесла Чичикова мимо похоронъ прокурора на волю, и въ дорожной пыли исчезла изъ глазъ бричка.

*) За попытку познакомить русскихъ съ поэзіею Данта Гоголь «призывалъ на Шевырева тысячи благословеній». Соч., изд. Кулиша, V, 386.

Когда она снова показывается передъ крыльцомъ тентетниковскаго дома, не только обладатель ея измѣнился и лишь изрѣдка напоминаетъ прежняго Чичикова, — измѣнились и наши прежніе знакомцы, правда, получившіе теперь новыя имена, перенесенные въ иную мѣстность. Если въ Чичиковѣ шевельнулось хоть и не раскаяніе, то все же стремленіе покончить съ прежнею жизнью, на всей линіи (за исключеніемъ сумасшедшаго Кошкарева, обжоры Пѣтуха) чувствуется поворотъ къ чему-то неопредѣленно-хорошему, какое-то томленіе и тревога. Замѣченная нами повторяемость характеровъ, изображенныхъ Гоголемъ, побудившая перенести въ поэму многое изъ „Ревизора“, получила теперь оправданіе и нравственное примѣненіе.

Непригодный для практической жизни Маниловъ, запустившій и свои, и крестьянскія дѣла, сладко мечтая и прозябая въ безопасности, снова оживаетъ въ лицѣ Тентетникова, но уже въ него вложено облагораживающее начало. И въ прошломъ онъ испыталъ честныя, молодыя стремленія къ общему благу, невѣдомыя его предшественнику, который вообще какими-то неисповѣдимыми судьбами вынесъ приторный идеализмъ изъ старой армейской службы, — да и въ данную минуту его еще томятъ смутные порывы, пробивающіеся сквозь кору обломовщины. Если Улинька станетъ его женой, — конечно, поддержка энергической и правдолюбивой подруги подниметъ его изъ жалкой спячки. Но вѣдь и Хлобуевъ — изъ той же семьи неудачниковъ. Онъ пошелъ еще дальше, все и всѣхъ пустилъ по міру, изломалъ воспитаніе своихъ дѣтей похуже Θεμισтоклуса и Алкида и въ безпорядочной смѣси слилъ обрывки религіозности и слабые отголоски университетской науки съ остроумной болтовней, привычками навязчиваго хлѣбосола. Съ той строгой точки зрѣнія на „обязанности помѣщика“, которая проводится въ первомъ томѣ, а затѣмъ параллельно въ „Выбранныхъ Мѣстахъ“ и во 2-й части поэмы, такая порочная небрежность заслуживала примѣрнаго наказанія. Но и для этого несчастнаго открывается возможность очистительной жертвы. Когда, подъ вліяніемъ увѣщаній Муразова, Хлобуевъ

поборовъ въ себѣ барскія преданія, надѣваетъ сибирку, уходитъ надолго въ народъ собирать на церковь, тайно раздавать подаянія и смягчать ропотъ въ крестьянствѣ, его образъ перерождается чуть не въ „дядю Власа“. „Въ голосѣ было замѣтно ободреніе, спина распрямилась и голова поднялась, какъ у человѣка, которому свѣтитъ надежда“.

Измѣнился и Собакевичъ, превратившись въ Костанжогло (сначала Гоброжогло и Скудронжогло). Онъ такъ же грубъ и падокъ на рѣзкіе приговоры, такъ же ненавидитъ заморскія новшества и стоитъ за русскую сметку и предприимчивость, проявляетъ такіе же инстинкты кулака, но, по волѣ автора, эти черты смягчаются трезвою философіей труда, близостью къ народу, ролью благодѣтеля края, ненавистника несправедливости. Замыселъ, конечно, безнадежный; Костанжогло, какъ и Штольца, для которыхъ народныя трудовыя силы являются лишь аксессуаромъ, подспорьемъ, и которые одинаково отдаются поэзіи личнаго обогащенія, нельзя выставить друзьями человѣчества. Но замыселъ Гоголя все же на-лицо, открывая новые горизонты и для двигателей капитализма.

Для нихъ уготовано еще большее просвѣтленіе. Допотопное купечество, родные Агаѣи Тихоновны, „купчишка Абдулинъ“, гостинный дворъ города N, съ его мошенничествами, подношеніями, кутежами и рысаками,—весь этотъ міръ, еще ожидавшій Островскаго для своего полнаго воспроизведенія, озаренъ тѣми же лучами всепрощенія. Бывшій милліонщикъ Иванъ Потапычъ, бѣвшій не иначе, какъ на серебрѣ, выдавшій дочерей за чиновниковъ, жилъ прежде только для себя и, вѣроятно, ни въ чемъ не отставалъ отъ своей братіи. Несчастное банкротство потрясло и образумило его. Его смиреніе еще краснорѣчивѣе, чѣмъ филантропія Муразова, который, по словамъ Костанжогло, приобрѣлъ состояніе „самымъ безукоризненнымъ путемъ“ и, стало-быть, вслѣдствіе душевной доброты или чьего-нибудь гуманнаго вліянія, никогда не вступалъ на путь порока. Онъ несмѣтно богатъ, но „живетъ какъ мужикъ“. Когда онъ усаживается въ роковую кибитку вмѣстѣ съ Иваномъ Потапычемъ, спѣша

на помощь голодающим крестьянамъ, это соединеніе умудреннаго опытомъ богача съ капиталистомъ - филантропомъ дополняетъ гоголевское чистилище, такъ сказать, коллективнымъ характеромъ изъ міра купеческой наживы.

Лучъ свѣта проникъ и въ русскую школу, ту самую, гдѣ грамматикъ обучалъ Никифоръ Тимофеевичъ Дѣепричастіе, исправлявшій учениковъ ударами линейки, гдѣ хозяйничалъ учитель Чичикова, врагъ развитія и независимости, любитель тишины и хорошаго поведенія *). Ихъ смѣнилъ „несравненный, чудесный воспитатель“ Александръ Петровичъ, прямая противоположность чичиковскаго ментора, поклонникъ „ума“ („я *требую* ума“, говорилъ онъ) носитель какой-то неопредѣленной, но спасительной „науки жизни“. Но добро и зло еще спорятъ о преобладаніи въ школѣ. Улучшеніе, вызванное гуманнымъ педагогомъ, лишь временное. Александра Петровича смѣняетъ формалистъ, на мѣсто развивающихъ знаній становится „мертвая наука“. Очевидно, то блеснуль одиночный лучъ, и русская школа еще долго не выйдетъ изъ чистилища

Должны послышаться новыя рѣчи и въ многогрѣшномъ чиновничествѣ. Старое начало въ послѣдній разъ явится въ мастерски обрисованномъ характерѣ юрисконсульта, но рядомъ съ нимъ, окруженные тою же тьмой крючкотворства, выступаютъ не видные, но честные и трудолюбивые молодые люди въ родѣ того блѣднаго и удрученнаго заботами губерна-торскаго чиновника, который прерываетъ бесѣду своего начальника съ Муразовымъ. Эти одинокіе честные люди мало могутъ сдѣлать; ихъ усилія только напоминаютъ, что въ стоячемъ болотѣ пробуждается жизнь. Старое чиновничество, выставившее Ивана Антоновича Кувшинное Рыло, какъ будто также вступаетъ, однако, въ періодъ исправленія, и во гла-

*) Въ напечатанной впервые Н. С. Тихонравовымъ новой редакціи начальной исторіи Чичикова очень подробно разработана характеристика несчастнаго педагога, согрѣтая гуманнымъ соболѣзнованіемъ, рассказано въ лицахъ посѣщеніе выгнаннаго учителя бывшими его учениками, которые нашли „въ конурѣ изможденный, высохшій скелетъ, валяющійся на соломѣ, и содрогнувшійся при видѣ ихъ“.

въ его шествуетъ само начальство. Губернаторъ города N, мирно вышивавшій по тюлю въ то время, какъ вокругъ шелъ повальный грабежъ, остался далеко позади генераль-губернатора (изъ 2-го тома), который не только умѣетъ грозить, укоромъ растрогивать закоснѣлыя сердца и призывать къ благородству, но готовъ въ смиреніи своемъ, напоминающемъ Муразова (по чьему совѣту онъ собираетъ чиновниковъ), дойти до мольбы, чуть не до колѣнопреклоненія („тотъ самый, у котораго въ рукахъ участь многихъ и котораго никакія просьбы не въ силахъ были умолить, тотъ самый бросается теперь къ ногамъ вашимъ, васъ всѣхъ просить“, — читаемъ въ одной изъ первыхъ редакцій 2-го тома. Соч., 10-е изд., III, 410).

Даже старика Бетрищева, замыкающаго собою небогатый, но полный реализма рядъ военныхъ типовъ у Гоголя (поручикъ Пироговъ, Чертокудкій, Анучкинъ), авторъ надѣлилъ примиряющими чертами. Это не только любовь его къ дочери, но и патриотическая гордость великимъ дѣломъ освобожденія Россіи, въ которомъ ему пришлось участвовать. Его внушительные аллюры, потрясаніе плечъ съ воображаемыми эполетами, важность тона вызываютъ въ читателѣ улыбку, — но не того впечатлѣнія добивался Гоголь въ недошедшей до насъ главѣ, изображавшей примиреніе Тентетникова съ генераломъ. Зашла рѣчь о мнимой исторіи отечественной войны. Желая вывернуться изъ неловкаго положенія, Тентетниковъ переходитъ къ восхваленію единой народной обороны, безчисленныхъ, незамѣтныхъ жертвъ, увлекается вызываемыми имъ образами, „проникся чувствомъ любви къ Россіи. Бетрищевъ слушалъ его съ восторгомъ, и въ первый разъ такое живое, теплое слово коснулось его слуха *). „Слеза, какъ брилліантъ чистѣйшей воды, повисла на сѣдыхъ усахъ. Генераль былъ прекрасенъ“...

*) Въ «Выдержкахъ изъ записн. книжекъ» (Царь-Колоколъ, 1892) есть нѣсколько отрывочныхъ воспоминаній о геройскихъ подвигахъ солдатъ въ 1812 году, быть можетъ, предназначенныхъ, по мнѣнію Н. С. Тихонравова, для второго тома, гдѣ они вошли бы въ воспоминанія Бетрищева.

Настало возрожденіе и для русской женщины. Все разнообразіе отрицательныхъ женскихъ образовъ, прошедшихъ передъ читателемъ въ первомъ томѣ, всѣ эти Коробочки, Маниловы, Θεодуліи Ивановны, дамы пріятныя во всѣхъ отношеніяхъ, оттънялись только силуэтомъ губернаторской дочки, но она слишкомъ ээирна, можетъ плѣнять только потому, что совсѣмъ еще молода, любитъ жизнью, а всего черезъ какой-нибудь годъ, по трезвому сужденію Чичикова, и „изъ нея выйдетъ дрянъ“. Но и для суетной женской натуры, способной погрязнуть въ житейской тинѣ, поэтъ подготовилъ возможность исправленія. Губернаторская дочка и Улинька—натуры, конечно, сродныя, но уже безучастная роль свидѣтельницы несправедливостей и беззаконія немыслима для послѣдней. Она не дастъ поработить себя. Она затруднилась бы выбрать планъ дѣйствій, но умѣетъ возмущаться, протестовать, спорить съ отцомъ, и въ Тентетниковѣ отгадываетъ такое же влеченіе къ добру. При всемъ этомъ авторъ надѣляетъ ее женственностью и изяществомъ, и, какъ доказалъ Н. С. Тихонравовъ, переноситъ на нее черты наиболѣе удавшагося ему женскаго образа, польской панны изъ „Тараса Бульбы“. До значенія положительной личности она еще не доразвилась. Трудно вѣрить, чтобы именно ей предстояло олицетворить „чудную русскую дѣвицу, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души“, что именно она „вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія“. Или Улинька отмѣчаетъ собой переходный фазисъ въ развитіи русской женщины отъ будничной мелкоты до апостольскаго подвига и должна была уступить мѣсто болѣе идеальному лицу, или ей самой предстояло постепенно, на глазахъ читателя, подняться до сильной и активной роли. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ ей пристало при первомъ ея появленіи значеніе тѣхъ еще неясныхъ женскихъ образовъ, которые ласково руководятъ путниками въ дантовомъ Purgatorio.

Итакъ, второй отдѣлъ новой „Божественной Комедіи“ долженъ оставить въ читателѣ убѣжденіе, что для всѣхъ, въ

комъ еще не зачерствѣло сердце, возможно спасеніе. Очищающимъ началомъ должна явиться *любовь*, въ томъ возвышенномъ, мистическомъ, смыслѣ, какой она съ годами получала для Гоголя, — не только культъ женщины, но и стремленіе всего себя отдать на служеніе людямъ-братьямъ. Возможность счастья съ любимой дѣвушкой наполняетъ Тентетникова лирическимъ порывомъ къ добру. Бетрищевъ растрогался, вспомнивъ, что и онъ внесъ лепту въ спасеніе родины. Улинькѣ хотѣлось бы протянуть руку всѣмъ обездоленнымъ. Хлобுவъ и Чичиковъ одинаково идутъ къ нимъ на встрѣчу. Гуманный педагогъ старается отстоять хоть небольшую кучку молодежи отъ всеобщаго паденія. Констанжогло хочетъ примирить свое обогащеніе съ довольствомъ мужика, и, какъ умѣетъ, тоже мечтаетъ о пользѣ края. Даже двумъ эгоистамъ, вѣчно скучающему Платонову и душевно утомленной петербургской „эманципированной“ красавицѣ Чаграповой, съ которой онъ долженъ былъ встрѣтиться (въ утраченныхъ главахъ 2-го тома), чувство любви, внезапно ихъ сблизившее, кажется началомъ новой, полной жизни,—правда, не надолго.

Сила *любви* являлась въ послѣдній періодъ жизни Гоголя предметомъ благоговѣйныхъ его помысловъ. О ней вздыхаетъ онъ (повидимому, не испытавшій ни одной сильной привязанности къ женщинѣ) и къ ней стремится въ одиночествѣ, о ней переписывается и горячо бесѣдуетъ со Смирновой. Онъ хотѣлъ бы достойно прославить эту силу, чье торжество должно положить конецъ парству порочности, и тяготится своею неподготовленностью къ такому подвигу. Странствіе въ Іерусалимъ, молитвы, думы, полная строгаго самоанализа, должны были, по его мнѣнію, облегчить ему трудъ; для того, кто будетъ говорить людямъ о тайнахъ чистилища, необходимо самому покаяться и очиститься. Но ничто не помогало; вѣчно недовольный собою, онъ уничтожалъ все написанное.

Ему не суждено было дожить до созданія третьей, заключительной части поэмы. Врата *Рая* остались закрытыми для привычныхъ спутниковъ его, героевъ „М. Душъ“. Но

замысль поэта можно отгадать, группируя и обобщая намеки и указанія изъ его переписки и воспоминаній его друзей. Последнія, дошедшія до насъ, страницы второго тома несомнѣнно составляютъ отрывокъ его заключительной главы, а не начало 3-го тома, какъ объ этомъ догадывался Трушковскій. Смиранный отъѣздъ Чичикова слишкомъ ясно замыкаетъ второй періодъ его жизни. Затѣмъ онъ можетъ снова явиться лишь вполне преобразившись. Энергія, избытку которой въ немъ удивлялся Муразовъ, должна направиться на служеніе ближнему; только въ такомъ случаѣ будетъ понятно, что „недаромъ такой человѣкъ избранъ героемъ“. Рядомъ съ Чичиковымъ, повидимому, предстояло снова появиться Плюшкину, подъ своимъ ли именемъ или передавъ свое страшное прошлое другому лицу, которое должно изгладить бывшее зло благодѣянiami. По крайней мѣрѣ, на это есть любопытнѣйшее указаніе въ словахъ самого Гоголя: „о, еслибы ты могъ сказать ему то, что долженъ сказать мой Плюшкинъ, *если доберусь до третьяго тома* М. Душъ!“—говоритъ онъ Языкову въ статьѣ „Предметы для лирическаго поэта въ нынѣшнее время“ *). Изъ предшествующихъ этому словъ видно, какое назначеніе ожидало скупца, казалось, въ конецъ погибшаго. Ему предстояло пробудити въ читателѣ горячее стремленіе „спасти свою бѣдную душу“ и отстать отъ мірскихъ соблазновъ. Если лирикъ долженъ „заговорить воплемъ и выставить человѣку вѣдму-старость, къ нему идущую, передъ которою желѣзо есть милосердіе, которая ни крохи чувства не отдастъ назадъ“, то въ этихъ словахъ, снова воспроизводящихъ думы поэта послѣ появленія Плюшкина въ первомъ томѣ, слышится отзвукъ покаянныхъ рѣчей, которыя *самъ Плюшкинъ* долженъ былъ въ послѣдствіи произносить. И въ соотвѣтствіе съ этими рѣчами, думается намъ, человѣку, безплодно накоплявшему богатства, предстояло съ увлеченіемъ безсребренника раздавать ихъ неимущимъ, чтобы хоть на краю гроба примириться съ людьми. Если авторъ нашель

*) Выбр. мѣста изъ переписки съ друзьями. Соч., 10, изд. IV, 73.

возможнымъ надѣлать Костанжогло поэтическими минутами, когда „какъ царь, въ день торжественнаго вѣнчанія своего, сіялъ онъ весь“, и видѣлъ „подражаніе Богу въ твореніи благоденствія вокругъ себя“, то еще привлекательнѣе была мысль придать высшую человѣчность Плюшкину, который уже былъ сначала показанъ счастливымъ семьяниномъ, трудолюбивымъ хозяиномъ, умнымъ, знающимъ жизнь.

Еще выше этихъ раскаявшихся грѣшниковъ должны были стать идеальныя личности, обѣщанныя еще съ перваго тома. „Мужъ, одаренный божескими доблестями“, „чудная русская дѣвица“, полная самоотверженія, несомнѣнно пошли бы во главѣ этихъ чистыхъ и честныхъ личностей. Во второмъ томѣ Гоголю хотѣлось изобразить людей „добрыхъ, вѣрующихъ, живущихъ въ законѣ Божіемъ“,—но, кромѣ Муразова, подъ это опредѣленіе не можетъ вполне подойти ни одинъ изъ героевъ. Царство добрыхъ людей, очевидно, должно было наступить лишь тамъ, гдѣ заключительныя слова примиренія и кротости завершать собой долгую повѣсть о людской злобѣ и душевной чернотѣ. Условія русской жизни въ концѣ сороковыхъ годовъ и еще болѣе зрѣлище политическихъ тревогъ, волновавшихъ Европу и непонятныхъ Гоголю, порождали въ его усталой, больной душѣ представленіе о нравственномъ паденіи современнаго человѣчества. Тотъ, чье настоящее призваніе, по глубокому замѣчанію Жуковского, было монашество, въ комъ вѣчно спорили отреченіе отъ міра и удивительная сила обличающаго смѣха, глубоко скорбѣлъ, какъ будто всюду рушилось все свѣтлое и великое, и это, казалось ему, вдвойнѣ налагало на него обязанность выставить для ободренія современниковъ твердыя основы благородства и христіанской любви. Уже не тономъ моралиста хотѣлось ему заговорить; даже въ письмѣ къ духовнику своему, отцу Матвѣю, (которому, какъ можно предполагать, предстояло *тоже появиться въ третьемъ томѣ* *)

*) Когда Гоголь читалъ Смирновой свой второй томъ и она спросила у него: неужели будутъ въ поэмѣ еще поразительнѣйшія явленія, онъ отвѣчалъ: „погодите, будутъ у меня еще лучшія вещи, *будетъ у меня священникъ*, будетъ откупщикъ, будетъ генералъ-губернаторъ“. Записки о жизни Гоголя,

онъ даетъ себѣ слово избѣгать отнынѣ отвлеченныхъ, дѣланныхъ характеровъ и, отгадывая въ народной массѣ истинно добрыхъ людей (вспомнимъ слова его въ записной книгѣ 1835 г.), выводить ихъ живыми и правдивыми въ поэмѣ; „онъ представить читателю замѣчательнѣйшіе предметы русскіе въ такомъ видѣ, чтобъ онъ самъ увидалъ и рѣшилъ, что нужно взять ему, и, такъ сказать, самъ поучилъ бы самого себя“ *). Но, съ дѣтскихъ лѣтъ склонный къ лирическимъ восторгамъ, онъ врядъ ли могъ бы воздержаться отъ нихъ. Вѣдь давно уже представлялъ онъ себѣ эту блаженную минуту. То, что предстояло повѣдать людямъ, казалось ему прежде достойнымъ воспѣванія лишь въ вдохновенномъ гимнѣ. Въ первоначальномъ текстѣ извѣстнаго мѣста о призваніи обличителя онъ даже не считалъ себя въ силахъ выполнить этого. „Почему знать,—говоритъ онъ,—можетъ быть, будущій поэтъ (*о, какая чудная наирада!*), смятенный, остановится передъ ними; грозная выюга вдохновенія обовѣетъ главу его, потекутъ одѣтыя въ блистанье пѣсни, и еще разъ освѣжатъ міръ“ (Соч. Г., 10-е изд., III, 440). Впослѣдствіи этотъ призывъ къ поэзіи будущего замѣняется таинственнымъ обѣщаніемъ, что изъ устъ *самого сатирика* раздастся со временемъ величавый громъ *друнхъ-рѣчей*.

Къ концу жизни Гоголя отпадаетъ намѣреніе священнымъ ужасомъ и грознымъ величіемъ поразить ослѣпленныхъ людей, и за нѣсколько дней до смерти онъ проситъ тоже едва живого Жуковского помолиться о немъ, „чтобы работа его была истинно добросовѣстна, и чтобы онъ хоть сколько-нибудь былъ удостоенъ пропѣть гимнъ красотѣ небесной“ (Письмо отъ 2 февраля 1852; изд. Кулиша, VI, 553). Точно отголосокъ славословій, раздающихся въ Дантовскомъ „Раю“, слышался въ этомъ заявленіи поэта... Какъ многотрудное странствіе великаго тосканца

1856, II, 227. Ни у кого изъ знакомыхъ со вторымъ томомъ друзей автора нѣтъ указаній, чтобы въ немъ выведено было духовное лицо.

*) Соч. Гоголя, изд. Кулиша, VI, 443.

приводить его къ созерцанію божественныхъ силъ, образующихъ Небесную Розу, и вѣчно женственное начало, *das ewig Weibliche*, воплощенное въ Беатриче, исторгаетъ изъ его устъ пѣсни благоговѣнія и радости, такъ странствіе болѣющаго о людяхъ обличителя по русской землѣ, безчисленныя картины пороковъ и низостей, смѣняющіяся затѣмъ борьбой добра со зломъ, должны были разрѣшиться торжествомъ свѣта, правды и красоты.

Таковъ былъ замыселъ Гоголя. Въ немъ много мистическаго вдохновенія, идеальной вѣры въ самосовершенствованіе; выполнить его могъ бы только средневѣковой поэтъ дантовской силы, еслибы мыслимо было соединеніе въ немъ религиозныхъ восторговъ и гражданской борьбы съ гениальнымъ комизмомъ (изъ всей поэмы Данта только небольшая сцена между бѣсами — *Inferno*, XXI—XXII—способная вызвать улыбку). Гоголь печально заблуждался, думая, что можетъ сладить съ такою задачей. Несмотря на его иноческіе вкусы, порою грозившіе взять верхъ надъ дѣятельнымъ служеніемъ своему народу смѣлымъ словомъ, несмотря на постоянное общеніе съ духовными лицами и чтеніе душеспасительныхъ книгъ, въ немъ не было того пламеннаго религиознаго чувства, которое итальянцу XIII—XIV вѣка внушило бы могучіе гимны и свѣтлыя видѣнія. Такія крайнія мѣры, какъ поѣздка въ Палестину, не помогали, и онъ съ ужасомъ признавался, что и тамъ остался холоденъ. Между тѣмъ все было выношено и продумано внутренно,—только мечты безсильны были воплотиться въ словахъ и образахъ. Еслибы судьба послала Гоголю болѣе долгую жизнь, и третій томъ „Мертвыхъ Душъ“ былъ написанъ, хоть вчернѣ, врядъ ли онъ сколько-нибудь увеличилъ бы его художественную славу.

Рѣдко можно встрѣтить столь глубокое недоразумѣніе, какъ то, которое проходитъ черезъ всю литературную дѣятельность Гоголя. Человѣкъ всю жизнь думаетъ, что главная сила его въ прочувствованной нравоучительной проповѣди, безъ усталы поучаетъ и современное общество, и друзей своихъ („все мораль, да мораль, это хоть

какому святому надѣсть“, жаловался Данилевскій), тогда какъ природа вложила въ него громадный сатирическій талантъ; онъ тщетно борется съ духомъ времени, изливаетъ весь свой лиризмъ въ пророческой книгѣ, и терпитъ тяжкій уронъ; его, какъ обличителя, горячо привѣтствуютъ за общественный подвигъ, а онъ, совершивъ великое, въ ужасѣ озирается на совершенное и готовъ отъ него отречься. Но не вымиравшая жизненная сила поддерживала его въ самыя трудныя времена. Оторванный отъ отечества долгими странствіями, переставшій сообщаться съ новымъ умственнымъ движеніемъ и уходившій, казалось, все дальше и безповоротно въ религіозную экзальтацію, онъ минутами какъ будто совсѣмъ потерянь для литературы. На него вредно вліяетъ группа лицъ, осуждающихъ его прежнюю дѣятельность и настойчиво направляющихъ его къ отшельничеству. Смирнова, еще въ 1840 г. корившая его тѣми „мерзостями, которыя онъ написал“ (изд. Кулиша, V, 426), и впослѣдствіи неразъ становившаяся его духовникомъ; Ѳ. Чижовъ, объяснявшій ему, что „Мертвыя Души его оскорбили не только потому, что камнемъ попали въ мужика, котораго всѣ бьютъ, но, напримѣръ, въ Ноздрева“ *); А. П. Толстой съ своимъ піэтизмомъ **), разныя московскія старушки, строгій отецъ Матвій,—всѣ вліяютъ на него въ духъ, противоположномъ его общественному служенію, свобода котораго и безъ того стѣснена близостью сатирика къ благоволящимъ ему официальнымъ сферамъ. А между тѣмъ, едва его здоровье окрѣпнетъ, или сильное потрясеніе отъ неудачи „Выбранныхъ Мѣстъ“ заставитъ его очнуться и взглядѣться въ себя,—снова беретъ верхъ талантъ сатирика, второй томъ поэмы возрождается изъ пепла, и яркія бытовыя сцены сыплются изъ-подъ пера ***).

*) Письма Чижова къ Гоголю напечат. въ „Русск. Старинѣ“, 1889, августъ.

**) Новые матеріалы для оцѣнки отношеній Гоголя къ Толстому сообщены въ сборникѣ „Въ память С. А. Юрьева“, М., 1891, Е. С. Некрасовой.

***) Толстой передавалъ кн. Д. Оболенскому („Русск. Ст.“ 1873, XII, 944).

Тогда его начинается пуще прежняго глотать мысль, что Россіи онъ не знаетъ, и настаётъ лихорадочное, хотя и запоздалое, собираніе свѣдѣній о ея жизни. „Дальнѣйшее путешествіе отложилъ до другого года,—пишетъ онъ въ 1849 г. граф. А. М. Вьельгорской *),—потому что на всякомъ шагу останавливаемъ собственнымъ невѣжествомъ. Нужно сильно запастись предуготовительными свѣдѣніями затѣмъ, чтобы узнать, на какіе предметы преимущественно слѣдуетъ обратить вниманіе“; онъ „перечитываетъ всѣ книги, сколько-нибудь знакомящія съ нашей землею“, сознаетъ, „какую бездну нужно прочесть для того только, чтобы узнать, какъ мало знаешь ее, и чтобы быть въ состояніи путешествовать по Россіи *какъ слѣдуетъ, смиренно, съ желаніемъ знать ее*“. Внутреннее чувство подсказывало въ такія минуты, что самодѣльные положительныя лица слабы и безжизненны, что добрыхъ людей нужно также отыскивать и изучать, а не творить. Вопреки аскетическимъ вождельніямъ, на время затихшимъ у больного писателя, эти добрые люди возвеличиваются теперь уже не за келейное затворничество, а за пользу ближнимъ, за честную жизнь на міру и съ людьми.

Несмотря на то, что „Мертвыя Души“ навсегда остались торсомъ, великая самородная сила сохранила за художникомъ, который былъ въ состояніи изваять его, неувядающую славу. На границѣ двадцатаго столѣтія, когда міръ, изображенный въ „Мертвыхъ Душахъ“, долженъ казаться давно погребеннымъ, онъ продолжаетъ жить въ сатирическихъ картинахъ или яркихъ портретахъ „всеобщихъ знакомцевъ“.

Значеніе такой силы не могъ не сознавать въ себѣ Гоголь, несмотря на всѣ оговорки, смиренныя, уклончивыя или негодующія возраженія и отрицанія „Выбранныхъ мѣстъ“.

что не разъ, проходя мимо дверей рабочей комнаты Гоголя, слышалъ, какъ онъ писалъ „Мертвыя Души“. Казалось, что онъ съ кѣмъ-то разговариваетъ, иногда самымъ неестественнымъ образомъ. Каждый разговоръ онъ передѣлывалъ нѣсколько разъ, чтобы придать ему вѣрность жизни.

*) „Вѣстн. Европы“, 1889, XI, 148.

„Исповѣди“ и писемъ. „Я самъ писатель, не лишенный творчества; я владѣю также нѣкоторыми изъ даровъ, которые способны увлекать“, говоритъ онъ въ концѣ жизни. Даже въ предсмертные годы онъ въ состояніи былъ испытать приливъ радости, когда замѣчалъ, что творческая способность въ немъ еще не угасла. Передъ отъѣздомъ изъ Москвы, въ 1850 г., когда онъ читалъ знакомымъ, уже слышавшимъ двѣ первыя главы 2-го тома, дальнѣйшія главы, „оказалось, что послѣдующія сильнѣе первыхъ, и жизнь раскрывается чѣмъ далѣе—глубже. Стало быть,—пишетъ онъ гр. А. П. Толстому,—несмотря на то, что старѣю и хирѣю, тѣ же силы умственные, слава Богу, еще свѣжи. А при всемъ никакъ не могу быть увѣренъ за работой. Если не поможетъ Богъ, ничего не выйдетъ. Никогда еще не чувствовалъ такъ ясно, какъ теперь, что за всякой строкой слѣдуетъ взывать: Господи, помилуй и помоги!“ *) Но при такомъ способѣ писанія работа медленно подвигалась впередъ; иногда ее останавливалъ безотчетный, нервный страхъ передъ людскою молвой; къ друзьямъ летѣли записочки, заклинавшія „ради Бога, никому не сказывать о прочитанномъ, не называть мелкихъ сценъ и лицъ героевъ“, потому что „случились исторіи“ (VI, 551).

Тутъ подошла смерть. „Взыскательному“ художнику, испытывшему на писательскомъ поприщѣ гораздо болѣе мукъ, чѣмъ радостей, предстояло сойти съ этого поприща съ недоговоренной рѣчью, непонятыми мыслями. Въ порывѣ крайняго недовольства собою онъ захотѣлъ истребить все написанное для второго тома.

Въ самомъ фактѣ сожженія дорогой для него рукописи не было ничего необыкновеннаго и ненормальнаго. То была его старая привычка. Не такъ ли сжегъ онъ еще въ 1829 г. своего „Ганца Кюхельгартена“, три раза сжигалъ статью о существѣ русской поэзіи (Соч. Г., 10-е изд., IV, 543), и нѣсколько разъ уничтожалъ тѣ же „Мертвыя Души?“ Тяжелое нравственное состояніе его послѣднихъ дней, под-

*) Сборникъ „Въ память С. А. Юрьева“, стр. 267.

тверждаемое показаніями врачей *), внѣ сомнѣнія; но именно въ сожженіи рукописи нельзя видѣть акта безумія и повторять праздную легенду, которая не разъ порождала въ нашемъ искусствѣ неудачныя изображенія его въ видѣ маниака, дико вперившаго взоръ въ догорающіе лоскутки его произведенія. Къ счастью, въ послѣднее время беретъ верхъ другой, правдивый взглядъ на эту тяжелую сцену, и новѣйшій издатель Гоголя могъ уже назвать ее „сознательнымъ дѣломъ художника, убѣдившагося въ несовершенствѣ всего, что было выработано его многолѣтнимъ мучительнымъ трудомъ“.

Потомству нужно во что бы то ни стало найти здѣсь трагедію; оно и не обманется въ своихъ ожиданіяхъ и догадкахъ. Но что трагичнѣе: зрѣлище ли больного, помутившагося разумомъ отъ изнуренія и безсознательно налагающаго руку на то, что для него святѣ всего,—или отчаяніе умирающаго писателя въ виду неизбежной гибели, которая застанетъ прежняго властителя думъ въ безсиліи творчества, и къ дальнему потомству донесетъ лишь смутное воспоминаніе о невыполненной мечтѣ?...

*) „Послѣдніе дни жизни Н. В. Гоголя“, брошюра доктора А. Тарасенкова. Спб. 1857.

Изъ воспоминаній о старомъ другѣ *).

Двадцать лѣтъ зналъ я близко Юрьева, и нарисовать его здѣсь во весь ростъ или дать его „литературный портретъ“ было бы для меня большой отрадой. Но, думается, для такой законченной характеристики еще не настало время, не собраны всѣ матеріалы и нѣтъ еще необходимой исторической перспективы. Теперь умѣстнѣе всего собирать воспоминанія о недавно покинувшемъ насъ другѣ,—а извѣстное дѣло, какъ возникаютъ они: внезапно изъ прошлаго ярко выступаетъ, словно озаренная фосфорическимъ сіяніемъ, отдѣльная, глубже врѣзавшаяся въ память сцена; снова переживаешь ее, видишь человѣка, слышишь звукъ его голоса; выдвигаются другія лица; подробности нанизываются одна на другую. Потомъ новая вспышка; еще одинъ уголокъ заснувшаго царства озарится. Вскорѣ цѣлымъ роємъ кружатся отрывочные образы. Изъ нихъ слагается живое подобіе прошлаго, хотя и лишенное мелочной біографической обстоятельности. Въ этомъ рядѣ миниатюрныхъ набросковъ нѣтъ размаха кисти портретиста, но они сдѣланы съ натуры и притомъ въ разныя времена жизни человѣка, а техническую сторону дѣла вмѣсто художника-спеціалиста взяла на себя память, великая мастерица сберегать надолго лица, звуки, краски и впечатлѣнія.

Таковъ характеръ моихъ воспоминаній. Они—просто рядъ миниатюръ.

*) Напечатано было въ изданномъ мною и Н. И. Стороженкомъ „Сборникѣ въ память С. А. Юрьева“. М. 1891.

I.

Уютная зала. Человѣкъ двадцать, тридцать публики, все знакомой между собой; нѣсколько молодыхъ дѣвушекъ, дѣв-три характерныя старческія головы съ окладистыми бородами и задумчивымъ взоромъ. Всѣ глаза устремлены въ одно направленіе,—въ тотъ уголокъ, гдѣ стоитъ фортепіано, окруженное растеніями въ кадкахъ; оттуда сверкаетъ въ отвѣтъ возбужденный, лихорадочный взоръ, водопадомъ несется рѣчь, прерываемая аккордами на инструментѣ и нѣсколькими тактами речитатива; слегка сѣдѣющія пряди волосъ окаймляютъ умное, выразительное лицо, въ которомъ каждая черта дышетъ порывомъ, тревогой и энтузіазмомъ.

Всѣ заслушались и забылись, точно очарованные. Кто сказалъ бы, въ какихъ невѣдомыхъ краяхъ, куда заноситъ нашу фантазію только музыка, витаютъ они теперь мыслями, забывъ все окружающее, и тѣсныя рамки этой комнаты, и дневныя заботы, и сѣрую природу, въ которой только-что повѣяло весной!... Но на одномъ лицѣ всего живѣе сказываются переживаемыя ощущенія. Это еще не старый, бодрый человѣкъ, съ закинутыми назадъ длинными волосами, съ блаженнымъ выраженіемъ въ широко раскрытыхъ глазахъ, иногда оглядывающихъ слушателей, какъ бы призывая ихъ раздѣлить его восторгъ; какіе-то неясные возгласы одобренія точно невольно вырываются изъ его устъ.

Онъ всѣхъ ближе сѣлъ къ лектору, но ему не сидится; вдругъ онъ поднимается, словно потрясенный чѣмъ-то, жадно вслушивается, вглядывается во что-то въ пространствѣ, и потомъ такъ же безсознательно опускается на свой стулъ, какъ поднялся съ него.

Не первый вечеръ проводятъ они такъ. Въ блестящей импровизаціи слышали они уже объясненіе девятой симфоніи Бетховена, особенностей русской народной пѣсни и т. д.,—все это, перевитое остроумными сближеніями, поэтическими цитатами и нотными примѣрами. Но сегодня лекторъ-художникъ особенно сильно подѣйствовалъ на аудиторію; до сихъ поръ онъ объяснялъ чужія созданія, теперь же неожидан-

но ввелъ слушателей въ тайникъ своего личнаго творчества. Онъ дѣлится съ ними своимъ замысломъ; канва музыкальной драмы уже ясна для нихъ; изъ бытового фона выступаютъ лица; загораются страсти между ними и воплощаются въ звукахъ. Ударяя по клавишамъ послѣ мастерскаго очерка предстоящаго драматическаго момента и напѣвая мелодіи будущихъ арій и хоровъ, композиторъ оживляетъ своимъ огнемъ дребезжащіе звуки фортепіано и совѣмъ необработаннаго голоса. Старая народная жизнь, Русь XVII вѣка, проходитъ яркими картинами въ этой новой музыкальной живописи. Давно ли тотъ же поразительно разносторонній человѣкъ удивлялъ глубокимъ знаніемъ Гетевской поэзіи, цитировалъ Берліоза и Гейне, Шиллера и Рихарда Вагнера, — и вдругъ такой открытый поворотъ къ народности!... Да вѣдь это новая эра въ русской музыкѣ!...

Оттого-то *die stille Gemeinde*, почти сплошь состоящая изъ любителей всего національнаго, такъ радостно настроена сегодня; оттого такъ сіяетъ лицо пожилого энтузіаста, который теперь горячо жметъ руку композитору, только что окончившему свою лекцію, и обнимаетъ его. Онъ необыкновенно счастливъ; вечеръ какъ нельзя болѣе удался; а вѣдь это онъ убѣдилъ Сѣрова подѣлиться съ дружескимъ кружкомъ отрывками изъ неоконченной еще „Вражьей силы“...

Въ такой обстановкѣ и въ такомъ настроении впервые увидѣлъ я Юрьева, и никогда не забыть мнѣ этихъ первыхъ впечатлѣній.

Пошли оживленные толки, возбужденные лекціею; общество разбилось на группы; всего горячѣе, конечно, велась бесѣда въ той изъ нихъ, гдѣ возлѣ Сѣрова, видимо еще не овладѣвшаго собою послѣ своей творческой исповѣди, стоялъ Юрьевъ и говорилъ неистощимо и краснорѣчиво обо многихъ хорошихъ вещахъ, и о будущности русскаго народа, и о славянской взаимности, и объ искусствѣ, громилъ современную безцвѣтность и безличность, и самъ любовался широкимъ горизонтомъ, раскрывавшимся передъ нимъ. Сѣровъ слушалъ его, сочувственно улыбаясь. Хорошо было

смотря на этихъ двухъ, столь схожихъ между собою, старѣющихъ и все еще молодыхъ мечтателей.

А потомъ, за ужиномъ, пошли застольныя рѣчи и тосты. Непривычному человѣку становилось и жутко, и какъ-то особенно свѣтло на душѣ отъ множества возбужденныхъ, смѣло разъятыхъ на части и рѣшенныхъ вопросовъ, которые то и дѣло мелькали передъ нимъ. Заходила ли рѣчь о народѣ, во взглядъ Юрьева на него не было и тѣни сентиментальности и мистическаго благоговѣнія; чувствовалось, что этотъ человѣкъ, и по типу своему такъ живо напоминающій старика-крестьянина, близокъ къ настоящему, не выдуманному народу, знаетъ его, крѣпко любить и жалѣть. Переходили ли къ вопросу о славянствѣ, интересовавшему тогда всѣхъ (и году еще не прошло съ московскаго славянскаго съѣзда), та же гуманность и уваженіе къ правамъ „народной личности“ внушали Юрьеву горячій протестъ противъ тѣхъ изъ вожakovъ московскаго славянофильства, которые на съѣздѣ не сумѣли хотъ на время побрататься со съѣхавшимися славянскими депутатами, и горделиво указывали имъ на подчиненіе и обрусеніе, какъ на единственную ихъ національную будущность. Для всѣхъ, начиная съ польской народности, о которой тогда, послѣ недавняго возстанія, трудно было услышать доброе слово, было свое мѣсто въ той свободной организаціи славянства, за которую ратовалъ Юрьевъ.

Но рамки все раздвигались. Русскій народъ, чуждый властолюбивыхъ замысловъ, входилъ въ братскую семью славянъ, она же—въ широкій общечеловѣческій кругъ, гдѣ съ такимъ же правомъ на развитіе выступали расы, народы, государства. Все громче звучалъ голосъ, восторженнѣе горѣлъ взоръ; вѣрою въ конечную побѣду справедливости дышала рѣчь. Она пестрѣла своеобразными словами и оборотами. Нужно было спѣшить усвоить ихъ значеніе, — тогда еще яснѣе и привлекательнѣе становилось развитіе мысли. Впервые прозвучали передъ новичкомъ такія слова, какъ „хоровое, соборное начало“, „вселенская истина“, „единеніе всѣхъ въ любви“; „вѣчныя начала добра, правды, кра-

соты и свободы“ торжественно осыняли съ своихъ незыблемыхъ пьедесталовъ треволненную жизнь человечества. Все это было необыкновенно свѣжо, своеобразно, не укладывалось ни въ какія общепринятія рамки.

Тотъ общій знакомый, которому я обязанъ сближеніемъ съ С. А., въ извѣстной степени подготовилъ меня къ предстоявшимъ впечатлѣніямъ. „Вы увидите очень умнаго и пристрастнаго человѣка,—говорилъ онъ мнѣ.— Въ немъ сходятся всевозможныя противоположности. Онъ прекрасный математикъ, даже астрономъ, и въ то же время бредитъ Шекспиромъ и Гете; калязинскій землевладѣлецъ, популярный въ своей округѣ, ходитъ тамъ въ народномъ костюмѣ, играетъ у себя вмѣстѣ съ крестьянами на сценѣ, а потомъ углубляется съ Шеллингомъ въ дебри абстрактности; славянофилъ по многимъ мнѣніямъ и по дружескимъ связямъ, но радуется каждому успѣху европейскаго прогресса, съ интересомъ слѣдитъ за самыми смѣлыми направленіями въ наукѣ и жизни“. Все это зналъ я, готовясь къ знакомству, но дѣйствительность превзошла ожиданія.

Слишкомъ очевидно было, что *такой* человѣкъ не можетъ тѣшиться игрою противорѣчій и исканіемъ возбуждающихъ впечатлѣній. Это не дилеттантъ, съ самодовольнымъ эпикурействомъ испытывающій поочередно разнообразныя умственныя наслажденія; это и не Рудинъ, хотя рѣчь его такъ же трогаетъ и увлекаетъ. У этого человѣка есть своя, глубоко имъ продуманная и дорогая ему мысль. До ея осуществленія безмѣрно далеко; идеальный строй жизни, состоящій „изъ разнообразныхъ соединеній свободныхъ личностей, сливающихся въ гармоническомъ хорѣ“, въ которомъ личное примиряется съ общимъ,—одна изъ грезъ, съ незапамятныхъ временъ манившихъ къ себѣ лучшихъ изъ людей; они не уставали напоминать о ней; несмотря на рѣзкое противорѣчіе жизни съ мечтою, говорили о братствѣ въ вѣка хищничества и произвола. Вотъ одинъ изъ такихъ проповѣдниковъ. Передъ его вѣрой въ идею смолкаетъ холодное слово сомнѣнія или житейской

мудрости. Съ такими людьми не станешь спорить, а только порадуешься, что они еще есть между нами.

Но ему слишкомъ тѣсно здѣсь, между четырьмя стѣнами его гостиной или на дружескихъ сборищахъ у послѣднихъ могилокъ славянофильства; ему нужна широкая арена публициста, оратора на общественныхъ собраніяхъ. Наверно за нимъ пойдутъ сотни, тысячи...

Извозищьи санки уносили на разсвѣтъ домой необыкновенно счастливаго молодого человѣка. Среди будничной прозы онъ неожиданно встрѣтилъ свѣтлую, убѣжденную личность, а развѣ это не большое благо?

II.

Три года спустя. На дворѣ трескучій морозъ, но тепло и весело въ комнатѣ. Это та же самая зала, гдѣ когда-то Сѣровъ объяснялъ свою „Вражью силу“, но фортепіано заперто и отодвинуто, и на очереди теперь уже не эстетика. Нѣтъ той благоговѣйной тишины, съ которой всѣ тогда слушали одного. Теперь всѣ говорятъ заразъ, оживленно спорятъ, отодвигаютъ стулья, ходятъ по комнатѣ. То и дѣло раздается звонокъ, и вновь прибывшее лицо, встрѣчаемое шумными возгласами, попадаетъ въ водоворотъ мнѣній и вскорѣ кружится въ немъ вмѣстѣ съ остальными. Гулъ стоитъ въ разогрѣвшемся воздухѣ, насыщенномъ табачнымъ дымомъ, но, всмотрѣвшись въ лица, вслушавшись въ рѣчи, сейчасъ замѣтишь, что это—хорошее возбужденіе, что вызвано оно не разладомъ, а серьезнымъ интересомъ къ одному и тому же дѣлу, которое всѣ хотятъ возможно лучше организовать, да только никакъ не могутъ сговориться, какимъ бы это путемъ сдѣлать.

Между группами похаживаетъ съ довольнымъ видомъ Юрьевъ; то вставляетъ свое слово въ пренія, заронить мысль, другую въ нихъ, то присядетъ на большой диванъ и заведетъ тамъ, среди большого кружка, бесѣду о какомъ-нибудь новомъ и живомъ вопросѣ; какъ будто вспомнивъ о чемъ-то, подойдетъ къ одному изъ гостей, возьметъ его за

руку, ходить съ нимъ взадъ и впередъ; затѣмъ они удаляются по корридору въ кабинетъ и окончательно сговариваются тамъ. Наконецъ оттуда слышны поцѣлуи, и оба возвращаются въ залу съ сіяющими лицами.

Есть чему радоваться: это—если не первый, то одинъ изъ первыхъ редакціонныхъ вечеровъ новаго журнала „Бесѣда“.

Наконецъ найдено настоящее, осязаемое дѣло! Періодъ сборовъ, набрасыванія программъ и системъ, горячихъ рѣчей и призывовъ миноваль. Пришла пора дѣйствовать, высказываться во всеуслышаніе, вліять на жизнь.

И Юрьевъ весь отдался дѣлу. Тотъ, кого близкіе къ нему люди считали симпатичнѣйшимъ идеалистомъ, но слишкомъ увлекающимся, безпечно разсѣяннымъ, мало знающимъ практическую жизнь и совсѣмъ непригоднымъ для многотрудныхъ редакторскихъ заботъ, обнаружилъ рѣдкія свойства публициста и организатора. Недаромъ на его вечеръ большинство гостей—молодые люди, а въ штабѣ сотрудниковъ стоятъ рядомъ имена, бывало разносившіяся по спискамъ самыхъ разнородныхъ лагерей и литературныхъ приходовъ, славянофилы и западники, москвичи и петербуржцы. Онъ одинъ умѣлъ сплотить ихъ, намѣтить для нихъ общія цѣли, раздать между ними работу. Мало того, къ изданію такого своднаго органа онъ склонилъ писателя съ рѣзко опредѣленнымъ положеніемъ въ литературѣ, А. И. Кошелева, покинувшего подъ его вліяніемъ славянофильскую программу своей „Русской Бесѣды“, давно уснувшей сномъ праведныхъ, для попытки сліянія мнѣній.

Но въ планы Юрьева вовсе не входило искусственное образование того чохлаго, всегда недолговѣчнаго компромисса, который въ мірѣ политики носить названіе коалиціоннаго министерства, партіи примиренія и т. д. Его ученіе пыталось кореннымъ образомъ объединить то, что есть вѣрнаго, обезпечивающаго просторъ человѣчеству, въ какихъ бы то ни было теоріяхъ, не допытываясь, кому принадлежали эти догадки. Старое разьединеніе, узкій духъ партійности были ему противны; онъ шелъ своею дорогой

и признавалъ только однихъ противниковъ—защитниковъ застоя и тьмы.

Онъ видѣлъ, что часто на изученіе настоящей крестьянской жизни и ея нуждъ самоотверженно затрачивалось гораздо болѣе усилій людьми изъ того лагеря, который по-прежнему корили европеизмомъ; что современная намъ жизнь западныхъ славянъ съ ея далеко ушедшей культурой и политической борьбой остается невѣдомою его славянофильскимъ товарищамъ, склоннымъ выѣшивать въ подобные вопросы соображенія религіозныя и готовымъ принимать къ сердцу лишь судьбу единовѣрцевъ. Самъ онъ искренно вѣрилъ, но мысль его съ любовью обращалась къ первымъ вѣкамъ христіанства, къ первымъ общинамъ вѣрующихъ, — и это придавало братски-демократическое освѣщеніе его религіознымъ взглядамъ и симпатіямъ.

Съ другой стороны, онъ съ признательностью вспоминалъ завѣты первыхъ славянофиловъ, и особенно любимого имъ Хомякова, доказывая, что всякое національное самознѣніе и исключительность были имъ антипатичны, что гуманная терпимость была ихъ лозунгомъ, часто нарушаемымъ ихъ преемниками. Западный міръ, которому Юрьевъ обязанъ былъ и своимъ широкимъ эстетическимъ образованіемъ, и научнымъ развитіемъ, не могъ представляться ему разлагающимся трупомъ. Напротивъ, гдѣ бы ни проявлялись серьезныя національныя или общественныя движенія, онъ сочувственно отзывался и слѣдилъ за ихъ успѣхами. Онъ твердо вѣрилъ въ возрожденіе Франціи послѣ 4 сентября и не влюбилъ Тьера, въ которомъ видѣлъ мертвящую безличность и непониманіе духа времени. Ему казалось, что отовсюду пододвигаются новыя общественныя силы; съ любознательностью ученаго, воспитавшагося на точномъ методѣ, онъ слѣдилъ за этимъ историческимъ процессомъ, а переходя къ сравненіямъ съ русскимъ міромъ, любилъ доказывать, что чуть ли не всѣ тревожныя для Европы вопросы могутъ быть рѣшены у насъ естественнымъ и мирнымъ, но самостоятельнымъ путемъ.

Къ такой программѣ призывалъ онъ примкнуть всѣхъ, въ комъ бы она ни возбудила сочувствіе.

Впечатлѣніе, конечно, было сначала неясное, двойственное. Новый журналъ многіе сочли чисто-славянофильскимъ органомъ и ждали повторенія давно извѣстныхъ мнѣній. Отзывы петербургской печати проникнуты были недоувѣріемъ. Но въ правовѣрныхъ кругахъ московскаго славянофильства обидѣлись излишними уступками противникамъ, появленіемъ на страницахъ журнала на-ряду съ Погодинымъ такихъ именъ, какъ Костомаровъ, Соловьевъ (онъ помѣстилъ изслѣдованіе объ эпохѣ *Петра Великаго*), сочувственными отзывами о Бѣлинскомъ и его ученикахъ, обширностью иностраннаго отдѣла, помѣщеніемъ статей Кастеляра объ успѣхахъ республиканской идеи или Фредерика Гаррисона о „Бисмаркизмѣ“, сочетаніемъ религіозности съ свободомысліемъ. Но удивленіе все росло по мѣрѣ того, какъ выяснялась настоящая фізіономія журнала и расправлялись крылья у редактора-новичка.

Откуда взялось у него пониманіе практическихъ нуждъ русской жизни? Онъ подыскалъ многихъ, разсѣянныхъ по Россіи, сотрудниковъ, которымъ поручилъ слѣдить за малѣйшими движеніями и фактами въ экономической жизни народа, изучать этнографію, сектантство, юридическіе обычаи, и открылъ въ журналѣ областной отдѣлъ, по обстоятельности схожій съ земскими статистическими работами нашего времени. Съ главнѣйшими политическими дѣятелями западнаго славянства, Палацкимъ, Ригромъ, съ вождемъ русскихъ въ Венгріи Добрянскимъ вступилъ онъ въ оживленную переписку и былъ посвященъ въ планъ борьбы за федеративное устройство австрійскихъ славянъ. Почувъвъ расположеннаго къ нимъ человѣка, отозвались польскіе писатели, сторонники примиренія на славянской почвѣ,—и по временамъ, прикрытыя русскимъ псевдонимомъ, присылались изъ Кракова статьи въ этомъ духѣ, принадлежавшія одному изъ ревностныхъ польскихъ патріотовъ. А рядомъ печатался, наприм., переводившійся съ рукописи романъ Андрэ Лео, тогда гонимой за участіе въ возстаніи париж-

ской коммуны и скрывавшейся въ сѣверной Италіи; потомъ шли смѣлыя по тому времени статьи о недугахъ нашей педагоги, о положеніи духовенства, изслѣдованіе о доходахъ нашихъ монастырей и т. д.

Роли должны были скоро перемѣниться. Безусловные порицатели переходили на сторону *Бесѣды*. Живо помню, съ какимъ удовольствіемъ Юрьевъ получалъ письма отъ петербургскихъ литераторовъ, отъѣнка Коршевыхъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, откровенно признававшихся, что онъ ихъ побѣдилъ и что теперь они сами предлагаютъ ему свое сотрудничество... А въ томъ лагерѣ, къ которому, казалось, долженъ былъ принадлежать онъ, недоумѣніе переходило въ раздраженіе. На Юрьева иные смотрѣли почти какъ на отступника или какъ на ослѣпленнаго, блуждающаго во тьмѣ. Могъ ли человѣкъ, воспитанный въ здравыхъ понятіяхъ, искренно вѣрующій, народолобецъ, идти по *такому* пути, дружить съ *такими* людьми! Возстановляли Кошелева, требовали помѣщенія пресердитыхъ возраженій, засыпали Юрьева укоризненными письмами. Но, печатая возраженія противъ наиболѣе дорогихъ ему статей, онъ сопровождалъ ихъ объясненіями отъ редакціи, разбиравшими нападки по пунктамъ; не щадилъ онъ полемическихъ замѣтокъ самого Кошелева, и однажды такъ и не далъ ему въ обиду Бѣлинскаго, на котораго тотъ было обрушился.

Невзгоды надвигались и съ другой стороны. Въ извѣтахъ реакціонной печати не было недостатка. Начались затрудненія цензурнаго свойства; книжки *Бесѣды* иногда приходилось вновь перепечатывать. Но чѣмъ труднѣе становилось журнальное дѣло, тѣмъ болѣе крѣпла въ Юрьевѣ безстрашная стойкость. Все яснѣе становились ему цѣли и средства; онъ шелъ впередъ, не оглядываясь пугливо по сторонамъ. Ему казалось, что онъ только исполняетъ свой долгъ.

Нужно ли говорить, какъ дѣйствовалъ этотъ примѣръ на его сторонниковъ, и въ особенности на молодыхъ членовъ редакціи! Съ такимъ человѣкомъ хорошо было работать; срочный журнальный трудъ не казался сухимъ и томитель-

нымъ. Сотрудникъ былъ посвященъ въ намѣренія и взгляды своего принципала. Намѣтивъ про себя, кто всего лучше можетъ выполнить ту или другую задачу, Юрьевъ заведеть съ нимъ долгую, искреннюю бесѣду наединѣ, или на редакціонномъ вечерѣ увлечетъ его изъ залы въ кабинетъ, и когда они выйдутъ оттуда, молодому сотруднику кажется, что онъ самъ додумался до извѣстной мысли, и онъ рвется скорѣе повѣдать ее міру.

Вольно дышалось въ новомъ кружкѣ, и прежде всего потому, что здѣсь никто не насилуесть убѣжденій, не примучивалъ къ обязательному *credo*. Если въ главныхъ чертахъ сотрудникъ былъ согласенъ съ направлениемъ и зналъ, что, идя разными путями, можно притти къ одной и той же цѣли,—самостоятельность его личнаго оттѣнка оставалась неприкосновенною. Его привлекала надежда, быть можетъ, склонить самого редактора на ея сторону. Скажу больше: именно она могла сблизить его съ Юрьевымъ, потому что онъ не только отвлеченно ратовалъ за терпимость мнѣній, но и проводилъ ее въ жизнь.

Исторія моей долготѣйшей дружбы съ нимъ — наглядный тому примѣръ. Въ дни *Бесѣды*, гдѣ я велъ политическое обозрѣніе и отдѣлъ иностранной литературы, я могъ свободно высказываться, и Юрьеву, иногда остававшемуся при своемъ мнѣніи, приходилось выносить за потворство западничеству постоянные нападки отъ своихъ друзей „съ того берега“. И въ послѣдствіи, когда насъ уже не соединяла совмѣстная литературная работа, мы на извѣстные вопросы продолжали смотрѣть различно, но все тѣснѣе сближались.

При такихъ-то условіяхъ зародился въ 1871 году первый журналъ С. А. Въ немъ могли быть ошибки; первые шаги были, конечно, неувѣренны,—но и теперь отъ этихъ забытыхъ всѣми книжекъ вѣетъ тѣмъ бодрымъ, молодымъ духомъ, который согрѣвалъ это своеобразное изданіе, который царилъ нѣкогда на шумныхъ редакціонныхъ собраніяхъ. Отдаленіе сливается въ моей памяти въ одинъ коллективный вечеръ, въ одну задушевную бесѣду людей, готовыхъ честно послужить своему народу.

III.

Все пусто и мертво кругомъ. Нѣтъ больше ни журнала, ни оживленныхъ совѣщаній, ни общественной дѣятельности; „прекрасные дни въ Аранхуэсѣ прошли“; опять вяло потянулась житейская проза съ едва замѣтными полосками умственного возбужденія. Сносить ее еще можно было прежде, среди неопредѣленныхъ сборовъ къ чему-то, но теперь, послѣ дѣла, снова быть отброшеннымъ въ ряды мечтателей и кружковыхъ ораторовъ, которые сегодня на одномъ, а завтра на другомъ концѣ Москвы судятъ и рядятъ среди десятка знакомыхъ о мировыхъ вопросахъ,—невыносимое мученіе...

„Тяжело ложится на душу недосказанное слово“, такъ начиналось глубоко печальное обращеніе Юрьева къ читателямъ, отмѣнявшее уже объявленную подписку на третій годъ журнала (1873), извѣщая о его закрытіи. И, посмотрѣвъ тогда на Юрьева, измѣнивашагося въ лицѣ, взволнованнаго, нервнаго, сразу замѣтно было, что это признаніе идетъ отъ сердца. Среди возраставшихъ усцѣховъ быть принужденнымъ вдругъ оборвать рѣчь — не значило ли это. внезапно утратить подъ собой почву, или послѣ смѣлаго плаванія по житейскимъ волнамъ быть выброшеннымъ на далекій пустынный берегъ! Что теперь дѣлать? Неужели начинать жизнь съизнова?...

На лѣстницѣ послышались тяжелые шаги. Юрьевъ взбирается по ней въ нашу скромную квартиру около Польской церкви; захотѣлось ему отвести душу, погоревать и погнѣваться вмѣстѣ съ своимъ недавнимъ сотоварищемъ. Изъ передней уже слышны его возгласы; наконецъ онъ размоталъ съ себя длинный шарфъ, скинулъ классическую ентовую шубу, съ вѣрной примѣтой, по которой разсѣянный хозяинъ могъ узнавать свою собственность,—нарочно незащитымъ отверстіемъ въ подкладкѣ; вотъ ужъ онъ усѣлся на диванѣ, и передъ нами развернулась обширная, въ лицахъ и мастерски схваченныхъ рѣчахъ, освѣщенная грустнымъ юморомъ, повѣсть его неудачъ.

Бѣдный старый другъ! Какъ мнѣ понятно теперь, послѣ просмотра его переписки, сколько пришлось ему тогда испытать! Обо многомъ говорилъ онъ съ нами, на многое намекалъ, но вся совокупность невзгодъ какъ-то не представлялась въ такомъ безотрадномъ видѣ. Настала расплата за слишкомъ независимую дѣятельность. Съ одной стороны предвидѣлись дальнѣйшія карательныя мѣры, безъ того сильно подорвавшія экономическую сторону изданія; съ другой (и гораздо болѣе) оказывала давленіе небольшая группа лицъ, которая сначала тщетно надѣялась сдѣлать журналъ своимъ органомъ, и теперь усиленно вліяла на издателя, ставя ему на видъ, что своими деньгами онъ поддерживаетъ постоянное глумленіе надъ дорогими ему именами и ученіями, что онъ измѣняетъ завѣтамъ великихъ наставниковъ и вызываетъ лишь насмѣшки надъ собой.

Впослѣдствіи онъ самъ понялъ, до чего доходили тогда преувеличенія и инсинуаціи, и сознавался, что слишкомъ легко повѣрилъ наговорамъ; со временемъ онъ снова сблизился съ Юрьевымъ, но въ теченіе всего послѣдняго года изданія онъ въ письмахъ своихъ къ нему подвергалъ безпоощадной критикѣ каждую, сколько-нибудь нарушавшую преданія, статью, возставалъ противъ обостряющагося будто бы противорѣчія съ ними, и предлагалъ на выборъ — или преобразование журнала съ устройствомъ наблюдательнаго комитета, или прекращеніе изданія. Юрьевъ не уступилъ, и „недосказанное слово тяжело легло ему на душу“.

Но онъ не хотѣлъ, и не могъ снова войти въ ряды мирныхъ обывателей. Потребность дѣятельности направила его силы въ другую область, къ которой его всегда влекло всею душой. Недавній публицистъ становится драматургомъ,—и не только оттого, что молодость его, какъ и всего его поколѣнія, прошла подъ сильнымъ обаяніемъ классическаго московскаго театра и близости къ Мочалову, но потому, что драма, какъ ее понималъ Юрьевъ, живетъ тѣмъ же, что хотѣлось ему вызвать и во всемъ нашемъ быту,—дѣйствіемъ, движеніемъ. „Am Anfang war die *That*“,—могъ бы онъ сказать вмѣстѣ съ Фаустомъ.

Первыми историческими лицами, которых онъ попытался воплотить на сценѣ, были Жижка съ его таборитами, и прославленный сербскими пѣснями Марко Кралевичъ, защитникъ народной независимости. Наброски этихъ драмъ восходятъ почти ко времени *Бесѣды*,—и чего только не хотѣлъ онъ вывести въ нихъ, забывая цѣломудренныя привычки нашей сцены! Часто возвращался онъ къ переработкѣ индѣйской драмы Калидасы „Васантасена“ *), и, конечно, потому, что въ ея основѣ лежитъ опять подъемъ живыхъ народныхъ силъ, высвобождающихся изъ-подъ кастоваго гнета.

Когда недовѣріе къ своему личному творчеству побудило его широко развить переводную дѣятельность, онъ изъ старыхъ испанскихъ драматурговъ увлекся Лопе-де-Вега, этимъ замѣчательнымъ мастеромъ рисовать народъ, его масовыя движенія, нравственные и социальныя идеалы. Наконецъ, восходя все выше къ совершеннымъ образцамъ драмы, онъ съ священнымъ трепетомъ подошелъ къ Шекспиру и до конца дней переводилъ одну за другою тѣ пьесы, гдѣ затронуты вѣковые, общечеловѣческіе вопросы, и игра страстей освѣщена гуманною и грустною философіею поэта.

Театръ — такая же арена общественной дѣятельности, сцена — та же кафедра, и Юрьевъ нашелъ нѣкоторую замѣну утраченнаго живого дѣла. Когда на представленіи „Овечьяго источника“ или „Севильской звѣзды“ театръ бывалъ переполненъ зрителями, зала сотрясалась отъ взрывовъ рукоплесканій, и каждая мѣтко выраженная мысль поэта находила отзвукъ во множествѣ сердецъ, — виновникъ этого здороваго умственнаго возбужденія былъ счастливъ: снова онъ стоялъ лицомъ къ лицу съ массой и, казалось, обращалъ къ ней свою рѣчь.

Переходъ къ драмѣ повелъ за собой выработку выразительнаго поэтическаго слога, далеко оставившаго за собой прозу. На первыхъ журнальныхъ работахъ Юрьева еще лежала печать философскаго жаргона сороковыхъ годовъ; чего бы ни касались онъ, наприм. русской пѣсни (въ напи-

*) Два акта уцѣлѣли въ рукописи.

санномъ имъ вступленіи къ первой лекціи Сѣрова, помѣщенной въ газетѣ И. Аксакова *Москва*), непременно устанавливались сначала общія положенія, потомъ они раздроблялись, доказывались; философскіе термины русско-нѣмецкаго происхожденія разсыпаны были повсюду въ изобиліи. Эти тяжелыя привѣски притягивали мысль книзу, и несовершенство формы мучило самого автора. Въ то время, какъ устная его рѣчь лилась свободнымъ и искрящимся потокомъ, написанное слово звучало тускло или порою напоминало ученый трактатъ. Но въ живой журнальной полемикѣ, постоянно вѣдаясь со злобой дня, сталъ вырабатываться у него ясный и убѣдительный прозаическій слогъ. Иногда сказывалась и впослѣдствіи старая привычка, но нѣсколько періодовъ, изложенныхъ туманно, съ избыткомъ выкупались живыми страницами, захватывающими читателя. Служеніе драмъ вызвало за то гибкость и образность рѣчи; развилось умѣнье владѣть бѣлымъ стихомъ; наконецъ, въ самые послѣдніе годы, рабочую келью больного постигла неожиданная гостья—риема.

Такъ силою вещей Юрьевъ изъ публициста превращень былъ въ дѣятеля „изящной словесности“, подобно тому, какъ прежде покинулъ занятія высшей математикой и астрономіей для журнальной дѣятельности.

Но скоро сказывается только сказка. До той поры, когда въ сценическомъ мірѣ репутація С. А., какъ драматурга и тонкаго цѣнителя драматическаго искусства, вполне упрочилась, прошло немало лѣтъ, полныхъ неудовлетворенности и исканія выхода. Силь было еще много, но примѣнять ихъ было негдѣ. Когда невзначай открывался подходящий случай, нужно было видѣть, что дѣлалось съ Юрьевымъ; навѣрно то же испытываетъ старый воинъ, заскучавшій отъ мира и бездѣйствія и вдругъ слышащій призывный кличъ.

Открытое засѣданіе Общества любителей словесности. Публика разсѣянно прослужала безцвѣтное стихотвореніе, заунывно прочтенное авторомъ, потомъ двѣ или три главы изъ какого-то народнаго разсказа,—но вотъ къ каюдрѣ пробирается, почти ошупью и донельзя прищуривая глаза,

маститая фигура Юрьева. Всѣ взоры устремляются въ эту сторону; искра пробѣжала по собранію; слышенъ шопотъ, въ которомъ сказались и любопытство, и увѣренное ожиданіе чего-то интереснаго. И дѣйствительно, едва съ каеэдры взглянуло на толпу умное лицо, живописно обрамленное серебристыми прядями волосъ и густою сѣдою бородой, какъ уже послышалась свободная и горячая импровизація, какихъ мало даетъ намъ наша сѣренькая жизнь. Литературныя оцѣнки, историческія характеристики, нѣсколько чертъ изъ народной жизни, защита общечеловѣческаго прогресса,—все сольется въ рѣчи, всегда полной отзвуковъ современности, которой Юрьевъ касался съ большою смѣлостью. Помню, какое впечатлѣніе произвело то его слово, въ концѣ котораго онъ неожиданно сталъ доказывать, что имя нигилистовъ всего болѣе заслужили современные проповѣдники застоя.

Такія минуты выпадали рѣдко, и въ будничной обстановкѣ могло развиваться только краснорѣчіе рудинскаго типа, дѣйствуя въ скромныхъ размѣрахъ, по мелочамъ. Но какъ хорошо бывало смотрѣть на нашего милаго старца, когда на какомъ-нибудь „вечерѣ за просто“ его со всѣхъ сторонъ окружала группа увлеченныхъ слушателей! За минуту передъ его появленіемъ нѣкоторые изъ нихъ совсѣмъ его не знали, но при первыхъ звукахъ его юношески-страстной рѣчи все молодое и чуткое невольно шло ему на встрѣчу, съ любопытствомъ прислушивалось, окружало его; черезъ нѣсколько времени его почти не видно было изъ-за кучки молодежи, которая сидѣла, стояла, лѣпилась по двое, по трое на одномъ стулѣ, тянулась черезъ чужія головы, стараясь не проронить ни одного слова.

Тотъ, кто узналъ Юрьева лишь въ послѣдніе, болѣзненные его годы, врядъ ли можетъ представить себѣ, какимъ несомнѣннымъ талантомъ обладалъ онъ и какъ публичный ораторъ, и какъ собесѣдникъ въ тѣсномъ кружкѣ. Время наложило и на него свою неумолимую руку, и старческая рѣчь являлась лишь слабымъ отблескомъ прежней силы. Искусство бесѣдовать мало цѣнится у насъ, да и встрѣ-

чается все рѣже, а между тѣмъ оно—великій даръ, и Юрьевъ владѣлъ имъ.

На парижскихъ бульварахъ выросъ легкій и доступный *feuilleton parlé*, излагаемый толпѣ вслухъ. Не фельетоны, а цѣлыя статьи разнообразнаго содержанія, которымъ суждено было никогда не быть написанными, проходили передъ слушателями Юрьева. Онъ разбрасывалъ по воздуху свои сокровища. Не будь этого, его *bagage littéraire* былъ бы несравненно внушительнѣе, и положеніе въ литературѣ еще опредѣленнѣе. Друзья всего лучше понимали это. Когда (очень давно) его захотѣли выбрать въ члены Общества любителей словесности и, по обычаю, наводили справки о томъ, что онъ напечаталъ, крѣпко любившій его Писемскій воскликнулъ съ комическимъ негодованіемъ: „что вы мнѣ говорите, напечаталъ! Да онъ *наговорилъ* о литературѣ больше всѣхъ насъ!“...

И всегда наиболѣе увлеченныхъ слушателейставляла молодежь. Она отогрѣвалась душой около него, понимала его на полусловѣ, легко разгадывая нѣсколько чуждую ей, чуть-чуть старомодную терминологию. И въ самомъ дѣлѣ, не все ли равно, если то, что она назвала бы новѣйшимъ терминомъ альтруизма, являлось здѣсь подъ именемъ „вѣчнаго начала добра и правды?“ Вѣдь въ сущности обѣ стороны вѣрили въ одно и то же.

Отношенія Юрьева къ молодежи были необыкновенно просты. Ему противна была бы самая мысль выступать передъ нею съ внушительною осанкой мудреца, преисполненнаго знаній, проникшаго во всѣ тайны, или хитроумнаго политика съ гримасой многозначительности и требованіемъ поклоненія. Это былъ не кружковой божокъ, а старый другъ, которому можно все сказать, и который готовъ подѣлиться всѣмъ, о чемъ думалъ и что испыталъ.

И за случайною встрѣчей гдѣ-нибудь на вечерѣ слѣдовало сближеніе. Студентъ, слушательница женскихъ курсовъ, начинающій писатель, актеръ-новичокъ шли къ Юрьеву на домъ, повѣряли ему свое горе и нужды, мучили его чтеніемъ необъятныхъ своихъ твореній, проходили съ нимъ роли,

ждали отъ него самой разнообразной помощи, начиная отъ опредѣленія цѣли жизни и кончая пріисканіемъ мѣста и работы. И, добродушно улыбаясь, онъ все выслушивалъ, критиковалъ, объяснялъ; онъ хлопоталъ, выручалъ изъ бѣды, находилъ мѣста, устраивалъ благотворительные вечера и самъ читалъ на нихъ, успокаивалъ гамлетовскую скорбь, поддерживалъ тружениковъ,—и только въ кругу близкихъ позволялъ себѣ иногда презабавно поворчать на то, что ему совсѣмъ не оставляютъ свободного времени.

Здѣсь можно было бы привести много характеристическихъ примѣровъ, но въ этихъ случаяхъ лѣвая рука не должна знать, что сдѣлала правая.

Гдѣ теперь тѣ люди, которымъ когда то пришелъ на помощь Юрьевъ? Помнятъ ли они о томъ, чѣмъ онъ явился для нихъ, когда они стояли на распутіи? Если кто-нибудь изъ нихъ еще помнитъ это, онъ долженъ вѣрить, что не въ пословицѣ только, и не въ прописяхъ, а на дѣлѣ свѣтъ не безъ добрыхъ людей.

IV.

Есть натуры, которыя обнаруживаютъ всю свою духовную силу лишь въ тотъ возрастъ, когда большинство людей утомленною походкой плетется подъ гору. Въ ихъ жизни самую свѣтлую порой является не весна съ ея цвѣтами и любовью, а согрѣтая прощальнымъ солнцемъ осень.

Юрьевъ былъ изъ числа такихъ людей. Когда, выдвинувшись изъ общественныхъ рядовъ, онъ сразу сталъ замѣтною величиной, пятый десятокъ былъ уже у него на исходѣ. Еслибы нить не была внезапно оборвана, дѣятельность его развивалась бы все шире и стройнѣе. Но восемь лѣтъ прошло снова въ замкнутой внутренней работѣ или скромномъ оживленіи кружковыхъ сборищъ; рѣдкими просвѣтами приходилось считать первое представленіе пьесы или публичную лекцію. Восемь лѣтъ—слишкомъ большой промежутокъ для людей его возраста. Но прежнія поколѣнія были гораздо крѣпче насъ, и Юрьевъ дождался лучшихъ дней, не измѣнившись ни въ чемъ, продолжая вѣрить и

надѣяться, по прежнему искренно увлекаясь и отъ всей души негодуя.

Къ концу этого періода у него были снова молодые друзья, — кружокъ, органомъ котораго одно время было *Критическое Обозрѣніе*, — новыя профессорскія силы, выдвинувшіяся тогда въ Московскомъ университетѣ, и примкнувшіе къ нимъ члены бывшей редакціи *Бесѣды*. На вечерахъ у М. Ковалевскаго сходились представители разнообразныхъ знаній, мѣстные и пріѣзжіе литераторы и ученые. Юрьевъ съ самаго же начала (1876—77) сталъ привычнымъ и любимымъ посѣтителемъ этихъ сборищъ. Какъ всегда, онъ и тутъ стоялъ выше разногласія во мнѣніяхъ. Въ философіи онъ боролся съ позитивизмомъ, — а между тѣмъ большинство его новыхъ друзей состояло изъ позитивистовъ. Преданія, унаслѣдованныя имъ отъ старыхъ наставниковъ и окутанныя мистической дымкой, кореннымъ образомъ разбивались сравнительнымъ методомъ, социологическими наблюденіями, изслѣдованіями въ области народнаго хозяйства, государственнаго права, изученіемъ исторіи учреждений. Но прежняго ученаго привлекала научная трезвость пріемовъ и, предоставляя себѣ при случаѣ поспорить, онъ съ любопытствомъ слѣдилъ за результатами работъ. Появленіе его было всегда желаннымъ; онъ казался патріархомъ среди окружавшей его молодой братіи, живымъ звеномъ между нею и старшимъ поколѣніемъ.

Уже недолго было ему ждать двухъ важныхъ событій его жизни, которыя, казалось, должны были положить конецъ годамъ затишья, — пушкинскихъ празднествъ 1880 года и основанія втораго его журнала, „Русской Мысли“, или, какъ предполагалось его сначала назвать, „Русской Думы“.

Воспоминаніе о „пушкинскихъ дняхъ“, я думаю, еще свѣжо у всѣхъ. Тамъ, гдѣ можно было рассчитывать на заурядный церемоніаль снятія завѣсы съ памятника и на безобидное напряженіе казеннаго краснорѣчія, импровизовано было съ сказочной быстротой блестящее литературное торжество, всероссійскій съѣздъ писателей, рядъ многочисленныхъ публичныхъ собраній. Юрьевъ былъ однимъ изъ

главныхъ виновниковъ этого превращенія. Онъ снова очутился въ своей стихіи. Полномочія его, какъ предсѣдателя общества, завѣдывавшаго празднествами, открыли передъ нимъ много простору. Въ его изобрѣтательномъ умѣ возникали новые замыслы. Смѣлость его приемовъ навлекала на него даже рѣзкое порицаніе со стороны такихъ людей какъ И. Аксаковъ. Сблизившись съ вождями литературы, Юрьевъ мечталъ о возможно большемъ объединеніи ея усилий, выдвигалъ всенародное значеніе пушкинскихъ дней, неутомимо хлопоталъ, писалъ, убѣждалъ, говорилъ рѣчи.

Но въ ту мимолетную хорошую пору, одну изъ тѣхъ, что остаются навсегда свѣтлыми точками въ полумракѣ, оазисами среди песчаного моря, меня не было въ Россіи. Письма и рассказы Юрьева и другихъ очевидцевъ передали мнѣ потомъ обо многомъ; но въ той галлерей разновременныхъ снимковъ съ натуры, къ которымъ сводятся мои воспоминанія о С. А., недостаетъ, къ великому моему сожалѣнію, одного, на которомъ виднѣлся бы онъ гдѣ-нибудь на эстрадѣ дворянскаго собранія или каедрѣ актовой залы съ восторженнымъ выраженіемъ лица, въ ту минуту, когда его рѣчь громовыми раскатами носится надъ толпой.

Это былъ послѣдній триумфъ Юрьевского краснорѣчія. Жизнь не баловала его больше.

Основаніе „Русской Мысли“ обѣщало загладить напраслину, продержавшую такъ долго въ бездѣйствіи его публицистическія способности. Съ какимъ чувствомъ удовлетворенія возвращался онъ къ любимой дѣятельности, легко себя представить. Онъ хотѣлъ пойти по слѣдамъ *Бессты*, но еще шире развить то, что въ ней было лишь намѣчено, воспользоваться указаніями опыта, снова соединить подходящія силы, оставляя въ сторонѣ ихъ дробленіе на партіи. Кружокъ его новыхъ друзей являлся, конечно, готовымъ кадромъ для будущей редакціи.

На дѣлѣ вышло иначе. Когда вспоминаешь о тѣхъ временахъ, на память прежде всего приходитъ недоразумѣніе, — единственное во всѣ двадцать лѣтъ нашей дружбы.

Что нашли люди, постаравшіеся возбудить разладъ

между нимъ и „западниками“ и поставить ему на видъ, что онъ слишкомъ отдается въ ихъ власть, понять легко. Гораздо труднѣе опредѣлить, почему онъ хоть на время могъ послушаться этихъ наговоровъ, зная за собой способность примирять крайности и объединять людей. Правда, предостереженія шли изъ круговъ, тоже ему дружественныхъ.

Какъ бы то ни было, прежняя непринужденная общительность замѣнилась въ сношеніяхъ съ нами какою-то сдержанностью. Только - что зарождавшаяся организація журнала стала заволакиваться таинственнымъ сумракомъ, и предъявленная намъ программа изданія (въ печати она появилась въ сокращенномъ видѣ), установлявшая руководящіе принципы, была для будущихъ сотрудниковъ такою же новостью, какъ и для публики. Нѣкоторые изъ насъ помнили, какъ въ свое время на нѣсколькихъ собраніяхъ обсуждалась программа *Бесѣды*, какія пренія вызывали отдѣльныя ея статьи, путемъ какихъ взаимныхъ уступокъ выработанъ былъ окончательный текстъ. Могло ли быть иначе въ такомъ журналѣ, гдѣ должны были на нейтральной почвѣ сойтись различныя оттѣнки мнѣній? На насъ болѣзненно подѣйствовала новая, октроированная программа, въ которой къ тому же какъ будто замѣтенъ былъ перевѣсъ славянофильскихъ заявленій.

Итти вмѣстѣ можно было лишь подъ условіемъ прежней солидарности. Мы опредѣленно заявили это. Сначала казалось, что все опять сладится. Юрьевъ уже соглашался на совѣщаніе для пересмотра программы. Но, подъ чужимъ вліяніемъ, въ послѣднюю минуту этотъ возвратъ къ прошлому смѣнился категорическимъ „non possumus“. Мы отвѣчали тѣмъ же.

Журналъ пошелъ сначала точно по неровной почвѣ, но колебанія и недомолвки длились не долго, и онъ сталъ тѣмъ, чѣмъ должно было быть изданіе, вдохновляемое Юрьевымъ. Пресловутая программа никогда выполнена не была, опасенія оказались излишними,—но и теперь сдается, что въ ту пору иначе поступить было нельзя.

Размолвка съ Юрьевымъ была для насъ немыслима. Мы

покипалились, поспорили и на словахъ, и на письмѣ—и снова сошлись, да еще тѣснѣе прежняго; его золотое сердце и идеализмъ неотразимо влекли къ нему.

Въ заботахъ о журналѣ прошло еще нѣсколько лѣтъ жизни С. А. То было послѣднее напряженіе его даровитой натуры. Въ трудную для каждого журнала пору, когда ему нужно завоевать себѣ прочное положеніе въ литературѣ, Юрьевъ своимъ популярнымъ и уважаемымъ именемъ привлекалъ въ него лучшія силы; то и дѣло придумывалъ онъ различные усовершенствованія. Салтыковъ ради него, любимого своего школьнаго товарища, содѣйствовалъ передачѣ его журналу большинства подписчиковъ закрытыхъ „Отечественныхъ Записокъ“, и это сразу подняло экономическую сторону изданія.

Современную исторію никто не пишетъ вслѣдъ за совершившимися фактами—и въ мои намѣренія совсѣмъ не входитъ подробное повѣствованіе о второмъ редакторствѣ Юрьева. Къ тому же въ обращеніи къ читателямъ, въ которомъ онъ прощался съ ними, самъ онъ покрылъ забвеніемъ только что пережитое. Но въ моихъ воспоминаніяхъ всегда останутся рядомъ два, едва схожіе между собой, образа: на одномъ лежитъ печать энергіи и жизнерадостнаго возбужденія, на другомъ—роковые слѣды разочарованій и болѣзненнаго потрясенія, предвѣщающаго смерть. Первый—это Юрьевъ послѣ пушкинскихъ празднествъ, въ медовый мѣсяцъ журнала, второй—онъ же послѣ выхода изъ „Русской Мысли“.

V.

Въ крошечной конуркѣ, залитой блескомъ газа, свѣтло какъ днемъ, и жарко, какъ въ аравійской пустынѣ. Вокругъ царить романтическій безпорядокъ. На потертомъ диванчикѣ раскинута царская мантия; на стѣнѣ, рядомъ съ мужскимъ пальто, виситъ мечъ и блестящій щитъ; на столѣ, среди банокъ съ кольдъ-кремомъ и разноцвѣтныхъ карандашей, висится корона. Этотъ странный уголокъ затерянъ гдѣ-то въ тайникахъ большого дома; лабиринтъ лѣстницъ и

переходовъ отдѣляетъ его отъ людского движенія. Никогда еще солнечный лучъ не проникалъ въ него, да и путь ему сюда заказанъ. Вѣдь это не жилище мирныхъ, трезвыхъ умомъ обывателей. Здѣсь властвуетъ фантазія, условность, поэтический миражъ, и отсюда они разносятся по міру. Пробейся сквозь эти стѣны хоть одна полоска дневного свѣта,—и все разлетится, очарованіе будетъ нарушено и таинственная лабораторія сцены покажется унылою камерой одиночнаго заключенія...

Въ большомъ зеркалѣ отражается величественная фигура сѣдовласаго старца, сидящаго передъ нимъ. На немъ царскія одежды, но онѣ поблекли и лежатъ беспорядочными складками; длинныя пряди волосъ и библейской бороды окружили серебристымъ сіяніемъ задумчивое лицо; горе избороздило его глубокими чертами, и густыя сѣдыя брови насупились надъ усталыми глазами.

Сомнѣнія нѣтъ, это — король Лиръ, не въ тѣ минуты, когда власть туманила ему голову, но подъ ударами судьбы, когда вокругъ его чела уже засіялъ ореолъ мученичества. Но, странное дѣло, едва приходя въ себя послѣ страшныхъ сценъ съ дочерьми, онъ теперь не отрываетъ глазъ отъ оригинальнаго собесѣдника. Передъ нимъ другой Лиръ; въ такомъ же серебристомъ окладѣ его лицо, такая же печать страданія на немъ, такъ же нависли брови. Но на этомъ двойникѣ прозаическая „черная пара“, и въ эту минуту онъ необыкновенно тонко объясняетъ, почему, на его взглядъ, Негг Вагнау ближе всѣхъ подошелъ къ пониманію шекспировской мысли въ послѣдней сценѣ второго акта.

Живою симпатіей загорѣлся взглядъ Барная. Онъ все всматривался сначала въ милаго стараго энтузіаста, и захотѣлось ему откровенно рассказать этому совсѣмъ недавнему знакомцу о своихъ художественныхъ догадкахъ, недоумѣніяхъ и замыслахъ. Одна за другою освѣщались въ оживленной бесѣдѣ главныя черты трагедіи; дѣйствительность была совсѣмъ забыта,—но о ней напомнилъ звонокъ режиссера и просунувшееся въ дверную щель озабоченное и дѣловитое лицо директора театра. Пришлось прервать

эстетическій разборъ. Снова на сценѣ показался несчастный, больной Лиръ, безъ призора блуждающій по степи въ непогоду, и въ его безумныхъ рѣчахъ свѣтилась искрами глубокая скорбь о людской судьбѣ.

Но прерваннаго разговора нельзя было оставить недоконченнымъ, и послѣ спектакля, безчеловѣчно затянутого оваціями, онъ возобновился въ гостинницѣ, среди небольшого кружка, за рейнвейномъ.

Сходство между новыми друзьями было нарушено. Въ статномъ, еще молодомъ человѣкѣ съ классически правильными чертами лица, нервной пылкостью рѣчи и взгляда трудно было узнать Лира. Но за то духовное средство выступало все опредѣленнѣе.

Чего только не касался Юрьевъ въ тотъ вечеръ! Навѣрно, ему давно уже не приходилось *такъ* говорить, отъ всей души. Самъ переводчикъ *Лира*, знавшій каждое словечко въ немъ, онъ тонко анализировалъ психологію шекспировскаго произведенія. Не привыкнувъ къ разговорной нѣмецкой рѣчи, онъ, ничего не замѣчая, творилъ новыя выраженія, придѣлывалъ нѣмецкіе кончики къ словамъ французскимъ, даже латинскимъ. Импровизація становилась отъ этого еще лучше.

Барнай, любовно смотря ему въ глаза и ласково трепля его по плечу, съ большимъ интересомъ слѣдилъ за его рѣчью. Какъ молодежь въ ея искреннихъ бесѣдахъ со старикомъ, годившимся ей въ дѣды, на-лету разгадывала его мысль, чужеземецъ-художникъ понималъ эту мысль по полуслову, по намеку, по дрожанію голоса или блеску глазъ.

Такъ короталъ Юрьевъ свои послѣдніе, пасмурные годы. Художественныя наслажденія одни только и скрашивали ихъ. Драма и сценическое искусство снова смѣнили собою борьбу со злобой дня. Бываютъ времена, когда не только отдѣльныя лица, но и все общество окружаютъ особою любовью театръ. Чѣмъ меньше удовлетворяетъ дѣйствительность, тѣмъ сильнѣе развивается потребность жить въ другомъ мірѣ, гдѣ еще есть цѣльные характеры, настоящія страсти, увлеченіе идеей, или гдѣ пестрые узоры фантазіи

даютъ хоть ненадолго забыться въ ея „чародѣйскихъ вымыслахъ“.

Тѣ годы были, къ счастью, богаты прїѣздами въ Москву сценическихъ знаменитостей. То явится мейнингенская труппа и, поднявъ знамя коллективизма въ искусствѣ, удивить умѣньемъ воплощать народныя движенія и массовыя сцены,—и Юрьевъ уже охваченъ изумленіемъ и радостью, видя, какъ осуществляется то, что онъ всегда теоретически проповѣдовалъ. То, наоборотъ, одинъ за другимъ появятся представители личныхъ художественныхъ дарований и своей игрой освѣтятъ новыя стороны въ созданіяхъ великихъ драматурговъ,—снова бездна поводовъ для изученія и размышленія. Юрьевъ сближался съ заинтересовавшими его артистами, подолгу бесѣдовалъ съ ними, объяснялъ ихъ игру и печатно, и вслухъ въ фойѣ театра, гдѣ вокругъ него собиралась толпа слушателей, наконецъ и въ пространныхъ письмахъ, которыя на другое же утро послѣ представленія неслись къ сочувствующимъ друзьямъ.

Къ тому же времени относятся его заботы о широкой научной подготовкѣ сценическихъ дѣятелей на Руси, и большое сочиненіе о театральномъ искусствѣ, напечатанное (въ сохранившихся отрывкахъ) въ „Русской Мысли“, наконецъ нѣсколько переводовъ изъ Шекспира.

Но жизнь догорала. Иногда казалось, что конецъ уже близко, — и каждый разъ, когда изъ борьбы съ надвигавшеюся смертью онъ выходилъ побѣдителемъ, первыя движенія выздоравливающаго были устремлены на встрѣчу его утѣшительницѣ, — драмѣ. Ранней весной 1888 года, встревоженный слухами о его внезапной болѣзни, я поспѣшилъ къ нему, — и засталъ его еще крайне слабымъ, но уже правившимъ дрожащею рукой корректуру иллюстрированнаго изданія своего перевода „Сна въ лѣтнюю ночь“, и на моихъ глазахъ искусно находившимъ выразительные и мѣткіе обороты для передачи шекспировской рѣчи.

Первый приступъ недуга, унесшаго его въ могилу, постигъ его на пути въ нѣмецкій театръ, гдѣ обѣщана была *Медея* съ г-жей Гирсъ. Когда больной пришелъ въ себя, и

его возница, едва приведшій его въ чувство, спросилъ, куда же теперь его везти, — „въ театръ“, отвѣчалъ онъ. Два, три акта прослушалъ онъ, побылъ въ послѣдній разъ подъ сѣнью того искусства, которое всегда его возрождало, — это подняло немного силы больного, и дало ему возможность спокойно вернуться къ себѣ.

Печальная и милая иллюзіи!.. Благо тому, кого онъ утѣшаютъ и на краю гроба.

VI.

За стѣною злится вьюга, стонетъ и рвется въ окна, со-всѣмъ занесенная снѣгомъ. Холодомъ повѣяло и въ низенькомъ кабинетѣ, гдѣ въ глубокомъ креслѣ у стола, заваленнаго бумагами и книгами, сидитъ, кутаясь въ халатъ и поспѣшно что-то набрасывая на бумагу своимъ готическимъ почеркомъ, безнадежно больной старикъ. Поработаетъ, остановится, закуритъ трубку и задумается.

Ужъ очень сиротливо становится ему жить. О комъ ни вспомнить онъ изъ своихъ сверстниковъ, никого почти нѣтъ въ живыхъ. Вскинетъ глазами туда, гдѣ по стѣнѣ длинной полосой идутъ портреты близкихъ ему лицъ изъ плеяды сороковыхъ годовъ, — всѣ они умерли. Вспомнить рядъ недавнихъ утратъ, и ему уже кажется, что онъ блуждаетъ по кладбищу.

Умеръ жившій съ Юрьевымъ душа въ душу В. А. Елагинъ, такой же чуткій и гуманный, какъ онъ, — симпатичнѣйшій изъ всѣхъ славянофиловъ, съ которыми мнѣ приходилось встрѣчаться. Смерть скосила и могучую, исполинскую фигуру С. А. Усова, неистощимаго въ ласковыхъ шуткахъ надъ Юрьевымъ, какъ только они встрѣчались, и горячо его любившаго. Умеръ и Кошелевъ, тѣсно связанный со многими важными минутами въ его жизни; нѣтъ и И. Аксакова, съ которымъ онъ бывало спорилъ до слезъ, по временамъ готовъ былъ даже разойтись, возмущаясь его нетерпимостью, но примирялся въ тѣ исключительныя минуты, когда проявлялось его мужество и сила

убѣжденій. А Салтыковъ, который гораздо ближе Юрьеву по душѣ, котораго онъ помнитъ съ дѣтскихъ лѣтъ,—осужденъ на мучительное ожиданіе смерти.

И старикъ безконечно радъ, если кто-нибудь проникнетъ въ его тихую келью и разсѣетъ печальныя мысли. Тогда снова оживляется его взоръ; работа въ сторону,—и пойдутъ безконечныя рѣчи и толки, точно въ прежніе годы. Ожиданіе измѣненій въ земской и судебной реформахъ, вопросъ о гимназіяхъ, новости иностранной политики, явленія въ литературѣ, все будетъ затронуто. Современность волнуетъ, печалитъ и лишь изрѣдка порадуетъ одинокаго наблюдателя. Поневолѣ сидитъ онъ между четырьмя стѣнами, онъ, вѣчно подвижный и куда-нибудь собирающийся, но въ этомъ крохотномъ пространствѣ теперь отражается для него весь міръ съ его тревоженіями; мысль свободно облетаетъ необъятныя края и стремится проникнуть въ будущее родной страны.

Онъ очень радъ посѣтителямъ. Порою ему уже казалось, что его начали забывать. Что-жъ, думалось ему, это и не удивительно! Передъ толпой нужно оставаться на виду, нужно напоминать ей о себѣ, а онъ держится въ сторонѣ и втихомолку воздѣлываетъ тотъ уголокъ прежней нивы, который оставила ему судьба...

Правда, ему вспоминается необыкновенно удавшійся юбилейный обѣдъ, на которомъ лились рѣкой привѣтствія. Торжество это такъ наэлектризовало его, что онъ совсѣмъ разошелся и такую смѣлую отвѣтную рѣчь сказалъ, какой не говорилъ и съ молодю... Да, это все такъ и было. Потомъ глазъ не могъ сомкнуть во всю ночь, и доктора потребовали абсолютнаго спокойствія...

Но, если кто-нибудь и забылъ о немъ, онъ никого не забылъ, и симпатіи его все тѣ же, что и прежде, только многіе видятъ, какъ онѣ теперь проявляются. Когда, въ послѣдній годъ его жизни, въ университетѣ было неспокойно, ему такъ стало жаль молодежи, въ рядахъ которой у него уже не было ни родныхъ, ни знакомыхъ, что онъ вдругъ поднялся и побывалъ у всѣхъ вліятельныхъ лицъ, прося о

смягченіи кары. Беречься, холить себя онъ вообще не умѣлъ. Едва станетъ ему лучше, и онъ встрепенется,— какъ онъ уже спѣшитъ куда-нибудь, гдѣ нужно дѣлать дѣло; день ото дня слабѣя, онъ готовъ былъ будить другихъ и вызывать къ дѣятельности.

Поразительны бывали эти превращенія: вчера еще человекъ едва дышалъ, а сегодня онъ уже исчезъ изъ дому. И такъ было до той поры, когда болѣзнь ухудшилась, и врачи рѣшительно возстали противъ этихъ выѣздовъ. Но онъ надѣялся наверстать потерянное время,—и все обдумывалъ, что онъ скажетъ на своей лекціи на „драматическихъ курсахъ“.

Открытіе этихъ курсовъ при Театральной школѣ было послѣднею радостью Юрьева. Онъ все-таки дожилъ до этого результата своей долгой пропаганды и съ любовью отнесся къ предмету, изложеніе котораго выпало ему на долю,—къ теоріи драмы; сталъ усиленно изучать источники, набрасывалъ программу курса, участвовалъ въ организационныхъ работахъ.

Насталъ день открытія. Зрительная зала въ школѣ наполнилась молодежью. Спереди стояли дѣти,—ученики и ученицы прежней школы; позади молодые дѣвушки и молодые люди,—первый персоналъ курсовъ. Все это зрѣлище было само по себѣ необычайно въ театральномъ мирѣ. Но совершилось нѣчто еще болѣе удивительное. Изъ перваго ряда направилась къ небольшой школьной сценѣ согбенная старческая фигура, и черезъ мгновеніе, ласково улыбаясь, появилась передъ зрителями.

Конечно, это былъ Юрьевъ. Всѣ его сочлены нашли, что именно ему должна быть предоставлена честь открыть курсы своею рѣчью. Онъ заговорилъ. Въ голосѣ уже не было прежней силы, по содержанію рѣчь осталась позади импровизаций былыхъ дней,—но никто не замѣтилъ этого. Образъ стараго идеалиста, съ блаженною вѣрой указывавшаго своимъ слушателямъ на великую задачу искусства, вдохновляя ихъ мужествомъ въ виду тернистаго пути, на который они вступаютъ, съ благоговѣніемъ вспоминавшаго великія име-

на писателей общечеловѣческихъ, и вѣрныхъ истолкователей ихъ—геніальныхъ актеровъ,—этотъ образъ неизъяснимо дѣйствовалъ на всѣхъ и cadaго, и на опытныхъ людей, искушенныхъ сильными впечатлѣніями, и еще болѣе на молодые умы. Все притаило дыханіе, и не отрывало глазъ отъ непривычнаго явленія. Было что-то трогательно-торжественное и въ глубокомъ вниманіи молодежи, и въ свѣтлой личности проповѣдника, въ эту минуту царившей надъ нею.

То была его лебединая пѣснь. Короткій просвѣтъ смѣнился упадкомъ силъ, возвратъ къ общественной дѣятельности—затворничествомъ. Но тяжело было оставаться ваперти. Разъ, въ холодную ночь, захотѣлось послушаться и еще разъ побывать среди людей, на привычномъ сборищѣ въ домѣ Кошелевыхъ, гдѣ, какъ онъ слышалъ, будутъ свѣжія вѣсти о волновавшихъ его вопросахъ внутренней политики. Эта неосторожность повела къ осложненію болѣзни.

Въ прежнее время онъ перенесъ бы острое воспаление легкихъ. Болѣзненный процессъ развивался правильно и уже заканчивался,—но у истомленного организма не было болѣе силъ вынести напряженіе.

Страданія, ни на минуту не давашія мѣста найти и глазъ сомкнуть, стали утихать; больной былъ въ полу-сознательномъ забытѣ. Запрещено было разговаривать съ нимъ,—но изъ его комнаты слышались безконечные его монологи, лихорадочно-быстрые и тревожные. То не былъ безсвязный бредъ. До слуха домашнихъ доносились обрывки мыслей о современныхъ нуждахъ русскихъ, укоры врагамъ общественнаго развитія, предчувствія бѣдъ. Все, что наполняло его духовную жизнь, волновало его и въ эти минуты разставанія съ нею.

Наконецъ и рѣчи, и стоны смолкли. Нѣсколько послѣднихъ словъ къ семьѣ дышали кротостью и религіозно-поэтической вѣрой въ лучший міръ, той вѣрой, которая своеобразно освѣщала мысль Юрьева даже въ годы борьбы, недовольства и сомнѣній.

А затѣмъ—the rest was silence.

Непритворное горе, проявившееся тогда повсюду, необыкновенно многолюдныя похороны со множеством вѣнковъ и депутацій, печальныя, иногда заплаканныя молодыя лица, составлявшія большинство въ толпѣ, желаніе студентовъ донести гробъ на своихъ плечахъ до кладбища,—все это на дѣлѣ показало, что популярность Юрьева не ослабѣла, несмотря на его удаленіе отъ свѣта. Первое впечатлѣніе утраты всегда такъ сильно!.. Надолго ли сохранится оно? Кто рѣшится опредѣлить степень напряженности людскаго горя и общественной памяти?

Для нашего времени настанетъ когда-нибудь судъ исторіи, тотъ судъ, къ которому такъ часто взывалъ Салтыковъ. Если будущій историкъ общества сумѣетъ отрѣшиться отъ рутинной оцѣнки однихъ показныхъ явленій и станетъ изучать въ глубинѣ жизни развитіе мысли и исканіе правды, онъ отведетъ въ лѣтописи 70—80 годовъ не послѣднее мѣсто нашему другу.

Для человѣка мыслящаго немалое удовлетвореніе, если онъ сознаетъ, что оставилъ слѣдъ послѣ себя и не даромъ жилъ. Не думаю, чтобы борозда, проведенная Юрьевымъ, была ужъ совсѣмъ незамѣтна...

Тѣ, кто зналъ и любилъ его, кто такъ много потерялъ съ его смертію,—небольшой отрядъ, въ ряды котораго внезапно ворвалось непріятельское ядро и положило на мѣстѣ одного изъ сражавшихся. Послышались грустныя восклицанія, кое-гдѣ сверкнула слезинка,—но дѣло не ждетъ, ряды смыкаются, и борьба начинается снова. Пусть же всякій изъ насъ дастъ себѣ слово ратовать, пока живъ, по мѣрѣ силъ и умѣнья, за тѣ идеалы, за которые положилъ свою душу покинувшій насъ товарищъ.

ДЕРЕВЕНСКІЯ РАЗМЫШЛЕНІЯ.

Въ столицахъ шумъ, гремѣть вѣти,
Кипитъ словесная война,
А тамъ—во глубинѣ Россіи—
Тамъ вѣковая тишина.
Лишь вѣтеръ не даетъ покою
Вершинамъ придорожныхъ ивъ,
И выгибаются дугою,
Цѣлуясь съ матерью-землею,
Колосѣя безконечныхъ нивъ...

Представьте себѣ, что случай привелъ васъ въ одинъ изъ мирныхъ и глухихъ русскихъ закоулковъ, далекихъ отъ всего на свѣтѣ. Кругомъ безпорядочный сбродъ сѣрыхъ, бѣдныхъ домиковъ, изъ котораго кое-гдѣ уныло тянутся къ небу колокольни. Все застыло въ полуснѣ; только на базарѣ еще есть кое-какое движеніе, да по дорогѣ поскрипываютъ возы, доставляя изъ дальнихъ деревень новыхъ посѣтителей въ этотъ удивительный центръ уѣздной культуры.

Вы выходите за городъ; извиваясь среди сильно порѣдѣвшихъ и тощихъ ивъ, бѣжитъ передъ вами большая дорога. Когда-то поэтъ похвалилъ ее за то, что „много простора взяла она у Бога“, но теперь этотъ просторъ ей уже не нуженъ. Ее совсѣмъ забросили. Изрѣдка плетется кто-нибудь; пройдетъ мастеровой человѣкъ; тяжело ступая, покажутся и исчезнутъ богомольцы, направляясь изъ-за тридевяти земель „къ преподобному“. Подниметъ облачко пыли поповская колымажка и скроется вдали. Вы доходите до

села. День праздничный; всё дома. На улицѣ пестрѣютъ , наряды молодежи; передъ избами видны группы взрослыхъ и стариковъ. Но всёмъ скучно; никто не знаетъ, что начать съ собой,—совсѣмъ тѣ же сцены, что и въ народныхъ кварталахъ столицъ въ праздникъ. Хороводы не слаживаются, да и выходятъ изъ обычая. Поодаль расположилась на травѣ кучка молодыхъ дѣвушекъ; еще хорошо, что въ эту минуту одна изъ нихъ рассказываетъ имъ что-то очень смѣшное, и онѣ отвѣчаютъ взрывами смѣха, — но потомъ, такъ и останутся онѣ въ ожиданіи чего-то хорошаго, веселаго.—Ничего не будетъ. Посидятъ онѣ, втихомолку попокутъ, пошутятъ съ проходящими парнями—и дню конецъ. Крадется ночь; все опять заснетъ, и только изъ оконъ „заведенія“ долго будутъ слышаться дребезжащіе звуки пѣсенъ подгулявшихъ гостей.

Когда послѣ всѣхъ этихъ впечатлѣній города и деревни вами начнетъ овладѣвать истома, слѣляйте надъ собой усиліе, и среди этого царства сѣрыхъ будней вспомните вдругъ, что существуетъ на свѣтѣ русскій театръ, какъ будто назначенный для такихъ же вотъ людей, способный говорить ихъ сердцу на ихъ родномъ языкѣ, освѣщать ихъ досугъ весельемъ или честною мыслью, и существуетъ не со вчерашняго дня, а по скромному счету лѣтъ полтора, — и съ безпощадною наглядностью представится вамъ несомнѣнный фактъ: театръ на Руси еще не имѣетъ національнаго значенія; онъ не далеко ушелъ отъ прежней, исключительно „господской“ забавы.

Поколѣнія за поколѣніями даровитыхъ спеническихъ дѣятелей отдавали свои лучшія силы его процвѣтанію, замѣчательные драматическіе писатели прославили его своими произведеніями,—и все же его дѣятельность и теперь ограничена лишь наружнымъ, верхнимъ слоемъ русской жизни, и совершенно невѣдома громадному большинству. Ея арена—столицы, да нѣсколько десятковъ провинціальныхъ городовъ, чьи сцены представляютъ различныя ступени той лѣстницы, которая отъ храма искусства спускается къ балагану. И эта горсть русскихъ людей отождествляется съ

народной массой? Для нея писали Гоголь, Грибоѣдовъ, Островскій, и стремились воплотить жизненную правду на сценѣ великіе актеры?

Это — одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, съ которыми по привычкѣ мирно сживаешься, которые не трогаютъ человѣка до тѣхъ поръ, пока онъ почему-нибудь не остановится передъ ними и не задумается. Тогда противорѣчія бросятся ему въ глаза, и онъ только дивится, какъ могъ не замѣтить ихъ до этой минуты.

Спеціалисту по египтологіи вполнѣ свойственно сознать свою отчужденность отъ запросовъ живой современности. Знатоку высшей математики, способному возноситься въ тѣ умозрительныя сферы, гдѣ нѣтъ ни радостей, ни печали, ни воздыханія, а есть только непроглядныя вереницы числовыхъ величинъ, никто не поставитъ въ вину отсутствіе прямыхъ связей съ народною жизнью. Но для театра и его дѣятелей, призванныхъ вліять на нее и воплощать ея явленія, немислимо сознать, что у нихъ нѣтъ корней, которые бы глубоко опускались въ народную почву. Между тѣмъ, отъ этого сознанія не отдѣлаешься, и я не думаю, чтобъ оно было особенно пріятно тѣмъ, кто не удовлетворяется техническою стороною своего искусства, но ждетъ еще чего-нибудь отъ жизни.

Поэтъ, беллетристъ все-таки счастливѣе въ этомъ отношеніи, чѣмъ драматургъ и его сотрудникъ-актеръ. Народная школа проведетъ ихъ лучшія произведенія въ деревенскую глушь; общедоступныя изданія всюду разбрасаютъ ихъ по лицу земли; гармонія и сила лермонтовскаго или пушкинскаго стиха подѣйствуютъ на тысячи дѣтскихъ головокъ. Но „драма для чтенія“ еще менѣе понятна сельскому грамотѣю, чѣмъ образованному человѣку. Необходимо содѣйствіе сцены, наглядное олицетвореніе поэтическаго замысла. Но деревенской средѣ его долго не дожидаться, да и большинство уѣздныхъ городовъ не имѣетъ не только постоянной, но и случайной, любительской сцены. Цѣлая область родной словесности закрыта для грамотной массы, а художественныя сценическія наслажденія, способ-

ныя воспитывать ее *даже и безъ посредства грамоты*, остаются совершенно ей недоступными.

Грѣшно было бы сказать, что въ культурныхъ слояхъ не поднимались голоса, протестовавшіе противъ такого порядка, или скорѣе безпорядка вещей. Съ тѣхъ поръ, какъ соперникъ Фонвизина, Лукинъ, въ замѣчательныхъ предисловіяхъ къ своимъ комедіямъ явился защитникомъ идеи общедоступности театра, въ которомъ онъ видѣлъ „упражненіе для народа весьма полезное и потому великія похвалы достойное“, у него (хотя и изрѣдка) не было недостатка въ послѣдователяхъ. Говорили горячо и съ убѣжденіемъ, но сдѣлали очень мало. Сто двадцать семь лѣтъ прошло со времени лукинскихъ предисловій, а вопросъ все остается открытымъ.

Его пытались иногда рѣшать при помощи основанія особыхъ народныхъ театровъ. Но, за исключеніемъ театра, открытаго въ Москвѣ въ 1872 году, просуществовавшаго всего нѣсколько лѣтъ и ставившаго *общій* репертуаръ, почти всѣ эти попытки выдѣляли изъ русской драматургіи лишь то, что было наиболѣе наивнаго, безцвѣтнаго и неспособнаго развивающимъ образомъ подѣйствовать на зрителя. Наставниками его являлись не Гоголь или Островскій, а Полевой, Ободовскій, Кукольникъ и другіе заштатные драматическихъ дѣлъ мастера, откопанные въ пыли архивовъ, да два, три современныхъ намъ труженика по этой же безобидной части. Открываются такіе театры иногда со столь очевиднымъ филантропическимъ намѣреніемъ, какъ средство отвлечь отъ пьянства и другихъ пороковъ, что избытокъ этой похвальной филантропіи способенъ въ глазахъ сколько-нибудь толковаго зрителя отбить охоту къ театру, являющемуся чѣмъ-то въ родѣ исправительнаго заведенія. Отвлекать отъ язвъ, гложущихъ массу, необходимо, но ей нельзя прописывать приѣмъ театральныхъ впечатлѣній, какъ дозу успокоивающаго лекарства. Это такъ же не можетъ достигнуть серьезной цѣли, какъ обращеніе съ зрителями изъ народа точно съ подростками, которымъ за благонравіе обѣщали бы показать потѣшное представленіе маріонетокъ.

То, что есть живого и воспитывающего въ драмѣ, само подѣйствуетъ на свѣжаго зрителя изъ народной толпы; но сцена, на которой онъ увидитъ эту драму, должна оставлять свободными его выборъ, его волю и совѣсть.

Если русская сцена такъ неудачно ищетъ сближенія съ народомъ, то и драма въ свою очередь немногимъ счастливѣе. Въ послѣдніе годы умножились пьесы съ содержаніемъ изъ современнаго деревенскаго быта, усердно старающіяся вывести на-показъ его темныя стороны, нужды и запросы. Но одного добраго намѣренія недостаточно. Однообразіе и крайняя незамысловатость сюжетовъ поражаютъ съ перваго взгляда. Сцены пьянства—наиболѣе излюбленныя; полустофъ ходитъ по рукамъ во всѣ пять актовъ пьесы. Если этого мало, покажется шаблонная, зловѣщая фигура кулака міроѣда, и тѣмъ дастъ матеріалъ для цѣлаго ряда поучительныхъ сценъ. Для борьбы съ подобнымъ зломъ, какъ пьянство или кулачество и т. д., *такія* средства черезчуръ наивны. Столько же можетъ помочь списываніе нравоучительныхъ сентенцій съ прописи. Одно сильное, до глубины захватывающее жизнь, произведеніе, вродѣ *Горькой Судьбины* принесетъ несравненно больше пользы, чѣмъ десятокъ этихъ малокровныхъ созданій. На нихъ, очевидно, тоже нельзя основать сближенія театра съ народною средой. Еслибъ они дѣйствительно могли проникнуть въ народъ, зрителю-крестьянину еще легче было бы замѣтить недостаточное знаніе деревенской дѣйствительности, а постоянное возвращеніе къ однимъ и тѣмъ же назидательнымъ темамъ можетъ только ослабить впечатлѣніе, котораго ожидаютъ отъ драмы. Это такой же промахъ, какъ тотъ, въ который впадаютъ авторы общедоступныхъ книгъ для народнаго чтенія, слишкомъ часто проходящіе по одному и тому же слѣду. Всякій, кому только приходилось раздавать подобныя книжки, конечно, подмѣтилъ быструю смѣну возбужденнаго любопытства скучающимъ и недовольнымъ видомъ, когда изъ числа новинокъ, очутившихся въ рукахъ грамотея, три, четыре, пять, точно наперерывъ говорятъ все о пьянствѣ. Конечно, эти книги останутся непрочтен-

ными, и стремление къ чему-то новому, болѣе занимательному, поднимется само собою. Между тѣмъ неизгладимо остались бы въ памяти деревенскаго читателя задушевные и правдивыя страницы истинно-художественнаго разсказа на такую же тему, гдѣ выступали бы живые люди съ ихъ душевными движеніями и страстями, и гдѣ, какъ въ зеркалѣ, отражалась бы *настоящая* дѣйствительность, отъ которой не хватило бы духу отречься деревенскому читателю.

Для актера еще труднѣе это исканіе народной почвы. Онъ готовъ былъ бы перенести на нее мастерское исполненіе общелитературныхъ произведеній, знакомя съ Пушкинымъ, Гоголемъ и др., но подходящихъ для этого сценъ не существуетъ. Онъ захотѣлъ бы, можетъ-быть, перейти отъ избитыхъ салонныхъ характеровъ къ олицетворенію подлинныхъ народныхъ типовъ,—но онъ (исполнитель прежде всего, а затѣмъ уже творецъ) въ постоянной зависимости отъ того, что дастъ ему драматургъ,—а мы только что видѣли, какъ мало онъ можетъ ему дать...

Даровитый актеръ, правда, въ состояніи воспользоваться и ничтожнымъ съ виду матеріаломъ, чтобъ претворить его въ художественный типъ. Но для этого нужно близко знать народную жизнь, а такое знаніе становится въ русской артистической средѣ все рѣже. Въ наше время актеръ по преимуществу горожанинъ, созерцающій села и нивы родныя болѣе всего изъ окна вагона, который переноситъ его изъ одного мѣста его „службы“ въ другое. Закинутый случайно въ деревню, онъ въ состояніи захандрить, почувствовать себя точно въ изгнаніи, и вздыхать о покинутомъ ненадолго мірѣ картонныхъ деревьевъ и холщевого неба. Безвозвратно миновавшая эпическая пора русскаго актерства была гораздо благопріятнѣе обставлена. Несчастливцевъ съ своимъ другомъ Аркашкой совершали пѣшкомъ, съ чемоданомъ за плечами, свои рейсы изъ Вологды въ Керчь и изъ Керчи въ Вологду, за то они своими глазами видѣли, какъ живетъ народъ, порою братались съ нимъ, и въ ихъ художественномъ арсеналѣ скопились десятки, сотни образовъ, бытовыхъ

подробностей, интонацій, жестовъ, которые потомъ всплывали въ ихъ игрѣ.

До сихъ поръ иногда, даже въ какой-нибудь второстепенной провинціальной труппѣ, неожиданно поразить вашъ слухъ что-то неподдѣльно-народное въ тонѣ рѣчи, складѣ пѣсни; взглянешь на сцену, а тамъ стоитъ совсѣмъ какъ есть степной мужикъ, которому не приходилось искать народности въ наклеяной бородѣ лопатой или въ зипунѣ, фантастически скроенномъ у костюмера, но который, кажется, такимъ былъ всегда, и другимъ быть не можетъ. Когда же случайно подберется два, три такихъ народника въ пьесѣ, зритель въ состояніи забыть, что онъ въ театрѣ; такая заигранная повсюду пьеса, какъ „Ночное“, получаетъ вдругъ новый смыслъ; отъ нея вѣетъ тѣмъ ароматнымъ степнымъ воздухомъ, который въ минуты тоски по родинѣ вспоминался Тургеневу на чужбинѣ. Такіе проблески народности, проникнутые здоровымъ, не вымученнымъ реализмомъ, чрезвычайно рѣдки, и все дальше нужно уходить изъ центровъ, чтобъ напасть на нихъ.

Малороссы гораздо счастливѣе въ этомъ отношеніи. Пусть съ литературной стороны пьесы ихъ представляютъ (за немногими исключеніями) образецъ того, чѣмъ была драма въ ранній періодъ ея развитія,—заслуга украинскихъ актеровъ, какъ искусныхъ сценическихъ живописцевъ, ярко и выпукло переносящихъ на подмостки подлинныя бытовые черты, выше всякихъ сомнѣній. Ихъ представленія одинаково доступны и понятны культурному челоѣку, и народной публикѣ; призваніе театра, какъ художественно воспитательнаго учрежденія, предназначеннаго служить всей народной массѣ, безъ различій, осуществляется на нашихъ глазахъ.

Этотъ скромный примѣръ достаточно поучителенъ. Если еще Пушкинъ находилъ, что „на подрищѣ ума нельзя намъ отступать“, то въ числѣ тѣхъ вопросовъ, по которымъ эта отсталость особенно ошутительна, нельзя не поставить разобщеніе театра съ огромнымъ большинствомъ русскихъ людей. Не нуждайся они въ зрѣлищахъ, не обнаруживай они потребностей и вкуса къ нимъ, дѣло было бы совсѣмъ иное.

Но въ самомъ крестьянствѣ давно уже поднимаются запросы и дѣлаются попытки удовлетворить ихъ собственными средствами. Мнѣ пришлось уже, много лѣтъ назадъ, сгруппировать (въ книгѣ „Старинный театръ въ Европѣ“) разнообразныя народныя „игрища“, уцѣлѣвшія до нашего времени въ разныхъ углахъ Россіи, преимущественно въ новгородско-псковскомъ краю, на Волгѣ и на дальнемъ сѣверѣ, и показать, какъ въ этихъ примитивныхъ по формѣ, передающихся отъ одного поколѣнія къ другому, часто даже импровизируемыхъ во время представленія, піесахъ замѣтны приемы смѣлой сатиры, обличающей общественные недостатки, съ аристофановской вольностью, называющей осмѣиваемыхъ по именамъ, и вызвавшей запретительныя мѣры противъ такой „живой комеди“. Множество солдатскихъ, фабричныхъ и прочихъ самодѣльныхъ театровъ до сихъ поръ пробавляются допотопною піесой о царѣ Максимиліанѣ и непокорномъ сынѣ его Адольфѣ, вводя въ нее черты изъ русскаго быта. Старинныя „вертепныя“ драмы, которыя въ послѣднее время стали усердно записывать и издавать въ Малороссіи, полны такого же смѣшенія назидательнаго, религіознаго содержанія съ интермедіями бытового характера. Всюду пытаются что-то создать, бредутъ ошупью, повторяютъ отжившую старину, стараясь слить ее съ новымъ духомъ, — и никто не поможетъ имъ, не откликнется...

Какъ это сдѣлать? Была бы лишь охота, а средства сами найдутся. Сумѣлъ же, двадцать пять лѣтъ тому назадъ С. А. Юрьевъ устроить деревенскій театръ, о которомъ недавно напомнила нашимъ читателямъ его посмертная статья *), — театръ, произведшій сильное впечатлѣніе на весь окрестный людъ и возбудившій нескончаемые толки и разборъ піесъ Писемскаго и Островскаго. Лѣтомъ 1890 г. въ одномъ селѣ Смоленской губерніи съ большимъ успѣхомъ устроено было при школѣ шесть спектаклей для народа; собиралось каждый разъ до 200 зрителей, и передъ ними шла „Бѣдность не порокъ“, крыловскія басни и лер-

*) «Артистъ», № 3.

монтовскія стихотворенія въ лицахъ и т. д. Въ тепло написанной корреспонденціи *Недѣли*, рассказавшей объ этихъ оригинальныхъ зрѣлищахъ, чувствуется то внутреннее удовлетвореніе, которое должны были испытать свидѣтели этого сліянія съ народомъ на почвѣ умственного развитія. Такихъ примѣровъ съ той поры было не мало.

Что могли до сихъ поръ дѣлать отдѣльныя, разобщенныя между собой лица, то еще дружиѣ пойдетъ, если такія попытки будутъ объединены и направлены опытными руководителями. Можетъ выработаться и новый классъ народныхъ актеровъ, которые будутъ въ состояніи еще удачнѣе воспроизводить для близкой имъ публики избранныя драматическія произведенія. Такіе актеры и теперь уже есть кое-гдѣ; на украинскихъ заводахъ есть специалисты по исполненію „Максимиліана“, въ псковскихъ деревняхъ—по устройству игрищъ. Но и со стороны корифеевъ русской сцены можно бы ожидать содѣйствія осуществленію деревенскихъ театровъ. Представьте себѣ, какое впечатлѣніе было бы произведено, еслибъ одно изъ объѣзжающихъ каждымъ лѣтомъ провинцію столичныхъ товариществъ, пресытившись губернскими оваціями, захотѣло бы самоотверженно объявить, что дастъ два, три спектакля для народа, да и не въ городѣ, а гдѣ-нибудь въ большомъ, людномъ селѣ, не побоявшись того, что день, другой придется терпѣть кое-какія неудобства, забыть на время о комфортахъ и играть въ чемъ-нибудь въ родѣ знаменитаго Волковского кожевеннаго сарая. Такой примѣръ вызвалъ бы подражанія, и нѣсколько шаговъ впередъ было бы сдѣлано.

Но за содѣйствіемъ деревенской сценѣ выступаетъ необходимость озаботиться устройствомъ городскихъ „народныхъ“ или, точнѣе, общедоступныхъ театровъ. Разсуждать о пользѣ ихъ и довольствоваться тѣмъ, что изъ многомилліоннаго русскаго люда петербургскіе и московскіе фабричныя и мастеровыя имѣютъ иногда возможность провести свой досугъ интеллигентно, значить не замѣчать траги-комической стороны такого положенія дѣлъ. Защитникамъ народнаго развитія, коль скоро они сознаютъ, что то, чего не успѣла

сказать сельская или городская школа, может довершить театр, нечего смущаться тѣмъ, что, выказавъ заботливость о его осуществленіи, они впадутъ въ слишкомъ специально-техническую область драматическаго искусства, или что они могутъ привить народу изнѣженность, нездоровую впечатлительность и ненужное для него знаніе обратныхъ сторонъ культурной жизни (какъ этого когда-то боялся Руссо). Вѣдь это искусство само нуждается въ здоровыхъ корняхъ, а отъ излишнихъ примѣсей можетъ обезопасить гуманное, но твердое, послѣдовательное и разборчивое руководство народно-театральнымъ дѣломъ.

На помощь обновляющейся русской сценѣ должны бы притти и актеръ, и драматическій писатель. Первому пора понять, что нельзя уже болѣе изображать условнаго, шаблоннаго мужика, его бытъ, нравы и приемы, но что ихъ нужно такъ-же изучать на мѣстѣ, какъ и салонные нравы, и купеческія чудачества, и что, наконецъ, поступая такъ, онъ войдетъ въ ряды своего народа, которому могъ до сихъ поръ казаться чужимъ. Второму пора окончательно ввести въ драму бытовую струю, столь же законную въ ней, какъ и отраженіе тревогъ и страданій развитой части русскаго общества,—бытовую струю, свободную отъ преувеличеній и идеализаціи, и вмѣстѣ съ тѣмъ чуждую пошлости и карикатуры, словомъ, такую, какая замѣтна уже въ немногихъ лучшихъ попыткахъ нашей драмы изображать народную жизнь и народные характеры.

Конечно, все это легче сказать, чѣмъ выполнить. Но, я думаю, сказать это все-таки нужно. То время, когда театръ совсѣмъ перестанетъ быть господской забавой, а одинаково будетъ вліять на всѣ общественные слои, (если принять въ расчетъ быстроту нашего поступательнаго движенія) весьма далеко, и мы его не увидимъ. Но къ нему все-таки нужно стремиться, не обольщаясь успѣхами, добытыми на старомъ пути. Пусть кто хочетъ, тотъ сочтетъ ихъ даже исполинскими, но и въ мірѣ искусства справедливо то, что поэтически выражено было въ древней легендѣ: только прикоснувшись къ землѣ, слабѣющій великанъ можетъ обрѣсти новую силу.

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

<i>Стран.</i>	<i>Строки.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Слѣдуетъ.</i>
21	2 снизу	Stndi	Studi
48	8 „	hera изд.	herausg.
59	1 сверху	он замыслу	по замыслу
90	25 „	сидьно	сильно
91	3 снизу	eur de rimarest	sieur de Grimarest
102	4 „	силезекомъ	силесскомъ
107	2 „	Шалроссэ	Шалроссэ
123	10 „	комедіи, испанца	комедіи испанца
128	5 „	каждомъ нападеѣ	каждой нападеѣ
145	10 „	Gescichte	Geschichte
177	12 „	задумывается	задумывался
183	12 „	медицинскій словарь только	медицинскій словарь; только
206	12 сверху	начинается чудиться	начинаетъ чудиться
246	1 снизу	ъ объ Истинномъ	имъ объ Истинномъ
293	2 „	esage romancier	Lesage romancier
296	1—2 „	ragment mr. oetzmann	Fragment mr. Goetzmann
303	1 „	utherland Edwards	Sutherland Edwards
407	9 сверху	человѣкотъ	человѣкомъ
513	1 „	выпускаю изъ рукъ	выпускаю пера изъ рукъ
518	14 „	миѣ	миѣ

891,78
V 5-8 E

Алексѣй Веселовскій

UNIV. OF MICH.

OCT 7 1908

ЭТЮДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джордано Бруно, Легенда о Донъ-Жуанѣ, Мольеръ, Вольтеръ, Дидро, Бомарше, Свифтъ, Гюго, Фонвизинъ, Гоголь, Грибоѣдовъ и др.



МОСКВА.

Типо-литографія Высочайше утвержденнаго Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°. Паниновская улица, собственный домъ.

1894.



Сочиненія того же автора.

Старинный театръ въ Европѣ, историческіе очерки. М. 1870
Ц. 2 р.

Deutsche Einflüsse auf das alte russische Theater. Prag, 1876.

Изданіе распродано.

Этюды о Мольерѣ. Тартюффъ; исторія типа и пьесы. М. 1879.
(распрод.).

**Этюды о Мольерѣ. Мизантропъ. Опытъ новаго анализа пьесы
и обзоръ созданной ею школы.** М. 1881. Ц. 2 р.

Западное вліяніе въ новой русской литературѣ. М. 1883.
(распрод.).



BOOK CARD
DO NOT REMOVE

A Charge will be made
if this card is mutilated

M-41434



or not returned
with the book

GRADUATE LIBRARY
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ANN ARBOR, MICHIGAN

GL

VESELDOWSKI-
AN

001
1111

DO NOT REMOVE
OR
MUTILATE CARD

